



# МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

## экономические и социальные перемены

№ 5 (171)

сентябрь — октябрь 2022

СОЦИОЛОГИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ



ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ  
И МЕТОДОЛОГИЯ



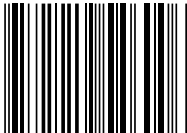
ГОСУДАРСТВО  
И ОБЩЕСТВО



СЕМЬЯ  
И ДЕМОГРАФИЯ

18+

ISSN 2219-5467



9 772219 546006 >

**Главный редактор журнала:**

Федоров Валерий Валерьевич —  
кандидат политических наук, генеральный директор ВЦИОМ,  
профессор НИУ ВШЭ

**Заместители главного редактора:**

Седова Наталья Николаевна —  
помощник гендиректора по науке ВЦИОМ

Подвойский Денис Глебович —  
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник  
Института социологии ФНИСЦ РАН, доцент РУДН

**Ответственный редактор:**

Кулешова Анна Викторовна —  
кандидат социологических наук, член российской  
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) (Россия)

M77      Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — М.: АО «ВЦИОМ», 2022. — № 5 (171). — 440 с.

ISSN 2219-5467

Объективная, точная, регулярная и свежая информация «Мониторинга» полезна всем, кто принимает управленческие решения, занимается прогнозированием и анализом развития общества. Наш журнал пригодится сотрудникам научных и аналитических центров, работникам органов управления, ученым, преподавателям, молодым исследователям, студентам и аспирантам, журналистам.

Тематика материалов охватывает широкий круг социальных, экономических, политических вопросов, основные рубрики посвящены теории, методам и методологии социологических исследований, вопросам взаимодействия государства и общества, социальной диагностике. Каждый номер журнала содержит двухмесячный дайджест основных результатов еженедельных общероссийских опросов ВЦИОМ.

Мы публикуем статьи специалистов, представляющих ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также ВУЗы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность выступить на его страницах представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные.

Журнал издается с 1992 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

---

*Д. Г. Подвойский*

В объях картонных богов: о магии имен, силе слов и фетишизме символического в социальной жизни. Часть II ..... 3

*Н. П. Космарская*

Изучение низовых представлений о мигрантах в России и Европе: методы, концепты, локальные контексты ..... 26

*А. А. Желнина, А. В. Семенов, Е. В. Тыканова*

Методология изучения городских конфликтов: уровни масштабирования ..... 49

## ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

---

*Д. А. Давыдов*

Динамика массовых протестных акций в современной России: событийный анализ ..... 72

*О. В. Синявская, А. А. Червякова*

Активное долголетие в России в условиях экономической стагнации: что показывает динамика индекса активного долголетия? ..... 94

## СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЯ

---

*О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова*

«Продиктовано любовью...»: вовлеченное отцовство в российских семьях, воспитывающих детей с инвалидностью ..... 122

*А. П. Казун, А. А. Карпушкина, Д. В. Курихина, М. С. Савунова*

Бьет — значит любит? Стратегии депроблематизации домашнего насилия в российских СМИ ..... 149

## СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА

---

*Н. К. Радина, Д. А. Крупная*

Реализуя право на город: интерпретации и номинация городских объектов горожанами (на материале эргоурбанонимов нестоличных мегаполисов) ..... 172

*Е. В. Недосека, А. Е. Ненько, О. О. Лисенков*

Репрезентация воспринимаемой безопасности городской среды в соседских онлайн-сообществах Санкт-Петербурга ..... 196

## МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

---

Мониторинг мнений: сентябрь — октябрь 2022 ..... 216

## СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА

---

*И. Л. Сизова, Р. В. Карапетян, Н. С. Орлова*

Особенности цифровизации труда современных российских работников ..... 231

*Д. Р. Геращенко*

Цена административной карьеры: научная продуктивность ректоров

до и после назначения ..... 257

*А. В. Быков, А. И. Нарская*

Закон, мораль и машинное обучение: взгляд судей на сущность и перспективы

роботизации правосудия ..... 278

## МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ

---

*А. В. Щекотуров*

Приватные аффордансы и воображаемая аудитория как факторы

виртуальной самопрезентации студентов ..... 299

*П. А. Кисляков*

Социально-психологический анализ образа благотворительности

и добровольчества в цифровой среде ..... 322

*С. В. Жучкова, Д. Линделл*

Оценка коммуникативного потенциала сайтов российских НКО

на основе анализа нереактивных данных ..... 347

## СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

---

*Н. Г. Багдасарьян, Т. В. Балужева*

Аспирантура регионального вуза: проблемы и пути решения ..... 373

*М. Е. Гошин, П. С. Сорокин, С. Г. Косарецкий*

Агентность школьников в условиях изменений образовательного контекста

в период пандемии COVID-19: источники, проявления и эффекты ..... 394

*О. Р. Михайлова*

Взаимодействие молодых людей с животными

и образовательные результаты ..... 418

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2329](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2329)



**Д. Г. Подвойский**

## **В ОБЪЯТЯХ КАРТОННЫХ БОГОВ: О МАГИИ ИМЕН, СИЛЕ СЛОВ И ФЕТИШИЗМЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ЧАСТЬ II**

### **Правильная ссылка на статью:**

Подвойский Д. Г. В объятях картонных богов: о магии имен, силе слов и фетишизме символического в социальной жизни. Часть II // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 3—25. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2329>.

### **For citation:**

Podvoyskiy D. G. (2022) In the Embrace of Cardboard Gods: About the Magic of Names, the Power of Words and the Fetishism of Symbols in Social Life (Part 2). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 3–25. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2329>. (In Russ.)

Получено: 20.06.2022. Принято к публикации: 08.09.2022.

## В ОБЪЯТЯХ КАРТОННЫХ БОГОВ: О МАГИИ ИМЕН, СИЛЕ СЛОВ И ФЕТИ- ШИЗМЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО В СОЦИ- АЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ЧАСТЬ II

*ПОДВОЙСКИЙ Денис Глебович — канди-  
дат философских наук, доцент кафедры  
социальной философии и философии  
истории, Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова, Мо-  
сква, Россия; доцент кафедры социоло-  
гии, Российский университет дружбы  
народов, Москва, Россия; ведущий на-  
учный сотрудник, Институт социологии  
ФНИСЦ РАН, Москва, Россия  
E-MAIL: dpodvoiski@yandex.ru  
<https://orcid.org/0000-0002-7396-1828>*

**Аннотация.** В статье предметом рас-  
смотрения становится феномен сим-  
волического фетишизма как одно  
из закономерных проявлений и послед-  
ствий процесса социального конструи-  
рования реальности. Автор исследует  
логику и механизмы автономизации  
символических систем в обществе,  
оборачивающейся, среди прочего, их  
«гипостазированием» (и реификацией)  
в индивидуальном и коллективном со-  
знании как специфических сущностей.  
В фокусе внимания при этом оказы-  
ваются три интерпретации символического и его бытований в социаль-  
ной жизни, представленные в трудах  
П. А. Сорокина, П. Бурдьё и Ж. Бодрий-  
яра. В первой части статьи анализу  
подвергаются основные положения  
сорокинской концепции «проводников  
интеракции» (в частности, идея о фети-  
шизации разных типов проводников  
и их рикошетном воздействии на ис-  
пользующих их индивидов). Во второй  
части очерка аналитически реконструи-  
руются бурдьёанская трактовка «власти  
номинации» и бодрийяровская теория

## IN THE EMBRACE OF CARDBOARD GODS: ABOUT THE MAGIC OF NAMES, THE POW- ER OF WORDS AND THE FETISHISM OF SYMBOLS IN SOCIAL LIFE (PART 2)

*Denis G. PODVOYSKIY<sup>1,2,3</sup> — Cand. Sci.  
(Philos.), Associate Professor, Depart-  
ment of Social Philosophy and Philos-  
ophy of History; Associate Professor;  
Leading Researcher  
E-MAIL: dpodvoiski@yandex.ru  
<https://orcid.org/0000-0002-7396-1828>*

<sup>1</sup> Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

<sup>2</sup> Peoples' Friendship University of Russia (RUDN  
University), Moscow, Russia

<sup>3</sup> Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

**Abstract.** In the article, the subject of  
consideration is the phenomenon of  
symbolic fetishism as one of the natural  
manifestations and consequences of  
the process of the social construction  
of reality. The author explores the logic  
and mechanisms of the autonomization  
of symbolic systems in society, which  
turns, among other things, into their  
“hypostatization” (and reification) in the  
individual and collective consciousness  
as specific entities. At the same time, the  
focus is on three interpretations of the  
symbolic and its existence in social life,  
presented in the works of P. A. Sorokin,  
P. Bourdieu and J. Baudrillard. In the first  
part of the article, the main provisions  
of Sorokin’s concept of “interaction con-  
ductors” are analyzed (in particular, the  
idea of fetishization of different types of  
conductors and their rebound effect on  
individuals using them). In the second  
part of the essay, Bourdieu’s interpreta-  
tion of the “power of nomination” and  
Baudrillard’s theory of hyperreality (or  
sign universe) of the consumer society  
are analytically reconstructed. In each of

гиперреальности (или знаковой вселенной) общества потребления. В каждой из упомянутых концепций фиксируется и иллюстрируется принудительный характер символических структур общества, его знаковых образов и материализованных артефактов, оказывающих мощное влияние на человеческое мышление и поведение.

Статья публикуется в двух частях. Начало — в № 4, 2022.

**Ключевые слова:** фетишизация символического, отчуждение, символ, знак, язык, проводники взаимодействия, власть номинации, символический капитал, общество потребления, симулякр, означаемое/означающее, П. А. Сорокин, П. Бурдьё, Ж. Бодрийяр

the above concepts, the coercive nature of the symbolic structures of society, its iconic images and materialized artifacts, which have a powerful influence on human thinking and behavior, is fixed and illustrated.

The article is published in two parts. The first part is in No. 4 for 2022.

**Keywords:** fetishization of symbols, alienation, symbol, sign, language, conductors of interaction, power of nomination, symbolic capital, consumer society, simulacra, signified/signifier, P.A. Sorokin, P. Bourdieu, J. Baudrillard

### **Власть номинации: как это работает?**

«Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет», — вопрошая, восклицает шекспировская Джульетта. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — парирует капитан Врунгель. Ему вторит поговорка, приписываемая всем подряд: «если человека сто раз назвать свиньей, на сто первый он хрюкнет». Кто прав? — судить можно по-разному, но нет сомнений: имена и названия в мире человеческом обладают значительной силой, от них бывает трудно отмахнуться и отделаться, даже если они сомнительны и спорны, необоснованно возвеличивают или принижают, приписывают людям и вещам что-то мало соответствующее «действительности»<sup>1</sup> или даже «чего нет в помине».

Распределение сил и ресурсов в обществе воспроизводится и поддерживается в символических, в том числе языковых формах. Господство и социальное неравенство, институционально организованные отношения власти и доминирования обеспечиваются и подкрепляются силой слова (хотя, конечно, не ей одной). Язык демонстрирует власть номинации, при посредстве которой общество воспроизводит те или иные иерархические отношения, распределяет признаки статуса, и не только.

Называя что-то, мы это что-то социально определяем, маркируем. Сама интерсубъективная сущность языка наделяет его социальной силой влияния на индивидуальное и коллективное сознание (и поведение) через обозначение объектов как обладающих определенными качествами, через помещение их в определенную

<sup>1</sup> Которую ни пощупать, ни потрогать (со стороны) и которая вообще непонятно где находится. Не то что слова — произнесенные и написанные, услышанные и прочитанные.

когнитивную и аксиологическую систему координат и практической мироориентации. Мир человек воспринимает в образах, но схватывает, фиксирует и передает эти образы в словах. Навешивание лингвистических ярлыков на конкретные фрагменты реальности есть нормальная функционально целесообразная познавательная процедура. Без нее человек не смог бы освоить мир ни теоретически, ни практически.

Как работает власть номинации, прекрасно показывает П. Бурдьё в своей концепции символического. Он пишет среди прочего о символическом капитале, символической власти и символическом насилии. Бурдьё продолжает линию разговора, начатого еще Дюркгеймом и Моссом в «Первобытных классификациях» [Дюркгейм, Мосс, 2011]: «Социальные классификации... организуют восприятие социального мира<sup>2</sup> и при определенных условиях реально могут организовать сам этот мир» [Бурдьё, 2007: 83]. Французский социолог демонстрирует, «как можно делать вещи, то есть группы, с помощью слов» [там же: 85].

Звучит, казалось бы, очень провокационно и слишком уж радикально конструктивистски. Но Бурдьё уточняет: «...Конструирование групп не может быть конструированием из ничего (*ex nihilo*). Оно может быть тем более успешным, чем в большей степени базируется на реальности, то есть... на объективных связях между людьми, которых предстоит объединить» [там же: 84]. Рассуждения Бурдьё о «классах на бумаге» не следует понимать так, будто бы можно создать группу на пустом месте, просто придумать, нафантазировать, слепить как гомункула, вдохнув в нее жизнь при помощи магических заклинаний. Пользуясь марксистской терминологией, можно было бы сказать: «класс в себе» должен быть разбужен чьими-то пламенными речами, агитационными аргументами, призывами, публичной риторикой и т. п., чтобы превратиться в «класс для себя»; однако если некого будить и не к чему призывать, то никто и не проснется и на агитацию не отреагирует. Людей, конечно, во многом можно убедить, но, пожалуй, все же не во всем. Поэтому будут ли они «хрюкать», если у них не очень получается, да и не особо хочется, — большой вопрос. Налицо должна быть какая-то почва для строительства классов или групп — оно не сводится к простой процедуре «раздачи имен» («называния одним словом» произвольных и случайных людских совокупностей). Бурдьё, оставаясь по сути «левым» мыслителем, не связан, тем не менее, доктринальными ограничениями концепции «базиса и надстройки». Но все-таки он признает: непропорционально распределенные символические капиталы и символическая власть одних индивидов над другими берутся не из воздуха, а опираются на (и выражают) неравномерное распределение социальных ресурсов разного рода среди людей, положение которых структурировано в соответствующих «полях» (экономике, политике, иных сферах деятельности, профессиональных отраслях и т. п.). Тем не менее, как бы то ни было, символические средства на протяжении всей истории повсеместно использовались в качестве эффективных инструментов конституирования социально-групповых структур, производства социокультурных идентичностей и т. п.

<sup>2</sup> Правда, Дюркгейм и Мосс полагали, что социальные классификации накладывают определенный отпечаток и на восприятие природного мира, и даже шире — конструируют когнитивный строй, структуры мышления человека в рамках конкретной культуры.



По ходу своих рассуждений о власти номинации французский социолог к месту припоминает замечательную конструктивистскую метафору Нельсона Гудмена о «сотворении созвездий» звездочетами: «Символическая власть есть власть творить вещи при помощи слов... В самом деле, как созвездие у Гудмена, которое начинает существовать лишь тогда, когда найдено и описано в качестве созвездия, так же и группа, класс, род, регион, нация начинают существовать для тех, кто туда входит, и для всех остальных лишь тогда, когда они отличаются по какому-либо основанию от других групп, то есть узнаны и признаны» [там же: 84—85]. Индивиды, обладающие разными объемами символического и иных видов капитала, претендуют на [и оспаривают друг у друга] «власть сохранять или трансформировать имеющиеся классификации в отношении рода, наций, регионов, возраста и социального статуса, — и все это при помощи слов, используемых для обозначения или описания индивидов, групп или институций» [там же: 83].

Украина — не [та же] Россия, а украинцы — не [те же] русские [только живущие чуть южнее]. Подкарпатские русины — [не] украинцы, [хотя] и живут в [на] Украине. Косово — [не?] Сербия. Бавария, Саксония ... etc — [не?] Германия. Южные тирольцы уже более столетия «не австрийцы», но и не совсем «итальянцы», хотя и обладают итальянскими паспортами. Корсиканцы, бретонцы, эльзасцы, баски, каталонцы, курды... etc... «действительно существуют» (!/?), хотя кто-то в Париже или Мадриде, Дамаске, Анкаре, Багдаде или Тегеране может думать иначе. Вепсы — не карелы (!/?), а талыши — не азербайджанцы (!/?). Иногда отличительные признаки налицо, а иногда приходится сильно напрягаться, чтобы уловить разницу... Нет такого народа! / Есть такой народ! У вас не отдельный язык, а всего-навсего диалект! Что скажут эксперты-филологи? (но они все ангажированы). Не имеете права на независимость... максимум, на автономию! Ваша самобытность «высосана из пальца». У нас с вами общая [нет — разная!] история. Это наш король / князь / предок / основатель государства / креститель, а не ваш! Эти этнические общности — «братские» народы! Да что вы говорите? — Кто это вам сказал? Вы нам никакие не братья! Вы переписываете прошлое под себя! Оно у нас с вами общее [нет — разное!] Каково мнение экспертов-историков (но чью позицию они выражают?)...<sup>3</sup>

Ты еще не «старый» — пойдешь поработай! Ты [выглядишь как] «ребенок», тебе алкоголь не продадут. Куда тебе жениться? — Еще молоко на губах не обсохло («женилка не выросла»)! На фронт, в действующую армию, родину защищать? — Мальчик, ты какого года рождения? Принимаются на работу граждане в возрасте «от... и до...». «Не плачь Алиса, ты стала *взрослой*, праздник наступил, и тебе уже 16 лет...» (цитата из песни 1991 года). Понятно, что совершеннолетие, взрослость, старость и другие возрастные характеристики индивидов (закрепляемые юридически или фиксируемые как-то иначе — по традиции и обычаю, «на глаз» и т. п.) в разных обществах определяются (и определялись) по-разному. Но во всех случаях социально авторитетная номинация возраста, несущая отпечаток актуальных для конкретного общества представлений о стадиях человеческой жизни, ощутимо влияет на определение людьми имеющих возрастное измерение ситуаций (в том

<sup>3</sup> Сложный вопрос о логике и механизмах «конструирования этничности» (в том числе дискурсивного) не может быть здесь раскрыт даже приблизительно и нуждается в специальном обсуждении.

числе лиминальных, или переходных, состояний). И эти номинации будут некоторым образом воздействовать как на самого «носителя» возраста, так и на его ближнее и дальнее окружение.

Для этой работы / дела / миссии / жизненной задачи я/ты/он(а) уже, наверное, слишком «стар(а)». Уже слишком поздно (как говорится, «поезд ушел»)… Или еще слишком рано, надо подождать… В обоих случаях (и когда поздно, и когда рано): посмотрят, спросят — сколько тебе лет?.. на смех поднимут… Почему девочка плачет в свой 16-й [18-й…] день рождения? Потому что детство прошло? (И что это значит: что значит детство, и куда оно делось именно в этот день и час?) Или, может быть, это слезы радости? Глядящий в окно первый рассвет ее взрослой жизни как будто бы ничем принципиально не отличается от всех предыдущих рассветов, да и сама она сегодня все тот же («вчерашний») ребенок и, возможно, долго будет еще таковой оставаться. Но все же налицо одно изменение — произошел акт социального переименования данного индивида и неминуемого (хотя и не обязательно совершающегося мгновенно)<sup>4</sup> перемещения его в иную статусную категорию. Общество с этого (в сущности, весьма условного и конвенционально выбранного) момента стало определять человека по-другому, со всем грузом ответственности, совокупностью прав и обязанностей, ролевых ожиданий, мер допустимого и недопустимого в придачу. И сам переименованный индивид понимает, что его жизнь, скорее всего, уже не будет прежней. Возникают новые заботы — надо искать работу, поступать в университет… и новые возможности — ты целуй меня везде, 18 мне уже<sup>5</sup>…

Символы становятся оружием в борьбе за статус индивидов и групп (идет ли речь о поддержании имеющегося или приобретении нового — неважно). Иерархии власти, авторитета и престижа артикулируются в символических различиях — маркерах принадлежности к тем или иным пластам общества. При этом современные общества, отличающиеся высоким уровнем мобильности и межгрупповых контактов, предоставляют немало возможностей для символической имитации статусов, более или менее искусного «пускания пыли в глаза» окружающим, когда за демонстрируемым *performance* не стоит соответствующее *quality*. В таких условиях символы статуса не обязательно оказываются подлинным свидетельством и точным индикатором действительного обладания статусом. В современных обществах потребления, где люди слишком озабочены собственным имиджем и производимым на других впечатлением, все так же действует старый принцип «не все то золото, что блестит». Но умение отличать золото от незолота, драгоценность от дешевой бижутерии требует определенных навыков социального опознания / правильной категоризации партнера, умения определять, кто сейчас перед тобой, с кем ты имеешь дело. Люди не просто стремятся казаться лучше, чем они есть на самом деле, и производить хорошее впечатление. Порой они прямо-таки самозабвенно — когда вполне намеренно, а когда и непроизвольно, — выдают себя за тех, кем «на самом деле» не являются. В царстве символов, в том числе

<sup>4</sup> Про некоторых «слишком рано» выданных замуж девушек раньше иногда говорили: она в первые годы (после) замужества продолжала еще в куклы играть.

<sup>5</sup> Некоторые сюжеты, относящиеся к обширной теме социального конструирования возраста, затронуты нами в: [Подвойский, Наумова, 2014].

символов словесных, образ и реальность не вполне различимы. Образ реальности срастается с реальностью образа. И тогда складывается ситуация, в которой «цыганка», гипнотизирующая ротозеев и простофиль, становится невольной жертвой (само)внушения, начиная верить «благородным своим королям»...

Как люди манипулируют названиями, в том числе авто- и гетеро-номинациями, в своих интересах, стремясь к под/(у)держанию, воспроизводству или увеличению своих разносортных капиталов? Об этом Бурдьё рассказывает достаточно подробно: «Управление названиями, будучи одним из инструментов управления материальными приоритетами и групповыми именами, в частности названиями профессиональных групп, регистрирует состояние борьбы и торгов по поводу официального обозначения, а также материальных и символических преимуществ, связанных с ним. Название профессии, которым наделены агенты, данное им звание являются положительным или отрицательным подкреплением (на том же основании, что и зарплата), поскольку отличительный знак (эмблема или клеймо), получая ценность своей позиции только в иерархически организованной системе званий, участвует тем самым в определении соотношения позиций между агентами и группами. В итоге агенты прибегают к практической или символической стратегии с целью максимизировать символическую прибыль от номинации: например, они могут отказываться от гарантированных для определенного поста денежных пособий, чтобы занять позицию менее оплачиваемую, но с более престижным названием, или обратиться к позиции, название которой более расплывчато, чтобы избежать тем самым эффекта символической девальвации. Так, определяя свою профессиональную идентичность, они могут назваться именем, которое охватывает более широкий класс, чтобы включить в него также агентов, занимающих более высокие позиции, допустим, учитель представляется преподавателем<sup>6</sup>. В более общем виде агенты всегда имеют выбор между несколькими названиями и могут играть на неизвестности и неопределенности, связанных с множественностью перспектив, чтобы постараться избежать приговора официальной таксономии.

Логика официальной номинации видна как никогда хорошо на примере звания — дворянского, ученого, профессионального, то есть символического капитала, гарантированного юридически...

...Так, за один и тот же труд можно получить разное вознаграждение в зависимости от того, кто его выполнил... Звание само по себе (как и язык) — институция более прочная, чем внутренние характеристики труда... Не относительная ценность труда определяет ценность имени, но институционализированная ценность звания служит средством, позволяющим защитить и сохранить ценность труда» [Бурдьё, 2007: 29—30, 31].

Примеров здесь можно приводить множество. Их отличия, эмпирическое разнообразие и зависимость «от страны и эпохи» никак не затушевывают действующего в них общего механизма.

<sup>6</sup> Так, например, должностная офисная номинация «секретарь-референт» может редуцироваться в чувствительной к характеристикам социального статуса речи, превращаясь либо в «секретаршу» (понижающая коннотация), либо в «референта» (повышающая, либо нейтрально-профессиональная коннотация). У представителя вспомогательного медицинского персонала за пределами круга коллегиального общения сохраняется возможность назваться «врачом» или «доктором».

Вырабатывающаяся как бы сама собой социальная корректность языка обеспеченных слоев российского общества сегодня требует введения новых номинаций. Женщину, которую в дореволюционной России называли бы просто служанкой, а в России советской — домработницей, в первые десятилетия XXI века могут определить, например, при помощи эвфемизма «помощница по хозяйству». Про уборщиц и уборщиков говорят как про специалистов клининг-сервиса. Даже (эпизодически) приходящие в обычные/небогатые квартиры уборщицы представляются порой «горничными». Общемировое дискурсивное поветрие переименовывает проститутку в работницу сферы секс-услуг (или коммерческого секса). И уж, конечно, мало кто осмелился бы сегодня (в публичном пространстве) называть такую женщину на библейский манер «блудницей».

В 1990-е годы языковая среда молодого российского капитализма совершала настоящие чудеса с новой социально-профессиональной номинацией «менеджер». Слово это де-факто вышло в тираж и стало употребляться не вполне по назначению как маркер принадлежности к предельно широко понимаемой коммерческой отрасли или сфере бизнеса. В организации (или «компании» — очередное «вкусное» слово из 90-х) менеджером могли назвать почти кого угодно, отнюдь не только профессионального управленца или руководителя. Функция этого слова — источать манящий запах рыночных отношений и ассоциирующейся с ними финансовой состоятельности (и как следствие — «сладкой жизни» после работы) в обнищавшем обществе, столкнувшемся с новыми экономическими реалиями. Именоваться менеджером (особенно поначалу, когда это слово только входило в оборот) было исключительно модно и престижно. Тот же курьер мог официально называться в организации менеджером отдела доставки, а для сотрудника «на подхвате», которому поручали разную работу, содержательно трудно фиксируемую одним конкретным словом, выдумывали должностную номинацию «менеджер специальных проектов». И почетно, и в то же время крайне неопределенно. Хотя платили этим людям, разумеется, отнюдь не как настоящим менеджерам.

«Слова, названия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой они ее выражают, и являются исключительными ставками в политической борьбе, в борьбе за навязывание легитимного принципа видения и деления... Агенты заняты непрерывными переговорами о своей идентичности: например, они могут манипулировать генеалогиями, как мы манипулируем (и с теми же целями) текстами *founding fathers* какой-либо дисциплины. Эта же цель преследуется в ежедневной классовой борьбе, которую социальные агенты ведут в изолированном и раздробленном состоянии, прибегая к оскорблениям как магической попытке категоризации... сплетням, молве, дискредитации, инсинуациям и т. п. ...

...Дворянские титулы, так же как и дипломы, представляют собой настоящий документ, подтверждающий обладание символической собственностью и дающий право на получение прибылей от ее признания... Обладатели большого символического капитала — *nobles*, то есть этимологически, кто известен и признан, — способны навязать свою шкалу цен, наиболее благоприятную для их собственной продукции... Официальная номинация, то есть акт, по которому кому-либо присуждается определенное право или звание, как социально признанная квалификация есть одно из наиболее типичных проявлений монополии легитимного

символического насилия, которая принадлежит государству или его официальным правителям. Тип диплома, например, является универсально признанным и гарантированным видом символического капитала, действующим на любом рынке» [там же: 79, 80—81].

Для символического подкрепления позиции индивида огромное значение имеет официальное документальное сопровождение «статусонаделения», осуществляемое теми или иными институциями, претендующими на авторитет и доверие, например, «вручение удостоверения (диплома эксперта, доктора, юриста и т. д.), подтверждающего, что некто уполномочен высказывать точку зрения, признаваемую более высокой по отношению к частным точкам зрения. В форме справки о болезни, свидетельства о неспособности или о способности такие точки зрения дают общепризнанные права владельцу документа. Государство выступает как центральный банк, обеспечивающий все удостоверения» [там же: 82].

«Сыщик с дипломом» из советского мультфильма «Приключения поросенка Фунтика» самому себе казался весьма важной персоной, особенно на фоне его коллеги — «сыщика без диплома», которому нечем было «козырять перед начальством». И он, вероятно, надеялся на получение сходной оценки собственных профессиональных компетенций со стороны окружающих, включая и заказчика его услуг — госпожу Беладонну.

В академическом мире похожую функцию выполняет, например, «остепененность» ученого или преподавателя: у меня есть диплом — я обоснованно ношу звание доктора наук, профессора и т. п. [Поэтому я имею право говорить, а ты нет. Или: мое мнение — хотя бы в силу одного этого обстоятельства (если других аргументов нет) — более весомое. Так как у меня есть официальное легитимное подтверждение этой «весомости» в виде соответствующего документа, подтверждающего мою квалификацию]. В одной известной автору статьи [советской] семье муж в ситуациях обсуждения спорных вопросов в шутку так осаживал жену: «А ты вообще кто, чтобы высказывать свое мнение?.. Не забывай, пожалуйста, я — кандидат наук, а ты простая колхозная женщина!» (хотя женщина была отнюдь не «колхозная»)..

Многие современные медицинские центры устанавливают более высокие цены за визит к специалистам, имеющим ученые степени (притом вполне официально, что находит отражение в соответствующих строчках прайс-листа на оказываемые услуги). Похожую функцию, хотя и не столь формализованно, выполняют сертификаты, развешанные на стенах врачебных кабинетов: они давят на пациента своей символической весомостью и призваны свидетельствовать, что врач, которому больной доверил свои проблемы, является медицинским экспертом-тяжеловесом (а значит пациент может чувствовать, что он находится «в надежных руках»). Хотя оценить эту мощь сам пациент обычно не в состоянии и ему остается лишь довериться институционально подкрепленному авторитету врачебной профессии, активированному в подобных «артефактах». Работу сходных механизмов можно наблюдать и в иных видах деятельности, в том числе в так называемых творческих профессиях — у артистов, художников, музыкантов, постоянно напоминающих публике и работодателям о своих символических «достижениях» — наградах, призах, премиях, членстве в профессиональных ассоциациях и академиях, победах

в конкурсах, накопленном признании и т. п. (например, при обосновании размера вознаграждения, величины гонорара, стоимости произведений).

В высокобюрократизированных обществах модерна символический статус «документа», то есть официального свидетельства о формально и по особой процедуре удостоверяемых качествах индивида или группы, выдаваемого какой-либо полномочной инстанцией, исключительно весом. В то же время у многих людей возникают небеспочвенные подозрения, что в этих процедурах может быть «не все чисто», а активные пользователи и обладатели цветастых символических реквизитов их попросту «дурачат», «водят за нос». Потому что не так уж редко обнаруживается, что символические капиталы оказываются [неоправданно раз-] дутыми, или, — если выражаться, усугубляя монетаристскую метафору, — поддельными или фальшивыми. В русском языке социальная незащитность «человека без бумажки» схвачена во всем известном афоризме. При этом люди отлично знают, что символическая поверхность бросающихся в глаза социальных признаков нередко скрывает пустоту.

Недостаточно компетентный обладатель степеней, званий, регалий, знаков отличия и подтверждающих их документов может утверждать свою власть над высококомпетентным необладателем перечисленных статусных атрибутов. Такие стратегии символического доминирования типичны для новейшей России, где механизмы конвертирования реальной репутации в формально-институциональную работают довольно плохо. О последнем свидетельствует, в частности, полумитационный характер систем экспертиз и сертификации в разных областях деятельности.

«Если тебе „корова“ имя, у тебя должны быть молоко и вымя. А если ты без молока и без вымени, то черта ль в твоём в коровьём имени!» — сокрушался в свое время В. Маяковский. Имя надо оправдывать, а с этим у некоторых его носителей, в том числе формально легитимных, бывают проблемы. Но легитимная номинация все же является хорошей защитой и ширмой, которую можно продолжать использовать, то и дело предъявляя общественности — слушателям, клиентуре, ученикам, целевой аудитории, индивидам с более низким символическим статусом или заинтересованным в твоих услугах, но некомпетентным в твоей области, и т. п.

У процедур чувствительной к социальным различиям и отчасти их конструирующей номинации имеется и «негативная» сторона. При помощи слов не только «возносят» (оправданно или нет), но и «опускают», принижают, и тогда, что называется, — «не отмоешься». За самономинации приходится так или иначе отвечать. Здесь действует принцип, схватываемый народным афоризмом «назвался груздем — полезай в кузов». Гетерономинации, использующие силу бытующих в обществе стереотипов, также в высокой степени социально принудительные и их бывает трудно игнорировать.

Одна из стратегий борьбы за символический капитал проявляется в попытках разоблачения противников или конкурентов, незаконно присваивающих чужие символы. Самозванец есть захватчик имени, извлекающий прибыль из эксплуатируемой им номинации. Социальное сокрушение такого персонажа оказывается успешным, если удастся убедить аудиторию, что кто-то носит гордое имя не по праву («говорят, царь не настоящий»; «а ты не летчик, а я была так рада любить героя

из летного отряда», и т. д. и т. п.). Лишение статуса и вытекающих из обладания им привилегий часто сопровождается символическим актом «лишения имени» (порой весьма болезненным), нисходящей рекатегоризацией индивида или группы в общественном сознании. Лишение наград, священного сана, предание анафеме, отзыв диплома, лицензии и т. п. — все это подрывает на корню амбиции социального актора, претендующего на легитимное обладание определенной долей символических благ.

Другая стратегия поддержания символического доминирования предполагает использование «негордого имени» для символической квалификации того, кого требуется «поставить на место», назвав «обидным словом» или «одним лишь росчерком пера».

Языки разных народов содержат богатейшие репертуары экспрессивных семантических средств, которые можно использовать в качестве эффективного оружия социально делегитимизирующей номинации. Заклеймить кого-то, навесить словесный ярлык, запускающий работу механизмов негативной социальной стереотипизации, назвать дурным именем, дискурсивно опозорить, унижить человека или принизить результат его деятельности, преуменьшив ее значимость, — способов существует множество. Например, человека, гордящегося своими корнями и происхождением, окрестить бастардом, безродным, «кухаркиным сыном», художника — маляром, высокое искусство поименовать мазней, а произведение профессионала, претендующее на зрелость и оригинальность замысла и исполнения, назвать ученическим, дилетантским, подражательным, поверхностным или посредственным... Коммерсанта всегда можно назвать торгашом, оратора — болтуном и демагогом, отличницу — заучкой или зубрилкой, поэта — стихоплетом, журналиста — грязным писакой, self made man — выскочкой, кулинарный изыск шеф-повара сравнить с бесхитростной, грубой стряпней из привокзальной забегаловки.

Или максимально актуальный пример из той же серии. В российском публично-полемическом дискурсе (на арене идейной борьбы, как сказали бы ранее) слова «(нео)фаши/зм/ст/стский» / «(нео)наци/зм/ст/стский» [террори/зм/ст/стический, экстремизм/зм/ст/стский, национали/зм/ст/стический] сегодня используются как экспрессивные ярлыки-клише, навешиваемые без особого разбора на политического и/или идеологического противника — с очень приблизительными, большей частью эмоционально-риторически и демагогически подкрепляемыми основаниями. Однако дискурсивная сила употребляемых слов, их ярко негативная окрашенность закономерно оборачиваются взаимной конфронтацией сторон, обменивающихся такого рода «любезностями». Градус взаимной брани предельно возрастает, в том числе и из-за употребления сенситивного для участников дискурсивных боев словаря. А сам разговор по формату превращается в нечто похожее на «высокоаргументированную дискуссию» мачехи и ее дочери из «Двенадцати месяцев»: «ты — собака, сама — собака». Слова, аллегории и сравнения бьют, как дубинка по индивидам, социальным категориям, группам, становящимся объектами вербальной агрессии.

Новейший виток российско-украинского противостояния предоставляет в распоряжение исследователя великое множество примеров того, как работают механизмы означивания и техники номинации при определении и маркировке

действий конфликтующих сторон (кого следует называть «плохими» словами, а кого — «хорошими»). Впрочем, ничего сущностно оригинального в этих дискурсивных столкновениях нет, поскольку борьба за права легитимной номинации «себя» и «противника/врага» сопровождала политические схватки на протяжении тысячелетий в разных регионах земного шара...

Стигматизирующая номинация, в том числе подтвержденная официально, в ряде случаев выступает не только как приговор, клеймо, но и как оправдательный документ, который носитель номинации может использовать в своих интересах. Справка, освобождение от тех или иных обязательств и повинностей, «отвод», медицинский, в частности психиатрический, диагноз... не только ограничивают в правах, но и дают возможности, защищают их обладателя: я болела — могла не ходить на занятия, у меня есть подтверждение [на бланке, с подписью и печатью], я нервнобольной человек и т. п. Во многих случаях (документально или как-то иначе<sup>7</sup>) удостоверенная социально классифицирующая номинация является легитимным объяснением и страховочным прикрытием «особости» конкретного индивида, претендующего, соответственно, на «особое» к себе отношение. Документ, конечно, может «врать», но при этом все же оставаться документом, и с тем, что там написано, участникам социальных взаимодействий приходится считаться.

В политике и религии, духовной жизни роль языковых символических средств маркировки социальных объектов всегда была предельно велика. «Одна из простейших форм политической власти заключалась во многих архаических обществах в почти магической власти: называть и вызывать к существованию при помощи номинации», — напоминает Бурдьё [Бурдьё, 2007: 24]. В обществах постархаических эти практики модифицировались, усложнялись, но отнюдь не исчезали. Право называть вещи, явления, индивидов определенными именами и тем самым их возвышать или унижать, священные ритуалы, содержащие заклинания, включающие клише сакральных языковых формул, способность и легитимное полномочие управлять людьми через применяемые и озвучиваемые классификации, производимые сортировки и селекции (в том числе такие как отделение своих от чужих, правоверных от еретиков, навешивание на кого-то ярлыков отступника, предателя, врага народа, изменника родины и т. д.) традиционно использовались в арсеналах лиц, групп и институтов, претендовавших на обладание светской и духовной властью. Развивая свою мысль (ссылаясь при этом на Г. Шолема), Бурдьё продолжает: «...Слово, имеющее наибольшую ценность, — священное слово... Наиболее универсальная стратегия для профессионалов производства символической власти, поэтов в архаических обществах, пророков, политиков заключается, таким образом, в том, чтобы заставить здравый смысл работать на себя, присваивая себе слова, ценностно нагруженные для любой группы, поскольку они выражают ее веру» [там же: 47].

Молоток слова, подкрепленного силой коллектива, бьет по чувствительным клавишам человеческого восприятия. Наказание словом работает уже само по себе, даже если за словами не следует какой-то дополнительной негативной санкции. Оглашение, озвучивание, обнародование приговора как таковое может

<sup>7</sup> Так, людям, именуемым в народе «блаженными» или «юродивыми», в старину никто специальных справок не выдавал, но слово — социальная номинация — говорило само за себя.



казаться весьма ощутимым — и рассматриваться как акция, отличная от собственно приведения его в исполнение. Многочисленные примеры воздействия на индивида авторитетных номинационных заключений и экспертиз, исходящих от коллектива, приводимые Марселем Моссом, выглядят в данном отношении прекрасной иллюстрацией: человеку говорят, что он нарушил священный запрет, что он больше «не жилец», после чего он просто ложится и умирает (без всякой посторонней помощи) [Мосс, 2011]. Даже если этнографические иллюстрации такого рода следует рассматривать как исключительные, пограничные случаи, закономерность, которую они демонстрируют, остается верной по существу. Сила социального внушения, в том числе через присвоение номинации, может быть достаточно высокой. Если, например, отец какого-нибудь конкретного юноши или какой-нибудь конкретной девушки объявлен «врагом», а народ, страна, партия, руководство, трибунал... ошибаться не могут и наделены правом легитимного суждения относительно чьей-то вины, то едва ли окажется удивительной реакция большинства окружающих: бывшие друзья и подруги, являющиеся «рабами» конформистских коллективных установок, отворачиваются от человека, поскольку над ними довлеет авторитет репрессивного и дискриминирующего, стигматизирующего словесного определения, окрашивающего образы тех или иных игроков социальной сцены в темные цвета (определения, от которого они не в состоянии полностью абстрагироваться).

### **Пленительные образы знаковой вселенной и культура современного консьюмеризма**

Роль символов в жизни людей может осмысляться в универсальных категориях теории социального взаимодействия (как это сделано у Сорокиной) или концепции (вос)производства символических капиталов (как это сделано у Бурдьё). В сущности, до сих пор речь шла о попытках описать работу механизмов символических систем в обществах любого типа (или, как в случае с Бурдьё, — в обществах более или менее дифференцированных). В обществах высокого модерна, как бы мы их ни определяли, «буйство» символического фетишизма (и разнообразие его форм) выглядит поистине впечатляющим. Оно прямо-таки мозолит глаз. Поэтому постановка вопроса о специфике функционирования элементов символической вселенной в так называемых обществах потребления кажется вполне оправданной. И здесь нам поможет Жан Бодрийяр, работы которого, посвященные указанной теме, уже можно считать (и вполне заслуженно) своего рода «классикой жанра».

Бодрийяр, как и Бурдьё или любой другой исследователь феномена престижно-демонстративного поведения, знакомый с работами Т. Веблена, в том числе с «Теорией праздного класса», прекрасно осознает тривиальную социологическую закономерность: группа обычно стремится охранять признаки собственного статуса, в том числе чисто внешние и хорошо наблюдаемые. Символические маркеры групповой принадлежности нужны для поддержания межгрупповых границ, социального и психологического самоутверждения, опознания себе подобных и различения/размежевания с теми, кто тебе не ровня.

О социальных координатах индивида (без лишних слов) говорят его поступки — чем он занимается на работе и после, как проводит досуг, на что тратит деньги,

с кем дружит и кого избегает. Ко всему этому прибавляется и его речевое поведение, и тогда уже слова выступают как самые настоящие поступки. «Начиная с момента, когда язык, вместо того чтобы быть переносчиком смысла, наполняется коннотациями принадлежности, превращается в лексику группы, становится принадлежностью класса или касты... начиная с момента, когда язык, *средство обмена*, становится *материалом обмена*, предметом внутреннего потребления группы или класса... начиная с момента, когда, вместо того чтобы заставить циркулировать смысл, он циркулирует сам собой, как пароль, как пропуск в процессе тавтологии группы (группа говорит сама с собой), тогда язык оказывается объектом потребления, фетишем» [Бодрийяр, 2006: 163].

Умение изящно говорить по-французски в русском аристократическом салоне, свободно говорить по-латыни на ученые темы в стенах старого европейского университета, правильно и виртуозно пользоваться трехэтажным матом в пивной близости от грузового порта, способность поддержать в компании гуманитариев непринужденный разговор о Кьеркегоре как предшественнике экзистенциализма, о Бахтине, Лотмане и московско-тартусской школе, о Веберне и Шёнберге, особенностях тоновой структуры григорианского хора, экспрессионизме и Баухаусе... etc... — все это и многое другое будет иметь значение в ситуации речевого взаимодействия (какую бы «глупость» вы там ни говорили). Все это не останется незамеченным собеседником. На любую фальшь и промахи опытные наблюдатели тоже обратят внимание. Само же существо, содержательное наполнение разговора может восприниматься как сугубо второстепенное дело; главное, что участники беседы символизировали некоторыми параметрами речевого поведения свою принадлежность к группе (из чего проистекает чувство: «ты — наш»).

Но в обществе потребления вдобавок к этому происходит что-то диковинное. Символ уже не просто что-то символизирует, что-то выражает и отражает, что-то — что есть *на самом деле*. Он нечто имитирует и симулирует (богатство, образованность, жизненный успех, личное счастье и т. п.). «Действительность» как бы раздваивается и ускользает от наблюдателя в потоке замещающих ее «образов». Образы видны, наличествуют, кричат, заявляют о себе, бьют по глазу своей нескромностью, а онтологический статус отображаемого ими — того, что «на самом деле», — повисает в воздухе, растворяется, теряется. Совокупный символический двойник реальности, множество ее оттисков и отпечатков есть царство симулякров и симуляции.

«В постмодернистской<sup>8</sup> ситуации... оппозиция между действительностью и знаками стирается и все превращается в симулякр. В пространстве тотальной симуляции не существует больше границ между реальным и воображаемым, реальность отныне переходит в ранг гиперреальности, характеризующейся господством чистых ирреферентных симулякров... и заменой реального знаками реального... Согласно логике гиперреального, симулякры больше не являются отображением реально существующих объектов, отныне само реальное является вторичным по отношению к симулякрам...» [Печенкина, 2013: 6—7].

Для «общества потребления», пишет Бодрийяр, характерен «отказ от действительности на основе жадного и умножающегося изучения ее знаков... Повседневность...

<sup>8</sup> Отвлекаться на разговор о концептуально-терминологической квалификации общества потребления как общества «модернистского» или же «постмодернистского» здесь нет особой необходимости.

была бы невыносима без подобия мира, без видимости участия в мире. Ей нужно питаться образами и умноженными знаками этого трансцендентного мира» [Бодрийяр, 2006: 16]. Реальность, освоенная и присвоенная обладателем смартфона, находится внутри маленькой коробочки — и она (парадоксальным образом) интереснее и увлекательнее для «вольного кочевника» цифровой эпохи, чем большой мир вокруг. Если вас нет в сети, вас нет и в мире; если вы не выложили фотосвидетельства вашего путешествия, присутствия, счастья, удовольствия... то никто вам не поверит: что вы где-то были, что-то видели своими глазами, были счастливы, получили удовольствие. И какой тогда смысл всех ваших удовольствий, перемещений в пространстве, вашей мобильности, карьеры, нового опыта, впечатлений, достижений? Поэтому осваивать надо не реальность «за окном», а реальность «за экраном»! (Совет ровно противоположный максиме романтиков-шестидесятников, призывавших «жить километрами, а не квадратными метрами».)

Французский мыслитель констатирует: в обществах последней трети XX века везде и всюду наблюдается «замена реального знаками реального...» [Бодрийяр, 2013: 18]. Эту мысль выражает прекрасная метафора: «Территория больше не предшествует карте и не переживает ее. Отныне территории предшествует карта... Обрывки территории медленно гниют на поверхности карты» [там же: 16—17].

А вот еще одна, более подробная экспликация той же общей мысли: «Если рассматривать знак как соединение обозначающего и обозначенного, то можно выделить два типа смешения. У ребенка, у „примитивного“ человека обозначающее может уничтожиться в пользу обозначенного (ребенок воспринимает свое собственное изображение как живое существо, или африканские телезрители спрашивают себя, куда пошел человек, который только что исчез с экрана). Напротив, в образе, направленном на самого себя, или в послании, выстроенном на коде, обозначающее становится своим собственным обозначенным, существует круговое смешение обоих в пользу обозначающего, уничтожение обозначенного и тавтология обозначающего. Именно это характеризует потребление, систематический эффект потребления на уровне средств массовой информации. Вместо того чтобы двигаться к миру благодаря посредничеству образа, образ обращается на самого себя в обход мира (именно обозначающее обозначает самого себя позади видимости обозначенного). Осуществляется, таким образом, переход от послания, сосредоточенного на обозначенном — это переходное послание, — к посланию, центрированному на обозначающем» [Бодрийяр, 2006: 161].

И далее, вполне в духе Маклюэна, Бодрийяр продолжает: «В случае ТВ существует идеологический код массовой культуры (система моральных, социальных и политических ценностей) и способ разбивки, артикуляции, диктуемой медиумом, что навязывает некоторый тип дискурсивности, нейтрализует многообразное и подвижное содержание посланий и заменяет их собственными медийными повелительными принуждениями к смыслу» [там же: 162].

Свой диагноз гиперреальности общества потребления Бодрийяр поставил приблизительно за четверть века до ухода человечества в цифру. Но даже в 1970—1980-е годы была ясна общая тенденция. Уже эпоха телевидения как ключевого медиа представляла предвестницей смерти «реального» мира и грядущего торжества симулятивной виртуальности в СМИ. Бодрийяр, конечно, не знал слов романа

кота Матроскина, но, вероятно, отнесся бы к ним с полным пониманием. Перестать мечтать о морях, променять природу (бурю и свежий ветер в лицо) на телевизор — таков удел потребителя массового культурного контента в обществах конца XX века. Даже если «там» показывают природу, природа «в ящике», на экране, на картинке оказывается в некотором роде «реальнее», и уж точно — ярче и эффектнее настоящей. Один типичный представитель успешной и активной прослойки городского населения (мужчина в расцвете сил и с большими возможностями) однажды честно признался: разноцветной жизнью кораллового рифа, сияющими горными вершинами, зеленым лабиринтом джунглей, культурными и ландшафтными достопримечательностями гораздо проще и безопаснее, приятнее и дешевле любоваться, глядя на огромную плазменную панель телевизора, чем «вживую» (и говорил это — что весьма показательно, — отнюдь не малообеспеченный или маломобильный человек, не прикованный к постели, не пожилой и больной пенсионер).

Эпоха персональных компьютеров, почти тотальной интернетизации последовательно радикализовала и усугубила намеченную тенденцию принудительной виртуализации социокультурного космоса современности. Гиперреальность теперь не привязана к шнуру электропитания телевизора и к какому-либо конкретному месту, она вездесуща и сопровождает индивида во всех его физических перемещениях. Своего господина, «черного карлика» Тэффи, можно теперь взять с собой на моря, в горы, сельву, пампасы... и там продолжать ему верно служить: выкладывать изображения, видео и комментарии к ним в сеть, обрабатывать в фотошопе или иных специализированных программах картинку, украденные у «жалкой несимулированной реальности», приукрашать их и превращать «в сказку», обогащать свою ленту, писать посты, внимательно следить за реакцией аудитории в режиме реального времени, калькулировать лайки, заниматься сетевым социальным самолюбованием/хвастовством, не уставать производить впечатление, привлекать поклонников, красоваться перед публикой, искать ее одобрения... Красота, глубина, величие, противоречия, контрасты, конфликты, драматизм жизни за окном при такой «оптической» установке сознания выступают лишь случайным предлогом, поводом для разворачивания тех или иных виртуальных самопрезентаций и перформансов. Самобытность реальности оказывается убита ее объемными голографическими изображениями; до оригинала уже, кажется, нет никому никакого дела, всех интересуют только копии.

Как происходит отделение образа от реальности, знаменующее обособление симулякра от того, что он симулирует? Бодрийяр выделяет четыре «фазы эволюции образа»: 1) «он есть отражение базовой реальности»; 2) «он маскирует и искажает базовую реальность»; 3) «он маскирует отсутствие базовой реальности»; 4) «он не имеет отношения к какой-либо реальности, чем бы она ни являлась: он является своим собственным чистым симулякром»<sup>9</sup> [Бодрийяр, 2013: 23]. На последних двух этапах симулякр пускается в свободное плавание в культурно сконструированном мире гиперреальности, отрываясь от собственных «референтных» подпорок. Симулякры приобретают самостоятельность и начинают жить своей особой увлекательной и яркой жизнью, управляя социальным поведением людей. Умение

<sup>9</sup> Здесь, правда, возникает резонный вопрос: всякий ли образ так эволюционирует, всегда ли дело доходит до второго, третьего или четвертого пункта?

пускать пыль в глаза, притворяться реальностью, выдавать себя за нее есть фундаментальное свойство симулякра.

Процесс, о котором рассуждает Бодрийяр, может быть условно описан при помощи лингвистических терминов. Означающее отрывается от означаемого, подминая его под себя. Семиотический треугольник Фреге (объект / денотат / референт — понятие / смысл / идея / сигнификат — знак/слово) становится косоугольным, отнюдь не равносторонним: знаковая вершина фигуры перевешивает две другие. Выражаемые знаком концепты и соотносимые с ними компоненты предметного мира — все это меркнет и растворяется за фасадом знаковой оболочки.

На следующем витке аргументации соссюровская семиотическая пара означающего/означаемого сопоставляется (оказываясь рядоположенной) с Марксовой политэкономической диадой меновой и потребительной стоимости. В обществе потребления первые члены названных бинарных оппозиций явно доминируют над вторыми. Как результат умножения Маркса на де Соссюра образуется «политическая экономия знака», а ее ключевым концептом становится понятие «знаковой меновой стоимости». «Потребительная стоимость и означаемое субординированы относительно меновой стоимости и означающего. Потребительные стоимости и потребности суть не более чем эффекты меновой стоимости; означаемое и референт — не более чем эффекты означающего. Лишь в игре меновой стоимости и означающего потребительная стоимость и означаемое получают залог своей реальности...» [Фурс, 2002: 18—19].

В. Н. Фурс в статье, посвященной разбору взглядов французского мыслителя, пишет: «Действительная теория потребления основывается не на теории потребностей и их удовлетворения, а на теории социального означивания: именно социально-знаковая характеристика потребляемой вещи является фундаментальной, а ее полезность — не более чем прагматическое подтверждение или даже чистой воды рационализация... [Бодрийяру удалось] предложить более последовательную и радикальную трактовку фетишизма — уже не товарного или денежного, а фетишизма всевозможных предметов потребления. Само по себе подобное расширение марксовской концепции фетишизма далеко за пределы области материального производства (когда говорят о фетишизме новинок, автомобилей, секса, туризма и т. п.) в настоящее время стало общим местом... Если фетишизм вообще имеет место, то это не фетишизм означаемых (субстанций и содержаний), которые вещь воплощает для отчужденного субъекта, а фетишизм означающих, то есть захват субъекта тем, что в объекте есть различительного, кодированного, систематизированного. В фетишизме говорит не страсть субстанции, а страсть кода... Действительный фетишизм связывается с вещами, из которых выпотрошены их субстанция и история и которые сведены к состоянию различительного знака» [там же: 9, 16].

На самом деле буржуазный фетишизм вещей и денег в обществах высокого потребления, о которых писал Бодрийяр, никуда не исчезает. Он скорее «расшифровывается», демонстрирует себя как фетишизм знаков, социально-аксиологическая нагруженность которых передается, транслируется циркулирующим в обществе конкретным материальным благам (вещам) и благам абстрактным, обладающим универсальным меновым потенциалом (каковыми являются деньги). И то, и другое,

благодаря такому означиванию превращается в символический «объект поклонения» и утверждает себя в качестве ценного людьми ресурса и «капитала».

С точки зрения Бодрийяра, все мы сегодня потребляем не столько товары в их потребительной ценности/стоимости (по Марксу), сколько бренды, имидж, не вино, а этикетку, — допустим, Шато Лафит-Ротшильд. И зависим мы при этом не столько от «ложных потребностей», как сказали бы неомарксисты, сколько от символических знаковых структур, воспроизводящих статусные различия. (Хотя и ничто не мешает, с другой стороны, считать зависимость от знаковых структур, особенно чрезмерную, «ложной потребностью»). У Фромма носитель рыночного характера ставит модус обладания выше модуса бытия, хочет иметь, а не быть. У Бодрийяра человек консьюмеристской эпохи стремится не быть, а «слыть», казаться. Он выставляет себя не просто на продажу, но и напоказ, он сам не quality, а performance. Он весь ориентирован на производимое впечатление (хотя бы и ложное), и важнейшим навыком для него становится умение манипулировать знаками. Неважно, кто ты — важно, как называешься, как выглядишь и кем тебя считают. Вещи, находящиеся в распоряжении индивида, опять же ценны не сами по себе, а как знаки-свидетельства, сообщающие нечто об их обладателе.

Капитализм научился продавать символические блага, наряду с благами материальными, вещественными. Вернее, первые и вторые различимы обычно лишь аналитически, потому что привязаны часто к одному носителю, лежат буквально в одной и той же коробке. При этом прибыль извлекается не только из самих товаров, но и из их образов в коллективном сознании — имен, брендов, имиджа, стиля, дизайна. Иначе говоря, рыночная экономика вместе с вещами и услугами, иногда настоящими «пустышками» — в том же самом акте продажи товара, — организует торговлю знаками как общественно разделяемыми «иллюзиями», продуктами коллективного воображения.

Пожалуй, каждое поколение может предъявить — в виде ли воспоминаний о дне вчерашнем или наблюдений дня сегодняшнего — свой собственный багаж примеров, в которых проступали бы или просвечивали теоретические суждения Бодрийяра. У каждой генерации — свои кейсы.

Роль брендов в современной рыночной экономике — тема, изученная и отрефлексированная, в том числе осмысленная на уровне повседневности. Сегодня ее обсуждать уже не так интересно, однако еще несколько десятилетий назад, по крайней мере в России, ситуация была иной. Открыто осуждавшее идеологию потребительства советское общество, особенно в период своего заката, было по существу потенциально консьюмеристским. И когда препятствия для удовлетворения накопившегося потребительского голода были устранены, энергия населения, жаждавшего припасть, наконец, к благам капиталистической цивилизации, вышла наружу. Показательно в этом смысле магнетическое воздействие, которое оказывали на позднесоветского человека товары, вещи, артефакты, социальные практики, модели поведения, ассоциировавшиеся с заграничной, зарубежными странами, «жизнью за бугром» (разумеется, это воздействие до поры до времени должно было ретушироваться). Тем не менее тайное идолопоклонство в отношении всего иностранного, особенно в крупных городах, было налицо. Холодильник Rosenlew был не просто хороший, он был вдвойне хороший — потому что был

финский. Вспоминается момент из экранизации «Двенадцати стульев»: Эллочка Щукина и ее подруга, угостившиеся папироской, любезно предложенной Бендером, сразу же почувствовали разницу в качестве табака (абберация физических ощущений, самовнушение), как только в их поле зрения попала заграничная наклейка на пачке, ловко приделанная на ходу рассчитывавшим на такой эффект «великим комбинатором». Настроения и устремления людей брежневской эпохи в этом эпизоде, помещаемом в комедийное изображение нравов эпохи НЭПа, схвачены достаточно точно.

Важную роль в подкреплении фетишизируемых символов играл язык — магия звучания иностранных слов (особенно для обычного человека, «в норме» не знавшего никаких языков кроме русского, но испытывавшего влечение, например, к вещам и предметам, имевшим заграничные названия). Иностранные товары в советском обществе были объектами престижного потребления, а объектами символического престижного у-потребления были иностранные слова. Один человек, переживший этап молодежной алкогольной инициации в 1970-х, вспоминал, что всегда мечтал попробовать кальвадос. Осуществить свое желание ему довелось только в 1990-х, и в результате, как можно догадаться, он был разочарован. Общий вывод рассказа звучал так: «Я понял, что этот напиток представляет собой некое подобие яблочного или грушевого самогона (номинационная десакрализация объекта), и единственное, что могло вызывать восхищение, — это само его диковинное (для русского уха) название. На вкус [как выяснилось] бурда бурдой, но звучит красиво!».

Романтизация иностранных названий постепенно ушла в прошлое, импортные товары заняли полки российских магазинов. Подросли поколения, которые перестали воспринимать эти слова и обозначаемые ими предметы потребления как нечто экзотическое. А раньше любая надпись латинским шрифтом воспринималась как почти что сакральная, эзотерическая вязь. Произведенную в домашних условиях одежду украшали названиями зарубежных фирм и торговых марок (порой написанными с ошибками). Потенциальной аудитории необходимо было показать лейбл, логотип, фирменную нашивку, бирку, ярлык. Притягательность и очарование имени работали на сто процентов. От слов исходила аура, слова источали флюиды. Когда эмпирические референты этих слов стали досягаемы, особенно на первых порах, у людей могло возникать чувство, что они — участники настоящего символического пиршества, попавшие на праздник «причащения святых даров» капиталистической эпохи. Не вода из-под крана, не привычные Нарзан или Боржом, а Эвиан, Перье или Сан Пеллегрино. Не сыр, а камамбер, горгонзола, пармиджано реджано, грано падано. Не тамбовский окорок, а хамон иберико или прошутто крудо. Не медовик, печенье, слойка, булочка, вафля или рогалик, а круассан, эстерхази, брауни, тирамису, панакота, профитроли; не пельмени, а равиоли; не соленые огурцы, а корнишоны; не пирог, а киш лоран или тарт фламбе, не водка, горилка, зубровка, первач, наливка, а самбука, текила, гран марнье, куантро, блю кюрасао<sup>10</sup>... И дело не только в том, что все это было ново,

<sup>10</sup> Заимствованные слова, вошедшие в стандартный языковой обиход ранее, естественно, ни на кого особого впечатления не производили, как и сегодня все перечисленные — на того, кто к ним уже привык и не воспринимает их как престижные социолингвистические новации.

диковинно и вкусно. Это был «бальзам на ухо» человека, остро чувствовавшего символическую прелесть и статусность вещей, товаров и продуктов заграничного происхождения, об обладании которыми и потреблении которых раньше можно было только мечтать. Но сами по себе потребление и обладание (вещами) не приносили бы такого удовлетворения, не выступали бы индикаторами «сладкой жизни», если бы не сопровождались символическим употреблением имен. Даже если что-то на поверку оказывалось не таким уж прекрасным, все-таки приятное послевкусие от приобщения к чему-то возвышенному и благородному обычно оставалось...

Общая модель фетишизации дефицитных культурных благ работала и в иных областях, например, при особом роде символизации, наделении высокой социальной аттрактивностью малодоступных обычному человеку географических мест и территорий, локаций и самих их названий. Увидеть Париж (Рим, Венецию... etc) [и умереть]. Ослепнуть от восторга при виде снегов Килиманджаро или бушующей стремнины Ниагарского водопада. Побывать на Таити (острове Пасхи, Фиджи... etc), Огненной Земле, мысе Доброй надежды. Проплыть по протокам Амазонки или Ориноко<sup>11</sup>. Стоять на палубе шикарного белоснежного лайнера, вглядываясь в синюю даль, с элегантно небрежностью бросать в океан окурки и потягивать ямайский ром из стильного барного стакана... Все эти образы человеку с богатым воображением, топографически и топонимически чувствительному, но находящемуся за «железным занавесом», должны были казаться настоящей сказкой, чем-то из мира фантазий и грез. То же могло касаться и символического притяжения (для индивидов с несколько иными культурными паттернами и жизненными устремлениями) отдаленных и труднодоступных мест в своем собственном отечестве, например, Северного морского пути и великих сибирских рек, Чукотки, Камчатки, берегов Берингова пролива, Командорских островов, сопки Сихотэ-Алиня, города Кушка, пиков Тянь-Шаня и Памира, и т. п.

### **«Мера всех вещей», знак всех знаков...**

Зависимость от знаков в процессе материального или духовного потребления начинает со всей очевидностью проступать тогда, когда сама удовлетворяемая при этом «содержательная» потребность оказывается вторичной: когда едят и пьют не для того, чтобы утолить голод и жажду, набить живот или почувствовать опьянение. Вернее, тогда именно «потребность в потреблении» (или культурном присвоении) знака выступает основной, когда становится принципиальным вопрос, из какого бокала пить. В то же время крайний и простейший случай потребительского фетишизма имеет место тогда, когда можно сказать: само количество нулей на ценнике уже есть знак, и в некотором роде ключевой для определения статуса конкретного акта потребления. Если человек не разбирается в марках одежды и модных трендах, не может оценить символические достоинства напитков и кушаний, не является экспертом в виноделии, живописи, антикварном и ювелир-

<sup>11</sup> Разумеется, для индейцев, живущих на берегах амазонской речной сети, или африканцев, пасущих стада на фоне Килиманджаро, сама номинация «оказаться на берегах Амазонки / у подножия Килиманджаро» означала бы нечто принципиально иное — не то же, что для советского школьника, зачитывавшегося приключенческими романами о дальних странах и странствиях и ощущавшего магическое воздействие географических названий (которое подорвалось не только интересом к теме, но и тем, что никто в его окружении на далекой Амазонке ни разу не бывал).



ном деле, имеет «неразвитый» вкус, он все же может — в качестве последнего, довольно грубого, но самого веского довода в пользу символической значимости осуществляемого им действия или выбора, — озвучить «цену ценности», и против этого аргумента трудно будет что-то возразить.

У почти бесконечного разнообразия элементов знаковой вселенной должен быть некий общий знаменатель. Образы мира, обладающие, как порой кажется, почти эфирной природой, тоже чего-то (вернее — сколько-то) стоят. Иметь у себя в доме картину такого-то художника будет считаться престижным и почетным, но и она всегда, в любой конкретный момент, имеет какую-то цену, способна дорожать и дешеветь и может быть при желании превращена в какую-то эквивалентную в монетарном отношении ценность (по текущему обменному курсу, который для всех видов благ может колебаться). В этом смысле деньги сохраняют свой привилегированный статус в знаковой вселенной консьюмеристского общества, потому что могут максимизировать объемы потребления их обладателей и свободно конвертировать друг в друга его эмпирически конкретные (преходящие, устаревающие, ветшающие, выходящие из моды) формы.

В чистой меновой денежной стоимости, в этом «абсолютном означающем» выхолащивается всякое конкретное содержание человеческих потребностей (потребительных стоимостей). Все то, что может быть «означено», потенциально выражено посредством денег, исчислено их универсальной мерой, все, на что можно повесить ценник, все специфически содержательное утрачивает первостепенное значение. Эмпирические различия несходных, порой даже несопоставимых, уникальных «означаемых», будучи измеренными общим аршином денег как формальной и абстрактной символической системы, отходят в конечном счете на второй план. Единственное, что сохраняет важность, — это размер, объем денежной массы, находящейся в распоряжении индивида. Деньги — самая «иллюзорная» и «фиктивная», формально-конвенциональная и условная ценность на свете — делают иллюзорным и фиктивным все вокруг, выражая через себя любые конкретные содержательно определенные ценностные величины.

Таким образом, можно утверждать: описанный Марксом универсальный монетарный/денежный фетишизм как специфическая примета современности сохраняется и не спешит уходить с исторической сцены. Самыми важными «именами» в эпоху массового потребления, как и во все предшествующие фазы эволюции цивилизации модерна, остаются числа, наборы цифровых значений, выражающие плавающие и взаимно соотносимые меры стоимости вещей, услуг, любых социальных и культурных объектов<sup>12</sup>.

\* \* \*

Человек есть существо производящее, вбрасывающее в мир смыслы. При этом процесс производства смыслов — предприятие коллективное. Но смыслы, циркулирующие в обществе (меж людей), не могут сохранять трудноуловимое «газообразное состояние», они неизбежно кристаллизуются, отвердевают, в том числе в символических формах. Бесплотная, чистая мысль должна за что-то цепляться,

<sup>12</sup> См. об этом подробнее в: [Подвойский, 2021].

к чему-то прикрепляться, в результате она становится мыслью интенциональной, мыслью «о чем-то». И мысли нужен не только объект, референт, ей нужен язык как своего рода форма. «Язык есть дом бытия», — говорил Хайдеггер. Поэтому люди создают символы как внешние объективации смысла, как опредмеченные смыслы, без которых социальная жизнь была бы (технически) невозможна. С другой стороны, имеются подозрения, что эти жилища духа для него лишь временный приют и более напоминают плохо сколоченные фанерные коробки, а бытие на самом деле является бездомным и неприкаянным, вынуждено вечно скитаться и бродяжничать, обивать пороги ночлежек, перемещаясь от одного чужого угла к другому.

Символические системы создаются людьми, так же как и многочисленные социально-институциональные комплексы (семья, государство, экономика, религия). Собственно, и сам человеческий язык можно рассматривать как институциональную систему, или точнее — как систему, воплощающуюся, пребывающую и функционирующую в институциональных формах. И люди в процессе взаимодействия друг с другом приобретают, вырабатывают хроническую склонность — относиться к подобным своим созданиям как к живым существам. Именам и изображениям этих «картонных» богов приносятся жертвы. Хотя наблюдатель акта жертвоприношения всегда может поставить вопрос: что перед нами — живой Бог или компания истуканов?

В итоге везде и всюду бесконечно повторяется одна и та же история. Символы, как и институты, правят миром при посредстве людей, а не наоборот. Наездник выпускает поводья из рук и вручает свою судьбу лошади. Калейдоскоп образов, проносящихся перед глазами в этой скачке, завораживает и пугает одновременно. Но эффект производства коллективно конструируемой знаково-символической и институциональной вселенной не является сновидением, а все происходящее с ревностными служителями власти символов и институтов (иначе говоря, с людьми как «неизлечимыми фетишистами») оказывается реальным по своим последствиям.

## Список литературы (References)

Бодрийяр Ж. Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006.

Baudrillard J. (2006) *La société de consommation: ses mythes et ses structures*. Moscow: Cultural Revolution, Respublika. (In Russ.)

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013.

Baudrillard J. (2013) *Simulacres et simulation*. Tula: Tulskiy poligrafist. (In Russ.)

Бурдьё П. Социология социального пространства. М.; СПб.: Ин-т экспериментальной социологии: Алетея, 2007.

Bourdieu P. (2007) *Sociologie de l'espace social*. Moscow, St. Petersburg: Institute of Experimental Sociology; Aletheia. (In Russ.)

Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С. 55—124.

Durkheim E., Mauss M. (2011) De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des représentations collectives. In: Mauss M. *Society. Exchange. Personality. Proceedings in Social Anthropology*. Moscow: KDU. P. 55—124. (In Russ.)

Мосс М. Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // Мосс М. *Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии*. М.: КДУ, 2011. С. 286—303.

Mauss M. (2011) Effet physique chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité (Australie, Nouvelle-Zélande). In: Mauss M. *Society. Exchange. Personality. Proceedings in Social Anthropology*. Moscow: KDU. P. 286—303. (In Russ.)

Печенкина О. А. Эра тотальной симуляции, или искусственное воскрешение реальности // Бодрийяр Ж. *Симулякры и симуляция*. Тула: Тульский полиграфист, 2013. С. 3—15.

Pechenkina O. A. (2013) The Era of Total Simulation, or the Artificial Resurrection of Reality. In: Baudrillard J. *Simulacres et simulation*. Tula: Tulskiy poligrafist. P. 3—15. (In Russ.)

Подвойский Д. Г., Наумова Н. П. Детство как социально конструируемый феномен // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2014. № 2. С. 43—60.

Podvoyskiy D. G., Naumova N. P. (2014) Childhood as a Social Construct. *RUDN Journal of Sociology*. No. 2. P. 43—60. (In Russ.)

Подвойский Д. Г. «Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность — деньги — техника (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 670—696.

Podvoyskiy D. G. (2021) "Dangerous Modernity!", or the Shadow Play of Modernity and Its Characters: Instrumental Rationality — Money — Technology (Part 1). *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 21. P. 670—696. (In Russ.)

Фурс В. Н. Радикальная социальная теория Жана Бодрийяра // Социологический журнал. 2002. № 1. С. 5—40.

Furs V. N. (2002) The Radical Social Theory of Jean Baudrillard. *Sociological Journal*. No. 1. P. 5—40. (In Russ.)

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2054](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2054)



**Н. П. Космарская**

## **ИЗУЧЕНИЕ НИЗОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИГРАНТАХ В РОССИИ И ЕВРОПЕ: МЕТОДЫ, КОНЦЕПТЫ, ЛОКАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ**

**Правильная ссылка на статью:**

Космарская Н. П. Изучение низовых представлений о мигрантах в России и Европе: методы, концепты, локальные контексты // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 26—48. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2054>.

**For citation:**

Kosmarskaya N. P. (2022) Research on Popular Perception of Migrants in Russia and in Europe: Methods, Concepts, Local Contexts (A Review). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 26–48. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2054>. (In Russ.)

Получено: 28.08.2021. Принято к публикации: 02.10.2022.

## ИЗУЧЕНИЕ НИЗОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИГРАНТАХ В РОССИИ И ЕВРОПЕ: МЕТОДЫ, КОНЦЕПТЫ, ЛОКАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ

*КОСМАРСКАЯ Наталья Петровна* — старший научный сотрудник, Институт востоковедения Российской академии наук, Москва, Россия  
E-MAIL: [natkos2003@mail.ru](mailto:natkos2003@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-0122-3375>

**Аннотация.** Научно-обзорная статья посвящена сравнительному анализу массивов западных и отечественных работ об отношении принимающего населения к мигрантам в России и ЕС. На основе сравнения данных Европейского социального исследования (ESS) делается вывод, что на фоне стран Западной и в особенности Восточной Европы Россия не выглядит страной, уникальной с точки зрения масштабов мигрантофобии. По мнению автора, более важной задачей, чем сопоставление цифр, является анализ факторов, провоцирующих или усиливающих мигрантофобию в различных социальных контекстах.

В работе обращается особое внимание на познавательный потенциал качественных методов при изучении причин и проявлений негативизма по отношению к мигрантам, а также при анализе его локальных особенностей. На примере исследований в Германии и Великобритании, проведенных на микроуровне, показаны результаты применения в данном проблемном поле ряда концептов (имидж места, контактная гипотеза, реакция на разнообразие и др.), а также возможности приложения этих концептов к миграционной ситуации в различных российских городах.

## RESEARCH ON POPULAR PERCEPTION OF MIGRANTS IN RUSSIA AND IN EUROPE: METHODS, CONCEPTS, LOCAL CONTEXTS (A REVIEW)

*Natalya P. KOSMARSKAYA*<sup>1</sup> — Senior Research Fellow  
E-MAIL: [natkos2003@mail.ru](mailto:natkos2003@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-0122-3375>

<sup>1</sup> Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

**Abstract.** The article is devoted to a comparative analysis of Western and Russian academic studies on the attitude of the host population towards migrants in Russia and the EU. Based on a comparison of data from the European Social Survey (ESS), it is concluded that against the backdrop of the countries of Western and especially Eastern Europe, Russia does not look like a country that is unique in terms of the scale of xenophobia. According to the author, comparing numbers with regard to these processes might be less informative than analyzing the factors that provoke or aggravate migrant-phobia in various social contexts.

The paper draws special attention to the explanatory potential of qualitative methods in the study of the causes and manifestations of negativism in relation to migrants, as well as in the analysis of its local features. On the example of studies in Germany and the UK, conducted at the micro level, the author shows the results of applying several concepts in this thematic field (place image, contact hypothesis, response to diversity, etc.) and discusses the possibilities of applying these concepts to the migration situation in various Russian cities.

**Ключевые слова:** отношение к мигрантам, сравнительный анализ, методы изучения, причины антимиграционных настроений, локальная специфика восприятия мигрантов

**Keywords:** perception of migrants, comparative analysis, methods of research, anti-migrant sentiment, local specifics of attitudes towards migrants

**Благодарность.** Научно-обзорная статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-111-50532 (программа «Экспансия»).

**Acknowledgments.** Preparation of the review article was funded by RFBR, project No. 20-111-50532 (program «Expansion»).

В западной литературе, в частности, написанной на материалах европейских стран (они ближе к России по характеру въездных потоков, чем «иммиграционные общества» Нового Света)<sup>1</sup>, восприятие иноэтничных мигрантов местными жителями на протяжении последних десятилетий привлекает неослабевающее внимание ученых. Правда, трудностям социально-культурной интеграции мигрантов в новых местах обитания посвящается гораздо больше работ в сравнении с теми, где анализируется отношение к мигрантам принимающего населения (видимо, из-за гуманитарно-правовой составляющей и социальной значимости процесса адаптации). Так, в ведущих западных журналах по проблемам этничности и миграции — *Ethnic and Migration Studies* (20 номеров ежегодно в последние годы, ранее — 16), *Ethnic and Racial Studies* (16 номеров), — по нашей оценке, лишь около 15—20% публикуемых статей, кроме небольшого числа теоретических, посвящены не самим мигрантам, а тому, как к ним относятся в отдельной стране или группе стран. Но в целом статей по данной тематике очень много, если учесть, что каждая из них заканчивается солидным списком ссылок на предшествующие работы.

Аналогичный разрыв существует и в России. На фоне растущего числа научных (а не публицистических) работ о различных аспектах жизни мигрантов (впрочем, на наш взгляд, таких работ все еще недостаточно, что контрастирует с социально-экономической и этнокультурной значимостью проблемы трудовой миграции для современной России), попыток взглянуть на эту проблему глазами принимающего населения пока гораздо меньше.

Такого рода публикации, как нам представляется, можно разделить на две группы. На исследовательском поле, связанном с восприятием миграции в России, обращают на себя внимание работы полемически-концептуального плана<sup>2</sup>, увидевшие свет в основном в 2000-х и 2010-х годах. В этих работах анализировались и критиковались с позиций конструктивизма распространенные в российском обществе дискурсивные практики, носящие алармистский характер (дискурсы

<sup>1</sup> Несмотря на пополнение населения европейских стран значительным числом беженцев (в последние годы), общим для двух территорий является приток иноэтничных трудовых мигрантов с бывших территорий имперского освоения (для России это постсоветские страны) на фоне сходных социально-демографических трендов (постарение населения и нехватка рабочей силы).

<sup>2</sup> См., например: [Расизм в языке..., 2002; Малахов, 2007; Шнирельман, 2008; Регамэ, 2010; Расизм, ксенофобия..., 2013].

«этнокультурной безопасности», «территориального этнического баланса», «этнической преступности»<sup>3</sup>) и способствующие тем самым культурализации и этнизации социальных отношений, а следовательно, росту этнофобии и мигрантофобии среди населения.

В публикациях этого типа российские ученые нередко обращались к зарубежному опыту, но не к западным конкретно-социологическим исследованиям. Их внимание привлекали особенности производства этнически «нагруженных» дискурсов и то, как власти и различные сегменты гражданского общества западных стран противодействуют дискурсивным и реальным практикам дискриминации иноэтничных мигрантов [Толерантность против ксенофобии... 2005; статьи А. Осипова и В. Малахова в: Расизм, ксенофобия... 2013]. В этом же ряду отметим работы, посвященные сравнительному анализу навеянных проблемой миграции дискурсов, производимых интеллектуалами в процессе переосмысления национальной идентичности в России и Европе [статья Е. Филипповой в: Миграция и мигранты... 2016, Фабрикант, 2017].

Другая группа публикаций — собственно эмпирические изыскания, проводимые количественными методами. Известные центры по изучению общественного мнения (ВЦИОМ, Левада-Центр<sup>4</sup>, РОМИР и др.) периодически проводят опросы по репрезентативным выборкам, касающиеся отношения россиян к миграции и мигрантам. Полученные «проценты» затем комментируются в печатных и электронных СМИ, в социальных сетях, в том числе и учеными. Нас же будут интересовать ситуации, когда официальные или же проведенные коллективами авторов или отдельными учеными опросы общероссийского/регионального уровня анализируются в сугубо научных публикациях. Такого рода текстов в целом немного, но в последние годы стало больше [Гудков, 2007; Миграция и мигранты в России... 2016; Мукомель, 2014, 2017; Бритвина, Могильчак, 2018; Полетаев, 2018; Филькина, Булатова, 2019].

Среди этих публикаций, при всей их познавательной и научной ценности, практически нет работ, в которых в компаративистских или аналитических целях использовался бы зарубежный опыт изучения отношения публики к миграции, применяемые там концептуальные подходы к объяснению причин тех или иных общественных настроений. Тексты написаны в значительном отрыве от того, что делается в данной сфере в европейской науке. Ссылки на работы западных ученых в них, по нашим наблюдениям, довольно малочисленны, к тому же они сводятся в основном к классическим переводным монографиям или же бегло, для пополнения списка, упоминается несколько публикаций без аналитически-фактологического включения в «ткань» повествования. На наш взгляд, это приводит к теоретико-методологическому и познавательному обеднению российских интерпретаций проблемы мигрантофобии. Даже появившиеся в последние годы западные статьи, прицельно посвященные поиску общего и особенного в восприятии миграции россиянами и европейцами, насколько мы можем судить, остались без внимания российских исследователей (см. ниже).

<sup>3</sup> Подробнее о подобных распространенных в России дискурсивных практиках см., например: [Зверева, 2014].

<sup>4</sup> Российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции «иностранный агента».

Целью предлагаемой научно-обзорной статьи является сравнительный анализ массивов западных и отечественных работ об отношении принимающего населения к мигрантам в России и в европейских странах. Это, возможно, помогло бы нашим ученым увидеть новые направления исследований; оценить применимость к российским реалиям используемых там концепций и методов; прояснить те аспекты темы, по которым могут или, напротив, не могут осуществляться продуктивные сравнения; окинуть свежим взглядом набор предлагаемых в Европе социально-политических и организационно-практических решений по снижению уровня мигрантофобии.

Сразу хотелось бы очертить некоторые границы изучаемого тематического поля. Речь идет о массивах текстов, в которых изучаются настроения обычных граждан. За скобками остается тематика, связанная с позицией СМИ, с баталиями по поводу мер миграционной политики и вообще все «верхушечные» дискурсы, а также отношение к миграции особых сегментов общества (футбольных фанатов, молодежных экстремистских группировок и пр.).

В западных текстах изучается отношение именно к (внешней) миграции. Наиболее распространенные терминологические клише, повторяющиеся и в текстах, и в названиях статей — *anti-migrant sentiments*, *attitudes towards (im)migration*, *opposition to immigration* и пр., при этом синонимами терминов «миграция», «мигранты» выступают «мусульмане» (*Muslims*) и «этнические меньшинства» (*ethnic minorities*).

Между тем в России, с ее исторически обусловленной «многонациональностью», проживают представители многих автохтонных меньшинств, включая мусульман. Поэтому термины «(им)мигранты» и «этнические меньшинства» не могут считаться синонимами. Многие российские публикации (созданные в том числе и до наступления периода активной трудовой миграции), посвященные изучению «межэтнических отношений», «межэтнической напряженности» с помощью опросов и социально-психологических методов, выходят за рамки тематики предлагаемой статьи. Мы сосредоточимся на российских текстах об отношении россиян к тем, кого массовое сознание воспринимает в качестве «видимых других» [Дробижева, 2015]. Это не только внешние трудовые мигранты, прибывшие из стран Закавказья и Центральной Азии, но и внутренние — выходцы из республик Северного Кавказа<sup>5</sup>.

Наконец, ввиду большого числа европейских публикаций по восприятию мигрантов местным населением выбор текстов для включения в обзор неизбежно отражает исследовательский опыт и методологические предпочтения автора.

## **Где сильнее всего не любят мигрантов? Попытка сопоставления России и Европы**

Находясь «внутри» российского дискурса о миграции и мигрантах, создается (по крайней мере, это опыт автора статьи) прочное ощущение исключительности российской ситуации со знаком «минус». Подобное восприятие распространено,

<sup>5</sup> Дело в том, что принимающее население России нередко включает в категорию «мигрантов» не только людей, прибывших из Закавказья и Центральной Азии, но и российских граждан, визуально отличных от большинства [Аблажей, 2012: 21, 22; Зверева, 2014].



на наш взгляд, и среди россиян, не связанных профессионально с изучением миграции. Однако после нашего знакомства в течение ряда лет с научными публикациями об отношении к миграции в развитых государствах напрашивается вывод, что Россия вряд ли будет выглядеть «белой вороной» в компании других стран (по крайней мере, единственной или особенной «белой вороной»).

Работая над статьей, в виде блиц-эксперимента автор спросила пятерых коллег-гуманитариев, далеких от миграционных сюжетов, о какой стране идет речь в следующих цитатах, касающихся двух ключевых социальных «страшилок», связанных с миграцией: «Граждане имеют склонность переоценивать численность родившихся за пределами страны людей, хотя самые гипертрофированные оценки присущи индивидам, уязвимым с социально-экономической точки зрения». И вторая цитата: «...существует распространенное мнение, что мигранты диспропорционально несут ответственность за совершенные преступления; по этой причине принимаются новые законы, которые минимально влияют на уровень преступности, но при этом подавляют права и свободы мигрантов. Отсюда необходимо стремиться к тому, чтобы мнения людей основывались на фактах, а не на дезинформации и ложных послылках». Все дружно ответили, что, естественно, речь идет о современной России.

На самом же деле первая цитата начинается со слов «во всех странах без исключения». Она взята из вступительной статьи к специальному номеру журнала *Journal of Ethnic and Migration Studies*, посвященного отношению к иммигрантам в Европе, а «под всеми странами» имеются в виду страны (21), в которых проходила седьмая волна Европейского социального обследования (ESS) 2014—2015 гг.<sup>6</sup> [Heath et al., 2020: 482]. Вторая же цитата начинается со слов «во многих странах» и почерпнута из статьи, содержащей сравнительный анализ отношения к трудовым мигрантам «во всем мире» [Tunon, Baruah, 2012: 151].

При чтении западных публикаций обращает на себя внимание спокойно-отстраненный тон, показывающий читателю, что речь идет об обычных, рутинных вещах: «Если иммиграция не останавливается, конфликты и проблемы интеграции, возникающие между иностранцами и местными жителями, никуда не денутся. Эти проблемы нужно рассматривать как „нормальные“ проблемы открытого общества и не драматизировать их» [Böltken, 2003: 253]. В качестве контрастного примера из российской академической практики сошлюсь на собственный опыт. Название статьи, недавно предложенной мной и коллегами одному из российских журналов, заканчивалось словами «...в контексте ксенофобии». Рецензент посоветовал убрать эти слова из названия, поскольку они настраивают читателей на «негативное» и, возможно, ксенофобия в рамках изучаемых явлений вообще не наблюдается. В западных же научных журналах без стеснения называют вещи своими именами, а авторы, рецензенты и читатели являются в первую очередь профессионалами, нацеленными на то, чтобы тщательно изучить этот «негативизм» всеми возможными способами во всех возможных деталях и направлениях.

<sup>6</sup> Это одно из наиболее авторитетных исследований (с точки зрения методологии и компаративистского потенциала) общественного мнения среди европейцев от 15 лет и старше. Оно регулярно проводится более чем в двух десятках стран. Значительная часть англоязычных публикаций о восприятии европейцами миграции используют в качестве эмпирической базы данные «иммиграционных модулей» различных волн ESS (подробнее об исследовании см.: [Heath et al., 2020: 476—478; Piekut, 2021: 1144—1145]).

С политико-психологической точки зрения активное введение в российский научный оборот современных западных публикаций могло бы способствовать, на мой взгляд, рационализации подхода к проблемам мигрантофобии в России и преодолению зацикленности на собственных бедах.

С научной же точки зрения более важен вопрос о количественных параметрах распространенности мигрантофобии в России и Европе, тем более что существует возможность провести сравнения на сопоставимых данных одного обследования [Арутюнова, 2008]. Речь идет, в частности, о раунде ESS 2006 г., в котором участвовала и Россия (2500 человек). Вопросы, касающиеся миграции, в рамках ESS базируются в том числе на сюжете об отношении принимающего населения к приезду людей разных национальностей из стран разного уровня развития и пр. на постоянное жительство. Закрытия четырех видов варьируют от «позволить приезжать многим» (*allow many*), «разрешить некоторым» (*allow some*) до «разрешить немногим» (*allow few*) и «никому не разрешать» (*allow none*).

В вопросе об отношении респондентов к переезду в страну людей, отличающихся по этнической/расовой принадлежности от большинства населения, по поддержке наиболее негативно-бескомпромиссной позиции «*allow none*» Россия (27,6%) оказалась в компании с Венгрией (39,4%), Кипром (29,4%), Португалией (29,9%), а также Болгарией (23,6%) и Эстонией (23,5%). Как отмечается в статье, в группу стран с наибольшим уровнем негативизма попали постсоциалистические или небогатые западноевропейские страны, «с постконфликтной ситуацией или с высоким уровнем социального напряжения» [там же: 68]. Поддержка немногим более мягкой, но тоже «негостеприимной» позиции «*allow few*» была весьма высока и в странах Западной Европы (например, 45,2% в Австрии, 38,8% в Дании, 49,5% в Финляндии, 38,5% в Нидерландах и т. д.) [там же: 67].

Сравним эти данные с ответами на близкие по смыслу и использующие те же закрытия вопросы раунда ESS 2015 г. В статье с красноречивым названием «Я не разделяю расистские и ксенофобные взгляды, но...» [Marfouk, 2019] рассматривается отношение жителей 20 стран Европы к въезду не просто людей иной расовой/национальной принадлежности, а конкретно мусульман. Это одно из дополнений 2015 г. к «иммиграционному блоку» анкеты<sup>7</sup>.

Подавляющее большинство европейцев, заключает автор, высказались за ограничения въезда мусульман в их страны (сумма выбравших опцию «*allow none*» и «*allow few*»). В некоторых странах доля респондентов, выбравших первую из них, существенно выше среднеевропейского уровня (54% в Чехии, 51% в Венгрии, 42% в Эстонии, 34% в Литве, по 33% в Польше и Португалии). Доля сторонников самой ограничительной позиции в ряде стран Западной Европы выросла (разница с данными 2006 г. на 6—13 процентных пунктов) [Арутюнова, 2008: 67; Marfouk, 2019: 1750]. Правда, нельзя с уверенностью сказать, связано это с численностью недовольных въездом именно мусульман в 2015 г. или же с динамикой отношения к въезду любых этнических «других» с 2006 по 2015 г.

Оценивая анализируемые данные, А. Марфук отмечает, что они, скорее всего, занижают масштабы исламофобии в Европе по двум причинам. Во-первых, иссле-

<sup>7</sup> Россиянам этот вопрос не задавался.

дование 2014—2015 гг. прошло до террористических атак исламистов на жителей европейских городов (Париж, Ницца, Брюссель и др.). Во-вторых, по мнению этого автора, нужно учитывать порядок появления в анкете вопросов об отношении респондентов к переселению в их страны представителей разных этнических групп (влияние социально приемлемой нормы) [Marfouk, 2019: 1752]<sup>8</sup>.

На наш взгляд, приведенные данные говорят в целом о весьма высоком уровне мигрантофобии в европейских странах (что, собственно, и объясняет неугасающую актуальность темы и интерес к ней ученых), а также о том, что Россия, вполне вписываясь в эту картину, не выглядит страной, уникальной по части неприятия иноэтничных мигрантов. Но не более. Вряд ли стоит абсолютизировать эти числа, пусть даже они являются результатом авторитетных репрезентативных исследований. Каждая страна имеет свою специфику, которая слабо улавливается массовыми опросами, нацеленными прежде всего на поиск «общего», а не «особенного». Жители государств с похожей судьбой (постсоциалистические) и даже очень близких по историко-культурному профилю могут демонстрировать сильно различающиеся реакции на приезд в страну этнических «других». Специфика стран проявляется и в разной динамике степени неприятия иммиграции, связанной в том числе и с прохождением стадий миграционного цикла. На наш взгляд, «магией цифр» не следует увлекаться также из-за специфики опросных методик. Это, например, влияние на процент недовольных миграцией порядка появления вопросов в анкете (см. выше) или их формулировок.

Значимость этих соображений демонстрирует статья А. Городзейски о численных показателях и причинах негативного отношения россиян к миграции [Gorodzeisky, 2019]. Опираясь на результаты нескольких раундов ESS, с теми же вопросами об отношении к приезду в страну людей иной этнической/расовой принадлежности, автор приходит к выводам, сформулированным в весьма алармистском ключе. По ее мнению, следует говорить об «очень высокой» (*very high*), «исключительно высокой» (*extremely high*) степени неприятия россиянами иммиграции [ibid.: 219]. Действительно, судя по сравнительным данным ESS, в 2016 г. Россию превосходила по масштабам выбора опции «*allow none*» только Чехия [ibid.: 217]. Однако возникает вопрос: будет ли такой же почти «экстремальной» оценка отношения россиян к иммиграции, если учесть также выбор европейцами опции «*allow few*», не очень сильно отличной по смыслу от «*allow none*»? Как показывают вышеприведенные данные, в 2006 г. доля приверженцев такого выбора среди жителей стран не только Восточной, но и Западной Европы была весьма высокой.

Можно ли считать, что с тех пор доля противников иноэтничной иммиграции в Европе заметно снизилась? Скорее, нет. Эту динамику постоянно отслеживают ученые. В частности, Е. Рустенбах отмечает, что в первое десятилетие нового века в Европе «...антимигрантские настроения местного населения, судя по всему, усилились, о чем свидетельствует возрастающая поддержка настроенных против миграции политических партий» [Rustenbach, 2010: 54; см. также 53]. Судя

<sup>8</sup> В более широком ключе проблему влияния социально приемлемых норм на ответы респондентов при массовых опросах поднимают и другие исследователи (см., например: [Stefanizzi, Manzi, 2019]). А. Пекут прямо указывает на то, что смещение в результатах, вызванное воздействием этих норм на людей при ответах на чувствительные вопросы (*social desirability bias*), возрастает в условиях персонального анкетирования (таковы как раз опросы в рамках ESS) [Piekut, 2021: 1140].

по данным ряда авторов, процесс развивается волнообразно [Semyonov, Rajjman, Gorodzeisky, 2006; Böltken, 2003], но миграционный кризис в Европе середины последнего десятилетия вряд ли способствовал откату «волны».

А. Городзейски основывает свои выводы также на данных ESS, рисующих поступательный рост антимиграционных установок россиян с 2006 по 2016 г. [Gorodzeisky, 2019: 215—216]. Однако, если обратиться к общероссийским опросам, проводимым ведущими центрами, известен по меньшей мере один период заметного спада негативизма россиян по отношению к мигрантам в период с 2014 по 2016 г. [Мукомель, 2017: 33]. Причем, как отмечает автор, хотя ряд факторов такого снижения носят конъюнктурный характер, один из них имеет долговременную природу — это привыкание населения к присутствию мигрантов<sup>9</sup> [там же: 34].

Как объяснить такого рода несоответствия в результатах опросов? Важную подсказку дает сама А. Городзейски — подсказку, которая привлекает наше внимание к воздействию на результаты формулировок вопросов и вызываемых ими ассоциаций. Она, в частности, предлагает разграничивать отношение к иммиграции и к иммигрантам: «Первое не только касается восприятия мигрантов, но и фиксирует мнение о миграционной политике, осуществляемой государством» [Gorodzeisky, 2019: 207]. Данные, которыми оперирует автор, фиксируют именно «отношение к иммиграции».

О возможном эффекте ассоциирующейся с «политикой» формулировки вопросов пишут ученые из Финляндии, изучавшие социальную дистанцию между жителями различных районов г. Турку и мигрантами (с помощью шкалы Э. Богардуса) [Leino, Himmelroos, 2020]. Им понадобилось объяснить «удивительный», по их словам, результат, который не соответствовал закономерностям функционирования шкалы — а именно, была выявлена бóльшая готовность принять мигрантов в качестве соседей и членов своей семьи, нежели в качестве жителей Финляндии. Они обратили внимание на то, что вопрос анкеты звучал как предложение оценить политику свободного въезда в страну, в то время как правая партия, известная антииммиграционной риторикой, призывала к его резкому ограничению [ibid.: 1903].

В России, где СМИ, многие эксперты и политики не на стороне мигрантов, а антииммиграционная нагруженность информационной среды весьма высока<sup>10</sup>, воздействие подобной риторики на ответы респондентов трудно переоценить, особенно если анкеты, а это не редкость, содержат «сильные» формулировки со словами «депортировать», «ограничить», «угрозы» и пр.

На наш взгляд, в международных сопоставлениях важнее поиск и анализ причин возникновения или усиления негативного отношения к мигрантам, нежели фиксация процентных долей недовольных миграцией в той или иной стране в тот или иной момент времени.

<sup>9</sup> О развитии миграционного цикла и о стадиях привыкания см., например: [Semyonov, Rajjman, Gorodzeisky, 2006: 429, 430].

<sup>10</sup> Этим, видимо, объясняется наличие значительного числа российских публикаций, посвященных роли СМИ в формировании образа мигранта. Между тем в ведущих англоязычных журналах статей подобной тематики найти не удалось. Встречаются лишь проходные упоминания этого сюжета в отдельных публикациях, обычно в связи с деятельностью правых партий.

## Какие факторы провоцируют/усиливают мигрантофобию? Специфика России

Поиску причин негативного отношения к миграции и мигрантам, проверке и перепроверке соответствующих гипотез на различных выборках, на примере разных стран и их групп посвящено множество англоязычных научных публикаций по нашей теме. Это фактически магистральный сюжет, а отступления от него — лишь рама к большой картине.

Важную группу таких причин (факторов) можно назвать контекстуальными (*contextual*), или структурными; они характеризуют состояние общества, в котором проживают представители местного населения в целом или отдельные сообщества. В качестве таких потенциальных «провокаторов» негативного отношения к мигрантам чаще всего тестируются численность/доля мигрантов [Semyonov, Rajjman, Gorodzeisky, 2006]; уровень преступности и состояние общественной безопасности [Stefanizzi, Manzi, 2019]; экономическая ситуация в стране приема, измеряемая через рост ВВП, динамику безработицы, уровень развития регионов. Выделяется также набор политических факторов: активность правых партий, особенности политики интеграции и иммиграции; позиция СМИ [Hayes, Dowds, 2006; Rustenbach, 2010; Heath et al., 2020: 478—479].

Не менее важны и характеристики самого индивида, описывающие ее/его с разных сторон (*individual-level factors*). Во-первых, это ценности, опасения, убеждения, оценки ситуации и пр. Данный набор весьма велик и сводится к базовым теоретическим концептам, направленным на выяснение того, какой социальный тип личности в большей степени склонен к негативному восприятию миграции.

Вот обобщенная оценка влияния ряда личностных факторов на эту переменную, основанная на результатах многих исследований: «...неприятие иммиграции возрастает при чувстве большей социальной дистанции с иммигрантами, при завышенных оценках их численности, при более значительном ощущении исходящей от них угрозы (экономической или символической)... Индивиды, считающие, что их группа обделена по сравнению с мигрантами; те, кто разделяет идеи расизма (биологического или культурного), имеет националистические убеждения или же предпочитает ценности консерватизма ценностям универсализма, также, скорее всего, будут относиться к мигрантам более негативно» [Heath et al., 2020: 478].

К перечисленным характеристикам индивидов примыкает фактор политических ориентаций: приверженность правым взглядам с большой вероятностью сопровождается негативизмом по отношению к мигрантам в различных странах [Rustenbach, 2010; Careja, Andres, 2013; Bilodeau, Fadol, 2011].

Почти безотказный предиктор негативного отношения к мигрантам описывается поговоркой «У страха глаза велики» — речь идет о преувеличенной оценке принимающим населением их численности (*perceived size versus actual size*). Эта особенность реакции на приток мигрантов свойственна населению всех европейских стран, в которых проводилось Европейское социальное исследование, и Россия не исключение. Причем именно оценки численности мигрантов — обычно раздутые, а не реальное количество, — теснее всего связаны с антимиграционными настроениями [Heath et al., 2020: 482; Gorodzeisky, Semyonov, 2020; Leino, Himmelroos, 2020].

А. Марфук, комментируя эту закономерность на примере отношения к мусульманам в Европе, приводит предложенное рядом ученых выражение «платоническая исламофобия», что означает сильное неприятие практически отсутствующих в стране мусульман [Marfouk, 2019: 1752].

Во-вторых, причины негативного отношения к миграции и мигрантам могут также затрагивать коммуникационные особенности индивидов. Речь идет о доверии к людям, готовности к проживанию в мультиэтнической среде, к общению с представителями разных рас и культур (*attitudinal factors*). Гипотезы о связи этих факторов с восприятием мигрантов проверяются на основе теории контактов (*contact hypothesis*). Этот подход считается «одним из наиболее устойчивых концептов в социологии расовых и этнических отношений» [Hayes, Dowds, 2006: 456]. Предполагается, что общение с мигрантами (соседские, профессиональные, дружеские контакты) делает их восприятие принимающим населением более толерантным, хотя и в разной степени.

Такого рода зависимость подтверждена на материалах как западных, так и российских исследований<sup>11</sup>. Однако нужно признать существование подводных камней при претворении в жизнь этой гипотезы — важно, какие контакты имеют место, между кем и кем, сколь часто, в каких условиях и пр. (подробнее см.: [Космарская, Савин, 2021: 105—107]).

Наконец, нельзя не упомянуть социально-демографические показатели: возраст, пол, уровень образования представителей принимающего общества. Западные ученые накопили большой материал о роли этих факторов в разных социально-политических условиях. Организаторы российских опросов также неизменно тестируют данные показатели на связь с уровнем мигрантофобии. Однако хотелось бы подчеркнуть, что даже очень «уверенные» предикторы мигрантофобии демонстрируют темпоральную и пространственную изменчивость — собственно, поэтому так много текстов написано о проверке различных факторов в разных социальных/локальных контекстах, на разных временных отрезках. Такого рода изменчивость тем более характерна для России, с ее разнообразием историко-культурных ландшафтов и резкой сменой этапов социально-экономического развития за последние 30 лет.

Если брать каждый из социально-демографических факторов сам по себе, то тут просматриваются определенные закономерности, во многом понятные на уровне здравого смысла. Так, по поводу возраста считается, что пожилые люди хуже относятся к мигрантам, а молодые, активные — позитивнее [Careja, Andres, 2013; Martinović, 2013]. Многократно подтвержденной гипотезой является также *human capital explanation* — связь уровня образования и антииммиграционных установок. Люди с высшим образованием, то есть более широким кругозором, обычно более позитивны [Rustenbach, 2010: 56, 66; Careja, Andres, 2013: 383; Bilodeau, Fadol, 2011: 1092, 1104; Marfouk, 2019: 1757, 1761; Leino, Himmelroos, 2020: 1903; Hooghe, Stiers, 2021: 709].

Что касается гендера, в некоторых работах его влияние обсуждается в рамках концепции культурной маргинальности (*cultural marginality*). Предполагается,

<sup>11</sup> История обоснования «контактной гипотезы» социально-психологическими методами показана в: [Варшавер, 2015]. Краткий обзор имеющихся социологических работ представлен в работе [Космарская, Савин, 2021: 95—97].

что женщины, как и другие члены (потенциально) дискриминируемых групп (представители религиозных меньшинств, дети от смешанных браков), воспринимают мигрантов позитивнее. Можно встретить и другое объяснение: женщины в меньшей степени уязвимы на рынке труда, поэтому более толерантны [Leino, Himmelroos, 2020: 1904]. Впрочем, есть исследования, не подтверждающие особую доброжелательность женщин к мигрантам по сравнению с мужчинами [Marfouk, 2019: 1762].

Также обращает на себя внимание следующее: если факторы тестируются в логической связке друг с другом, возникают отклонения от указанных схем. Выводы о роли того или иного фактора пересматриваются или уточняются по мере «приземления» анализа, учета локального своеобразия. Так, если говорить о роли возраста, при анализе ситуации не только в городах, но и в сельской местности Швеции выяснилось, что более всего подвержены исламофобии молодые люди из небогатых семей, родившиеся в провинции, где у них было мало возможности общаться с мигрантами [Bevelander, Otterbeck, 2010: 418].

Изучение связи между значимостью для людей разных форм идентичности и отношением к приезду в страну мигрантов на примере молодых людей и их родителей в г. Гент (Бельгия) удивило исследователей. Гипотеза, состоявшая в том, что молодежь, имея больше опыта проживания в поликультурной среде, более толерантна, не подтвердилась. Наибольшую неприязнь к мигрантам показали носители региональной, фламандской идентичности — родители и не в меньшей степени их дети 15—20 лет [Hooghe, Stiers, 2021: 712—714].

Казалось бы, значимость фактора образования незыблема, как скала. Однако бывают и отклонения от этого правила. В одной из статей на европейском материале изучались поколенческие различия в восприятии иммиграции с учетом фактора образования и активности в той или иной стране правых партий. Оказалось, что поколения, социализация которых проходила в период сильного мобилизующего воздействия на общество правой идеологии, наиболее негативно воспринимают мигрантов, причем роль образования в этом случае невелика [McLaren, Paterson, 2020]. Это означает, что идеологические убеждения могут нивелировать значение формального факта наличия диплома.

Существуют и структурные объяснения того, что фактор образования не всегда работает. Как показало исследование в Голландии, местные жители с высшим образованием могли бы относиться к мигрантам толерантнее, но этому препятствуют их ограниченные возможности общения с мигрантами, связанные с проживанием в благополучных городских районах [Martinović, 2013: 82—83].

В России есть особые нюансы в трактовке связи образования с мигрантофобией. Если в Европе высшее образование — признак достаточно высокого социального статуса и отсутствия чувства социальной депривации, у нас это совсем не так, особенно если речь идет о поколениях, получивших диплом вуза в советские и первые постсоветские годы. Когда Л. Гудков отмечает на материале опросов 1990-х — начала 2000-х годов, что в России наиболее нетерпимы к «чужим» женщины, особенно пожилые [Гудков, 2007: 70], вряд ли можно предположить, что эти женщины повально не имеют высшего образования. Если взять более поздний период, категория «бюджетник» также говорит в рассматриваемом контексте

сама за себя. Кстати, проанализированные Л. Гудковым опросы не подтверждают и вывод о якобы свойственной женщинам толерантности.

А вот В. Мукомель, опираясь на материалы более поздних исследований, во-первых, делает выводы о более доброжелательном отношении пожилых (объясняя его тем, что они помнят советские традиции дружбы народов); во-вторых, о повышенной толерантности женщин — вывод, который этот исследователь называет «тривиальным» [Мукомель, 2017: 36]. Автор настоящей статьи не согласилась бы с данным умозаключением: бывают «странные», на первый взгляд, отклонения. Например, результаты опроса жителей Москвы и россиян центром ПОМИР (2014 г., 600 и 1300 человек соответственно) в ходе реализации проекта NEORUSS<sup>12</sup> (при участии автора статьи) показали, что москвички практически по всем вопросам продемонстрировали более негативное отношение к мигрантам. При этом россиянки в целом, напротив, показали себя более толерантными. Объяснить эти различия позволили материалы интервьюирования москвичей в рамках того же проекта [Космарская, 2018: 196—197].

Итак, связь между антимиграционными настроениями и базовыми социально-демографическими характеристиками в целом понятна, но нужно иметь в виду ее высокую пространственно-временную изменчивость, зависимость от локальных условий. В этом отношении результаты российских и европейских исследований идентичны.

А как в России и Европе проявляют себя структурные причины мигрантофобии? В последние годы появились западные работы, в которых закономерности действия этих факторов проверяются на сопоставимом российском материале. По мнению Д. Бахри, изучившей ряд имеющихся исследований причин мигрантофобии в России, не наблюдается четкой обусловленности антимиграционных настроений факторами, которые уже зарекомендовали себя в качестве значимых в европейских странах (уровень образования местных жителей; их социально-профессиональный статус, политические взгляды) [Bahry, 2016: 897]. Группа израильских ученых, подвергнув многомерному анализу российские данные раунда ESS 2006 г., пришла к выводу, что показатели, описывающие социально-экономический статус индивида (в соответствии с моделью «конкуренции»), а также его/ее идеологические позиции (согласно «культурной» модели) — показатели, доказавшие свою эффективность как предикторы мигрантофобии среди европейцев, не «работают» в постсоветской России [Gorodzeisky, Glickman, Maskileyson, 2015: 129].

Эти ученые отмечают, что инструменты, предназначенные для незападных обществ, должны лучше улавливать специфику последних, быть «чувствительными к контексту» (*context-sensitive*) [ibid.: 128]. Имеется в виду анализ ксенофобии с учетом характера, стадий социальной эволюции таких обществ и соответствующих особенностей массового сознания, влияющих на восприятие миграции и мигрантов.

В России есть аналитические работы такого плана. Это, в частности, статья Л. Гудкова, где «нелюбовь к приезжим» анализируется сквозь призму радикальной

<sup>12</sup> Международный проект «Национальное строительство, национализм и новый „другой“ в современной России» (NEORUSS) был реализован при поддержке Исследовательского совета Норвегии (2013—2016, № 220599).



ломки социально-экономических устоев в первое десятилетие после распада СССР [Гудков, 2007]. Обращает на себя внимание также приближенная к реалиям уже современной России статья В. Мукомеля о мигрантофобии в связи с «культурой доверия» [Мукомель, 2014]. Однако «контекст», по нашему мнению, нужно понимать и как локальную/региональную специфику восприятия миграции, на что пока обращается недостаточно внимания как в России, так и в Европе.

### **Ближе к земле. Что могут дать качественные методы в локальном обрамлении?**

подавляющее большинство западных работ по интересующей нас теме оперируют данными, полученными количественными методами по многим или нескольким странам, реализуя «взгляд сверху». Это позволяет увидеть обобщенную картину и обосновать статистическими методами выявленные закономерности (то есть понять, например, какие факторы неприятия мигрантов чаще всего «работают»). Уровень отдельной страны, и тем более отдельной локации, в рамках такого подхода исследователей обычно не интересует. Попытки сравнивать страны встречаются, но не часто. Стоит отметить недавнюю статью, в которой на основе данных последнего раунда ESS 2015 г. предлагается группировка европейских государств по уровню неприятия населением въезда мусульман (страны Северной, Западной и Восточной Европы) и по степени раскола национальных коллективов по отношению к проблеме миграции [Heath, Richards, 2020].

Довольно редки и статьи о ситуации в отдельных регионах внутри стран. В одной из работ на примере Германии показаны различия в восприятии иммигрантов жителями ее западной и восточной частей, в связке с численностью приезжих на той или иной территории [Molodikova, Lyalina, 2017]. Выше упоминались статьи о роли разных уровней идентичности в формировании отношения к иммигрантам в г. Гент, а также о восприятии социальной дистанции с ними жителями г. Турку [Hooghe, Stiers, 2021; Leino, Himmelroos, 2020]. Однако статьи такого рода, пусть даже в них задействован оригинальный местный материал (обследования домохозяйств, городские опросы и пр.), обычно не нацелены на поиск специфики той или иной территории (в контексте отношения ее жителей к мигрантам). Напротив, авторы задаются вопросом, в какой мере полученные ими результаты приложимы к другим европейским странам.

Принципиально иные подходы и иные возможности у авторов, использующих качественные методы, способные создать стереоскопичную картину сосуществования мигрантов с местными жителями на микроуровне и показать механизмы возникновения (усиления) мигрантофобии, в том числе связанные с историко-культурной и политико-экономической спецификой территории.

Безусловно, и количественные, и качественные методы изучения социальных процессов, будучи взаимодополняющими, имеют свои достоинства и ограничения. Но здесь стоит напомнить об определенных недостатках анкетирования, нацеленного на то, чтобы «измерить» и «обобщить», тогда как качественные методы дают шанс «прочувствовать» (неосознаваемое) и «приоткрыть» (невидимое). Тема восприятия миграции также полна «чувствительных», «ускользающих» моментов. Жанр личного интервью, к примеру, может помочь преодолеть неизменно слож-

ную проблему «каков вопрос — таков ответ», а также нивелировать воздействие публичного и политического дискурса на ответы информантов (хотя вряд ли этого можно добиться в полной мере)<sup>13</sup>.

Западные публикации по нашей теме с использованием качественных методов весьма немногочисленны. Однако они достойны быть упомянутыми еще и потому, что эти тексты обогащают проблемное поле новым набором концептов, отличных от тех, которые традиционно используются при работе с массовыми опросами (воспринимаемая угроза, восприятие социальной дистанции, модель конкуренции и др.). Наконец, знакомство с ними может вызвать интересные ассоциации с положением дел в России. Рассмотрим три примера.

Статья Л. Мейера, построенная на материалах интервью со старожилами пригорода Нюрнберга Вердерау, привлекает наше внимание к концептам «защищенного локального пространства» (*defended neighbourhood theory*) и «реакции на разнообразие» (*response to diversity*) [Meier, 2013]. В статье показано, как резкие изменения социального уклада на локальном уровне (смена собственника жилых кооперативов, ранее принадлежавших закрывшемуся машиностроительному заводу) привели к тому, что квартиры стали активно покупать люди со стороны, в том числе иноэтничные мигранты. Хотя они жили в Вердерау и раньше, местные старожилы-немцы через выборные рабочие советы устанавливали свои правила поведения, что способствовало эффекту этнокультурной гомогенизации: казалось, что этнических «других» в пригороде нет вообще [ibid.: 467].

После закрытия завода возможности старожилов контролировать жизнь местного сообщества оказались утраченными. Это привело к ослаблению прежних социальных связей и стимулировало рост неприязни к мигрантам, которые «вдруг» стали «заметными» [ibid.: 463; 464—465].

На наш взгляд, может оказаться интересным сравнение с нашими реалиями описанных в статье Л. Мейера социальных сдвигов (а это не только активизация миграции), под влиянием которых присутствующие в обществе «другие» «вдруг» становятся видимыми, порождая тревожность у принимающего населения. Речь идет именно о механизмах подобных сдвигов и о том, как могут «работать» названные концепты в разных страновых/городских контекстах, а не о прямом сравнении тех или иных родов.

К примеру, на макроуровне жизнь в социалистической Москве, в условиях государственного патернализма советского образца, также отличалась стабильностью и предсказуемостью. Другими стабилизирующими факторами выступали социальная гомогенность и дух дворовых сообществ, где «все друг друга знали» (как в Вердерау, см. название статьи Л. Мейера). На таком фоне «другие» были малозаметны (хотя Москва и в советское время отнюдь не была моноэтничным городом), но в ходе радикальных социально-политических трансформаций вкуче с притоком массы новых мигрантов они становятся более видимыми, возникает тревожное ощущение, что «их много»<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Подробнее о познавательном потенциале качественных методов при изучении отношения к миграции см.: [Космарская, 2018: 188—191].

<sup>14</sup> Подробнее о реакции москвичей на этнокультурное разнообразие по результатам качественного исследования см.: [Космарская, Савин, 2021: 102—104].

Британский исследователь Д. Свифт [Swift, 2021] предлагает посмотреть на ситуацию в Западном Йоркшире между 1962 и 1981 гг. — в период, когда после принятия ряда законодательных актов, регулирующих въезд рабочей силы из бывших колоний, в этот регион с развитой текстильной промышленностью устремились выходцы из Южной Азии (в основном из Пакистана). Опираясь на архивные материалы (прессу, отчеты муниципалитетов), а также записанные в 1980-х годах устные истории местных жителей, работавших на текстильных фабриках, автор пытается ответить на вопрос, в чем коренилась неприязнь (*hostility*) принимающего населения по отношению к прибывшим, занятым на тех же фабриках, если, судя по многочисленным данным, в регионе в тот период не наблюдалось конкуренции за рабочие места и социальные услуги, а также не было дефицита жилья. А ведь эти параметры, как справедливо отмечает Д. Свифт, показали себя во многих (количественных) исследованиях ключевым фактором недовольства мигрантами [ibid.: 2680—2681].

Внешне все выглядело так, что неприязнь местных жителей выплескивалась в форме культурных претензий к мигрантам (нормы гигиены, исламские обряды и пр.) [ibid.: 2675—2680]. Но автор предлагает более глубокое структурное объяснение, связывая реакцию местных рабочих с деиндустриализацией в регионе: «Враждебность была попыткой заместить в сознании все реалии упадка отрасли — заместить на уровнях местного социума, национальном и индивидуальном» [ibid.: 2681]. Этот вывод и сопровождающие его соображения автора, на наш взгляд, могут быть полезны при анализе причин недовольства мигрантами в локациях, переживающих экономической застой.

В статье есть еще одно заслуживающее внимания, на этот раз прогностическое, наблюдение. Оно касается того, как контакты с мигрантами могут помочь снижению уровня ксенофобии. Правда, эта дорога нелегка. В Йоркшире мигранты и местные рабочие трудились рядом друг с другом (*alongside*), на одних и тех же фабриках, однако в целом взаимодействие между ними, несмотря на интеграционные усилия местных властей, оставалось «спорадическим», две группы жили в своего рода параллельных мирах. И все же, по мнению Д. Свифта, у местных жителей и мигрантов в Йоркшире был шанс: «Если бы текстильное и другие виды производств сохранились, опыт нескольких поколений, работающих рука об руку, мог бы способствовать полноценной интеграции. Но этого не произошло, деиндустриализация усилила становление параллельных сообществ» [ibid.: 2680].

Аналогии с Россией, в частности с современной Москвой, на наш взгляд, очевидны: «параллельные миры», не очень эффективные попытки активистов и местных властей, выражаясь фигурально, «усадить мигрантов и местных жителей за один стол» (см., например: [Полетаев, 2018: 276—277; Космарская, 2018; Космарская, Савин, 2021]). Кроме того, в России мигранты занимают в основном особые ниши низкостатусного труда, а не работают «рука об руку» с местными жителями. Это обставляет претворение в жизнь «контактной гипотезы» дополнительными «но» и «если», поиску которых на микроуровне могут помочь качественные методы.

Статья Х. Мур [Moore, 2021] переносит нас в современную Англию, в деревню Мейфилд (название вымышленное) в графстве Вустершир, где издавна выращивались фрукты и овощи в промышленных масштабах. После расширения ЕС

в 2004 г. к этой работе, включающей много ручных трудоемких операций, вместо недовольных уровнем оплаты и условиями местных жителей начали массово привлекать сезонников из Центральной и Восточной Европы.

Автор, опираясь на результаты этнографических наблюдений (2010—2011 гг.) и серию глубинных интервью с жителями (почти все население деревни — белые британцы), ставит своей целью показать, как их локальная идентичность и восприятие локальной истории определяют их отношение к мигрантам. Именно так работает используемый автором концепт «имиджа места» (*place image*) [ibid.: 268—269].

Для жителей главное в образе деревни то, что она — «рабочая» (*working village*), по контрасту с соседними поселениями, существующими для туристов или построивших там «вторые дома» богатых горожан. При этом мигранты, которые «пашут и пашут», органично «вписываются» в разделяемый и одобряемый местными конструкт локальной идентичности, основанный на образе «деревни-труженицы». Местные, хотя сами и потеряли интерес к труду в садах и теплицах, хорошо знают, что это такое, и ценят вклад готовых вкалывать день и ночь мигрантов в «поддержание на плаву местной экономики» [ibid.: 274—277]. Вот почему, как полагает автор, в отношении к «пришлым» в Мейфилде нет неприязни с расистским уклоном, как во многих частях Британии на фоне Брексита. То, что здесь наблюдается, она называет «принятием» (*acceptance*), которое, впрочем, зиждется на определенных условиях и имеет свои пределы [ibid.: 278]<sup>15</sup>.

Статья интересна не только тем, что доказательно иллюстрирует важность перехода на локальный уровень при изучении восприятия мигрантов в той или иной стране. В российских дискуссиях об отношении к мигрантам не раз звучала мысль, что населению необходимо объяснять, чем они заняты в той или иной локации, чтобы люди понимали, в чем нужность их труда, и ценили его. С этим трудно спорить, но неплохо было бы задуматься и о том, соответствуют ли усилия мигрантов по строительству, реконструкции, перекладыванию бордюров и пр. тому «образу места» — микрорайона, парка, площади, — который сложился у обитателей этого «места». Вот так неожиданно проблема преодоления мигрантофобии сливается с проблемой наличия обратной связи между населением и местными властями.

Если обратиться к российским исследованиям, здесь пока очень мало работ, нацеленных на выявление локальной специфики восприятия миграции и мигрантов. Между тем каждый крупный российский город — это своеобразная площадка взаимодействия людей, различающихся местом рождения, культурой, языком, вероисповеданием и пр. На наш взгляд, нам очень не хватает сравнительных исследований, нацеленных не на создание усредненной общероссийской картины, а на поиск региональной специфики такого взаимодействия.

Имеющиеся тексты основаны лишь на массовых опросах. В статье об отношении к мигрантам в Екатеринбурге не ставится задача учета локального контекста

<sup>15</sup> Присутствие в деревне сезонников незаметно и «необременительно» (*unobtrusive*); их работа, досуг и социальная жизнь замкнуты в пределах сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, занимаемые ими рабочие места непривлекательны для местных жителей, а в качестве сезонных мигрантов они не претендуют на значимые для местных социальные услуги [Moore, 2021: 278].

ста; более того, авторы считают местную ситуацию типичной для России в целом [Бритвина, Могильчак, 2018]. Статью, где сравнивается ситуация в Томской и Владимирской областях, можно похвалить, на наш взгляд, за «честь попытки». Авторы вступили на новаторский путь, хотя надо признать, что пришли они к довольно тривиальному выводу о том, что более толерантное восприятие мигрантов в Томске обусловлено присутствием иностранных студентов, к которым относятся лучше, чем к трудовым мигрантам [Филькина, Булатова, 2019].

Попыткой выявить локальные особенности миграционной ситуации и отношения принимающего населения к мигрантам, а также показать познавательный потенциал качественных методов при решении этих задач, является статья автора, посвященная Москве и Краснодару [Космарская, 2018]. В этой работе, в противовес количественным методикам, вводится понятие «контекстуального» (фонового) фактора, тесно связанного в сознании респондентов с миграцией и отражающего ту специфику ситуации «вокруг мигрантов» в конкретном городе, которая слабо или вообще не улавливается массовыми опросами<sup>16</sup>.

Москвичи рассматривали миграцию в основном сквозь призму социально-политических и экономических аспектов российской/городской жизни (коррупция и теневые практики использования труда мигрантов), в то время как в Краснодаре в фокусе внимания информантов были социо- и этнокультурные моменты. Так, своеобразным символом культурного вызова местному укладу жизни большинство из них назвали исполнение лезгинки в публичных местах города. Анализ рассказов информантов позволил нащупать важные глубинные причины социокультурного напряжения в отношениях краснодарцев и ассоциируемых с лезгинкой этнических «других». Это, в частности, представления русских о своей «этнической культуре»; локальные проявления «культурного расизма», а также известные механизмы возникновения этнической неприязни («культурное непонимание» и различия в статусных позициях) [там же: 201—206].

В качестве итога хотелось бы еще раз подчеркнуть, что использование качественных методов, отдельно или в сочетании с массовым опросом, представляет собой весьма перспективное направление будущих исследований восприятия миграции жителями российских регионов, особенно с учетом того, что численность мигрантов, снизившаяся из-за пандемии COVID-19, восстановилась и даже возросла<sup>17</sup>. Вместе с тем сохраняющийся дефицит рабочей силы в некоторых отраслях; появление новых ниш занятости, в которых мигранты взаимодействуют непосредственно с населением, в сочетании с социально-экономическими последствиями пандемии и текущего геополитического кризиса, которые, несомненно, скажутся на доходах россиян, уровне безработицы и пр., будут способствовать сохранению актуальности рассмотренной проблемы в кратко- и среднесрочной перспективе.

<sup>16</sup> Качественное исследование в двух городах было проведено в рамках проекта NEORUSS (см. выше), и у автора была возможность сравнить результаты персонального интервьюирования с опросами населения, проведенными в этих же городах центром РОМИР (2014 г.).

<sup>17</sup> См., например: Юршина М. Нужно ли менять законы из-за притока трудовых мигрантов в Россию // Профиль. 2022. 6 сентября. URL: <https://profile.ru/society/menyat-li-zakonodatelstvo-iz-za-pritoka-trudovyh-migrantov-v-rossiju-1154111> (дата обращения: 10.09.2022).

## Список литературы (References)

- Аблажей Н. Н. Образ трудового мигранта в прессе и массовом сознании россиян // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 6. С. 17—23.  
Ablazhey N. N. (2012) The Image of a Work Immigrant in the Press and in the Mass Thinking of Russians. *Vestnik NSU. Series: History and Philology*. Vol. 11. No. 6. P. 17—23. (In Russ.)
- Арутюнова Е. М. Отношение к мигрантам в России и Европе: сравнительный анализ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2008. № 3. С. 68—73.  
Arutyunova E. M. (2008) Perception of Migrants in Russia and in Europe: Comparative Analysis. *RUDN Journal of Sociology*. No. 3. P. 68—73. (In Russ.)
- Бритвина И. Б. Могильчак Е. Л. Типология жителей российского мегаполиса по отношению к иноэтничным мигрантам // Мир России. 2018. Т. 27. № 1. С. 114—134. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2018-27-1-114-134>.  
Britvina I., Mogilchak T. (2018) The Typology of Citizens of a Russian Megapolis According to their Attitudes to Migrants of Different Ethnicities. *Mir Rossii*. Vol. 27. No. 1. P. 114—134. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2018-27-1-114-134>. (In Russ.)
- Варшавер Е. А. Теория контакта: обзор // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 183—214. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.5.13>.  
Varshaver E. A. (2015) Contact Theory: Review. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 183—214. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.5.13>. (In Russ.)
- Гудков Л. Почему мы не любим приезжих? // Мир России. 2007. Т. 16. № 2. С. 48—82. URL: <https://mirros.hse.ru/article/view/5178> (дата обращения: 19.10.2022).  
Gudkov L. D. (2007) Why Do We Dislike the Non-Residents? *Mir Rossii*. Vol. 16. No. 2. P. 48—82. URL: <https://mirros.hse.ru/article/view/5178> (accessed: 19.10.2022). (In Russ.)
- Дробижева Л. М. Потенциал межнационального согласия: осмысление понятия и социальная практика в Москве // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 80—90.  
Drobizheva L. M. (2015) The Potential of Interethnic Consent. Comprehension of the Concept and Social Practice in Moscow. *Sociological Studies*. No. 11. P. 80—90. (In Russ.)
- Зверева Н. Дискурсы о мигрантах в современной российской прессе: стратегии борьбы за значение // Новое литературное обозрение. 2014. № 4. С. 88—96.  
Zvereva N. (2014) Discourse on Migrants in the Contemporary Russian Media: Strategies of Struggle for the Meaning. *New Literary Observer*. No. 4. P. 88—96. (In Russ.)
- Космарская Н. П. «Коррупция», «толпы» и «лезгинка»: региональная специфика отношения россиян к мигрантам (на примере Москвы и Краснодара) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. № 2. С. 187—213. <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.2.7>.

Kosmarskaya N. (2018) «Corruption», «Crowds» and «Lezginka»: Regional Specifics of Attitudes Towards Migrants in Present-Day Russia (the Case-Study of Moscow and Krasnodar). *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 21. No. 2. P. 187—213. <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.2.7>. (In Russ.)

Космарская Н. П., Савин И. С. Отношение москвичей к мигрантам сквозь призму контактной гипотезы // Этнографическое обозрение. 2021. № 1. С. 94—111. <https://doi.org/10.31857/S086954150013600-0>.

Kosmarskaya N. P., Savin I. S. (2021) Perception of Migrants by Muscovites Through the Lens of the Contact Hypothesis. *Ethnographic Review*. No. 1. P. 94—111. <https://doi.org/10.31857/S086954150013600-0>. (In Russ.)

Малахов В. Понаехали тут... Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. М.: НЛО, 2007.

Malakhov V. (2007) Descended on Us... Essays on Nationalism, Racism and Cultural Pluralism. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)

Миграция и мигранты в России и мире: опыт социально-антропологических и этнографических наблюдений / под ред. В. В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2016.

Stepanov V. V. (ed.) (2016) Migration and Migrants in Russia and Worldwide: Socio-Anthropological and Ethnographic Observations. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology RAS. (In Russ.)

Мукомель В. И. Ксенофобия и мигрантофобии в контексте культуры доверия // Мир России. 2014. Т. 23. № 1. С. 137—166.

Mukomel V. I. (2014) Xenophobia in the Context of Culture of Trust. *Mir Rossii*. Vol. 23. No. 1. P. 137—166. (In Russ.)

Мукомель В. И. Ксенофобы и их антиподы: кто они? // Мир России. 2017. № 1. С. 32—57.

Mukomel V. I. (2017) Xenophobes and their Opposites: Who Are They? *Mir Rossii*. Vol. 26. No. 1. P. 32—57. (In Russ.)

Полетаев Д. От настороженности к неприязни: динамика отношения в России к трансграничным трудовым мигрантам в 2002—2016 гг. // От века бронзового до века цифрового: феномен миграции во времени / под ред. С. А. Панарина. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2018. С. 267—284.

Poletaev D. (2018) From Concern to Enmity: Change of Attitudes Toward Transnational Labor Migrants in Russia in 2002—2016. In: S. Panarin (ed.). From the Bronze Age to the Digital Era: Temporal Dimension of Migration. Barnaul: Altai University Press. P. 267—284. (In Russ.)

Расизм в языке социальных наук / под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб.: Алетейя, 2002.

Voronkov V., Karpenko O., Osipov A. (eds.) (2002) Racism in the Language of Social Science. Saint Petersburg: Aletheia. (In Russ.)

Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели... / сост. и отв. ред. Е. Деминцева. М.: НЛО, 2013.

Demintseva E. (ed.) (2013) *Racism, Xenophobia, Discrimination Through the Authors Eyes*. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)

Регамэ А. Образ мигранта и миграционная политика в России // Антропологический форум. 2010. № 13. С. 389—406.

Regamey A. (2010) Representations of Migrants and Migration Policy in Russia. *Forum for Anthropology and Culture*. No. 13. P. 389—406. (In Russ.)

Толерантность против ксенофобии (зарубежный и российский опыт) / под ред. В. И. Мукомеля, Э. А. Паина. Moscow: Academia, 2005.

Mukomel V., Pain E. (eds.) (2005) *Tolerance versus Xenophobia (Foreign and Russian Experience)*. Moscow: Academia. (In Russ.)

Фабрикант М. С. Исследования общественного мнения о мигрантах в современной России: «предложение» нациестроительства или «спрос» на гордость страной? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 47—60. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.1.04>.

Fabrykant M. S. (2017) Research on Public Opinion about Migrants in Contemporary Russia: Supply of Nation-Building or Demand for National Pride? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 47—60. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.1.04>. (In Russ.)

Филькина А. В., Булатова Т. А. Региональная специфика отношения к мигрантам (на материалах Томской и Владимирской областей) // Сибирский социум. 2019. Т. 3. № 4. С. 17—37. <https://doi.org/10.21684/2587-8484-2019-3-4-17-37>.

Filkina A. V., Bulatova T. A. (2019) Regional Features of Migrants' Treatment (The Case of the Tomsk and Vladimir Regions). *Siberian Socium*. Vol. 3. No. 4. P. 17—37. <https://doi.org/10.21684/2587-8484-2019-3-4-17-37>. (In Russ.)

Шнирельман В. Лукавые цифры и обманчивые теории: о некоторых современных подходах к изучению мигрантов // Вестник Евразии. 2008. № 2. С. 125—150.

Shnirel'man V. (2008) Sly Figures and Delusive Theories: on Some Present-Day Approaches to the Study of Migration. *Acta Eurasica*. No. 2. P. 125—150. (In Russ.)

Bahry D. (2016) Opposition to Immigration, Economic Insecurity and Individual Values: Evidence from Russia. *Europe-Asia Studies*. Vol. 68. No. 5. P. 893—916. <https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1178710>.

Bevelander P., Otterbeck J. (2010) Young People's Attitudes Towards Muslims in Sweden. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 33. No. 3. P. 404—425. <https://doi.org/10.1080/01419870802346048>.

Bilodeau A., Fadol N. (2011) The Roots of Contemporary Attitudes Toward Immigration in Australia: Contextual and Individual Level Influences. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 34. No. 6. P. 1088—1109. <https://doi.org/10.1080/01419870.2010.550630>.

Böltken F. (2003) Social Distance and Physical Proximity: Day-to-Day Attitudes and Experiences of Foreigners and Germans Living in the Same Residential Areas. In: Alba R., Schmidt P., Wasmer M. (eds.). *Germans or Foreigners? Attitudes Toward Ethnic Minor-*



*ities in Post-Reunification Germany*. N.Y.: Palgrave MacMillan. P. 233—254. [https://doi.org/10.1057/9780230608825\\_11](https://doi.org/10.1057/9780230608825_11).

Careja R., Andres H.-J. (2013) Needed but Not Liked — the Impact of Labor Market Policies on Natives' Opinions about Immigrants. *International Migration Review*. Vol. 47. No. 2. P. 374—413. <https://doi.org/10.1111/imre.12024>.

Gorodzeisky A., Glickman A., Maskileysen D. (2015) The Nature of Anti-Immigrant Sentiment in Post-Soviet Russia. *Post-Soviet Affairs*. Vol. 31. No. 2. P. 115—135. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2014.918452>.

Gorodzeisky A. (2019) Opposition to Immigration in Contemporary Russia. *Post-Soviet Affairs*. Vol. 35. No. 3. P. 205—222. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2018.1534473>.

Gorodzeisky A., Semyonov M. (2020) Perceptions and Misperceptions: Actual Size, Perceived Size and Opposition to Immigration in European Societies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 46. No. 3. P. 612—630. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1550158>.

Hayes B. C., Dowds L. (2006) Social Contact, Cultural Marginality or Economic Self-Interest? Attitudes Towards Migrants in Northern Ireland. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 32. No. 3. P. 455—476. <https://doi.org/10.1080/13691830600554890>.

Heath A., Davidov E., Ford R., Green E. G. T., Ramos A., Schmidt P. (2020) Contested Terrain: Explaining Divergent Patterns of Public Opinion Towards Immigration Within Europe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 46. No. 3. P. 475—488. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1550145>.

Heath A., Richards L. (2020) Contested Boundaries: Consensus and Dissensus in European Attitudes to Migration. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 46. No. 3. P. 489—511. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1550146>.

Hooghe M., Stiers D. (2021) Regional Identity and Support for Restrictive Attitudes on Immigration. Evidence from a Household Population Survey in Ghent (Belgium). *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 44. No. 4. P. 698—717. <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1782962>.

Leino M., Himmelroos S. (2020) How Context Shapes Acceptance of Immigrants: The Link Between Affective Social Distance and Locational Distance. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 43. No. 10. P. 1890—1908. <https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1665696>.

Marfouk A. (2019) I am Neither Racist or Xenophobic, But: Dissecting European Attitudes Towards a Ban on Muslims' Immigration. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 42. No. 10. P. 1747—1765. <https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1519585>.

Martinović B. (2013) The Inter-Ethnic Contacts of Immigrants and Natives in the Netherlands: A Two-Sided Perspective. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 39. No. 1. P. 69—85. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.723249>.

- McLaren L., Paterson I. (2020) Generational Change and Attitudes Towards Immigration. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 46. No. 3. P. 665—682. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1550170>.
- Meier L. (2013) Everyone Knew Everyone: Diversity, Community Memory and a New Established-Outsider Figuration. *Identities: Global Studies in Culture and Power*. Vol. 20. No. 4. P. 455—470. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2013.822377>.
- Molodikova I. N., Lyalina A. V. (2017) Territorial Differences in the Attitudes to the Migration Crisis in Germany: The Political Aspect. *Baltic Region*. Vol. 9. No. 2. P. 60—75. <https://doi.org/10.1080/10.5922/2079-8555-2017-2-5>.
- Moore H. (2021) Perceptions of Eastern-European Migrants in an English Village: The Role of the Rural Place Image. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 47. No. 1. P. 267—283. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1623016>.
- Piekut A. (2021) Survey Nonresponse in Attitudes Towards Immigration in Europe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 47. No. 5. P. 1136—1161. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1661773>.
- Rustenbach E. (2010) Sources of Negative Attitudes Toward Immigrants in Europe: A Multi-Level Analysis. *International Migration Review*. Vol. 44. No. 1. P. 53—77. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.0079>.
- Semyonov M., Rajzman R., Gorodzeisky A. (2006) The Rise of Anti-Foreigner Sentiments in European Societies, 1988—2000. *American Sociological Review*. Vol. 71. No. 3. P. 426—449. <https://doi.org/10.1177/000312240607100304>.
- Stefanizzi S., Manzi G. (2019) Populism and Perceived Threat of Immigration. *Discover Society*. January 02. URL: <https://archive.discover society.org/2019/01/02/populism-and-perceived-threats-of-immigration/> (accessed: 22.10.2022).
- Swift D. (2021) Competition or Culture? Anti-Migrant Hostility and Industrial Decline: The Case of West Yorkshire, 1962—1981. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 47. No. 11. P. 2668—2684. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1573663>.
- Tunon M., Baruah N. (2012) Public Attitudes Towards Migrant Workers in Asia. *Migration and Development*. Vol. 1. No. 1. P. 149—162. <https://doi.org/10.1080/21632324.2012.718524>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2214](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2214)



**А. А. Желнина, А. В. Семенов, Е. В. Тыканова**

## **МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ: УРОВНИ МАСШТАБИРОВАНИЯ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Желнина А. А., Семенов А. В., Тыканова Е. В. Методология изучения городских конфликтов: уровни масштабирования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 49—71. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2214>.

### **For citation:**

Zhelnina A. A., Semenov A. V., Tykanova E. V. (2022) The Methodology for Studying Urban Conflicts: Levels of Scaling. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 49–71. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2214>. (In Russ.)

Получено: 24.03.2022. Принято к публикации: 03.08.2022.

## МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ: УРОВНИ МАСШТАБИРОВАНИЯ

*ЖЕЛНИНА Анна Александровна — кандидат социологических наук, PhD in Sociology, постдок-исследователь, Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия*

*E-MAIL: [azhelnina@gmail.com](mailto:azhelnina@gmail.com)*

*<https://orcid.org/0000-0001-6558-2281>*

*СЕМЕНОВ Андрей Владимирович — кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт Российской академии наук — филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия; доцент, НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия*

*E-MAIL: [andrey.semenov@hse.ru](mailto:andrey.semenov@hse.ru)*

*<https://orcid.org/0000-0002-5127-4314>*

*ТЫКАНОВА Елена Валерьевна — кандидат социологических наук, заведующий сектором социоурбанистики, старший научный сотрудник, Социологический институт Российской академии наук — филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия*

*E-MAIL: [elenatykanova@gmail.com](mailto:elenatykanova@gmail.com)*

*<https://orcid.org/0000-0002-1060-0064>*

**Аннотация.** Статья посвящена методологии многоуровневого анализа городских конфликтов. Предлагаемый подход составляет альтернативу доминирующему в городских исследованиях макровзгляду на городские изменения через призму теорий неолиберализма. Отталкиваясь от методологии страте-

## THE METHODOLOGY FOR STUDYING URBAN CONFLICTS: LEVELS OF SCALING

*Anna A. ZHELNINA<sup>1</sup> — Cand. Sci. (Soc.), PhD in Sociology, Postdoctoral Researcher*

*E-MAIL: [azhelnina@gmail.com](mailto:azhelnina@gmail.com)*

*<https://orcid.org/0000-0001-6558-2281>*

*Andrei V. SEMENOV<sup>2,3</sup> — Sci. (Polit.), Senior Research Associate; Associate Professor*

*E-MAIL: [andrey.semenov@hse.ru](mailto:andrey.semenov@hse.ru)*

*<https://orcid.org/0000-0002-5127-4314>*

*Elena V. TYKANOVA<sup>2</sup> — Cand. Sci. (Soc.), Head of the Urban Studies Department, Senior Research Associate*

*E-MAIL: [elenatykanova@gmail.com](mailto:elenatykanova@gmail.com)*

*<https://orcid.org/0000-0002-1060-0064>*

<sup>1</sup> University of Helsinki, Helsinki, Finland

<sup>2</sup> The Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

<sup>3</sup> HSE University, St. Petersburg, Russia

**Abstract.** The paper focuses on the methodology of multilevel analysis of urban conflicts. The proposed approach is an alternative to the macro view of urban change through the lens of neo-liberal theories that dominates the field of urban studies. Based on the methodology of strategic interactionism, we posit

гического интеракционизма, мы предполагаем, что мобилизация по поводу трансформации городской среды связана в первую очередь с перспективами и целями участников, а также их взаимодействиями между собой на «аренах» (ограниченных физически и институционально локаций), которые вписаны в темпоральную рамку «событий», выделяющих наборы взаимодействий из фоновой рутины. Арены и события образуют концептуальный каркас для изучения микрооснований городских конфликтов. Преимущество микрооснований заключается в том, что они непосредственно наблюдаемы и могут быть зафиксированы множеством способов, доступных исследователю. Мы также полагаем, что перспективы, цели и взаимодействия встроены в более широкие пространственные и темпоральные структуры — «поля» и «эпизоды» конфликтов. Сами по себе конфликтные взаимодействия уникальны с точки зрения конкретных арен и событий, но в более широком плане они складываются в регулярности, которые можно обнаружить аналитически, что открывает возможности для сравнения и генерализации. Наша методология, таким образом, позволяет связать непосредственно наблюдаемые микрооснования с аналитически характеризуемым мезоуровнем: несмотря на то, что поля и эпизоды являются результатом аналитической работы и не существуют «физически», тем не менее их выделение помогает лучше понять стратегический характер взаимодействий участников, а также связать множество целей и действий в последовательность с идентифицируемым исходом. Также это дает возможность связать «промежуточные исходы» взаимодействий на определен-

that mobilization for the transformation of the urban environment is primarily related to participants' perspectives and goals, as well as their interactions with each other in "arenas" (physically and institutionally limited locations) that are embedded within temporal frames ("events") that highlight sets of interactions from the mundane routine actions. Arenas and events provide a conceptual framework for exploring the microfoundations of urban conflict. The advantage of microfoundations is that they are directly observable and can be documented in a variety of ways available to the researcher. But we also posit that perspectives, goals, and interactions are embedded in broader spatial and temporal structures — "fields" and "episodes" of conflicts. Conflict interactions themselves are unique in terms of specific arenas and events, but more broadly they add up to regularities that can be described analytically, opening up opportunities for comparison and generalization. Our methodology thus makes it possible to link directly observable microfoundations with an analytically characterized mesolevel: despite the fact that "fields" and "episodes" are the result of analytical abstraction and do not exist "physically", their identification helps to better understand the strategic nature of the interactions and associate a set of goals and actions in a sequence with an identifiable outcome. It also helps to link the "intermediate outcomes" of interactions in certain arenas to the outcome of the conflict. Simultaneous attention to the micro- and meso-levels of urban conflicts makes it possible to identify their structural (imbalance of resources, socio-political and economic hierarchies) and agent-based (goal-setting, strategic dilemmas, innovations, emotions)

ных аренах с итогом конфликта. Одновременное внимание к микро- и мезоуровню позволяет идентифицировать как структурные (дисбаланс ресурсов, социально-политические и экономические иерархии), так и агентные (целеполагание, стратегические дилеммы, инновации, эмоции) основания городских конфликтов. На примере собственных исследований мы показываем, каким образом представляемый концептуальный аппарат может быть переведен на методический язык конкретных аналитических процедур.

**Ключевые слова:** городской конфликт, методология, событие, эпизод, арена, поля стратегического действия, городская политика

**Благодарность.** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ № 18-78-10054-П) «Механизмы согласования интересов в процессах развития городских территорий».

## Введение

Городские конфликты анализируются множеством дисциплин: от классических социологии и политической науки до современной урбанистики эпизоды оспаривания различных аспектов развития городского пространства нередко становились эмпирическим материалом для прорывных работ в этой области [Castells, 1983; Logan, Molotch, 1987; Dahl, 2005]. Городское пространство и его трансформации особо интересны социальным исследователям в силу нескольких причин: конфигурация властных институтов на городском уровне [Stone, 2015] и структура городского управления [Pierre, 2005] довольно изменчива, что создает выгодные условия для изучения трансформационных процессов; городские общественные движения также имеют хорошо наблюдаемую динамику [Castells, 1983; Mayer, 2006], в то время как возможности для гражданского участия в городах постепенно расширяются [Harvey, 2012]. Кроме того, социальная структура городских классов и ее изменения находят отражение в физическом пространстве города, что также открывает новые методологические возможности для исследователей [Tomba, 2004; Karsten, 2007].

foundations. Using examples from our own research, we demonstrate how the presented conceptual apparatus can be translated into the specific instruments, methods, and analytical procedures.

**Keywords:** urban conflict, methodology, event, episode, arena, strategic action fields, urban politics

**Acknowledgments.** The research is supported by the Russian Science Foundation grant (RSF № 18-78-10054-P) “Mechanisms of interests coordination in the urban development processes”.

Социальное разнообразие — одна из главных характеристик городской жизни, описанная классиками городских исследований [Simmel, 2012]. Разнообразие, а иногда и несовместимость интересов в сфере развития города [Blokland et al., 2015], является одной из движущих сил городских конфликтов, в ходе которых разные группы интересов пытаются реализовать свое видение городского пространства. Физические и нематериальные аспекты городского пространства часто становятся объектом конфликтных взаимодействий, поскольку ключевые группы занимают противоположные позиции по их поводу, а также обладают разным объемом ресурсов и степенью включенности в политический процесс.

Эти особенности городских конфликтов позволяют изучать не только властную и ресурсную асимметрию и ее последствия, но и механизмы согласования интересов, настройки «баланса», а также инновации и стратегии необлеченных властью и ресурсами игроков. Разнообразие городских конфликтов в плане продолжительности, интенсивности, предмета и репертуара действий игроков создает широкие возможности для использования сравнений и последующей генерализации. Отталкиваясь от этого методологического преимущества, в данной статье мы предлагаем вариант многоуровневого анализа конфликтов. Опираясь на стратегический интеракционизм [Jasper, Duyvendak, 2015], с одной стороны, и парадигму «состязательной политики» [Tilly, 2001] — с другой, мы акцентируем внимание на связях между агентами и структурой в динамической перспективе. Мы предлагаем методологию реконструкции социальной динамики конфликтов от микро- к мезоуровню с использованием пространственной метафоры стратегического интеракционизма (понятие «арена») и темпоральным ракурсом динамического анализа событий. Мы надеемся представить для обсуждения аналитические инструменты, которые помогли бы организовать эмпирический материал таким образом, чтобы у исследователей была возможность с помощью данной методологии ответить на разные исследовательские вопросы. Представленная методология — предложение к дискуссии об аналитических инструментах, более чувствительных к анализу внутренней динамики городских конфликтов, и не претендует на разработку новых теоретических подходов.

Статья организована следующим образом: в первой части рассмотрим микрооснования нашей модели городских конфликтов — понятия арен (arenas) и событий (events). Как мы покажем, преимущество микрооснований заключается в том, что они непосредственно наблюдаемы и могут быть зафиксированы множеством способов, доступных исследователю. Далее рассмотрим агрегацию этих феноменов до мезоуровня полей (fields) и эпизодов (episodes). Мы продемонстрируем, что арены и события, во-первых, складываются в последовательности, а во-вторых, встроены в контекст. И хотя сами по себе конфликтные взаимодействия уникальны с точки зрения конкретных арен и событий, в более широком плане они сводятся к регулярностям, что открывает возможности для сравнения и генерализации. Наконец, на примере наших собственных исследований мы покажем, каким образом предлагаемый концептуальный аппарат может быть переведен на методический язык конкретных аналитических процедур. В заключении мы порассуждаем, какие результаты могут быть получены в дальнейшем и стоит ли встраивать нашу перспективу в макроконтекст.

В данной статье мы предлагаем инструмент для построения теорий среднего уровня, отталкиваясь от наблюдаемых на микроуровне явлений. В городских исследованиях доминирует анализ процессов с точки зрения конфигурации отношений при неолиберализме. Мы предлагаем сменить оптику и переключить внимание с макропроцессов, на которых преимущественно фокусируются такие исследования, на микрооснования городской политики. Ниже вкратце представим эту исследовательскую традицию.

### **Макроперспектива изучения городских конфликтов: неолиберальный урбанизм**

Многие современные исследования городских конфликтов видят их как результат распространения неолиберальных принципов в городском управлении, которые вызывают протестную реакцию горожан. Понятие «неолиберализм» описывает стремительное распространение рыночного подхода в сферах, связанных с обеспечением общественного блага. В широком смысле неолиберализм обозначает новое экономическое регулирование в виде доктрины «свободного рынка» с поправкой на специфические исторические и географические условия [Brenner, Theodore, 2005: 101—102].

Отвечая на вызовы неолиберального курса на национальном уровне, города конкурируют за создание благоприятных условий с целью привлечения внешних инвестиций. От городов все чаще ожидают продвижения культурных мероприятий и девелоперских проектов для привлечения новых волн потребителей, а также получения преимуществ от центрального и регионального правительств. Такая логика приводит к возникновению «предпринимательского города» [Harvey, 1989], в управленческую стратегию которого входят частно-государственное партнерство, рыночный характер деятельности, принятие муниципалитетами части рисков, связанных с частными инвестициями, а также взаимный коммерческий интерес местных органов власти и связанного с недвижимостью бизнеса [Kolossoff, Vendina, O'Loughlin, 2002: 173].

В то же время группы горожан, заинтересованные в сохранении нерыночных форм управления в общественно значимых сферах, стремятся ограничить беспрепятственное накопление капитала и его последствия [Brenner, Theodore 2005: 102]. В неолиберальной логике приоритеты рыночного развития и интересы строительного и инвестиционного бизнеса получают несимметричное влияние в принятии решений о судьбе городских территорий, но «рассерженные» горожане, тем не менее, могут организовывать протестное коллективное действие даже в условиях этой асимметрии. Оспаривание трансформации публичных пространств, уплотнительной застройки, препятствование угрозе историческому наследию часто приобретают форму grassroots, низовых инициатив (см. примеры российских случаев: [Dixon, 2010; Семенов, 2019; Fröhlich, 2020] и пр.). В политэкономическом анализе таких конфликтов низовые инициативы часто противопоставляются «машинам роста», локально укорененным взаимовыгодным коалициям политических и экономических элит [Logan, Molotch, 1987]. В большинстве конфликтных случаев эти «слабые» и «сильные» игроки вступают во взаимодействие с целью реализовать свое видение пространства и города.



Однако исследования зачастую уделяют несимметричное внимание разным игрокам, фокусируясь либо на общественных движениях, либо на эффектах частно-государственных партнерств.

Мы полагаем, что макроуровня анализа городских конфликтов недостаточно. Внимание к перспективе и целям участников, их действиям и взаимодействиям может позволить идентифицировать как структурные (дисбаланс ресурсов, социально-политические и экономические иерархии), так и агентные (целеполагание, стратегические дилеммы, инновации, эмоции) основания. Для этого мы предлагаем методологию анализа городских конфликтов, соединяющую микроперспективу участников с факторами «среднего уровня».

### **Микрооснования городских конфликтов**

Под городским конфликтом мы понимаем последовательные публичные взаимодействия между активистами, городскими властями, застройщиками и другими релевантными сторонами, цель которых — оспаривание изменений физических или символических аспектов городского пространства. Взаимодействие подразумевает реакцию одного актора на действия другого по поводу какого-либо аспекта городского спора, а также действия игроков, осуществляемые с ожиданием определенных реакций со стороны других участников. Конфликт имеет исход — прекращение взаимодействия между игроками и окончательное решение в отношении изначального проекта трансформации территории.

В социологии общественных движений существует две основные традиции изучения микрооснований конфликтных взаимодействий и две основные метафоры для их представления: пространственная метафора арены, связанная со стратегически-интеракционистским подходом, и темпоральная метафора события, разрабатываемая в русле теории политических процессов. В сочетании эти два видения микрооснований конфликтов позволяют составить комплексную картину конфликтов и открывают интересные возможности для генерализации, что мы и стараемся показать ниже.

Понятие «арена» в рамках стратегического интеракционизма неотделимо от понятия «игрок». Игроки, участники взаимодействия со своими интересами и целями, отражают агентность, в то время как понятие арены подчеркивает структурные характеристики конфликтных взаимодействий — как незримые правила, так и физические ограничения конкретных пространств [Jasper, 2015]. Вступая во взаимодействие, игроки преследуют разные цели, и каждая арена ассоциируется у них с определенными ставками: например, в суде на кону конкретный вердикт, а на общем собрании собственников жилья — пункты повестки, сформулированные в соответствии с жилищным законодательством. На аренах игроки вступают во взаимодействие в соответствии с писаными и неписаными правилами конкретной арены, но условием их взаимодействия является то, что все они примерно представляют себе эти правила и учитывают их. В ходе взаимодействия на аренах игроки наблюдают друг за другом и принимают решения о своих дальнейших действиях на основе того, что они наблюдают. Игроки также приобретают новые знания и навыки, привлекают сторонников и собирают необходимые ресурсы для реализации своей стратегии.

Арены различаются по степени формализации и институционализации. Некоторые арены устанавливают строгие бюрократические правила (как, например, суды и парламенты), а другие более гибкие и неформальные. Неформальные арены, например спонтанные встречи соседей или собрания активистских групп, крайне важны для понимания городских политических процессов в целом: именно на таких аренах формируются коллективные игроки (инициативные группы), вырабатываются цели, ведутся дискуссии о выборе тактик и т. п. Исследования показывают, что даже регулярные совместные поездки на общественном транспорте могут стать ключевой ареной для формирования активистских идентичностей и политизации [Boudreau, Boucher, Liguori, 2009]. Игроки имеют в своем распоряжении разные ресурсы (финансы, технологии, репутации, эмоции), и их позиции на аренах могут определяться разными социальными иерархиями [Jasper 2015: 11]. Например, позиция председателя собрания или выступающего на митинге отличается от позиции рядового участника. Кроме того, игроки могут создавать арены, особенно облеченные властью (например, мэры). Они могут задавать правила игры и создавать новые возможности для взаимодействия, но не всегда могут контролировать ход и результаты взаимодействий на созданной ими арене [Elliott-Negri et al., 2021].

Арены могут быть связаны друг с другом: например, решения, принятые на одной арене, могут поменять ход событий на другой. Приобретая новые навыки, формируя альянсы и солидарности (или соперничество), игроки переносят эти достижения из одной интерактивной ситуации в другую. Так, встретившись на круглом столе о городской политике, представители разных инициативных групп могут увидеть, как их конкретные задачи резонируют друг с другом и какие общие действия могут повлечь выгодные для всех изменения в городе. Это приобретение может стать основанием для их совместного участия в протестных акциях, согласованного голосования на выборах и так далее. Такая связанность арен позволит нам описать формирование поля городской политики и выйти на мезоуровень анализа.

Событие схватывает темпоральный аспект городских конфликтов. Изначально события были инструментом исторического анализа и в первую очередь отсылали к значимым действиям, которые предположительно поворачивали исторический процесс в то или иное русло (например, революции, войны или стихийные бедствия). Количественная революция в социальных науках привела к переосмыслению понятия «событие», во многом поместив его в контекст регулярных явлений. К примеру, Чарльз Тилли использовал каталоги событий для опровержения модели относительной депривации в качестве объяснения революций, а также для демонстрации таких процессов, как «парламентаризация» или «централизация протестов» [Tilly, 2015]. В такой перспективе событие означало хронологически ограниченное взаимодействие между определенным набором участников, имеющее некоторую символическую связанность, которая позволяла бы выделить эти взаимодействия из широкого контекста. Так, исследователи социальных движений стали каталогизировать забастовки, митинги, возведение баррикад, равно как и различные формы противодействия протестующим [Tilly, 2008; Traugott, 1995]. Ключевая характеристика события — наличие обстоятельств взаимодействия, которые представляются экстраординарными по отношению к повседневной рутине.

Именно возможность выделить события на фоне какой-либо рутины позволяет с большей точностью зафиксировать его ключевые характеристики. Если «ментальные» состояния и рациональные предпочтения субъектов до сих пор представляют собой «черный ящик», который можно изучить лишь косвенно, равно как и рутинные взаимодействия, то экстраординарность событий влечет за собой внимание как самих участников, так и внешних наблюдателей. В результате, к примеру, публичные коллективные действия не только становятся предметом глубокой рефлексии участников [Poletta, 2006], но и вызывают интерес журналистов, органов публичной власти и других заинтересованных сторон. И хотя такие события, как протесты, составляют лишь видимую — публичную часть городских (и других) конфликтов, они образуют своеобразный каркас (а в нашей схеме — промежуточные результаты, о чем будет сказано ниже), вокруг которого «кристаллизуется» сам конфликт.

Что составляет «событийность» городских конфликтов? Мы полагаем, что таковы любые совокупности взаимодействий на какой-либо арене между участниками («игроками»), имеющие относительно непродолжительный характер и символическую связанность. К примеру, событием может быть встреча между активистами и представителями власти. Во-первых, она происходит на определенной арене. Во-вторых, обладает собственной «драматургией», элементы которой распознаются участниками в качестве начала (например, пожатие рук или объявление начала встречи) и конца (например, принятие итогового документа). В-третьих, взаимодействия «внутри» события выделяются на фоне широкого контекста как самими участниками, так и внешними наблюдателями. Необходимо подчеркнуть: продолжительность не является определяющим свойством события, событие может иметь разовый и интенсивный характер (к примеру, нападение на активистов) или более долгий (например, переговоры). Важно, чтобы взаимодействия внутри события выделялись на фоне всего потока возможных взаимодействий.

Пространственное (арены) и темпоральное (события) измерения городских конфликтов неразрывно связаны. Однако их аналитическое разделение делает возможным более многомерный анализ конфликтов на микроуровне. С помощью понятия «арена» мы можем зафиксировать более или менее стабильные формы взаимодействий, определить участников, их ставки и поведение на арене, проанализировать внешние ограничения, которые накладывают арены на действия игроков, и увидеть промежуточные результаты микровзаимодействий. В то же время, анализируя происходящее на арене как «событие», мы подчеркиваем процессуальность, ориентированность взаимодействия на будущее и его роль в более широком темпоральном горизонте. Взаимодействия микроуровня можно анализировать как герметично, для понимания логики происходящего здесь и сейчас, так и в формате генерализации, в частности теоретических обобщений среднего уровня. В следующем разделе рассмотрим, как микровзаимодействия могут стать основой теорий мезоуровня.

## **От микро- к мезоуровню анализа городских конфликтов**

Микросоциологическое понятие арены позволяет логично развить анализ более высокого уровня абстракции. Выше мы отмечали, что конфликты редко

ограничиваются единичным наблюдаемым взаимодействием на одной арене: чаще всего мы имеем дело с развитием конфликта на связанных аренах [Jasper, 2021]. Н. Флигстин и Д. Макадам также отмечают, что все коллективное действие структурировано в сложной сети «политических, социальных и экономических полей», которые связаны между собой, и события в одном поле влияют на состояния смежных полей [Fligstein, McAdam, 2011: 8]. В соответствии с теорией Н. Флигстина и Д. Макадама, в рамках полей стратегического действия «коллективные игроки стремятся достичь стратегического преимущества посредством взаимодействия с другими группами» [ibid.: 2].

Понятие арены позволяет дезагрегировать понятие поля и частично решить методологическую проблему идентификации границ последнего [Duyvendak, Fillieule, 2015]. Арены, наблюдаемые пространства взаимодействия, являются «составными элементами („building blocks“) на микроуровне, местами, где происходят значимые стратегические взаимодействия. В отличие от институтов, полей, пространств, системы и других связанных понятий (секторы, миры, конфигурации и так далее), мы можем наблюдать арену, а не только конструировать ее в уме или на бумаге» [Jasper, 2021: 253].

Арены складываются в поля городской политики конкретных городов, социальные порядки среднего уровня, которые, в свою очередь, формируют поля более высокого уровня (уровень финансовой, макроэкономической политики, например). В случае городской политики мы можем говорить о соответствующем поле, пространстве взаимодействия и конкуренции, где принимаются решения о судьбе городских территорий. Идентифицируя связи между аренами, мы можем проследить границы и иерархии в поле.

Один из способов проследить эти связи — наблюдение за промежуточными успехами и поражениями, влияющими на последующие взаимодействия. Например, промежуточный успех в виде рекрутинга большого числа сторонников для участия в публичных слушаниях может не стать непосредственно причиной отмены оспариваемого проекта, поскольку решения слушаний носят только рекомендательный характер, но может иметь важные последствия в долгосрочной перспективе: привести к созданию активистской группы, «заряженной» общими эмоциями и идентичностью, которая будет активно включаться во взаимодействие на смежных аренах. Важно отметить, что поле включает как формальные, так и неформальные арены [Желнина, Тыканова, 2019].

Понятие арен взаимодействия позволяет увидеть, как принимаются решения и как создаются конкретные промежуточные результаты, которые могут иметь далеко идущие последствия. Мы можем говорить, что эти взаимодействия, аккумулируясь, способны изменить расстановку сил в поле городской политики — совокупности арен, где принимаются решения о судьбе города, и игроков, которые участвуют во взаимодействиях на этих аренах, преследуя свои цели. Изменение в конфигурации поля возможно, например, если новые игроки — мобилизованные граждане — не покидают поле после окончания конкретного конфликта, но продолжают находиться там в новом качестве.

Для реконструкции полей городской политики может быть полезен инструментарий, используемый в рамках темпорального анализа конфликтов. События,

которые лежат в основе этого анализа, являются слишком мелкими единицами, но могут использоваться для составления каталогов, позволяющих оценить масштаб коллективной мобилизации, тематику конфликтов и их пространственное распространение [Семенов, 2018]. Тем не менее использование изолированных событий (даже в той или иной форме агрегации) имеет существенные ограничения. Во-первых, за рамками остаются действия многих релевантных акторов, которые могут быть предпосылками для мобилизации или следовать за публичными протестами. Во-вторых, в силу специфики событийного анализа игнорируется более конвенциональный репертуар и арены взаимодействия (например, заседания органов публичной власти или встречи заинтересованных сторон). Наконец, из анализа выпадает один из ключевых аспектов любой мобилизации — наличие последовательности во взаимодействиях всех игроков, «драматургия» конфликта.

Понятие «эпизод городского конфликта» позволяет связать между собой отдельные события в последовательность и отразить разнообразие игроков, действий и арен, тем самым помогая определить «поля» аналитически. В рамках «анализа эпизодов» — как и в случае с анализом арен, — принципиальное значение имеет аналитическое выделение ключевых действующих сторон [Kriesi, Hutter, Vojar, 2019]. Мы выделяем три основных стороны: горожан, публичную власть и застройщиков. Как правило, они различаются по своим стартовым позициям относительно предмета взаимодействия (физического или символического аспекта городского пространства, который подлежит изменению в результате действий одной из сторон), а также ресурсной обеспеченностью и возможностями для реализации своих целей. Притом что каждая из сторон может быть «составной», внутри них могут наблюдаться разногласия относительно как основного курса действий, так и тактических средств [Jasper, Duyvendak, 2015]. Для последовательного анализа необходимо, чтобы это внутреннее разнообразие можно было свести к некоторой общей позиции в рамках текущей последовательности взаимодействий. Необходимо отметить, что городской конфликт не обязательно включает в себя все три стороны. Публичная власть может выступать инициатором проекта трансформации территории, например при строительстве инфраструктурных объектов. Поскольку любой городской конфликт редко обходится без вмешательства каких-либо третьих сторон (депутатов или политических партий и др.), целесообразно включать в анализ и их действия.

В анализе эпизодов принципиально важно ориентироваться на действия, имеющие последствия. Любой конфликт, особенно продолжительный, может включать неограниченное количество действий разной значимости (так же как и поле может включать неограниченный набор арен): от индивидуальных судебных исков и неформальных встреч до масштабных акций протеста. Наш подход заключается в фиксации любого действия, которое хотя бы одна из сторон (или наблюдатели) считает значимым с точки зрения достижения каких-либо промежуточных или финальных результатов. Фактически это означает, что при реконструкции конфликта, например на основе сообщений в СМИ, важно фиксировать все упоминаемые действия, так или иначе относящиеся к предмету конфликта. С другой стороны, реконструкция эпизода на основе интервью может либо дополнить выявленную последовательность, либо изменить ее, если возникают противоречия в описа-

нии базовых событий. Следует подчеркнуть, однако, что реконструкция эпизодов не претендует на реалистичное описание того или иного городского конфликта, скорее, это аналитическая конструкция, которая позволяет связать воедино базовые единицы анализа (события и арены) и затем на их основе проводить сравнительный анализ. Анализ эпизодов, таким образом, представляет собой нечто среднее между плотным описанием отдельного случая, максимумом которого является детализация, и структурным анализом, фокусирующимся на широких и зачастую непосредственно ненаблюдаемых процессах.

Чем анализ эпизодов отличается от других подходов? От событийного анализа он отличается тем, что позволяет охватить куда больший состав игроков, репертуар и арены. Кроме того, анализ эпизодов позволяет отслеживать последовательности взаимодействий и выявлять не просто агрегированные динамические или пространственные паттерны (распределение мобилизации во времени и пространстве), но и специфические «сочленения» в городской мобилизации. Он отличается от плотного описания случая тем, что фокусируется на наиболее значимых взаимодействиях ключевых игроков, что в дальнейшем позволяет проводить систематический сравнительный анализ. Кроме того, особенности организации сбора данных в анализе эпизодов позволяют при желании дополнить практически любой конфликт детальным описанием того или иного аспекта конфликта. Анализ эпизодов в этом смысле избегает как ловушек чистого количественного анализа, при котором агрегированные показатели (как то число протестных событий или участников акций протеста) выступает либо предиктором (например, исхода), либо зависимой переменной в рамках некоторой функциональной модели, так и проблемы анализа отдельных случаев, как правило, связанных с ограничениями степеней свободы при рассмотрении альтернативных гипотез.

Наилучшим образом анализ эпизодов позволяет работать с «механизмами», связывающими между собой некоторые изначальные условия с интересующим исследователя результатом. Механизмы в представлении Д. Макадама и коллег представляют собой «наборы событий, действующих одинаковым образом в различных контекстах» [McAdam, Tarrow, Tilly, 2001]. Ключевая методологическая идея, лежащая в основе этого концепта, заключается в том, что для достижения того или иного результата игроки могут пользоваться целым спектром возможных действий, но их выбор определяется структурным и стратегическим (ожидаемыми действиями других игроков) факторами, которые в нашем случае схватываются в понятиях «арена» и «поле».

В динамических процессах можно выявить некоторые последовательности, задействуемые наподобие физических механизмов: один тип действия с высокой определенностью влечет за собой следующее, и этот каскад может разворачиваться в самых разных контекстах. Например, в мобилизации одним из таких механизмов выступает «посредничество» (brokerage) — действия третьих сторон по соединению игроков, преследующих одинаковые цели, но до этого не связанных между собой. Посредничество — распространенный механизм и в городских конфликтах, например, когда «профессиональные» активисты выстраивают связи между участниками коллективных действий, разделенных пространственно или темпорально.

Анализ эпизодов позволяет фиксировать те или иные механизмы за счет выявления их составляющих (определенных типов действий, осуществляемых определенными игроками на определенных аренах). Кроме того, можно также наблюдать, насколько эффективно механизмы «работают» в зависимости от контекста: определение механизма подразумевает, что его соединения могут давать «сбой» в зависимости от положения дел. В каких случаях механизмы, задействованные в городских конфликтах, действуют исправно, а в каких нет, также может стать предметом теоретического и эмпирического анализа.

Как можно совместить анализ эпизодов с анализом полей? Эпизоды и поля — понятия мезоуровня. С одной стороны, они основываются на наблюдаемых единицах, которые могут быть соответствующим образом агрегированы. С другой стороны, это аналитические конструкторы: их границы в большей степени задаются концептуальными и методологическими рамками, а не являются физическими границами, свойственными арене, или хронологическими границами, присущими событию. Поскольку эпизоды включают множество действий на разнообразных аренах, они по определению разворачиваются в множестве полей: те действия, которые фиксируются в рамках эпизодов, вызывают ответ не только в рамках самого конфликта, но и имеют следствия для совокупности игроков из разных сфер. Кроме того, действия в рамках конфликта осуществляются не только внутри логики самого конфликта, но и на пересечении других стратегических полей взаимодействия. Их действия зависят от следования логике этих полей.

Таким образом, микроанализ необходим для реконструкции агентности (фокус на наблюдаемых взаимодействиях, на игроках и их планах позволяет увидеть, как «структура» создается и пересобирается в этих взаимодействиях), а переход к более высоким уровням агрегации позволяет увидеть микровзаимодействия в свете стратегического выбора на развилках городской мобилизации. Горожане могут сразу выходить на публичные акции или сначала пробовать более конвенциональные меры, могут повышать ставки на переговорах или отстаивать статус-кво. Агрегация позволяет продемонстрировать, что выбор действий происходит не только исходя из соображений «здесь и сейчас», но внутри более широкой перспективы возможностей. Иными словами, поведение игроков на арене не может быть как абсолютно случайным (зависящим только от сиюминутных обстоятельств), так и исключительно детерминированным рациональностью или структурными условиями.

## **Методика многоуровневого изучения городских конфликтов**

Участники конфликта — инициаторы городских трансформаций (застройщики или представители власти) и активисты, несогласные с предлагаемыми изменениями. Последняя группа может включать как индивидов, так и их группы, как профессиональных активистов (представители градозащитных, правозащитных и пр. групп), так и простых граждан; важно, что они публично проявляют несогласие с действиями инициаторов проекта. Третья сторона может активно поддерживать одного из участников, либо выступать медиатором в конфликте. Например, политическая партия или НКО может поддержать жителей в борьбе против уплотнительной застройки. Официальные медиаторы, такие как судьи, полицейские и прокуроры,

должны выступать в качестве незаинтересованной в исходе взаимодействия стороны, однако далеко не всегда сохраняют нейтральность. СМИ и их авторы могут придерживаться любой позиции. По мере развития конфликта его участники могут менять свои цели, накапливать или терять ресурсы и переходить из одного «лагеря» в другой.

Микроуровень социальных взаимодействий наиболее уместно исследовать с помощью метода наблюдения (в случае синхронного изучения конфликта) или полупоформализованного интервью (если конфликт завершен к моменту исследования). В дополнение к ним показал свою полезность метод цифровой этнографии, если конфликт развивается в том числе на цифровых аренах. Методом полупоформализованного интервью можно выяснить, каким образом игроки ставят цели, разрешают стратегические дилеммы и выбирают арены для взаимодействия. Этот метод позволяет реконструировать, как прошлый опыт игроков влияет на их стратегические выборы в ходе текущего конфликта; как опыт взаимодействия и знания о других игроках формируют ожидания (например, что оппонент на следующем витке интеракции воспользуется неформальными связями и мобилизует неформальные правила). Интервью и наблюдения дают данные о том, как происходит управление ресурсами внутри групп игроков, как организована их коммуникация с соратниками, сочувствующими и с другими игроками.

Выступающие на одной стороне конфликта игроки могут преследовать разные цели и ожидать от конфликтных взаимодействий разных результатов. Такая множественность целей городского движения была свойственна, например, сопротивлению строительству Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве. При угрозе возведения новой дорожной линии, которую планировалось протянуть по нескольким районам города, часть местных жителей решительно выступили против проекта из-за риска серьезного ухудшения экологической обстановки в окрестностях: проект предполагал вырубку Яблоневого сада, а увеличение транспортного потока могло привести к росту вредных выбросов. Другая группа горожан, чьи дома располагались в непосредственной близости от предполагаемой трассы, протестовала из-за рисков падения рыночной стоимости их недвижимости. При этом одни выступали за полную отмену трассировки новой дороги, а вторые — за ее перевод в подземный тоннель.

Множественность целей, возможный внутренний конфликт и вмешательство игроков в дела друг друга могут тормозить согласование действий в альянсах игроков и затруднять выработку слаженной стратегии сопротивления. Интервью с участниками и наблюдение в ходе внутренних коммуникаций между сторонами позволяют зафиксировать такую «разноголосицу» целей у коллективных игроков и ее основания. Промежуточные, в том числе неожиданные исходы, полученные на предыдущих раундах взаимодействия, влияют на последующие шаги игроков: привлечение новых сторонников и исключение прежних, поиск дополнительных ресурсов, тактику обращения и взвешивание возможностей арен. Кроме того, некоторые игроки могут изменять правила и ресурсы арен; информацию об этом мы можем почерпнуть, как правило, только в ходе интервью.

Материальная сторона арен может выступать для игроков дополнительным ресурсом или ограничением. Для выявления этих характеристик арен для сбора



эмпирической информации предпочтительно наблюдение за взаимодействиями игроков в физическом пространстве: в зале суда, помещении для публичных слушаний, парке, где проходит публичная акция, на будущей стройплощадке, где встречаются муниципальные депутаты и обеспокоенные жители. Например, на публичных слушаниях игроки могут «манипулировать» физическими свойствами арены: жители или представители застройщика могут мобилизовать своих сторонников и максимально заполнить зал, продемонстрировав тем самым свою решительность и единство. Плохое освещение и мелкий масштаб представленных на слушаниях карт приведут к тому, что желающие не смогут получить подробную информацию об обсуждаемом проекте, и пр.

Если в фокусе внимания находится законченный конфликт, то большой потенциал для изучения пространственных параметров арен имеют визуальные цифровые материалы. К таким ресурсам относятся публикации в социальных сетях видеозаписей и фотографий, созданных инициативными горожанами; публикации в СМИ и на официальных сайтах учреждений, содержащие визуальный материал. Также ценностью представляют неопубликованные записи, хранящиеся в архивах участников событий. Созданный игроками визуальный материал носит отпечаток их позиций и интересов, однако он позволяет оценить параметры пространственной среды, а также другие особенности арен.

При анализе эмпирических данных важно учитывать ряд ограничений. Игроки действуют согласно своей интерпретации ситуации, своим ожиданиям по поводу ответных действий оппонентов, а также культурно обусловленным представлениям о правильном, выгодном и допустимом. С этим связан выбор игроками одних арен и игнорирование других. Игрокам может быть «объективно» доступен спектр арен, но в ситуации, когда они их не распознают, эти возможности для них в буквальном смысле не существуют [Jasper, 2021: 247]. Выстраивание последовательности событий на основе интервью с игроками осложняется тем, что информанты склонны эмоционально окрашивать внешние условия и взаимодействия игроков, акцентировать или преуменьшать в своих рассказах значение разных игроков и арен. Хронологическая последовательность событий в нарративах не обязательно говорит о причинно-следственных связях между ними. В силу этих особенностей личных нарративов требуется триангуляция различных типов данных, их верификация и сравнение [Polletta, Gardner, 2015: 557].

Изучение городских конфликтов качественными методами позволяет исследователям изучить форматы интеракций игроков, моральные дилеммы и пути их разрешения, а также выборы игроками различных арен, зафиксировать причины и особенности множественности целей, в том числе и у представителей одного «лагеря», оценить ожидания и ресурсы игроков, влияние предыдущего опыта и роль неформальных правил в координации взаимодействия, его промежуточные результаты. Нам становится доступна внутренняя логика разворачивания каждого конфликтного кейса с точки зрения интеракций игроков в их пространственном измерении — на специфических аренах взаимодействия. Однако такой исследовательский фокус и соответствующий ему методологический инструментарий не дают возможности сделать выводы о состоянии полей стратегического взаимодействия в силу того, что каждый конфликтный случай всегда имеет множество

особенностей и собственную внутреннюю динамику. По этой причине, а также в связи с неравномерностью доступа к информантам и фрагментарностью упоминания игроками событий, сравнительная перспектива на микроуровне анализа городских конфликтов затруднена.

Выстраивание последовательности взаимодействий игроков на разнообразных площадках с помощью дополнительных источников данных, например фиксации упоминаний их в различных СМИ (вкуче с данными наблюдений и интервью), открывает большее пространство для каталогизации, агрегации арен и последующей реконструкции полей стратегического взаимодействия. Каталоги взаимодействий, которые фиксируют действия сторон конфликта, репертуар и арены внутри эпизода являются интегральной частью нашей методологии. Они позволяют хранить как «сырую информацию» (например, наборы требований в изложении участников взаимодействия или наблюдателей), так и кодировать ее в соответствии с задачами исследования. В этой связи важным направлением дальнейшей работы представляется типологизация арен и репертуара. Еще одним преимуществом каталогов может быть выстраивание последовательностей взаимодействий (скажем, для ответа на вопрос, насколько часто оспаривание проекта в суде предшествует мобилизации или наоборот), которые также могут быть отдельным предметом анализа.

Например, с помощью каталогов взаимодействий и их атрибутов в городских конфликтах мы можем реконструировать и сравнить особенности полей стратегического действия. В данном случае для каждого конфликтного случая по поводу трансформации городской территории необходимо создать отдельную учетную карточку, которая будет подробно и последовательно фиксировать тематику конфликтов, эпизоды взаимодействия, тип арен (скажем, формальные или ситуативные — «неформальные»), характер промежуточных и окончательных исходов, типы игроков и их альянсы. Учетная карточка составляется на основе всех упоминаний конфликта в СМИ с учетом позиции автора опубликованного материала. Нередки случаи, когда в разных публикациях об одном и том же событии указывалось различное количество участников, что может свидетельствовать в том числе о симпатиях СМИ к тем или иным игрокам.

Преимущества использования понятия «поле» для анализа городской политики иллюстрирует наш сравнительный анализ городской политики Санкт-Петербурга и Москвы. Эти города имеют определенные сходства, поскольку включены в общее поле российской политики, но также и свои особенности. Они различаются по тематике спорных случаев, доминирующих в городской публичной сфере: в Петербурге чаще представлены случаи споров по поводу уплотнительной застройки, тогда как в Москве протесты горожан чаще вызывают планы по развитию новой инфраструктуры (благоустройство, возведение дорог). В Петербурге у горожан и их лоббистов больше шансов на успех, чем в Москве, что может быть объяснено в том числе и статусом стороны, продвигающей спорный проект: в Москве ими преимущественно выступают городские чиновники, а в Петербурге — частный бизнес. О чем это говорит? Можно предположить, что в Санкт-Петербурге осталось намного меньше свободных зон под застройку, в Москве же чаще доступны крупные федеральные проекты. В связи с асимметрией наполняемости городских

бюджетов в столице инициатором трансформаций выступают преимущественно представители мэрии, которым доступны узлы принятия решений, а также федеральные субсидии. Тогда как в городе на Неве основными локомотивами в городском девелопменте являются бизнес-структуры, поскольку городская администрация не имеет таких финансовых возможностей, какими располагает Москва.

С помощью агрегации данных в каталоги мы также можем оценить и сравнить множество иных параметров, свидетельствующих о состоянии полей местной политики в городах. Среди них — комбинации и последовательность арен, а также их результативность: для обоих городов наиболее «эффективным» для оппонентов проектов оказалось чередование ситуативных и формальных арен. Другой важный параметр — комбинации игроков. Так, в Москве жители чаще выступали самостоятельно (что, впрочем, как правило, не приводило к успеху). Это может свидетельствовать о том, что в Санкт-Петербурге лучше, чем в Москве, развиты и доступны гражданские инфраструктуры в виде активистских сетей поддержки (подробнее о полях городской политики в Санкт-Петербурге и Москве см. [Желнина, Тыканова, 2021]). Интерпретация выводов, полученных с помощью анализа данных каталогов, во многом дополняется и «раскрывается» материалами полуструктурированных интервью с экспертами, а также с ключевыми вовлеченными в спорные случаи игроками.

Событийный анализ позволяет отслеживать динамику взаимодействий и проводить сравнительный анализ. Например, анализ категории «коллективные протесты» позволяет понять тематику и кластеризовать эти события с учетом характеристик как самих событий (численность участников, тематика), так и городских условий [Семенов, 2019]. Кроме того, можно изучать динамику других типов событий, по которым информация может быть систематически собрана: судебным искам (или решениям по таковым), общественным слушаниям, петиционным кампаниям. Фокус на эпизодах расширяет возможности событийного анализа, встраивая отдельные события в последовательности с определенными исходами. К примеру, в одном из исследований на основе анализа эпизодов мы демонстрируем, что исход конфликта связан с тематикой, а также с особенностями городов [Семенов, Минаева, 2021]. Наконец, перспективным представляется анализ связи последовательности взаимодействий с промежуточными и финальными исходами конфликта: некоторые конфликты сразу начинаются с мобилизации, другие — с обращений в органы власти. В ходе конфликта участники могут прибегать к широкому репертуару или ограничиваться одним-двумя инструментами. Поскольку мы полагаем, что действия на каждой из арен имеют значение для последующих взаимодействий в поле, их последовательность и комбинация могут иметь принципиальное значение для финала конфликтов.

Важное методическое ограничение (и одновременно возможность) агрегации заключается в неопределенности границ — пространственных у полей и хронологических у эпизодов. Поскольку это аналитические конструкторы, которые призваны свести воедино множество последовательных связанных наборов взаимодействий игроков на различных аренах, которые становятся «видны» исследователю только в ходе самого исследования и не могут быть заданы априорно, а также в силу определения понятия «поле», мы можем лишь быть уверенными в более или

менее устойчивых элементах, имеющих конвенциональные ярлыки и рутинизированные практики (заседания комиссий, собрания жителей и т. д.). Менее рутинизированные или пространственно отдаленные арены слабее включены в «поле» как с точки зрения самих участников (они могут о них не знать или не иметь возможности на них присутствовать), так и исследовательской перспективы (данных об этих аренах, например, домашних собраниях активистов, просто может быть недостаточно).

Аналогичная проблема возникает с концептуальным и операциональным определением временных границ эпизода. Можно выделить первые публичные действия в последовательности взаимодействий ключевых сторон, которые оспаривают проект трансформации территории, как «начало» конфликта. Это могут быть обращения в органы власти, судебные иски, публичные протесты или акции прямого действия (например, перекрытие подъезда к месту строительства). Однако «корни» конфликта могут уходить глубже: в нескольких исследуемых нами случаях мы сталкивались с тем, что наложение правовых режимов (например, права собственности на гаражи или садовые участки) использовалось для отчуждения или консолидации земельных участков, которое лишь годы спустя становилось основанием для конфликта. Таким образом, участники подобных конфликтов отсылают к решениям и действиям, которые темпорально весьма отделены от основных событий, но тем не менее являются интегральной частью эпизода.

Такие же трудности возникают с концептуальным определением «завершения» эпизода: даже если проект реализован (например, застройка или вырубка парка осуществлена), оспаривание может быть продолжено в суде или надзорных инстанциях. Зафиксированный в документах планирования или публичных заявлениях властей статус-кво может носить временный характер: многие конфликты вспыхивают с новой силой спустя какое-то время после формального урегулирования. Конфликты некоторых типов могут носить принципиально незавершенный характер в силу постоянного интереса и притязаний на альтернативные виды их использования со стороны множества игроков. Так, крупные зеленые массивы «Черняевский лес» в Перми и парк «Малиновка» в Санкт-Петербурге на протяжении последних 20 лет либо точно застраиваются, либо испытывают угрозы уплотнительной застройки. Гарантии публичных властей обычно краткосрочны (максимум — они привязаны к пребыванию конкретного лица в кресле губернатора или мэра), поэтому даже отмена того или иного проекта не означает, что схожие притязания не появятся в скором будущем.

В данном пункте возникает еще одна концептуальная проблема: если в действиях игроков наблюдается значительный перерыв, например в силу достигнутых соглашений, но потом конфликт возобновляется, стоит ли их разделять на два разных эпизода? Наш подход предполагает, что если не сменились действующие игроки, а сам перерыв длился не более одного года, тогда действия до и после перерыва можно считать единым эпизодом. Кроме того, возникает вопрос о причине столь значительного временного разрыва. Однако если состав сторон сменился или разрыв в действиях превышает один год, можно с определенной степенью уверенности говорить, что перед нами новый конфликтный эпизод, даже если предмет конфликта остался прежним.

Изначальная неопределенность границ придает дополнительную гибкость нашему подходу: в зависимости от целей исследования, можно либо фокусироваться на наиболее значимых из перспективы исследовательского вопроса аренах или событиях, в том числе для обеспечения сравнимости, либо стремиться выявить не вполне очевидные арены и события и понять их место в поле городской политики и эпизоде. Иными словами, наша аналитическая схема позволяет «настраивать» инструментарий под конкретные задачи без потерь для возможности генерализации и накопления знаний.

## **Заключение**

Мы представили многоуровневую модель изучения городских конфликтов, включающую пространственное и темпоральное измерения. Непосредственно наблюдаемые арены и события образуют концептуальный каркас для изучения микрооснований городских споров. Мы полагаем, что перспективы, цели и взаимодействия участвующих игроков встроены в более широкие пространственные и темпоральные структуры — поля и эпизоды конфликтов, складывающиеся в регулярности и последовательности, что схватывает более абстрактный — мезоуровень анализа.

Предлагаемая методология позволяет анализировать городские конфликты не только с помощью классических традиций изучения общественных движений. С нашей точки зрения, анализ городских конфликтов может и должен продвигаться дальше утверждений, что коллективные действия по поводу проектов трансформации городских территорий встроены в институциональные рамки и в существующий в городе баланс сил. Описанная методология дает исследователям городских конфликтов инструменты как для сбора и упорядочивания эмпирических данных, так и для теоретического осмысления полученных результатов. Этот инструментарий отталкивается от микрооснований конфликтов и предлагает концептуальный аппарат арен, событий, полей и эпизодов для эффективного анализа конфликтных взаимодействий на микроуровне и с потенциалом выхода на мезоуровень аналитического обобщения.

Даже в случае неудачи протестующих против спорного городского проекта городские конфликты сигнализируют более широкому кругу акторов о горизонте и границах возможного. В ходе таких конфликтов мобилизуются сообщества, вовлекаются политики и медиа, а также формируются новые темы и тон в дебатах о городском развитии. Из городских конфликтов рождаются новые инициативы, которые в своих названиях обозначают нормативное видение города («Красивый Петербург») или недовольство положением дел («Искалеченный Новосибирск»). Часть активистов, участвовавших в конфликтах, демобилизуются после их завершения, другая часть включается в более широкие городские процессы или даже институционализирует собственную активность посредством занятия официальных должностей или создания/поддержки организаций.

Структурные изменения, объединяемые концептом «неолиберализм», не являются достаточным основанием для объяснения истоков, хода и итогов конфликтов. Действительно, в условиях коммодификации земли, давления рынка, дисбаланса сил в городской политике привилегированные застройщики и их союзники в публичной власти имеют преимущество в реализации своих интересов. Асимметрия

ресурсов и экспертиз, доступа к отдельным аренам (например, мэрии или профильным комиссиям по градостроительным вопросам) приводит к тому, что нежелательные проекты воплощаются в жизнь вопреки сопротивлению горожан. В то же время наша методология позволяет зафиксировать, что взаимодействия на сравнительно идентичных аренах, равно как и схожие последовательности взаимодействия в рамках эпизодов, оканчиваются различным образом.

## Список литературы (References)

Желнина А. А., Тыканова Е. В. Формальные и неформальные гражданские инфраструктуры: современные исследования городского локального активизма в России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. Т. 22. № 1. Р. 162—192. <https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.1.8>.

Zhelnina A., Tykanova E. (2019) Formal and Informal Civic Infrastructure: Contemporary Studies of Urban Local Activism in Russia. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 22. No. 1. P. 162—192. <https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.1.8>. (In Russ.)

Желнина А. А., Тыканова Е. В. «Игроки» на «аренах»: анализ взаимодействий в городских локальных конфликтах (случай Санкт-Петербурга и Москвы) // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19. № 2. С. 205—222. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2021-19-2-205-222>.

Zhelnina A., Tykanova E. (2021) 'Players' in 'Arenas': A Study of Interactions in Local Urban Conflicts (A Case Study of Saint Petersburg and Moscow). *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 19. No. 2. P. 205—222. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2021-19-2-205-222>. (In Russ.)

Семенов А. В. Событийный анализ протестов как инструмент изучения политической мобилизации // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 2. С. 317—341. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-2-317-341>.

Semenov A. (2018) Protest Event Analysis as a Tool for Political Mobilization Studies. *The Russian Sociological Review*. Vol. 17. No. 2. P. 317—341. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-2-317-341>. (In Russ.)

Семенов А. В. Корни травы: паттерны низовой городской мобилизации в России // Социологические исследования. 2019. № 12. С. 29—37. <https://doi.org/10.31857/S013216250007746-3>.

Semenov A. (2019) Roots of the Grass: Patterns of Grassroots Mobilization in Russia. *Sociological Studies*. No. 12. P. 29—37. <https://doi.org/10.31857/S013216250007746-3>. (In Russ.)

Семенов А. В., Минаева Э. Ю. Города расходящихся улиц: развитие городских конфликтов в России 2010-х // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19. № 2. С. 189—204. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2021-19-2-189-204>.

Semenov A., Minaeva E. (2021) Cities of the Forging Streets: Trajectories of Urban Conflicts in Russia. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 19. No. 2. P. 189—204. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2021-19-2-189-204>. (In Russ.)

Blokland T., Hentschel Ch., Holm A., Lebuhn H., Margalit T. (2015) Urban Citizenship and Right to the City: The Fragmentation of Claims. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 39. No. 4. P. 655—665. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12259>.

Boudreau J.-A., Boucher N., Liguori M. (2009) Taking the Bus Daily and Demonstrating on Sunday: Reflections on the Formation of Political Subjectivity in an Urban World. *City*. Vol. 13. No. 2—3. P. 336—346. <https://doi.org/10.1080/13604810902982870>.

Brenner N., Theodore N. (2005) Neoliberalism and the Urban Condition. *City*. Vol. 9. No. 1. P. 101—107. <https://doi.org/10.1080/13604810500092106>.

Castells M. (1983) *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press.

Dahl R. A. (2005) *Who governs? Democracy and Power in an American city*. New Haven, CT; London: Yale University Press. URL: <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300103922/who-governs/> (accessed: 29.06.2022).

Dixon M. (2010) Gazprom Versus the Skyline: Spatial Displacement and Social Contention in St. Petersburg. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 34. No. 1. P. 35—54. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00871.x>.

Duyvendak J. W., Fillieule O. (2015) *Conclusion Patterned Fluidity: An Interactionist Perspective as a Tool for Exploring Contentious Politics. Players and arenas*. Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 295—318. [https://doi.org/10.26530/OAPEN\\_611226](https://doi.org/10.26530/OAPEN_611226).

Elliott-Negri L., Jabola-Carolus I., Jasper J., Mahlbacher J., Weisskircher M., Zhelnina A. (2021) Social Movement Gains and Losses: Dilemmas of Arena Creation. *Partecipazione E Conflitto*. Vol. 14. No. 3. P. 998—1013. <https://doi.org/10.1285/i20356609v14i3p998>.

Fligstein N., McAdam D. (2011) Toward a General Theory of Strategic Action Fields. *Sociological Theory*. Vol. 29. No. 1. P. 1—26. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01385.x>.

Fröhlich C. (2020) Urban Citizenship Under Post-Soviet Conditions: Grassroots Struggles of Residents in Contemporary Moscow. *Journal of Urban Affairs*. Vol. 42. No. 2. P. 188—202. <https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1617035>.

Harvey D. (1989) From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*. Vol. 71. No. 1. P. 3—17. <https://doi.org/10.1080/04353684.1989.11879583>.

Harvey D. (2012) *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso books. URL: <https://www.versobooks.com/books/3007-rebel-cities> (accessed: 29.06.2022).

Jasper J. M. (2021) Linking Arenas: Structuring Concepts in the Study of Politics and Protest. *Social Movement Studies*. Vol. 20. No. 2. P. 243—257. <https://doi-org/10.1080/14742837.2019.1679106>.

Jasper J. M., Duyvendak J. W. (eds.) (2015) *Players and Arenas*. Amsterdam: Amsterdam University Press. [https://doi-org/10.26530/OAPEN\\_611226](https://doi-org/10.26530/OAPEN_611226).

Karsten L. (2007) Housing as a Way of Life: Towards an Understanding of Middle-Class Families' Preference for an Urban Residential Location. *Housing Studies*. Vol. 22. No. 1. P. 83—98. <https://doi.org/10.1080/02673030601024630>.

Kolossov V., Vendina O., O'Loughlin J. (2002) Moscow as an Emergent World City: International Links, Business Developments, and the Entrepreneurial City. *Eurasian Geography and Economics*. Vol. 43. No. 3. P. 170—196. <https://doi-org/10.2747/1538-7216.43.3.170>.

Kriesi H., Hutter S., Bojar A. (2019) Contentious Episode Analysis. *Mobilization: An International Quarterly*. Vol. 24. No. 3. P. 251—273. <https://doi.org/10.17813/1086-671X-24-3-251>.

Logan J., Molotch H. (1987) *Urban Fortunes: The Political Economy of Place*. Los Angeles, CA: University of California Press. URL: <https://www.ucpress.edu/book/9780520254282/urban-fortunes> (accessed: 29.06.2022).

Mayer M. (2006) Manuel Castells' the City and the Grassroots. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 30. No. 1. P. 202—206. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2006.00652.x>.

McAdam D., Tarrow S. G., Tilly C. (2001) *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511805431>.

Pierre J. (2005) Comparative Urban Governance: Uncovering Complex Casualties. *Urban Affairs Review*. Vol. 40. No. 4. P. 446—462. <https://doi.org/10.1177/1078087404273442>.

Polletta F. (2006) *It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics*. Chicago, IL: University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226673776.001.0001>.

Polletta F., Gardner B. G. (2015) *Narrative and Social Movements*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/535-548.10.1093/oxfordhb/9780199270125.003.0037>.

Simmel G. (2012) The Metropolis and Mental Life. In: Lin J., Mele Ch. (eds.) *The Urban Sociology Reader*. London: Routledge. P. 37—45. <https://doi.org/10.4324/9780203103333>.

Stone C. N. (2015) Reflections on Regime Politics: From Governing Coalition to Urban Political Order. *Urban Affairs Review*. Vol. 51. No. 1. P. 101—137. <https://doi.org/10.1177/1078087414558948>.

Tilly Ch. (2001) Mechanisms in Political Processes. *Annual Review of Political Science*. Vol. 4 No. 1. P. 21—41. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.21>.

Tilly Ch. (2008) *Contentious Performances*. New York, NY; Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511804366>.



Tilly Ch. (2015). *Popular Contention in Great Britain, 1758—1834*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315632698>.

Tomba L. (2004) Creating an Urban Middle Class: Social Engineering in Beijing. *The China Journal*. No. 51. P. 1—26. <https://doi.org/10.2307/3182144>.

Traugott M. (ed.) (1995) *Repertoires and Cycles of Collective Action*. Durham, NC: Duke University Press. URL: <https://www.dukeupress.edu/repertoires-and-cycles-of-collective-action> (accessed: 29.06.2022).

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2199](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2199)



**Д. А. Давыдов**

## **ДИНАМИКА МАССОВЫХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ**

**Правильная ссылка на статью:**

Давыдов Д. А. Динамика массовых протестных акций в современной России: событийный анализ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 72—93. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2199>.

**For citation:**

Davydov D. A. (2022) Dynamics of Mass Protest Actions in Modern Russia: An Event Study. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 72–93. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2199>. (In Russ.)

Получено: 16.02.2022. Принято к публикации: 05.09.2022.

## ДИНАМИКА МАССОВЫХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ

*ДАВЫДОВ Дмитрий Александрович — кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела философии, Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия*  
E-MAIL: [davydovdmitriy90@gmail.com](mailto:davydovdmitriy90@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0001-7978-9240>

**Аннотация.** Статья представляет результаты исследования динамики массовых протестных акций в современной России на основе метода событийного анализа. Географическая выборка исследования включает Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Новосибирск и Сибирский федеральный округ. Изучено 1 783 события за период с 2000 по 2021 г. Прослежена динамика протестных акций с учетом их тематической направленности и количества участников. В результате выявлено, что проблемно-тематический спектр массовых протестных акций постепенно меняется. С течением времени начинают преобладать политические, а также экологические и градозащитные протесты, а трудовые протесты становятся редкими и в основном малочисленными. Универсальным оказался сценарий постепенного роста протестной активности националистов (в Санкт-Петербурге также антинационалистов) с последующим резким исчезновением данной активности после 2014 г. Социальные протесты теряют позиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но сохраняют свою актуальность в Новосибирске и Сибирском федеральном округе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после 2010 г.

## DYNAMICS OF MASS PROTEST ACTIONS IN MODERN RUSSIA: AN EVENT STUDY

*Dmitriy A. DAVYDOV<sup>1</sup> — Cand. Sci. (Polit. Sci.), Senior Research Fellow*  
E-MAIL: [davydovdmitriy90@gmail.com](mailto:davydovdmitriy90@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0001-7978-9240>

<sup>1</sup> Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia

**Abstract.** The article studies the dynamics of mass protests in modern Russia using the method of event analysis. Geographically, the sample includes St. Petersburg and the Leningrad Region, as well as Novosibirsk and the Siberian Federal District. 1783 protest events were studied for the period from 2000 to 2021. The author demonstrates that the problem-thematic spectrum of mass protest actions is gradually changing. As time goes on, political as well as environmental and urban protests begin to dominate, while labor protests become rare and mostly small. One of the universally revealed trends is a gradual increase in the protest activity of nationalists (in St. Petersburg, also anti-nationalists), followed by a sharp disappearance of this activity after 2014. Social protests have contradictory dynamics: they are losing ground in St. Petersburg and the Leningrad Region but remain relevant in Novosibirsk and the Siberian Federal District. Also, after 2010, in St. Petersburg and the Leningrad Region, representatives of the LGBT community, women's movements, human rights organizations, and animal rights activists became more active, which was not the case in Novosibirsk and the Siberian Federal District. It is concluded that the dynamics of mass

наблюдалась активизация представителей ЛГБТ-сообщества, женских движений, правозащитников и зоозащитников, чего не было в Новосибирске и Сибирском федеральном округе. Сделан вывод, что динамику массовых протестных акций в изучаемый период времени можно объяснить постепенным вытеснением «материалистических» ценностей постматериалистическими.

**Ключевые слова:** протест, протестные акции, митинги, гражданское общество, гражданский активизм, демократия, постматериалистические ценности

**Благодарность.** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-32176 «Динамика протестной активности в современной России (2000—2020 гг.): исследование методом ивент-анализа».

### Постановка проблемы

Массовые протестные акции — не лучший способ политического волеизъявления. Это всегда голос меньшинства, стремящегося представлять себя большинством. Более того, массовые протесты часто приводят к драматичным и неоднозначным последствиям для общества (как это было, скажем, в Ливии или Сирии в результате «арабской весны»). Однако вряд ли массовому протесту будет когда-либо найдена альтернатива. Люди выходят из дома с теми или иными требованиями тогда, когда перестают доверять официальным институтам (и соответствующим способам разрешения конфликтов) или оказываются в безвыходном положении. Ни один политический механизм не будет настолько совершенным, чтобы исключить все системные уязвимости, дающие преимущества одним и ущемляющие права и интересы других. В то же время люди все чаще предпочитают самостоятельно определять свою судьбу и активно участвовать в решении общественно значимых проблем. Развитие социальных сетей и медиа способствует ускорению коммуникации и, стало быть, облегчает протестную мобилизацию (см., например, [Иванов, 2013; Климова, Куликов, Чмель, 2021]). Поэтому неудивительно, что в последние 10—20 лет массовые протестные акции стали серьезной силой — от сокрушительных событий «арабской весны» до беспрецедентной по своим масштабам (для США) волны протестов, вызванной движением Black Lives Matter в 2020 г. (причем в условиях пандемии COVID-19). Эта «серьезность»

protests in the studied period can be explained by the gradual displacement of materialistic values by post-materialistic ones.

**Keywords:** protest, protest actions, rallies, civil society, civil activism, democracy, post-materialist values

**Acknowledgments.** The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research and EISR within the Project No. 21-011-32176 «The Dynamics of Protest Activity in Modern Russia (2000—2020): A Protest Event Analysis».

обусловлена сочетанием множества факторов: частота подобных событий, их массовость, способность к социальному заражению и распространению, их непосредственное влияние на повестку дня. Это актуально и для России, буквально окруженной странами, которые за последние десять лет пережили масштабные протесты, а то и «революции» — Украина в 2014 г., Армения в 2018 г., Беларусь в 2020 г., Казахстан в 2022 г. Резонансные политические протесты перестали быть редкостью в нашей стране. В последние годы наблюдались локальные по тематике, но не по масштабу, медийности и соответствующему политическому резонансу «суперпротесты». В России, к примеру, это были такие кейсы, как протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (январь — февраль 2017 г.), протесты на станции Шиес против строительства мусорного полигона (июль 2018 г. — июнь 2020 г.), массовые акции протеста в сквере на Октябрьской площади в Екатеринбурге против строительства православного храма (март — июнь 2019 г.), протесты из-за планов разработки шихана Куштау (август 2020 г.), протесты в Хабаровском крае (июль 2020 г. — сентябрь 2021 г.)<sup>1</sup> против уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Тем не менее, несмотря на масштаб и значимость явления, мы все еще недостаточно хорошо представляем, как устроен современный протест — какие причины его вызывают, почему в одних случаях некоторые факторы оказываются значимыми, а в других нет. В исследовании природы и динамики массовых протестов можно идти разными путями. Например, с помощью опросов населения изучать «протестные настроения», интересуясь у респондентов, есть ли у них желание и готовность участвовать в протестных акциях и по какой причине. Как свидетельствует опыт, это не самый лучший способ объяснения или предсказания реальных протестов. Так, по данным исследования «Левада-Центра»<sup>2</sup> [Козырев, 2017: 76], в России процент людей, считающих, что в их городе / сельском районе выступления протеста (демонстрации, митинги, забастовки) с политическими требованиями возможны, с 2000 по 2016 гг. колеблется между 10 % и 35 %, однако этот показатель не всегда коррелирует с конкретными волнами протеста. К примеру, в 2007 г. и 2011—2012 гг. данный показатель находился примерно на одном и том же уровне (около 30 %), но очевидно, что протестные акции 2007 г. (так называемые «марши несогласных») были гораздо скромнее, чем то, что наблюдалось в 2011 и 2012 гг. («болотная революция»). Более того, в 1997—1999 гг. показатель политического «протестного потенциала» достигал отметки в 50 %, но каких-то знаковых протестных событий, которые были бы сопоставимы по своим масштабам с кейсами 2011—2012 гг., тогда не происходило. Количественная методология, оценивающая потенциал протестной активности на общероссийском уровне, также была малопригодна в предсказании и объяснении протестов 2011—2013 гг., так как поквартальное измерение уровня готовности людей участвовать в протестах не показало значительных изменений [Солодников, 2015; Мамонов, 2012]. Как резюмирует В. В. Солодников: «Этот факт можно рассматривать как противоречащий фактическим данным о частоте московских протестных акций (данные

<sup>1</sup> Эти протесты тоже стоит отнести к категории «локальных», связанных с борьбой за «право на город» [Демьяненко, Клиценко, 2022].

<sup>2</sup> Российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции «иностранного агента».

контент-анализа материалов СМК)» [Солодников, 2015: 65]. В целом доля людей в общей численности населения, выражающих желание участвовать в протестных акциях, и доля тех, кто действительно участвует в таковых, сильно отличаются друг от друга. Как показал еще в 1997 г. Ю. Левада, процент людей, реально участвующих в протестных акциях (за 12 мес.) невелик (примерно 7%), причем, если говорить о массовых акциях (митинги, шествия и т. п.), этот процент еще ниже (4%—5%) [Левада, 1997].

Другая проблема данного подхода — в частом обобщении протестов, имеющих фактически разные причины, что ведет к неубедительным объяснениям. К примеру, некоторые исследователи склонны преувеличивать экономический фактор, говоря о таких вещах, как бедность, последствия кризиса, неравенство там, где они малозначимы. Так, основную причину протестов 2011—2012 гг. «за честные выборы» многие комментаторы видели в неравенстве или экономической стагнации. В. К. Левашов в 2012 г. писал, что «большая часть россиян и после выборов продолжает не доверять государству, его политическим институтам и политике, которая приводит к стесненному, бедственному положению граждан. Назрела острая необходимость декриминализации сферы общественных отношений, оздоровления механизмов мотивации труда, ликвидации разрывов в размерах заработной платы, создания новых рабочих мест. Необходимо остановить дегенеративные процессы в обществе, в первую очередь в сфере трудовых отношений. Доступные для каждого гражданина работа, зарплата, жилье, семья — императивные социально-политические факторы устойчивого развития страны» [Левашов, 2012: 76]. Однако полевые исследования показали, что в 2011—2012 гг. в протестах «за честные выборы» участвовали не столько бедные жители провинции или представители рабочего класса, сколько хорошо образованные и материально обеспеченные жители больших городов [Семирханова, Соколова, Головина, 2014; Бараш, 2012].

По всей видимости, имеет место перешедшая из 1990-х годов (возможно, унаследованная от советской культуры) привычка ассоциировать массовые акции протеста с социальными проблемами (причина может быть в когнитивных искажениях вроде эвристики доступности [Пинкер, 2021]). В статье 1995 г. М. М. Назаров резюмирует данные социологических исследований (Центра социологии международных отношений ИСПИ РАН июня — июля 1993 г. и июня 1994 г.) следующим образом: «Наименьший уровень участия демонстрируют представители наиболее высокодоходных групп. Таких, по данным исследования, на период июня 1993 г. было около 10% населения. Средний уровень протестной активности присущ лицам со средними (или относительно средними) доходами, их оказалось подавляющее большинство — 80%. Остальные 10% относились к группе с наиболее низкими доходами и демонстрировали, соответственно, наивысшую готовность к участию в протесте» [Назаров, 1995: 51—53]. Это плохо характеризует сегодняшнюю картину. А. С. Архипова\*\*, А. В. Захаров, И. В. Козлова [Архипова\*\*, Захаров, Козлова, 2021] обобщают результаты полевых опросов на митингах в поддержку А. Навального\*<sup>3</sup> (январь, февраль, апрель 2021 г.) и отмечают среди их участ-

<sup>3</sup> Здесь и далее \* означает лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Здесь и далее: \*\* 26.05.2023 внесена в реестр иностранных агентов.

ников большое количество образованных людей. По мнению исследователей, данный факт «противоречит как популярному мифу о том, что на митинги ходят „одни спившиеся бомжи“, так и представлению, что это совершенно нормально, поскольку у нас практически все имеют высшее образование. Согласно данным переписи 2010 г., полное высшее образование имеют 23% россиян, в Москве их доля существенно выше — 42%. На митинге 31 января в Москве 71% опрошенных имели полное высшее образование, в Санкт-Петербурге — 59%» [там же: 310]. Кроме того, тематическую направленность самых массовых протестов за пандемийный 2021 г. вряд ли можно назвать социальной или затрагивающей напрямую экономические интересы рядовых граждан (отравление А. Навального\*, его расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки»).

Очевидно, что массовые протесты не едины по своей природе и сущности. Более того, они меняются вслед за изменением общества. Россия — яркий пример общества, пережившего за последние десятилетия череду бурных социальных потрясений и трансформаций. Именно взаимосвязь между меняющимся протестом и социальными, экономическими, культурными и прочими изменениями российского общества сегодня неясна, а исследований, посвященных данной проблематике, крайне мало. Иными словами, мы имеем недостаточно четкие представления о динамике протеста. И здесь круг возможных методов исследования сильно сужается. Полевые исследования были бы идеальным вариантом, но охватить большую часть протестов на протяжении существенного периода времени, сохраняя методологическое единство, нереально. Поэтому единственный доступный вариант — событийный анализ (ивент-анализ) как разновидность или аналог контент-анализа, где в качестве единицы анализа выступает событие.

Данный метод, зародившийся в политической науке в 1960е годы, изначально заключался в формализованном анализе взаимодействий между политическими агентами [McClelland, 1967]. Впоследствии его заимствовали исследователи гражданской мобилизации и протестных событий (например, Ч. Тилли и др. [Tilly, 2002]), стремившиеся оценить их динамику (частоту и уровень интенсивности) в зависимости от тех или иных факторов [McAdam et al., 2005; Семенов, 2018].

Исследований массовых протестов в России с помощью метода событийного анализа было проведено недостаточно, чтобы иметь полную картину соответствующих изменений. Тем не менее отметим исследование Г. Робертсона [Robertson, 2013], осуществленное на основе полицейских сводок МВД и отчетов о протестах, собранных Институтом «Коллективное действие». Исследователь сравнил два периода времени: 1997—2000 гг. (до начала «путинской эры», проанализировано 5 882 события) и 2007—2011 гг. (5 726 событий). Было показано, что репертуар протеста — виды действий, к которым обычно прибегают люди, чтобы выразить несогласие, — резко изменился за десятилетие, отделяющее два набора данных. Если ранее протест в России содержал существенную составляющую прямых действий (голодовки, перекрытия железных дорог и т. п.), то к концу 2000-х годов в репертуаре протестов преобладали символические формы публичного выражения (марши, демонстрации и т. п.). Во-вторых, было обнаружено, что протест перемещается в пространстве — от провинции к столичным городам. Москва и Санкт-Петербург стали основным местом организации протестных акций. Также

было продемонстрировано, что за изученное десятилетие природа протестных требований сильно изменилась. В 1990-х годах затяжной экономической кризис означал, что требования протестующих касались в первую очередь экономических вопросов (задержки выплаты заработной платы и т. п.). Однако ко второй половине 2000-х годов гораздо большую роль в протестах стали играть требования к системе правосудия, борьба с коррупцией и другие более абстрактные дискуссии о гражданских и трудовых правах [Robertson, 2013].

Также событийным анализом занимается Центр социально-трудовых прав, делая акцент на динамике трудовых протестов<sup>4</sup> (после 2018 г. — «Мониторинг трудовых протестов» независимый проект<sup>5</sup>). Однако, несмотря на обилие данных, которые публикуются в рамках данного проекта, в них трудно уловить какие-либо тенденции. С 2008 г. показатель количества фиксируемых трудовых протестов не продемонстрировал явной динамики в сторону увеличения или уменьшения. Можно отметить лишь небольшой рост количества стоп-акций в сложный 2020 г.<sup>6</sup> с их последующим снижением в 2021 г.<sup>7</sup>

В целом других масштабных проектов, где использовался бы событийного анализа протестов мы не нашли. Обзор А. Семенова показал, что имеющиеся исследования или берут слишком малый промежуток времени (как правило, несколько лет), чтобы можно было уловить большие тренды, либо специализируются на протестах определенной тематики (например, трудовые) [Семенов, 2018]. Еще одна проблема заключается в том, что динамику протеста зачастую анализируют, просто подсчитывая количество соответствующих событий, причем совсем разных — от петиций и одиночных пикетов до забастовок и массовых митингов. Сведение очень разных феноменов к одной категории чревато искажением реальных тенденций. В таком случае «малозначительные» (вроде петиций и одиночных пикетов) кейсы приравниваются к масштабным и резонансным уличным протестам, что достаточно странно, учитывая их несопоставимый «вес». Нижеследующее исследование призвано восполнить этот и многие другие обозначенные выше пробелы.

## Метод

Настоящее исследование — попытка проследить динамику массовых протестных акций в современной России (за 2000—2021 гг.), поэтому было решено сделать акцент именно на «уличной» политике (массовые пикеты, митинги, шествия и т. п.). Именно массовые протесты оказываются наиболее «рискованными» с точки зрения устойчивости общественного согласия, а также наиболее значимыми, влиятельными и резонансными, демонстрирующими масштабы общественного недовольства в зависимости от количества участников, их конкретных действий и эмоций (от мирных собраний до столкновений с сотрудниками правоохранитель-

<sup>4</sup> См. URL: <http://trudprava.ru/expert/analytics> (дата обращения: 31.10.2022).

<sup>5</sup> См. URL: <http://www.trudprotest.org> (дата обращения: 31.10.2022).

<sup>6</sup> Трудовые протесты в 2020 г. Часть 1 // Мониторинг трудовых протестов. 2021. 19 января. URL: <http://www.trudprotest.org/2021/01/19/трудовые-протесты-в-2020-г-часть-1/> (дата обращения: 28.10.2022).

<sup>7</sup> Трудовые протесты в России в 2021 г. Введение, Часть 1 // Мониторинг трудовых протестов. 2022. 07 февраля. URL: <http://www.trudprotest.org/2022/02/07/трудовые-протесты-в-россии-в-2021-г-введен/> (дата обращения: 28.10.2022).



ных органов, погромов, драк, государственных переворотов). Поэтому за единицу анализа мы взяли *массовую протестную акцию*, под которой здесь понимается собрание из десяти и более человек, недовольных какой-либо общественной ситуацией и выдвигающих конкретные требования к ответственным лицам. Так как количество участников (а потому величина и размах) массовых протестных акций может сильно варьироваться, за единицу счета решено было взять не событие как таковое, а *количество его участников*.

Географическая выборка исследования включает две территории, рассматриваемые в сравнительной перспективе: 1) Санкт-Петербург и Ленинградская область; 2) Новосибирск и Сибирский федеральный округ. Выбор продиктован необходимостью учесть территории с разным населением, максимально репрезентирующим Россию в целом — от «столичного» Санкт-Петербурга с развитым «человеческим капиталом» и постиндустриальной экономикой до многочисленных промышленных городов и небольших населенных пунктов Сибири. Стоит сразу отметить, что Сибирский федеральный округ (СФО) в целом изучался не так подробно, как Новосибирская область. Изначально планировалось рассматривать именно последнюю, но поскольку в изучаемых материалах постоянно фигурировали кейсы из других регионов СФО (Красноярский край, Томская область и др.), было решено включить в выборку и их.

Исследование охватывает период 2000—2021 гг. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2002—2021 гг. для Новосибирска и Сибирского федерального округа. Сужение периода охвата относительно Новосибирска и СФО обусловлено отсутствием данных за период 2000—2001 гг. в архивах выбранных информационных источников.

В качестве источников информации использованы материалы СМИ. Среди недостатков этого подхода можно отметить, во-первых, разную информационную «пропускную способность» СМИ, отмеченную нами на протяжении исследуемого периода: в начале 2000-х, особенно в 2000—2003 гг., протестные акции освещаются недостаточно подробно из-за неразвитости интернета, однако впоследствии информационный поток стабилизируется. Во-вторых, СМИ (включая региональные) освещают не все протестные акции, а наиболее резонансные. Однако для нас это скорее преимущество, чем недостаток, так как мы рассматриваем протестные кейсы, ставшие частью публичного дискурса, а потому оказывающие влияние на процесс установления повестки дня. Для изучения протестных акций Санкт-Петербурга и Ленинградской области были выбраны издания «Фонтанка.ру» и «Коммерсантъ-Daily» (Санкт-Петербург). Новосибирск и Сибирский федеральный округ изучались по материалам NGS.RU («Новосибирский Городской Сайт») и «Коммерсантъ-Daily» (Новосибирск). Выбор СМИ обусловлен надлежащим состоянием архивов и легкими инструментами поиска информации, а также относительно подробным и нейтральным освещением протестных кейсов.

Поиск информации осуществлялся по двум запросам: «митинг» и «акция протеста». Среди найденных материалов отбирались те, что отвечали требованию выборки, а именно упоминали массовые протестные акции с количеством участников более десяти человек. В выборочный массив были включены тексты не только об уличных протестах, но и забастовках рабочих, а также массовых

голодовках. Отобранные материалы прочитывались, и в соответствующую базу данных в хронологическом порядке заносились краткие сведения о протестных кейсах: причинах, требованиях, лозунгах и количестве участников. Сами протестные события классифицировались в зависимости от тематики и требований протеста. Такая классификация необходима для того, чтобы проследить, как менялся тематический спектр протестов. Учитывая найденные Г. Робертсоном тенденции, мы можем предположить, что с течением времени одни протестные тематики могут становиться актуальнее, а другие — терять свое значение, и это может свидетельствовать об изменении как социального состава участников, так и их интересов. В результате мы выделили следующие категории протестов:

- трудовые протесты (с участием представителей трудовых коллективов и малого бизнеса, отстаивающих свои экономические интересы);
- социальные протесты (с соответствующей тематикой: льготы, пенсии, пособия, бедность, проблемы в сфере ЖКХ, расселение из ветхого и аварийного жилья и т. д.);
- политические протесты (борьба за честные выборы, за политические права и свободы, неприятие монополии на власть, недоверие к тем или иным политическим деятелям, коррупция в высших эшелонах власти);
- экологические и градозащитные (защита парков, скверов, зеленых насаждений от застройки, борьба за сохранение памятников архитектуры и прочих городских пространств, стремление к комфортной городской среде, противодействие появлению на тех или иных территориях грязных производств, реакция на все разновидности экологических проблем, затрагивающих территории, на которых проживают протестующие);
- протесты, связанные с пересечением частных и публичных интересов в городском планировании (строительство во дворах жилых домов; ликвидация садовых товариществ; дорожное строительство, сильно ухудшающее качество жизни; снос гаражей; выкуп и снос частных домов с целью дальнейшей застройки территории и т. п.);
- протесты националистов;
- антинационалистические;
- консервативные (отстаивание традиционных ценностей);
- протесты представителей ЛГБТ-сообщества;
- феминистские;
- зоозащитные;
- правозащитные (массовая поддержка незаконно осужденных и прочие подобные конфликты);
- протесты обманутых дольщиков и вкладчиков;
- прочие (сюда были включены все те протестные акции, которые невозможно отнести к указанным выше, а также те, что посвящены общим вопросам, выходящим за пределы непосредственных экономических интересов участников (например, протесты против призыва на военную службу, против ЕГЭ, против злоупотребления автомобилями с мигалками).

Довольно часто анализируемые протестные события затрагивали сразу несколько тем. Тогда выбор категории основывался на тематической доминанте:

основных лозунгах или первых пунктах в повестке. Так как речь идет о количественном исследовании с достаточно большой выборкой, такие «упрощения» вряд ли могут сильно повлиять на итоговые результаты. Если информация о количестве участников отсутствовала, но по визуальным материалам было ясно, что их больше десяти, то в графу «количество участников» вносилось минимальное значение — десять. Если информация о количестве участников поступала из нескольких источников (данные МВД, отчеты организаторов протестных акций, оценки журналистов), то определялось среднее значение, исходя из того, что официальные источники склонны занижать количество участников, а протестующие — завышать. Из выборки были исключены массовые акции, проводимые 1 мая (День труда) и 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции). Эти акции считаются скорее «праздничными», нежели по-настоящему протестными. Как показала В. Н. Ефремова, еще в 1990-е годы Первомайские демонстрации могли быть действенным инструментом влияния на власть, но в 2000-е годы праздник стал напоминать политический спектакль [Ефремова, 2017]. То же самое можно сказать и про праздник 7 ноября, который фактически стал ежегодным обрядом для представителей коммунистических движений.

Полученные данные заносились в таблицы и подвергались статистической обработке в Microsoft Excel.

## Результаты

В ходе исследования выявлено и проанализировано 1 783 протестных события, из которых 996 пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 787 — на Новосибирск и СФО.

### *Санкт-Петербург и Ленинградская область*

Динамика массовых протестных акций в целом (без учета тематики) в городе на Неве и Ленинградской области волнообразна (см. рис. 1). Как мы убедимся далее, это актуально и для Новосибирска и СФО (а потому, вероятно, и для России в целом). Мы видим три большие волны или «горы»: 1) 2004—2006 гг., 2) 2010—2013 гг., 3) 2016—2018 гг. При этом каждая новая «гора» оказывается немного выше предыдущей, но этого недостаточно, чтобы сделать вывод о тенденции к уверенному росту общей протестной активности. Тем не менее стоит учитывать, что изучаемые процессы происходили на фоне постоянного (с 2004 г.) ужесточения законодательства о проведении массовых акций. Новости об отказе местных властей согласовывать те или иные акции по мере продвижения к сегодняшнему дню встречаются все чаще и чаще, а потому мы нередко наблюдаем массовые несогласованные акции (заметный подъем графика в 2021 г. был вызван практически полностью несогласованными акциями). Также стоит отметить «стрессовые» факторы, которые временами глушили протест во второй половине наблюдаемого временного отрезка (шок от последствий Евромайдана на Украине, пандемия COVID-19).

Более явные изменения произошли с тематическим спектром протестов. И здесь история массовых протестных акций в затронутый нами период времени отчетливо делится на два приблизительно равных этапа.

Рис. 1. Динамика массовых протестных акций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

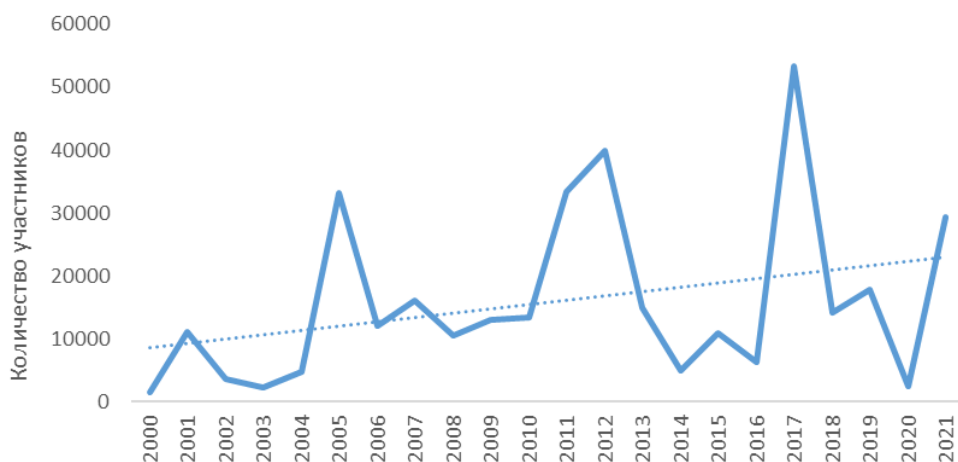
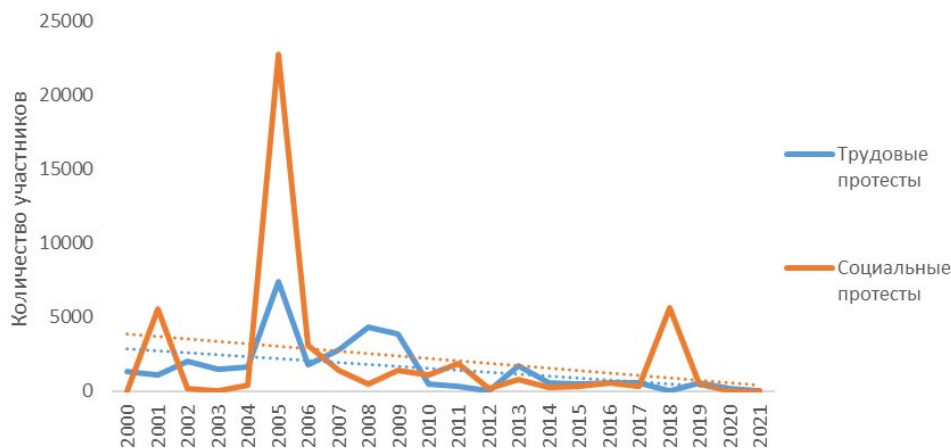


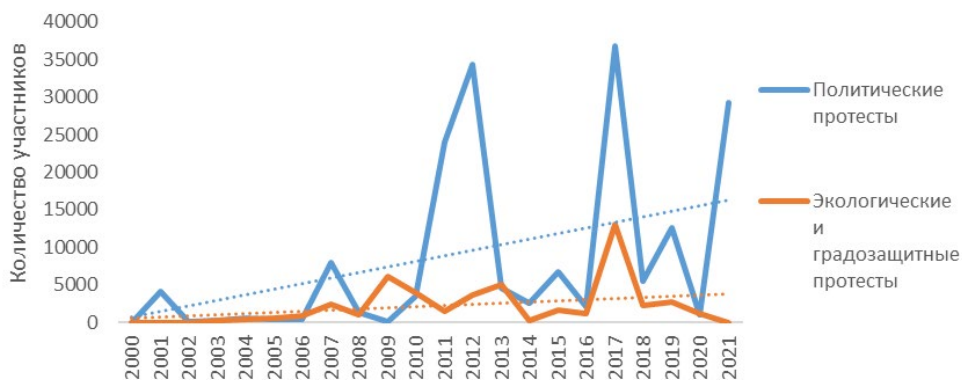
Рис. 2. Трудовые и социальные протесты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области



В период 2000—2009 гг. преобладают (судя по количеству участников) трудовые и социальные протесты. Однако затем они постепенно уходят на второй план. На рисунке 2 видно, как сильно в 2010-е годы снизилась протестная активность представителей трудовых коллективов и малого бизнеса. Здесь нужно учитывать отмеченное выше обстоятельство: в первые наблюдаемые годы СМИ плохо освещали протесты. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем подробнее, благодаря развитию интернета, освещаются события. Иными словами, в реальности снижение было более сильным. Аналогичный расклад мы видим в случае с протестными акциями с социальной тематикой (см. рис. 2).

Прямо противоположные тенденции выявляются, когда мы обращаемся к политическим, а также к экологическим и градозащитным протестам (см. рис. 3).

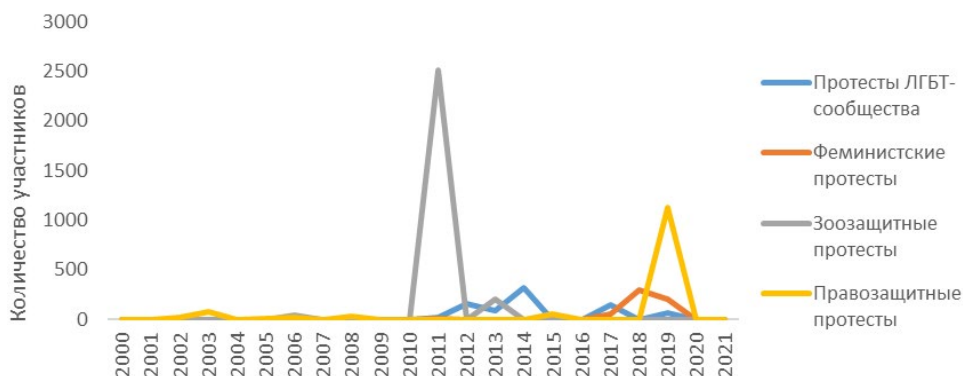
Рис. 3. Политические, экологические и градозащитные протесты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области



Здесь очевидно, что рост протестной активности происходит преимущественно во второй половине изучаемого отрезка времени (политические протесты — особенно после 2010 г., экологические и градозащитные — после 2008 г.).

2010 г. послужил «разделительной линией» и для других разновидностей протестов, связанных с правозащитной деятельностью, с защитой прав и интересов представителей сексуальных меньшинств, с феминистскими и зоозащитными инициативами. Данные протесты отчасти являются свидетельством проникновения в Россию западных ценностей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области (вернее, только в Санкт-Петербурге) мы вновь замечаем резкое изменение ситуации после 2010 г. (см. рис. 4). Если до 2010 г. практически никакого движения не заметно, то после 2010 г. подобного рода протесты происходят регулярно, хотя и сохраняют маргинальный статус.

Рис. 4. Протесты с участием представителей ЛГБТ-сообщества, с феминистской тематикой, а также правозащитные и зоозащитные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области



Интересна динамика протестов с участием националистов и антинационалистов (см. рис. 5). Можно отметить большие волны антинационалистических акций в 2003—2008 гг. и акций с участием националистов в 2009—2014 гг. Первая волна была вызвана рядом громких убийств иностранных студентов. Затем «хищник и жертва меняются местами», и впоследствии уже националисты бурно реагируют на «этнопреступность». Однако после 2014 г. обе разновидности протестов фактически исчезают. Решающую роль здесь, возможно, сыграли два фактора: возросшая неприязнь к национализму после Евромайдана на Украине, а также ужесточение законодательства о противодействии экстремизму. Также нельзя исключить, что в контексте присоединения Крыма и событий на Донбассе, националистически настроенные граждане чаще участвовали в патриотических (а не протестных) акциях.

Рис. 5. Протесты с участием националистов и антинационалистов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

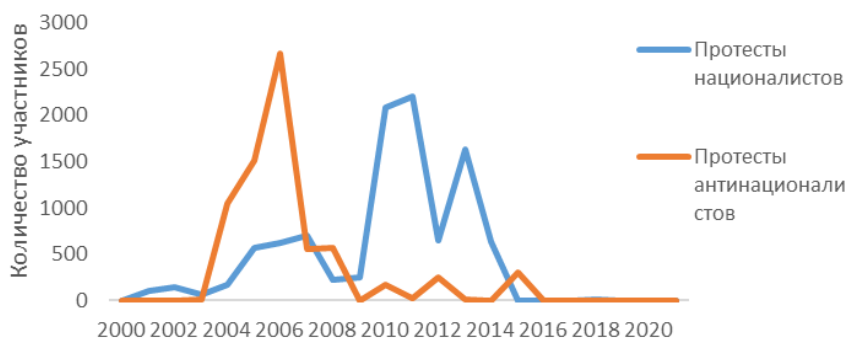
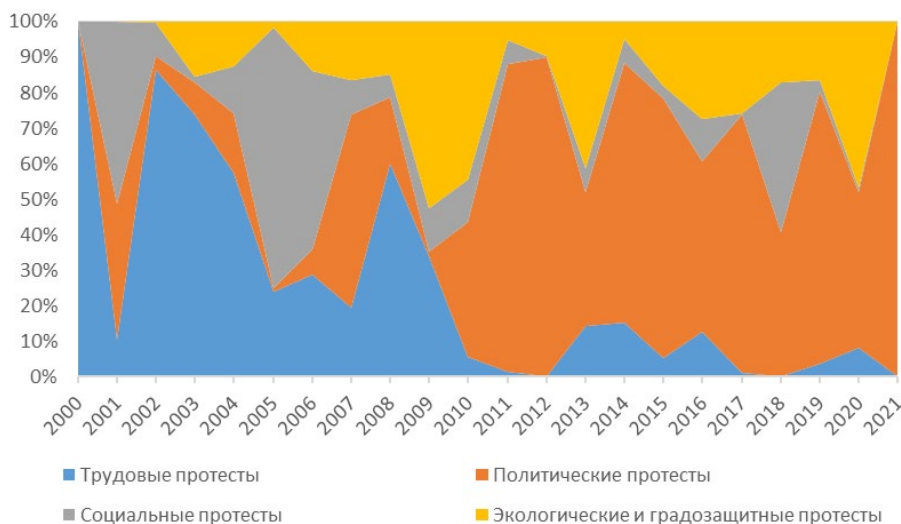


Рис. 6. Изменение процентного соотношения численности участников трудовых, политических, социальных и экологических/градозащитных протестов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области



По всем остальным категориям протестных акций каких-то определенных тенденций выявлено не было ввиду их малочисленности.

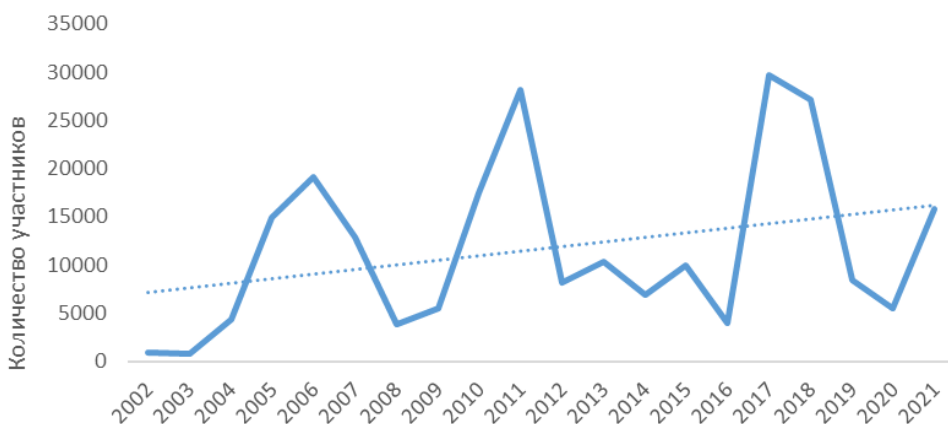
Если мы посмотрим, как менялось процентное соотношение количества участников трудовых, политических, социальных и экологических/градозащитных протестов, то увидим следующую картину (см. рис. 6).

На рисунке 6 видно, что общий расклад существенно трансформируется после 2009—2010 гг. Преобладание социальных и трудовых протестов сменяется доминированием протестов политических и экологических/градозащитных, и такое соотношение сохраняется на протяжении всего остального времени.

### Новосибирск и Сибирский федеральный округ<sup>8</sup>

В Сибири общая картина не сильно отличается от Санкт-Петербурга и Ленинградской области: вновь мы видим три подъема, расположенные примерно в тех же временных промежутках (см. рис. 7).

Рис. 7. Динамика массовых протестных акций в Новосибирске и СФО



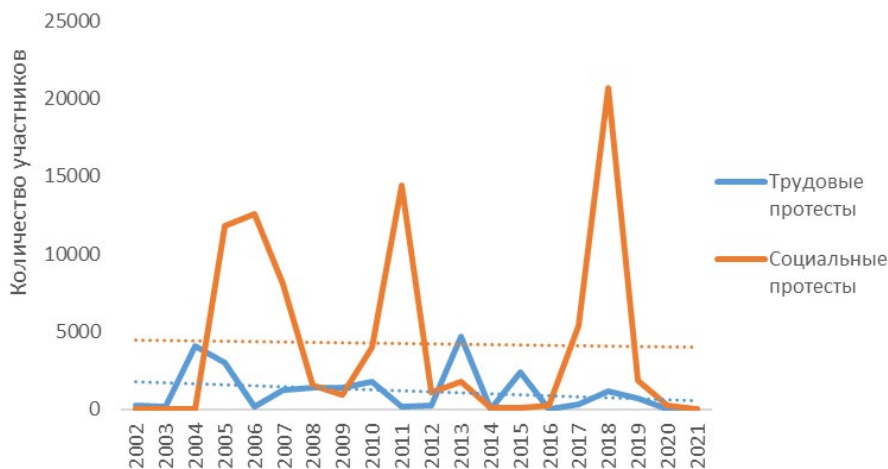
Сокращение числа участников трудовых протестов (см. рис. 8) не так очевидно, как в случае с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Однако стоит учитывать, что резкие всплески 2013 г. и 2015 г. были обусловлены одним и тем же конфликтным кейсом — закрытием Гусинобродского вещевого рынка в г. Новосибирске. Митинговали в основном индивидуальные предприниматели и продавцы, а конфликт был спровоцирован федеральным законом о запрете уличной торговли. Если вычесть данный кейс, то общая тенденция будет схожей с той, что наблюдалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Специфика Новосибирска и СФО проявляется, когда мы обращаемся к социальным протестам (рис. 8). В данном контексте активную гражданскую позицию занимают пенсионеры (например, комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь»).

<sup>8</sup> По материалам NGS.RU («Новосибирский Городской Сайт») и «Коммерсантъ-Daily» (Новосибирск), специализирующихся на освещении новостей Новосибирской области и в меньшей степени затрагивающих события остальной части СФО.

Исследование показало, что в регионе ведется постоянная борьба за льготы. Например, противодействие отмене безлимитного проезда на общественном транспорте по социальной карте для пенсионеров в г. Новосибирске в 2011—2012 гг., а также бурная негативная реакция на пенсионную реформу в 2018 г. во всем СФО.

Рис. 8. Трудовые и социальные протесты в Новосибирске и СФО

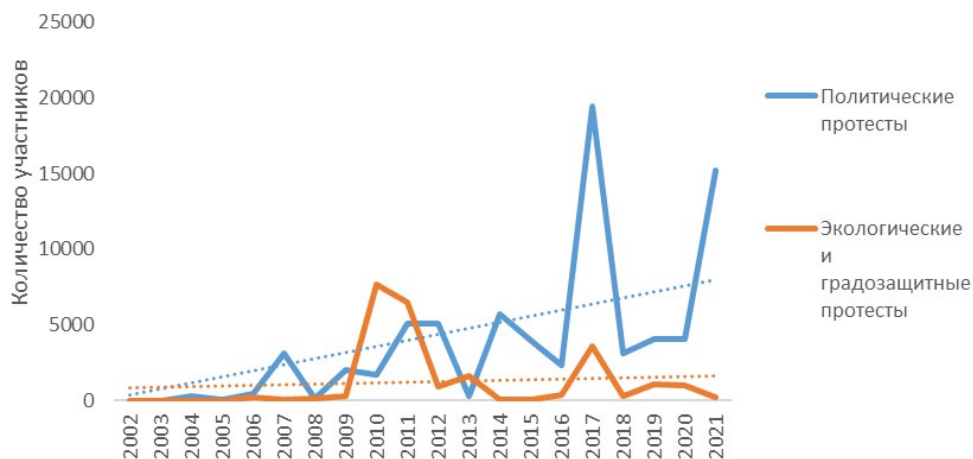


Политические, экологические и градозащитные протесты в г. Новосибирске и СФО по своей динамике схожи с наблюдаемыми в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (см. рис. 9). В обоих случаях мы видим хоть и не линейный, но постепенный рост протестной активности. Если обратиться непосредственно к кейсам, то заметен резкий переход к общероссийским (федеральным) политическим темам и проблемам после 2011 г. До этого не видно каких-либо масштабных митингов, в рамках которых актуализировались бы «системные» политические вопросы. Небольшой подъем графика в 2007 г. обусловлен единичным кейсом протеста против отмены прямых выборов мэра в г. Камне-на-Оби (примерно 3 000 участников). В 2009 г. самыми массовыми среди рассмотренных нами были два вступления с местной повесткой: митинги (примерно по 1 000 человек) сторонников Александра Деева — главного редактора газеты «Томская неделя» на выборах главы г. Томска. В 2010 г. основным протестным событием стал митинг против превышения должностных полномочий мэром г. Бийска (Алтайский край) Анатолием Мосиевским (около 1 500 человек). В конце 2011 г. политический кругозор протестующих в Сибири резко расширяется, и ключевую роль начинают играть федеральные повестки — протесты после выборов в Государственную Думу 2011 г., движение сторонников А. Навального\* и т. п.

Экологические и градозащитные протесты до 2010 г. также редки и малочисленны, затем случается взрывной рост, сменяющийся, однако, спадом (см. рис. 9). Тем не менее, можно отметить, что после 2010 г. подобного рода кейсы встречаются гораздо чаще и оказываются более масштабными, нежели ранее.

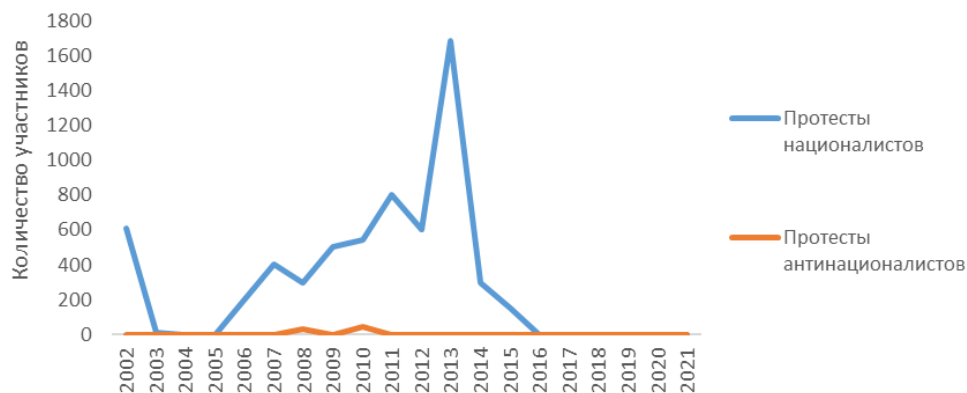


Рис. 9. Политические, экологические и градозащитные протесты в г. Новосибирске и СФО



Акции националистов в Сибири продемонстрировали тренд, аналогичный Санкт-Петербургу и Ленинградской области: сначала рост протестной активности, а затем полное ее исчезновение. В целом антинационалистические протесты в СФО были крайне редкими (см. рис. 10).

Рис. 10. Протесты с участием националистов и антинационалистов в Новосибирске и СФО



В г. Новосибирске и СФО не было столь быстрого изменения процентного соотношения количества участников трудовых, политических, социальных и экологических/градозащитных протестов (см. рис. 11). Но тенденция к росту доли политических протестов и снижению доли трудовых здесь прослеживается так же, как и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Эту тенденцию можно показать нагляднее, если визуализировать изменение численности трудовых и политических протестов относительно всех остальных (см. рис. 12 и 13).

Рис. 11. Изменение процентного соотношения численности трудовых, политических, социальных, экологических/градозащитных протестов в Новосибирске и СФО

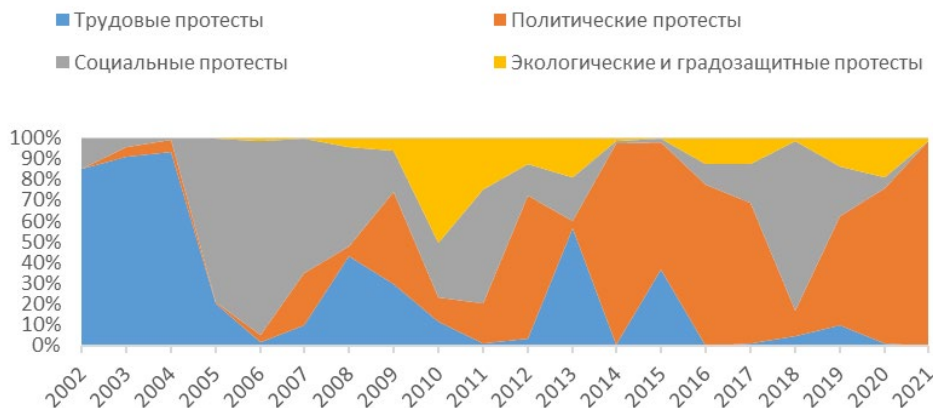


Рис. 12. Изменение численности трудовых протестов относительно всех остальных протестов в Новосибирске и СФО

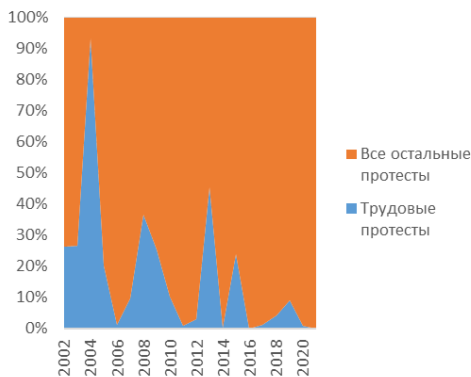
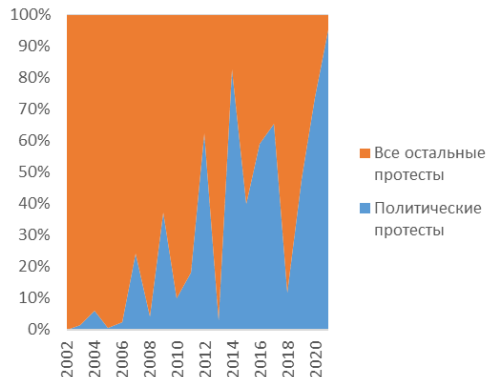


Рис. 13. Изменение численности политических протестов относительно всех остальных протестов в Новосибирске и СФО



Остальные выделенные нами выше категории протестов не продемонстрировали в г. Новосибирске и СФО динамики в ту или иную сторону (в том числе митинги с участием представителей ЛГБТ-сообщества (ни одного зафиксированного кейса) и феминистские). Лишь зоозащитные митинги начинали происходить после 2009 г., но их число и масштабы оставались очень скромными.

## Обсуждение и заключение

Итак, можно отметить ряд изменений. Как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так и в Новосибирске и СФО политические протесты после 2010 г. начинают преобладать, а трудовые — теряют в численности и частоте. На протяжении 2000-х годов в обоих регионах мы видим рост протестной активности, связан-

ной с экологической и градозащитной тематикой. Протесты, имеющие отношение к национализму или борьбе с ним, ведут себя похожим образом и в одном изученном регионе, и в другом: сначала рост, затем внезапное исчезновение после 2014 г. Скорее всего, это универсальные «сценарии», затрагивающие большую часть регионов России. Тем не менее было найдено несколько отличий. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области социальные протесты во второй половине исследуемого временного отрезка явно реже и скромнее в масштабах, но в Новосибирской области и СФО этого изменения не обнаружено. Более того, в Санкт-Петербурге наблюдалась некоторая оживленность протестной активности ЛГБТ-сообщества, феминисток, правозащитников и зоозащитников после 2010 г., а в Новосибирске и СФО мы этого не фиксируем.

Таким образом, массовые протестные акции — их природа и тематическая направленность в России — действительно меняются. И наши наблюдения подтверждают обнаруженную Г. Робертсоном тенденцию вытеснения экономической тематики из протестной повестки (см. выше). Это говорит о том, что людей по мере общего повышения материального благосостояния (экономическое и научно-техническое развитие) меньше интересуют сугубо экономические (материальные) вопросы, их «протестный кругозор» постепенно расширяется и все чаще затрагивает такие темы, как политические права и свободы или качество городской среды. Мы также видим, что экономический рост (особенно ощутимый в 2000-е годы) не приводил к снижению протестной активности, а, скорее, «подстегивал» ее. Избавляясь от тяжкого бремени бедности и нищеты, люди начинают задумываться о более абстрактных вещах и тратить больше освободившегося времени на отстаивание своей гражданской позиции. Здесь в качестве объяснительной концепции может подойти идея «тихой революции» Р. Инглхарта, который зафиксировал постепенное вытеснение материалистических ценностей постматериалистическими по мере достижения большинством населения состояния экзистенциальной безопасности (концепция разработана в 1970-е годы) [Inglehart, 2018]. Если это так, то Санкт-Петербург и Ленинградская область попросту продемонстрировали более «современную» динамику протеста — со временем уменьшается актуальность трудовой и социальной проблематики, но растет стремление к политическим свободам, озабоченность проблемами женщин, правами представителей сексуальных меньшинств или судьбой животных<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Здесь необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, нельзя не согласиться с тем, что любые частные случаи недовольства, казалось бы, прикладными проблемами (оплатой труда, условиями занятости, социальной политикой) являются производными от массового принятия идеи общественного права на антивластный протест. Во-вторых, несмотря на заявленность в качестве тематически узких и определенных (например, за повышение заработной платы или за некоторые ценности), протестные выступления на практике почти никогда не бывают «односоставными», но традиционно совмещают в себе несколько протестных дискурсов, объединенных недовольством системным устройством политической сферы, неэффективностью работы государственных институтов или действиями властей. Тем не менее стоит говорить об особых акцентах и разной социальной базе тех или иных протестов. Одно дело, когда социальным ядром протеста являются образованные представители среднего класса (или по иной версии — «новой мелкой буржуазии») [Tugal, 2015]), но совсем другое дело, когда это рабочие или маргинальные группы вроде безработных мигрантов. Протестные «материализм» и «постматериализм» не исключают друг друга, но очень часто оказываются антагонистичными по отношению друг к другу (например, протесты «желтых жилетов» во Франции с явно материалистической повесткой стали ответом на долгую активность постматериалистов, добившихся повышения налога на топливо) (см. о противоречиях между «материалистическими» и «постматериалистическими» протестами [Давыдов, 2020]).

\*\*\*

В изначальной версии данного текста делался вывод о том, что Россия с большой вероятностью пойдет именно по постматериалистической колее, если не случится какая-либо катастрофа. Однако по иронии судьбы именно в этот момент началась специальная военная операция на Украине, которая не может не отразиться на общей направленности протестной динамики в России. Многие происходящие события и складывающиеся обстоятельства способны самым негативным образом сказаться на протестной динамике (шок от военных действий, репрессии, жесткое подавление антивоенных митингов, эмиграция активистов и оппозиционных деятелей и многое другое). Здесь возникает соблазн заключить, что выявленные тенденции уже не совсем актуальны, что все радикально изменится, а нас ждет или долгое «не-протестное» время, или своеобразный «откат» к более материалистическим запросам и соответствующим экономическим и социальным повесткам. Война способна сплотить общество или же стать поводом заставить замолчать несогласных. Но это палка о двух концах: невозможно бесконечно воевать и подавлять политические права и свободы, не жертвуя при этом слишком многим (благополучием граждан или возможностью получения обратной связи от населения, чем протест отчасти и является). Поэтому мы вряд ли можем говорить, что Россия — это исключительный случай в плане динамики массовых протестных акций. Да, военные действия могут внести свои коррективы на некоторое время, но в дальнейшем, если мы все же придем к миру и необходимости поддерживать устойчивое развитие, можно ожидать, что протестная динамика вернется в прежнюю колею.

### Список литературы (References)

- Архипова А. С.\*\*, Захаров А. В., Козлова И. В. Этнография протеста: кто и почему вышел на улицы в январе-апреле 2021? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 5 (165). С. 289—323. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.2032>.
- Arkhipova A. S.\*\*, Zakharov A. V., Kozlova I. V. (2021) The Ethnography of Protest: Who Participated — And Why — In the Rallies Of 2021. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 289—323. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.2032>. (In Russ.)
- Бараш Р. Э. Интернет как средство самоактуализации и революционной самоорганизации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 3. С. 100—109.
- Barash R. E. (2012) The Internet as a Means of Self-Actualization and Revolutionary Self-Organization. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 100—109. (In Russ.)
- Давыдов Д. А. Чей протест? Посткапиталистическая трансформация и антиномии «низовой» политической борьбы // Общественные науки и современность. 2020. № 5. С. 21—37. <https://doi.org/10.31857/S086904990011119-2>.
- Davydov D. A. (2020) Whose Protest? Post-Capitalist Transformation and Antinomies of “Grassroots” Political Struggle. *Social Sciences and Contemporary World*. No. 5. P. 21—37. <https://doi.org/10.31857/S086904990011119-2>. (In Russ.)

Демьяненко А. Н., Клиценко М. В. Хабаровский протест: опыт социологического анализа // Социологические исследования. 2022. № 1. С. 125—133. <https://doi.org/10.31857/S013216250016854-2>.

Demyanenko A. N., Klitsenko M. V. (2022) Khabarovsk Protest: A Sociological Analysis. *Sociological Studies*. No. 1. P. 125—133. <https://doi.org/10.31857/S013216250016854-2>. (In Russ.)

Ефремова В. Н. Майские демонстрации в России: от мобилизации до акций протеста // Политическая наука. 2017. № 3. С. 158—176. URL: <http://inion.ru/ru/publishing/zhurnaly-iz-perechnia-vak/politicheskaiia-nauka/arkhiv/2017-3/maiskie-demonstratsii-v-rossii-ot-mobilizatsii-do-aktsii-protesta/> (дата обращения: 29.10.2022).

Efremova V. N. (2017). May Demonstrations in Russia: From Mobilization to Protest Actions. *Political Science*. No. 3. P. 158—176. URL: <http://inion.ru/ru/publishing/zhurnaly-iz-perechnia-vak/politicheskaiia-nauka/arkhiv/2017-3/maiskie-demonstratsii-v-rossii-ot-mobilizatsii-do-aktsii-protesta/> (accessed: 29.10.2022). (In Russ.)

Иванов Д. А. Роль виртуальных социальных сетей в политическом протесте (пермский случай, 2011—2012 гг.) // Вестник Пермского университета. Политология. 2013. № 1. С. 52—59.

Ivanov D. A. (2013) The Role of Virtual Social Networks in Political Protest (The Perm Case, 2011—2012). *Bulletin of Perm University. Political Science*. No. 1. P. 52—59. (In Russ.)

Климова А. М., Куликов С. П., Чмель К. Ш. Роль социальных медиа в формировании регионального экологического протеста в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 28—52. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.6.2024>.

Klimova A. M., Kulikov S. P., Chmel K. S. (2021) The Role of Social Media in Shaping Regional Ecological Protest in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 28—52. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.6.2024>. (In Russ.)

Козырев Г. И. Конфликтный потенциал современного российского общества // Социологические исследования. 2017. № 6. С. 68—78. URL: [https://www.isras.ru/index.php?page\\_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=6726](https://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=6726) (дата обращения: 29.10.2022).

Kozyrev G. I. (2017) The Conflict Potential of Contemporary Russian Society. *Sociological Studies*. No. 6. P. 68—78. URL: [https://www.isras.ru/index.php?page\\_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=6726](https://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=6726) (accessed: 29.10.2022). (In Russ.)

Левада Ю. А. Массовый протест: потенциал и пределы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1997. № 3. С. 7—12. URL: <https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/issue/view/115> (дата обращения: 29.10.2022).

Levada Yu. A. (1997) Mass Protest: Its Potential and Limits. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 7—12. URL: <https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/issue/view/115> (accessed: 29.10.2022). (In Russ.)

Левашов В. К. Гражданское общество: протест или консенсус? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 3. С. 73—83.

Levashov V. K. (2012) Civil Society: Protest or Consensus? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 73—83. (In Russ.)

Мамонов М. В. Протестная активность россиян в 2011—2012 гг.: основные тренды и некоторые закономерности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 1. С. 5—22.

Mamonov M. V. (2012) Protest Activity of Russians in 2011—2012: Main Trends and Some Regularities. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 5—22. (In Russ.)

Назаров М. М. Политический протест: опыт эмпирического анализа // Социологические исследования. 1995. № 1. С. 47—59.

Nazarov M. M. (1995) Political Protest: The Experience of Empirical Analysis. *Sociological Studies*. No. 1. P. 47—59. (In Russ.)

Пинкер С. Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса / пер. с англ. Г. Бородиной. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

Pinker S. (2021) *Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress*. Transl. from English by G. Borodina. Moscow: Alpina Non-Fiction. (In Russ.)

Семенов А. Событийный анализ протестов как инструмент изучения политической мобилизации // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 2. С. 317—341. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-2-317-341>.

Semenov A. (2018) Protest Event Analysis as a Tool for Political Mobilization Studies. *Russian Sociological Review*. Vol. 17. No. 2. P. 317—341. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-2-317-341>. (In Russ.)

Солодников В. В. Потенциал социальных протестов и власть в современной России // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 63—71. URL: [https://www.isras.ru/files/File/Socis/2015\\_4/Solodnikov.pdf](https://www.isras.ru/files/File/Socis/2015_4/Solodnikov.pdf) (дата обращения: 29.10.2022).

Solodovnikov V. V. (2015) Social Protest Capacity and Power in Contemporary Russia. *Sociological Studies*. No. 4. P. 63—71. URL: [https://www.isras.ru/files/File/Socis/2015\\_4/Solodnikov.pdf](https://www.isras.ru/files/File/Socis/2015_4/Solodnikov.pdf) (accessed: 29.10.2022). (In Russ.)

Семирханова Е. К., Соколова А. Д., Головина М. В., «Вы нас даже не представляете»: социальный портрет митингующих в динамике // «Мы не немь»: Антропология протеста в России 2011—2012 годов / под ред. А. С. Архиповой\*\*. Тарту: Научное издательство ЭЛМ, 2014. С. 84—122. URL: <https://publications.hse.ru/chapters/197433028> (дата обращения: 29.10.2022).

Semirkhanova E. K., Sokolova A. D., Golovina M. V. (2014) “You Don’t Even Imagine Us”: A Social Portrait of Protesters in Dynamics. In: Arkhipova A. S.\*\* (ed.) *“We Are Not Dumb”: Anthropology of Protest in Russia 2011—2012*. Tartu: ELM Scientific Publishing House. P. 84—122. URL: <https://publications.hse.ru/chapters/197433028> (accessed: 29.10.2022). (In Russ.)

Inglehart R. F. (2018) *Cultural Evolution: People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World*. Cambridge: Cambridge University Press.

McAdam D., Sampson R. J., Weffer-Elizondo S., MacIndoe H. (2005) “There Will Be Fighting in the Streets”: The Distorting Lens of Social Movement Theory. *Mobilization*. No. 10. P. 1—18.

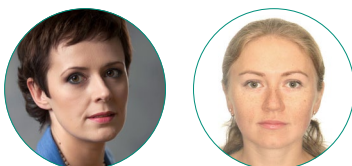
McClelland C. A. (1967) Event-Interaction Analysis in the Setting of Quantitative International Relations Research. Mimeo: University of Southern California.

Robertson G. (2013) Protesting Putinism: The Election Protests of 2011—2012 in Broader Perspective. *Problems of Post-Communism*. Vol. 60. No. 2. P. 11—23. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216600202>.

Tilly C. (2002) Event Catalogs as Theories. *Sociological Theory*. Vol. 20. No. 2. P. 248—254. <https://doi.org/10.1111/1467-9558.00161>.

Tugal C. (2015) Elusive Revolt: The Contradictory Rise of Middle-Class Politics. *Thesis Eleven*. Vol. 130. No. 1. P. 74—95. <https://doi.org/10.1177/0725513615602183>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2043](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2043)



**О. В. Синявская, А. А. Червякова**

## **АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАГНАЦИИ: ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ДИНАМИКА ИНДЕКСА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ?**

### **Правильная ссылка на статью:**

Синявская О. В., Червякова А. А. Активное долголетие в России в условиях экономической стагнации: что показывает динамика индекса активного долголетия? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 94—121. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2043>.

### **For citation:**

Sinyavskaya O. V., Cherviakova A. A. (2022) Active Aging in Russia during Economic Stagnation: What Can We Learn from the Dynamics of the Active Ageing Index? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 94–121. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2043>. (In Russ.)

Получено: 16.08.2021. Принято к публикации: 21.09.2022.



## АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАГНАЦИИ: ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ДИНАМИКА ИНДЕКСА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ?

*СИНЯВСКАЯ Оксана Вячеславовна* — кандидат экономических наук, заведующая Центром комплексных исследований Института социальной, заместитель директора Института социальной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: [osinyavskaya@hse.ru](mailto:osinyavskaya@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-6044-0732>

*ЧЕРВЯКОВА Анна Александровна* — кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: [aermolina@hse.ru](mailto:aermolina@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-2374-7759>

**Аннотация.** Статья посвящена оценке международного индекса активного долголетия (ИАД) на российских данных за 2010—2019 гг. и обсуждению полученных результатов. Рассматриваются динамика ИАД в России относительно стартового года измерения (2010), ограничения ИАД и возможности включения в него дополнительных индикаторов. Эмпирической базой исследования выступили данные выборочных наблюдений Росстата за указанные годы (Комплексное наблюдение условий жизни населения, Выборочное наблюдение доходов населения и некоторые другие). Показано, что в 2010-е годы потенциал активного долголетия в России, измеряемый ИАД, практически не изменился. Ахиллесовой пятой

## ACTIVE AGING IN RUSSIA DURING ECONOMIC STAGNATION: WHAT CAN WE LEARN FROM THE DYNAMICS OF THE ACTIVE AGEING INDEX?

*Oxana V. SINYAVSKAYA*<sup>1</sup> — *Cand. Sci. (Econ.)*, Director of the Centre for Comprehensive Social Policy Studies, Deputy Director at the Institute for Social Policy  
E-MAIL: [osinyavskaya@hse.ru](mailto:osinyavskaya@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-6044-0732>

*Anna A. CHERVIAKOVA*<sup>1</sup> — *Cand. Sci. (Ec.)*, Research Fellow at the Centre for Comprehensive Social Policy Studies, Institute for Social Policy  
E-MAIL: [aermolina@hse.ru](mailto:aermolina@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-2374-7759>

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, Russia

**Abstract.** The article is devoted to assessing the international Active Ageing Index (AAI) based on Russian data for 2010-2019. The authors examine the dynamics of the AAI in Russia relative to the starting year of measurement (2010), highlight the strengths and weaknesses of active ageing according to the AAI data, and discuss the limitations of the AAI and the possibility of including additional indicators. Empirically, the study bases on the data of Rosstat surveys for the indicated years (CSLC, VNDN, and some others). The authors show that in the 2010s, the potential for active aging in Russia, measured by AAI, remained virtually unchanged.

российского старения по-прежнему остаются низкая продолжительность жизни и плохое здоровье, усугубляющиеся снижением доступности медицинской и стоматологической помощи и невысокой физической активностью. К сильным сторонам активного долголетия в методологии ИАД относится высокий уровень достигнутого образования и физическая безопасность, ситуация с которой заметно улучшилась. Некоторые потенциально сильные аспекты активного долголетия, как, например, уход за внуками, плохо измеряются российскими данными в динамике. Показано также, что индикатор независимого проживания не вполне хорошо измеряет автономность пожилых людей. В статье обозначены ограничения ИАД, связанные с операционализацией активного долголетия, смещающей акцент на продуктивные виды деятельности и не учитывающей, например, досуговые активности, доступность помощи для людей.

**Ключевые слова:** активное долголетие, индекс активного долголетия, ИАД, старение, старшее поколение России

**Благодарность.** Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2020-928).

## Введение

«Активное старение» (active ageing), закрепившееся в русском языке как «активное долголетие»<sup>1</sup> — относительно новая концепция, впервые формально определенная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2002 г. как «процесс

The Achilles' heel of Russian aging continues to be low life expectancy and poor health, exacerbated by declining access to medical and dental care and physical inactivity. The strengths of active ageing in the AAI methodology include a high level of completed education and physical safety, which has improved noticeably. Some of the potentially vital aspects of active ageing, such as caring for grandchildren, are poorly measured by Russian data over time. The article also shows that the indicator of independent living does not measure well the autonomy of older people. The article outlines the limitations of the AAI associated with the operationalization of active ageing, which shifts the focus to productive activities and does not take into account, for example, leisure activities and the availability of assistance to people.

**Keywords:** active ageing, active ageing index, AAI, ageing, older generation of Russia

**Acknowledgments.** The article was prepared under a grant provided by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Grant Agreement No. 075-15-2020-928).

<sup>1</sup> Выбор термина «долголетие» вместо «старения» обусловлен негативной коннотацией словосочетания «активное старение», вызывающего ассоциации с ускоренным процессом увеличения численности лиц старшего возраста, на что обращали внимание в своей статье А. Зайди и А. Сидоренко [Sidorenko, Zaidi, 2013].

оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности человека с целью улучшения качества его жизни в ходе старения» [WHO, 2002: 12].

Особенность концепции активного долголетия — в том, что она изначально разрабатывалась как политический конструкт, элемент политического дискурса, призванный уйти от узкого понимания старения как тормоза экономического развития и разрушителя государств благосостояния и показать политикам, что активизация некоторых стратегических направлений социальной политики «может принести высокую экономическую и социальную отдачу» в условиях стареющего общества [Zaidi et al., 2013: 2]. Не случайно в Декларации Совета ЕС говорится о том, что принципы активного долголетия должны лежать в основе всех релевантных политических решений [Council, 2012]. Вместе с тем как политический конструкт активное долголетие оказалось уязвимо к сужению его интерпретации до «продуктивного» старения, приносящего пользу обществу, и, соответственно, фокусирующегося на мерах в области здоровья, позволяющих людям дольше оставаться здоровыми, или на способах продлить период оплачиваемой занятости [Boudiny, 2013; Boudiny, Mortelmans, 2011; São José De et al., 2017].

Кроме того, чтобы быть полезной политикам, концепция активного долголетия должна быть операционализована и измерена. Уже в Мадридском международном плане действий по проблемам старения (ММПДС) подчеркивается важная роль сбора количественных «ключевых показателей», позволяющих проводить оценку принимаемых странами мер в области старения и активного долголетия<sup>2</sup>. В 2012 г. странам-участницам ММПДС был предложен список из 50 базовых индикаторов для мониторинга прогресса в области старения и активного долголетия<sup>3</sup>. Одновременно десять лет назад в рамках проведения Европейского года активного старения и солидарности поколений для стран Европейского союза (ЕС) был разработан многокомпонентный (композиционный) Индекс активного долголетия (Active Ageing Index, AAI, ИАД), включающий 22 индикатора и направленный на «измерение недоиспользованного потенциала общества к активному долголетию» [Zaidi et al., 2013: 6].

С 2016 г. предпринимаются попытки расширения географии расчета этого индекса за пределы ЕС. И в настоящее время география экспериментальных оценок ИАД включает такие европейские и неевропейские страны, как Исландия, Норвегия, Швейцария<sup>4</sup>, Сербия, Турция<sup>5</sup>, Грузия<sup>6</sup>, Канада<sup>7</sup>, Китай [Zaidi et al., 2019], Гонконг [Au, Woo, Zaidi, 2020], Тайвань [Hsu et al., 2019], Корея [Um, Zaidi,

<sup>2</sup> Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года. URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/ageing\\_program\\_ch3.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program_ch3.shtml) (дата обращения: 21.10.2022).

<sup>3</sup> См. URL: [https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Review\\_and\\_Appraisal/list-of-indicators-2011.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Review_and_Appraisal/list-of-indicators-2011.pdf) (accessed: 20.10.2022).

<sup>4</sup> См. The Active Ageing Index for Canada, Iceland, Norway and Switzerland URL: <https://statswiki.unece.org/display/AAI/II.+Results> (accessed: 20.10.2022).

<sup>5</sup> UNECE (2016) The Active Ageing Index Pilot Studies for Serbia and Turkey. Geneva.

<sup>6</sup> UNECE. Results of the Pilot Study of Active Ageing Index in Georgia. 2012. URL: [https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/wg5/Presentations/Active\\_Ageing\\_Index\\_pilot\\_study\\_in\\_Georgia.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/wg5/Presentations/Active_Ageing_Index_pilot_study_in_Georgia.pdf) (accessed: 18.10.2022).

<sup>7</sup> См. The Active Ageing Index for Canada, Iceland, Norway and Switzerland URL: <https://statswiki.unece.org/display/AAI/II.+Results> (accessed: 20.10.2022).

Choi, 2019], Вьетнам [Pham et al., 2020]. В 2019 г. проф. Ашгар Заиди, бывший руководителем экспертной группы по разработке европейского ИАД, разработал новый азиатский индекс активного долголетия, с несколько отличающимся набором индикаторов и методологией [Zaidi, Um, 2019]. Этот индекс был рассчитан для Индонезии, Китая, Кореи, Тайланда и Японии, а также для стран ЕС.

В России апробация европейской методологии оценки ИАД на данных национальных обследований предпринималась исследователями Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). По результатам оценивания ИАД на данных 2010—2011 гг. Россия оказалась на 18 месте в рейтинге 29 стран (28 стран ЕС и Россия) [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017]. Авторы использовали обследования с максимально близкими к европейским формулировкам вопросов для оценки индикаторов ИАД, подчеркивая чувствительность результатов к измерению индикаторов и используемым базам данных. В последующие годы (по 2017 г. включительно) ИАД для России снижался как в абсолютных значениях, так и относительно средних для ЕС значений и ее положения в рейтинге 29 стран, достигнув 27 места к 2017 г. [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]. Однако авторы отмечают, что сопоставление значений индекса за отдельные годы не всегда возможно в силу вынужденной смены источников данных для расчета отдельных индикаторов индекса.

Наконец, в 2019 г. Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) утверждена методика расчета Индекса активного долголетия в Российской Федерации<sup>8</sup>, в соответствии с которой с 2020 г. индекс должен рассчитываться только на данных выборочных наблюдений Росстата. Указанные оценки будут отличаться от опубликованных оценок исследователей из НИУ ВШЭ в силу еще одной смены источников данных и небольших отклонений от методики ЕЭК ООН в операционализации индикаторов.

Таким образом, ограничения в имеющихся в России данных обследований заставляют выбирать между задачами международной сопоставимости и оценкой прогресса в сфере активного долголетия в динамике. Как показывают упомянутые публикации [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017; Varlamova, Sinyavskaya, 2021], максимально полная сопоставимость российских оценок ИАД со странами ЕС возможна лишь в отдельные годы (2010—2011, 2016—2017). Корректно оценивать динамику ИАД на основе этих статей невозможно, поскольку, как отмечают сами авторы, в разные годы они опирались на различные источники данных, что отвечало целям исследований [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]. Вместе с тем, учитывая, что ИАД был придуман как инструмент «доказательной политики» для оценки нереализованного потенциала в сфере активного долголетия и принимаемых решений в сфере социально-экономической политики, более актуальной представляется задача подбора таких рядов данных, которые бы позволили оценить динамику индекса в России на максимально длительном промежутке времени. Тем более что изменения за прошедшее с момента первой оценки российского ИАД десятилетие были разнонаправленными.

<sup>8</sup> Методика расчета Индекса активного долголетия: утв. Приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстата) от 31 октября 2019 г. № 634. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_337013/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337013/) (accessed: 24.10.2022).

С одной стороны, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для мужчин в возрасте 60 лет за период с 2010 по 2018 гг. выросла на 1,98 лет, достигнув к 2018 г. 16,56 лет, а для женщин 55 лет — на 2,05 года до 26,28 лет в 2018 г. С другой стороны, если 2010 г. был годом выхода из глобального финансового кризиса 2008 г. и интенсивного роста пенсий как основного источника доходов лиц старшего возраста, то с 2014 г., когда произошел внутренний валютный кризис, доходы населения и пенсионеров уже не росли вплоть до 2019 г.

В сфере политических решений, с одной стороны, в 2016 г. была принята Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г.<sup>9</sup> Приоритеты в части повышения качества жизни лиц старших возрастов обозначены в национальных целях развития Российской Федерации на период до 2024 и 2030 гг.<sup>10,11</sup> и национальном проекте «Демография»<sup>12</sup>. С 2018 г. в стране реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, целью которого выступает повышение доступности и улучшение качества ухода для лиц с ограничениями в автономности, что, как показывает зарубежный опыт, может стать фактором снижения заболеваемости и смертности в старших возрастах [Choi, Joung, 2016; Lunt, Dowrick, Lloyd-Williams, 2021]. С 2019 г. начато повышение пенсионного возраста и введены меры дополнительной защиты занятости граждан предпенсионного возраста и содействия в их трудоустройстве.

С другой стороны, с 2016 г. отменена индексация пенсий работающим пенсионерам; размеры многих нестраховых мер социальной защиты в регионах были «заморожены», либо ужесточены критерии их получения. С 2010 г. проводится реформа здравоохранения, получившая противоречивые оценки и не приведшая к росту расходов на эту, длительно недофинансируемую сферу [Cook, 2017].

В данной статье мы пытаемся ответить на несколько вопросов. Если оценивать ИАД в России на максимально сопоставимых во времени данных, то какой будет его динамика в период с 2010 по 2019 г.? Существует ли качественная связь между социально-экономической политикой и динамикой активного долголетия, основываясь на данных ИАД? Каковы методологические ограничения ИАД, или как соотносится набор индикаторов ИАД и определение активного долголетия ВОЗ, и в какой мере входящие в ИАД индикаторы учитывают изменения в сфере активного долголетия в России?

В первом разделе статьи обсуждаются некоторые особенности методологии расчета ИАД в России, отталкиваясь от европейских рекомендаций по расчету индекса. Далее представлены результаты расчета российского ИАД — в целом

<sup>9</sup> Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 № 164-р. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_193464/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193464/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2) (accessed: 24.10.2022).

<sup>10</sup> Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_297432](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432) (accessed: 24.10.2022).

<sup>11</sup> Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_357927](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927) (accessed: 24.10.2022).

<sup>12</sup> Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16). URL: <http://static.government.ru/media/files/Z40MjDgCaeohKWaA0psu6lCekd3hwx2m.pdf> (accessed: 24.10.2022).

по субиндексам и отдельным индикаторам за 2010—2019 гг. В третьем разделе коротко обсуждаются ограничения ИАД в части измерения активного долголетия, в том числе с учетом социокультурных особенностей России. Завершает статью заключение, в котором обсуждаются основные выводы статьи.

## **Особенности методологии оценки Индекса активного долголетия в ЕС-28 и России**

Разработанный Европейской комиссией по вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции и Отделом народонаселения ЕЭК ООН Индекс активного долголетия (ИАД) включает 22 индикатора, образующие четыре домена (или субиндекса<sup>13</sup>): (1) занятость; (2) участие в жизни общества; (3) независимая, здоровая и безопасная жизнь; (4) благоприятная среда для активного долголетия<sup>14</sup>. Чем ближе значение индекса (а также субиндекса и индикатора) к 100 %, тем в большей степени, считается, реализован потенциал к активному долголетию [Zaidi et al., 2013].

Для оценки индекса на основе субиндексов (доменов) и для оценки субиндексов на основе входящих в них индикаторов применяется метод среднего арифметического взвешенного. Веса индикаторов и субиндексов были установлены на основе экспертных мнений о важности той или иной сферы для активного долголетия, а также с учетом средних выборочных значений индикаторов и субиндексов.

В настоящее время ИАД рассчитан для стран ЕС-28 за 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. Для его расчета используются микроданные европейских выборочных обследований населения<sup>15</sup> и данные таблиц смертности по странам, в основном с двухлетним лагом.

Для расчета индикаторов ИАД России был проведен сопоставительный анализ формулировок вопросов в европейских и российских выборочных обследованиях населения. При выборе источника данных применялись критерии, принятые в международной практике построения индексов [OECD, JointResearchCentre — EuropeanCommission, 2008] и рекомендованные ЕЭК ООН для расчета ИАД в неевропейских странах<sup>16</sup>. Во внимание принимались сходство формулировок вопросов с оригинальной методологией, повторяемость и периодичность проведения обследования, репрезентативность и размер выборки. Для целей анализа динамики индекса большее значение придавалось регулярно повторяющимся обследованиям, даже если ценой выстраивания временных рядов была некоторая потеря сопоставимости с европейской методологией<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> В статье термины «домен» и «субиндекс» употребляются в качестве синонимов.

<sup>14</sup> См. URL: <https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/active-ageing-index/active-ageing-index> (accessed: 20.10.2022).

<sup>15</sup> Европейское обследование рабочей силы (EU Labour Force Survey, EU-LFS), Европейское обследование доходов и условий проживания (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC), Европейское обследование качества жизни (European Quality of Life Survey, EQLS), Европейское социальное исследование (European Social Survey, ESS), Исследование информационных и коммуникационных технологий Евростата (ICT Survey).

<sup>16</sup> UNECE, European Commission (2018) Guidelines Active Ageing Index (AAI) in Non-EU Countries and at Subnational Level. URL: [https://unece.org/DAM/pau/age/Active\\_Ageing\\_Index/AAI\\_Guidelines\\_final.pdf](https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_Guidelines_final.pdf) (accessed: 18.10.2022).

<sup>17</sup> Подробную информацию о составе используемых данных и их сопоставимости см. в Приложении.

Сравнительный анализ формулировок вопросов, используемых для расчетов индикаторов, выявило неполную сопоставимость индикаторов второго домена — особенно относящихся к внутрисемейной помощи; некоторых индикаторов третьего домена (доступность медицинской помощи, отсутствие материальной депривации, непрерывное обучение); одного индикатора четвертого домена (психологическое самочувствие). Также в отдельных случаях оказалось невозможным опираться на один и тот же источник данных, что привело к неполной сопоставимости оценок в динамике — для ряда индикаторов третьего (отсутствие материальной депривации, непрерывное обучение) и четвертого домена (психологическое самочувствие).

Индикаторы и, соответственно, домены (субиндексы) и индекс были рассчитаны за 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг., при отсутствии данных — за отдельные годы наблюдения. В случае невозможности расчета отдельных частных индикаторов за определенный год в соответствующем домене (субиндексе) и индексе использовалось значение индикатора за предыдущий (и, только для 2010 г., последующий) период наблюдения. Сопоставимость по наибольшему числу индикаторов обеспечивается на интервале с 2014 по 2019 г.

## **Динамика Индекса активного долголетия: 2010—2019 гг.**

### *Индекс в целом*

По сопоставимой в динамике методике за десять лет, с 2010 по 2019 г., ИАД России для обоих полов практически не изменился. При этом его динамика не была линейной: индекс вырос на 1 п. п. между 2010 и 2012 гг., снизился на 0,9 п. п. к 2014 г., и в последующие годы незначительно колебался. Динамика в 2010—2014 гг. отчасти может быть артефактом, вытекающим из смены источников данных между 2010 и 2012 гг., а также увеличением выборки наблюдений Росстата, используемых для расчета 10 из 22 индикаторов индекса — КОУЖ (Комплексное наблюдение условий жизни населения) между 2011 и 2014 гг. и ВНДН (Выборочное наблюдение доходов населения) между 2012 и 2014 гг. В целом потенциал к активному долголетию, измеряемый ИАД, в России на протяжении десяти лет оставался стабильным, без значительных колебаний в ту или иную сторону.

Переход на более близкие к исходной методологии ЕЭК ООН оценки индикаторов второго (участие в волонтерской деятельности, уход за детьми и внуками и уход за больными и инвалидами) и третьего доменов (доступ к медицинской помощи и отсутствие материальных деприваций) повышает значение ИАД на 2 пункта. Однако отрицательная динамика между 2016 и 2017 гг. сохраняется.

Анализ динамики значений субиндексов ИАД России за рассматриваемый период показывает, что значения первого домена стабильно увеличивались с 2010 по 2016 г. и с 2017 по 2019 г. (+2,1 п. п. с 2010 по 2019 г.); небольшое сокращение между 2016 и 2017 гг. связано с изменением учета границ самой старшей группы с 70—72 до 70—74 лет. Значения третьего домена снижались с 2012 по 2017 г. (–3,9 п. п.), а в целом за рассматриваемый период уменьшились на 2,5 п. п. Четвертый домен в абсолютном значении начал расти с 2016 г., увеличившись к 2018 г. на 1,0 п. п. Динамика второго домена была противоречивой (см. табл. 1).

Таблица 1. **ИАД и его субиндексы для обоих полов и гендерный разрыв, 2010—2019 гг., проценты и процентные пункты**

	Занятость	Участие в жизни общества	Независимая, здоровая и безопасная жизнь	Благоприятная среда	ИАД	Занятость	Участие в жизни общества	Независимая, здоровая и безопасная жизнь	Благоприятная среда	ИАД
	Оба пола					Гендерный разрыв (женщины — мужчины)				
<b>2010</b>	26,8	10,0	60,7	50,2	29,0	-11,7	3,2	-5,4	-0,5	-3,5
<b>2012</b>	27,8	10,6	62,1	51,5	30,0	-11,2	3,4	-2,4	0,1	-2,9
<b>2014</b>	27,8	9,2	61,5	50,2	29,1	-10,1	2,3	-4,0	0,4	-3,0
<b>2016</b>	28,3	10,8	58,3	50,5	29,6	-10,2	2,6	-4,9	1,4	-2,6
<b>2017</b>	27,2	10,8	58,2	50,8	29,3	-10,6	2,6	-5,4	0,8	-2,7
<b>2018</b>	28,2	9,5	58,7	51,3	29,3	-10,5	2,8	-5,3	-0,1	-2,8
<b>2019</b>	28,9	9,5	58,2	51,2	29,5	-10,3	2,8	-4,3	-1,2	-2,8

На протяжении всего рассматриваемого периода значение ИАД было выше для мужчин, чем для женщин, что наблюдается практически во всех странах, для которых рассчитан ИАД. С 2010 по 2019 г. ИАД мужчин в России вырос с 31,3% до 31,5%, женщин — с 27,8% до 28,7%. У женщин наибольший рост наблюдался в первом домене (+2,5 п. п.), тогда как наибольшее снижение — в третьем (-2,1 п. п.). У мужчин рост, хотя и менее выраженный, чем у женщин, происходил в четвертом (+1,7 п. п.) и первом (+1,1 п. п.) субиндексах, тогда значение третьего домена заметно сократилось (-3,2 п. п.).

### Занятость

За анализируемый период 2010—2019 гг. абсолютное значение субиндекса «Занятость» ИАД в России выросло с 26,8% до 28,9% в целом для обоих полов, в том числе с 33,7% до 34,8% у мужчин и с 22,0% до 24,5% у женщин.

Увеличение субиндекса происходило, главным образом, за счет роста наиболее весомого, с точки зрения методологии ИАД, индикатора занятости мужчин и женщин 55—59 лет. В целом за весь период немного подросла и занятость обоих полов в возрасте 60—64 лет, а также женщин 65—69 лет. Уровень занятости самой старшей группы 70—74 лет, напротив, устойчиво снижался.

Положительная динамика занятости женщин 55—59 лет и мужчин 55—59 и 60—64 лет отчасти связана с начавшимся в 2019 г. повышением пенсионного возраста, а также частичным реформированием досрочных пенсий с 2013 г. Занятость в возрастах от 60 лет, по-видимому, чувствительна к изменениям уровня пенсий, происходившим вследствие валоризации пенсионных прав (2010 г.) и отмены индексации пенсий работающим пенсионерам (с 2016 г.<sup>18</sup>). В 2017 г.

<sup>18</sup> Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_191264](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191264) (accessed: 24.10.2022).



снизились уровни занятости во всех возрастных группах, но особенно заметно — после 65 лет.

В самой старшей возрастной группе — 70—74 лет — снижение индикатора в 2016—2017 гг. обусловлено не только изменением правил индексации пенсий, но и расширением выборки ОПС в отношении лиц старше 72 лет с 2017 г.

### *Участие в жизни общества*

С учетом доступных источников данных для России (см. Приложение) анализ динамики частных индикаторов и всего субиндекса участия в жизни общества имеет ряд ограничений. Два индикатора из четырех, характеризующие участие пожилых людей в делах семьи, имеют серьезные отклонения от международной методологии ЕЭК ООН и учитывают только интенсивный (ежедневный) уход за внуками и взрослыми с дефицитами в самообслуживании. Первый индикатор домена также не полностью сопоставим с международной методологией, поскольку учитывает членство в организациях и тем самым может завышать масштабы реального волонтерства. При этом в 2010 г. три из четырех индикаторов относятся к 2011 г., в 2017 г. использованы три индикатора за 2016 г., а в 2019 г. — все четыре индикатора за 2018 г.

Абсолютное значение второго субиндекса для обоих полов снизилось с 10% в 2010 г. до 9,5% в 2019 г. С учетом более высоких весов индикаторов ухода за детьми, внуками, больными и инвалидами, переход на альтернативные, соответствующие европейской методологии ИАД, источники данных в оценке семейной социальной активности повышает значение второго субиндекса с 10% до 15,2% в 2010 г., с 10,8% до 16,9% в 2016 г. и с 10,81% до 16,2% в 2017 г. Значение субиндекса участия в жизни общества выше для женщин, чем для мужчин, что не является исключительной особенностью России и, например, характерно для более чем половины стран ЕС-28.

Оба индикатора внутрисемейной социальной активности — «Уход за детьми и внуками» и «Уход за пожилыми на ежедневной основе» — за исследуемый период 2010—2019 гг. снизились с 17,4% до 15,1% и с 7,2% до 6,3% соответственно. Строго говоря, включенность в интенсивный уход за членами семьи не вполне отвечает концепции активного долголетия, поскольку может требовать от пожилого человека слишком много сил и приводить к ухудшению его физического и психологического самочувствия. Особенно это касается интенсивного ухода за взрослыми членами семьи, нуждающимися в постороннем уходе.

Оценки описываемых индикаторов, выполненные на базе РМЭЗ НИУ ВШЭ 2016 и 2017 гг.,<sup>19</sup> учитывающие еженедельную активность и полностью идентичные методологии ЕЭК ООН, приблизительно в два раза выше представленных оценок КОУЖ. Российские исследования вовлеченности старшего поколения в деятельность по уходу за внуками без учета ее интенсивности показывают стабильно высокую долю и бабушек, и дедушек, занимающихся такой деятельностью, по крайней мере среди проживающих в городах [Гурко, 2020]. При этом авторы

<sup>19</sup> Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Соответствующие вопросы включены в анкету РМЭЗ только в 2016 и 2017 гг., поэтому не могут быть использованы для анализа динамики индикаторов.

обращают внимание на такие факторы, как растущий уровень занятости лиц старших возрастов, повышение пенсионного возраста, развитие рынка услуг по уходу за детьми (особенно в городах), которые могли бы способствовать сокращению доли прародителей, ухаживающих за внуками.

Единственный индикатор социальной активности, в отношении которого можно говорить о росте, это «волонтерская деятельность», участие в которой увеличилось с 2,4% в 2011 г. (использованы в индексе 2010 и 2012 гг.) до 3,8% в 2018 г. Это соответствует общему тренду роста участия российских граждан в добровольческой деятельности, наблюдаемому и по ведомственным данным, и по результатам социологических исследований, которому отчасти могло способствовать расширение сектора благотворительных организаций в России, то есть развитие инфраструктуры волонтерства [Беневоленский и др., 2019].

Динамика индикатора «Участие в политической жизни» носила разнонаправленный характер, несмотря на использование данных из одного источника — Европейского социального исследования (ESS). В 2012 и 2016 гг. наблюдались более высокие показатели политической активности, что, возможно, связано с проведением выборов в Государственную Думу в 2011 и 2016 гг. и президентских выборов 2012 г.; в 2011—2012 гг. также наблюдался всплеск протестного движения в крупных российских городах [Волков, 2012].

Таким образом, динамика субиндекса участия в жизни общества была обусловлена, с одной стороны, реальным сокращением значений индикаторов интенсивной внутрисемейной социальной активности (ежедневного ухода за детьми и внуками и ухода за пожилыми), а с другой — ростом включенности населения в волонтерскую деятельность при относительной стабильности индикатора участия в политической деятельности. При этом сопоставимые с международными оценки индикаторов внесемейной социальной активности зачастую демонстрировали отсутствие отрицательной динамики.

### *Независимая, здоровая и безопасная жизнь*

Несмотря на использование различных источников данных для расчета частных индикаторов третьего субиндекса за исследуемый период (см. Приложение), большинство индикаторов полностью сопоставимы в динамике. Как и в предыдущем субиндексе, в отдельных случаях для расчета индикаторов использованы оценки за соседние годы наблюдения.

Динамика субиндекса независимой, здоровой и безопасной жизни была подвержена небольшим флуктуациям. В 2010 г. значение субиндекса для обоих полов составило 60,7%, к 2012 г. выросло до 62,1%, затем снизилось до 58,3% в 2016 г. и 58,2% в 2017 г., а в 2019 г. достигло 58,2%. По меркам европейских стран это очень низкие, одни из наименьших, значения (среднее по ЕС-28 варьировалось в этот период в районе 70%-71%).

Значение третьего субиндекса стабильно выше для мужчин, чем для женщин, что характерно практически для всех стран, для которых рассчитывался ИАД, однако гендерный разрыв, составлявший в России в среднем около 5 п. п., был выше среднего по ЕС-28 показателя (2,9 п. п.), хотя и ниже гендерного разрыва, наблюдаемого в странах Азии [Um et al., 2019; Zaidi, Um, 2019]. Формировался он

в основном за счет того, что российские мужчины чаще, чем женщины, проживают супружеской парой либо отдельно, ощущают себя в большей безопасности, реже отмечают проблемы с доступом к медицинской помощи, имеют более высокие доходы и меньшие относительные риски бедности.

В силу особенностей методологии ИАД наибольший вклад в динамику данного субиндекса вносят индикаторы независимого проживания и доступа к медицинской и стоматологической помощи [Zaidi et al., 2013]. Измеренный на данных ВНДН, индикатор независимого проживания демонстрировал тенденцию к снижению, особенно заметную в 2016—2017 г., и очень незначительному росту в последние два года. Отчасти такая динамика может отражать укрупнение домохозяйств в ответ на кризис 2014 г. и последовавшее снижение доходов [Абанокова, Локшин, 2014; Прокофьева, 2007]. Взаимосвязь независимого проживания с качеством жизни в старости и активным долголетием, если мы говорим о России, не очевидна. С одной стороны, глубинные интервью с отдельно проживающими лицами в возрасте 60 лет и старше показывают, что пожилые люди ценят свою автономность и стремятся сохранить ее как можно дольше [Елютина, Трофимов, 2017]. С другой — далеко не всегда совместное проживание лиц старшего возраста с детьми и внуками обусловлено какими-то дефицитами в здоровье и автономности пожилого человека, но может быть реакцией на дефицит жилья, экономические трудности детей, необходимость присматривать за внуками [Zavisca, 2012]. Более того, в отечественных социологических исследованиях автономность проживания пожилых часто рассматривается как фактор возникновения чувства одиночества в старшем возрасте, и ряд авторов подтверждают эту взаимосвязь [Мустаева, Сизоненко, Юлдашева, 2016; Дьяченко, 2013].

Второй ключевой для этого субиндекса индикатор доступности медицинской и стоматологической помощи, несмотря на небольшие колебания внутри рассматриваемого временного интервала, в 2018 г. был на 5,6 п. п. ниже, чем в 2011 г. Наряду с объективными причинами, речь о которых идет ниже, в некоторой степени относительно низкие показатели доступности медицинской и стоматологической помощи для людей 55 лет и старше могут быть обусловлены выбором источника данных: более близкие к исходным формулировкам ЕЭК ООН вопросы в РМЭЗ НИУ ВШЭ 2016—2017 гг. дают более высокие показатели доступности.

Несмотря на всеобщий охват населения ОМС, базовый пакет медицинских услуг, гарантированный государством, не в полной мере отвечает потребностям российских граждан, о чем свидетельствует, в частности, относительно высокая, по сравнению со странами ЕС, доля личных расходов населения в общих расходах на здравоохранение [Панова, 2019]. На протяжении рассматриваемого периода многие показатели обеспеченности населения медицинскими организациями и врачами устойчиво снижались [Полухина, 2019; Зюкин, 2020], за исключением амбулаторно-поликлинических учреждений, что связано с процессами оптимизации ресурсов в российской системе здравоохранения и укреплении первичного звена медицины [Зюкин, 2020], а доля личных расходов граждан в общих расходах на здравоохранение неуклонно росла, по крайней мере до 2014 г. [Панова, 2019].

Все три индикатора финансовой независимости (относительный медианный доход, отсутствие относительного риска бедности и отсутствие материальной де-

привации) заметно сократились в 2016 г. по сравнению с 2014 г. и в последующие годы не восстановились до значений 2010—2012 гг. Индикатор относительного медианного дохода снизился в 2010—2019 гг. с 91,4 % до 72,9 %, а индикатор отсутствия риска бедности — с 94,3 % до 84,7 %. Поскольку методология расчета этих индикаторов полностью сопоставима в динамике, это свидетельствует об ухудшении экономического положения лиц в возрасте 65 лет и старше как минимум по сравнению с более молодым населением, особенно заметном в интервале между 2014 и 2016 гг. — в период падения реальных доходов после валютного кризиса. Судить о динамике индикатора отсутствия материальной депривации достаточно сложно ввиду использования различных формулировок вопросов и разных источников данных для его расчета. Наиболее близкие к методологии ЕЭК ООН оценки индикатора получены на базе РМЭЗ ВШЭ 2017 г. и КОУЖ 2016 и 2018 гг., но и они характеризуются большим разбросом: 59,3 % по данным РМЭЗ ВШЭ и 90,1 % и 91,4 % по данным КОУЖ соответственно.

Еще один индикатор, значения которого в России невысоки, — это физическая активность лиц 55 лет и старше. Измеренный на данных РМЭЗ ВШЭ, он вначале сократился с 4 % в 2010 г. до 3,4 % в 2012 г., но затем вырос до 4,5 % в 2017 г. и снова сократился до 3,6 % к 2019 г. Альтернативные источники данных (КОУЖ Росстата) дают еще более низкие (2,4 % в 2018 г.) цифры физической активности лиц старшего возраста.

Напротив, индикатор физической безопасности продемонстрировал значительный рост (с 61,0 % в 2010 г. до 74,6 % в 2016 г. и 74,3 % в 2018 г. на данных ESS). За последние 10—15 лет уровень тревожности россиян относительно своей безопасности в целом снизился, и хотя старшие возрастные группы по-прежнему демонстрируют большую обеспокоенность криминогенной обстановкой, темпы снижения доли незащищенных и слабо защищенных среди пожилых были выше, чем среди молодежи и лиц среднего возраста [Козырева, Смирнов, 2019; Веркеев, 2021].

Индикатор участия в непрерывном обучении на одном и том же источнике данных может быть рассчитан только с 2014 г. (ВНДН). Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, использованные для 2010—2012 гг., дают более низкие оценки (причем и в последующие годы). По данным ВНДН, участие людей 55—74 лет в непрерывном обучении сократилось с 5,3 % в 2014 г. до 3,7 % в 2018 г., что может отражать как низкую ценность образовательных сертификатов в глазах работодателей, так и сокращение реальных доходов населения после 2014 г. В то же время в последние годы среди лиц 55—64 лет получили большее распространение практики самообразования, в том числе благодаря развитию информационных технологий [Юдин, Полякова, Фурсов, 2020].

Таким образом, за исключением улучшения ситуации с физической безопасностью, которая вносит очень небольшой вклад в итоговое значение субиндекса, все остальные индикаторы домена большую часть рассматриваемого периода, но особенно начиная с кризиса 2014 г., демонстрировали отрицательную динамику, которая отражалась и на динамике всего домена. Начавшееся в 2018—2019 гг. небольшое оживление экономики, сопровождавшееся ростом показателей занятости и доходов населения, приостановило падение большинства индикаторов

субиндекса, однако можно предположить, что это восстановление было прервано пандемией.

### *Благоприятная среда для активного долголетия*

Четыре из шести индикаторов субиндекса благоприятной среды для активного долголетия, рассчитанные на основе идентичных вопросов и одного источника данных, полностью сопоставимы в динамике за весь период оценивания; еще один индикатор сопоставим с 2012 г. (см. приложение). Единственный проблемный индикатор домена — «Психологическое благополучие», в расчете которого используется три источника данных, что не позволяет анализировать его динамику. Кроме того, оценки индикаторов «Психологическое благополучие», «Использование ИКТ», «Социальные связи» доступны не за все годы наблюдения; в этом случае используются оценки индикатора за соседние годы наблюдения.

Значение субиндекса благоприятной среды для активного долголетия для обоих полов выросло с 50,2% в 2010 г. до 51,3% в 2018 г. и 51,2% в 2019 г. (см. табл. 1). Женщины и мужчины в среднем имеют близкие значения в этом субиндексе. В 2010, 2018 и 2019 гг. оценки для мужчин были немного выше, чем для женщин, в 2012—2017 гг. — наоборот. По модулю гендерный разрыв никогда не превышал 1,4 п. п., а в большинстве точек наблюдения был меньше единицы.

Расширение возможностей и благоприятной среды для активного долголетия обусловлено устойчивым ростом сразу нескольких индикаторов: прежде всего, индикаторов «Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в возрасте 55 лет, деленной на 50» (+4,5 п. п.) и «Доля лет здоровой жизни в ОПЖ» (+1 п. п.), которые вносят наибольший вклад в величину субиндекса, а также индикаторов «Использование ИКТ» (+25,4 п. п.) и «Уровень формального образования» (+17,3 п. п.). Последний показатель, по которому Россия стабильно входит в пятерку лидеров в рейтинге 29 стран (ЕС-28 и Россия), и значение которого в 2019 г. составляло 95,9%, можно считать традиционно сильной стороной активного долголетия в России. При этом новые поколения пожилых демонстрируют все более и более высокий уровень образования [Синявская и др., 2018]. Рост использования ИКТ лицами старшего возраста лежит в русле общего тренда увеличения охвата и частоты использования интернета во всех возрастных группах, среди городского и сельского населения, что отчасти обусловлено распространением интернета в отдаленных и малонаселенных районах, повышением доступности мобильного интернета [Абдрахманова и др., 2021].

Напротив, несмотря на рост ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в старших возрастах, наблюдавшийся в 2010-х годах, и, соответственно, индикатора «ОПЖ в возрасте 55 лет, деленной на 50», его значение, равное 47,6% в 2019 г., говорит о том, что средний россиянин 55 лет проживет менее половины отрезка в 55 лет (ожидаемая продолжительность предстоящей жизни составляет 26,18 лет). И это по-прежнему ниже, чем во всех странах ЕС и странах Азии, для которых был рассчитан ИАД. В то же время низкая ОПЖ в России обуславливает относительно высокое значение индикатора «Доли лет здоровой жизни в ОПЖ». Однако считать продолжительность здоровой жизни сильной стороной активного долголетия в России представляется не вполне обоснованным, так как высокая

смертность в возрасте до 55 лет зачастую исключает наступление болезней, ограничивающих дееспособность.

Более того, для обоих показателей, связанных с продолжительностью жизни, характерны большие гендерные диспропорции. ОПЖ мужчин в возрасте 55 лет в России намного ниже соответствующего показателя для женщин (в 2019 г. 20,1 и 26,6 лет соответственно<sup>20</sup>), что влечет за собой значительную разницу в значениях индикатора (12,8—13,5 п. п. за 2010—2019 гг.). Значение индикатора «Доля лет здоровой жизни в ОПЖ», напротив, выше для мужчин, чем для женщин, и здесь также наблюдается большой, хотя и сократившийся гендерный разрыв (с 12,7 п. п. в 2010 г. до 6,6 п. п. в 2016 г. и 7,7 п. п. в 2019 г.).

Оценки индикатора «Психологическое благополучие» за 2012 г., полученные на данных ESS, не в полной мере сопоставимы с оценками за более поздние годы наблюдения. В период с 2016 по 2019 г. значение индикатора варьировалось от 39,1 % до 43,6 %<sup>21</sup>.

Оценки индикатора «Социальные связи» на данных ESS неуклонно снижались с 41,2 % в 2010 г. до 30,5 % в 2018 г. Сложно сказать, отражает ли эта динамика реальные процессы усиления изолированности людей старшего возраста и ослабления социальных связей, поскольку сравнение оценок этого индикатора по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ дает прирост в 10 п. п. в 2016 г., а по данным КОУЖ +39,6 п. п. в 2018 г., несмотря на практически полную сопоставимость используемых в них вопросов.

Обобщая результаты анализа динамики частных индикаторов четвертого субиндекса, отметим, что стабильно крепкой основой возможностей для активного долголетия в России является уровень формального образования старшего поколения. За прошедшее десятилетие достигнут значительный прогресс в использовании ИКТ лицами старшего возраста. В то же время возможности и потенциал активного долголетия в России по-прежнему сильно ограничены низкой ожидаемой продолжительностью жизни в старшем возрасте (особенно у мужчин) и низким уровнем психологического благополучия, которые, очевидно, ухудшились за период пандемии.

## **Ограничения ИАД: обсуждение полученных оценок**

Как и все композитные индексы, ИАД не лишен определенных недостатков и ограничений, вытекающих во многом из самой идеи квантифицировать сложное социальное явление. В этом разделе статьи мы обсудим ограничения ИАД с точки зрения набора включаемых в него индикаторов, оставив за рамками другие вопросы методологии индекса.

Как было показано во введении, в определении активного долголетия ВОЗ выделяются три основные компоненты: здоровье (как физическое, так и ментальное), активность (экономическая, социальная, культурная, политическая и т. д.) и безопасность (физическая, материальная). В ходе разработки ИАД указанное определение было адаптировано с целью последующего отбора измеряемых

<sup>20</sup> <https://fedstat.ru/indicator/59773> (accessed: 18.09.2022).

<sup>21</sup> Оценки выполнены на данных РМЭЗ 2016 и 2017 гг., СЗН 2019 г. и полностью сопоставимы с методологией ЕЭК ООН.

и однозначно интерпретируемых индикаторов, которые могли бы стать целевыми ориентирами политики в области активного долголетия. В соответствии с ним, под активным долголетием понимается «ситуация, в которой население по мере старения продолжает оставаться на рынке труда, участвовать в неоплачиваемых видах деятельности (таких, как забота о членах семьи и волонтерство) и жить здоровой, независимой и безопасной жизнью» [Zaidi et al., 2013: 6]. На этапе дальнейшей операционализации из разнообразных активностей людей старшего возраста в индексе были оставлены оплачиваемая занятость, неоплачиваемый уход за внуками и больными членами семьи, волонтерство, участие в деятельности политических организаций и движений, а также получение образования и физическая активность.

В этом определении уже отчетливо виден неолиберальный взгляд на проблему старения, о чем справедливо пишут Ирина Григорьева и Елена Богданова, по сути, предписывающий стареющим гражданам обязанность быть активными и продуктивными невзирая на возраст [Григорьева, Богданова, 2020]. Действительно, в интерпретации ВОЗ, где целью активного долголетия провозглашено качество жизни, активными считаются не только занятия оплачиваемым трудом, или физкультурой, не только социально-значимые общественная или политическая деятельность, но и участие в культурных мероприятиях, духовные практики, садоводство и прочие значимые для человека виды деятельности [Walker, 2002; WHO, 2002]. Тогда как в ИАД нет места разнообразным досуговым активностям старшего поколения, таким как посещение культурно-развлекательных мероприятий, участие в туристических или экскурсионных поездках. Несмотря на их доказанную способность улучшать самооценку здоровья [Ferrer et al., 2016], социальную интегрированность [Тоероел, 2013] и качество жизни в старшем возрасте [Kim, Woo, Uysal, 2015; Uysal et al., 2016], а также хорошую измеримость.

Согласно данным КОУЖ Росстата, в 2018 г. 38,2% лиц старше трудоспособного возраста, а также почти половина 55—59-летних россиян совершали туристическую или экскурсионную поездку в течение предшествовавшего года. И этот показатель стабильно и заметно увеличивался с 2010 г. вплоть до пандемии коронавируса. В 2018 г. 32,4% лиц старше трудоспособного возраста отмечали, что хотя бы раз за прошедший год посещали культурно-развлекательные мероприятия, 32,5% — религиозное учреждение (или встречу), в том числе 6,5% делали это регулярно. Сложно сказать, как повлияло бы включение туристической активности или культурного досуга (посещение театров, музеев и т. п.) на положение России в межстрановых рейтингах активного долголетия, но на примере туризма можно видеть, что в последнее десятилетие участие в этих значимых для пожилых людей формах досуга расширилось.

В описании методологии ИАД обозначено, что его целью, в отличие от многих других индексов благополучия и качества жизни старшего поколения, выступает измерение «неиспользованного потенциала пожилых людей в различных аспектах активного и здорового долголетия» [Zaidi et al., 2013: 6]<sup>22</sup>. Тем не менее по определению ВОЗ целью активного долголетия выступает повышение качества жизни

<sup>22</sup> См. также: UNECE, European Commission (2019) Active Ageing Index in the European Union: Methodological Report.

населения (всех возрастов) по мере его старения, тогда как в определении, используемом в ИАД, в качестве цели подразумевается более полная реализация потенциала старшего поколения через его участие на рынке труда, в неоплачиваемых общественно значимых видах деятельности и т. д. Иными словами, здесь не только больший акцент на активность, но и смещение фокуса на людей старшего возраста. Ограничение всех собираемых индикаторов старшими возрастными группами (55+, 65+, или даже 75+) оставляет за рамками влияние проводимой политики на более молодые группы и тем самым повышает потенциал активного долголетия в последующих поколениях.

Де Сан-Хосе с коллегами обращают внимание на то, что индекс измеряет не возможности (capabilities), а результаты и достижения, что, строго говоря, не позволяет говорить об измерении потенциала, поскольку мы не можем сказать, какие факторы привели к наблюдаемому результату [São José De et al., 2017]. Например, зафиксированное нами увеличение уровня занятости в группе 55—64 лет может свидетельствовать, с одной стороны, о более полной реализации потенциала старшего поколения в сфере занятости, а с другой — указывать на проблемы (например, низкий размер пенсий, вынуждающий людей сохранять занятость) и/или институциональные изменения в других сферах (повышение пенсионного возраста). И, напротив, снижение занятости в возрастах 70—74 лет сдвигает Россию вниз в рейтинге стран, формально увеличивая нереализованный потенциал к труду, но фактически может означать расширение выбора людей работать или не работать вследствие роста их нетрудовых доходов.

Критический анализ компонент ИАД показывает, что не все они, созданные для стран ЕС, релевантны для России. ММПДС подчеркивает важность межпоколенческих связей и участия пожилых людей в делах семьи и общества, однако не обязательно это должно происходить в формате волонтерства через организации. Лица старших возрастов могут участвовать в неоплачиваемых видах деятельности и самостоятельно. В частности, по данным всероссийского опроса населения 2018 г., взрослое население России 18 лет и старше в два раза чаще осуществляет добровольческую деятельность самостоятельно, чем через организации [Беневоленский и др., 2019]. В ряде культур, например, в странах Азии и в России, термин «политическая активность» имеет зачастую негативную коннотацию и относится к профессиональной политической деятельности [Zaidi, Um, 2019]. В этом случае пожилые люди могут не участвовать в деятельности политических партий, но, например, быть активными в местных или религиозных сообществах, участвовать в принятии решений, касающихся благоустройства дома, района, в котором они живут. Не случайно в азиатском ИАД индикатор политической активности заменили гражданской и религиозной активностью [там же].

ИАД делает акцент на автономности пожилых людей и придает достаточно большой вес индикатору независимого проживания людей 75 лет и старше. Россия проваливается по этому индикатору. Однако, как это обсуждалось выше в статье, доля отдельно проживающих стариков — одиночек или пар — не обязательно отражает степень их автономности, а может быть следствием дефицита жилья (и тогда это вынужденное решение, но не имеющее отношения к автономности), или обусловлено культурными традициями, стремлением разных поколений жить



вместе (и тогда это результат добровольного выбора, никак не связанный с автономностью). Важнее быть способным обслуживать себя, принимать решения. Поэтому в какой-то мере более точно характеризующим автономность индикатором являются результаты ADL (Activities of Daily Living) / IADL (Instrumental Activities of Daily Living), используемые в азиатской версии ИАД [Um, Zaidi, Choi, 2019; Zaidi, Um, 2019]. К сожалению, систематические и репрезентативные на уровне РФ замеры дефицитов в автономности в России отсутствуют.

Еще одна особенность ИАД — измерение потенциала трудиться, быть общественно и физически активным, не бедным, по сути, сужает подход к активному долголетию, заявленный в докладах ВОЗ и ММПДС, подчеркивающий важность качества жизни всех людей старшего возраста, включая тех, кто имеет инвалидность или дефициты в самообслуживании. В европейском ИАД нет индикаторов, характеризующих «пассивные» и не требующие выхода за пределы дома виды деятельности (такие как садоводство, рукоделие, чтение, просмотр фильмов и т. п.), доступные людям с разным состоянием здоровья, включая глубоких стариков, или позволяющих понять, насколько удовлетворены потребности в посторонней помощи и уходе людей с ограниченной автономностью. И это оставляет за рамками оценивания результаты важной сферы социальной политики, которая находится в числе приоритетов российского правительства: социального обслуживания и системы долговременного ухода (СДУ).

Аналогичным образом может быть пересмотрен и набор индикаторов четвертого домена, характеризующего возможности и потенциал активного долголетия. Например, в ИАД, разработанном для Тайваня, были добавлены такие индикаторы как «транспортная доступность», «удобство транспорта», «безбарьерная среда», «социальная интеграция и уважение» [Hsu et al., 2019]. А в новом азиатском ИАД было не только скорректировано измерение некоторых индикаторов, входящих в европейский ИАД, но и добавлен индикатор субъективного благополучия — удовлетворенности жизнью [Zaidi, Um, 2019]. В определенной мере этот индикатор позволяет косвенно учесть удовлетворенность потребностей в том числе тех стариков, которые не вписываются в стандарт «молодой и активной старости», о чем мы говорили выше.

Скорее всего, включение в ИАД этих индикаторов не улучшило, а, возможно, и ухудшило бы положение России в международном рейтинге. Например, по субъективному благополучию в возрастах 55+ Россия в 2014 г., с ее значением, равным 45,2% (РМЭЗ НИУ ВШЭ), оказывается ниже и азиатских, и всех европейских стран. Тем не менее такая корректировка индекса позволила бы полнее оценить потенциал здорового и активного долголетия, ради которого задумывался индекс.

Таким образом, опыт неевропейских стран в оценивании их прогресса в активном долголетии показывает, что к ИАД не стоит относиться как к скрижальям. Напротив, операционализация и измерение активного долголетия может корректироваться в соответствии с культурной спецификой и приоритетами социальной политики страны. Применительно к России речь может идти, например, о замене отдельных трудно интерпретируемых в наших условиях индикаторов и включении в состав индекса показателей, характеризующих формы «непродуктивного» досуга (посещение культурных мероприятий, туризм), доступность социального

обслуживания и ухода, транспортную доступность, распространенность дефицитов в автономности и самообслуживании, удовлетворенность жизнью.

## Заключение

Несмотря на рост политического и общественного интереса к теме здорового и активного долголетия и предпринятые в этом направлении шаги, значение ИАД России за 2010—2019 гг. выросло незначительно. Это может быть следствием ряда факторов. Во-первых, кризиса 2014—2015 гг., повлекшего за собой снижение темпов роста ВВП и доходов населения. Во-вторых, отсутствия положительной динамики на рынке труда, помимо обусловленной кризисом, — в том, что касается общего числа «хороших» рабочих мест в экономике, возрастных стереотипов в отношении найма работников старших возрастов, динамики заработной платы. В-третьих, ряда социальных реформ, включая отмену индексации пенсии работающим пенсионерам (с 2016 г.), негативно повлиявшую как на занятость в возрасте старше 60 лет, так и на доходы лиц старшего возраста, оптимизацию системы здравоохранения, сократившую доступность медицинской помощи для жителей отдаленных и небольших населенных пунктов. Факторы, которые в этот период способствовали росту индекса, включая снижение смертности, развитие ИКТ, улучшение ситуации с физической безопасностью в населенных пунктах, повышение пенсионного возраста (с 2019 г.), оказались не настолько весомыми, чтобы преодолеть действие перечисленных выше неблагоприятных тенденций и обеспечить более заметный прирост ИАД.

Новые вызовы, в том числе с точки зрения роста потенциала к активному долголетию, обозначила пандемия коронавирусной инфекции в 2020 г. Очевидно, что пандемия отбросила страну на несколько лет по показателю ожидаемой продолжительности жизни. Скорее всего, сократилось число социальных контактов, ухудшилось психологическое самочувствие людей старшего возраста; сузился доступ к медицинской помощи в части лечения хронических неинфекционных заболеваний, санаторно-курортного лечения и т. д. Вероятно, произошло ухудшение возможностей занятости для этой возрастной группы и, соответственно, снижение доходов. Все это позволяет прогнозировать снижение ИАД России в ближайшие годы.

Наряду с этим, недостаточный прогресс России в ИАД мог быть обусловлен особенностями измерения индикаторов в российском ИАД и спецификой самой методологии ЕЭК ООН. Например, значительный вклад в субиндекс участия в жизни общества вносят два индикатора семейной социальной активности, но имеющиеся данные позволяют измерять в динамике лишь ежедневную помощь в уходе за внуками и нуждающимися в постороннем уходе взрослыми, тогда как в методологии ЕЭК ООН измеряется уход не реже раза в неделю. И если интенсивный (ежедневный) уход на протяжении последних лет снижался, то, возможно, еженедельный, менее требовательный к состоянию здоровья пожилого человека и легче совместимый с работой и другими семейными обязанностями, — нет.

А величина и динамика субиндекса независимой, здоровой и безопасной жизни во многом определяется вкладом индикатора независимого проживания, который, как было показано в третьем разделе статьи, не является оптимальным для измерения автономности лиц старшего возраста.

Анализируя динамику ИАД, необходимо понимать, что данный инструмент мониторинга политики в отношении лиц старшего возраста опирается на феномен социального старения, в основе которого лежат «ожидания, а также институциональные ограничения жизни и работы индивидов по мере старения» [Zaidi et al., 2013: 3]. В рамках этой парадигмы по мере роста продолжительности жизни ключевой становится реализация потенциала старшего поколения через участие лиц старших возрастов на рынке труда, а также в нерыночных формах социальной активности, наряду с поддержанием их здоровья и автономности. Таким образом, ИАД, в отличие от ВОЗ, смещает акценты в активном долголетии на продуктивное старение, игнорируя важные в старшем возрасте досуговые активности — как связанные с перемещениями и общением с другими людьми (например, выходы в театры, на спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, посещение религиозных учреждений, участие в туристических и экскурсионных поездках), так и трудно поддающиеся количественному измерению практики рукоделия, чтения, размышления о жизни, поддержания интимности, о важности которых пишут социологи старения [Рогозин, 2012, 2018].

Расширение набора учитываемых при оценке нереализованного потенциала активного долголетия индикаторов, часть которых обсуждается в этой статье, позволило бы нам лучше понимать, как стареет российское население, и какие вызовы данная модель старения ставит перед прогрессом в активном долголетии. В то же время, это совсем не обязательно улучшило бы национальную динамику индекса или позиции страны в международных рейтингах активного долголетия. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о зыбкости и нестабильности многих аспектов активного долголетия в России: достигнутые успехи легко стираются не самыми тяжелыми экономическими кризисами. Другой вывод, следующий из настоящего исследования, состоит в том, что России нужно больше разнообразных данных о старшем поколении, как количественных, так и качественных, не исчерпывающихся только экономическими показателями.

## Список литературы (References)

Абаноква К. Р., Локшин М. М. Укрупнение размера как механизм адаптации домохозяйств к кризису // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 1. С. 80—101. URL: <https://ej.hse.ru/2014-18-1/119900939.html> (дата обращения: 18.10.2022).

Abanokova K. R., Lokshin M. M. Growing Size of a Household as a Mechanism of Adaptation to Crises. *The HSE Economic Journal*. Vol. 18. No. 1. P. 80—101. URL: <https://ej.hse.ru/2014-18-1/119900939.html> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Абдрахманова Г. И., Ванюшина М. Д., Вишневский К. О., Гохберг Л. М., Грибова Д. Е., Демидкина О. В., Демьянова А. В., Ковалева Г. Г., Коцемир М. Н., Левен Е. И., Мильшина Ю. В., Павлова Д. А., Рудник П. Б., Рыжикова З. А., Суслов А. Б., Утятина К. Е. Тенденции развития интернета: готовность экономики и общества к функционированию в цифровой среде: аналитический доклад. М.: НИУ ВШЭ, 2021. URL: <https://publications.hse.ru/books/553810408> (дата обращения: 18.10.2022).

Abdrakhmanova G. I., Vanushina M. D., Vishnevskiy K. O., Gokhberg L. M., Gribkova D. E., Demidkina O. V., Demianova A. V., Kovaleva G. G., Kotsemir M. N., Leven E. I., Milshina Yu. V., Pavlova D. A., Rudnik P. B., Ryzhikova Z. A., Suslov A. B., Utiatina K. E. (2021) The Tendencies of Internet Development: The Preparedness of Economy and Society to Functioning in Digital Environment: Analytical Report. Moscow: NRU HSE. URL: <https://publications.hse.ru/books/553810408> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Беневоленский В. Б., Иванов В. А., Иванова Н. В., Мерсиянова И. В., Телицына А. Ю., Туманова А. С. Волонтерство и благотворительность в России и задачи национального развития: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9—12 апр. 2019 г. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. URL: <https://publications.hse.ru/en/books/263487997> (дата обращения: 18.10.2022). Benevolenskii V. B., Ivanov V. A., Ivanova N. V., Mersianova I. V., Telitsyna A. Yu., Tumanova A. S. (2019) Volunteering and Charity in Russia and the Goals of National Development. Moscow: NRU HSE. URL: <https://publications.hse.ru/en/books/263487997> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Веркеев А. М. Неравенство в восприятии (у)личной безопасности в России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24. № 3. С. 169—192. <https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.3.8>.

Verkeev A. M. (2021) Inequality in Perceptions of Street Safety in Russia. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 24. No. 3. P. 169—192. <https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.3.8>. (In Russ.)

Волков Д. Протестное движение в России в конце 2011—2012 гг.: истоки, динамика, результаты. М.: Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр)<sup>23</sup>, 2012. URL: <https://www.hse.ru/data/2012/11/03/1249193438/movementreport.pdf> (дата обращения: 18.10.2022).

Volkov D. (2012) The Protest Movement in Russia at the End of 2011—2012: Origins, Dynamics, Results. Moscow: Analytical Centre of Yuri Levada (Levada-Centre)<sup>23</sup>. URL: <https://www.hse.ru/data/2012/11/03/1249193438/movementreport.pdf> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Григорьева И., Богданова Е. Концепция активного старения в Европе и России перед лицом пандемии COVID-19 // *Laboratorium: журнал социальных исследований*. 2020. Т. 12. № 2. С. 187—211. <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-187-211>.

Grigoryeva I., Bogdanova E. (2020) The Concept of Active Aging in Europe and Russia in the Face of the COVID-19 Pandemic. *Laboratorium: Russian Review of Social Research*. Vol. 12. No. 2. P. 187—211. <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-187-211>. (In Russ.)

Гурко Т. А. Взаимопомощь городских родителей и взрослых детей: различия в возрастных, образовательных и доходных группах // *Социологическая наука и социальная практика*. 2020. Т. 8. № 3. С. 134—148. <https://doi.org/10.19181/snsp.2020.8.3.7492>.

<sup>23</sup> Данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранный агента».

Gurko T. A. (2020) Mutual Assistance of Urban Parents and Adult Children: Differences in Age, Education and Income Groups. *Sociologicheskaya nauka i social'naja praktika*. Vol. 8. No. 3. P. 134—148. <https://doi.org/10.19181/snsp.2020.8.3.7492>. (In Russ.)

Дьяченко И. А. Одинокое проживание как фактор переживания одиночества в пожилом возрасте // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2013. № 161. С. 274—279. URL: [https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/161/diachenko\\_161\\_274\\_279.pdf](https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/161/diachenko_161_274_279.pdf) (дата обращения: 18.10.2022).

Diachenko I. A. (2013) Social Conditions of Life as a Factor Experiencing Loneliness in Old Age. *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. Vol. 161. P. 274—279. URL: [https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/161/diachenko\\_161\\_274\\_279.pdf](https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/161/diachenko_161_274_279.pdf) (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Елутина М., Трофимов О. Одинокое проживание и переживание одиночества в позднем возрасте // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 1. С. 37—50. URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/4452> (дата обращения: 18.10.2022).

Elutina M., Trofimova O. (2017) Lonely Living Arrangements and Coping with Loneliness in Old Age. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 15. No. 1. P. 37—50. URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/4452> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Зюкин Д. А. Оптимизация экономических ресурсов в системе здравоохранения как угроза снижения качества и доступности медицинской помощи // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 8. С. 69—76. URL: <https://www.kgsha.ru/upload/iblock/58a/58a737329879ea3447ffb0a213dd7c86.pdf> (дата обращения: 18.10.2022).

Zyukin D. A. (2020) Optimization of Economic Resources in the Health Care System as a Threat to Reduce the Quality and Availability of Medical Care. *Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy*. Vol. 8. P. 69—76. URL: <https://www.kgsha.ru/upload/iblock/58a/58a737329879ea3447ffb0a213dd7c86.pdf> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Козырева П. М., Смирнов А. И. (Без)опасный квартал: как оценивается уровень уличной преступности // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Т. 17. М.: Новый Хронограф, 2019. С. 454—477. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2019.19>.

Kozyreva P. M., Smirnov A. I. (2019) How Dangerous Are the Streets in the Neighbourhood. In: *Russia in Reform: Yearbook*. Vol. 17. Moscow: Novyi Khronograf. P. 454—477. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2019.19>. (In Russ.)

Мустаева Ф. А., Сизоненко З. Л., Юлдашева О. Н. Исследование роли семьи в жизни пожилого человека // Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 10. С. 143—147.

Mustaeva F. A., Sizonenko Z. L., Yldasheva O. N. (2016) The Research of the Role of a Family in the Life of an Elderly Person. *Zdorove i obrazovanie v XXI veke*. Vol. 18. No. 10. P. 143—147. (In Russ.)

Панова Л. Доступность медицинской помощи: Россия в европейском контексте // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 2. С. 177—190. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-2-177-190>.

Panova L. (2019) Access to Healthcare: Russia in the European Context. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 17. No. 2. P. 177—190. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-2-177-190>. (In Russ.)

Полухина М. Г. Формирование доступности медицинского обслуживания на селе как ключевого элемента устойчивого развития // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17. № 2. С. 308—330. <https://doi.org/10.24891/re.17.2.308>.

Polukhina M. G. (2019) Arrangement of Available Medical Services in Rural Areas as a Key Element of Sustainable Development. *Regional Economics: Theory and Practice*. Vol. 17. No. 2. P. 308—330. <https://doi.org/10.24891/re.17.2.308>. (In Russ.)

Прокофьева Л. М. Домохозяйство и семья: особенности структуры населения России // SPERO (Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры). 2007. № 6. С. 57—68.

Prokofieva L. M. (2007) Household and Family: Features of Structure of the Population in Russia. *SPERO*. Vol. 6. P. 57—68. (In Russ.)

Рогозин Д. М. Либерализация старения, или труд, знания и здоровье в старшем возрасте // Социологический журнал. 2012. № 4. С. 62—93.

Rogozin D. M. (2012) Liberalization of Ageing, or Labor, Knowledge and Health in Old Age. *Sociological Journal*. Vol. 4. P. 62—93. (In Russ.)

Рогозин Д. М. Ограничения и возможности сельского старения // Крестьяноведение. 2018. Т. 3. № 2. С. 86—101. <https://doi.org/10.22394/2500-1809-2018-3-2-86-101>.

Rogozin D. M. (2018) Challenges and Prospects of Rural Aging. *Russian Peasant Studies*. Vol. 3. No. 2. P. 86—101. <https://doi.org/10.22394/2500-1809-2018-3-2-86-101>. (In Russ.)

Синявская О. В., Гудкова Т., Ермолина А. А., Карева Д. Е., Любушина Е. С., Миронова А. А., Селезнева Е. В. Старение как социально-экономический феномен // Волонтер. 2018. Т. 27. № 3. С. 7—15. URL: <https://publications.hse.ru/articles/227050757> (дата обращения: 18.10.2022).

Sinyavskaya O. V., Gudkova T., Ermolina A. A., Kareva D. E., Lyubushkina E. S., Mironova A. A., Selezneva E. V. (2018) Aging as a Socio-Economic Phenomenon. *Volunteer*. Vol. 27. No. 3. P. 7—15. URL: <https://publications.hse.ru/articles/227050757> (accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Юдин И. Б., Полякова В. В., Фурсов К. С. Практики самообразования среди взрослого населения России // Мониторинг экономики образования. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2020. № 39. С. 1—8.

Yudin I. B., Polyakova V. V., Fursov K. S. (2020) Self-Education Practices Among Russian Adult Population. *Monitoring of Education Markets and Organizations*. National Research University — Higher School of Economics. Vol. 39. P. 1—8. (In Russ.)

Au D. W. H., Woo J., Zaidi A. (2021) Extending the Active Ageing Index to Hong Kong Using a Mixed-Method Approach: Feasibility and Initial Results. *Journal of Population Ageing*. Vol. 14. P. 53—68. <https://doi.org/10.1007/s12062-020-09275-6>.

Boudiny K. (2013) “Active Ageing”: From Empty Rhetoric to Effective Policy Tool. *Ageing and Society*. Vol. 33. No. 6. P. 1077—1098. <https://doi.org/10.1017/S0144686X1200030X>.

Boudiny K., Mortelmans D. (2011) A Critical Perspective: Towards a Broader Understanding of “Active Ageing”. *E-Journal of Applied Psychology*. Vol. 7. No. 1. P. 8—14. <https://doi.org/10.7790/ejap.v7i1.232>.

Choi J., Joung E. (2016) The Association Between the Utilization of Long-Term Care Services and Mortality in Elderly Koreans. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. Vol. 65. P. 122—127. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.03.013>.

Cook L. J. (2017) Constraints on Universal Health Care in the Russian Federation: Inequality, Informality and the Failures of Mandatory Health Insurance Reforms. In: Yi I. (ed.) *Towards Universal Health Care in Emerging Economies. Social Policy in a Development Context*. London: Palgrave Macmillan. P. 269—296. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-53377-7\\_10](https://doi.org/10.1057/978-1-137-53377-7_10).

Council of the European Union (2012) Council Declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012): The Way Forward. Brussels EU Council.

Ferrer J. G., Sanz M. F., Ferrandis E. D., McCabe S., Garsía J. S. (2016) Social Tourism and Healthy Ageing. *International Journal of Tourism Research*. Vol. 18. No. 4. P. 297—307. <https://doi.org/10.1002/jtr.2048>.

Hsu H.-C., Liang J., Luh D.-L., Chen C.-F., Lin L.-J. (2019) Constructing Taiwan’s Active Aging Index and Applications for International Comparison. *Social Indicators Research*. Vol. 146. No. 3. P. 727—756. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02128-6>.

Kim H., Woo E., Uysal M. (2015) Tourism Experience and Quality of Life Among Elderly Tourists. *Tourism Management*. Vol. 46. P. 465—476. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.08.002>.

Lunt C., Dowrick C., Lloyd-Williams M. (2021) What Is the Impact of Day Care on Older People With Long-Term Conditions: A Systematic Review. *Health and Social Care in the Community*. Vol. 29. No. 5. P. 1201—1221. <https://doi.org/10.1111/hsc.13245>.

OECD, Joint Research Centre — European Commission (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing. URL: <https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm> (accessed: 20.10.2022).

Pham V. T., Chen Y.-M., Duong T. V., Nguyen T. P. T. Chie W.-C. (2020) Adaptation and Validation of Active Aging Index Among Older Vietnamese Adults. *Journal of Aging and Health*. Vol. 32. No. 7—8. P. 604—615. <https://doi.org/10.1177/0898264319841524>.

São José J. M. De, Timonen V., Amado C. A. F., Santos S. P. (2017) A Critique of the Active Ageing Index. *Journal of Aging Studies*. Vol. 40. P. 49—56. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2017.01.001>.

Sidorenko A., Zaidi A. (2013) Active Ageing in CIS Countries: Semantics, Challenges, and Responses. *Current Gerontology and Geriatrics Research*. Vol. 2013. <https://doi.org/10.1155/2013/261819>.

Toepoel V. (2013) Ageing, Leisure, and Social Connectedness: How Could Leisure Help Reduce Social Isolation of Older People? *Social Indicators Research*. Vol. 113. No. 1. P. 355—372. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0097-6>.

Um J., Zaidi A., Choi S. (2019) Active Ageing Index in Korea — Comparison With China and EU Countries. *Asian Social Work and Policy Review*. Vol. 13. No. 1. P. 87—99. <https://doi.org/10.1111/aswp.12159>.

Uysal M., Sirgy M. J., Woo E., Kim H. (2016) Quality of Life (QOL) and Well-Being Research in Tourism. *Tourism Management*. Vol. 53. P. 244—261. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.013>.

Varlamova M., Ermolina A., Sinyavskaya O. (2017) Active Ageing Index as an Evidence Base for Developing a Comprehensive Active Ageing Policy in Russia. *Journal of Population Ageing*. Vol. 10. No. 1. P. 41—71. <https://doi.org/10.1007/s12062-016-9164-0>.

Varlamova M., Sinyavskaya O. (2021) Active Ageing Index in Russia: Identifying Determinants for Inequality. *Journal of Population Ageing*. Vol. 14. No. 1. P. 69—90. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-020-09277-4> (accessed: 16.09.2022).

Walker A. (2002) A Strategy for Active Ageing. *International Social Security Review*. Vol. 55. No. 1. P. 121—139. <https://doi.org/10.1111/1468246X.00118>.

WHO (2002) Active Ageing: A Policy Framework. URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/67215> (accessed: 18.10.2022).

Zaidi A., Gasior K., Hofmarcher M. M., Lelkes O., Marin B., Rodrigues R., Schmidt A. E., Vanhuysse P., Zólyomi E. (2013) Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results. Research Memorandum. European Centre Vienna.

Zaidi A., Um J., Parry J., Xiao Q. (2019) Active Ageing Index for China: Comparative Analysis with EU Member States and the Republic of Korea. EU-China.

Zaidi A., Um J. (2019) The New Asian Active Ageing Index for ASEAN+3. *Journal of Asian Sociology*. Vol. 48. No. 4. P. 523—558. URL: [http://isdpr.org/JAS/get\\_Journals/journal-of-asian-sociology?mode=view&seqidx=84&page=2](http://isdpr.org/JAS/get_Journals/journal-of-asian-sociology?mode=view&seqidx=84&page=2) (accessed: 20.10.2022).

Zavisca J. R. (2012) Housing the New Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801464300>.



## Приложение. Источники данных для расчета индикаторов российского Индекса активного долголетия

Наименование субиндекса	Наименование индикатора	Источник данных для анализа динамики	Примечания
Занятость	1.1 Уровень занятости в возрасте 55—59 лет	Обследование рабочей силы (ОРС) 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. (70—72 лет — для 2010—2016 гг.)	Альтернативные источники информации — КОУЖ [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017], РМЭЗ ВШЭ [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]
	1.2 Уровень занятости в возрасте 60—64 лет		
	1.3 Уровень занятости в возрасте 65—69 лет		
	1.4 Уровень занятости в возрасте 70—74 лет		
Участие в жизни общества	2.1 Добровольные виды деятельности	Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖ) 2011, 2014, 2016, 2018 гг.	Неполная сопоставимость с оригинальной методологией. Альтернативные источники: ESS 2012, РМЭЗ ВШЭ 2017, ОРС — с 2017 г.
	2.2 Уход за детьми и внуками	КОУЖ 2011, 2014, 2016, 2018 гг.	КОУЖ учитывает ежедневную, а не еженедельную активность, что приводит к занижению значений индикатора. Альтернативные источники: Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (РидМиж) 2011 г. [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017]; РМЭЗ ВШЭ 2017 г. [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]
	2.3 Уход за пожилыми		
	2.4 Участие в политической жизни	European Social Survey (ESS, Европейское социальное исследование, ЕСИ) 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.	Альтернативный источник данных с той же формулировкой вопроса — РМЭЗ ВШЭ 2017 г. — намного более низкие оценки [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]. Еще одна альтернатива — КОУЖ 2016, 2018 гг., но ограниченная сопоставимость

Наименование субиндекса	Наименование индикатора	Источник данных для анализа динамики	Примечания
Независимая, здоровая и безопасная жизнь	3.1 Физическая активность	Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ-ВШЭ) 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.	Вопрос РМЭЗ ВШЭ-2016 соответствует методологии ЕЭК ООН, в другие волны РМЭЗ-ВШЭ используются прокси-индикаторы, поэтому индикатор не полностью сопоставим в динамике
	3.2 Доступ к медицинской и стоматологической помощи	КОУЖ 2011, 2014, 2016, 2018 гг.	Вопросы КОУЖ дают неполную сопоставимость. Лучше соответствуют международной методологии вопросы РМЭЗ-ВШЭ, но они доступны только за 2016—2017 гг.
	3.3 Независимое проживание	Всероссийская перепись населения (ВПН) 2010 г., Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН) 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.	Альтернативный источник — РМЭЗ ВШЭ [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]
	3.4 Относительный медианный доход	ВНДН 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.	Альтернативный источник — РМЭЗ ВШЭ 2010 г., 2016—2017 гг. [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017; Varlamova, Sinyavskaya, 2021] и за другие годы
	3.5 Отсутствие риска бедности		
	3.6 Отсутствие материальной депривации	РидМиЖ 2011 г., КОУЖ 2016, 2018 гг.	Один из наиболее проблемных индикаторов, т. к. неполная сопоставимость с методикой ЕЭК ООН, неполная сопоставимость в динамике. Альтернативный источник — РидМиЖ 2011 [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017]. В большей степени соответствует методологии ЕЭК ООН вопрос РМЭЗ ВШЭ 2017 г. (разовый вопрос) [Varlamova, Sinyavskaya, 2021].
	3.7 Физическая безопасность	ESS 2010, 2012, 2014, 2016 2018 гг.,	Альтернативный источник — РМЭЗ ВШЭ 2016 и 2017 г. [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]
	3.8 Непрерывное обучение	РМЭЗ ВШЭ 2010, 2012 гг., ВНДН 2014, 2016, 2017, 2018 гг.	Неполная сопоставимость с методикой ЕЭК ООН (интервал — год, а не последние 4 недели). Альтернативные источники — РМЭЗ ВШЭ (за год; оценки до 2017 г. включительно); КОУЖ (в настоящий момент).

Наименование субиндекса	Наименование индикатора	Источник данных для анализа динамики	Примечания
Благоприятная среда для активного долголетия	4.1 Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет, разделенная на 50	Росстат, расчеты авторов	
	4.2 Доля лет здоровой жизни в ожидаемой продолжительности жизни	Росстат, самооценка здоровья — РМЭЗ ВШЭ 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.,	
	4.3 Психологическое благополучие	ESS 2012 г., РМЭЗ ВШЭ 2016, 2017 гг., СЗН 2019 г.	Один из наиболее проблемных индикаторов, не сопоставимый в динамике. Также, оценки за 2012 г. не сопоставимы с методологией ЕЭК ООН.
	4.4 Использование ИКТ	КОУЖ 2011, 2014, 2016, 2018 гг.	
	4.5 Социальные связи	ESS 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.	
	4.6 Уровень формального образования	ВПН 2010 г., ВНДН 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.	

### Список источников:

Varlamova M., Ermolina A., Sinyavskaya O. (2017) Active Ageing Index as an Evidence Base for Developing a Comprehensive Active Ageing Policy in Russia. *Journal of Population Ageing*. Vol. 10. No. 1. P. 41—71. <https://doi.org/10.1007/s12062-016-9164-0>.

Varlamova M., Sinyavskaya O. (2021) Active Ageing Index in Russia: Identifying Determinants for Inequality. *Journal of Population Ageing*. Vol. 14. No. 1. P. 69—90. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-020-09277-4> (accessed: 16.09.2022).

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2184](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2184)



**О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова**

**«ПРОДИКТОВАНО ЛЮБОВЬЮ...»:  
ВОВЛЕЧЕННОЕ ОТЦОВСТВО В РОССИЙСКИХ СЕМЬЯХ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ**

**Правильная ссылка на статью:**

Безрукова О. Н., Самойлова В. А. «Продиктовано любовью...»: вовлеченное отцовство в российских семьях, воспитывающих детей с инвалидностью // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 122—148. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2184>.

**For citation:**

Bezrukova O. N., Samoylova V. A. (2022) 'Driven by Love...': Involved Fatherhood in Russian Families Raising Children with Disabilities. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 122–148. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2184>. (In Russ.)

Получено: 04.02.2022. Принято к публикации: 01.09.2022.

## «ПРОДИКТОВАНО ЛЮБОВЬЮ...»: ВО- ВЛЕЧЕННОЕ ОТЦОВСТВО В РОССИЙ- СКИХ СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

*БЕЗРУКОВА Ольга Николаевна — кан-  
дидат социологических наук, доцент,  
и. о. заведующей кафедрой социоло-  
гии молодежи и молодежной политики  
факультета социологии, Санкт-Петер-  
бургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Россия  
E-MAIL: o.bezrukova@spbu.ru  
<https://orcid.org/0000-0003-2821-1734>*

*САМОЙЛОВА Валентина Алексеевна —  
кандидат психологических наук, доцент  
кафедры теории и практики социаль-  
ной работы факультета социологии,  
Санкт-Петербургский государственный  
университет, Санкт-Петербург, Россия  
E-MAIL: v.samojlova@spbu.ru  
<https://orcid.org/0000-0001-5412-0575>*

**Аннотация.** В статье на материалах интервью с отцами, в семьях которых воспитываются дети со стойкими нарушениями здоровья ( $N = 15$ ), анализируются модели и ресурсы вовлеченного отцовства. Представлена концептуализация вовлеченного отцовства. Раскрываются актуальные смыслы, роли, функции, гендерные установки и представления о семье у отцов «особых» детей. Сделан вывод о влиянии опыта воспитания в родительской семье, качества супружеских отношений, процессов устойчивости семьи на вовлеченность отцов в воспитание детей. Выделены типы вовлеченного отцовства в семьях с детьми с инвалидностью: «сверхсильная вовлеченность по желанию», «сверхсильная вовлеченность по необходимости», «гармоничная вовлеченность», «умеренная вовлеченность по необ-

## ‘DRIVEN BY LOVE...’: INVOLVED FATHER- HOOD IN RUSSIAN FAMILIES RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES

*Olga N. BEZRUKOVA<sup>1</sup> — Cand. Sci (Soc.),  
Associate Professor, Acting Head of  
the Department of Youth Sociology and  
Youth Policy at the Faculty of Sociology  
E-MAIL: o.bezrukova@spbu.ru  
<https://orcid.org/0000-0003-2821-1734>*

*Valentina A. SAMOYLOVA<sup>1</sup> — Cand. Sci.  
(Psych.), Associate Professor at the De-  
partment of Theory and Practice of Social  
Work at the Faculty of Sociology  
E-MAIL: v.samojlova@spbu.ru  
<https://orcid.org/0000-0001-5412-0575>*

<sup>1</sup> Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,  
Russia

**Abstract.** Based on interviews with fathers from the families raising children with persistent health problems ( $N = 15$ ), the article analyzes the models and resources of involved fatherhood. The authors present a conceptualization of involved paternity and reveal the actual meanings, roles, functions, gender attitudes, and ideas about the family of the fathers of special children. The study shows how the experience of upbringing in the parental family, the quality of marital relations, and the processes of family stability influence the involvement of fathers in the upbringing of children. The authors identify five following types of involved fatherhood in families with children with disabilities: “deep involvement at their own will”, “deep involvement out of necessity”, “harmonious involvement”, “moderate involvement

ходимости», «умеренная вовлеченность по желанию».

**Ключевые слова:** отцовство, маскулинность, вовлеченное отцовство, отцы детей с инвалидностью, дети-инвалиды, жизнестойкость, устойчивость семьи, социальная поддержка

**Благодарность.** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00543.

at will”, and “moderate involvement out of necessity”.

**Keywords:** fatherhood, masculinity, involved fatherhood, fathers of children with disabilities, children with disabilities, hardiness, family resilience, social support

**Acknowledgments.** The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of the Project No. 19-011-00543.

## Введение

В Российской Федерации остро стоит проблема детской инвалидности. На 1 октября 2021 г. зарегистрировано 720930 детей с инвалидностью в возрасте до 17 лет включительно<sup>1</sup>. В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 января 2021 г. 19035 детей-инвалидов, из них воспитываются в семьях 18491, семей с детьми-инвалидами — 17724. Такого же порядка и количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)<sup>2</sup>.

Перестройки, происходящие в жизни каждой семьи после рождения ребенка, укладываются в картину нормативного семейного кризиса, который большинством из них успешно преодолевается, однако болезнь ребенка обуславливает гораздо более сложную динамику приспособления к новой ситуации и может негативно влиять на отношения между супругами, приводить к дисфункции отца. Для части отцов состояние дезадаптации приобретает хронический характер, проявляясь в отчуждении, выборе стратегии избегания проблемы, включая уход из семьи.

Так, до 45 % семей, воспитывающих детей-инвалидов, — монородительские, причем большая часть из них (38 % из 45 %) распались после рождения больного ребенка, таковы результаты исследования, проведенного в Томске [Гребенникова, Шелехов, Берестнева, 2015]. Анализ данных всероссийской переписи населения, результаты которого представлены в статье А. О. Тындик и С. А. Васина, показал, что около двух третей детей с инвалидностью живут в полных семьях, а 27 % воспитываются одинокими матерями [Тындик, Васин, 2016: 172]. Этот показатель выше среднего показателя материнских семей (15—18%)<sup>3</sup>, что подтверждает влияние

<sup>1</sup> Численность инвалидов // Пенсионный Фонд Российской Федерации. URL: <https://sfri.ru/analitika/chislennost> (дата обращения: 24.10.2022).

<sup>2</sup> Исходя из численности обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях — 21528 человек. См.: Положение детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге // Городской информационно-методический центр «Семья». URL: <http://www.homekid.ru/analiticheskie-materialyi-o-polozhenii-detej-i-semej-v-sankt-peterburge> (дата обращения: 24.10.2022).

<sup>3</sup> В России на матерей-одиночек приходится треть семей с детьми // РБК. 2017. 7 февраля. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5899c3949a7947cd04125cc5> (дата обращения: 24.10.2022).

фактора болезни ребенка на поведение отца, которое на уровне массового сознания оценивается как типичное: стереотип об отцах, «сбегающих от трудностей», довольно устойчив. В то же время количество отцов, «верных своему отцовскому долгу», по наблюдениям исследователей и практиков, растет, и модели адаптивного поведения этих отцов представляют актуальный научный и практический интерес.

В настоящее время доля отечественных и зарубежных работ, в фокусе которых были бы отцы детей с ограниченными возможностями, ничтожно мала в общем объеме публикаций, основное внимание сосредоточено на матерях. Среди основных тем исследований — психоземotionalное здоровье родителей (поскольку затянувшийся стресс ведет к истощению их ресурсов, негативной динамике в отношениях, отчуждению и расставанию) [Галасюк, 2011; Tolleson, Zeligman, 2019], совершенствование поддержки этих семей, права детей и родителей [Glenn, 2007; Rankin et al., 2019; Bogossian et al., 2019; Sato, Araki, 2021].

В отечественных работах практически не представлен аспект участия отца в заботе об особом ребенке, а в зарубежных исследованиях он часто рассматривается как «вторичный», косвенный. Конкретные роли отцов остаются недостаточно ясными, мало что известно о характере и воздействии поддержки отцов на благополучие детей и семьи в целом [Ozturk, Riccadonna, Venuti, 2014; West, Honey, 2016]. Отмечается противоречивость позиции матерей в попытках расширить вовлеченность отцов: с одной стороны, они ждут от отцов большей активности, чтобы уменьшить груз своей ответственности и забот и улучшить его отношения с ребенком, а с другой — могут испытывать двойственное отношение из-за опасения утратить свою традиционно центральную роль и сознательно или неосознанно блокируют участие отца в жизни ребенка, выступают в роли «привратников» [Ingber, Most, 2012].

Цель статьи — провести сравнительный анализ моделей и ресурсов вовлеченного отцовства в ситуации инвалидности ребенка. Ключевые исследовательские вопросы: как видят отцы особых детей актуальные смыслы, роли, функции отца? Какие гендерные установки и представления о семье и отцовстве у них существуют? Как влияет опыт воспитания в родительской семье и качество супружеских отношений на вовлеченность отца в воспитание детей?

## **Теоретические и методологические основания исследования**

Исследования отцовства в специфических жизненных ситуациях, к которым относится воспитание особого ребенка, неразрывно связаны с представлениями о феномене отцовства, его содержании и динамике, накопленными в современной науке [LaRossa, 1988; Marks, Palkovitz, 2004; Кон, 2009; Шевченко, 2010; Липасова, 2016; Безрукова, Самойлова, 2020, Егорова, Янак, Рябинская, 2020 и др.]. Зарубежные и отечественные исследователи разрабатывают теорию отцовства, изучают факторы, влияющие на становление заботливого отца [Doherty et al., 1998; Рождественская, 2020 и др.], специфику практик участия в заботе о детях отцов социально уязвимых групп [Rankin et al., 2019 и др.].

Многоликий ландшафт отцовства чаще раскрывается в противостоящих друг другу позитивных и негативных образах отца: от вовлеченного, ответственного, заботливого до отсутствующего, отвергающего, бегущего от отцовства [Marks,

Palkovitz, 2004; Кон, 2009 и др.]. Схожая тенденция проявляется при рассмотрении современной мужественности как континуума, на одном полюсе которого проблематичная, кризисная, маргинальная мужественность, на другом — развивающаяся, генеративная, продуктивная [Marsiglio, 2009; Кон, 2009; Безрукова, Самойлова, 2020 и др.].

Переход от практик традиционного или отсутствующего отца к устойчивому воспроизводству моделей вовлеченного отцовства рассматривается как преобразование ортодоксальной маскулинности в модернизированную и заботливую [LaRossa, 1988; Ruby, Scholz, 2018 и др.], как трансформация традиционной идентичности отца (ответственность за финансовую стабильность) в новую (ориентация на заботу) [Lengersdorf, Meuser, 2016; Johansson, Andreasson, 2017 и др.]. Вместе с тем, став отцом, мужчина переживает переломный этап в своей жизни, который ведет к глубинным изменениям, включая процесс переопределения личной и социальной идентичности, имеющей важное значение для формирования привязанности к ребенку, его благополучия и развития. Это важный этап, который сопровождается переоценкой образа и смысла жизни во взаимодействии с ближайшим окружением, матерью ребенка, оценкой качества супружеских отношений и удовлетворенности браком [Condon, Corkindale, Boyce, 2004; Höfner, Schadler, Richter, 2011 и др.].

Полагаем, что переход к отцовству может происходить в рамках традиционно предписанных траекторий и жизни по привычке (*традиционное отцовство*), а может через осознание негативного опыта, пересмотр отношений с родителями, переоценку не всегда успешных отношений с собственным отцом, реализацию потребности в новом качестве отцовства и выстраивание сознательных стратегий собственного родительства. Именно таким образом, на наш взгляд, формируется *родительский габитус активного вовлеченного отцовства* как обретение новых смыслов и значений, чуткости, отзывчивости, наполненности вниманием к потребностям ребенка [Безрукова, Самойлова, 2022: 95].

Исследователи выделяют социальные, психологические, структурные, институциональные факторы, обуславливающие вовлеченность отцов в заботу о детях, раскрывают структуру, компоненты и характеристики, риски вовлеченного отцовства [Lamb, 1986; Hawkins, Palkovitz, 1999; Борисова, 2017; Рождественская, 2020; Безрукова, Самойлова, 2020 и др.].

Концепт вовлеченного отцовства раскрывается в современных западных исследованиях как сложная и многомерная конструкция, характеризуется переходом от одномерных моделей к многомерным, всесторонним рассмотрением различных аспектов вовлеченности в зависимости от целей конкретного исследования, выявлением сильных и слабых сторон инструментария измерения [Schoppe-Sullivan, McBride, Ho, 2004]. Одним из первых научных представлений о вовлеченном отцовстве стала концепция Майкла Лэмба, которая включает в себя три основных параметра: 1) «взаимодействие», отражающее прямые контакты отца с ребенком в форме игры или ухода за ним без посредничества других людей, 2) «ответственность», заключающаяся в знании потребностей ребенка и действиях, необходимых для удовлетворения этих потребностей, а также 3) «доступность» для ребенка во время включенности отца в другие виды деятельности [Lamb, 1986].



Алан Хокинс и Роб Палковиц предположили, что «отцовское участие» включает аффективные, когнитивные, этические, а также наблюдаемые поведенческие компоненты [Hawkins, Palkovitz, 1999]. Концептуализируя вовлеченность отцов в заботу о детях, Р. Палковиц «расширяет» участие отца и выделяет 15 основных категорий: общение (разговор, слушание, выражение любви), обучение (ролевое моделирование, дисциплина, поощрение интересов и увлечений), мониторинг (поиск после учебы, зная, кто друзья ребенка), когнитивные процессы (планирование, молитва), поручения (отвезти ребенка куда-нибудь, собрать необходимые предметы), физический уход (кормление, купание, уход за больным ребенком), рутинный уход (готовка, стирка, ремонт), общие интересы (совместное чтение, развитие опыта), доступность (посещение / руководство деятельностью, совместное времяпрепровождение), планирование (дни рождения, каникулы, сбережения на будущее), совместные занятия (покупки, играем вместе, работаем вместе), обеспечение (жильем, одеждой, едой, здравоохранением), привязанность (объятия, объятия, щекотка), защита (наблюдение за безопасностью ребенка, обеспечение безопасной домашней обстановки и занятий) и поддержка эмоциональности (поощрение ребенка, развитие интересов) [Palkovitz, 1997].

В настоящее время многомерность измерения вовлеченного отцовства получила большую поддержку [Gorvine, 2002; Schoppe-Sullivan, McBride, Ho, 2004; Борисова, 2017; Рождественская, 2020 и др.].

Под *вовлеченным отцовством* мы понимаем *динамичный, множественный и многообразный конструкт, включающий этические, ценностно-смысловые, аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты*. Это этические атрибуты (нравственные нормы и оценки правильного/неправильного в поведении отцов — отец может быть «хорошим», справедливым, верным, надежным, ответственным); качественные характеристики участия/качество отношений (забота, внимание, доступность, ответственность, безопасность и др.); количественные параметры (время, проведенное с детьми, и его доля по сравнению со временем, уделяемым материю); деятельностные признаки, отражающие практики занятости (уход за ребенком, купание, кормление, приготовление пищи, присмотр и сопровождение детей, практики воспитания и образования, экономический вклад и др.); взаимодействия с матерью (справедливость/солидарность в распределении родительских обязанностей, партнерские установки и практики, совместное обсуждение вопросов воспитания, создание среды для развития детей, общий семейный досуг, планирование будущего и др.); характеристики коммуникации (демократичный стиль общения, способность к урегулированию конфликтов, гибкость и пластичность в общении).

Установки и практики вовлеченного отцовства отражают специфику родительской культуры того или иного общества, своеобразие идентификации тех или иных родительских групп, типичные и обобщенные проблемы и вызовы повседневной жизни семей, различные модели, сценарии и траектории отцовства. Так, в исследованиях разведенных отцов важным измерением участия отца становится его доступность для ребенка [Kalmijn, 2015 и др.], отцов с низким уровнем дохода — участие в заботе о повседневных потребностях детей (экономический вклад, выплата алиментов) [Hofferth, Forry, Peters, 2010], юных отцов — осознание

и выполнение обязательств по взаимодействию с детьми, проявление долга и ответственности [Cundy, 2016], отцов детей-инвалидов — интерес к жизни ребенка, уход и воспитание, реабилитация и активная помощь в достижении независимости [Bragiel, Kaniok, 2011].

Полагаем, что компоненты участия в воспитании детей-инвалидов наряду с общими включают следующие специфические измерения *вовлеченного отцовства*:

— *этические* жизненные принципы (оставаться с ребенком несмотря ни на что, любить его любым и др.);

— *мотивационные* (стремление быть всегда рядом, поддерживать и помогать во всем);

— *аффективные* (чувство боли, сострадание, жалость, любовь, желание защитить);

— *когнитивные* (знание специфики проблем со здоровьем, внимание к актуальному состоянию ребенка, понимание его потребностей, информированность по поводу лечения, о предоставляемых возможностях);

— *поведенческие* (участие в реабилитации, активная помощь в интеграции в общество, достижении самостоятельности, борьба за права своих детей).

Как влияют удовлетворенность браком, качество супружеских отношений, персональные, индивидуально-личностные характеристики отца, его психологическое здоровье на вовлеченность в заботу о детях-инвалидах? По данным исследований, довольные отношениями с супругой отцы реже испытывают депрессию и стрессы родительства. Удовлетворенность отношениями в парах, воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра, сопутствует тесному сотрудничеству матерей и отцов в решении разнообразных родительских задач и выступает важным фактором устойчивости семьи [Sim et al., 2019]. В семьях, где обязанности по уходу распределялись поровну, и матери, и отцы детей с аутизмом сообщали о большей удовлетворенности супружеской жизнью и меньшем родительском стрессе [Ogston-Nobile, 2015]. Участие отцов в воспитании детей с глубокими интеллектуальными и множественными нарушениями может быть мотивировано и усилено за счет взаимной поддержки и качества общения между родителями [Sato, Araki, 2021].

При рассмотрении феномена отцовства, сопряженного с переживанием стресса и вызовами, которые возникают в ситуации болезни ребенка, мы основываемся на положениях концепции жизнестойкости личности Сальватора Мадди и концепции устойчивости семьи Фромы Уолш. Жизнестойкость (*hardiness*) — система убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, раскрывающаяся в триаде «вовлеченность — контроль — вызов/принятие риска» [Maddi, 2006], определяющая стилевую характеристику личности в единстве когнитивных, аффективных, поведенческих компонентов, ее способность противостоять трудным жизненным обстоятельствам и эффективно с ними справляться.

Близко по смыслу понятие устойчивости семьи. То, как семья встречает жизненные вызовы, способна ли восстанавливаться после них, становясь сильнее и ресурснее, характеризует ее устойчивость. Согласно Ф. Уолш, устойчивость — это больше, чем просто нести бремя, пережить тяжелые испытания или справляться со стрессовыми состояниями. Исследования последних десятилетий показывают, что супружеские пары и семьи, прошедшие через страдания и борьбу, часто стано-

вятся сильнее, более любящими и обладающими большими ресурсами в решении будущих проблем [Walsh, 2016].

Семья рассматривается как целостный социальный организм, системная перспектива позволяет увидеть, как кризисы и жизненные проблемы влияют на всю семью, и, в свою очередь, как ключевые семейные процессы опосредуют адаптацию (или дезадаптацию) для ее отдельных членов, их отношений. Вместе с тем такой подход не умаляет значения индивидуальной устойчивости, жизнестойкости каждого из родителей (в данной статье наше внимание обращено на отца) как мощного личностного фактора преодоления трудностей, а лишь подчеркивает его «встроенность» во взаимно интерактивные динамические процессы, включающие сильные стороны и ресурсы, которые члены семьи могут мобилизовать внутри своей семейной системы и во взаимодействии с социальным окружением.

Ключевые процессы устойчивости семьи включают три основных группы. Это, во-первых, *системы убеждений*, такие как реализм в восприятии ситуации и принятие ее во всей полноте, терпимость к неопределенности, но и стремление к пониманию и управлению проблемой, отношение к кризису как к вызову, активность и настойчивость, акцент на сильные стороны и потенциал, надежда, оптимистический взгляд, приверженность семье, ориентация семейного жизненного цикла на нормализацию, экзистенциальные ценности и смыслы, духовность, вера, позитивный рост, стремление к будущим целям, творчество и др. Во-вторых, *организационные процессы*, а именно — гибкость, адаптивные изменения для решения новых задач, взаимная поддержка, работа в команде, приверженность общим целям, но при этом уважение индивидуальных потребностей, различий и границ, совместное воспитание/забота, сильное, авторитетное руководство детьми (способность их воспитывать, направлять, защищать), обеспечение финансовой безопасности, баланс между работой и семьей, мобилизация ресурсов расширенной семьи, создание социальных сетей семьи, доступ к институциональной, структурной поддержке. В-третьих, *процессы общения / решения проблем*, для которых характерны: ясность и правдивость информации, открытый эмоциональный обмен, не исключая болезненные чувства (печаль, страдание, гнев, страх, разочарование, раскаяние), взаимное сочувствие, позитивное взаимодействие (любовь, признательность, благодарность, юмор, веселье, передышка), совместное принятие решений, переговоры, избегание обвинений и конфликтов, ориентация на цели, планирование, творческий мозговой штурм, опора на успех и способность учиться на неудачах, проактивная позиция для предотвращения проблем, кризисов, подготовка к будущим вызовам и др. [ibid.].

В качестве ведущей гипотезы исследования нами принято предположение, что ключевая роль в становлении вовлеченного отцовства у мужчин, имеющих детей с инвалидностью, принадлежит личностным характеристикам отца (мотивационно-ценностные факторы, жизнестойкость, пластичность, активность), устойчивости семьи, качеству супружеских (конструктивная роль матери, удовлетворенность браком, налаженная коммуникация) и межпоколенческих отношений (опыт жизни в родительской семье).

Вместе с тем мы предполагаем, что можно дифференцировать отцов на основе нескольких критериев. Первым критерием выступает мотивационно-ценностный

фактор (является ли забота о ребенке личным приоритетом и совпадает ли с желанием самого отца — тип мотивации «хочу/не хочу», или в основе заботы чувство отцовского долга, осознание обязательств, ответственности, необходимости — тип мотивации «надо/не надо»). Второй комплексный критерий взаимосвязан с оценкой индивидуальных и семейных возможностей и ресурсов, поддерживающих или ограничивающих вовлеченность, включая семейный доход, обеспеченность жильем, наличие социальной поддержки, характер гендерных установок отца — эгалитарных или традиционных, режима трудовой занятости (*могу/не могу*). Дополнительно учитывался критерий *степени вовлеченности* — характеристика меры поглощенности отца заботой о ребенке и его благополучии, количества времени и усилий, его активности: *сверхсильная* (высокая степень /интенсивная вовлеченность), а также менее выраженная активность — *умеренная* (средняя степень вовлеченности). Дифференциация «вовлеченных» отцов, таким образом, представлена пятью группами с разной степенью вовлеченности в заботу о детях с инвалидностью: «*сверхсильная вовлеченность по желанию*» — очень хотят, могут и очень активны; «*сверхсильная вовлеченность по необходимости*» — чувствуют острую необходимость, могут и очень активны; «*гармоничная вовлеченность*» — хотят и чувствуют необходимость, могут и достаточно активны; «*умеренная вовлеченность по желанию*» — чувствуют необходимость, не могут и умеренно активны; «*умеренная вовлеченность по необходимости*» — хотят, но не могут, умеренно активны.

### **Дизайн исследования**

В исследовании, проведенном в 2019 г. в Санкт-Петербурге, приняли участие 15 отцов, в семьях которых воспитываются дети со стойкими нарушениями здоровья. Критерии отбора отцов: наличие ребенка с оформленной инвалидностью, возраст ребенка (до 18 лет), супружеские или партнерские отношения с матерью ребенка.

Респонденты набирались через центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Их контакты предоставлялись либо напрямую, либо через матерей — в любом случае это отцы, проявляющие участие в заботе о детях. Метод исследования — глубинное интервью, продолжительностью от 1 часа 15 мин. до 3 часов.

Возраст отцов — 31—50 лет, высшее образование имеют шестеро, неполное высшее — трое, среднее специальное — шесть. В зарегистрированном браке состоят 13 человек, у двоих брак не зарегистрирован. Одного ребенка имеют пять семей, двое детей у девяти семей, трое — в одной семье (см. приложение).

По характеру нарушений здоровья детей выборка неоднородна. Имеет место разнообразие нозологий: это детский церебральный паралич различной степени тяжести, расстройства аутистического спектра, задержка психического развития, синдром Денди-Уокера (аномальное развитие головного мозга), сахарный диабет первого типа, тетрада Фалло (порок сердца), дистрофия Дюшена, сочетающаяся с аутизмом, недоразвитие конечностей (отсутствуют фаланги на руке), укорочение конечности как следствие деформация тазобедренного сустава, нейросенсорная тугоухость второй-третьей степени и др.

## Представления о семье и практики отцовства

Объединяющая характеристика отцов целевой группы — принятие ими нестандартной семейной ситуации. Результаты анализа глубинных интервью показали, что дети являются частью нормативного представления отцов о счастливой семейной жизни, им присуща мотивация осознанного отцовства, а появление детей было радостным и ожидаемым событием. Для половины респондентов радость от рождения ребенка сопряжена с переживаниями по поводу его здоровья, так как роды были преждевременными/тяжелыми или о патологии родители знали заранее:

*Знали еще до рождения, но решили оставить ребенка. (Из интервью № 11)*

В этих случаях принятие болезни ребенка происходило с самого начала и сопровождалось мобилизацией отцов на поиск возможностей получить всю необходимую помощь от специалистов, как можно оперативнее организовать лечение ребенка. В других случаях проблемы со здоровьем возникали неожиданно, проявляясь по мере роста ребенка («хотя сначала все было хорошо»). Но и тогда на смену растерянности довольно быстро приходило осознание необходимости действовать активно и решительно:

*Нам сказали, [что] будет тяжело. Какое-то время я переживал, но потом принял все как есть, и стали заниматься всеми этими вопросами. (№ 15)*

Создание семьи воспринималось отцами как естественный этап жизненного цикла, и большинство из них не задумывались в юности о ее устройстве и распределении обязанностей между супругами. Тем не менее по общему вектору высказываний о том, как они видели свою будущую семейную жизнь, можно разделить их на две практически равные группы: имевших нормативные представления, что семья должна быть крепкая, дружная, с традиционными установками об ответственности мужа за обеспечение семьи, а жены — за дом и детей, и тех, кто не делил зоны ответственности по гендерному принципу, а с самого начала имел гибкие установки и готовность к равноправным, партнерским отношениям в семейной жизни. Жизненные обстоятельства обусловили сходную динамику моделей семьи и отцовства, и актуальная в настоящее время модель семьи для большинства — эгалитарная с акцентом на заботу о ребенке. Около трети отцов по-прежнему придерживаются традиционных гендерных установок, но полученная информация о повседневной жизни их семей характеризует их скорее как участвующих, включенных отцов. В распределении обязанностей между супругами отмечается сотрудничество, гибкость, взаимозаменяемость, использование индивидуальных ресурсов родителей с учетом возможностей каждого:

*Нет женских и мужских обязанностей. Для меня поменять памперс или пойти на прогулку, одежду какую-то собрать, приготовить еду — ничего сложного. От этого я не становлюсь менее мужественным. (№ 1)*

Отметим типичные практики заботы и воспитания детей, характерные для отцов, имеющих детей с инвалидностью:

- уход и забота о детях совместно со своими супругами (участвуют в повседневном уходе за ребенком — кормление, мытье, туалет и т. д.);
- функции повседневного ухода воспринимают как естественные, «не чуждые» для отца: «Это мои дети, поэтому я должен был все это уметь. Не то чтобы должен — я с удовольствием это делал и делаю» (№ 2);
- обучение ребенка бытовым навыкам;
- помощь в учебе;
- развивающие занятия, игры, совместное творчество;
- сопровождение ребенка в медучреждения, школу, центры социальной реабилитации, на различные мероприятия;
- трудовая занятость, организованная с учетом потребностей семьи в материальном обеспечении и особенностях семейной ситуации;
- прогулки, выезд на природу;
- походы в театры, музеи, путешествия.

Отцы доступны для своих детей, способны взаимодействовать с ними в форме игры или практик ухода без посредничества других людей и знают, какие у детей есть потребности, чувствуют свою ответственность за материальное обеспечение, создание условий для реабилитации, развития, поддержания благополучия. На основании этого можно сделать вывод, что модель «вовлеченного» отца характерна для всей данной целевой группы.

### **Актуальные смыслы, роли, задачи отцов**

Какие смыслы вкладывают в понимание значения отцовской роли отцы детей с инвалидностью? В чем состоят различия в сравнении с отцами, воспитывающими здоровых детей?

Наряду с устоявшимися стереотипами мужественности, отражающими наличие у мужчины сильной воли, умения держать слово, хорошо зарабатывать, а также быть готовым защищать слабых, в ответах отцов присутствуют и специфические маркеры «заботливой» маскулинности, проявляющиеся в любви к своей семье, желании воспитывать ребенка, любить его и не бросить, какой бы он ни был, быть верным.

Трудная жизненная ситуация воспитания ребенка с нарушениями приводит этих отцов к переосмыслению своей роли, способствует внутренней созидательной работе, повышению сенситивности. К настоящему времени для всех отцов характерна ярко выраженная мотивация ответственного отцовства. Подавляющее большинство оценили роль отца как первостепенную:

*Роль отца самая главная. Через детей я меряю уже остальные вещи. (№ 1)*

Она может выступать и как часть единого целого, в котором роли супруга и отца объединены общим понятием «семьянин»:

*Отцовство — не то что главное — ребенок, а что главное — семья. Я не отделяю ребенка от жены. (№ 15)*

Полученные данные показывают, что смысл отцовской роли по отношению к своему ребенку зависит от жизненных установок отца, но также во многом обусловлен спецификой заболевания, его тяжестью, прогнозом дальнейшего течения и успешности реабилитации. Наиболее типичные смыслы, идеи, значения повседневного участия в заботе о детях, характерные для отцов, имеющих детей с инвалидностью:

1. *Поддерживать и помогать* — отцы чаще видят свою роль в том, чтобы облегчать жизнь ребенка, делать ее более комфортной, радовать ребенка и охранять от стрессов: «*Дать ему все, что от меня зависит. Стараемся, чтобы хотя бы веселился, смеялся, радость какая-то была*» (№ 6).

2. *Всегда быть рядом* — важный смысл для большинства отцов; чтобы ребенок, да и любой член семьи (жена, здоровые дети), в любую минуту чувствовали поддержку и внимание: «*Быть стеной, на которую можно опереться*» (№ 14).

3. *Вести ребенка по жизни*, помогая ему сейчас, готовить к следующим этапам: «*Спокойно веду его, чтобы не унывал, чтобы меньше шишек было, дать ему порыв. Чтобы не унывал, несмотря на свою травму*» (№ 3).

4. *Поставить на ноги* — помочь стать максимально дееспособным, сделать все возможное для выздоровления/реабилитации ребенка, в некоторых случаях буквально «*ставить на ноги*» (№ 10).

5. *Адаптация и интеграция в общество* — делать все, чтобы ребенок смог стать более самостоятельным и способным вести независимую жизнь, дать образование, помочь найти то, что ему будет интересно в жизни, воспитывать, чтобы стал хорошим человеком, достиг успеха: «*Пока у меня есть силы, надо делать все, чтобы она могла стать более самостоятельной, чтобы у нее не было привязки к каким-то учреждениям*» (№ 15).

Таким образом, смыслы отцовской роли у отцов, имеющих детей с инвалидностью, отличаются от понимания отцовства в обычных семьях [Безрукова, Самойлова, 2022], во-первых, осознанием *необходимости всегда быть рядом* как ключевого условия выживания и развития своего ребенка; во-вторых, *потребностью вырастить самостоятельного человека*, способного справляться с трудностями, решать жизненные проблемы, вести независимую жизнь без родителей; в-третьих, *ответственностью за способность ребенка интегрироваться в общество*, найти работу, создать семью, иметь друзей и помогающее сообщество. Такое восприятие роли отца выглядит более зрелым, осознанным и отражает специфический переход к новому пониманию отцовства в этой группе в отличие от отцов здоровых детей, сближает их позицию с пониманием отцовской роли, характерным для матерей в российских семьях [там же: 104].

### **Внутрисемейные ресурсы поддержки отцовства: отношения с супругой**

Открытый эмоциональный обмен, не исключая болезненные чувства, возможность разделить переживания с близким человеком, поддержать друг друга, — те характеристики отношений, которые в такой трудной, эмоционально нагруженной ситуации, как болезнь ребенка, становятся особенно ценными, поскольку негативные переживания по поводу нездоровья ребенка испытывают и мать, и отец. Практически все отцы заявили об открытости матерей к обсуждению

семейных проблем, о налаженном общении, способности и готовности слушать и учитывать мнение друг друга, совместном принятии решений:

*Нет такого, что «я сказала так», всегда есть конструктивный диалог. (№ 15)*

Конфликтные ситуации, если и случаются, никогда не бывают затяжными:

*Если у нас есть спорные вопросы, мы всегда сядем и обсудим, придем к общему знаменателю. (№ 9)*

Матери, даже те, что больше времени проводят с ребенком и в силу этого могут считать себя более компетентными, с уважением относятся к участию отцов, не демонстрируют свое превосходство как «главных» воспитателей. Отцы считают, что соответствуют ожиданиям матерей, предполагают, что супруги высоко оценивают их роль. Взаимозаменяемость и гибкость позволяют справляться с повседневными делами:

*Мы не разделяем обязанности, у нас не такого. Надо нам что-то сделать — мы делаем. (№ 2)*

Приверженность общим целям и взаимная поддержка помогают родителям чувствовать себя единой командой:

*Быстро приходим к какому-то знаменателю. Бывает, она подумает — я уже сделал. И наоборот. (№ 8)*

Если отцы считают себя опорой для семьи, детей, то опорой для них выступают жены — понимание, участие, поддержка со стороны женщины подпитывают отцовскую мотивацию:

*У меня жена лучший друг, у нас с ней взаимопонимание, мы с ней на одной волне. (№ 15)*

Женщина может повлиять не только на то, станет ли мужчина вовлеченным отцом, но и на его ценности, установки, личность в целом:

*От нее получил другой взгляд на поступки людей, оценку людей я у нее перенял, стал шире судить, по-другому. (№ 8)*

В основе устойчивости семей с детьми-инвалидами — общность проблем, целей, задач, разделение их отцами и матерями, но не менее важны и общность взглядов, позитивное взаимодействие, основанное на любви, признательности, а также стремлении жить полной жизнью, в том числе путешествовать, иметь интересный досуг:

*У нас изначально была сделана ставка на наши семейные отношения. Видите, у нас прямо семья-семья, мы всегда вместе. (№ 2)*



*Проще всегда разбежаться, чем понять друг друга. Часто люди говорят, что любят, а выжимают все соки из друг друга. А любовь — это когда ты отдаешь, а не берешь. (№ 9)*

Таким образом, гипотеза о позитивных отношениях между супругами, налаженном общении, готовности вместе решать проблемы, поддерживая друг друга, как ключевых факторов становления вовлеченного отцовства подтвердилась. Во многом от женщины, от того, какую обратную связь она дает, зависит, реализуется ли стремление мужчины быть хорошим отцом в реальные практики заботы.

### **Родительская семья как фактор становления вовлеченного отцовства и стратегии преодоления трудностей и помощи детям**

Детские годы в любящей и заботливой родительской семье, а также позитивный пример отца становятся ресурсом, который взрослый человек использует, воспитывая собственных детей. Данный механизм межпоколенческой трансляции представляется очевидным, но не типичным для отцов данной группы. Напротив, типичной оказалась ситуация отсутствия отца как воспитателя вследствие таких причин, как его уход из семьи и развод родителей, алкоголизм, ранняя смерть отца, отъезд на заработки в другую страну. Только двое отцов-респондентов воспитывались в полных семьях. Большинство участников исследования негативно оценивают родительский опыт своих отцов, отталкиваясь от него как от антипримера при выстраивании собственной ролевой модели. Лишь один человек полностью доволен общением со своим отцом, тогда как остальные считают, что те уделяли им недостаточно внимания в детстве, а больше половины категорически не хотят быть похожими на своих отцов:

*У меня не было за спиной отца. Я видел, что других отцы куда-то водят, помогают, продвигают, а я всего добивался сам. Создавая свою семью, я себе сказал, что такого в моей семье не будет. Минус такой повлиял на плюс. (№ 9)*

*Я даже как человек не хочу быть на него похожим, понимаете? Я горжусь тем, что я сделал себя сам. (№ 2)*

Контакт, общение с ребенком представляется респондентам наиболее важным изменением, которое они стараются привнести в свой опыт отцовства:

*Я стараюсь, даже если очень занят, все равно и пообщаться, и поиграть, и больше понять, какие у него интересы, почему ему то нравится, а то не нравится. (№ 14)*

Практически все отцы испытывали те или иные жизненные трудности уже в детские годы, что, на наш взгляд, способствовало их взрослению. Несмотря на относительную молодость (у большинства дети появились, когда им не исполнилось 30 лет), в отличие от своих отцов они повели себя как личностно зрелые люди, проявив способность принимать на себя ответственность и быть готовыми к преодолению трудностей. Можно предположить, что личный опыт этих отцов повлиял на их реалистичное восприятие жизни и способность «с ней справляться»:

*Плохой опыт— тоже результат, и, основываясь на этом негативном результате, я уже делаю свои выводы и веду свою стратегию поведения со своими детьми. (№ 2)*

Стратегии преодоления трудностей у большинства этих отцов включают вовлеченность в проблему, знание диагноза, его причин и необходимого лечения, активные личные действия по организации жизни семьи, уверенность в том, что лечение и забота необходимы ребенку и принесут результат. Среди конкретных практических действий, предпринятых и предпринимаемых отцами, можно выделить следующие:

- смена места жительства, переезд в Санкт-Петербург из других городов, чтобы получить более квалифицированную помощь специалистов;
- смена места работы и в целом сферы и характера занятости для расширения возможностей реабилитации ребенка;
- адаптация трудовой занятости к потребностям семьи (гибкий график, совмещение работы в разных местах и др.);
- использование права на отпуск по уходу за ребенком;
- самостоятельный поиск дополнительных/альтернативных эффективных методов лечения и специалистов;
- поддержка ребенка в развитии его интересов, увлечений, способностей как фактора успешной социализации и ресурса будущего профессионального самоопределения;
- развитие своих творческих интересов и приобщение к ним ребенка и всех членов семьи, создание творческой, развивающей семейной атмосферы;
- глубокое погружение в проблематику заболевания, овладение информацией о современных методах диагностики и лечения, самостоятельная закупка средств диагностики за рубежом, так как в России они пока недоступны;
- активное отстаивание прав своего ребенка во взаимодействии с представителями различных ведомств (здравоохранение, образование, социальная защита и др.);
- активное взаимодействие со специалистами, имеющими отношение к ребенку (медики, педагоги, социальные работники), готовность поддерживать и развивать контакты «с ресурсным потенциалом» ради интересов ребенка.

### **Специфика отцовства в разных группах отцов**

*Сверхсильная вовлеченность по желанию*

При наличии у ребенка стойких нарушений здоровья происходит адаптация семейных ролей, возрастает вклад отцов в заботу о нем, но «главными» родителями, как правило, остаются матери. Для части отцов родительская роль становится центральной, по затратам времени и усилий она не уступает материнской. Образ жизни и повседневные практики перестраиваются в интересах отцовской роли:

*Им я занимаюсь полностью, работаю специально ночью, чтобы днем быть с ним. (№ 9)*

Отцы много и тесно общаются с детьми, испытывая в этом сильную потребность, а не только выполняя родительские функции:

*Я очень много времени провожу со своими детьми. У меня с ними дружеские отношения, я с ними делаю уроки, посещаю секции вместе. Я с ними друг, близкий друг. (№ 2)*

Для них характерна высокая степень приверженности семье, приоритезация потребностей детей. Собственные интересы респонденты часто трансформируют так, чтобы сделать их частью общесемейных интересов:

*Для меня смысл жизни — это моя семья. Я стараюсь делать для своих детей все, что в моих силах. С рождением ребенка-инвалида сконцентрировался именно на семье. И я полностью отказался от алкоголя. (№ 2)*

Путь к принятию болезни ребенка у этих отцов не был сопряжен с сомнениями: зная, что возможны нарушения, они ждали рождения и были готовы активно действовать. Отцы включены в нюансы состояния их детей, отслеживают новую информацию, проявляют активность и настойчивость в поисках лучших возможностей для развития, верят, что усилия дадут результаты, с надеждой смотрят в будущее:

*Все время идет внутренний и внешний поиск, ищется путь. Это как... бег с препятствиями. Надо разобраться, в какой садик попасть, — разобрались, попали в садик, здорово! Надо искать еще к кому ходить заниматься — нашли, надо еще что-то. (№ 14)*

Проявляется отношение к сложившейся ситуации как к опыту, который формирует личность, заставляет посмотреть по-другому на многие вещи, лучше осознавать свои ценности, развивает чувства:

*Глубина переживаний появилась, чувствительность, сострадание. (№ 2)*

*Раньше я думал, что как муж я должен зарабатывать деньги, и все. Меня в семье толком не было никогда. Произошла переоценка ценностей, я на все стал по-другому смотреть. (№ 9)*

Гендерные установки этих отцов в отношении распределения домашних обязанностей и личностных потребностей матерей в профессиональной самореализации последовательно эгалитарные:

*Личностный рост и для меня, и для жены важен по максимуму. То, что она работает, позволяет ей развиваться, у нас нет этого перегиба: семья — работа. Если ребенок заболел, больничный по очереди берем. (№ 14)*

Взаимопонимание — и предпосылка, и результат общения супругов в этих семьях:

*Мы на одной волне, и мы друг другу помогаем. (№ 9)*

Болезнь ребенка остается источником общих переживаний, но главное, что есть в этих семьях, — признательность, благодарность, любовь:

*Я жизнь свою люблю, свою семью, я получаю кайф от общения с семьей. (№ 2)*

Обобщая, отметим, что ключевую роль в мотивации отцов данной группы играет желание заниматься ребенком, основанное на любви к нему и своей семье. Их жизненные приоритеты состоят в заботе о благополучии ребенка, а мысли, чувства, занятия неразрывно связаны с интересами семьи. Отцовство для них — наиболее значимая часть личностной идентичности. Опыт «особого» отцовства способствовал их личностному, духовному и даже творческому росту. Им присущи эгалитарные гендерные установки, равенство с супругой в распределении как домашних дел, так и в правах на реализацию профессиональных/творческих интересов. Исходя из актуальных потребностей семьи организуется трудовая занятость, работа не создает барьеров отцовской роли, они *хотят и могут* быть вовлеченными отцами.

#### *Сверхсильная вовлеченность по необходимости*

В некоторых случаях сверхвовлеченность отцов диктуется не только любовью, но и необходимостью ухода за ребенком с серьезными физическими и/или умственными нарушениями. Поскольку ребенок нуждается в постоянной помощи, нагрузки на взрослых возрастают:

*Она не ходит, это самое тяжелое. Мы все задействованы в этом, чтобы быть с ней. (№ 15)*

Все процедуры жизнеобеспечения (кормление, туалет, гигиена) отцам хорошо знакомы, они могут подменить мать или полностью берут на себя (например, купание сына):

*Я все понимаю, чего он хочет, в туалет или руку, там, поправить. По интонации я понимаю, что ему надо. (№ 7)*

Без отца не происходят визиты в медучреждения, социальные службы, так как нужна физическая сила:

*Зимой, когда снег, я его до такси на руках — ну, он 30 килограммов весит. А в поликлинике есть своя инвалидная коляска. (№ 7)*

Смысл отцовства в таких семьях — «*всегда быть рядом с ребенком, не бросать в тяжелый момент*» (№ 7), «*по максимуму делать, чтобы она смогла жить*» (№ 15).

Наряду с любовью к ребенку первостепенное значение в мотивации столь трудного отцовства имеет чувство долга:

*Раз родил, значит, будь добр, и воспитывай. Любой мужчина должен любить своих детей и не бросить ребенка, какой бы он ни был. Я обязан это делать, и все. (№ 7)*

*Должен быть отец — нельзя уходить, бросать. Многие семьи разваливаются из-за таких детей. Я думаю, это предательство чистой воды. Хоть как, но надо быть вместе и тянуть.*

*У тебя такой ребенок получился, и ты такой: «Ай», оставил все и ушел. Как жить с этим потом? Это не по-мужски. (№ 15)*

Для этих отцов характерны реализм в восприятии ситуации, терпимость к неопределенности, отсутствие иллюзий в отношении будущего:

*Я разные вещи в жизни своей видел, и люди, которые уже умирали, оживали фактически. И где-то есть желание и надежда, чтобы так и получилось. Но если нет, будем жить дальше с тем, что есть. (№ 15)*

Работа о тяжелобольном ребенке требует согласованных действий обоих родителей, при этом гендерные установки отцов скорее традиционные:

*Как семью представлял? Муж — глава семьи, жена — помощник, и верны друг другу обязательно. Хотя было бы желательно, чтобы супруга тоже работала, чтобы вместе двигались. (№ 15)*

*Жена занимается всем, в магазин ходит, бегаёт по всему городу, по этим инстанциям, а я сижу с ребенком всегда. Кто решения принимает? Вместе решаем. Она спрашивает можно или нельзя, а я разрешаю. (№ 6)*

Трудовая занятость отцов приспособлена к нуждам семьи, работать необходимо, чтобы обеспечивать семью, в то же время:

*На первом месте семья, и я как отец для них всех, в том числе и для жены. Это важная роль для меня, а работа — нужно зарабатывать. (№ 15)*

Таким образом, в случае тяжелых нарушений здоровья у ребенка вовлеченное отцовство диктуется объективной необходимостью разделения интенсивной заботы между родителями. Движущим мотивом отцов, наряду с любовью, выступает чувство долга, в некоторых случаях оно является ведущим — надо при любых обстоятельствах заботиться о ребенке. В восприятии гендерных ролей превалирует традиционный подход. Трудовая занятость организуется с учетом потребностей заботы о ребенке, «я могу» быть вовлеченным отцом, работа этому не мешает.

### *Гармоничная вовлеченность*

Для семей с особыми детьми характерны разные варианты организации повседневной жизни: когда работают оба или один из родителей (как правило, отец). Но быть дома и/или посвящать больше времени заботе о ребенке, в то время как мать занята на работе, для этих отцов вариант актуальный:

*У нее большое количество командировок и четко поставлены задачи. У меня более размеренная работа, поэтому времени с ребенком больше провожу я. (№ 3)*

В основе гибких моделей поведения — установки на гендерное равенство в разделении домашних обязанностей:

*За все вместе отвечаем. У нас нет такого понятия — мужское и женское. Я полы мою, жена компьютеры чинит, потому что она в этом лучше разбирается (№ 3).*

*Я с ним в больнице лежал сколько раз. (№ 10)*

*Стараемся друг другу помогать, такого нет, что кто-то больше, кто-то меньше. (№ 4)*

Вовлеченность в заботу о ребенке соответствует как ожиданиям матери, так и желанию отца. В ее основе — ответственность, чувство отцовского долга. Вместе с тем очевидно, что отцы движимы чувством любви и привязанностью к своим детям, говорят о них с нескрываемой теплотой:

*Мой ребенок отстает в развитии, но я не вижу в нем никаких ужасных последствий. Что-то дается тяжелее, где-то он ведет себя как обезьянка, зато он добрый, красивый. (№ 3)*

Преданность семье, ценностное, эмоционально теплое отношение друг к другу, взаимная поддержка характерны для этих семей. Это источник ресурсов, чтобы справляться с проблемами:

*Домой прихожу, вот силы и прибавляются. (№ 13)*

Приверженность общим целям, но при этом уважение индивидуальных потребностей лежат в основе семейной сплоченности:

*Мы подходим друг другу, но мы не ограничиваем друг друга, абсолютно другие отношения. (№ 3)*

Вовлеченность отцов данной группы в заботу о ребенке базируется на любви и ответственности за него и семью в целом, соответствует желанию отца и ожиданиям супруги. Для них характерна адаптивность, готовность выстраивать семейную ситуацию исходя из потребностей ребенка/семьи и возможностей каждого из супругов вносить свой вклад в семейное благополучие (в заботу о здоровье ребенка, его развитие, материальное обеспечение). Имеет место *гибкость гендерных установок*, притом что традиционное распределение обязанностей воспринимается ими как более естественное. В реальных практиках проявляются *эгалитарные* установки, у отцов нет барьеров в выполнении домашних дел, особенно при более высокой профессиональной занятости матери. Они *хотят, могут* и в реальных практиках проявляют себя как вовлеченные отцы.

*Умеренная вовлеченность по необходимости*

Несмотря на значимость отцовской роли и желание внести как можно больший вклад в заботу о ребенке и его воспитание, реальные возможности отца для

общения с ребенком могут быть ограничены. Основным ограничителем выступает работа, ее режим:

*Главная трудность — отсутствие времени свободного. Я работаю три через три, дети живут в пятидневной неделе, когда с детьми общаться? (№ 1)*

Основная нагрузка ложится на плечи неработающей жены: «Уход, забота, кормление, укладывание спать — это мама точно, процентов восемьдесят» (№ 8), но свои выходные дни отцы проводят в общении с детьми, играют, занимаются, гуляют и т. д. Они с сожалением говорят, что не могут уделять больше времени семье, хотя желали бы этого, проявляют понимание, что жена нуждается в передышке:

*Ей морально тяжело, потому что она постоянно с детьми, и как женщине ей хочется своего личного времени побольше на себя. (№ 8)*

Притом что исходные гендерные установки могли быть скорее традиционными, в настоящее время можно отметить их динамику в сторону эгалитарных:

*Я считаю, что мужчина должен уметь все делать. (№ 11)*

Работе отцы отдают много времени и сил, но она не отодвигает семью на второй план, приверженность семье у этих отцов высокая:

*Для меня важно заботиться о своей семье при любых обстоятельствах. Это продиктовано моей любовью к дочери. Работа — только часть моей жизни. (№ 11)*

Обобщая, отметим, что актуальные гендерные установки этих отцов — эгалитарные. Они хотят, но не могут в желаемой степени участвовать в воспитании детей. Ограничивающим фактором выступает недостаток времени, обусловленный трудовой занятостью, поэтому их умеренная вовлеченность — следствие объективной необходимости.

#### *Умеренная вовлеченность по желанию*

Ограничения участия отца в заботе о ребенке, обусловленные его профессиональной занятостью, могут оцениваться им не только как неизбежные, но и как естественные и ожидаемые, согласующиеся с его представлением о традиционной роли мужчины в семье:

*Как в нормальной семье, супруга должна по дому заниматься, а я все-таки зарабатываю деньги. Я глава семьи, организатор, а домашний быт — мне кажется, супруга должна заниматься. Не всегда успевает, приходится помогать. (№ 12)*

Хотя и ссылаются на занятость, эти отцы не отстраняются от домашних дел. В выходные дни и после работы они общаются с детьми, считая при этом важными традиционно отцовские функции — контроля и дисциплинирования:

*С детьми контакт больше у нее [у жены]. Я по выходным, вечерами, соответственно. В выходные — какие-то активности. Это может быть поездка, поход куда-то культурный. Еще пинать надо старшего, чтобы сходил на тренировку, делал уроки. (№ 5)*

Приверженность семье, отцовству занимает важное место в их мотивационно-ценностной структуре: «Отцовство главное, я на себя хочу больше, но не могу, поэтому возлагаю на супругу» (№ 12), — но все же значимость профессиональной самореализации, вероятно, выше, так как удовлетворенность жизнью эти отцы напрямую связывают с работой:

*Тем, как жизнь складывается, скажем так, удовлетворен. Эта ситуация с ребенком никак не влияет на то, чем я занимаюсь. Мужчина — это человек, у которого есть работа. Главное, чтобы она была интересная. (№ 5)*

Вовлеченность отцов данного типа можно оценить как умеренную, причем объяснение этому мы находим как в действии объективных факторов (не могу, так как много работаю), так и субъективных — мотивационно-ценностной структуры, в которой ценности профессиональной самореализации «конкурируют» с ценностями вовлеченного отцовства, снижая мотивацию посвящать себя заботе о ребенке. Этому способствуют и традиционные гендерные установки, при которых основная ответственность за повседневную заботу о ребенке и его воспитание возлагается на мать, а участие отца совпадает с его желанием, соответствующим представлению о распределении семейных обязанностей (не хочу тратить время и силы на то, с чем справляется жена).

## **Заключение**

Подводя итоги, отметим, что роль отца, являясь частью ролевого репертуара мужчины, несет на себе отпечатки общего представления о том, что значит быть настоящим мужчиной в современном обществе, и в то же время корректируется под воздействием жизненного опыта, родительской культуры, гендерных установок, семейной ситуации, здоровья ребенка. Родительский габитус активного вовлеченного отцовства конструируется через проблематизацию и рефлексивность не совсем успешного опыта отношений со своим отцом, работу над собой и значительные личные усилия, самоопределение на основе потребности изменить качество собственного родительства. При этом ценности и практики вовлеченного отцовства у отцов, имеющих детей с инвалидностью, проявляются в специфических способах и механизмах совладания с трудностями и помощи своим детям. Так, у этих отцов проявляются новые измерения вовлеченности в отличие от отцов здоровых детей — организация лечения и реабилитации ребенка, профессионализация родительства, территориальная и статусная мобильность, гибкость трудовой занятости, рутинная/телесная забота, практики углубленного изучения заболевания и регулярный поиск способов совладания с ним, активная позиция в отстаивании прав своих детей.

Подтвердилась гипотеза о том, что реализация мужчины в роли отца во многом зависит от супруги, ее личных установок и ожиданий, совпадения взаимных пред-



ставлений о родительстве, способности договариваться и разрешать конфликтные ситуации и т. д. В ситуации, когда в семье воспитывается ребенок с особыми потребностями в заботе, влияние отношений с матерью ребенка возрастает в разы. Вовлеченность в отцовство коррелирует и с процессами устойчивости семьи, которые могут быть выражены по-разному в зависимости от характера проблем, специфики заболевания ребенка, ресурсов и др.

В настоящее время преобладает проблемно-дефицитарный подход к семьям, нуждающимся в интенсивной социальной помощи и поддержке, в том числе к семьям с детьми-инвалидами. Однако часто внешней поддержки оказывается недостаточно, чтобы жизненная ситуация такой семьи существенно изменилась в лучшую сторону: актуален поворот в сторону поиска внутренних ресурсов устойчивости, жизнестойкости, активизации потенциала семей, создающих более прочную основу для долгосрочных позитивных изменений [Törrönen et al., 2013]. В связи с этим возрастает значение социальной поддержки в наращивании внутрисемейных ресурсов, развития форм и методов работы, направленных на повышение как индивидуальной жизнестойкости, личностной зрелости, ответственности отцов, так и удовлетворенности супругов браком, их готовности к конструктивным отношениям, способности решать проблемы вместе и поддерживая друг друга.

## Список литературы (References)

Безрукова О. Н., Самойлова В. А. Отцовство и поддержка отцов: тренды современных зарубежных исследований // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 233—272. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.948>.

Bezrukova O. N., Samoylova V. A. (2020) Fatherhood and Support for Fathers: Trends in Modern Foreign Studies. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 233—272. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.948>. (In Russ.)

Безрукова О. Н., Самойлова В. В. Отцовство в современной России: смыслы, ценности, практики и межпоколенческая трансляция // Социологические исследования. 2022. № 2. С. 94—106. <https://doi.org/10.31857/S013216250016970-0>.

Bezrukova O. N., Samoylova V. A. (2022) Fatherhood in Modern Russia: Meanings, Values, Practices, and Intergenerational Translation. *Sociological Studies*. No. 2. P. 94—106. <https://doi.org/10.31857/S013216250016970-0>. (In Russ.)

Борисова О. Н. Отцовская вовлеченность: индивидуальные и межстрановые различия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 260—283. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.6.13>.

Borisova O. N. (2017) Father's Involvement: Individual and Cross-Country Differences. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 260—283. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.6.13>. (In Russ.)

Галасюк И. Н. Проблема психической травматизации членов семьи инвалида // Вестник Московского Государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 2011. № 1. С. 54—60.

Galasyuk I. N. (2011) The Problem of Psychological Trauma of Family Members of the Disabled. *Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Psychology*. No. 1. P. 54—60. (In Russ.)

Гребенникова Е. В., Шелехов И. Л., Берестнева О. Г. Психолого-педагогическая компетентность родителей, воспитывающих детей-инвалидов // *Науковедение*. 2015. Т. 7. № 2. С. 1—13. <http://dx.doi.org/10.15862/18PVN215>.

Grebennikova E. V., Shelekhov I. L., Berestneva O. G. (2015) Psycho-Pedagogical Competence of Parents, Disabled Children. *Naukovedenie*. Vol. 7. No. 2. P. 1—13. <http://dx.doi.org/10.15862/18PVN215>. (In Russ.)

Егорова Н. Ю., Янак А. Л., Рябинская Е. С. Родительские роли в современной российской семье: границы «мужского» // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2020. № 2. С. 233—251. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.782>.

Egorova N. Yu., Yanak A. L., Ryabinskaya E. S. (2020) Parental Roles in the Modern Russian Family: The Male Boundaries. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 233—251. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.782>. (In Russ.)

Липасова А. Н. Отцовство в гендерных режимах развитых стран // *Женщина в российском обществе*. 2016. № 2. С. 34—47. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2016.2.4>.

Lipasova A. N. (2016) Fatherhood in Gender Regimes of the Developed Countries. *Woman in Russian Society*. No. 2. P. 34—47. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2016.2.4>. (In Russ.)

Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009.

Kon I. S. (2009) A Man in a Changing World. Moscow: Vremya. (In Russ.)

Рождественская Е. Ю. Вовлеченное отцовство, заботливая маскулинность // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2020. № 5. С. 155—185. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.1676>.

Rozhdestvenskaya E. Yu. (2020) Involved Fatherhood, Caring Masculinity. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 155—185. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.1676>. (In Russ.)

Тындик А. О., Васин С. А. Положение детей инвалидов и их семей по данным переписи населения // *Журнал исследований социальной политики*. 2016. Т. 14. № 2. С. 167—180.

Tyndik A. O., Vasin S. A. (2016) Children with Disabilities and Their Families' Status: Evidence from Censuses. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 14. No. 2. P. 167—180. (In Russ.)

Шевченко И. О. Институт отцовства: состояние, тенденции, проблемы // *Вестник Российского государственного гуманитарного университета*. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2010. № 3. С. 278—286.

Shevchenko I. O. (2010) The Institution of Fatherhood: Condition, Trends, Problems. *RSUH/RGGU Bulletin. Series Philosophy. Social Studies. Art Studies*. No. 3. P. 278—286. (In Russ.)

- Bogossian A., King G., Lach L. M., Currie M., Nicholas D., McNeill T., Saini M. (2019) (Unpacking) Father Involvement in the Context of Childhood Neurodisability Research: A Scoping Review. *Disability and Rehabilitation*. Vol. 41. No. 1. P. 110—124. <https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1370497>.
- Bragiel J., Kaniok P. E. (2011) Fathers' Marital Satisfaction and Their Involvement with Their Child with Disabilities. *European Journal of Special Needs Education*. Vol. 26. No. 3. P. 395—404. <https://doi.org/10.1080/08856257.2011.595174>.
- Condon J. T., Corkindale C. J., Boyce Ph. (2004) The First-Time Fathers Study: A Prospective Study of the Mental Health and Wellbeing of Men during the Transition to Parenthood. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*. Vol. 38. No. 1—2. P. 56—64. <https://doi.org/10.1177/000486740403800102>.
- Cundy J. (2016) Supporting Young Dads' Journeys through Fatherhood. *Social Policy and Society*. Vol. 15. No. 1. P. 141—153. <https://doi.org/10.1017/S1474746415000524>.
- Doherty W. J., Kouneski E. F., Erickson M. F. (1998) Responsible Fathering: An Overview and Conceptual Framework. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 60. No. 2. P. 277—292.
- Glenn F. E. (2007) *Growing Together, or Drifting Apart? Children with Disabilities and Their Parents' Relationship*. London: One Plus One.
- Gorvine B. J. (2002) *Fathers and Father Figures of Head Start Children: A Study of the Effects of Involvement on Children's Socioemotional Development*. Ann Arbor, MI: University of Michigan.
- Ingber S., Most T. (2012) Fathers' Involvement in Preschool Programs for Children with and without Hearing Loss. *American Annals of the Deaf*. Vol. 157. No. 3. P. 276—288. <https://doi.org/10.1353/aad.2012.1620>.
- Johansson T., Andreasson J. (2017) *Fatherhood in Transition: Masculinity, Identity and Everyday Life*. London: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58953-8>.
- Hawkins A. J., Palkovitz R. (1999) Beyond Ticks and Clicks: The Need for More Diverse and Broader Conceptualizations and Measures of Father Involvement. *The Journal of Men's Studies*. Vol. 8. No. 1. P. 11—32. <https://doi.org/10.3149/jms.0801.11>.
- Hofferth S. L., Forry N. D., Peters H. E. (2010) Child Support, Father-Child Contact, and Preteens' Involvement with Nonresidential Fathers: Racial/Ethnic Differences. *Journal of Family and Economic Issues*. Vol. 31. No. 1. P. 14—32. <https://doi.org/10.1007/s10834-009-9172-9>.
- Höfner C., Schadler C., Richter R. (2011) When Men Become Fathers: Men's Identity at the Transition to Parenthood. *Journal of Comparative Family Studies*. Vol. 42. No. 5. P. 669—686. <https://doi.org/10.3138/jcfs.42.5.669>.
- Kalmijn M. (2015) Father-Child Relations after Divorce in Four European Countries: Patterns and Determinants. *Comparative Population Studies*. Vol. 40. No. 3. P. 251—276.

- Lamb M. E. (1986) The Changing Roles of Fathers. In: Lamb M. E. (ed.) *The Father's Role: Applied Perspectives*. New York, NY: John Wiley. P. 3—27.
- LaRossa R. (1988) Fatherhood and Social Change. *Family Relations*. Vol. 37. No. 4. P. 451—457. <https://doi.org/10.2307/584119>.
- Lengersdorf D., Meuser M. (2016) Involved Fatherhood: Source of New Gender Conflicts? In: Crespi I., Ruspini E. (eds.) *Balancing Work and Family in a Changing Society. The Fathers' Perspective*. New York, NY: Palgrave Macmillan. P. 149—161. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-53354-8\\_10](https://doi.org/10.1057/978-1-137-53354-8_10).
- Maddi S. R. (2006) Hardiness: The Courage to Grow from Stresses. *The Journal of Positive Psychology*. Vol. 1. No. 3. P. 160—168. <https://doi.org/10.1080/17439760600619609>.
- Marks L., Palkovitz R. (2004) American Fatherhood Types: The Good, the Bad, and the Uninterested. *Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers*. Vol. 2. No. 2. P. 113—129. <https://doi.org/10.3149/fth.0202.113>.
- Marsiglio W. (2009) Men's Relations with Kids: Exploring and Promoting the Mosaic of Youth Work and Fathering. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 624. No. 1. P. 118—138. <https://doi.org/10.1177/0002716209334696>.
- Ogston-Nobile P. L. (2015) The Division of Family Work among Fathers and Mothers of Children with an Autism Spectrum Disorder: Implications for Parents and Family Functioning. A PhD in Psychology Thesis. No. 75. P. 1—189. <https://doi.org/10.25772/N1WS-Z706>.
- OzturkYa., Riccadonna S., VenutiP. (2014) Parenting Dimensions in Mothers and Fathers of Children with Autism Spectrum Disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*. Vol. 8. No. 10. P. 1295—1306. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2014.07.001>.
- Palkovitz R. (1997) Reconstructing “Involvement”: Expanding Conceptualizations of Men's Caring in Contemporary Families. In: Hawkins A. J., Dollahite D. C. (eds.) *Generative Fathering: Beyond Deficit Perspectives*. Thousand Oaks, CA: Sage. P. 200—216.
- Rankin J. A., Paisley C. A., Tomeny T. S., Eldred S. W. (2019) Fathers of Youth with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of the Impact of Fathers' Involvement on Youth, Families, and Intervention. *Clinical Child and Family Psychology Review*. Vol. 22. No. 4. P. 458—477. <https://doi.org/10.1007/s10567-019-00294-0>.
- Ruby S., Scholz S. (2018) Care, Care Work and the Struggle for a Careful World from the Perspective of the Sociology of Masculinities. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*. Vol. 43. No. 1. P. 73—83. <https://doi.org/10.1007/s11614-018-0284-z>.
- Tolleson A., Zeligman M. (2019) Creativity and Posttraumatic Growth in Those Impacted by a Chronic Illness/Disability. *Journal of Creativity in Mental Health*. Vol. 14. No. 4. P. 499—509. <https://doi.org/10.1080/15401383.2019.1632769>.
- Törrönen M., Borodkina O., Samoylova V., Heino E. (eds.) (2013) *Empowering Social Work: Research & Practice*. Helsinki: University of Helsinki, Kotka Unit Kopijyvä Oy.

Sato N., Araki A. (2021) Fathers' Involvement in Rearing Children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities. *Journal of Family Nursing*. Vol. 28. No. 1. P. 57—68. <https://doi.org/10.1177/10748407211037345>.

Schoppe-Sullivan S.J., McBride B.A., Ho M. R. (2004) Unidimensional Versus Multidimensional Perspectives on Father Involvement. *Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers*. Vol. 2. No. 2. P. 147—163. <https://doi.org/10.3149/fth.0202.147>.

Sim A., Cordier R., Vaz Sh., Falkmer T. (2019) “We are in This Together”: Experiences of Relationship Satisfaction in Couples Raising a Child with Autism Spectrum Disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*. Vol. 58. P. 39—51. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.11.011>.

Walsh F. (2016) Family Resilience: A Developmental Systems Framework. *European Journal of Developmental Psychology*. Vol. 13. No. 3. P. 313—324. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>.

West C., Honey A. (2016) The Involvement of Fathers in Supporting a Young Person Living with Mental Illness. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 25. No. 2. P. 574—587. <https://doi.org/10.1007/s10826-015-0230-7>.

## Приложение. Основные характеристики информантов

№ интервью	Возраст информанта (полных лет)	Образование	Наличие регистрации брака	Количество детей в семье	Информация о ребенке-инвалиде
1	44	Незаконченное высшее	–	2	Девочка, 10 лет, нейро-сенсорная тугоухость
2	40	Высшее	+	2	Девочка, 5 лет, порок сердца Тетрада Фалло
3	40	Незаконченное высшее	+	1	Мальчик, 8 лет, ЗПР
4	38	Среднее специальное	+	3	Мальчик, 15 лет, ЗПР
5	42	Высшее	+	2	Мальчик, 11 лет, синдром Денди-Уокера
6	50	Среднее специальное	+	1	Мальчик, 13 лет, дистрофия Дюшена, РАС
7	35	Незаконченное высшее	–	1	Мальчик, 12 лет, ДЦП
8	34	Высшее	+	2	Мальчик, 7 лет, ДЦП
9	39	Среднее специальное	+	2	Мальчик, 9 лет, РАС
10	35	Среднее специальное	+	2	Мальчик, 10 лет, ДЦП
11	41	Высшее	+	1	Девочка, 7 лет, дефект тазобедренного сустава
12	33	Высшее	+	2	Мальчик, 4 года, сах. диабет 1 типа
13	36	Среднее специальное	+	2	Мальчик, 9 лет, дефект кисти
14	31	Высшее	+	1	Мальчик, 6 лет, РАС
15	36	Среднее специальное	+	2	Девочка, 5 лет, ДЦП

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2220](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2220)



**А. П. Казун, А. А. Карпушкина, Д. В. Курихина, М. С. Савунова**

## **БЬЕТ — ЗНАЧИТ ЛЮБИТ? СТРАТЕГИИ ДЕПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКИХ СМИ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Казун А. П., Карпушкина А. А., Курихина Д. В., Савунова М. С. Бьет — значит любит? Стратегии депроблематизации домашнего насилия в российских СМИ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 149—171. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2220>.

### **For citation:**

Kazun A. P., Karpushkina A. A., Kurikhina D. V., Savunova M. S. (2022) "If He Beats You, It Means He Loves You"? Strategies for Deproblematizing Domestic Violence in the Russian Media. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 149–171. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2220>. (In Russ.)

Получено: 06.04.2022. Принято к публикации: 20.09.2022.

## БЬЕТ — ЗНАЧИТ ЛЮБИТ? СТРАТЕГИИ ДЕПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКИХ СМИ

*КАЗУН Антон Павлович* — кандидат социологических наук, заместитель директора Института анализа предприятий и рынков, доцент департамента прикладной экономики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: akazun@hse.ru  
<https://orcid.org/0000-0002-0091-5388>

*КАРПУШКИНА Анастасия Александровна* — независимый исследователь, Москва, Россия  
E-MAIL: aakarpushkina@edu.hse.ru  
<https://orcid.org/0000-0003-4744-4461>

*КУРИХИНА Дарья Владимировна* — аналитик-исследователь, научно-учебная группа «Социально-правовые исследования» Института анализа предприятий и рынков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: dkurikhina@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0002-3340-6985>

*САВУНОВА Мария Сергеевна* — аналитик-исследователь, научно-учебная группа «Социально-правовые исследования» Института анализа предприятий и рынков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: mr.savunova@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0002-5447-3933>

## “IF HE BEATS YOU, IT MEANS HE LOVES YOU”? STRATEGIES FOR DEPROBLEM-ATIZING DOMESTIC VIOLENCE IN THE RUSSIAN MEDIA

*Anton P. KAZUN*<sup>1</sup> — Cand. Sci. (Soc.), Deputy Director at the Institute for Industrial and Market Studies, Assistant Professor at the Department of Applied Economics  
E-MAIL: akazun@hse.ru  
<https://orcid.org/0000-0002-0091-5388>

*Anastasia A. KARPUSHKINA*<sup>2</sup> — Independent Researcher  
E-MAIL: aakarpushkina@edu.hse.ru  
<https://orcid.org/0000-0003-4744-4461>

*Daria V. KURIKHINA*<sup>1</sup> — Research Analyst, Research Group “Socio-Legal Studies” at the Institute for Industrial and Market Studies  
E-MAIL: dkurikhina@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0002-3340-6985>

*Maria S. SAVUNOVA*<sup>1</sup> — Research Analyst, Research Group “Socio-Legal Studies” at the Institute for Industrial and Market Studies  
E-MAIL: mr.savunova@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0002-5447-3933>

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, Russia

<sup>2</sup> Moscow, Russia



**Аннотация.** На протяжении последних десяти лет в публичном поле идут активные дискуссии о проблеме домашнего насилия в России. В 2017 г. побои в отношении близких родственников были декриминализованы, а закон о семейно-бытовом насилии так и не был принят, хотя неоднократно вносился в Государственную думу. Цель настоящей статьи — анализ контрриторических стратегий, которыми пользуются участники дискуссии, отрицающие наличие или важность проблемы насилия между интимными партнерами. На основе анализа более 1,4 тыс. публикаций о проблеме домашнего насилия в девяти ведущих печатных СМИ России за период с 2010 по 2020 г. мы выделяем и описываем шесть стратегий депроблематизации в соответствии с классификацией, предложенной П. Ибаррой и Дж. Китсьюзом. Кроме того, мы выделяем не попадающую в классификацию седьмую стратегию, делающую акцент на материальной компенсации за насилие. Мы анализируем роль акцента на патриархальных ценностях в каждой из выделенных стратегий, а также делаем выводы об их возможной связи с общественным мнением о данной проблеме.

**Ключевые слова:** домашнее насилие, СМИ, стратегии депроблематизации, фрейминг, закон о профилактике семейно-бытового насилия

**Благодарность.** Публикация подготовлена в ходе проведения исследовательского проекта «Безопасность и виктимность населения России: социальные, экономические и культурные факторы» № 21-04-029 (Научно-учебная группа «Социально-правовые исследования») в рамках Программы

**Abstract.** Over the past 10 years, there have been furious public debates on domestic violence in Russia. In 2017, beatings against close relatives were decriminalized, and the law on domestic violence was never adopted, although it was repeatedly introduced into the State Duma. The purpose of this article is to analyze the counter-rhetorical strategies used by participants in the discussion who deny the existence or importance of the problem of violence between intimate partners. Based on the analysis of more than 1.4 thousand publications on the problem of domestic violence in nine leading print media in Russia from 2010 to 2020, we identify and describe six deproblematization strategies according to the classification proposed by P. Ibarra and J. Kitsuse. In addition, we add the seventh strategy that does not fall into the classification, which emphasizes material compensation for violence. We analyze the role of the emphasis on patriarchal values in each identified strategy and conclude their possible connection with public opinion on this issue.

**Keywords:** domestic violence, media, de-problematization strategies, framing, a law on the prevention of domestic violence

**Acknowledgments.** The publication was prepared by research group “Socio-legal Studies” within the framework of the Academic Fund Program at HSE University in 2021 (grant No. 21-04-029). The authors express their gratitude to Regina Resheteeva for joint work on the first stage of this project.

«Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2021-2022 гг. Авторы выражают признательность Регине Игоревне Решетевой за совместную работу в рамках научно-учебной группы над первым этапом данного проекта.

## Введение

Согласно результатам проекта «Алгоритм Света»<sup>1</sup>, основанного на автоматизированном анализе текстов судебных приговоров, примерно две трети женщин, убитых в России с 2011 по 2019 г., стали жертвами домашнего насилия. Суммарно за указанный период от рук близких людей погибли 12,2 тыс. женщин, большинство из них (9,8 тыс.) — жертвы своего партнера. «Алгоритм Света» — это первое в своем роде исследование, раскрывшее и убедительно доказавшее реальные масштабы проблемы, поскольку официальная статистика давала числа на порядок меньше — несколько сотен случаев ежегодно<sup>2</sup>. Высокая латентность домашнего насилия — одна из серьезных проблем, на которые неоднократно обращали внимание исследователи [McIntyre, 1984; Xue et al., 2020]. Неслучайно в докладе UN Woman рост домашнего насилия в период пандемии назвали «теневой пандемией»<sup>3</sup>, ведь существенная часть данной проблемы остается скрытой. Латентности способствует много факторов, в том числе отсутствие официальной статистики о домашнем насилии, в особенности случаев, не заканчивающихся обращениями в полицию. Согласно статистике ресурсного центра «Анна», в 2020 г. по телефону доверия позвонили почти 50 тыс. женщин, ставших жертвами домашнего насилия<sup>4</sup>, однако это, безусловно, лишь часть общей картины, зафиксированная одной правозащитной организацией.

С юридической точки зрения жертвам домашнего насилия защитить свои права достаточно сложно — нередко обращения с жалобами на домашнее насилие игнорируются<sup>5</sup>. Еще в 2016 г. в Государственную думу вносился закон «О профилактике семейно-бытового насилия», направленный на установление специальных инсти-

<sup>1</sup> «Алгоритм Света» by Women Consortium | Readymag // Алгоритм Света. URL: <https://readymag.com/3025106> (дата обращения: 06.03.2022).

<sup>2</sup> Эксперты оценили вероятность принятия закона о домашнем насилии // МК.ru. 2019. 20 декабря. URL: <https://www.mk.ru/politics/2019/12/20/eksperty-ocenili-veroyatnost-prinyatiya-zakona-o-domashnem-nasilii.html> (дата обращения: 06.03.2022).

<sup>3</sup> Issue Brief: COVID-19 and Ending Violence against Women and Girls // UN Women. 2020. URL: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls> (дата обращения: 07.03.2022).

<sup>4</sup> Количество обращений на телефон доверия за 2020 год приблизилось к 50 тысячам // Ресурсный центр «АННА». 2021. 24 февраля. URL: <https://anna-center.ru/tpost/dramzsy1-kolichestvo-obraschenii-na-telefon-dover> (дата обращения: 06.03.2022).

<sup>5</sup> Альтернативный доклад правозащитных организаций Комитету CEDAW // Консорциум женских неправительственных объединений WCONS. 2021. 28 июня. URL: <https://wcons.net/biblioteka/alternativnyj-doklad-pravozashhitnyh-organizacij-komitetu-cedaw> (дата обращения: 07.03.2022).

тутов защиты от домашнего насилия, однако он был отклонен. Более того, в 2017 г. был принят федеральный закон<sup>6</sup>, который декриминализовал семейные побои и вызвал негативную реакцию в правозащитном сообществе. Последняя редакция законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» была внесена в Совет Федерации еще в 2019 г.<sup>7</sup> и собрала более 11 тыс. комментариев, однако закон так и не был принят (см. подробный анализ дискуссии о законе: [Маркова, 2020; Муравьева, 2021]). В октябре 2021 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «откладывать дальше нельзя»<sup>8</sup>, инициировав очередной этап обсуждения данного закона, однако сроки его возможного принятия на момент написания данного исследования неясны.

На фоне данных событий нельзя сказать, что проблему домашнего насилия совсем не обсуждают в СМИ или что она не является частью общественной повестки дня. Громкие истории — такие как дело Маргариты Грачевой<sup>9</sup>, дело сестер Хачатурян<sup>10</sup>, скандалы, связанные с харассментом, и возникшее на их фоне движение #MeToo сильно, — актуализировали проблематику насилия против женщин. Несмотря на многолетнее присутствие данной проблемы в общественной повестке, в сторону изменения законодательства и правоприменительной практики было сделано мало практических шагов.

В настоящей статье мы рассматриваем дискуссию о партнерском насилии в отношении женщин, которая происходила в российских печатных СМИ с 2010 по 2020 г. Поскольку анализ данной проблематики — задача комплексная и масштабная, мы фокусируемся лишь на одном вопросе: какие аргументы используют сторонники точки зрения, что домашнее насилие не является актуальной проблемой? Наша задача состоит в том, чтобы выделить из дискуссии различные аргументы, классифицировать их и разделить на «стратегии депроблематизации» [Ясавеев, 2006], то есть способы конструирования общественной дискуссии, которые позволяют убедить аудиторию в отсутствии проблемы или в ее незначительности. Депроблематизация домашнего насилия через СМИ — это, безусловно, лишь одна сторона проблемы, однако она отражает и другие влияющие на дискуссию факторы, такие как ценности, распространенные в российском обществе, и позиция представителей власти. По этой причине мы считаем, что данное исследование способно внести вклад в дискуссию о проблематике домашнего насилия и сделать первый шаг к выявлению и объяснению причин, по которым на протяжении

<sup>6</sup> Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ // Официальное опубликование правовых актов · Официальный интернет-портал правовой информации. 2017. 7 февраля. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702070049> (дата обращения: 06.03.2022).

<sup>7</sup> Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2019. 29 ноября. URL: <http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611> (дата обращения: 06.03.2022).

<sup>8</sup> Матвиенко назвала сроки внесения в Госдуму закона о домашнем насилии // Известия. 2021. 13 октября. URL: <https://iz.ru/1235013/2021-10-13/matvienko-nazvala-sroki-vneseniia-v-gosdumu-zakona-o-domashnem-nasilii> (дата обращения: 06.03.2022).

<sup>9</sup> Новости Р.И.А. История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук // РИА Новости. 2018. 22 октября. URL: <https://ria.ru/20181022/1530984510.html> (дата обращения: 07.03.2022).

<sup>10</sup> Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии // РБК. 2021. 23 марта. URL: <https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/6059f7b49a7947edd8fc8213> (дата обращения: 07.03.2022).

последнего десятилетия так и не были предприняты попытки по снижению остроты проблемы домашнего насилия в российских семьях.

### **Теоретическая рамка исследования. Что такое домашнее насилие?**

Под термином «домашнее насилие» скрывается сразу несколько проблем [Holt, Buckley, Whelan, 2008]. Это насилие между интимными партнерами (как состоящими в официальном браке, так и нет), насилие по отношению к детям, а также насилие в отношении людей старшего возраста. В настоящем исследовании мы фокусируемся на партнерском насилии в отношении женщин, то есть «домашнем насилии» в узком смысле. Одновременно с этим мы продолжаем использовать термин «домашнее насилие», поскольку именно он, как правило, возникает в публичных дискуссиях, посвященных проблематике побоев и жестокости между интимными партнерами. Безусловно, тематика насилия над детьми зачастую неотделима от насилия между интимными партнерами, однако мы не рассматриваем этот аспект, поскольку он требует отдельного исследования. Публичная риторика в случае насилия над детьми, а также рассуждения о его причинах отличаются от риторики о партнерском насилии. В свою очередь, тематика насилия по отношению к пожилым членам семьи еще менее типична для российского публичного поля и может обладать своей спецификой, потому мы также оставляем ее в стороне, не отрицая высокой значимости данной темы.

К домашнему насилию относятся не только случаи физического насилия (крайней формой которого являются убийства), хотя именно они наиболее часто попадают в криминальную хронику и вызывают наибольший резонанс. Исследователи разделяют физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие, в качестве отдельной формы насилия выделяют ограничение физической свободы и чрезмерный контроль за поведением партнера (включая ограничение общения с родными и друзьями, запрет на работу и пр.) [Ali, Rogers, Heward-Belle, 2021]. Отличаться может и интенсивность возникновения насилия: от ситуационно возникающих конфликтов до постоянного подавления, унижения и избиения партнера [Johnson, 2010]. Понимая множественность форм партнерского насилия, мы вместе с тем должны указать на то, что анализ медиадискуссии (и особенно дискуссии вокруг законов, связанных с домашним насилием) неизбежно фокусируется преимущественно на физическом насилии, поскольку это наиболее явная его форма, которая проще поддается фиксации и криминализации.

С эмпирической точки зрения феномен домашнего насилия также непросто. Как уже было отмечено, оценить его масштабы сложно из-за высокой латентности. Кроме того, разные инструменты измерения зачастую дают сильно различающиеся оценки его масштабов [Kourti et al., 2021]. Это обстоятельство повышает роль медиа, ведь именно СМИ могут расставить акценты внутри сложной и многофакторной проблемы, подсветить те или иные ее особенности.

### **Медиа и домашнее насилие**

Вопрос о том, как проблема домашнего насилия фреймируется в СМИ, — важная часть международной исследовательской повестки [Abraham, Tastsoglou, 2016]. Исследователи подчеркивают ключевую роль медиа в процессе формирования

повестки дня [Bullock, 2007; Wanta, Golan, Lee, 2004], которая впоследствии влияет на общественное мнение [Kazun, 2020]. В том числе это относится к освещению преступлений в СМИ [Barak, 1988]. Социальные проблемы конкурируют между собой за внимание публики [Spector, Kitsuse, 1977]. Это означает, что тематика домашнего насилия может вытесняться из публичного пространства другими актуальными темами или же, напротив, захватывать повестку дня. Особую роль в последнем играют «громкие истории»: например, в США дело о предполагаемом убийстве футболистом и актером О. Джей Симпсоном своей бывшей жены и ее приятеля привело к росту числа публикаций о домашнем насилии, которые никак не были связаны с этим делом [Maxwell et al., 2000].

Следует отметить, что освещение домашнего насилия в медиа нередко подвергается критике. Во-первых, критикуется качество публичной дискуссии. Например, указывается на низкий уровень публичной дискуссии в одном из регионов США: в большинстве случаев домашнее насилие подавалось просто как набор фактов о преступлении (то есть отсутствовал нарратив, связанный с проблематизацией ситуации), в СМИ редко приводились мнения жертв или их представителей, лишь в одном из десяти случаев давалась информация о том, как можно избежать проблемы (например, ссылки на телефон доверия) [Seely, Riffe, 2021]. Домашнее насилие действительно нередко описывается в СМИ именно в полицейской терминологии, поскольку правоохранительные органы чаще всего служат источником информации о том или ином деле, диктуя способы его описания [Gillespie et al., 2013]. Исследователи также обращают внимание, что преступления на бытовой почве, совершенные мужчинами и женщинами, описываются в СМИ по-разному. При описании преступлений, совершаемых женщинами, СМИ делают акцент на эмоциях как причине совершенного поступка [Carlyle, Scarduzio, Slater, 2014]. Во-вторых, в литературе часто критикуется ценностный аспект дискуссии о домашнем насилии, в которой нередко имеют место культурные, этнические [Abraham, Tastsoglou, 2016] и гендерные стереотипы [Bullock, 2007], а также находят отражение консервативные нормы и ценности. В-третьих, нередко в СМИ встречается обвинение жертвы: указание на то, что жертвы домашнего насилия по тем или иным причинам сами виновны в сложившейся ситуации [Taylor, 2009].

Все вышеперечисленные недостатки могут работать на то, чтобы снизить актуальность проблемы домашнего насилия в глазах публики — спрятать ее в нарративе преступности, оправдать через культурные нормы или стереотипы, переложить ответственность на жертву и т. д. Таким образом, критический анализ медиадискуссии о семейно-бытовом насилии зачастую подчеркивает недостатки, связанные с низким уровнем проблематизации таких ситуаций. Примечательно, что немалая часть исследований посвящена анализу публичной дискуссии в США и Европе, где проблема домашнего насилия уже многие годы в центре внимания, а законодательство предоставляет весьма широкие возможности как для наказания виновников домашнего насилия, так и для его профилактики. Это делает особенно актуальным анализ ситуации в странах, где общественная дискуссия о домашнем насилии находится на стадии обсуждения введения законодательных мер.

Российские исследователи [Бадонов, 2017; Хилажева, 2015] отмечают актуальность проблематики домашнего насилия, выделяя факторы, которые могут спо-

собствовать ее возникновению. Социологические работы по тематике домашнего насилия в России в большинстве своем основываются на результатах опросов населения, однако систематического изучения медиадискуссии вокруг данной проблемы до настоящего времени не проводилось. В исследовании М. Муравьевой предложен анализ более 11 тыс. комментариев к закону о домашнем насилии 2019 г., позволивший выделить дискурсивные кластеры с описанием аргументов противников данного закона [Муравьева, 2021]. В работе Я. Марковой проанализированы риторические стратегии противников закона о профилактике домашнего насилия на основе трех открытых текстов: открытого письма Президенту РФ, заявления Патриаршей комиссии по вопросам семьи и официального ответа Минюста на запрос ЕСПЧ по вопросу домашнего насилия [Маркова, 2020]. Эти исследования наиболее близки по содержанию к работе, которая проводится в рамках настоящей статьи, потому в эмпирической части статьи мы проведем некоторые параллели между нашими результатами.

### **Риторические стратегии и депроблематизация**

Характер дискуссии в СМИ о тех или иных социальных и экономических вопросах зачастую обусловлен влиянием различных групп интересов, в том числе присутствующих в медийном поле политиков, экспертов, правозащитников и активистов. Например, разные группы интересов активно участвовали в конструировании общественного мнения о том, нужно ли России вступать в ВТО [Казун, 2015]. Также через фрейминг в СМИ конструировалось восприятие политики импортозамещения [Казун, Дорофеева, 2019]. После присоединения Крыма и введения санкций, стратегии депроблематизации сыграли немаловажную роль в поддержании высокого рейтинга власти [Kazun, 2016]. В случае возникновения тех или иных неприятных ситуаций, например массового отравления суррогатным алкоголем [Казун, Казун, 2017], СМИ могут перенаправить внимание публики на другие вопросы или же подать ситуацию в выгодном для власти свете. Вместе с тем возможно и усиление актуальности того или иного социального феномена, например полицейского насилия [Кольцова, Ясавеев, 2013]. Наконец, в контексте пандемии коронавируса СМИ стали ключевым инструментом коммуникации власти с населением по вопросам, связанным с необходимостью соблюдения ограничительных мер [Казун, Казун, 2020], вакцинацией и пр.

Из корпуса литературы можно сделать вывод, что медиа важны российской власти и другим группам интересов для контроля за повесткой дня не только по политическим и международным вопросам, но и по вопросам, связанным с экономической и социальной политикой. В этом контексте можно ожидать, что и дискуссия о проблеме домашнего насилия будет определенным образом конструироваться через СМИ.

Ученые разделяют два направления конструирования дискуссии о той или иной проблеме [Van Gorp, Vyncke, 2021] — проблематизацию, то есть акцентирование актуальности и значимости того или иного вопроса, и обратный процесс конструирования «не-проблем», то есть депроблематизацию [Ясавеев, 2006]. В исследовании, проведенном П. Ибаррой и Дж. Китсьюзом выделяется девять типичных стратегий депроблематизации (иначе говоря, контрриторических стра-

тегий), которые могут встречаться в медиа [Ibarra, Kitsuse, 2003]. Если применить их к проблематике домашнего насилия, то получатся гипотетические стратегии, описанные в таблице 1.

**Таблица 1. Возможные стратегии депроблематизации домашнего насилия в соответствии с классификацией П. Ибарры и Дж. Китсьюза**

<b>Несочувствующая контрриторика (проблема вообще не признается)</b>	<b>Сочувствующая контрриторика (проблема признается, но ставится под сомнение ее значимость)</b>
Антитипизация: домашнего насилия как системной проблемы нет, есть лишь частные случаи, с которыми может разобратся полиция или органы опеки	Натурализация: насилие в семье между партнерами — это естественная и неизбежная часть жизни, часть нашей культуры
Опровергающие истории: на самом деле в России нет насилия между партнерами / на самом деле мужчины тоже становятся жертвами домашнего насилия	Контрриторика затрат: проблему домашнего насилия можно решить, но только очень дорогой ценой, которая несоизмерима с выгодами
Контрриторика неискренности: проблему домашнего насилия намеренно раздувают, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране	Декларация бессилия: какие бы законы и меры мы ни принимали, домашнее насилие останется
Контрриторика истерии: в дискуссии о домашнем насилии много эмоций, но мало фактов	Перспективизация: наличие в России проблемы домашнего насилия — это лишь субъективное мнение некоторых граждан, которые не видят полной картины
	Критика тактики: проблему домашнего насилия, конечно, нужно решать, но не через ужесточение законодательства

Стоит отметить, что в таблице 1 представлены именно возможные стратегии, выведенные дедуктивно на основе классификации [ibid.]. Это не означает, что в реальной дискуссии в СМИ мы обнаружим все эти стратегии или же хотя бы некоторые из них. В эмпирической части работы мы подробнее опишем и проиллюстрируем те стратегии депроблематизации домашнего насилия, которые неоднократно встречались в ведущих печатных СМИ.

### **Методология исследования**

В настоящем исследовании мы фокусируемся на дискуссии в ведущих российских печатных изданиях, посвященной партнерскому насилию, то есть формам физического, психологического, сексуального или иного насилия между сожителями или супругами. Таким образом, мы оставляем в стороне тематику насилия по отношению к детям, которое, однако, нередко является сопутствующей тематикой в дискуссиях.

На первом этапе мы сформировали список ключевых слов для поиска по базе данных Factiva Dow Jones, который мог бы максимально полно охватить тематику семейно-бытового насилия. Недостаток использования простого поискового запроса «домашнее насилие» состоит в том, что в публикациях могли не использо-

вать этот термин. По этой причине наш итоговый поисковый запрос<sup>11</sup> структурно состоит из двух частей: а) упоминание семейного, бытового или домашнего насилия в различных формах; б) упоминание различных форм партнерского насилия, включая убийство, избиение, побои и пр., которые совершаются между супругами или сожителями. Итоговый запрос позволил найти большее количество релевантных источников, чем запрос по ключевому слову «домашнее насилие».

На втором этапе мы произвели выборку печатных изданий, что позволило сформировать выборку статей, доступную для качественного анализа. Мы выделяем три категории изданий и в каждой категории выбираем три издания, имевших наибольшее количество публикаций о домашнем насилии. Выборка изданий и число публикаций, содержащих ключевые слова, представлены в таблице 2.

Таблица 2. **Выборка печатных изданий и текстов, упоминающих домашнее насилие**

Тип издания	Название газеты / журнала	Число текстов, упоминающих домашнее насилие в 2010—2020 гг.
Массовое	Московский комсомолец	319
	Комсомольская правда	211
	Аргументы и факты	44
Общественно-политическое	Meduza (с 2016 г.) *	330
	Российская газета	208
	Новая газета	128
Деловое	Коммерсант	128
	Ведомости	55
	РБК	32
<i>Итого</i>		1466

\* 23 апреля 2021 г. издание «Meduza» было внесено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Можно также отметить, что все попавшие в нашу выборку издания на октябрь 2021 г. входили в топ самых цитируемых газет и интернет-изданий по данным «Медиаскоп»<sup>12</sup>. Таким образом, наша выборка отражает не только самые активные (в количественном отношении) издания, но и самые авторитетные. Вместе с тем мы не рассматриваем публикации в информационных агентствах (которые нередко пишут о домашнем насилии), а также в региональной прессе<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Итоговый поисковой запрос в базе данных Factiva выглядит следующим образом: ((бил OR избил\* OR бьет OR убил\* OR ударил\* OR угрожал\* OR убийств\* OR угроз\* OR насили\* OR побои OR рукоприкладств\*) near3 (муж OR супруг OR сожитель OR жена OR супруга OR сожительница)) OR (Насили\* near3 (домашн\* OR семейн\* OR бытово\*)).

<sup>12</sup> В рейтинге: Федеральные СМИ — октябрь 2021 // Медиалогия. 2021. 29 ноября. URL: <https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/10345/#gazeti> (дата обращения: 07.03.2022). Из топ-10 самых цитируемых газет в нашей выборке нет только «Известий» и «Парламентской газеты». Издание Meduza.ru\* входит в список самых цитируемых интернет-изданий в социальных медиа.

<sup>13</sup> Наш анализ фокусируется только на дискуссии в федеральных изданиях, производящих свой собственный уникальный контент. Анализ региональной дискуссии находится за рамками настоящей статьи, но представляется интересной задачей для дальнейших исследований, поскольку может раскрыть взаимосвязь между риторикой СМИ и различными культурными и социально-экономическими особенностями регионов России.



Суммарно в рамках настоящего исследования было проанализировано 1466 статей, в которых встречаются указанные ключевые слова. Не во всех случаях домашнее насилие было ключевой и основной темой, иногда данная проблема упоминалась в контексте других общественно значимых вопросов.

На третьем этапе работы с данными мы прочитали и закодировали попавшие в нашу выборку статьи по самым разным параметрам: участники и эксперты, типология аргументов, социальный контекст. В настоящем исследовании мы фокусируемся только на той части анализа, которая касается аргументов об отсутствии проблем, они, в свою очередь, были отнесены к различным стратегиям депроблематизации в классификации П. Ибарры и Дж. Китсьюза.

Прежде чем перейти к описанию выделенных стратегий, важно указать на существенный момент: нас интересовали не позиции издания или автора статьи, но любые аргументы, которые можно найти в медиадискуссии. Издания нередко приводят аргументы как «за», так и «против» той или иной позиции в одной и той же статье, предоставляя возможность высказаться самым разным участникам процесса. По этой причине во всех цитатах, которые мы приводим ниже по тексту, мы уточняем авторство или контекст, в котором озвучивался тот или иной аргумент. Таким образом, наличие в конкретном СМИ аргументов, направленных на депроблематизацию домашнего насилия, совсем не означает, что редакция издания намеренно использует данную стратегию.

## Результаты исследования

В ходе анализа мы выделили семь стратегий депроблематизации. Три стратегии попадают в группу «несочувствующей контрриторики», то есть отвергают проблему, еще три стратегии можно отнести к сочувствующей контрриторике, которая не отрицает проблему, но ставит под сомнение способы ее решения. Наконец, одна стратегия депроблематизации не вписывается ни в один из предложенных стандартной классификацией типов — компенсация за насилие. Ниже опишем и рассмотрим каждую из выделенных стратегий.

### *Стратегия 1. Антитипизация: домашнее насилие как «частный случай»*

Антитипизация — один из видов несочувствующей контрриторики, который предполагает разрушение проблемы через отрицание ее системности или типичности. В случае с проблематикой домашнего насилия это означает, что проблема как таковая не признается, но разбивается на отдельные девиантные случаи. Ключевой нарратив можно сформулировать следующим образом: «да, в отдельных семьях муж бьет жену, это плохо, но не является системной и массовой проблемой».

Данная стратегия может реализовываться через следующие не взаимоисключающие техники. Во-первых, случаи домашнего насилия могут описываться в формате криминальной хроники: А убил(а) В, приехала полиция и задержала А, суд вынес наказание.

*Кристина заявила, что в феврале муж избил ее, нанося удары в том числе и предметом, похожим на пистолет. Побои были зафиксированы, а отношения супругов дали трещину. (Российская газета, 01.09.2010)*

Нередко такая ситуация вообще не называется домашним насилием, а подается в формате семейной разборки:

*Только за последние несколько месяцев нашу страну потрясла целая серия супружеских разборок с летальным исходом. (Московский комсомолец, 23.02.2013)*

Во-вторых, подобного рода описания помогают представить вопрос «домашнего насилия» как часть более общей проблемы, преступности или девиантного поведения в целом. В явной форме это можно увидеть в следующей цитате:

*Кабанов совершил, простите, обычную бытовуху. И это не то социальное явление, которое мы должны внимательно изучить, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. <...> Простите, но я считаю, что во всех наших личных драмах виноваты только мы сами. (Комментарий колумниста, Комсомольская правда, 15.01.2013)*

В-третьих, в рамках данной контрриторической стратегии может подчеркиваться индивидуальный характер проблем, возникающих между конкретными партнерами:

*Но надо понимать, что семейные отношения — дело тонкое и сугубо индивидуальное. То, что в одной семье представляется совершенно недопустимым, в другой является нормой, приемлемой для всех ее членов. (Российская газета, 27.02.2020)*

Подчеркивание индивидуальных особенностей и уникальных характеристик каждой истории подводит читателя к тому, что совершить обобщение (типизацию) этих проблем нельзя. В этом контексте характерна, например, следующая история:

*Причем до суда сегодня доходят даже дела, на которые раньше полиция могла и не отреагировать. Например, недавно в Вологде разбирали дело 96-летнего мужчины, избившего тростью свою 95-летнюю супругу. Пенсионер не мог найти в коробке гвозди, разнервничался, стал обвинять жену, якобы она их украла, несколько раз ударил ее тростью. Женщина вызвала полицию. Пока составлялся протокол по статье КоАП, супруги уже помирились. Она попросила прекратить дело, а он пообещал, что больше бить ее не будет и вообще постарается вести себя хорошо. Суд, изучив все обстоятельства, ограничился устным замечанием пенсионеру. (Российская газета, 15.12.2020)*

Таким образом, первая стратегия может реализовываться в двух направлениях: через декларацию уникальности каждого случая или же, напротив, через помещение всей проблемы домашнего насилия в широкий контекст преступности. Оба варианта приводят к тому, что «домашнее насилие» не обсуждается как системная проблема или как проблема вообще.

**Стратегия 2. Опроверяющие истории:**  
*мужчины тоже жертвы, женщины тоже убивают*

Вторая стратегия из арсенала несочувствующей контрриторики — использование опровергающих историй. Применительно к домашнему насилию это означает

два взаимосвязанных тезиса: мужчины тоже становятся жертвами домашнего насилия, а женщины выступают агрессорами.

Например, такое описание подхода можно увидеть в статье «Московского комсомольца» 2010 г., описывавшее так называемое движение «сюткинистов»<sup>14</sup>:

*Да и вообще, по мнению сюткинистов, мужчины страдают куда больше, чем женщины, а всякое угнетение женского пола и домашнее насилие сильно преувеличено. В доказательство на сайте приводится статистика: «От травм, полученных на производстве, мужчин погибает в десять раз больше, чем женщин, 70 % страдающих наркоманией — мужчины (обычно молодые мужчины), 85 % всех бездомных — мужчины». (Описание корреспондента на основе общения с представителями движения, Московский комсомолец, 02.03.2010)*

В другом примере мужчины также предстают жертвами домашнего насилия:

*Феминистки козыряют жертвами домашнего насилия, раздувая проблему до размеров гендерного геноцида. А не пора ли подсчитать жертв домашнего насилия среди мужчин? Затравленных, забытых, запиленных, оглушенных истериками, замученных на подработках, загнанных под плинтус? (Авторская колонка, Московский комсомолец, 07.03.2013)*

В проанализированной нами выборке статей мы нашли несколько десятков кейсов, в которых мужчины становились жертвам насилия со стороны женщин. Например, в статье «Супруга бизнесмена повторила судьбу леди Макбет Мценского уезда» (27.04.2011, Московский комсомолец) описывается ситуация, в которой жена и ее любовник договорились убить мужа из-за денег и раскрытой измены. Название статьи отсылает к повести Николая Лескова, что как бы дополнительно подчеркивает «типичный» характер подобной истории для России. В другой статье под названием «Уральский ответ сестрам Хачатурян: Жена заказала мужа киллеру, а потом для алиби вызвала „Скорую“ и полицию» (02.10.2018, Комсомольская правда) проводится параллель между известным громким кейсом о самозащите от домашнего насилия и заказным убийством отца, организованным его женой и сыном, которые, по их словами, тоже страдали от домашнего насилия. В данном случае подчеркивается асимметрия между домашним насилием в семье и убийством, ставшим реакцией не него. Другой яркий пример асимметричного ответа демонстрирует следующая история с использованием черной магии:

*После очередного скандала с побоями вместо того, чтобы заявить в полицию, женщина обратилась за помощью к знаменитому протвинскому экстрасенсу Константину Гришину. Первоначальной целью Оксаны было сохранить семью, это подтверждает сам экстрасенс. Но спустя некоторое время Степкина настолько увлеклась колдовством,*

<sup>14</sup> Движение получило свое название из-за интернет-мема с певцом Валерием Сюткиным. Сам певец никакого отношения к движению не имеет и даже судился с сайтом Lukmore из-за этого мема. См. подробнее: «Слово „сюткинизм“ в интернете закрепилось как описание бытового насилия» // Коммерсантъ. 2014. 9 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2629325> (дата обращения: 07.03.2022).

*что решила навести порчу на мужа — с помощью магии вызвать у Сергея болезнь, а потом смерть. Экстрасенс, по словам женщины, помогал ей с организацией «смертельных» обрядов. По совету колдуна Оксана должна была «похоронить» фото и вещи мужа на кладбище, привезти крышку гроба к дверям квартиры, где проживал Сергей и, даже, совершить ритуальное убийство кладбищенского бомжа, дабы свести супруга в могилу. (Описание кейса, 08.06.2013, Московский комсомолец)*

Подобные кейсы создают очень простой нарратив: домашнее насилие — это не только ситуации, в которых женщины выступают жертвами, часто жертвами становятся и мужчины. Отметим, что в исследовании Я. Марковой аналогичный нарратив о жертвах-мужчинах выделяется в официальной риторике оппонентов закона о профилактике семейно-бытового насилия [Маркова, 2020].

### *Стратегия 3. Контрриторика неискренности: проблему намеренно раздувают*

Третьей стратегией, которая ставит под сомнение проблематику домашнего насилия, является тезис об искусственно сконструированной дискуссии, участники которой преследуют свои политические или экономические цели.

Например, сам термин «домашнее насилие» может подаваться как политическая технология, которая намеренно внедряется в России:

*Д. Н. Смирнов [председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства]: «Мы точно знаем, что сам этот термин „домашнее насилие“ и идеи пришли к нам с Запада. И там он послужил делу распада семьи. Есть отработанная технология. И к нам это понятие постоянно внедряется. Под семейным насилием подразумеваются самые обычные вещи — мама запрещает что-то дочке, говорит нельзя — психологическое насилие». (Цитата, Комсомольская правда, 27.11.2019)*

В исследовании М. Муравьевой был обнаружен аналогичный по содержанию дискурсивный кластер при анализе комментариев к закону о профилактике семейно-бытового насилия [Муравьева, 2021]. Указанный закон воспринимался некоторыми комментаторами как вмешательство во внутренние дела России, как попытка навязать ценности, несвойственные нашему традиционному обществу. Аналогичный вывод о вредности понятия «домашнее насилие» можно найти и в официальной публичной риторике оппонентов закона о домашнем насилии [Маркова, 2020].

В качестве дополнительного аргумента о неискренности сторонников закона может использоваться тезис о намеренном раздувании проблемы:

*Е. Б. Мизулина: «Нам искусственно навязывают тему закона о семейно-бытовом насилии, настаивая на ее актуальности и злободневности. <...> Статистика не демонстрирует роста подобных преступлений — они находятся на уровне 0,02% от общего количества правонарушений». (Цитата, Комсомольская правда, 02.03.2016)*

*М. Л. Гальперин: «явление насилия в семье, к сожалению, существует в России, как и в любой другой стране», но утверждалось, что «масштабы проблемы, а также серьез-*

*ность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены». (Цитата, Коммерсант, 24.12.2019)*

#### **Стратегия 4. Натурализация: домашнее насилие как естественная часть культуры**

Несмотря на наличие в СМИ аргументов, отвергающих проблему домашнего насилия, нередко встречаются и аргументы, которые не отрицают наличие насилия в семьях, но нормализуют его. Основной нарратив можно сформулировать следующим образом: если муж бьет жену, то это нормально и естественно, таковы патриархальные традиции нашей страны.

Эту стратегию можно проиллюстрировать, например, следующей цитатой:

*Вышла замуж? Терпи! Страдания, испытания и искушения наши даны нам за наши грехи, и не бежать мы от них должны, а с благодарностью принимать. (Пересказ слов мужа со стороны жертвы домашнего насилия, Московский комсомолец, 27.02.2012)*

Ответственность за домашнее насилие в рамках данной тактики частично или полностью перекладывается на жертву (виктимблейминг). Если вести себя хорошо, то и насилия не будет:

*Я считала, что только плохих женщин бьют, каких-то падших. Хороших бить не будут. (Реплика жертвы домашнего насилия, Ведомости, 06.08.2015)*

Ярким примером такой аргументации является и неосторожное высказывание телеведущей и блогера Регины Тодоренко, за которое ей пришлось неоднократно приносить извинения<sup>15</sup>:

*Р. Тодоренко: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет!“ Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» (Цитата, Комсомольская правда, 27.04.2020)*

#### **Стратегия 5: Контрриторика затрат: независимость семейной жизни как «цена» закона о домашнем насилии**

Контрриторика затрат может быть связана не только с прямыми экономическими издержками от принятия того или иного закона, но и с иными последствиями, которые могут рассматриваться как цена решения. В контексте дискуссии о негативных последствиях закона о домашнем насилии речь, как правило, идет о цене, выраженной во вмешательстве в семейные отношения, рисках для традиционных ценностей. Этот тезис неоднократно озвучивался в том числе представителями власти:

[Сенатор Елена] *«Мизулина утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести „непоправимый вред семейным отношениям“».* (Цитата, РБК, 21.10.2019)

<sup>15</sup> Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии // РБК. 2020. 25 апреля. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea45ce29a79473e1e7a7bdb> (дата обращения: 07.03.2022).

Аналогичным образом высказывались представители церкви:

*Законопроект, говорится в заявлении Патриаршей комиссии, имеет «явную анти-семейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными». Документ, считают в РПЦ, «фактически вводит особое наказание за семейную жизнь». (Цитата, «Медуза», 04.12.2019)<sup>16</sup>*

Весьма ярко данную стратегию депроблематизации иллюстрирует следующий нарратив:

*Бывает, только дома, в кругу своей семьи, иной человек может, так сказать, расслабиться и выплеснуть накопившиеся за день негативные эмоции, отыграться на родных и близких за случившиеся неприятности. Ну, а с экономическим вообще интересно может получиться. Не дал жене денег на сапоги — насилие, истрагались родители до полочки — опять-таки насилие над всеми членами семьи. Если такой закон вступит в силу, то самым простым и надежным способом не попасть под его действие будет просто не вступать в законный брак, — утверждает профессор Соловьев. <...> Сами того не заметите, как станете объектом профилактики какой-нибудь НКО, представители которой залезут не только в семейные отношения, но и в ваш дом, и на работу. (Цитата, Российская газета, 01.12.2015)*

В рамках данной стратегии закон о профилактике семейно-бытового насилия и независимость, свобода семейной жизни ставятся на разные чаши весов. Принятие первого автоматически влечет затраты в виде потери второго. Согласно результатам исследования М. Муравьевой, сходные аргументы неоднократно высказывали и комментаторы законопроекта о домашнем насилии [Муравьева, 2021]. В работе Я. Марковой также подчеркивается роль данного аргумента и в риторике противников закона о домашнем насилии [Маркова, 2020].

*Стратегия 6. Критика тактики: нужно давать второй шанс*

Следующей стратегией депроблематизации домашнего насилия, которая от-лично стыкуется с предыдущей стратегией, является тезис о том, что проблема, конечно, существует, но решать ее нужно иначе, не через закон о домашнем насилии, а например, индивидуально, внутри каждой семьи.

Критика законодательного вмешательства обосновывается его чрезмерной жестокостью за случайные проступки:

*[Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД]: «Но абсурдно, когда человека могут посадить в тюрьму на 2 года за синяки и царапины, нанесенные в случайно вспыхнувшей ссоре между близкими». (Российская газета, 01.02.2017)*

<sup>16</sup> данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранный агента».

[Адвокат, выступающий за декриминализацию побоев]: «Безусловно, семейные побои — недопустимое деяние, но если люди находятся в семейных связях, то их отношения даже в случае острого конфликта не так общественно опасны, чтобы попадать под уголовное наказание». (Ведомости, 28.07.2018)

В рамках данной стратегии нередко используется тезис о необходимости «дать второй шанс». Этот тезис в том числе озвучивал президент России В. В. Путин в контексте принятия закона о декриминализации побоев:

В. В. Путин: «Нужно людям, которые оступились, дать шанс остаться здоровой частью общества — все вы знаете, как тяжело судимость отражается на судьбах, даже если наказание не связано с лишением свободы». (Цитата, «Московский комсомолец» 17.06.2016)

Проблема домашнего насилия в рамках данной стратегии не отрицается, но ставятся под сомнения способы ее решения.

### Стратегия 7. Контрриторика компенсации за насилие

По результатам анализа мы также выделяем седьмую стратегию, которая не относится напрямую ни к одной из типичных стратегий, выделяемых в классификации П. Ибарры и Дж. Китсьюза. Основной нарратив состоит в том, что домашнее насилие существует, но оно сглаживается тем обстоятельством, что агрессор должен компенсировать жертве или ее семье возникшую вспышку насилия:

Когда Байсаров избил мою дочь до полусмерти, спустя время он приехал ко мне и начал извиняться. И сказал, что по его обычаям он должен заплатить штраф. Мол, должен купить мне как матери квартиру или машину. Ну и купил. Знаете, с паршивой овцы хоть клочок шерсти. (Цитата жертвы домашнего насилия, Московский комсомолец, 03.09.2011)

Случаи, когда виноватый муж откупается шубой, вполне имеют право на жизнь. Если для супруги боль от того, что он сделал, равноценна шубе. (Комментарий колумнистки, 24.09.2011, Комсомольская правда)

По словам адвоката, жена очень несправедливо с ним поступает. Ведь он ей ни в чем никогда не отказывал. На день рождения в сентябре даже подарил автомобиль «БМВ». (Описание колумнистом случая домашнего насилия, Московский комсомолец, 25.02.2012)

Контрриторика компенсации также предполагает указание на то, что ситуация домашнего насилия оказывается в какой-то мере выгодна самим жертвам, которые умело пользуются ситуацией, «шантажируя» агрессора для получения материальной выгоды:

Русские мужчины, безусловно, в таких ситуациях чувствуют себя виноватыми, корят себя и вполне искренне обещают и себе, и жене, что это не повторится. Потому что,

*как бы ни ссылались они на «Домострой», в нашем обществе это не принято, и распускающие руки мужа прекрасно понимают, что, если жена предаст огласке их поведение, их осудит не только суд, но даже собственные приятели и род. Вот почему мужчины готовы всячески искупать свою вину, лишь бы благоверная не вынесла «сор из избы». А женщины этим манипулируют — порождая бесконечные повторы «буйных припадков».* (Московский комсомолец, 06.09.2014)

Потенциально данную риторику можно отнести и к натурализации, и к критике тактики (нужно давать второй шанс), но в целом, на наш взгляд, она достаточно самостоятельна и необычна. По своей логике данная контрриторическая стратегия может быть названа не просто консервативной, а архаичной. Например, в Церковном уставе Князя Ярослава предусматривается денежная компенсация за насилие над женщиной, которая выплачивается как семье пострадавшей, так и церкви. Аналогичная логика материальной компенсации за насилие присутствовала во многих других юридических документах древнего мира, хотя семейное насилие в то время скорее не входило в перечень проступков, требовавших компенсации.

Один из выводов данной стратегии депроблематизации — терпение вознаграждается. Если не «выносить сор из избы», то все страдания будут компенсированы. Впрочем, можно отметить, что примеры данной стратегии были найдены нами только в начале анализируемого периода, после чего они не встречались.

## **Обсуждение результатов**

Мы постарались систематизировать аргументы противников закона о домашнем насилии и сторонников идеи, что семейно-бытовое насилие в России не составляет серьезную проблему. Мы обнаружили шесть стратегий, которые вписываются в классификацию П. Ибарры и Дж. Китсьюза, а также одну дополнительную форму депроблематизации. Мы не обнаружили систематических аргументов в русле контрриторики истерии, перспективизации, а также декларации бессилия. Если говорить о последней, то она, как и указывалось ранее [Ясавеев, 2006], в целом наименее выгодна — в контексте проблемы домашнего насилия и предложений о принятии закона о профилактике семейно-бытового насилия странно было бы говорить о том, что проблема не имеет никакого решения. Контрриторика истерии и перспективизация — это стратегии, связанные с личностью оппонента, поэтому, вероятно, их место не в публикациях в СМИ, а в персонализированных дискуссиях, которые могут происходить в ток-шоу или разворачиваться на страницах социальных сетей, — возможно, поэтому в прессе они оказались менее широко представлены.

Анализ медиадискуссии за последние десять лет позволяет выделить аргументы, в целом аналогичные тем, что активно использовались противниками законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия 2019 г. [Маркова, 2020; Муравьева, 2021]. Этот вывод в очередной раз доказывает наличие взаимосвязи между дискуссией в СМИ о домашнем насилии в целом и контрриторическими стратегиями, которые используются в дискуссиях о конкретных законопроектах. Это позволяет также отметить, что многие из стратегий депроблематизации, при-



существовавшие в дискуссии о законе 2019 г., сформировались в медиаповестке задолго до ее возникновения.

Ключевой вопрос состоит в том, насколько данные контрриторические стратегии находят поддержку со стороны населения. В 2019 г. ВЦИОМ провел опрос населения по данному вопросу<sup>17</sup>, результаты которого показали, что большинство россиян (78 %) считают данную проблему важной для страны (среди женщин 87 %), 40 % указали на то, что знают о случаях домашнего насилия в семьях своих знакомых. С необходимостью принять закон о профилактике семейно-бытового насилия также согласилось большинство (70 %). Аналогичные результаты показал опрос «Левада-Центра» в 2020 г.<sup>18</sup>: 79 % россиян поддержали бы закон, гарантирующий женщине защиту от насилия со стороны партнера.

Примечательно, что опрос «Левада-Центра»<sup>19</sup> также проанализировал аргументы противников закона (16 % опрошенных). Их аргументы хорошо соотносятся со стратегиями депроблематизации, обнаруженными в ходе нашего исследования. Самый популярный аргумент (18 % из числа противников) указывает на то, что такой проблемы нет (соотносится со стратегией антитипизации); 14 % считают, что «не нужно лезть в семью» (критика тактики и контрриторика затрат); 11 % — что женщины сами виноваты (стратегия натурализации). Однако в целом оказывается, что против закона о домашнем насилии выступает меньшинство граждан.

Дополнительным измерением, которое следует принять во внимание при анализе дискуссии о домашнем насилии, являются ценности. Из проведенного анализа хорошо видно, что некоторые стратегии прямо опираются на консервативные патриархальные или даже архаичные ценности, в то время как в других данные аргументы практически не используются. С помощью визуального картографического метода ситуационного анализа А. Кларк [Clarke, 2003] на рисунке 1 мы расположили данные стратегии в двух измерениях «карты позиций»: от отрицания проблемы к критике решения (горизонтальная ось), акцент на консервативных/патриархальных ценностях (вертикальная ось).

С учетом результатов опросов общественного мнения можно выдвинуть предположение, что наиболее «эффективными» стратегиями депроблематизации могут быть «критика тактики» и «контрриторика затрат». Поскольку большинство жителей России убеждены в важности решения проблемы домашнего насилия, маловероятно, что стратегии, отрицающие данную проблему, останутся эффективными. Стратегии, которые основываются на консервативных ценностях (критика неискренности, натурализация, компенсация), также склонны отрицать или занижать значимость проблемы. Однако «контрриторика затрат» в целом может отражать позицию консервативной части населения, и она одновременно хорошо стыкуется с критикой тактики. Возможно, по этой причине одним из ключевых нарративов противников закона о домашнем насилии [Муравьева, 2021] стал именно тезис

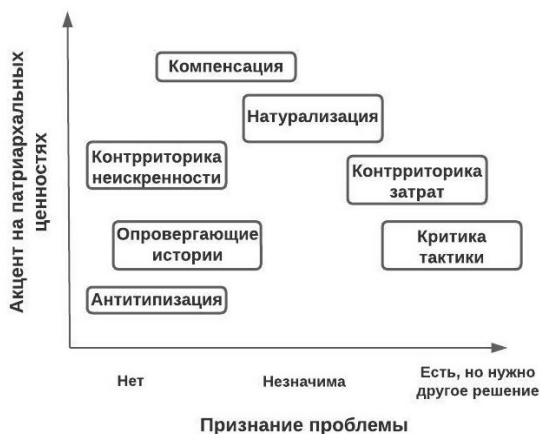
<sup>17</sup> Худой мир — или добрая ссора? // ВЦИОМ. Новости. 2019. 16 декабря. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiy-obzor/khudoj-mir-ili-dobraya-ssora> (дата обращения: 07.03.2022).

<sup>18</sup> Россияне готовы поднять руку на домашнее насилие // Левада-Центр. 2020. 7 апреля. URL: <https://www.levada.ru/2020/04/07/rossiyane-gotovy-podnyat-ruku-na-domashnee-nasilie> (дата обращения: 07.03.2022). Данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента».

<sup>19</sup> Российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции «иностранного агента».

о недопустимости вмешательства в семейную жизнь. Он одновременно не отрицает полностью проблему как таковую, но критикует ее возможное решение через связь с традиционными ценностями.

Рис. 1. Стратегии депроблематизации домашнего насилия в зависимости от степени признания проблемы и акцента на патриархальных ценностях



Важно отметить, что проведенный анализ позволяет сделать лишь первый шаг к пониманию факторов, направляющих общественную дискуссию о проблеме домашнего насилия в России. Наше исследование ограничивается анализом публикаций в ведущих печатных изданиях, но не рассматривает дискуссию в социальных сетях, а также телевизионную повестку дня. Впрочем, мы полагаем, что данный источник информации позволил выделить ключевые аргументы. Кроме того, мы фокусируемся только на аргументах противников, оставляя без внимания стратегии конструирования «домашнего насилия» как проблемы. Также в данной работе мы не проводим количественный анализ, ставя перед собой лишь задачу классифицировать контрриторические стратегии. Все вышеперечисленное является важной повесткой для дальнейших исследований.

### Список литературы (References)

Бадонов А. М. Домашнее насилие как инструмент власти в семье // *Власть*. 2017. Т. 25. № 2. С. 108—112.

Badonov A. M. (2017) Domestic Violence as an Instrument of Power in the Family. *Vlast*. Vol. 25. No. 2. P. 108—112. (In Russ.)

Казун А. Д. Конструирование публичной дискуссии и стратегии депроблематизации вступления России в ВТО // *Журнал институциональных исследований*. 2015. Т. 7. № 1. С. 95—111. <http://dx.doi.org/10.17835/2076-6297.2015.7.1.095-111>.

Kazun A. D. (2015) Construction of Public Discussions and the Strategies of Deproblematization in the Debate on Russia's Accession to the WTO. *Journal of Institutional Studies*. Vol. 7. No. 1. P. 95—111. <http://dx.doi.org/10.17835/2076-6297.2015.7.1.095-111>. (In Russ.)

Казун А. Д., Дорофеева О. Е. Патриотизм, лоббизм, демонстративность. . . фреймирование импортозамещения в российских печатных СМИ // Мир России. Социология. Этнология. 2019. Т. 28. № 3. С. 132—154. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-3-132-154>.

Kazun A. D., Dorofeeva O. E. (2019) Patriotism, Lobbyism and Demonstration: The Framing of Import Substitution in Russian Print Media. *Mir Rossii*. Vol. 28. No. 3. P. 132—154. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-3-132-154>. (In Russ.)

Казун А. Д., Казун А. П. Когда беда приходит не одна: освещение трех трагедий в российских СМИ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 3. С. 128—146. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.3.09>.

Kazun A. D., Kazun A. P. (2017) When Troubles Never Come Singly: Coverage of Three Tragedies in the Russian Media. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 128—146. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.3.09>. (In Russ.)

Казун А. Д., Казун А. П. Волновая (де)проблематизация: освещение пандемии коронавируса в России на федеральном телеканале // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 284—306. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1754>.

Kazun A. D., Kazun A. P. (2020) Cyclic (De)Problematization: Coverage of the Coronavirus Pandemic in Russia on a Federal TV Channel. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 284—306. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1754>. (In Russ.)

Кольцова О. Ю., Ясавеев И. Г. Конструирование проблемы полицейского насилия в российской блогосфере: риторика, лейтмотивы и стили // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. 16. № 3. С. 81—100.

Koltsova O., Yasaveyev I. G. (2013) Constructing the Police Violence Problem in the Russian Blogosphere: Rhetoric, Motifs and Claims-Making Styles. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 16. No. 3. P. 81—100. (In Russ.)

Маркова Я. М. Анализ официальной риторики противников принятия законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» // Логико-философские штудии. 2020. Т. 17. № 3. С. 240—256. <https://doi.org/10.52119/LPHS.2019.13.19.004>.

Markova Ia. M. (2020) An Analysis of the Official Rhetoric against the Enactment of the Draft Bill “On Domestic Violence Prevention in the Russian Federation”. *Logiko-Filosofskie Studii*. Vol. 16. No. 3. P. 240—256. <https://doi.org/10.52119/LPHS.2019.13.19.004>. (In Russ.)

Муравьева М. Г. «Я и моя семья категорически против этого закона»: гендерное гражданство и домашнее насилие в современной России // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 3. С. 44—64. <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.3.2>.

Muravyeva M. G. (2021) ‘My Family and I Are Absolutely against This Law’: Gender Citizenship and Domestic Violence in Contemporary Russia. *Interaction. Interview*.

*Interpretation*. Vol. 13. No. 3. P. 44—64. <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.3.2>. (In Russ.)

Хилажева Г. Ф. Насилие в семье как социальная проблема современного общества // Социологические исследования. 2015. № 8. С. 61—65.

Khilazheva G. F. (2015) Domestic Violence as a Social Problem of Contemporary Society. *Sociological Studies*. No. 3. P. 61—65. (In Russ.)

Ясавеев И. Г. Конструирование «не-проблем»: стратегии депроблематизации ситуаций // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Т. 9. № 1. С. 91—102.

Yasaveyev I. G. (2006) Constructing “Non-problems”: Counterrhetorical Strategies. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 9. No. 1. P. 91—102. (In Russ.)

Abraham M., Tastsoglou E. (2016) Addressing Domestic Violence in Canada and the United States: The Uneasy Co-habitation of Women and the State. *Current Sociology*. Vol. 64. No. 4. P. 568—585. <https://doi.org/10.1177/0011392116639221>.

Ali, P., Rogers, M., Heward-Belle, S. (2021) COVID-19 and Domestic Violence: Impact on Mental Health. *Journal of Criminal Psychology*. Vol. 11. No. 3, P. 188—202. <https://doi.org/10.1108/JCP-12-2020-0050>.

Barak G. (1998) Newsmaking Criminology: Reflections of the Media, Intellectuals, and Crime. *Justice Quarterly*. Vol. 5. No. 4. P. 565—587. <https://doi.org/10.1080/07418828800089891>.

Bullock C. F. (2007) Framing Domestic Violence Fatalities: Coverage by Utah Newspapers. *Women’s Studies in Communication*. Vol. 30. No. 1. P. 34—63. <https://doi.org/10.1080/07491409.2007.10162504>.

Carlyle K. E., Scarduzio J. A., Slater M. D. (2014) Media Portrayals of Female Perpetrators of Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*. Vol. 29. No. 13. P. 2394—2417. <https://doi.org/10.1177/0886260513520231>.

Clarke A. E. (2003) Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. *Symbolic Interaction*. Vol. 26. No. 4. P. 553—576. <https://doi.org/10.1525/si.2003.26.4.553>.

Gillespie L. K., Richards, T.N., Givens, E.M., Smith, M.D. (2013) Framing Deadly Domestic Violence: Why the Media’s Spin Matters in Newspaper Coverage of Femicide. *Violence Against Women*. Vol. 19. No. 2. P. 222—245. <https://doi.org/10.1177/1077801213476457>.

Holt S., Buckley H., Whelan S. (2008) The Impact of Exposure to Domestic Violence on Children and Young People: A Review of the Literature. *Child Abuse & Neglect*. Vol. 32. No. 8. P. 797—810. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.02.004>.

Ibarra P. R., Kitsuse J. I. (2003) Claims-Making Discourse and Vernacular Resources. In: Holstein J. A., Miller G. (ed.) *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter. P. 17—50.

- Johnson M. P. (2010) A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Lebanon, NH: Upne.
- Kazun A. (2016) Framing Sanctions in the Russian Media: The Rally Effect and Putin's Enduring Popularity. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 24. No. 3. P. 327—350.
- Kazun A. (2020) Agenda-Setting in Russian Media. *International Journal of Communication*. Vol. 14. P. 4739—4759.
- Kourti A., Stavridou A., Panagouli E., Psaltopoulou T., Spiliopoulou C., Tsofia M., Sergentanis T. N., Tsitsika A., 2021. Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*. <https://doi.org/10.1177/152483802111038690>.
- Maxwell K. A., Huxford J., Borum C., Hornik R. (2000) Covering Domestic Violence: How the Oj Simpson Case Shaped Reporting of Domestic Violence in the News Media. *Journalism & Mass Communication Quarterly*. Vol. 77. No. 2. P. 258—272. <https://doi.org/10.1177/107769900007700203>.
- McIntyre D. (1984) Domestic Violence: A Case of the Disappearing Victim? *Australian Journal of Family Therapy*. Vol. 5. No. 4. P. 249—258. <https://doi.org/10.1002/j.1467-8438.1884.tb00100.x>.
- Seely N., Riffe D. (2021) Domestic Violence in Appalachian Newspaper Coverage: Minimizing a Problem or Mobilizing for a Solution? *Feminist Media Studies*. Vol. 21. No. 1. P. 66—81. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1724174>.
- Spector M., Kitsuse J. I. (1977) Constructing Social Problems. Menlo Park, California, CA: Cummings Pub. Co.
- Taylor R. (2009) Slain and Slandered: A Content Analysis of the Portrayal of Femicide in Crime News. *Homicide Studies*. Vol. 13. No. 1. P. 21—49. <https://doi.org/10.1177/1088767908326679>
- Van Gorp B., Vyncke B. (2021) Deproblematization as an Enrichment of Framing Theory: Enhancing the Effectiveness of an Awareness-Raising Campaign on Child Poverty. *International Journal of Strategic Communication*. Vol. 15. No. 5. P. 425—439. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2021.1988615>
- Wanta W., Golan G., Lee C. (2004) Agenda Setting and International News: Media Influence on Public Perceptions of Foreign Nations. *Journalism & Mass Communication Quarterly*. Vol. 81. No. 2. P. 364—377. <https://doi.org/10.1177/107769900408100209>.
- Xue J., Chen J., Chen C., Hu R., Zhu T. (2020) The Hidden Pandemic of Family Violence during COVID-19: Unsupervised Learning of Tweets. *Journal of Medical Internet Research*. Vol. 22. 11. e24361. <https://doi.org/10.2196/24361>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2098](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2098)



**Н. К. Радина, Д. А. Крупная**

## **РЕАЛИЗУЯ ПРАВО НА ГОРОД: ИНТЕРПРЕТАЦИИ И НОМИНАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ ГОРОЖАНАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭРГОУРБАНОНИМОВ НЕСТОЛИЧНЫХ МЕГАПОЛИСОВ)**

### **Правильная ссылка на статью:**

Радина Н. К., Крупная Д. А. Реализуя право на город: интерпретации и номинация городских объектов горожанами (на материале эргоурбанонимов нестоличных мегаполисов) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 172—195. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2098>.

### **For citation:**

Radina N. K., Krupnaya D. A. (2022) Realizing the Right to the City: Interpretations and Nomination of Urban Objects by Citizens (Based on Ergourbanonyms of Non-Metropolitan Cities). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 172–195. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2098>. (In Russ.)

Получено: 26.10.2021. Принято к публикации: 09.09.2022.

## РЕАЛИЗУЯ ПРАВО НА ГОРОД: ИНТЕРПРЕТАЦИИ И НОМИНАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ ГОРОЖАНАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭРГОУРБАНОНИМОВ НЕСТОЛИЧНЫХ МЕГАПОЛИСОВ)

*РАДИНА Надежда Константиновна — доктор политических наук, кандидат психологических наук, профессор кафедры общей и социальной психологии факультета социальных наук, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия*  
E-MAIL: [rasv@yandex.ru](mailto:rasv@yandex.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-8336-1044>

*КРУПНАЯ Дарья Анатольевна — аспирантка кафедры государственной политики и государственного управления факультета управления и психологии, Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия*  
E-MAIL: [darinakrup@yandex.ru](mailto:darinakrup@yandex.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-8795-0038>

**Аннотация.** В статье анализируются результаты номинативной деятельности горожан в означивании городских коммерческих объектов — предприятий общественного питания. Методологически и теоретически исследование опирается на социально-антропологические концепции о «третьем месте» и «не-месте» в современном городе, а также использует концепцию Анри Лефевра о «праве на город» и ряд идей из теоретического поля ономастики.

В качестве ключевого термина применяется «эргоурбаноним», то есть эргоним в значении топографического объекта города. Создается классификация

## REALIZING THE RIGHT TO THE CITY: INTERPRETATIONS AND NOMINATION OF URBAN OBJECTS BY CITIZENS (BASED ON ERGOURBANONYMS OF NON-METROPOLITAN CITIES)

*Nadezhda K. RADINA<sup>1</sup> — Dr. Sci. (Polit.), Cand. Sci. (Psych.), Professor at the Department for General and Social Psychology, Faculty of Social Sciences*  
E-MAIL: [rasv@yandex.ru](mailto:rasv@yandex.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-8336-1044>

*Daria A. KRUPNAYA<sup>2</sup> — Postgraduate Student at the Department of State Policy and Public Administration, Faculty of Management and Psychology*  
E-MAIL: [darinakrup@yandex.ru](mailto:darinakrup@yandex.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-8795-0038>

<sup>1</sup> Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod — National Research University, Nizhni Novgorod, Russia

<sup>2</sup> Kuban State University, Krasnodar, Russia

**Abstract.** The article analyzes the results of the nominative activity of citizens in the designation of urban commercial objects — public catering enterprises. The study is based on socio-anthropological concepts of the great good place and non-place in a modern city, Henri Lefebvre's concept of the right to the city, and ideas from the theoretical field of onomastics.

The key term of the research is ergourbanonym, i.e., ergonym in the meaning of the topographic object of the city. A classification of ergourbanonyms is created to identify strategies for nominative activity when constructing great good places in the city (personification of space, focus

эргоурбанонимов для идентификации стратегий номинативной деятельности при конструировании в городе «третьих мест» (персонификация пространства, ориентация на локальные краеведческие или культурно-исторические образы) и «не-мест» (использование заимствований, латиницы, лингвистических игр, обращение к далеким или «чужим» географическим образам). На материале эргоурбанонимов Нижнего Новгорода ( $N = 300$ ; онлайн-ресурс Zoon.ru) и Краснодара ( $N = 253$ ; онлайн-ресурс Zoon.ru) доказывается, что горожане — субъекты номинативной деятельности — используют две основные стратегии при означивании негосударственных коммерческих объектов, ориентированных на торговлю и общественное питание.

Первая стратегия характерна для районов, претендующих на репрезентативные функции города, и ориентирована на мобильных горожан и туристов: здесь доминируют эргоурбанонимы для конструирования «не-мест». Вторая стратегия свойственна районам, не обладающим репрезентативными функциями (ориентирована на жителей района), и равновесно сочетает эргоурбанонимы, при помощи которых воссоздаются «третьи места» и «не-места». Подчеркивается, что исследователи, как правило, позитивно описывают исключительно «третьи места», а потенциал «не-мест» в исследованиях недооценивается. Что же касается практик номинативной деятельности в городе, горожане, выбирая названия для означивания городских объектов общественного питания (кафе, ресторанов, баров и т. п.), напротив, демонстрируют заинтересованность в конструировании «не-мест» в городском пространстве.

on local lore or cultural-historical images) and non-places (use of borrowings, Latin letters, addressing distant or 'alien' geographic images, the use of linguistic games). Ergourbanonyms of Nizhny Novgorod ( $N = 300$ ; Zoon.ru) and Krasnodar ( $N = 253$ ; Zoon.ru) are used as empirical material. The authors of the study prove that citizens, who are the subjects of nominative activity, form two main strategies in the designation of non-state commercial city objects focused on trade and public catering.

The first strategy is typical of districts claiming to represent the city functions for mobile citizens and tourists. It is dominated by ergourbanonyms for the construction of non-places. The second strategy is typical of areas that do not have representative functions (targeted at local residents): ergourbanonyms coexist in it in equilibrium helping to recreate great good places and non-places. The study emphasizes that most researchers describe positively only great good places, while the potential of non-places is usually underestimated. On the contrary, while choosing names for the designation of urban catering facilities (cafes, restaurants, bars, etc.), the citizens demonstrate interest in constructing non-places in the urban space.

The authors conclude that in the nominative activity, some citizens realize their right to the city, participating in the creation of the city toponymicon. However, this nominative activity does not fit into the usual framework of the socio-cultural determination of nominations: the citizens name commercial objects using not only local history information but also broadcasting subjective interpretations in the names. For example, by names they try to



Заключается, что в номинативной деятельности часть горожан реализует «право на город», участвуя в создании городского топонимикона. Однако номинативная деятельность горожан не укладывается в привычные рамки социокультурной детерминации названий: горожане называют коммерческие объекты, используя не только краеведческую информацию, но и транслируя в названиях субъективные интерпретации. Например, наименованиями пытаются компенсировать недостаточную урбанизированность и нестоличность провинциальных городов.

compensate for the lack of urbanization and non-capital image of provincial cities.

**Ключевые слова:** номинативная деятельность, право на город, третье место, не-место, эргоурбаноним

**Keywords:** nominative activity, the right to the city, the great good place, non-place, ergourbanonym

## Введение

Современный «цифровой город», создающий параллельную цифровую реальность из карт, названий, различных показателей активности горожан в интернете, обладает особым потенциалом для социальных исследований, поскольку цифровые данные с открытым доступом позволяют изучать социальные феномены, не прибегая к контактному способу сбора информации. «Цифровой город» раскрывает следы активности горожан, показывает, как они действуют, что выбирают, как организуют свое городское пространство.

В фокусе данного исследования — результаты номинативной деятельности горожан, взятые с цифровых ресурсов, представляющих коммерческие объекты города (Zoon.ru). Номинация коммерческих объектов в городе — уникальная возможность для горожан (собственников данных объектов) соучастия в создании городского топонимикона<sup>1</sup>, поскольку номинативные практики в городе регламентированы и обусловлены социальным смыслом городского пространства. Значительная часть городского пространства размечена названиями, рожденными исторически в коллективных практиках [Thériault, 2012], однако часть названий городских объектов создается отдельными горожанами или небольшими группами согласно их интерпретациям городского пространства. Именно так рождаются эргоурбанонимы — названия городских кафе, ресторанов, баров, магазинов и т. п., раскрывающие их предназначение.

<sup>1</sup> Городской топонимикон — совокупность топонимов городского пространства (городской карты) и «знаков городской лингвокультуры» — эргоурбанонимов (наименований деловых объединений людей и в то же время городских объектов, где располагаются эти объединения) [Никитина, 2017].

Материалами предлагаемого исследования стали электронные базы эргоурбанонимов двух нестоличных мегаполисов. Анализ специфики эргоурбанонимов различных районов в изучаемых городах позволил ответить на вопросы о способах интерпретации жителями городского пространства (в контексте коммерческого использования, но не ограничиваясь этим). Цель статьи — реконструкция на материале эргоурбанонимов (а именно — названий городских кафе, ресторанов, баров, магазинов и т. п., собранных в открытых электронных базах) концепции понимания «коммерческих пространств» жителями больших нестоличных российских городов, то есть латентной, стихийной и интуитивной концепции понимания социального пространства города, отраженной в номинативной деятельности горожан.

### **Номинативная деятельность в контексте понимаемого, воспринимаемого и обживаемого пространства города**

Номинативные практики в городском пространстве наиболее очевидно вписываются в концепцию «права на город», предложенную Анри Лефевром и продолженную Дэвидом Харви, Доном Митчел и др. [Harvey, 2006; Терентьев, 2015].

Три уровня социального пространства города — *понимаемое* (*conceived*), *воспринимаемое* (*perceived*) и *обживаемое* (*lived*) — опираются на разные социальные практики [Лефевр, 2015; Lefebvre, 1991]. Понимаемое связывается с деятельностью акторов, которые «планируют» и организуют город, а воспринимаемое и обживаемое — с использующими городское пространство для жизни. С точки зрения номинативной деятельности в городе уровень понимаемого раскрывает смысл означивания городских объектов, формирование официального городского топонимикона<sup>2</sup>; уровень воспринимаемого характеризует принятие городского топонимикона непосредственно горожанами; а обживаемое — разнообразные изменения официального топонимикона, подстраивание «городских имен» под себя, трансформации, рождение форм, параллельных официальным урбанонимам.

Понимание городского пространства в контексте номинативной деятельности (означивание городских объектов), как правило, встроено в географическую или историческую логику и в ряде случаев регулируется законодательно [Голомидова, 2018; Тихоненко, 2014]. Однако, когда называются городские объекты коммерческой ориентации (магазины, учреждения по бытовому обслуживанию, точки общепита и т. д.), акторы номинативной деятельности исходят из личных интерпретаций городского пространства, обусловленных как маркетинговыми задачами [Новожилова, 2005], так и неосознанными, дорефлексивными причинами. Таким образом, номинативная деятельность собственников городских коммерческих объектов как форма интерпретации городского пространства опирается на стихийные и интуитивные концепции города, на непосредственное «чувство города» у субъектов означивания.

«Низовые» и дорефлексивные концепции городского пространства наиболее изучены в формате «ментальных карт» («воспринимаемый уровень») [Митин, 2017]. Уровень понимания пространства города в контексте номинативной деятельности чаще исследуется как функция «легитимного наименования» со стороны государ-

<sup>2</sup> Топонимикон города объединяет собственно топонимы и знаки городской лингвокультуры, включая эргоурбанонимы [Вайрах, 2010].

ства (в русле осуществляемого государством символического насилия, по Пьеру Бурдьё) [Кудрявцева, Гоманюк, 2020], а также как уникальная и бессистемная — то есть без каких-либо закономерностей, — активность означающих городские объекты [Козлов, 2001].

Возможно, однако, что «бессистемная» номинативная активность горожан все-таки имеет систему и неким образом концептуализирована, а задача исследователей — идентифицировать дорефлексивные концепции городского пространства, управляющие номинативной практикой тех, кто создает городской топонимикон.

### **Интерпретации городского пространства: быть местом идентичности или потока?**

Интуитивные интерпретации (понимание города по Лефевру) городского пространства горожанами можно проанализировать и классифицировать с опорой на различные концепции, предложенные социальными исследователями города. Так, научный дискурс в качестве популярных интерпретативных матриц осмысления и различения городских пространств предлагает концепцию «третьих мест» Рэя Ольденбурга [Ольденбург, 2014], а также городских «не-мест» Марка Оже [Оже, 2017].

Р. Ольденбург определяет «третьи места» как публичные городские пространства между домом и работой, поэтому именно «публичность» становится ключевым понятием в этой теоретической рамке. Анализируя «третьи места» в советских [Раскатова, Романова, 2016] и постсоветских городах [Лебедева, 2016; Gorokhovskaya, Antonova, 2015], исследователи используют понимание публичного пространства города как сцены (места, где протекает публичная жизнь, осуществляется социальное взаимодействие), а нестабильность и возможные изменения «третьих мест» связывают с кризисом публичности под воздействием общественного консюмеризма и коммодификации городских территорий.

«Третьи места» функциональны, их создают сообщества (отношения, связи), а не «стены»: важнее, кто и зачем собирается, а не собственно место сбора. Р. Ольденбург считал, что перечень «третьих мест» с течением времени изменится, и выделял среди наиболее актуальных вариантов кофейни и бары. В современных исследованиях в качестве «третьих мест» особой популярностью пользуются также библиотеки [Кряжева, Шакирова, 2019; Lawson, 2004].

Цифровой XXI век дополнил городские «третьи места» виртуальными полями [Ducheneaut, Moore, Nickell, 2007; McArthur, White, 2016], а также произвел антикафе и коворкинги [Банников, 2016; Пестова, 2017], что не изменило сути «третьих мест» — быть фоном для действий и отношений горожан. Так, искать «городские места» следует, опираясь на публичные практики: «люди стремятся сделать их местами идентичности, отношений и истории» [Оже, 2017: 26].

В (пост)постмодернистских городах («городах гипермодерна») также создаются и «не-места» — пространства потока, которые размывают идентичности индивидов и групп. По М. Оже, «не-места» — это пространства, созданные в соответствии с определенными целями (транспорт, транзит, торговля, развлечения), и «отношения, выстраиваемые индивидами с этими пространствами» [там же: 42]. При этом строгой границы между «местами» и «не-местами» не существует, а различие затрагивает противопоставление «места» и пространства. М. Оже предлагает рассма-

тривать пространство как практику использования (множества) мест (не одного места), в контексте «двойного движения» (движение путешественника дополняется движением ландшафтов) [там же: 39], в результате чего «не-места» создают не общности, а уединение [там же: 42].

Связи в «не-местах» складываются благодаря словам или текстам, формирующим образы. М. Оже приводит примеры работы фантазии, которая активно используется в реконструкции «не-мест», и описывает розыгрыши призов в виде путешествий и курортного отдыха на телевизионных шоу [там же: 43]. Гипермодерн, по М. Оже, проявляющий себя одновременно в трех аспектах избытка — избыток событий, избыток пространства и индивидуализация референций, — находит свое завершённое воплощение в «не-местах». Их примечательной особенностью становится “basic English”, свидетельствующий «о вторжении во все языки определенного универсального словаря» [там же: 48].

Таким образом, обе интерпретативные схемы («третьих мест» и «не-мест») могут служить основанием для различий в понимании и конструировании топонимикона городского пространства. При создании «места» (в планировании, строительстве, назывании) проблематизируется идентичность (места и горожанина), а при создании «не-мест» акцентируется движение, безграничность, идентичность размывается, создается уединение на виду.

Город репрезентируют обе стратегии (как создающей, так и размывающей идентичности), при этом для понимания города (конкретного места, городской площадки) имеет значение, какая стратегия доминирует, определяет интерпретации городского пространства. Особенно ярко, на наш взгляд, концепции понимания городского пространства раскрываются в номинативной деятельности горожан, означающих коммерческие объекты.

### **Эргоурбанонимы и практики номинации: методы и материалы исследования**

Развитие теории урбанонимии в России связывают с изданием первого словаря русской ономастической терминологии Натальи Подольской [Подольская, 1988], где комплекс собственных имен, номинирующих внутригородские объекты, составил урбанонимное пространство города. Особое положение среди урбанонимов занимают эргонимы, поскольку денотатом для эргонима может выступать как топографический объект города (кафе, кинотеатр, аптека, мастерская и т. п.), так и юридическое лицо (общество, союз, кооператив, фонд и др.) [Тихоненко, 2014]. В тех случаях, когда исследователи используют эргонимы в значении топографического объекта города, применяется термин «эргоурбаноним» [Козлов, 2001; Клименко, Рут, 2018; Никитина, 2018; Balode, 2016]. Эргоурбанонимы (наряду с собственно топонимами) признаются важной частью городского топонимикона [Никитина, 2018], но в междисциплинарном (не только в лингвистическом) контексте исследуются значительно реже.

Представляя номинативную специфику городских территорий как социальную проблему, включая законодательно сформулированные требования к наименованиям, следует отметить относительно свободный характер порождения (создания, придумывания) эргоурбанонимов. Называя коммерческие предприятия в городе

и тем самым создавая городской топонимикон, субъекты номинативной деятельности (предприниматели) опираются на собственное понимание роли тех объектов, которые предстоит означивать, и социокультурные функции этих объектов в городе, а именно:

— ориентируются на коммерческий успех называемых объектов (нейминг для маркетинга территории),

— используют нейминг фирмы в психологических целях (как способ самовыражения и самоутверждения),

— а также руководствуются этикой и юридическими правилами, особенно в тех случаях, когда называются городские объекты в исторических районах.

Таким образом, городской эргоурбаноним (условный микротопоним — элемент, репрезентирующий понимание города, по А. Лефевру) рождается как производный от понимания горожанами смысла объекта в городском пространстве, от особенностей идентичности владельца и его коммерческой организации, как рекламный инструмент и своеобразный показатель согласованности городского топонимикона.

Зависимая от горожан разметка объектов городского пространства при помощи эргоурбанонимов вызывает множество вопросов. Связан ли в реальном городе выбор эргоурбанонимов со спецификой районов города (спальные, центральные, промышленные и т. п.)? Возможно ли в реальных практиках и стратегиях номинации установить правила, связывающие эргоурбанонимы с концепциями, характеризующими понимание пространства города? Как интерпретируют город горожане, использующие «право понимать» и «право означивать» некоторые городские объекты?

В данном исследовании в качестве эмпирического материала выступили эргоурбанонимы, представляющие городские коммерческие предприятия общественного питания Нижнего Новгорода<sup>3</sup> и Краснодара<sup>4</sup>. Выбор данных городов был обусловлен логикой сравнения: оба города — многонациональные, образовательные, туристические, промышленные и т. д. центры с населением около 1 млн человек. Их общая характеристика — нестоличные мегаполисы, а значимая для данного исследования различающая характеристика — удаленность от «центра» (столицы).

В процессе исследования был создан классификатор для анализа эргоурбанонимов и определены ведущие стратегии номинативной деятельности горожан. Электронная эмпирическая база эргоурбанонимов была размечена на основании пространственных характеристик и лингвистической (семантической) информации: учитывался тип коммерческого предприятия общественного питания, а также его локализация в городе (район и адрес). Далее эргоурбанонимы были классифицированы согласно разработанному классификатору. Разметка электронной базы урбанонимов позволила в дальнейшем выполнить корреляционный анализ и исследовать связи между лексико-семантическими группами и территориями города. В качестве программного обеспечения использовалась IBM SPSS Statistics 26.

<sup>3</sup> 300 эргоурбанонимов, размещенных на ресурсе: Рестораны Нижнего Новгорода // Zoon. URL: <https://nn.zoon.ru/restaurants/> (дата обращения: 30.09.2022).

<sup>4</sup> 253 эргоурбанонима, размещенных на ресурсе: Рестораны Краснодара // Zoon. URL: <https://krasnodar.zoon.ru/restaurants/> (дата обращения: 30.09.2022).

## **Создание классификатора эргоурбанонимов, отражающих семантику мест и «не-мест»**

В ономастике существует ряд классификаций эргоурбанонимов и эргонимов, решающих задачи из предметного поля лингвистики на материале городского топонимикона [Вайрах, 2010; Urazmetova, Shamsutdinova, 2017; и др.]. Ключевой вопрос заключается непосредственно в основаниях классификации. Так, Роман Козлов предлагает все эргоурбанонимы классифицировать на основе привязки к топонимике [Козлов, 2001], а Ирина Крюкова и Александра Суперанская выделяют другие семантические основы для классификации (например, через использование антропонимов, советизмов, заимствований и др.) [Крюкова, 2004; Суперанская, 2007].

В данном исследовании было принято решение создать для эргоурбанонимов классификатор, ориентированный на функцию городского объекта в контексте антропологической логики «место» — «не-место», а также учитывая особенности эмпирического материала, извлеченного из цифровых ресурсов, репрезентирующих коммерческие объекты городов. В результате классификатор эргоурбанонимов для мест и «не-мест» включил девять ячеек:

1) эргоурбанонимы на основе антропонимов (названия на основе имен, такие как кафе «У Ксюши», кафе «Светлана» и др.), не связанные с общекультурным контекстом и конструирующие квазимежличностные отношения;

2) эргоурбанонимы с культурно-исторической основой, включая мифонимы и знаки статуса (антропонимы с исторической или литературной основой (ресторан «Ермак», кафе-бар «Марк Твен», кафе «Бугров»; кафе «Безухов» и др.), а также названия, воспроизводящие культурно-исторический контекст (кафе-бар «Изба»; ресторан «Купеческий», ресторан «Премьер» и др.);

3) эргоурбанонимы, представляющие образы локальных мест и обращенные к собственно топонимам, то есть географическим местам, где находится коммерческое предприятие (кафе «Стрелка»);

4) эргоурбанонимы на основе заимствованной лексики, написанные как кириллицей, так и латиницей (ресторан «Эдельвейс», кафе «Flint House», ресторан «Парадиз» и др.);

5) эргоурбанонимы на основе лингвистических игр, включая окказионализмы (кафе «Дон Котлетон», кафе «Сушинка», кафе «Ядрёна Матрёна», кафе-бар «Артбуз» и др.);

6) эргоурбанонимы — географические образы (чужие географические образы, образы «удаленной географии»; например, кафе «Эссен», кафе «Ливерпуль», кафе «Амстердам» и др.);

7) эргоурбанонимы на основе наименований растений и животных (ресторан «Кабанчик», кафе «Плакучая ива» и др.);

8) эргоурбанонимы, представляющие продукты питания и различные действия, связанные с едой (кафе «Лепи тесто» и др.);

9) другие образы (кафе «Эфир», кафе «Уголек» и др.).

Предполагалось, что, называя кафе, ресторан, бар и т. п., владелец учитывает не только коммерческую функцию предприятия, но и его место в социокультурном ландшафте города, допуская, что данный объект может стать местом сбора

и единения горожан (местом «здесь и сейчас») или напротив — стать «не-местом» (зоной «не здесь», зоной фронта, полета и перемещения), репрезентирующим избыток событий, пространства и индивидуализации референций.

С нашей точки зрения, семантика «места» воспроизводится в группах 1—3 представленного классификатора. Это объекты, которые владельцы персонифицировали, связали с личными именами, а также именами известных исторических или литературных героев (кафе как место встречи у персоны). Также в логике «мест» оказываются объекты, связанные с локальными («краеведческими») географическими образами (топонимическая основа). Следовательно, логика «места» предполагает указание на идентичность, идентификацию и локальную связь, транслируемую в эргоурбанонимах данных групп.

Семантика «не-мест» сосредоточена в группах классификатора 4—7. Это объекты, названия которых обещают перенести посетителя в другой мир (в Чикаго, Одессу, Африку и т. д.), где звучит иностранная речь (“basic English”), где обещают развлечь и изменить сознание при помощи головоломок и лингвистических игр (кафе «Нипалки», кафе «БаклаДжан», бар «Ёмаё») или предлагают окунуться в особую атмосферу (например, попасть в мир животных — кафе «Дельфин», бар «Кабан» и др.). На отсылку к путешествиям и “basic English” есть прямые указания в работе М. Оже [Оже, 2017]. Что касается лингвистических (интеллектуальных) игр, их также возможно рассматривать в контексте «не-мест» М. Оже, поскольку это зоны фронта, оказавшись в которых, как в «кроличьей норе» Льюиса Кэрролла, визитер оказывается на границе с неизведанным, на что также указывается в других исследованиях, посвященных потенциалу «не-мест» [Coyne, 2007].

Нейтральными можно назвать группы 8 и 9, поскольку они включают образы, которые могут быть отнесены и к группе «мест», и к группе «не-мест». Разведение подгрупп эргоурбанонимов на репрезентирующие «места» и «не-места» в городе представляется дискуссионным полем, а аргументы для дискуссии могут основываться на специфике связей ячеек классификатора с различными районами города.

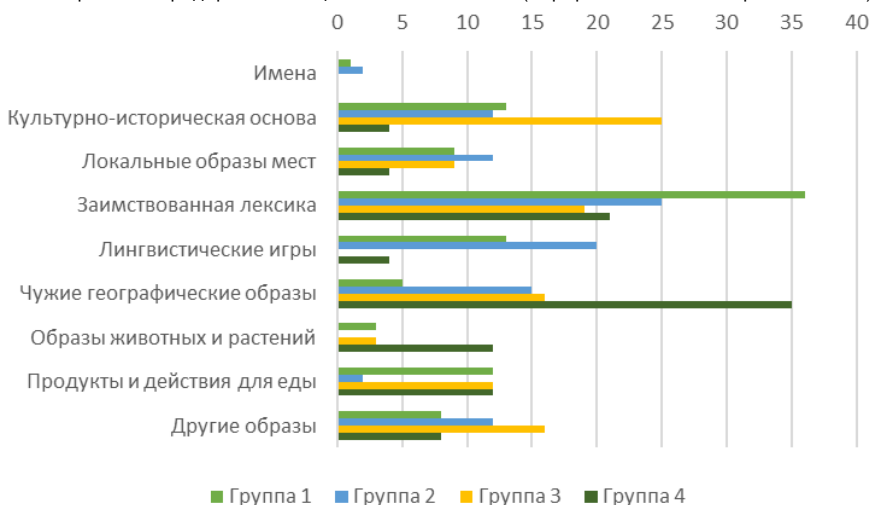
После разметки эмпирической базы был проведен кластерный анализ, позволивший разделить районы города на группы, близкие по значению урбанонимов, а также проследить закономерности называния мест и «не-мест» в разных районах города.

### **Эргоурбанонимы Нижнего Новгорода: конструирование мест и «не-мест»**

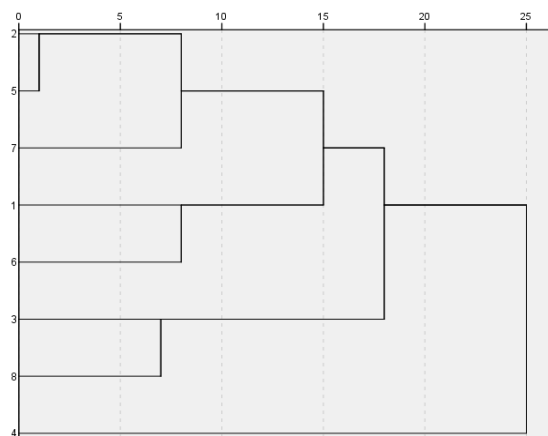
В интерпретации городского пространства по Р. Ольденбургу городские точки общественного питания (рестораны, кафе, пирожковые и т. п.) относятся к «третьим местам», где горожане проводят время между работой и домом. В классификации М. Оже эти же объекты (по крайней мере, часть общественных точек питания) можно определить и как «не-места» — особенно это очевидно, если речь идет о сетевых ресторанах IKEA, McDonalds и т. п., формирующих городские транзитные зоны купли-продажи еды и поддерживающих постоянное движение в городе. Но это дедуктивная логика, исходящая от интерпретаций из позиции «научного дискурса». Реальные практики номинации городских объектов в индуктивной логике предполагают воспроизводство видения и интерпретации городского пространства с (позиции) точки зрения горожан.

Вероятно, горожане, дающие названия коммерческим объектам, интуитивно (или осознанно) конструируют «третьи места» или, напротив, предполагают создавать пространства гипермодерна, вкладывая в название объекта свою концепцию прочтения городского пространства. Тогда, анализируя названия городских объектов, возможно идентифицировать и описать концепцию репрезентации пространства города, представленную в названиях коммерческих объектов общественного питания, и изучить ее согласованность с известными концепциями, репрезентирующими городское пространство (см. рис. 1).

Рис. 1. Группы районов Нижнего Новгорода, типичных по стратегиям номинации коммерческих предприятий общественного питания (иерархический кластерный анализ)



Эргоурбанизмы: группа 1 — исторический центр, группа 2 — районы с особым статусом, группа 3 — промышленные и спальные, группа 4 — промышленный и спальный (новый и окраинный).



Районы: 1 — Автозаводский; 2 — Канавинский, 3 — Ленинский, 4 — Московский, 5 — Нижегородский, 6 — Приокский, 7 — Советский, 8 — Сормовский.



По итогам исследования иерархический кластерный анализ позволил разделить восемь районов Нижнего Новгорода на четыре группы, первая из которых объединила историческую (нагорную, престижную) часть города (условное название — «административный и исторический кластер»). Вторая группа сформировалась из двух районов советского периода, граничащих по реке Оке (условное название — «кластер советского прошлого»). Третья группа включила центральную часть заречья (условное название — «кластер работы и жизни»). Четвертая группа образована «молодым» и окраинным районом города с промышленным значением (условное название — «кластер новых/окраинных территорий»).

Согласно анализу эргоурбанонимов данных групп, они демонстрируют разные номинативные стратегии в назывании коммерческих предприятий общественного питания (например, использование чужих географических образов доминирует в группе 4, а в группе 1 это один из наименее используемых эргоурбанонимов).

Однако более определенная картина складывается, если эргоурбанонимы разделить на те, в формулировках которых присутствуют указания на маркирование «места» (персонификация («Алекс», «У Александра» и т. п.), привязка к культурным и историческим реалиям («Трактир Бугров», «Купеческий», «Кулибин», «12 стульев» и т. п.), указание на особое локальное место, топоним («Стрелка», «Стригино», «Кладовая башня» и т. п.) или «не-места» (указание на значительные перемещение, поток, игру («Эссен», «Марсель», «Шустрый шмэль», «Halli Galli», «Craft Bar Proletariat», «Таки Маки» и т. п.), изменение сознания в особой зоне («Tuman Café», «Гравитация кофе», «Smoking Lounge» и т. п.), «basic English» («Red berry», «Coffee Molly», «Food king» и т. п.) (см. рис. 2).



Рисунок 2 указывает на три стратегии в номинативной деятельности владельцев кафе, ресторанов и баров Нижнего Новгорода (две основные и одну дополнительную). Согласно первой стратегии (группы 1 и 2 — административный и исторический кластер и промышленный кластер советского прошлого соответственно), называя городские объекты общественного питания, их владельцы в значительной степени делают ставку на конструирование «не-мест», а места конструируются как вспомогательная стратегия в интерпретации городского пространства. Благодаря данной стратегии городское пространство заполняется названиями, акцентирующими урбанистичность, придающими провинциальному городу флер столичности, как бы стирающими физические границы и тем самым превращающими город из «места» в безграничное «пространство».

Вторая стратегия предполагает равновесное сосуществование обеих логик, объединяя семантику мест и «не-мест» (группа 3 — кластер работы и жизни). Выбор со стороны владельцев точек общепита эргоурбанонимов, привязанных к месту, отражает логику понимания городского пространства как «третьего места»: в этой части города важно выманить горожан из квартир и показать комфорт пространства вне дома («как дома»).

Третья, дополнительная, стратегия отражает логику доминирования «не-места» (группа 4 — кластер новых территорий), реконструируя в названиях ощущение потока, движения, существования «не здесь». И если первой стратегии придерживаются районы, ориентированные на визитеров и туристов, а второй — районы для работы и проживания, то третью стратегию воспроизводит район, который не входит в туристические программы города и уступает центральным районам по привлекательности для жизни. Все номинативные стратегии выглядят функциональными, при этом дополнительная третья стратегия очевидно носит компенсаторный характер.

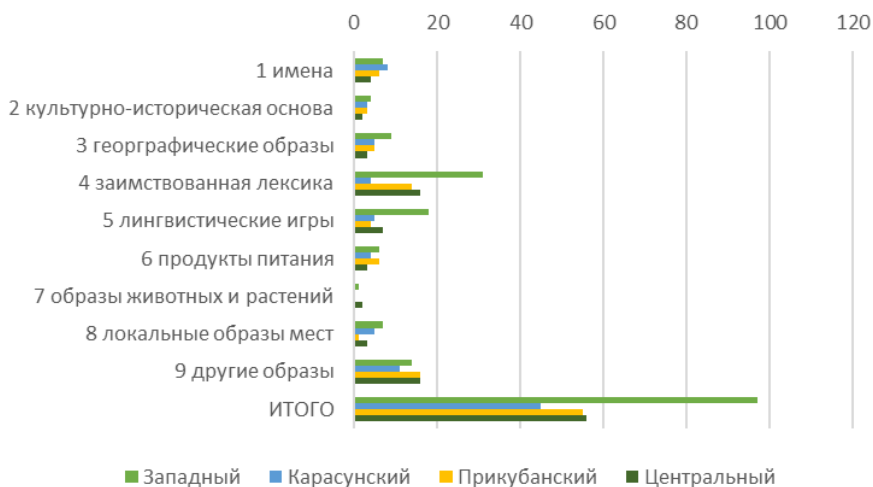
### **Эргоурбанонимы Краснодара: конструирование «мест» и «не-мест»**

В Краснодаре административное деление города предполагает более крупные округа, часть из которых (более урбанизированные) сформировали группу 1, тогда как группа 2 представлена одним Карасунским округом (окраинный, с преобладанием сельской застройки) (см. рис. 3).

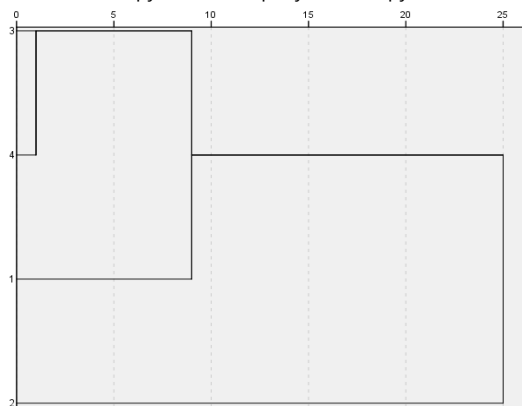
Обе группы заметно различаются в ориентации на выбор эргоурбанонимов, отражающих персонифицированные или культурно-маркированные «места» («Сулико», «Пушкинист», «Чехов» и т. п.), а также эргоурбанонимов из заимствованной лексики (“Gray Goose Cafe”, “Salle de Banquet Champagne”, “Daisy” и т. п.). При этом более урбанизированные округа относительно однородны и ориентированы на репрезентацию образа «не-мест» через названия точек общепита посредством «пересечения границ», движения, игры, “basic English” и т. п. («Москва», «Рим», «Мерси Баку», «Луи Бидон», “Woman Club”, «Борщберри», “Sweet Hall” и др.).

На материале эргоурбанонимов Краснодара воспроизводятся две описанные выше стратегии номинации городских коммерческих объектов — одна с доминированием конструирования «не-мест» и вторая, предполагающая воспроизводство как логики конструирования «места», так и «не-места» (см. рис. 4).

Рис. 3. Группы округов Краснодарского края, типичных по стратегиям номинации коммерческих предприятий общественного питания (иерархический кластерный анализ)



Эргоурбанонимы: группа 1 — округа Западный, Центральный, Прикубанский, группа 2 — Карасунский округ.



Округа: 1 — Западный; 2 — Карасунский, 3 — Прикубанский, 4 — Центральный.



Как и в Нижнем Новгороде, равный интерес к конструированию «мест» и «не-мест» через названия коммерческих предприятий общепита выявлен в Краснодаре в тех районах, что не претендуют на «центральность», «столичность», «статусность», оставаясь в понимании и интерпретации пространства горожанами местами обычного проживания, а не креативных экспериментов современного города. Таким образом, номинативные практики владельцев коммерческих объектов в Краснодаре представлены в двух основных стратегиях номинации: через ориентацию на конструирование «не-мест» (амбициозная стратегия интеграции Краснодара в пул мировых столиц) и посредством стратегии равновесия «мест» и не-«мест», практикуемой на территориях города «для работы и жизни», не претендующих на презентационные функции.

### Номинативные практики и возможности конструирования мест и «не-мест»: дискуссии

С точки зрения реализации права на город обычные горожане, как правило, имеют ограниченные возможности в планировании городского пространства и демонстрации собственного понимания, как это городское пространство должно быть сконструировано. Номинативная деятельность на базе городских коммерческих объектов расширяет эти возможности: горожане — собственники коммерческих объектов имеют возможность в названиях зафиксировать свое понимание означаемого на примере локального пространства города.

Изучая результаты номинативной деятельности, исследователи сравнивают города с этнокультурными музеями [Arslan, 2011], подчеркивая, что имена городских объектов являются полем символической борьбы за доминирование «правильной версии» их понимания и названия [Кудрявцева, Гоманюк, 2020; Abramowicz, Daciewicz, 2010]. Что же касается номинации коммерческих предприятий их

собственниками, помимо этнокультурной и исторической детерминации нельзя не учитывать субъективный и субъектный факторы, влияющий на выбор названий. То есть через анализ эргоурбанонимов возможно получить доступ к латентной и во многом интуитивной концепции городского пространства в сознании части горожан.

В исследованиях эргоурбанонимы рассматриваются в различных предметных контекстах: в лингвистическом (например, в контексте словообразования), психолингвистическом и социально-психологическом (экстериоризация идентичности, присвоение пространства субъектами номинативной деятельности), социально-антропологическом (переосмысление функций и сущности пространства в контексте практик номинации), культурно-историческом (историческое значение переименований) и т. д.

Характеризуя территориальную организацию городской топонимии, лингвисты ссылаются на экстралингвистическую заданность границ системы (исторические, экономические, географические, юридические основания), дифференциацию элементов системы, конкретность номинативной разработки, иерархичность системы и др. [Березович, 1991]. В то же время роль понимания и интерпретации (субъективный фактор) в номинативной деятельности горожан оказывается недостаточно отрефлексированной. Так, формулируя исключительно пространственные (топонимические) основания для классификации городских эргонимов, Роман Козлов настаивает на уникальности территориальной организации системы эргоурбанонимов и на отсутствии закономерностей при их порождении [Козлов, 2001]. Другие классификации эргоурбанонимов, обращенные, например, к их функциям, выделяют основные (макрофункции — коммуникационная, информационная и социализирующая) и второстепенные, или факультативные (фатическая, рекламная, номинативная, эстетическая и т. д.), функции [Егорова, Тихонова, 2017], также не учитывая субъективность и субъектность процесса номинации.

Поиск и осмысление закономерностей в номинативной деятельности горожан с точки зрения социальных наук позволяют расширить исследовательские задачи, объединяя лингвистические аспекты эргоурбанонимов, конкретные городские территории, связанные с ними, и субъективные стратегии «привязки» эргоурбанонима к локальному месту в городе. Убедительная попытка интегративного анализа лингвистического и социального на материале эргоурбанонимов была осуществлена ранее в логике биполярного конструкта «свое/чужое»: в качестве «чужого» рассматривались иноязычные (как правило, англоязычные) заимствования и использование некириллического алфавита [Ремчукова, Соколова, 2019]. Кроме того, обсуждался поиск равновесия между национальным и универсальным в создании коммерческого имени в городе, использование графемных игр в репрезентации: представление «чужого» как «своего» (кириллическая транслитерация заимствований) и «своего» как «чужого» (использование латиницы для написания русских слов).

Данное исследование предлагает следовать далее и реконструировать модели понимания городского пространства у горожан, предполагая, что данные модели могут быть созвучны идеям известных исследователей города (например, концепциям «мест» и «не-мест» в городском пространстве).

Часто, как только в научных работах речь заходит о привлекательных городских пространствах, возникает теоретическое поле «третьего места» / места [Лебедева, 2015; Leo et al., 2009; Mehta, Bosson, 2010; Wexler, Oberlander, 2017; Jeffres et al., 2009]. Концепцию «не-мест», напротив, используют для демонстрации деструктивности урбанистических пространств [Brugiatelli, 2016; Korstanje, 2015]: упоминаются децентрация, смещение и дистанцирование места от самого себя [Кузнецов, 2017] анонимность и одиночество посетителей «не-мест»; объясняется, как «переделать» «не-место» в «место» [Скопина, 2013]; лишь время от времени подчеркивается позитивный потенциал первых, например, как катализаторов креативности [Coyne, 2007; Lavrines, 2011].

Результаты представленного исследования показывают, что горожане, имеющие возможность означать коммерческие городские объекты, не склонны негативно оценивать «не-места» — урбанистические пространства потока и деконструкции идентичности, связывая номинации, отсылающие к подобным идеям, с особыми функциями города. Наиболее простое объяснение данного факта следует из логики М. Оже, поскольку одна из важных функций «не-места» — коммерческая. Образы «не-мест» «рисуют мир потребления», а «модные ныне слова — те, что не существовали еще тридцать лет назад, — принадлежат не-местам» [Оже, 2017: 47]. Так, конструируя «не-место», субъект номинации как бы претендует на коммерческий успех. Однако «третье место» также способно выполнять коммерческие функции, поскольку репрезентация идентичности (через практики сопричастности и солидарности, через оживление социальных сетей) успешно монетизируется [Tiemann, 2008]. Следовательно, выбор семантики «не-места» обусловлен не только коммерческими задачами.

Другое объяснение связано с тем, что стратегии номинативной деятельности в означивании городского пространства как «не-мест» доминируют в тех районах изучаемых городов, которые в большей степени ориентированы на амбициозную презентацию. «Не-места» воспроизводят «город гипермодерна», поэтому в стремлении сконструировать не только коммерчески успешный объект, но и объект, релевантный современному (продвинутому, креативному) городу, субъекты номинативной деятельности интуитивно выбирают для эргоурбанонимов формы, репрезентирующие поток, игру, изменения и переход границ (выбирают модную семантику гипермодерна). Подобный выбор может быть обусловлен компенсаторным механизмом, характерным для региональных городов, претендующих на практику некоторых «столичных функций». В то же время, возможно, для реальных столиц предпочтение эргоурбанонимов, сформулированных в контексте «не-мест» (для районов, выбираемых туристами, и районов с презентационными функциями), также является доминирующим.

Понимание и означивание пространства в городе в контексте номинативной деятельности и одновременно реализации права на город не представляют собой исчерпывающее действие. Коммерческие городские объекты общественного питания могут называться с претензией на гипермодерн (на «не-места»), сохраняя, однако, в организации и эстетике пространства характеристики, далекие от технологичных современных городов (деятельность по означиванию может отражать исключительно фантазии и желания субъектов номинативной деятельности).

За пониманием городского пространства со стороны горожан-предпринимателей, отраженным в номинациях коммерческих объектов, следует номинативная активность остальных горожан, которые будут воспринимать и обживать предложенные пространства (номинаций), соглашаясь или конфликтуя с предложенным видением.

## Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. Лингвистическая номинативная деятельность в городе в контексте социальных наук согласуется с концепцией права на город А. Лефевра и раскрывает суть понимаемого (*conceived*), то есть понимания того, как могут именоваться объекты в городе. Концептуальные рамки особенностей понимания (и номинации) городского пространства, в свою очередь, могут опираться на идеи Р. Ольденбурга о «третьих местах» (как местах идентичности) и идеи М. Оже о «не-местах» в городе (пространствах потока, игры и размывания идентичности).

2. Использование цифровых данных, репрезентирующих современные города, позволяет сформировать новые сценарии исследований, перемещая в центр исследовательского фокуса те проблемы и феномены, которые ранее оказывались в тени и (с точки зрения эмпирики) были менее доступны.

3. Среди всех социальных практик горожан, конструирующих социальное пространство города в контексте понимания, воспроизводства и обживания городского пространства, именно понимание наименее доступно горожанам и ориентировано на «создателей» — архитекторов и тех, кто планирует развитие города. Однако в области номинативной деятельности ситуация иная: часть горожан, обладающих коммерческой собственностью, активно участвует в создании городского топонимикона и может тем самым реализовать свое право на понимание города. При этом номинативная деятельность горожан не укладывается в привычные рамки социокультурной детерминации номинаций: горожане называют коммерческие объекты, используя самые разные основания (не только краеведческую информацию, но и транслируя в названиях субъективные интерпретации).

4. Субъекты номинативной деятельности в городе, судя по использованным эргоурбанонимам, интерпретируют современный город как город гипермодерна, охотно воспроизводя семантику «не-мест» в подборе эргоурбанонимов. Данный факт позволяет предположить, что в сознании (в концепции города) горожан, в отличие от позиции ряда исследователей, семантика «не-места» обладает позитивной коннотацией и связывается с креативностью города, с его особыми возможностями.

5. В номинативной деятельности горожан — собственников коммерческих городских объектов общественного питания были выявлены две ключевые стратегии номинативной деятельности:

— равновесное конструирование в локальных городских топонимиконах «мест» и «не-мест» посредством семантики эргоурбанонимов, выбранных для означивания коммерческих объектов,

— доминирование эргоурбанонимов, типичных для означивания «не-мест».

Выбор стратегии, согласно проведенному исследованию, обусловлен экстралингвистическими причинами, а именно — статусом района, где планируется появ-

ление эргоурбанонимов. Однако доминирование эргоурбанонимов с семантикой «не-мест» может маркировать не только районы, претендующие на особые исторические, социокультурные или административные функции в городе, но и районы, крайне нуждающиеся в этих функциях (имитирующие центральность и столичность). Возможно, эргоурбанонимы репрезентируют в большей мере желания и интенции, а не собственно социальную или физическую реальность, поэтому работают на компенсаторную функцию в понимании пространства нестоличного города.

Результаты проведенного исследования затрагивают только область понимания городского пространства горожанами — субъектами номинативной деятельности и собственниками коммерческих объектов. Воспроизведение и обживание означенного пространства горожанами без такого права (собственно использование или изменение названий коммерческих объектов) может протекать в иной логике, для описания которой необходимо проводить дополнительные исследования. Кроме того, особенности понимания и интерпретации горожанами пространства различных городов (не только нестоличных мегаполисов, но и менее крупных или малых городов, а также столиц) тоже нуждаются в дальнейшем изучении.

### Список литературы (References)

- Банников К. В. Визуальная герменевтика «третьих мест» современного города (на материале свободного пространства «Циферблат») // Этнокультурное развитие регионов: молодежный взгляд / отв. ред. Е. Б. Барина. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2016. С. 92—101.
- Bannikov K. V. (2016) Visual Hermeneutics of 'Third Places' of a Modern City (Based on the Free Space 'Ziferblat'). In: Barinova E. B. (ed.) *Ethnocultural Development of Regions: A Youth View*. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences. P. 92—101. (In Russ.)
- Березович Е. Л. Семантические микросистемы топонимов как факт номинации // Вопросы ономастики. 1991. Выпуск. 19: Номинация в ономастике. С. 75—90.
- Berezovich E. L. (1991) Semantic Microsystems of Toponyms as a Fact of Nomination. *Problems of Onomastics*. Issue 19: Nomination in Onomastics. P. 75—90.
- Вайрах Ю. В. Эргоурбанонимы как знаки городской лингвокультуры // Вестник Университета Российской академии образования. 2010. № 4. С. 12—14.
- Vairakh Yu. V. (2010) Ergourbonyms as Signs of Urban Linguistic Culture. *Bulletin of the University of the Russian Academy of Education*. No. 4. P. 12—14
- Голомидова М. В. Топонимическая политика в сфере номинации внутригородских объектов: теоретические и прикладные проблемы // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 3. С. 36—61. [https://doi.org/10.15826/vopr\\_onom.2018.15.3.028](https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.3.028).
- Golomidova M. V. (2018) Toponymic Policy in Naming City Facilities: Theoretical and Applied Issues. *Problems of Onomastics*. Vol. 15. No. 3. P. 36—61. [https://doi.org/10.15826/vopr\\_onom.2018.15.3.028](https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.3.028). (In Russ.)
- Гороховская Л. Г., Антонова А. А. «Дружелюбная среда» новых публичных пространств: на примере университетского кампуса // Научно-методический элек-



тронный журнал «Концепт». 2015. № 13. URL: <http://e-koncept.ru/2015/85627.htm> (дата обращения: 30.09.2022).

Gorokhovskaya, L. G., Antonova A. A. (2015) “Friendly Environment” of New Public Spaces: The Example of a University Campus. *Koncept: Scientific and Methodological Electronic Journal*. No. 13. URL: <http://e-koncept.ru/2015/85627.htm> (дата обращения: 30.09.2022). (In Russ.)

Егорова Е. Н., Тихонова К. А. Функционирование урбанонимов в лингвокультурном пространстве города (на примере анализа урбанонимов г. Архангельска) // Арктика и Север. 2017. № 1. С. 14—23. <https://doi.org/10.17238/issn2221-2698.2017.26.14>.

Egorova E. N., Tihonova K. A. (2017) The Function of Urbanonyms in Language and Cultural Space of the City (In Terms of the Analysis of Urbanonyms of Arkhangelsk). *Arctic and North*. No. 1. P. 14—23. <https://doi.org/10.17238/issn2221-2698.2017.26.14>. (In Russ.)

Клименко Е. Н., Рут М. Э. Неофициальные урбанонимы Екатеринбурга в социолингвистическом аспекте // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 210—222. [https://doi.org/10.15826/vopr\\_onom.2018.15.2.022](https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.2.022).

Klimenko E. N., Ruth M. E. (2018) Unofficial Urbanonymy of Ekaterinburg: a Sociolinguistic Study. *Problems of Onomastics*. Vol. 15. No. 2. P. 210—222. [https://doi.org/10.15826/vopr\\_onom.2018.15.2.022](https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.2.022). (In Russ.)

Козлов Р. И. Современные эргоурбонимы в городской топонимической системе: на примере г. Екатеринбурга // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2001. № 20. С. 25—35.

Kozlov R. I. (2001) Modern Ergourbononyms in the Urban Toponymic System: An Example of Yekaterinburg. *Izvestia. Ural State University Journal. Series 2: Humanities and Arts*. No. 20. P. 25—35. (In Russ.)

Крюкова И. В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности: автореф. дисс. докт. филол. наук. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет, 2004.

Kryukova I. V. (2004) Advertising Name: From Invention to Precedence. An Extended Abstract of the Doctor of Sciences Dissertation in Philology. Volgograd: Volgograd State Pedagogical University. (In Russ.)

Кряжева М. Ф., Шакирова Э. С. Библиотека как «третье место»: реализация концепции // Библиосфера. 2019. № 3. С. 93—98. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2019-3-93-98>.

Kryazheva M. F., Shakirova E. S. (2019) Library as “the Third Place”: Realization of the Concept. *Bibliosphere*. No. 3. P. 93—98. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2019-3-93-98>. (In Russ.)

Кудрявцева Н., Гоманюк Н. Оспариваемые имена в топонимических ландшафтах постсоветского пространства. Введение // Идеология и политика. 2020. № 1. С. 4—10. <https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00001>.

Kudriavtseva N., Homanyuk M. (2020) Contested Names in the Toponymic Landscapes of Post-Soviet Space. Introduction. *Ideology and Politics*. No. 1. P. 4—10. <https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00001>. (In Russ.)

Кузнецов А. Г. К антропологии «близкого» в городе: места, не-места, мобильности // Этнографическое обозрение. 2017. № 6. С. 5—13.

Kuznetsov A. G. (2017) Towards the Anthropology of the 'Near' in the City: Places, Non-Places, Mobilities. *Etnograficheskoe obozrenie*. No. 6. P. 5—13. (In Russ.)

Лебедева Е. В. Роль локальных сообществ в формировании городского коммуникативного пространства // Журналистика—2015: состояние, проблемы и перспективы. Материалы 17-й международной конференции. Минск: БГУ, 2015. С. 179—182.

Lebedeva E. V. (2015) The Role of Local Communities in the Formation of Urban Communication Space. In: *Journalism — 2015: State, Problems and Prospects. Proceedings of the 17<sup>th</sup> International Conference*. Minsk: Belarussian State University. P. 179—182. (In Russ.)

Лебедева Е. В. Трансформация публичного пространства постсоветских городов // Социология. 2016. № 4. С. 107—115.

Lebedzeva A. V. (2016) Transformation of Public Space in Post-Soviet Cities. *Sotsiologiya*. No. 4. P. 107—115. (In Russ.)

Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015.

Lefebvre H. (2015) *La production de l'espace*. Moscow: Strelka Press. (In Russ.)

Митин И. И. Ментальные карты города: история понятия и разнообразие подходов // Городские исследования и практики. 2017. Т. 2. № 3. С. 64—79. <https://doi.org/10.17323/usp23201764-79>.

Mitin I. I. (2018) Urban Mental Maps. *Urban Studies and Practices*. Vol. 2. No. 3. P. 64—79. <https://doi.org/10.17323/usp23201764-79>. (In Russ.)

Никитина Т. Г. Городской Топонимикон: уникальное и универсальное (на материале г. Пскова) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 128—130.

Nikitina T. G. (2017) Urban Toponymicon: Unique and Universal (by the Material of Pskov City). *Philology. Theory & Practice*. No. 6. Pt. 2. P. 128—130. (In Russ.)

Никитина Т. Г. Топонимическое пространство города: «культурные слои» в лексикографическом отображении // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 180—193. [https://doi.org/10.15826/vopr\\_onom.2018.15.2.020](https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.2.020).

Nikitina T. G. (2018) The Urban Toponymic Space: 'Cultural Layers' in Lexicographic Representation. *Problems of Onomastics*. Vol. 15. No. 2. P. 180—193. [https://doi.org/10.15826/vopr\\_onom.2018.15.2.020](https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.2.020). (In Russ.)

Новожилова Т. А. Номинация современных коммерческих предприятий: на материале русского, английского и немецкого языков: автореф. дис... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный педагогический университет, 2005.

Novozhilova T. A. (2005) Nomination of Modern Commercial Enterprises: Based on the Material of Russian, English and German Languages. An Extended Abstract of the Candidate of Sciences Dissertation in Philology. Rostov-on-Don: Rostov State Pedagogical University. (In Russ.)

Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / пер. с фр. А. Ю. Коннова. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

Augé M. (2017) Non-Lieux. Introduction a Une Anthropologie de la Surmodernite. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)

Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / пер. с англ. А. А. Широкаковой. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Oldenburg R. (2014) The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)

Пестова А. В. «Третьи места» третьего тысячелетия: революция рабочего и досугового пространства // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования. 2017. № 2—3. С. 183—185.

Pestova A. V. (2017) 'Third Places' of the Third Millennium: Revolution in Work and Leisure Space. *Human in the World of Culture. Regional Cultural Studies*. No. 2—3. P. 183—185. (In Russ.)

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988. Podolskaya N. V. (1988) The Dictionary of Russian Onomastic Terminology. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Раскатова Е. М., Романова К. Р. «Третье место» как фактор развития культуры советского андеграунда // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». 2016. Т. 7. № 2. С. 94—99.

Raskatova Ye. M., Romanova K. R. (2016) 'The Third Place' as a Factor for Developing the Culture of Soviet Underground. *Izvestia Vysših Učebnyh Zavedenij. Seria "Gumanitarnye Nauki"*. Vol. 7. No. 2. P. 94—99. (In Russ.)

Ремчукова Е. Н., Соколова Т. П. «Свое» и «чужое» в коммуникативном пространстве российского города // Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 1. С. 31—50. [https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6\(1\).31-50](https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6(1).31-50).

Remchukova E. N., Sokolov T. P. (2019) "Native" and "Foreign" in the Communicative Space of a Russian City. *Communication Studies*. Vol. 6. No. 1. P. 31—50. [https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6\(1\).31-50](https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6(1).31-50). (In Russ.)

Скопина М. В. Феномен «места» и «не-места» в постиндустриальном городе // Вестник МГСУ: научно-технический журнал по строительству и архитектуре. 2013. № 1. С. 66—71. <http://doi.org/10.22227/1997-0935.2013.1.66-71>.

Skopina M. V. (2013) Phenomenon of "Site" and "Non-Site" in the Post-Industrial City. *Vestnik MGSU: Monthly Journal on Construction and Architecture*. No. 1. P. 66—71. <http://doi.org/10.22227/1997-0935.2013.1.66-71>. (In Russ.)

- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М.: URSS: ЛКИ, 2007.  
Superanskaya A. V. (2007) *The General Theory of Proper Names*. Moscow: URSS: LKI. (In Russ.)
- Терентьев Е. А. Топонимический активизм и «право на город»: социологические заметки // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 1. С. 194—202.  
Terentiev E. A. (2015) *Toponymic Activism and the “Right to the City”*: Sociological Notes. *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. No. 1. P. 194—202.
- Тихоненко Е. В. Эргоурбанонимия белорусской столицы: лингвистический и правовой аспект стандартизации // Весті БДПУ. Серія 1. Педагогіка. Психологія. Філологія. 2014. № 2. С. 91—95.  
Tikhonenko E. V. (2014) *Ergourbanonymy of the Belarusian Capital: Linguistic and Legal Aspects of Standardization*. *BGPU Bulletin. Issue 1. Pedagogy. Psychology. Philology*. No. 2. P. 91—95. (In Russ.)
- Abramowicz Z., Dacewicz L. (2010) Changes in Urbanonymy of Northeastern Poland in the Context of Statehood Transformation. *Acta Onomastica*. Vol. 51. No. 2. P. 417—428.
- Arslan M. (2011) Beyşehir (Konya) Yer Adları ve Onomastik Bilimine Katkıları. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. No. 25. P. 337—343.
- Balode L. (2016) Unofficial Urbanonyms of Latvia: Tendencies of Derivation. In: Hough C., Izdebska D. (eds.) *Names and Their Environment*. *Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow, 25—29 August 2014*. Vol. 1. Glasgow: University of Glasgow. P. 69—79.
- Brugiatelli V. (2016) For an Ethical and Integrated Way of Life: From Non-Places to Places of Human Interaction. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. Vol. 223. P. 58—61. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.292>.
- Coyne R. (2007) Thinking through Virtual Reality: Place, Non-Place and Situated Cognition. *Techné: Research in Philosophy and Technology*. Vol. 10. No. 3. P. 26—38. <https://doi.org/10.5840/techn200710310>.
- Ducheneaut N., Moore R. J., Nickell E. (2007) Virtual ‘Third Places’: A Case Study of Sociability in Massively Multiplayer Games. *Computer Supported Cooperative Work*. Vol. 16. No. 1. P. 129—166. <https://doi.org/10.1007/s10606-007-9041-8>.
- Harvey D. (2006) The Right to the City. In: Scholar R. (ed.) *Divided Cities: The Oxford Amnesty Lectures 2003*. Oxford: Oxford University Press. P. 83—103. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192807083.003.0008>.
- Korstanje M. E. (2015) Philosophical Problems in the Theory of Non-Place: Marc Augé. *International Journal Qualitative Research in Services*. Vol. 2. No. 2. P. 85—98. <https://doi.org/10.1504/IJQRS.2015.076912>.
- Lavrinec J. (2011) Revitalization of Public Space: From “Non-Places” to Creative Grounds. *Santalka: Filosofija, Komunikacija*. Vol. 19. No. 2. P. 70—75. <https://doi.org/10.3846/coactivity.2011.16>.

- Lawson K. G. (2004) Libraries in the USA as Traditional and Virtual 'Third Places'. *New Library World*. Vol. 105. No. 3/4. P. 125—130. <https://doi.org/10.1108/03074800410526758>.
- Lefebvre H. (1991) *The Production of Space*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Leo W. J., Bracken C. Jian G., Casey M. F. (2009) The Impact of Third Places on Community Quality of Life. *Applied Research in Quality of Life*. No. 4. P. 333—345. <https://doi.org/10.1007/s11482-009-9084-8>.
- McArthur J. A., White A. F. (2016) Twitter Chats as Third Places: Conceptualizing a Digital Gathering Site. *Social Media + Society*. Vol. 2. No. 3. P. 1—9. <https://doi.org/10.1177/2056305116665857>.
- Mehta V., Bosson J. K. (2010) Third Places and the Social Life of Streets. *Environment and Behavior*. Vol. 42. No. 6. P. 779—805. <https://doi.org/10.1177/0013916509344677>.
- Thériault M. A. (2012) Ethnolinguistic Investigation Methodology in an Urban Context: Microtoponymic and Toponymic Surveys. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 2. No. 2. P. 266—275.
- Tiemann T. K. (2008) Grower-Only Farmers' Markets: Public Spaces and Third Places. *The Journal of Popular Culture*. Vol. 41. No. 3. P. 467—487. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2008.00531.x>.
- Urazmetova A. V., Shamsutdinova J. Kh. (2017) Principles of Place Names Classifications. *Xlinguae*. Vol. 10. No. 4. P. 26—33. <https://doi.org/10.18355/XL.2017.10.04.03>.
- Wexler M. N., Oberlander J. (2017) The Shifting Discourse on Third Places: Ideological Implications. *Journal of Ideology*. Vol. 38. No. 1. URL: <https://scholarcommons.sc.edu/ji/vol38/iss1/4> (дата обращения: 30.09.2022).
- Jeffres L. W., Bracken C. C., Jian G., Casey M. (2009) The Impact of Third Places on Community Quality of Life. *Applied Research in Quality of Life*. No. 4. P. 333—345. <http://dx.doi.org/10.1007/s11482-009-9084-8>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2228](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2228)



**Е. В. Недосека, А. Е. Ненько, О. О. Лисенков**

## **РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОСПРИНИМАЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СОСЕДСКИХ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**Правильная ссылка на статью:**

Недосека Е. В., Ненько А. Е., Лисенков О. О. Репрезентация воспринимаемой безопасности городской среды в соседских онлайн-сообществах Санкт-Петербурга // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 196—215. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2228>.

**For citation:**

Nedoseka E. V., Nenko A. E., Lisenkov O. O. (2022) Representation of Perceived Safety of the Urban Environment in the Neighborhood Online Communities of Saint Petersburg. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 196–215. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2228>. (In Russ.)

Получено: 22.04.2022. Принято к публикации: 06.09.2022.

## РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОСПРИНИМАЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СОСЕДСКИХ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

*НЕДОСЕКА Елена Владимировна* — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт Российской академии наук — филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия  
E-MAIL: [Nedelena-24@yandex.ru](mailto:Nedelena-24@yandex.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-1944-0367>

*НЕНЬКО Александра Евгеньевна* — кандидат социологических наук, доцент Института дизайна и урбанистики, Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия; координатор проектов Центра изучения Германии и Европы, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  
E-MAIL: [al.nenko@itmo.ru](mailto:al.nenko@itmo.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-3436-1069>

*ЛИСЕНКОВ Олег Олегович* — младший научный сотрудник, Социологический институт Российской академии наук — филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия  
E-MAIL: [lisenkov.o@gmail.com](mailto:lisenkov.o@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0001-8344-3234>

**Аннотация.** Основываясь на теоретических подходах к пониманию феномена воспринимаемой безопасности, авторы исследуют субъективное восприятие безопасности сообществом, проживающим в историческом районе города. Предметом изучения стал дискурс, формируемый соседями в резуль-

## REPRESENTATION OF PERCEIVED SAFETY OF THE URBAN ENVIRONMENT IN THE NEIGHBORHOOD ONLINE COMMUNITIES OF SAINT PETERSBURG

*Elena V. NEDOSEKA*<sup>1</sup> — *Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher*  
E-MAIL: [Nedelena-24@yandex.ru](mailto:Nedelena-24@yandex.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-1944-0367>

*Alexandra E. NENKO*<sup>2,3</sup> — *Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor of the Institute of Design and Urban Studies,; Project Coordinator of CGES*  
E-MAIL: [al.nenko@itmo.ru](mailto:al.nenko@itmo.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-3436-1069>

*Oleg O. LISENKOV*<sup>1</sup> — *Junior Researcher*  
E-MAIL: [lisenkov.o@gmail.com](mailto:lisenkov.o@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0001-8344-3234>

<sup>1</sup> The Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

<sup>2</sup> ITMO University, St. Petersburg, Russia

<sup>3</sup> St Petersburg University, St. Petersburg, Russia

**Abstract.** The article analyses the representation of perceived safety of the urban environment, which is translated in the neighborhood online communities of Saint Petersburg. We conducted research into the subjective perception of safety by the communities living in the historical district of the city. The re-

тате их взаимодействия со средой, представленный в пабликах социальных медиа. Главное исследовательское внимание уделено нарративам жителей района о тех элементах среды, которые вызывают чувства тревоги и беспокойства.

В работе применяется «смешанный метод» (mixed methods) текстового анализа: комбинирование качественного анализа высказываний и контент-анализа концептов, связанных с проблематикой безопасности. Статья основывается на теоретических воззрениях Л. Витгенштейна об относительности смысла в языке и тезисе о том, что смысл какого-либо понятия базируется на его интерпретации, выражающегося в словах, с которыми данное понятие встречается вместе в устной или письменной речи.

По результатам исследования определены компоненты городской среды, проявляющиеся в дискурсе сообществ как значимые с точки зрения воспринимаемой безопасности: а) агенты, влияющие на воспринимаемую безопасность соседского сообщества (экскурсоводы, туристы, посетители ресторанов и пр.); б) объекты среды, связанные с воспринимаемой безопасностью (состояние инфраструктуры, пешеходные зоны, закрытые двory и парадные); в) стихийные практики сообщества по обеспечению безопасности. Ключевой вывод работы заключается в том, что соседские сообщества восприимчивы к особенностям среды проживания, и это находит свое отражение в дискурсе, формируемом соседями в онлайн-сообществах. Данный дискурс проявляется в категоризации субъективных оценок рисков и угроз

search was based on different theoretical approaches to understanding of the phenomenon of perceived safety. The subject of the study is the discourse presented on the pages of the public social media. The discourse is formed by neighbors as a result of their interaction with the environment. The research focused on the narratives of neighbors regarding those elements of the environment that cause feelings of anxiety and worrying. The methodological basis of the research is the use of mixed methods of text analyses, in particular, a combination of the qualitative analysis of statements and the content analysis of concepts related to safety issues. The theoretical framework is Wittgenstein's approach which focuses on the relativity of language meaning and argues that the meaning of a concept is based on its interpretation and can be traced through the accompanying words which this concept occurs with together in verbal or written speech. We have identified the components of urban environment that appear in the discourse of communities as significant in terms of the perceived safety: a) agents that influence the perceived safety of the neighborhood community (tour guides, tourists, visitors of restaurants, etc.); b) environmental objects associated with the perceived safety (the state of infrastructure, pedestrian zones, closed courtyards and front entrances); c) spontaneous practices of the community for ensuring safety. The main conclusion of the study is that neighborhood communities are susceptible to the peculiarities of the living environment, which is reflected in the discourse formed by neighbors in online communities. This discourse manifests itself in the categorization of subjective assessments of risks and threats and presents opportunities for a



и предоставляет возможности для детального анализа воспринимаемой безопасности в целом. Результаты проведенного исследования могут быть интересны органам федеральной власти Российской Федерации (например, экспертам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России) при совершенствовании действующей методики формирования индекса качества городской среды проживания.

**Ключевые слова:** воспринимаемая безопасность, соседство, соседское онлайн-сообщество, городская среда, компоненты среды, качественный анализ текста

detailed analysis of perceived security in general. The results of the study may be of interest to the federal authorities of the Russian Federation (for example, experts from the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of Russia) when improving the current methodology for creating an index of the quality of the urban living environment.

**Keywords:** perceived safety, neighborhood, neighborhood online community, urban environment, environmental components, qualitative text analysis

## Введение

Анализ воспринимаемой безопасности городской среды — прикладное направление урбанистики, развивающееся с момента признания того факта, что объективные данные о преступности и правонарушениях не могут в полной мере объяснить причины страхов и предубеждений в отношении отдельных районов города среди населения [Lapham et al., 2016]. Исследования воспринимаемой безопасности в городах все чаще связываются с такими факторами, как социальная и городская сегрегация [Vilalta, 2011], социальная стигматизация [Quillian, Pager, 2010] и утрата общественными пространствами социальной значимости [Valera, Guardia, 2014].

Восприятие безопасности окружающей среды горожан нуждается в постоянном мониторинге для отслеживания изменения характера городских угроз и барьеров среды. Результаты мониторинга могут применяться для административного управления и территориального развития. Главным условием обеспечения эффективности выступает прямая коммуникация между администрацией города, района или иной территории и жителями из разных социальных групп. Вместе с тем не все проблемы соседских сообществ, связанные с воспринимаемой безопасностью, попадают в поле зрения городского и муниципального управления, имеет место и неэффективность работы со стороны управляющих компаний как центра непосредственного решения проблем, связанных со средой проживания. Один из возможных источников данных об особенностях воспринимаемой безопасности горожан — дискурс соседских онлайн-сообществ, представляющих собой локальные группы, организованные по принципу территориальной привязки к определенному району проживания и коммуницирующие с использованием информационных технологий. Взаимодействуя со своей средой проживания, жители

конструируют ее устойчивый образ [Ненько, Недосека, 2022], одним из содержательных компонентов которого выступают оценки безопасности, основных угроз и тревог, имеющие решающее значение как для социального самочувствия, так и для уровня адаптированности к городской среде [Козырева, Смирнов, 2019; Panek, Ivan, Masková, 2019; Шлыкова, 2018].

Цель данного исследования — выявить особенности среды проживания и влияния ее компонентов на воспринимаемую безопасность конкретного соседского сообщества.

Мы исходим из предположения, что особенности среды проживания, проявляющиеся через ее социо-материальные характеристики, а также действующих в ней городских агентов пространства, формируют и влияют на воспринимаемую безопасность соседских сообществ.

## Обзор литературы

Обращаясь к понятию воспринимаемой безопасности городской среды, необходимо отметить, что в научной литературе под ним понимается субъективное восприятие горожанами своей безопасности, на которое влияют социальные и экологические факторы [Kytä et al., 2014; Ránek et al., 2019]. При этом важно разделять риск стать жертвой преступления на определенной территории и субъективное восприятие незащищенности. При анализе рисков возникновения преступлений достаточно использовать данные официальной статистики правонарушений и другие объективно оцениваемые факторы, влияющие на преступность. Однако для исследования субъективной безопасности этого недостаточно. Не все преступления одинаково вызывают страх среди жителей, и переживание личной незащищенности обычно мало связано с объективными показателями преступности [Valera, Guardia, 2014]. Субъективное восприятие незащищенности возникает на основе личной эмоциональной оценки угрозы благополучию, которое человек формирует, контактируя со средой проживания [Wyant, 2008]. Анализ таких эмоциональных оценок не может быть осуществлен на основании объективных статистических данных [Lopez, Lukinbeal, 2010].

Воспринимаемая безопасность положительно влияет на самочувствие горожан [Ránek et al., 2019], тогда как ее снижение приводит к дальнейшей деградации городской среды и росту преступности. Это утверждение находит свое подтверждение в теоретической концепции разбитых окон [Wilson, Kelling, 1982], суть которой заключается в том, что видимый беспорядок (те же разбитые окна) тянет за собой все больше проявлений девиантного поведения по отношению к среде, и чем больше беспорядка люди замечают на улицах, тем больше они беспокоятся о своей безопасности. Беспорядок проявляется как в *физическом* смысле, например, в низком качестве благоустройства, замусоренности и заброшенности среды, актах вандализма и порчи городского имущества, так и в *социальном* — в девиантном или деструктивном поведении [O'Brien, 2015; Bannister, Fyfe, Kearns, 2006; Phillips, Smith, 2003], этнической розни [Brunton-Smith, Sturgis, 2011] и социальных конфликтах [Di Masso, Dixon, Pol, 2011].

В современных исследованиях воспринимаемой безопасности было выявлено несколько типов субъективно небезопасных мест. В частности, установлен пере-

чень их признаков: плохая видимость улиц, слабое освещение, низкая пешеходная и транспортная загруженность, отсутствие активных фасадов, слабо развитая сервисная инфраструктура и низкое количество многоквартирных домов [De Silva, Warusavitharana, Ratnayake, 2017]. Согласно другим исследованиям [Pánek et al., 2019; Kytä et al., 2014], небезопасными считаются транспортные узлы, городские парки, темные узкие улицы и территории вблизи ночных клубов и баров. Некоторые исследования отмечают как небезопасные территории вблизи старых зданий и участки парков, удаленные от центров активности [Morgan et al., 2017]. Таким образом, элементы городской среды определяют уровень «защищающего пространства» (в терминологии Оскара Ньюмана), что способствует формированию локальной идентичности и сильных социальных связей. Когда люди объединены и переживают сопричастность месту проживания, они чувствуют большую защищенность [Newman, 1972].

Реакции горожан на переживание незащищенности могут быть эмоциональными и поведенческими. Эмоциональные реакции на страх перед преступлением и другими формами опасности обычно включают ощущение фрустрации, гнева, тревоги, недоверия к другим и возмущение [Doran, Burgess, 2012; Morrall et al., 2010]. Данные психологические состояния могут переходить в хронические, что в целом сказывается на социальном благополучии. Защита дома замками, средствами предотвращения взлома и камерами наблюдения, страхование от преступлений в отношении имущества — примеры поведенческих реакций [Warr, 2000].

Снижение безопасности приводит к практикам социального контроля. Особого внимания заслуживает неформальный социальный контроль, под которым понимаются действия, направленные на предотвращение нежелательного социального поведения [Warner, 2007] и предпринимаемые на индивидуальном уровне (например, сплетни, ругань, неодобрение и беседа лицом к лицу [Black, 1984]) или коллективном — инициативная деятельность соседей, связанная с решением конкретных проблем, наблюдение за собственностью, обращение к компетентным органам власти и должностным лицам [Zhang, Messner, Zhang, 2017; Warner, 2007].

В современных социологических исследованиях российских авторов субъективное восприятие горожанами внешних угроз рассматривается преимущественно в работах, изучающих оценки уровня защищенности от противоправных действий и уровня внешних, в том числе криминогенных угроз [Тыканова, Тенишева, 2021; Фролова и др., 2015; Юдина и др., 2017; Козырева, Смирнов, 2019; Чернышева, 2019].

## **Соседские онлайн-сообщества как объект исследования воспринимаемой безопасности**

Безопасность — один из ведущих элементов соседских дискурсов любых типов поселений [Lindblad, Manturuk, Quercia, 2013]. Исследовательское внимание в данной статье обращено на соседские онлайн-сообщества как распространенный современный социально-коммуникативный феномен [Wellman, Wortley, 1990]. С одной стороны, онлайн-сообщества — это цифровые площадки, размещаемые, как правило, в социальных сетях, где соседи могут оперативно обмениваться информацией и общаться. С другой стороны, это социальные группы, объединен-

ные общими интересами и, в случае с соседскими онлайн-сообществами, общей территорией проживания. Дискурс, формируемый жителями в результате онлайн-обсуждений, выступает источником информации о городской среде и субъективно значимых ее компонентах, в том числе и об элементах безопасности и основных угрозах.

Каждое соседское онлайн-сообщество так или иначе реагирует и взаимодействует с тем средовым контекстом, в котором оно сформировалось и функционирует. Дискурс, создаваемый сообществом в общем паблике или канале, является смысловым полем, где отражаются нарративы о повседневной жизни, истории места, формах взаимодействия между соседями, а также концептуализируются отличительные особенности среды, которые и составляют чувство места [Ненько, Недосека, 2022]. Дискурс онлайн-сообществ, по сути, оказывается вербализацией воспринимаемого окружения. Наиболее актуализированные средовые проблемы, в том числе и проблемы безопасности, будут интенсивно обсуждаться и описываться в публикациях «на стене» и в комментариях. Новизна данной статьи заключается в авторском подходе к анализу дискурса соседских сообществ, сформированного в социальных сетях, на предмет выявления вербализаций воспринимаемой безопасности среды обитания. Социальные медиа как коммуникативные платформы активно используются жителями высокоурбанизированных территорий, что спрогнозировано, с одной стороны, анонимностью и опосредованностью социальных контактов, а с другой — плотностью проживания и необходимостью коммуникации. Интерактивность и многонаправленность социальных сетей позволяют горожанам формировать различные коммуникативные практики. Эффекты сетевого взаимодействия и возможности онлайн-коммуникации городских сообществ выступают объектом изучения современных международных и российских исследований, которые наглядно демонстрируют влияние контента социальных сетей на формы и виды социального участия горожан [Evans-Cowley, Hollander, 2010; Afzalan, Muller, 2014; Чернышева, 2019; Lappas, Triantafillidou, Kani, 2022; Steinmetz et al., 2021].

Коммуникация соседей в онлайн-пространстве обладает отличительными характеристиками. Во-первых, это практически круглосуточная коммуникация в режиме реального времени, предполагающая установление фактически мгновенного взаимодействия без предварительного этапа настройки контакта. Во-вторых, сами сообщества (паблики) задают определенные правила общения, назначают рубрикации тем обсуждений, облегчая участникам задачу поиска нужного направления дискуссии или информации в целом. В-третьих, онлайн-коммуникации свойственна документальная выраженность (архив) — вся жизнедеятельность сообщества хранится в таких форматах, как тексты, фотографии, картинки, видео, аудио. Необходимо отметить, что паблики активно используют сопутствующие интернет-инструменты для формирования и хранения архивов — фотоальбомы, аудиозаписи, страницы полезных ссылок и пр. В-четвертых, коммуникация в соседских группах подразумевает различные варианты общения, в том числе коллективные дискуссии и личные диалоги. Коллективное общение, к примеру, происходит благодаря публикации постов на «стене» пабликов и их последующему открытому обсуждению путем комментирования. Данная форма персонифицирует участника и его позицию как мнение конкретного человека.

Коллективное обсуждение тем «на стене» сообщества позволяет структурировать и глубоко проработывать ежедневную повестку — обмениваться новостями, призывать к решению проблем, делиться эмоциональными переживаниями, обсуждать злободневные вопросы. Инструменты социальных сетей дают возможность продолжать коллективные обсуждения в межличностном диалоге посредством личных сообщений («в личке», «в директе»).

## Методология исследования

Исследование дискурса базируется на подходе «смешанного метода» (mixed methods) текстового анализа, а именно на комбинировании качественного анализа высказываний и контент-анализа концептов, связанных с проблематикой безопасности.

Методологическим основанием исследования воспринимаемой безопасности соседских сообществ выступила теория дискурсивного анализа, предполагающая выявление концептуализированных элементов среды, отраженных в дискурсе онлайн-коммуникации. Данная теория опирается на подход Л. Витгенштейна об относительности смысла в языке и тезисе о том, что смысл какого-либо понятия базируется на его интерпретации, которую можно проследить через сопутствующие слова, с которыми данное понятие встречается вместе в устной или письменной речи [Wittgenstein, 1953]. Л. Витгенштейн указывал, что на значение языковых выражений значительное влияние оказывают контекст речи и совокупность мировоззренческих установок, характерных для определенного сообщества. При анализе интерпретации воспринимаемой безопасности элементов среды, отраженных в дискурсе, важно учитывать характеристики конкретной среды проживания сообщества и условия формирования самого дискурса (в том числе коммуникативной платформы, в которой он создается). Как мы отмечали ранее, наименования, описания, интерпретации элементов среды проживания, генерируемые соседями в процессе обсуждений, могут рассматриваться как качественные характеристики ее субъективного образа, так как они отражают характерные для сообщества установки, предпочтения и фобии в адрес среды, а также локальный язык, сформированный сообществом для описания окружающего контекста [Ненько, Недосека, 2022].

В качестве эмпирического материала в данной статье рассматривается текстовой дискурс соседского онлайн-сообщества Санкт-Петербурга, активно действующего в социальной сети Facebook\*<sup>1</sup>. На период сбора данных и написания статьи на территории Российской Федерации социальная сеть Facebook\* была одной из популярных платформ<sup>2</sup>.

При выборе сообщества мы исходили из следующих критериев:

- 1) репрезентация особенной среды обитания, отличающейся по истории развития, морфологии застройки и месту локализации относительно друг друга,
- 2) высокая и средняя популярность сообществ в информационном поле (определенная методом поисковых запросов в поисковом агрегаторе Google),

<sup>1</sup> Здесь и далее \* означает социальную сеть, запрещенную на территории РФ.

<sup>2</sup> Медиапотребление и активность в интернете. Аналитический обзор // ВЦИОМ. 2021. 23 сентября. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiy-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete> (дата обращения: 26.09.2022).

3) постоянная высокая интенсивность коммуникации внутри сообщества (не менее двух постов в день за последний год),

4) обсуждение проблем городской среды на «стене» сообщества,

5) история существования сообщества (не менее одного года),

6) позиционирование сообществ именно как «соседских» (использование концепта «соседи» и его производных в описании сообщества).

По результатам отбора исследовательское внимание было обращено на соседское сообщество Санкт-Петербурга «Пять углов». Район проживания участников публика — центр города, где большая часть объектов имеет культурно-историческое значение и ценность. Это касается и жилых зданий, являющихся самобытными памятниками архитектуры. Данные объективные обстоятельства определяют повышенный интерес к территории проживания участников сообщества «Пять углов» среди туристов, представителей ритейла и индустрии гостеприимства, а также резидентов других районов города. Уникальная архитектура, разнообразие и близость основных культурных достопримечательностей, бесспорно, составляют капитал среды. Среди подписчиков сообщества преобладают люди с творческими профессиями и интеллигенция. Анализ агрегированных анонимизированных данных о подписчиках сообщества свидетельствует и о разнообразии возрастных групп среди соседей.

Следующим этапом анализа стало формирование массивов текстов высказываний, к ним относились все посты и комментарии на стене сообщества. Массивы формировались автоматизированно при помощи Python 3.9. К текстовому корпусу были отнесены: а) текстовые данные с публичной страницы «стены» сообщества, на которой от лица сообщества, администраторов и участников публикуются сообщения (посты); б) специальные обсуждения внутри сообщества; в) посты отдельных пользователей. Общая выборка сообщений за один год (с декабря 2020 по декабрь 2021) составила 47 307 сообщений.

Из собранных корпусов текста посредством сквозного прочтения и поиска по ключевым словам были сформированы подвыборки, описывающие предмет исследования — воспринимаемую безопасность. Далее, опираясь на методы кодирования, предложенные представителями «обоснованной теории» с применением общей схемы проведения исследования Н. Пиджина и К. Хенвуда [Pidgeon, Henwood, 1998], мы подвергли отобранные тексты осевому кодированию, чтобы выявить элементы среды и характера их интерпретации соседями.

Дополнительной процедурой верификации выступил контент-анализ элементов среды, выделенных посредством открытого кодирования. Анализ был выполнен в несколько этапов с помощью программного обеспечения Yoshikoder.

## Результаты

В результате открытого кодирования нам удалось выявить компоненты среды, обсуждаемые сообществом в контексте воспринимаемой безопасности:

1) агенты, влияющие на воспринимаемую безопасность соседского сообщества, — экскурсоводы, жители, туристы, посетители ресторанов и пр. (подвыборка — 840 сообщений);

2) объекты среды, связанные с воспринимаемой безопасностью — например, состояние инфраструктуры, пешеходные зоны, закрытые дворы и парадные (подвыборка — 2 762 сообщений);

3) низовые практики сообщества по обеспечению безопасности (подвыборка — 253 сообщения).

Далее рассмотрим их подробнее.

### *Агенты, влияющие на воспринимаемую безопасность*

Анализ дискурса позволил выделить два уровня воспринимаемой безопасности, характерных для соседского сообщества. Первый — это уровень личной физической безопасности. Основной угрозой здесь выступают обобщенные «посторонние» — бесчисленные посетители баров и ресторанов, а также любопытствующие туристы, намеревающиеся попасть на экскурсии в парадные или снимающие жилье в апартаментах. Границы приватного и частного постоянно нарушаются «посторонними», порождая недовольство и тревогу соседского сообщества.

Ключевыми агентами, влияющими на воспринимаемую безопасность данного уровня, которые фигурируют в дискурсе соседской группы, оказались посетители баров и ресторанов, посетители крыш («руферы»), экскурсионные группы, туристы. Для подтверждения гипотезы об их отрицательном влиянии на чувство безопасности был проведен анализ контекста упоминаний этих категорий, то есть выполнен конкорданс<sup>3</sup>. Дальнейшее рассмотрение конкорданса позволило зафиксировать определенную смысловую и эмоциональную нагрузку категорий. Следует отметить, что исключались упоминания категорий, связанных с рекламной деятельностью, не содержащих сведений, релевантных целям исследования.

**Таблица 1. Результаты контент-анализа категорий «агенты, влияющие на воспринимаемую безопасность» соседского онлайн-сообщества «Пять углов»**

Агенты, влияющие на воспринимаемую безопасность	Тональность контекста упоминания		
	Положительный контекст упоминания	Отрицательный контекст упоминания	Нейтральный контекст упоминания
Посетители крыш («руферы»)	12	49	7
Посетители экскурсий	4	18	0
Посетители баров, ресторанов и т. д.	46	75	0
Туристы	11	10	2

Как следует из таблицы 1, наибольший отклик у членов сообщества получили проблемы, связанные с поведением посетителей ресторанов, рестораторов и «руферов». Необходимо отметить баланс коннотаций по категориям анализа: все рассмотренные агенты воспринимаются преимущественно негативно, кроме туристов. При описании туристов наблюдается паритет положительных и отрицательных оценок. Еще одна особенность, выявленная в ходе анализа текстового массива, заключается в малом количестве нейтральных суждений. Это можно

<sup>3</sup> Конкорданс — процедура формирования списка всех употреблений конкретного выражения, например слова или словосочетания в контексте, то есть в рамках предложений или абзацев.

объяснить сильной эмоциональной вовлеченностью участников дискуссий, склонных занимать полярные позиции: люди, которые могли бы высказываться нейтрально, вынуждены переходить к защите своей точки зрения под влиянием отрицательного опыта взаимодействия с «посторонними». Например, при обсуждении посетителей крыш один из пользователей в ответ на реплику «надо гнать подзатыльниками» указал иронично: «Вы что, в студенческие года не пили пиво на крышах Питера?». В данном случае в высказывании автора не содержится прямого одобрения деятельности «руферов», однако ироничный тон указывает на отсутствие негативного отношения к явлению как таковому.

Самая обсуждаемая тема паблика — большое количество кафе и баров на улице Рубинштейна. Ресторанная агломерация (так ее называет историк Лев Лурье) располагается в 40 домах улицы Рубинштейна, где обосновалось более 80 заведений общепита. С одной стороны, это самая известная и популярная ресторанный улица в России и Европе, соответственно, один из главных аттракторов для туристов, с другой стороны, серьезная проблема для соседского сообщества.

Необходимо отметить, что борьба соседей с рестораторами имеет более чем двадцатилетнюю историю, и характер претензий остается неизменным. Местные жители жалуются на постоянный шум по ночам, неадекватное поведение подвыпивших посетителей, сигаретный дым, громкую музыку («шум, пьяные посетители, грязь и вопли»). По словам соседей, на улице часто происходят стычки между пьяными компаниями, а местные дети вынуждены расти в окружении баров.

*Может, все-таки начать договариваться — «жильцы», «владельцы бизнеса» и: «клиенты»? Последним никто никогда не рассказывал о правилах; они пьют, орут, бюют (извините, видела) — и вы хотите, чтобы это нравилось жильцам (даже если это дамы, в адекватности которых вы сомневаетесь...)<sup>4</sup>. (45759)*

Поскольку мы анализировали тексты, созданные в период активных мероприятий против распространения коронавирусной инфекции, данная проблема обсуждалась сообществом соседей очень бурно. Поток посетителей, а также несанкционированная работа заведений общепита представляли собой главные угрозы распространения вируса и нарушали правила о санитарно-эпидемиологических ограничениях в условиях пандемии: «... всю пандемию шастали „жильцы“ [жильцы хостелов] без масок...» (2401); «постоянно нарушают постановление о самоизоляции, посетители выходят во двор без масок и перчаток, подвергая здоровье наших соседей опасности заражения коронавирусом<sup>5</sup>» (2402).

В отношении туристов риторика отличается незначительно. Постоянное присутствие в доме посторонних людей нарушает чувство безопасности и приватности

<sup>4</sup> Массив данных был выгружен из паблика социальной сети Facebook\* «Пять углов», в который вошли текстовые данные со «стен» сообщества, где от лица сообщества, администраторов и участников публикуются сообщения (посты); специальные обсуждения внутри сообщества; посты отдельных пользователей. Массив был систематизирован в таблице Excel и каждому отдельному высказыванию соответствует номер строки в хронологическом порядке. В целях сохранения анонимности источников мы не указываем никнеймы и реальные имена авторов. В скобках после каждого высказывания приводится номер строки массива.

<sup>5</sup> Речь о посетителях бара «Dovlatov», который работал с нарушениями весь период пандемии. Соседское сообщество дома № 27 по ул. Рубинштейна активно вело борьбу с заведением посредством жалоб в исполнительные инстанции.



пространства парадной, двора, улицы. Несанкционированные экскурсии удовлетворяют спрос туристов на возможность посмотреть сохранившиеся уникальные интерьеры, фасады, лестницы, двери, мозаики и притронуться к ним, пожить в «историческом» доме в центре города. Вместе с тем постоянное присутствие «любопытных» несет собой потенциальную угрозу как для личной безопасности соседей, так и для сохранности культурно-исторического наследия: «Приходите вымыть и почистить лестницу, дворники и жители этого не делают, а город сюда хороводами — не надо! ...» (47261).

Второй уровень проблемы — психологический дискомфорт, основными агентами которого выступают непосредственно рестораторы, держатели баров, арендаторы, экскурсоводы по парадным и крышам. Данный уровень напрямую связан с законодательными нарушениями в осуществлении предпринимательской деятельности организаций.

Незаконное подключение заведений бизнеса к общедомовым коммуникациям приводит к регулярным проблемам с канализацией и электричеством, а использование мусорных баков внутри дворовых территорий — к антисанитарии: «...Самое опасное в этом вовсе не шум, драки, а вмешательство в системы жизнеобеспечения дома. Не может быть десять унитазов там, где положено быть одному» (2393).

Незаконные и несанкционированные организованные экскурсии по крышам и парадным помимо постоянного присутствия «посторонних» как агентов угрозы личной безопасности вызывают серьезное раздражение, чувство беспокойства и гнев среди соседского сообщества. Посетители крыш воспринимаются в большинстве случаев в негативном свете: «Ночью страшно становится, когда эти руферы шастают по нашей крыше!!» (38743).

Основная проблема — это повреждение крыши и вероятность будущих протечек. «Руферы» в представлении жителей района «скачут», «шарахаются», «шастают» по крышам: «Они чуть ли не шашлыки жарят на крышах! Девчонки визжат, орут всякие поздравлялки и кричалки, пишут любовные признания на крышах 10-метровыми буквами...» (41713).

Посетители крыш характеризуются как «гопники», «мутные», «лоботрясы»: «Живу у Владимирской, убила бы этих лоботрясов!!!» (41726). Немногочисленные аргументы защитников отсылают к культурной значимости таких экскурсий: «У нас чудесные крыши» (41715), «В юности мы всегда ходили по крышам, рисовали и читали стихи» (46571). Среди нейтральных преобладают мнения о необходимости введения этого вида деятельности в правовое поле: «Есть несколько специально оборудованных для посещения крыш, плату взимают в пользу жильцов с их согласия» (2451).

Экскурсионные группы (по парадным, закрытым историческим дворам) схожим образом описываются преимущественно отрицательно. К примеру, соседи обсуждают участие организаторов экскурсий в коррупционной деятельности: «Мы боролись долго, ЖЭК, как выяснилось получал „на карман“ от этих экскурсоводов» (44809).

Кроме того, экскурсии создают много шума и своим присутствием мешают жизни местных жителей: «Экскурсовод громко рассказывает свои истории через рупор. Я вам честно говорю, что это был какой-то кошмар!..» (15871).

Отдельные положительные реплики касаются того, что туристические места привлекают внимание городских властей и в перспективе могут быть отреставрированы и благоустроены: «Появление экскурсий во дворе дома только радовало. За ним последовали: благоустройство и ремонт двора» (25187).

### *Объекты среды, связанные с воспринимаемой безопасностью*

Соседи сообщества «Пять углов» активно обсуждают объекты потенциальной физической опасности, напрямую связанные со средой их проживания. По результатам открытого кодирования были выявлены наиболее обсуждаемые объекты среды — элементы зданий (балконы, двери, окна, фасады зданий, балконы и пр.), парковочные места для личного автотранспорта, электросамокаты, тротуарные зоны.

Далее были отобраны те упоминания, в которых члены соседского сообщества «Пять углов» обсуждают потенциальную опасность объектов среды для своей жизни или те риски, которые они создают для их комфорта. В анализе не учитывались упоминания объектов среды, не содержащие коннотации опасности. Анализ контекста упоминания объектов среды позволил выделить степень опасности, которая выражена в таблице 2 по шкале «низкая — средняя — высокая». Интенсивность опасности определялась с помощью анализа контекстуального смысла в соответствии с вероятностью получения физических травм и угрозы жизни при взаимодействии с объектами среды с точки зрения самих жителей. Кроме того, степень опасности определялась в соответствии с выраженностью негативного сентимента в речевых маркерах, используемых жителями для описания объектов среды. Например, концепты «рухнет», «изуродует», «покалечит» отражают высокую степень опасности, под которой понимается непосредственная угроза жизни и здоровью в результате взаимодействия с объектами среды. Так, электросамокаты в представлении жителей обладают высокой степенью опасности, жители часто упоминают возможные и полученные травмы вследствие столкновений с людьми на них: «Год назад на переходе в нее врезалась самокатчица. Итог: через три месяца сложнейшая операция на позвоночнике» (45410). К средней степени опасности были отнесены сложности пешеходной и транспортной мобильности, угроза «чужих» и плохое материальное состояние объектов, нарушение их функциональности. К низкой степени опасности отнесены проблемы визуального состояния среды, неухоженность, шум. При средней и низкой воспринимаемой опасности используется лексика, имеющая менее выраженный негативный сентимент, например: «А сейчас никто особо работать не хочет — посыпали тротуары этой мерзостью, снег стал мокрым и черным» (30911) однако отсутствуют коннотации с прямой физической угрозой для жителей.

Таблица 2. **Субъективные оценки соседского сообщества в отношении степени опасности объектов среды проживания «Пять углов»**

Объекты воспринимаемой безопасности	Степень исходящей опасности		
	Низкая	Средняя	Высокая
Элементы архитектуры (фасады зданий, балконы, барельефы)	34	15	23
Парковочные места	22	16	0
Пешеходные зоны	25	74	48

В таблице 2 представлено количество упоминаний объектов среды в соответствии со степенью воспринимаемой опасности. Наиболее остро стоит вопрос угроз, которые представляют собой пешеходные зоны (147 упоминаний) и элементы архитектуры (72 упоминания). Пешеходные зоны вызывают тревогу вследствие неконтролируемого использования электросамокатов. Данный способ передвижения пользуется высокой популярностью у туристов для преодоления больших расстояний при прогулке по городу. Однако отсутствие адекватного правового регулирования, высокие скоростные характеристики, свободная доступность аренды делают это средство передвижения непосредственной угрозой для здоровья и жизни пешеходов. Люди на электросамокатах перемещаются преимущественно по непригодным для этого тротуарным зонам: «Вот и представьте, свалится такой детина или девица с самокатом на кого-то, это 100 кг, и еще на скорости!!!» (45440)

*А прокат электросамокатов как-то регламентируется, узаконен в центре города? Вся вот эта, я бы сказала, дикая вакханалия с безумным количеством катающихся по тротуарам компаний? Сегодня дважды чуть не оказалась под колесами, один раз было совсем страшно. Потому что травмы были бы вероятно критическими. (45398)*

Жители также отмечают физические потенциально опасные характеристики тротуаров, а именно их небольшую ширину (поэтому на них не хватает места для всех участников движения) и их плохую уборку городскими службами в зимнее время года: «С дочкой еле прошли, чуть не упали, ни капельки соли, очень скользко на тротуаре» (23807); «Два встречных потока пешеходов не помещаются на оставшейся узкой полоске тротуара» (43447).

Как источник опасности соседи воспринимают плохое состояние фасадов исторических зданий и их элементов — балконов, барельефов и пр., обрушение которых время от времени становится причиной травм: «Все чаще и чаще на головы летят штукатурка, лепнина, балконы, части кровли» (8775).

Менее опасными в сравнении с другими объектами среды считаются парковочные места. Отсутствие достаточного количества специализированных стоянок приводит к тому, что личный автотранспорт паркуется на тротуарах, во дворах, около остановок общественного транспорта, мешая передвижению пешеходов и других автомобилей: «...очередной мерс, вставший ровно на пешеходном переходе...» (18063); «Действительно, очень сложно их обходить. Иногда задумываешься, а не носить ли с собой какой-нибудь острый металлический предмет для таких случаев» (18088).

Кроме того, по мнению жителей, несанкционированная парковка приводит к сокращению городского пространства, которое могло бы использоваться для оптимальной организации уличного фронта: «Да и вопрос с террасами был бы решен — тротуар, если убрать запаркованных, широкий же» (44628).

Таким образом, с точки зрения участников сообщества «Пять углов», высокую степень опасности представляют такие объекты среды, как пешеходные зоны (в случае взаимодействия пешеходов и электросамокатов) и элементы архитектурных сооружений (в случае разрушения и падения их элементов). Пешеходные

зоны упоминаются и как объекты с низкой опасностью, когда речь идет об узких и грязных тротуарах с припаркованными на них автомобилями, препятствующими перемещениям пешеходов, а также как объекты со средней опасностью в зимнее время, когда обледеневшее тротуарное покрытие не убирается и провоцирует падения.

### *Низовые практики сообщества по обеспечению безопасности*

Проживание в центральной исторической части города имеет латентный конфликтный потенциал, так как это территория оспаривания со множественными внешними интересантами, привлеченными брендом центральных локаций и их функциональным и визуальным разнообразием — туристами, бизнесом, жителями других районов города.

Соседское сообщество за годы существования ресторанной агломерации выработало устойчивые практики социального контроля, проявляющиеся в разнообразных формах — от коллективного участия до публичного контроля со стороны исполнительных органов. Коллективное участие горожан представляет собой самоорганизованную низовую инициативную деятельность, где основными практиками выступают пикетные мероприятия (например, акция протестных плакатов, которые соседи дома вывешивали во время ежегодного форума юристов, когда улица полностью перекрывалась для вечерних развлекательных мероприятий); коллективные письма муниципальным, региональным, федеральным органам власти, губернатору, президенту РФ; коллективные договоренности с держателями ресторанов.

Особого внимания заслуживают практики соседского сообщества по защите своего пространства от агентов-нарушителей. Обсуждения соседского сообщества содержат дискурс о технических методах защиты среды, таких как замки, камеры, заборы, домофоны, а также о методах человеческого контроля — наем консьержей, охранников, «специальных» людей:

*Мы, чтобы по нам не ходили (наша крыша была проходной к Владимирской), накрутили в пять слоев колючую проволоку. Купили с запасом, постоянно подкладывали новую. (44808)*

*В одном доме на пару недель наняли колоритного мужика с бейсбольной битой. Никого не бил, но выглядел так, что народ бежал вниз ... (но где ж такого найти) ... (44809)*

*Есть домофоны, которые не взламываются. И электромагниты, которые не позволяют открыть дверь сильным рывком. Как насчет сигнализации и приезжающих за 10 минут людей с автоматами? Не навсегда, а на несколько месяцев, чтобы отучить. (44807)*

Можно констатировать, что в условиях низкого (воспринимаемого) публичного контроля со стороны органов исполнительной власти и муниципальных служб наблюдается готовность соседей к коллективным действиям (местному контролю [Hunter, 1985]).

## Заключение

В рамках исследования на примере дискурса соседского онлайн-сообщества продемонстрирован процесс коллективного осмысления основных угроз и тревог, связанных с конкретной городской средой проживания. Пример соседского онлайн-сообщества «Пять углов» иллюстрирует, как особенности среды проживания определяют субъективные оценки жителей в отношении безопасности, а также какую роль здесь играют социо-материальные особенности среды — ее материальное и физическое состояние, наличие различных городских агентов.

Территория исторического центра города — это среда латентного конфликта между множественными агентами, претендующими на использование пространства в своих интересах, зона, которую оспаривают как жители, так и внешние заинтересованные стороны, привлеченные атмосферой, функциональным наполнением и визуальным разнообразием среды: туристы, бизнесмены, посетители из других районов города. Благодаря осмыслению окружающего контекста в коммуникации онлайн-сообществ в дискурсе городской среды проявляется и концептуализация безопасности как базовой потребности. В дискурсе сообщества были выделены основные конфликтогенные компоненты среды — ее агенты и объекты, которые, по мнению соседей, представляют угрозу безопасному и комфортному проживанию. Обнаружено, что в качестве агентов опасности соседи представляют обобщенных «посторонних» — туристов, «руферов», экскурсоводов, а объектами среды, несущими риски для благополучия, — пешеходные пути, элементы зданий и парковки. Соседи категоризируют объекты среды высокой, средней и низкой степени опасности в соответствии с вероятностью угрозы жизни и здоровью, используя для этого речевые маркеры с разным уровнем выраженности негативного сентимента.

В соседском дискурсе также проявляются описания коллективных действий по устранению рисков среды, которые жители готовы предпринимать. Это самоорганизованные низовые практики по внедрению в среду дополнительных материальных и технических элементов, способных обеспечить безопасность, — домофонов, замков, камер видеонаблюдения, а также по усилению социального контроля над территорией за счет приглашения агентов — консьержей, охранников и специальных людей, которые выглядят «устрашающе» и становятся воплощением защищающегося соседства.

Изучение дискурса соседских онлайн-сообществ представляется перспективным для определения обсуждаемых в них ценностей, рисков и угроз среды. Дискурс отражает субъективно воспринимаемые и значимые для соседей состояния среды и позволяет выявить оценку воспринимаемой безопасности. Для полноценного анализа рисков и угроз среды исследование соседского дискурса может дополняться изучением объективных данных о них. Однако именно категоризация жителями компонентов среды, представляющих опасность, а также их причин позволяет выявить наиболее общественно значимые факторы ощущения (без)опасности.

## Список литературы (References)

Козырева П. М., Смирнов А. И. (Без)опасный квартал: как оценивается уровень уличной преступности // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 17 / отв.

ред. М. К. Горшков. М.: Новый Хронограф, 2019. С. 454—477. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2019.19>.

Kozyreva P. M., Smirnov A. I. (2019) How Dangerous Are the Streets in the Neighborhood. In: Gorshkov M. K. (ed.) *Reforming Russia*. Vol. 17. Moscow: New Chronograph. P. 454—477. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2019.19>. (In Russ.)

Ненько А. Е., Недосека Е. В. Ценности городской среды в дискурсе соседских онлайн-сообществ // Журнал социологии и социальной антропологии. 2022. Т. 25. № 1. С. 217—251. <https://doi.org/10.31119/jssa.2022.25.1.8>.

Nenko A., Nedoseka E. (2022) Urban Environment Values in Discourse of Online Neighbouring Communities. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 25. No. 1. P. 217—251. <https://doi.org/10.31119/jssa.2022.25.1.8>. (In Russ.)

Тыканова Е. В., Тенишева К. А. Восприятие беспорядка и социальный контроль в новых жилых массивах: опыт социологического исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 4. С. 232—257. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.4.1918>.

Tykanova E. V., Tenisheva K. A. (2021) Perception of Disorder and Social Control in the New Condominiums: Results of a Sociological Study. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 232—257. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.4.1918>. (In Russ.)

Фролова Е. В., Медведева Н. В., Сеничева Л. В., Бондалетов В. В. Защищенность граждан от преступных посягательств в современной России: основные тенденции и детерминанты // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 525—537.

Frolova Ye. V., Medvedeva N. V., Senicheva L. V., Bondaletov V. V. (2015) The Security of Citizens Against Criminal Offences in Modern Russia: Key Tendencies and Determinants. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*. Vol. 9. No. 3. P. 525—537. (In Russ.)

Чернышева Л. А. Российское гетто: воображаемая маргинальность новых жилых районов // Городские исследования и практики. 2019. Т. 4. № 2. С. 37—58.

Chernysheva L. A. (2019) Russian Ghetto: The Imaginary Marginality of New Housing Estates. *Urban Studies and Practices*. Vol. 4. No. 2. P. 37—58. (In Russ.)

Шлыкова Е. В. Субъективная оценка личной безопасности как показатель адаптированности к рискованной среде // Социологический журнал. 2018. Т. 24. № 3. С. 56—75. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.24.3.5993>.

Shlykova E. V. (2018) Subjective Assessment of Personal Security as an Indicator of Adaptation to a Risky Environment. *Sociological Journal*. Vol. 24. No. 3. P. 56—75. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.24.3.5993>. (In Russ.)

Юдина Т. Н., Фролова Е. В., Танатова Д. К., Родимушкина О. В., Долгорукова И. В. Безопасность личности и виктимные опасения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. 20. № 1. С. 114—127. <https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.1.7>.

Yudina T. N., Frolova Ye. V., Tanatova D. K., Dolgorukova I. V., Rodimushkina O. V. (2017) Human Security and Fear of Victimization. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 20. No. 1. P. 114—127. <https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.1.7>. (In Russ.)

Afzalan N., Muller B. (2014) The Role of Social Media in Green Infrastructure Planning: A Case Study of Neighborhood Participation in Park Siting. *Journal of Urban Technology*. Vol. 21. No. 3. P. 67—83. <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.940701>.

Brunton-Smith I., Sturgis P. (2011) Do Neighborhoods Generate Fear of Crime? An Empirical Test Using the British Crime Survey. *Criminology*. Vol. 49. № 2. P. 331—369. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2011.00228.x>

Black D. J. (1984) *Toward a General Theory of Social Control: Fundamentals*. Orlando, FL: Academic Press.

De Silva C. S., Warusavitharana E. J., Ratnayake R. (2017) An Examination of the Temporal Effects of Environmental Cues on Pedestrians' Feelings of Safety. *Computers, Environment and Urban Systems*. Vol. 64. P. 266—274. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.03.006>.

Di Masso A., Dixon J., Pol E. (2011) On the Contested Nature of Place: 'Figuera's Well', 'The Hole of Shame' and the Ideological Struggle over Public Space in Barcelona. *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 3. No. 3. P. 231—244. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2011.05.002>.

Doran B. J., Burgess M. B. (2012) *Putting Fear of Crime on the Map. Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems*. New York, NY: Springer.

Evans-Cowley J., Hollander J. (2010) The New Generation of Public Participation: Internet-Based Participation Tools. *Planning Practice & Research*. Vol. 25. No. 3. P. 397—408. <https://doi.org/10.1080/02697459.2010.503432>.

Bannister J., Fyfe N., Kearns A. (2006) Respectable or Respectful? (In)Civility and the City. *Urban Studies*. Vol. 43. No. 5—6. P. 919—937. <https://doi.org/10.1080/00420980600676337>.

Hunter A. D. (1985) Private, Parochial and Public School Orders: The Problem of Crime and Incivility in Urban Communities. In: Suttles G., Zald M. (eds.) *The Challenge of Social Control: Institution Building and Systematic Constraint*. P. 230—242. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

Kyttä M., Kuoppa J., Hirvonen J., Ahmadi E., Tzoulas T. (2014) Perceived Safety of the Retrofit Neighborhood: A Location-Based Approach. *Urban Design International*. Vol. 19. No. 4. P. 311—328. <https://doi.org/10.1057/udi.2013.31>.

Lapham S. C., Cohen D. A., Han B., Williamson S., Evenson K. R., McKenzie T. L., Hillier A., Ward P. (2016) How Important Is Perception of Safety to Park Use? A Four-City Survey. *Urban Studies*. Vol. 53. No. 12. P. 2624—2636. <https://doi.org/10.1177/0042098015592822>.

Lappas G., Triantafyllidou A., Kani A. (2022) Harnessing the Power of Dialogue: Examining the Impact of Facebook Content on Citizens' Engagement. *Local Government Studies*. Vol. 48. No. 1. P. 87—106. <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1870958>.

Lindblad M. R., Manturuk K. R., Quercia R. G. (2013) Sense of Community and Informal Social Control among Lower Income Households: The Role of Homeownership and Collective Efficacy in Reducing Subjective Neighborhood Crime and Disorder. *American Journal of Community Psychology*. Vol. 51. No. 1—2. P. 123—139. <https://doi.org/10.1007/s10464-012-9507-9>.

Lopez N., Lukinbeal C. (2010) 'Comparing Police and Residents' Perceptions of Crime in a Phoenix Neighborhood using Mental Maps in GIS. *Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers*. Vol. 72. No. 10. P. 33—55. <https://doi.org/10.1353/pgc.2010.0013>.

Morgan J. D., Snyder J. A., Evans S. Z., Evans J., Greller R. (2017) Mapping Perceptions of Safety in Parks. *The Florida Geographer*. Vol. 49. URL: <https://journals.flvc.org/flgeog/article/view/105570> (accessed: 26.09.2022).

Morrall P., Marshall P., Pattison S., Macdonald G. (2010) Crime and Health: A Preliminary Study into the Effects of Crime on the Mental Health of UK University Students. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*. Vol. 17. No. 9. P. 821—828. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01594.x>.

Newman O. (1972) *Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design*. New York, NY: Macmillan.

O'Brien D. T. (2015) Custodians and Custodianship in Urban Neighborhoods: A Methodology Using Reports of Public Issues Received by a City's 311 Hotline. *Environment and Behavior*. Vol. 47. No. 3. P. 304—327. <https://doi.org/10.1177/0013916513499585>.

Quillian L., Pager D. (2010) Estimating Risk: Stereotype Amplification and the Perceived Risk of Criminal Victimization. *Social Psychology Quarterly*. Vol. 73. No. 1. P. 79—104. <https://doi.org/10.1177/0190272509360763>.

Pánek J., Ivan I., Macková L. (2019) Comparing Residents' Fear of Crime with Recorded Crime Data —Case Study of Ostrava, Czech Republic. *ISPRS International Journal of Geo-Information*. Vol. 8. No. 9. P. 401. <https://doi.org/10.3390/ijgi8090401>.

Pidgeon N., Henwood K. (1998) Using Grounded Theory in Psychological Research. In Hayes N. (ed.) *Doing Qualitative Analysis in Psychology*. P. 135—140. Hove: Psychology Press.

Phillips T., Smith P. (2003) Everyday Incivility: Towards a Benchmark. *The Sociological Review*. Vol. 51. No. 1. P. 85—108. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.00409>.

Steinmetz C., Rahmat H., Marshall N., Bishop K., Thompson S., Park M., Corkery L., Tietz C. (2021) Tweeting and Posting: An Analysis of Community Engagement through Social Media Platforms. *Urban Policy and Research*. Vol. 39. No. 1. P. 85—105. <https://doi.org/10.1080/08111146.2020.1792283>.



- Valera S., Guardia J. (2014) Perceived Insecurity and Fear of Crime in a City with Low-Crime Rates. *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 38. P. 195—205. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.02.002>.
- Vilalta C. J. (2011) Fear of Crime in Gated Communities and Apartment Buildings: A Comparison of Housing Types and a Test of Theories. *Journal of Housing and the Built Environment*. Vol. 26. P. 107—121. <https://doi.org/10.1007/s10901-011-9211-3>.
- Warner B. D. (2007) Directly Intervene or Call the Authorities? A study of Forms of Neighborhood Social Control within a Social Disorganization Framework. *Criminology*. Vol. 45. No. 1. P. 99—129. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2007.00073.x>.
- Warr M. (2000) Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy. *Criminal Justice*. Vol. 4. No. 4. P. 451—483.
- Wellman B., Wortley S. (1990) Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support. *American Journal of Sociology*. Vol. 96. No. 3. P. 558—588. <https://doi.org/10.1086/229572>.
- Wilson J. Q., Kelling G. L. (1982) Broken Windows. *Atlantic Monthly*. Vol. 249. No. 3. P. 29—38.
- Wittgenstein L. (1953) *Philosophical Investigations*. New York, NY: Macmillan.
- Wyant B. R. (2008) Multilevel Impacts of Perceived Incivilities and Perceptions of Crime Risk on Fear of Crime: Isolating Endogenous Impacts. *Journal of Research in Crime and Delinquency*. Vol. 45. No. 1. P. 39—64. <https://doi.org/10.1177/0022427807309440>.
- Zhang L., Messner S. F., Zhang S. (2017) Neighborhood Social Control and Perceptions of Crime and Disorder in Contemporary Urban China. *Criminology*. Vol. 55. No. 3. P. 631—663. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12142>.

# МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

## Правильная ссылка на статью:

Мониторинг мнений (ВЦИОМ): сентябрь — октябрь 2022 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 216—230.

## For citation:

Public Opinion Poll (VCIOM): September — October 2022. (2022) *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 216–230.

## МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022

Результаты ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

## СОДЕРЖАНИЕ ДАЙДЖЕСТА

### ПОЛИТИКА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ — 2022 .....217

РОССИЯ БЕЗ ШЕНГЕНА .....219

### СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СБЕРЕЖЕНИЯ И ВКЛАДЫ НА ФОНЕ СВО ..... 221

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДОМА.....223

### ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН, ИЛИ О ЛЮБВИ НА РАБОТЕ ..... 225

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАЗДНОВАНИЙ: ЗА И ПРОТИВ..... 227

ТАКСИ В РОССИИ: МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ..... 229

## ПОЛИТИКА

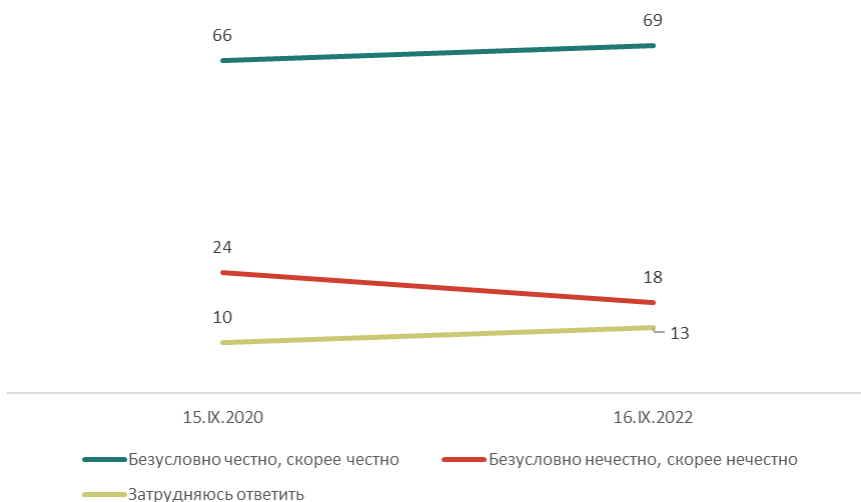
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ — 2022 .....	217
РОССИЯ БЕЗ ШЕНГЕНА .....	219

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ — 2022<sup>1</sup>

16 сентября 2022 г.

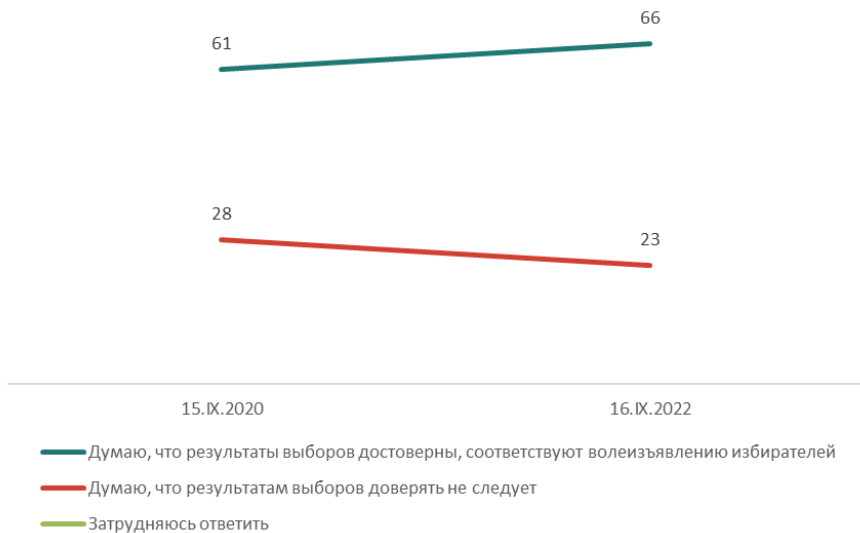
С 9 по 11 сентября в регионах России прошли местные выборы. Информированность россиян о прошедших региональных выборах высокая — 84% ответили, что знают или слышали об этом. Узнали об этом впервые 16%. Более половины наших соотечественников уверены, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений и фальсификаций. Противоположной точки зрения придерживаются 18%. Респонденты оценивают результаты состоявшихся региональных выборов в их регионе в целом как достоверные: по мнению 66%, они соответствуют волеизъявлению избирателей. Считают, что результатам выборов доверять не следует, почти четверть опрошенных — 23% соответственно.

**Рис. 1. Как Вы думаете, выборы в Вашем регионе / населенном пункте прошли в целом честно, без серьезных нарушений, фальсификаций, или нечестно, с серьезными нарушениями и фальсификациями? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто декларируют проведение выборов в своем регионе / населенном пункте)**



<sup>1</sup> Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

**Рис. 2. Как Вам кажется, в какой мере можно доверять результатам местных выборов в Вашем регионе / населенном пункте? (в % от тех, кто декларируют проведение выборов в своем регионе / населенном пункте)**



## РОССИЯ БЕЗ ШЕНГЕНА

11 сентября 2022 г.

За последние пять лет заграничные поездки совершали 23% россиян. Из них 9% посетили страны Шенгенской зоны (Германия, Италия, Испания, Франция и др.), вдвое больше наших соотечественников были там, где виза не требуется (17%). Самым популярным заграничным направлением стала Турция, за последние пять лет там побывало столько же человек, сколько и в странах Шенгенской зоны вместе взятых — 8% (vs. 9%). Она не только выигрывает по таким параметрам, как близость, доступность, высокий уровень сервиса и простота въезда, но и входит в топ-5 наиболее дружественных России стран<sup>2</sup>. Не выезжали за границу последние пять лет 77% респондентов. Среди граждан со средним образованием и ниже, селян и активных телезрителей таких большинство (90%—97%, 90% и 96% соответственно).

Рис. 3. Скажите, пожалуйста, Вы выезжали за границу, в другие страны в последние пять лет или нет? Если да, то какие страны Вы посещали чаще всего? (открытый вопрос, % от всех опрошенных)



С учетом невысокой востребованности заграничных поездок ожидаема и доля имеющих соответствующие документы. На сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза — только у 2%. В группе тех, кто за последние пять лет бывал за границей, показатели ощутимо выше — 76% и 8% соответственно. Ничего из перечисленного нет у 70% наших сограждан. Похвастаться наличием загранпаспорта могут в основном «типичные путешественники»: 35—44-летние (39%), высокообразованные (45%), финансово обеспеченные (37%) и жители обеих столиц (52%). Получать или обновлять загранпаспорт в ближайшее время планирует каждый восьмой (12%). В группе его нынешних обладателей — 20%, каждый пятый. В связи с этим можно предположить, что речь идет скорее о замене существующего документа, нежели о получении нового: те, кто путешествовал, продолжит заграничные поездки, а кто не выезжал за пределы России, едва ли

<sup>2</sup> По данным августовского опроса ВЦИОМ, 17% россиян назвали Турцию дружественной России страной.

сделает это в обозримом будущем. Непростая геополитическая ситуация не помеха путешествиям для молодежи 18—34 лет (16%—21%) и жителей мегаполисов (20%). Получать шенгенскую визу в ближайшее время планирует лишь 1% опрошенных, на основе чего можно сделать вывод, что усложнение процедуры выдачи визы коснется в России абсолютного меньшинства граждан.

**СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ**

СБЕРЕЖЕНИЯ И ВКЛАДЫ НА ФОНЕ СВО .....	221
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДОМА .....	223

**СБЕРЕЖЕНИЯ И ВКЛАДЫ НА ФОНЕ СВО<sup>3</sup>**

2 сентября 2022 г.

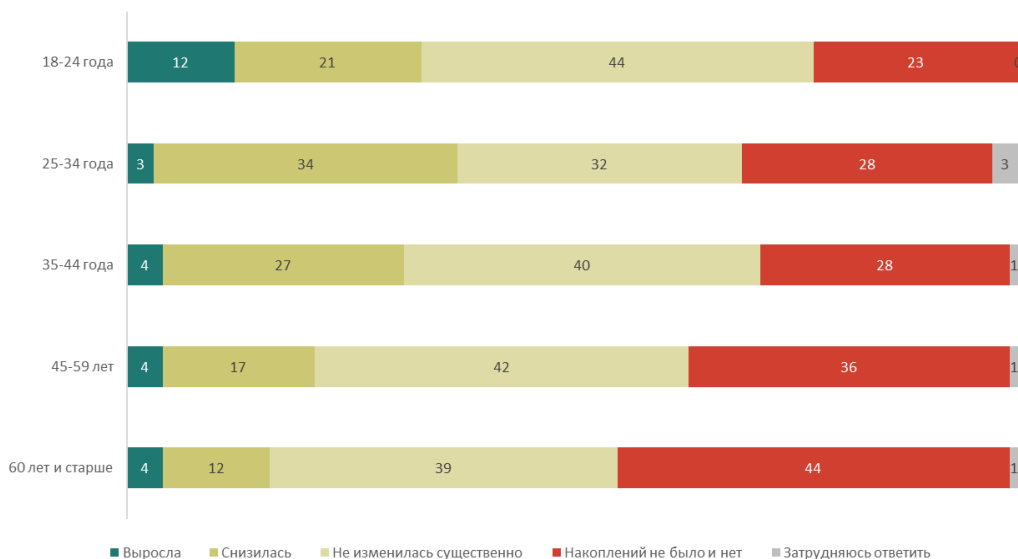
Максимум готовности доверить сбережения банкам у россиян пришелся на 2017 г. — 53 %, далее показатель снизился (2018 г. и 2019 г. — 46 %, 2020 г. — 33 %, 2021 г. — 35 %) и в текущем периоде составил 34 %. С 2020 г. превалирует доля тех, кто считает, что сейчас, если есть деньги в банке, лучше их забрать (2020 г. — 46 %, 2021 г. — 41 %, 2022 г. — 35 %). За два года показатель сократился на 11 п. п., по-видимому, это является следствием стабилизации инвестиционных стратегий после пандемии. Большинство наших соотечественников признались, что не хотели бы иметь ни счет в зарубежном банке (88 %), ни наличную валюту (80 %), даже если бы у них были такие возможности. Однако валюта кажется более привлекательной, чем счет в зарубежном банке (13 % vs. 9 %). Говоря о том, в чем хранить сбережения, если бы пришлось делать выбор между рублем и иностранной валютой, большинство респондентов делают выбор в пользу отечественной валюты — 64 %. Доллары называют 8 %, а евро — 3 %. Более привлекательными, чем доллар и евро, для россиян оказался юань — 10 %. Еще одна распространенная стратегия — хранить сбережения не в валюте, а в альтернативных активах — недвижимость, металлы, акции и прочее, ее предпочли бы 44 %. На модель сбережений в большей степени оказывают влияние такие факторы, как пол, возраст, урбанизированность и медиапотребление. Вкладываться в валюту или альтернативные активы чаще готовы мужчины, жители крупных городов, молодежь и аудитория с высшим образованием. Выбирая между банками и хранением наличности дома, каждый второй предпочел бы промежуточный вариант: часть денег в банке, а часть дома (47 %). За 12 лет популярность этого варианта выросла в 1,5 раза (2010 г. — 31 %). Банки пока проигрывают наличности (18 % vs. 24 %).

Более трети россиян указали, что специальная военная операция и западные санкции не оказали существенного влияния на их накопления (39 %). Каждый пятый признался, что на фоне этих событий сумма его накоплений снизилась (21 %). Приумножить капитал смогли 5 % наших сограждан. В общей сложности на сегодняшний день накопления есть у 53 % тех, кто обладал ими до начала СВО и введения западных санкций. Большинство имеющих накопления отметили, что никак не меняли структуру своих сбережений после начала СВО (78 %). На данном этапе у населения превалирует не инвестиционная, а сберегательная модель, это обусловлено не только неопределенностью экономических перспектив, но и невысоким доверием банковской системе, особенно это характерно для женщин и россиян старше 45 лет. Инвестиционный интерес выше у мужчин и молодежи. Удовлетворенность материальным положением играет в пользу привычных спо-

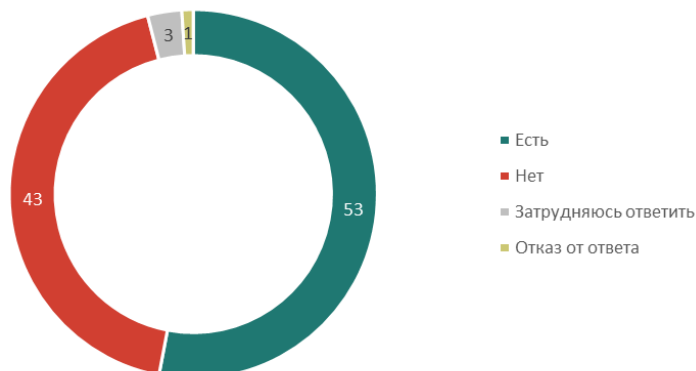
<sup>3</sup> Результаты опроса ВЦИОМ в рамках специального проекта с РБК.

собов распоряжения финансами — банковские вклады, хранение в рублях. Среди россиян, которые считают свои доходы низкими, склонность к финансовому риску оказывается выше — они меньше доверяют банковской системе, склоняются к тому, что сейчас лучше забрать деньги из банков, но чаще говорят о том, что хотели бы купить валюту, доллары или евро.

**Рис. 1. По Вашей оценке, после начала специальной военной операции на Украине и введения западных санкций, общая сумма Ваших накоплений выросла, сократилась или существенно не изменилась? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)**



**Рис. 2. На сегодняшний день у Вас (у вашей семьи) есть сбережения, денежные накопления или сбережений, денежных накоплений нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, у кого были накопления)**



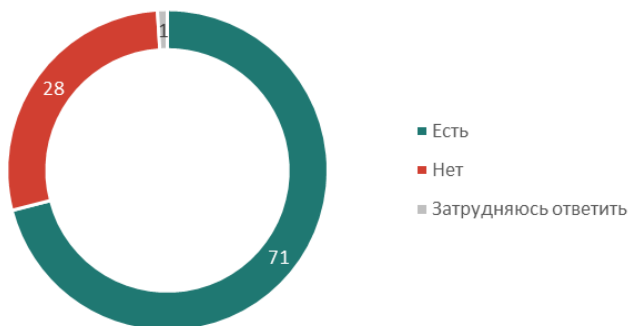


**ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДОМА<sup>4</sup>**

15 октября 2022 г.

По мнению россиян, большинство бездомных могут вернуться к нормальной жизни только при посторонней помощи (65%), 16% верят, что таким людям под силу самостоятельно вернуться к обычной жизни, не верят в такую возможность в принципе 9%. Примерно каждый третий респондент (27%) знает, что по месту его проживания есть организации, которые помогают бездомным — кормят их, дают одежду, временно размещают у себя и так далее. Столько же признались, что ничего не знают о местах, где можно получить помощь в ситуации бездомности (27%). Не уверены, но предполагают наличие таких организаций 17%, чуть меньше, напротив, склоняются к их отсутствию (12%), твердо убеждены, что таких организаций нет, — 14%. Большинство (77%) наших сограждан допускают для себя возможность в течение ближайшего года поддержать благотворительную организацию или фонд, помогающие бездомным людям. Чаще всего выбирают вещевой, продуктовый вид помощи (53%) или разовый перевод денег (31%). Реже люди готовы стать волонтерами (11%), оказать профессиональную услугу (7%) или оформить подписку на регулярную финансовую помощь (5%). В рейтинге условий, которые повышают вероятность оказания помощи, первые места занимают уверенность в том, кому / на что пойдут деньги (43%), отчет от фонда об использовании средств (26%), возможность помочь конкретному человеку и помощь не только отдельным людям, но системное решение проблемы (по 24%), а также успешная работа фонда (21%) и организованный сбор по месту работы (20%). В меньшей степени на решение людей могут повлиять такие условия, как представление фонда известным человеком (8%), реклама фонда или возможность рассказать в социальных сетях о том, что поддержали фонд (по 4%), включение в публичный список помогающих лиц (3%). Иными словами, для граждан важнее ощущаемый результат от их помощи, вложений личных ресурсов в решение проблемы, чем реклама фонда или публичность поддержки.

**Рис. 3. У Вас есть или нет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории России — квартиру, дом, апартаменты? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)**



<sup>4</sup> Результаты про бопо исследования ВЦИОМ, проведенного совместно с благотворительной организацией «Ночлежка».

**Рис. 4. Что, на Ваш взгляд, может повысить вероятность того, что Вы пожертвуете деньги или вещи благотворительной организации или фонду, помогающему бездомным? Можете выбрать до пяти ответов (закрытый вопрос, до 5-ти ответов, % от всех опрошенных)**



## ОБРАЗ ЖИЗНИ

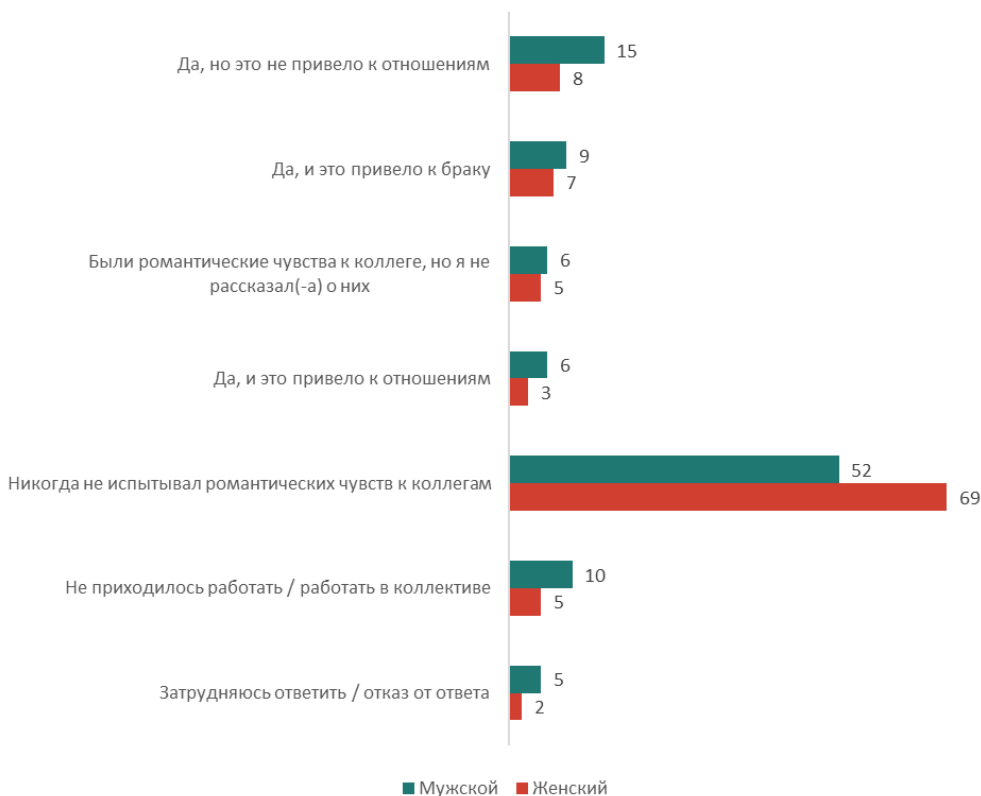
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН, ИЛИ О ЛЮБВИ НА РАБОТЕ .....	225
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАЗДНОВАНИЙ: ЗА И ПРОТИВ .....	227
ТАКСИ В РОССИИ: МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .....	229

## СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН, ИЛИ О ЛЮБВИ НА РАБОТЕ

10 сентября 2022 г.

Почти треть россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам (28%). В 11% случаев это не привело к отношениям, но 8% закончились браком. Еще 5% не решились рассказать о своих чувствах коллеге, а 4% признались, что какое-то время находились в отношениях с коллегой. Женщины чаще, чем мужчины, говорят, что никогда не испытывали романтических чувств к коллегам (69% vs. 52%).

**Рис. 1. В жизни бывает всякое. Скажите, у Вас когда-нибудь случался или нет «служебный роман», романтические отношения с коллегой по работе? И, если да, то к чему это привело? Вы можете выбрать несколько вариантов ответа, если у Вас такие отношения были несколько раз (закрытый вопрос, до 4-х ответов)**



За 10 лет россияне стали чаще говорить, что служебный роман вполне может стать началом серьезных отношений (2012 г.— 37 %, 2022 г.— 50 %) и после окончания отношений коллеги могут продолжать работать вместе эффективно (2012 г.— 36 %, 2022 г.— 48 %). Каждый второй россиянин выступает против запрета отношений на рабочем месте, показатель вырос в 1,7 раза (2012 г.— 29 %, 2022 г.— 48 %), при этом доля готовых поддержать такой запрет не изменилась за 10 лет — 27 %. В то же время в обществе укрепилась позиция, что служебные романы вредят рабочему процессу (2012 г.— 49 %, 2022 г.— 66 %), а люди, работающие в одном коллективе, не должны выходить за рамки служебных отношений (2012 г.— 31 %, 2022 г.— 40 %). С одной стороны, это выглядит как противоречие, но, с другой, может объясняться одновременным усилением и трендов корпоративного регулирования, и трендов на автономию личности, невмешательства работодателя в личную жизнь работников.

## НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАЗДНОВАНИЙ: ЗА И ПРОТИВ

14 октября 2022 г.

На фоне частичной мобилизации некоторые регионы в России объявили об отмене предстоящих новогодних мероприятий с целью перераспределения свободных средств на нужды военнослужащих. О том, что власти ряда регионов и городов предложили в этом году не проводить праздничные гуляния, в той или иной мере известно 59 % россиян. Знают об этой мере более трети опрошенных (39 %), наслышан без подробностей каждый пятый — 20 %. Впервые узнали о данном решении в ходе опроса 41 %. Несмотря на то что инициативу поддержало ограниченное число регионов, респонденты в целом выразили готовность отказаться от праздничных гуляний в этом году.

**Рис. 2. Если в Вашем регионе власти примут или уже приняли решение не проводить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан, Вы скорее поддерживаете или не поддерживаете такое решение? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)**



Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74 %). Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47 % из числа сторонников инициативы). Четверть аргументируют свою точку зрения неуместностью увеселительных мероприятий в период проведения специальной военной операции (24 %). Еще 7 % полагают, что это позволит ускорить окончание СВО, 6 % отмечают важность моральной поддержки военнослужащих. Альтернативное мнение высказали 17 %, среди молодежи 18—24 лет противников идеи отмены праздничных гуляний почти вдвое больше — 30 %. В первую очередь граждане объясняют свою позицию необходимостью отвлечься, отдохнуть (18 % в группе тех, кто не поддерживает решение). Примерно столько же считают, что детей не следует оставлять без праздника («дети ни при чем», «детям нужен праздник» — 17 %). Встречались и те, кто считает, что СВО должна финан-

сироваться за счет иных источников (12%), а экономить на празднике не стоит (10%). В вопросе отказа от новогодних корпоративов россияне оказались менее единодушны. Каждый второй полагает, что в этом году организациям стоит отказаться от их проведения (54%), 30% выступают за корпоративное празднование Нового года. У 16% опрошенных этот вопрос вызвал затруднения.

**Рис. 3. Одни считают, что в этом году компаниям и организациям стоит отказаться от проведения новогодних корпоративов, другие считают, что новогодние празднования надо провести как обычно. Какая точка зрения ближе Вам? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)**

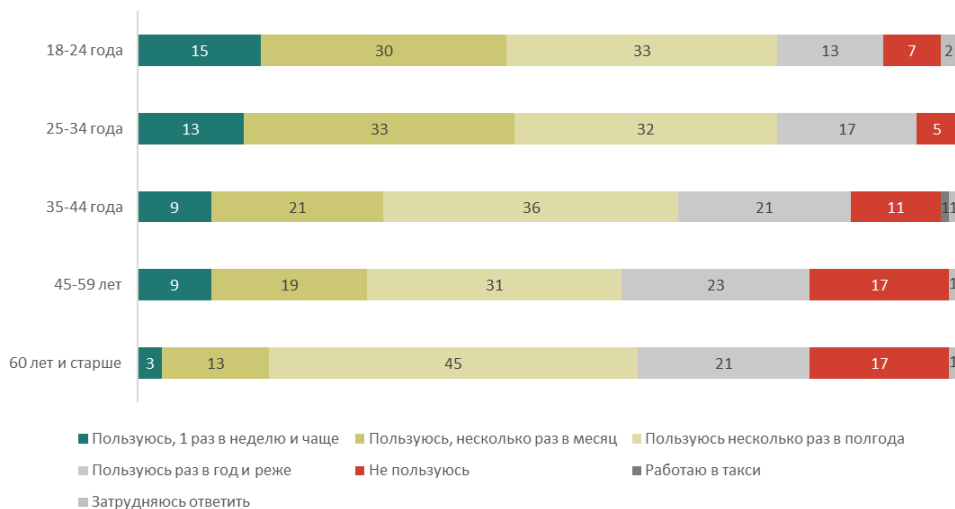


## ТАКСИ В РОССИИ: МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ<sup>5</sup>

21—23 октября 2022 г.

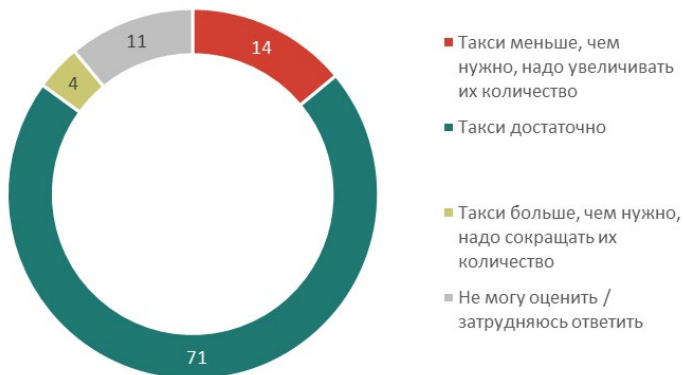
На сегодняшний день развитость услуг такси россияне оценивают выше, чем развитость маршрутов общественного транспорта (71 % vs. 50 % соответственно). Пропускную способность дорог россияне оценивают ниже — в общей сложности положительные ответы (хорошо, очень хорошо) по этому параметру дал почти каждый второй (47 %). Услугами такси с разной периодичностью в течение года пользуются 66 % респондентов. Из них почти треть — регулярные пассажиры: 29 % выбирают этот способ передвижения несколько раз в месяц и чаще. Чуть выше доля тех, кто пользуется такси несколько раз в полгода (37 %). Еще пятая часть выбирает этот транспорт в исключительных случаях — раз в год и реже (20 %). Длительность подачи такси зависит от транспортной ситуации, числа свободных водителей в населенном пункте/районе, времени суток. Большинство пользователей такси устраивает время ожидания подачи автомобиля при вызове (79 %). Среди жителей обеих столиц такой ответ дали абсолютное большинство опрошенных — 94 %. Не устраивает время ожидания подачи такси 14 %. Наши соотечественники, пользующиеся этим средством передвижения, также удовлетворены количеством такси в их населенном пункте: 71 % оценили его как достаточное. Пожелание расширить таксопарки выразил каждый седьмой («такси меньше, чем нужно, надо увеличивать их количество» — 14 %). Альтернативная точка зрения нашла меньше поддержки — лишь 4 % считают, что такси больше, чем нужно, и надо сокращать их количество.

Рис. 4. Пользуетесь ли Вы услугами такси? Если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных; для работников такси допустимо два варианта ответа)



<sup>5</sup> Опрос ВЦИОМ проведен по заказу АНО «Институт региональных проблем».

**Рис. 5. В целом Вас устраивает или не устраивает количество автомобилей такси в Вашем городе / населенном пункте? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется такси)**





DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2246](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2246)



**И. Л. Сизова, Р. В. Карапетян, Н. С. Орлова**

## **ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРУДА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РАБОТНИКОВ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Сизова И. Л., Карапетян Р. В., Орлова Н. С. Особенности цифровизации труда современных российских работников // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 231—256. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2246>.

### **For citation:**

Sizova I. L., Karapetyan R. V., Orlova N. S. (2022) Features of the Digital Work Culture of Modern Russian Workers. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 231–256. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2246>. (In Russ.)

Получено: 31.05.2022. Принято к публикации: 03.08.2022.

## ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРУДА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РАБОТНИКОВ

*СИЗОВА Ирина Леонидовна — доктор социологических наук, профессор факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия*  
E-MAIL: [sizovai@mail.ru](mailto:sizovai@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-5656-0670>

*КАРАПЕТЯН Рубен Вартанович — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической социологии факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия*  
E-MAIL: [ruben.v.karapetyan@gmail.com](mailto:ruben.v.karapetyan@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0002-8328-658X>

*ОРЛОВА Наталья Сергеевна — аспирантка кафедры прикладной и отраслевой социологии факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия*  
E-MAIL: [orloka135t@mail.ru](mailto:orloka135t@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-4018-2940>

**Аннотация.** Статья посвящена изучению влияния цифровизации на социально-трудовую сферу. В первом разделе представлен обзор современных концепций «цифрового труда» и направлений его исследования в социальных науках (социологии и экономике). Изменения труда связываются с развитием цифровой экономики, однако общее развитие сильно зависит от социокультурных факторов. Во втором разделе рассматриваются актуальные проблемы цифровой культуры труда, которая выражается через повседневные способы и практики взаимодействия работников с техникой и технологий. Вместе с тем в цифровую

## FEATURES OF THE DIGITAL WORK CULTURE OF MODERN RUSSIAN WORKERS

*Irina L. SIZOVA<sup>1</sup> — Dr. Sci. (Soc.), Professor of the Faculty of Sociology*  
E-MAIL: [sizovai@mail.ru](mailto:sizovai@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-5656-0670>

*Ruben V. KARAPETYAN<sup>1</sup> — Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor at the Department of Economic Sociology, Faculty of Sociology*  
E-MAIL: [ruben.v.karapetyan@gmail.com](mailto:ruben.v.karapetyan@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0002-8328-658X>

*Natalia S. ORLOVA<sup>1</sup> — PhD Student, Faculty of Sociology*  
E-MAIL: [orloka135t@mail.ru](mailto:orloka135t@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-4018-2940>

<sup>1</sup> Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

**Abstract.** The article deals with the impact of digitalization on the social and labour sphere. The theoretical part consists of two sections. The first section provides an overview of modern concepts of «digital labour» and its research directions within the social sciences (sociology and economics). In particular, the digitalization of labour, on the one hand, is associated with the development of the digital economy. On the other, it depends on the state and transformation of socio-cultural factors in society. The second section develops a new idea about the transformation of the work culture, with digitalization becoming one of its essential aspects. The digital

эпоху трансформируются смыслы и значения труда, меняется природа отчуждения, неравенства, характер эмансипации, креативности и эстетики в работе. На основе отмеченных теоретических идей авторы провели социологическое исследование особенностей российской цифровой культуры труда, методология и результаты которого представлены в третьем и четвертом разделах статьи. Авторы пришли к выводу, что существуют множественные и разнообразные направления и последствия цифровизации в труде городских работников. Однако ее воздействие не детерминирует работу, скорее, стимулирует акторов к поиску нового баланса власти и влияния, извлечению преимуществ и поиску компромиссов в трудовых отношениях, профессиональной мотивации и знаниях, а, также в потоке повседневной жизни.

**Ключевые слова:** цифровизация, культура труда, креативность, отчуждение, индивидуализация, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), эстетизация труда

**Благодарность.** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-511-00011 «Влияния цифровой трансформации на трудовую активность городского населения (на примере Санкт-Петербурга и Минска)».

work culture of modern urban workers primarily characterizes the everyday means and practices of workers' interaction with equipment and technology. However, the most important consequences are the transformation of modern meanings and values of work. Since the significance of the socio-cultural problems of industrial labour (alienation, separation, inequality, emancipation) is changing radically, new aspects appear associated with a strong demand for new creativity and aesthetics in work. Some modern theoretical ideas about work in the digital age were used to develop a concept and methodology for qualitatively studying the features of the current Russian digital work culture. This part is presented in the third section of the article. The last fourth section is devoted to the results of the study of everyday labour practices of workers in St. Petersburg. The authors conclude that there are multiple manifestations as well as various consequences of the impact of digitalization on the work of urban workers. However, its impact does not determine the work; instead, its technical aspects are present, stimulating actors to find a balance of power and influence to extract advantages and achievements in this still central area of our life.

**Keywords:** digitalization of labor, work culture, new creativity, alienation, individualization of labor, information and communication technologies, aestheticization of labor

**Acknowledgments.** The article was funded by RFBR and BRFR, project number 20-511-00011, on the topic “The Effects of Digital Transformation on the Labor Activity of the Urban Population (on the Example of St. Petersburg and Minsk)”.

## «Цифровой труд» и его исследование

Цифровизация становится органичной частью повседневной жизни людей. Цифровые гаджеты и инструменты используются в разнообразных жизненных сферах и контекстах, практически всеми слоями и категориями населения. Последствия цифровизации в самых разных ее проявлениях составляют ядро теоретических дискуссий в социальных науках. Интенсивно обсуждается формирование нового технологического уклада («экономика/индустрия 4.0») и качественно иное представление о профессиональном труде — «Работа 4.0». Число подразумевает «историческое деление времени» [Hessler, Thorade, 2019: 153], что «приводит предыдущие изменения в порядок и свидетельствует о грядущих потрясениях» [Müske, 2020: 31].

Данный подход основывается на логике промышленного развития западных капиталистических стран, при которой социальные основания труда также переживают фундаментальную трансформацию. На первом этапе работники практически полностью лишены законодательной защиты и подчинены диктату фабрики. На втором этапе возник тейлоризм и появились первые законы о защите трудящихся. На третьем этапе доминировал фордизм. В это время произошло широкое распространение наемной работы и системы социальной защиты труда [Кастель, 2009]. С начала XXI века повсеместная автоматизация, роботизация и компьютеризация поставила новые вопросы в социальной защите труда и поиске его смыслов. Прозападная парадигма критикуется в связи с явным детерминистским уклоном. Во-первых, в концепции промышленной революции социальное измерение труда напрямую зависит от технического (технологического) прогресса. Во-вторых, технико-индустриальная модель труда рассматривается исключительно в контексте развития западных капиталистических стран. Указанные недостатки компенсируются в теории социотехнических систем (STS), в которой акцентируются социокультурные среды и роль общественных субъектов в модернизационных процессах [Eckhardt et al., 2020: 6].

Между тем сам цифровой труд все еще теоретически не определен. На глобальном уровне цифровизация рассматривается наряду с другими явлениями, способствующими трансформации модели труда и занятости индустриального общества [Сизова, Григорьева, 2019]. Во многих случаях подчеркиваются масштабные технические изменения в содержании работы [Hoose, 2018] или речь идет о деятельности, построенной на взаимодействии с цифровыми объектами [Kirchner, Wolf, 2015]. Например, постепенное дробление обычных операций позволяет переводить их со временем в цифровой формат. Также развиваются практики, изначально основанные на цифровых технологиях. Из-за разных возможностей внедрение цифровых технологий в труд часто называют «оцифровкой» (digitization), а новую профессиональную деятельность определяют как «чистую цифровизацию» (digitalization) [Brennen, Kreiss, 2016]. Впрочем, даже неквалифицированную работу (например, уборщика номеров в отеле), которая напрямую не связана с информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ), в современном мире уже нельзя отделить от цифровизации [Orlikowski, 2016]. То есть массовое использование ИКТ меняет характер труда (bring your own device) [Schwemmler, Wedde, 2018; Смирнов, 2021]. Возможны разные формы и спо-

собы взаимодействия с ИКТ, но в том, как будет меняться труд, многое зависит от его конфигурации [Латур, 2014], то есть от условий и контекста. Именно они определяют интенсивность использования цифровых технологий, их последствия и тональность [Kirchner, 2015].

В изучении социальных последствий цифровизации наиболее обсуждаемым является вопрос о формировании (пост)индустриального труда, связанного с большей автономией, индивидуализацией, гибкостью и мобильностью. К его недостаткам относят прежде всего утрату коллективных ценностей и установок [Boes et al., 2014]. Успех цифровизации только усиливает описанные тенденции: чем выше становится ее уровень в экономике, тем больше усиливаются процессы индивидуализации не только в плане получения работником большей свободы, но в плане предпочтения личных целей коллективным и организационным [Schwemmler, Wedde, 2018].

Все большее внимание ученых привлекают экономические последствия цифровизации. К ним относят изменения в производительности, в динамике рабочих мест, появлении новых профессий и нового разделения труда (между человеком и машиной) [Arnz, Gregory, Zierahn, 2020]. Рынок труда и система образования эволюционируют под давлением пересмотра квалификаций. Как считают исследователи, именно этим духом проникнута идея создания Болонского процесса [Klammer, Steffes, Maier, 2017; Расторгуев, Тянь, 2019]. Обобщающим итогом исследований можно считать появление идей о трансформации самой модели капиталистической экономики [Brynjolfsson, McAfee, 2014]. В прямой взаимосвязи с трудом сформировалась концепция экономики знаний, или «когнитивный капитализм» [Boutang, 2011]. В ней анализируется режим власти, основанный на асимметрии информатизации [Groth, Müske, 2019]. В практическом смысле это означает, что востребованными становятся специалисты с глубокими ИТ-знаниями и с навыками профессионального взаимодействия со средой Интернет [Stettes, 2016]. В варианте «капитализма платформ» [Срничек, 2019; Смирнов, 2021] цифровые фирмы (Google, Apple и др.) фундаментально преобразуют трудовые процессы, институциональные структуры рынков труда и значение рабочей силы в форме товара. Они не заинтересованы в постоянном персонале и развивают стратегии найма «контингентного характера». Подчеркивается, что размер заработной платы зависит не от компетенций трудящихся, а от «резервной армии труда», концентрируемой на специализированных платформах [Nachtwey, Staab, 2015]. Во всех указанных случаях необходимым признается изменение правовых основ труда, поскольку работники либо стремятся, либо принуждаются к независимости, и им требуется новая институциональная защита. В целом, в процессе цифровизации не только бизнес перестраивает свои процессы, но и работники переоценивают профессиональный и социальный капитал [Briken, Chillias, 2017].

В дискуссиях о цифровизации мало внимания уделяется роли технической базы. Устойчивая цифровизация напрямую связана с созданием и развитием критической инфраструктуры (сервера и дата-центры, системное программное обеспечение и оборудование). В этой связи триггером цифровизации помимо государства выступает крупная промышленность и цифровые корпорации, а сам проект цифровизации продвигается во многом на политическом уровне и выступает прототипом

для развития экономики и общества в целом. В промышленности внедряются наиболее сложные цифровые системы: автоматизированные производственные процессы, синхронизированные с сетевыми данными и управляемыми алгоритмами [Holtgrewe, Riesenecker-Caba, Flecker, 2015]. Создаваемая крупными корпорациями техническая инфраструктура используется для технического оснащения и перевооружения любых экономических субъектов [Добринская, Мартыненко, 2019], но востребована она в первую очередь в промышленном секторе. Цифровой труд здесь призван в первую очередь повысить производительность, однако даже в этом случае по данным высокопроизводительных стран (например, Германии [Hoose, 2018]), во внедрении цифровых технологий полностью отсутствует технический детерминизм, а предприятия ориентируются на стратегии рационализации.

В целом, складывается весьма противоречивая картина цифровизации труда, в том числе и в России [Смирнов, 2021; Сизова, Карапетян, Титаренко, 2021]. Значительную роль в продвижении цифровизации сыграла пандемия COVID-19, которая, с одной стороны, увеличила цифровые интеракции и коммуникации, но, с другой — обозначила ее пределы, поскольку оказалось, что принимаемые решения находятся в зависимости от состояния материально-технической базы. [Latniak, Bendel, 2021].

### **Основные черты цифровизации и цифровой культуры труда**

Авторская концепция эмпирического исследования цифровой культуры труда в России предполагает обращение к социокультурному анализу современности во взаимосвязи с техническим и технологическим прогрессом, выражением которого является цифровая эра. Ее главные компоненты применяются для оценки сферы трудовой и профессиональной деятельности общества и обобщаются на базе актуальных научных исследований. Поскольку дальше в статье речь пойдет о реализации качественной стратегии социологического исследования, то наши интерпретации основаны на системе теоретических высказываний-предположений, отмеченных курсивом в данном разделе. Они позволили масштабировать эмпирический материал, то есть отыскивать схожие эпизоды в российской социальной реальности.

Когда прибегают к объяснению культуры деятельности, то имеют в виду широкое и динамичное поле, в котором сфокусированы акторы, их практики и ценностные порядки [Groth, Mücke, 2019]. Следовательно, цифровая культура труда выступает частью социокультурной области, где происходит и нормализуется взаимодействие человека и цифровой техники (технологии). Техническая привязка к культуре означает, что техника (любая) представляет устойчивую и повсеместную часть нашей повседневности. Это касается не только ее конкретного использования, но и воздействия на символические миры: техника обуславливает не только действия, но мышление и эмоции так, что практики и представления тесно объединяются [Mücke, 2020].

В современных европейских исследованиях выделяют три последовательные стадии исследования социокультурной составляющей труда в цифровую эпоху. Вначале изучались роли субъектов цифрового труда, все условия, мотивация и предъявляемые к ним требования. Во второй фазе фокус внимания сместился

на сами цифровые трансформации и то, как работники включались в эти процессы. *Одной из ключевых тем до сих пор является «отчуждение» труда и его формы:* отчуждение работника от производимого продукта, от собственной деятельности, от других людей и от своей родовой сущности [Hardering, 2021]. Одновременно *новые цифровые технологии производят эффект социальной изоляции работающих* [Vašek, 2017], что особенно ярко проявилось в период пандемии. Прямо противоположным образом акцентируется *рост креативности деятельности* [Stein et al., 2019] и *исключение рутинизации* [Badura et al., 2018], что, однако, снова усиливает значение подготовки трудящихся, поскольку творческий труд является не только более интересным, эмансипирующим для человека, но и одновременно намного более сложным, требующим высокой квалификации и глубоких (цифровых) навыков. Третья фаза исследований направлена на изучение форм цифрового труда [Eckhardt et al., 2020: 8—9].

На наш взгляд, более важно, что формирование нового социотехнического уклада в итоге меняет смыслы и субъективные переживания работы. Не в последнюю очередь это обусловлено изменением отношения к труду современных молодых поколений, которые стремятся к так называемой *meaningful work* (осмысленной работе) [Bailey et al., 2019]. Кроме того, у работников выявляются существенные отличия в переживании цифровизации, и то, что *сама по себе роль техники/технологии в структуре переживаний занимает меньшее место, чем властные и управленческие эффекты*, сопровождающие внедрение и распространение цифровых технологий [Hardering, 2021: 30]. В данном случае на первый план выдвигаются *вопросы цифрового контроля*, которые вызывают противоположные чувства у трудящихся: если у одних фиксирование результатов и регулирование задач способствует успеху, принятию ИКТ, то у других такие системы вызывают отторжение. Стейн и соавторы [2019] делают вывод о том, что *появление тех или иных чувств и оценок у работников во многом зависит не от цифровых систем, а от способа организации и управления трудом*.

Изучение субъективного опыта переживаний цифровизации показывает, что она вызывает у работников ощущения роста объемов труда [Holler, 2017: 50, 62]. Частично это следствие необходимости гибко выстраивать работу во времени и пространстве. Это, в свою очередь, требует от работников больших способностей к самоорганизации и самодисциплине, а также выбора приоритетов при решении профессиональных задач. Как следствие, у трудящихся *возникает сложность в разделении рабочего и частного пространств жизни, включая не только физическое пространство, но и переживаемые чувства* [Wendsche, Lohmann-Haislah, 2017].

Оживленные научные дискуссии ведутся вокруг способов обхождения работников с цифровыми средствами труда. Обозначение *technology appropriation* (присвоение технологий) характеризует процесс интеграции цифровых технических средств в индивидуальные трудовые практики и контексты [Hardering, 2021], например, как обосновывается полезность ИКТ для осуществления работы. В свою очередь доминирующие смыслы заставляют меняться саму технику. Как принятие, так и противостояние внедрению ИКТ приводит к появлению новых практик, изначально возможно не предусмотренных. Однако для всех случаев действительно общее правило: *пока техника не стала важным элементом трудового процесса,*

нет возможности оценить ее влияние на субъективные ощущения трудящихся [Menz et al., 2019].

Цифровая коммуникация занимает значительное место в изучении культуры труда [Bauer et al., 2019]. Этому способствует внедрение довольно сложных системных цифровых продуктов (например, Business Intelligence System), позволяющих организовывать и регулировать потоки информации и коммуникации внутри фирмы, со стейкхолдерами, клиентами и т. д. Подобные не самые простые цифровые системы, настроенные для регулирования человеческих отношений, с одной стороны, позволяют развивать цифровые знания и умения работников, а, с другой стороны, влияют на эффективность организации и ее деятельности в целом.

Наконец, исследователи приходят к выводу, что *цифровые технологии вызывают эффекты эстетизации труда* [Sutter, Flor, 2017]. Они связаны с ростом креативности деятельности, которая поменяла свое содержание. Если в классическом смысле этим термином обозначалось исключительно творчество, отделяемое от повседневно мучительного труда [Аренд, 2017], то сейчас креативность выражает «стремление к чувственному восприятию материального мира» [Maase, 2008: 10]. В свою очередь, она связывается с надеждами на эмансипацию — идеей, в начале захватившей западное общество [Болтански, Кьяпелло, 2011], но постепенно оказавшей влияние на всех. Здесь еще возможно упомянуть «двойной диспозитив креативности» М. Фуко: некое скоординированное сосуществование разнообразных практик, дискурсов, артефактов, не особенно намерено создаваемых конкретными субъектами [Фуко, 1996: 52].

В целом, эстетическое в труде может быть представлено как творчество в форме искусства, или как «смысловое и чувственное возбуждение при производстве нового» [Reckwitz, 2012: 10]. Эстетизация выступает еще как встречное движение привычным практикам рационализации, стандартизации и рутинизации. Одновременно она разворачивается через обновление организационных структур и требований, компетенций самих индивидов. Тем самым современной формации открывается путь развития так называемого «эстетического капитализма» [Böhme, 2016], в котором не столько формы «новой» работы противопоставляются индустриальному труду, сколько происходят сдвиги в самопонимании работающих. Так, в контексте постматериальной этики работа воспринимается как сложная, креативная и экспрессивная задача [Sutter, Flor, 2017: 13]. Однако эстетизация означает одновременно погоню за соответствием, например, в постоянно обновляемых требованиях к работникам, что вызывает внутриличностные конфликты, напряжения и новые социальные неравенства.

По мере развертывания нашего исследования и нахождения эмпирических фактов, подтверждающих сделанные обобщения, мы пытались их дальше максимально развить. Полученные итоговые результаты и интерпретации о современной цифровой культуре труда приводятся в четвертом разделе и в заключении данной статьи.

## **Методология изучения российских особенностей цифровизации труда**

Основным замыслом эмпирического исследования являлось глубинное зондирование повседневных практик труда современных городских работников в условиях цифровизации экономики и общества, усиленной в период панде-



мии. На базе корпуса текстов полуструктурированных интервью изучалось, как в повседневной трудовой деятельности современных городских работников манифестируется цифровая культура труда, каким образом работники вовлекаются в цифровые процессы, рефлексиируют использование ИКТ и приспосабливаются к цифровизации.

С целью изучения максимально широкого спектра мнений мы набирали информантов (работников и руководителей), занятых в разных отраслях (в культуре и образовании, производстве и медицине, ЖКХ и торговле, финансах и страховании, бытовых услугах населению) и сферах экономики (государственной и частной). Респонденты отбирались с учетом уровня образования (от общего среднего до степени доктора наук), специальности (от инновационных и глубоко оцифрованных до классических, требующих максимальной степени человеческого участия), квалификации (низкая, средняя и высокая)<sup>1</sup>, формы занятости (наемные работники, бизнесмены и самозанятые) и трудового опыта (начало карьеры, пик и завершение карьеры). Социодемографические характеристики (пол, возраст, семейное положение участников) участников учитывались таким образом, чтобы включить в исследование наиболее контрастных представителей (например, молодежь, взрослых и пожилых лиц и т. д.)<sup>2</sup>. Отметим, что поскольку пол и семейное положение практически не повлияли на полученные результаты, они не указывались при цитировании мнений.

В интервью участвовали 31 человек (18 работников и 13 руководителей). В момент исследования (ноябрь–декабрь 2021 г.) все они проживали и работали в Санкт-Петербурге. Общее время интервью составило 21 час, данные записывались на аудионосители и расшифровывались дословно. Способы проведения интервью — личная встреча, онлайн-интервью, беседа по телефону. Качественный анализ текстовых материалов осуществлен в программном пакете Atlas.ti, элементы контент-анализа для выделения количественно значимых категорий путем подсчета частотности — в программе Nvivo. Методами анализа корпуса текстов были открытое и осевое кодирование, тематический и дискурс-анализ. В данной статье мы представляем результаты, полученные из интервью с работниками. Все имена респондентов скрыты, используемые цитаты приведены в соответствии с правилами русского языка, паузы и пропуски в цитатах помечены многоточием.

Материалы интервью разделы на шесть ключевых тем: *внедрение и использование цифровых технологий (ЦТ, ИКТ) в работе; последствия цифровизация труда; цифровые коммуникации; ИКТ в трудовых отношениях и цифровой капитал; отношение к цифровым средствам труда; субъекты цифрового труда* (они представлены в следующем разделе статьи). Если вести речь о способах интерпретации интервью, то они базировались на следующих теоретических подходах. Прежде всего, мы предполагали, что культурные представления, ценностные ориентации и практические действия раскрываются в дискурсах. Дискурсы не возникают слу-

<sup>1</sup> Низкая квалификация — отсутствие профессионального образования, но любой уровень школьного образования (начальное, основное общее среднее, полное среднее). Средняя квалификация — среднее специальное образование, профессиональный колледж, техникум и пр. Высокая квалификация — высшее образование.

<sup>2</sup> Разделение групп по возрасту: молодежь — до 30 лет; взрослые — 30+, пожилые люди — достижения пенсионного возраста.

чайно, они контролируемы и отражают часть миропорядка. «Разговоры» — это тема власти и подчинения, то, чем пытаются управлять: «Дискурс [...] — это не просто то, через что являют себя миру битвы и системы подчинения, но и то, ради чего сражаются, то, чем сражаются, власть, которой стремятся завладеть» [Фуко, 1996: 52].

В процессе анализа было выявлено, что в многоголосом дискурсе цифровизация труда представлена как внешнее влияние (наряду с глобализацией, пандемией и др.), тогда как имманентными для работников оказались вопросы управления и организации труда, трудовых отношений. Дискурс о цифровизации занял в итоге 1/3 поднимаемых в интервью вопросов, хотя изначально структура гайда была направлена на беседу в этой области. Дискурс о цифровизации оказался наполнен противоречиями, но одновременно связан со сквозной для работников мыслью о том, что хотя цифровизация (производства, экономики, труда и жизни) приносит много опасностей, она создает значительные преимущества и шансы для тех, кто включен в эти процессы/прикладывает в данном направлении усилия.

Таким образом, цифровизация последовательно воспроизводит социальное неравенство, поэтому ее исследование возможно на базе теории капиталов П. Бурдьё [Бурдьё, 2002]. Цифровой капитал должен обмениваться на другие формы капиталов (вознаграждение, продвижение, признание) и приводить к доминированию в трудовой иерархии. В исследовании мы попытались проследить, какие правила обмена цифрового капитала существуют в трудовой сфере, насколько легко он конвертируется, и какие преимущества он способен приносить современным городским работникам.

Наконец, мы предполагали, что процесс оповседневнивания технического происходит через «этапы освоения» [Müske, 2020: 36]. Для нашего исследования особенным этапом стала работа респондентов во время пандемии, которая внесла множество инноваций в трудовые будни. В интервью «работа во время пандемии» оказалась тесно взаимосвязана со следующими темами: локдаун и дистанционной работой, цифровыми коммуникациями, квалификацией и компетенциями, гибким рабочим временем и автономией. Основываясь на изложенных взглядах, представим результаты, полученные по вышеназванным шести ключевым темам.

## Результаты исследования

### *Внедрение и использование цифровых технологий (ЦТ, ИКТ) в работе*

Российские работники придерживаются мнения, что использование ИКТ напрямую зависит от трудовых задач:

*Я владею этими программами в той мере, в которой мне необходимо. (Сотрудник юридической фирмы, 22 года)*

В сложной, высококвалифицированной работе ИКТ применяются в большей степени, чем в простых деятельности или в тех, которые все еще требуют физического контакта:

*Поэтому массаж и цифровизация [...] совершенно параллельно... (Сотрудник центра помощи инвалидам, 59 лет)*

Особая ситуация сформировалась в госучреждениях. Государство, с одной стороны, выступает триггером цифровизации. В период пандемии активно внедрялись новые цифровые сервисы (например, электронный документооборот), что в существенной степени упрощало и заодно изменяло деятельность. Вместе с тем от недостатка технического оснащения страдают в первую очередь именно работники госучреждений.

Отсутствие технического детерминизма, несмотря на громкие призывы и политические программы, характерно и для крупных российских предприятий. Они в большей степени ориентируются при внедрении ИКТ на рациональные стратегии. Если до последнего времени цифровизация местами носила символический характер (в большей степени декларировалось, чем реально существовала), то пандемия во многом эту ситуацию изменила:

*Такая была легкая профанация... А теперь... просто зашел на сайт, там — хоп! — и все в порядке. (Самозанятый, страхование, 41 год)*

Одновременно вскрылась существенная проблема — высокая стоимость ИКТ. В период пандемии государство сократило расходы на техническое оснащение своих организаций, больше стал экономить и бизнес. Из-за дороговизны ИКТ государство часто создает «витринные технологии», что приводит к напряженности в отношениях как с работниками, так и с клиентами, которые желают увидеть реальную пользу.

### *Последствия цифровизация труда*

Цифровые технологии принесли значительные изменения в трудовые процессы и характер работы, которые, правда, происходят с разной скоростью и итогами. Однако отчасти их можно обобщить. Так, например, заметны этапы «оцифровки» профессиональной деятельности. Происходит это следующим образом: вначале развивается многозадачность в работе, затем возникает новое разделение труда, в итоге появляются новые профессии. Это очень характерно для кейсов из области программирования. В других ситуациях пока еще речь идет только о многозадачности:

*В современном мире журналист и петь, и на дудке играть... Они должны все уметь: и монтировать, и снимать, и писать... (Сотрудник СМИ, 22 года)*

Задействованные в «старой экономике»<sup>3</sup> работники свидетельствуют, что использование ИКТ требует больше подготовительной работы, но при этом сама работа становится намного легче, выполняется быстрее и качественнее. В новых сферах сами цифровые технологии представляют собой уже готовую продукцию, которую можно и нужно использовать:

<sup>3</sup> Сферы экономики обособляются в соответствии с классификацией цифрового труда, приведенной в первом разделе. Изначально оцифрованная деятельность (например, ИТ) образует область «новой экономики», тогда как труд в давно существующих сферах, подвергающийся цифровизации, относят к «старой экономике» [Buss et al., 2021].

*Сейчас ... 99 % — это готовые решения, которые добываются из интернета...*  
(Программист, ИП, 49 лет)

В целом, вне зависимости от сферы деятельности многие трудовые процессы дробятся на составные части, для каждой из которых используется специализированное ПО. В продвинутых фирмах даже общеупотребимые цифровые инструменты преобразуются для корпоративного использования. В некоторых случаях бывшие разовые действия при помощи ИКТ приобретают регулярный характер:

*Мы стали проводить онлайн-концерты, чего раньше на регулярной основе не наблюдалось.* (Руководитель хора, 38 лет)

Масштабное распространение цифровых технологий в период пандемии вначале принесло существенные проблемы. Отсутствовали строгие технологии, работники получили ненужную им свободу действий в использовании ИКТ, руководители не проявили должного внимания к техническому оснащению и организации работы, подчас на этом основании возникла формальная, ни к чему не приводящая деятельность. Этот (негативный) опыт в «постковидное» время приводит к тому, что создаются выделенные отделы или ИТ-специалисты на более или менее крупных предприятиях и фирмах. Они занимаются не только самой техникой или установкой ПО, но и исправлением ошибок, допущенных работниками, а также, их обучением:

*Если сломается компьютер, мы звоним в ИТ-отдел, который сам все решает.* (Администратор магазина, 22 года)

Предприятия создают такие отделы с целью лучшей управляемости трудом, то есть, для повышения производительности. Между тем, в реальности подобные инновации зачастую осуществляются для удобства руководителей, самим же работникам приходится справляться самостоятельно:

*Она просто решила делегировать это, вот наняла себе помощницу.* (Бухгалтер, 25 лет)

С развитием ИКТ становятся менее определенными рабочее время и объемы труда:

*У меня очень часто получается перерабатывать, даже не часто, а постоянно... Начал работать, смотрю на часы, а уже 24.00.* (Программист, тимлид, 42 года)

Работники пока не считают это проблемой, скорее, воспринимают как «благо» — сделать побольше работы. Иногда переработки напрямую связаны с переходом на дистанционный режим, поскольку работа на дому сама по себе плохо регулируема:

*Получается, я работаю столько же, сколько работает сам магазин.* (Администратор магазина, 22 года)

Наиболее глубокие контрасты отмечены в изменении режима труда. Дистанционная работа, даже при наличии удаленных технологий, принимается не всеми. Людям не нравятся непродуманные управленческие решения и нерациональная организация удаленного труда. В других случаях, наоборот, раздражение вызывает отрицание явных возможностей удаленного труда со стороны работодателей:

*Моя работа заточена на работу с компьютером... я пытался продвинуть эту идею, но нет, «ты же можешь понадобиться», хотя по факту, всегда все можно решить по телефону.*  
(Бухгалтер, 25 лет)

Кроме противодействия со стороны руководителей, еще и нехватка цифровых технологий затрудняла перевод работников на удаленный режим:

*Мы приезжали каждую неделю в школу, пока нам не настроили удаленный доступ к журналам.* (Учитель, 24 года)

Работая на «удаленке», практически никто из респондентов не пожаловался на усиление контроля — таких цифровых средств либо нет вообще, либо они допускают большую свободу в действиях. Наиболее очевидно проявилось диаметрально противоположное переживание надомного режима — от полного расслабления до чрезмерной концентрации и невозможности проконтролировать границы рабочего времени:

*Дом, я понял, расслабляет сильно, потому что рядом кровать..., можно прилечь, это мешает.* (Сотрудник аналитического отдела, 32 года)

Работники ощущали снижение трудовой энергии, нехватку «живой» коммуникации, одиночество, которое психологические тяжело переживается:

*Не хватает просто какого-то человеческого тепла...* (Преподаватель, 69 лет)

В условиях, когда технологии вносят «отчуждающее» воздействие, работники, как могут, стремятся переключиться, отдохнуть, разгрузиться:

*Чтобы совсем не закисать, я стараюсь раз в день либо гулять, либо бегать.* (Программист, ИП, 49 лет)

Но отдых также подчинен работе:

*Иногда... какая-то задача, которую, пока она идет, лучше сделать. На половине задачи плохо прерываться, поэтому переключение может в течение дня куда-то там скакать.*  
(Программист, тимлидер, 42 года)

Работающие «на дому» люди стремятся к общим, коллективным действиям:

*Мне бы хотелось бы прочувствовать корпоративную политику, поближе познакомиться с коллегами, завести друзей. (Сотрудник СМИ, 22 года)*

Необходимо отметить, что контрастные оценки «удаленки» зависят от иных, сопутствующих факторов труда. Например, интенсивная работа с клиентами может способствовать желанию удалиться, спрятаться от всех, хотя бы на время:

*От своих друзей я стала слышать, что это круто, что я работаю на удаленке, потому что им надоели их коллеги, которые постоянно заводят с ними разговоры. Это их раздражает. Они к концу дня ненавидят все человечество. Особенно это говорят люди, которые работают в сфере обслуживания. Они считают, что у меня хорошая работа. (Сотрудник СМИ, 22 года)*

Распространение работы за пределы фирмы приводят к любопытным явлениям, связанным с отношениями власти в семье. Если работник и его труд признаются важным, то семья подстраивается под график и стиль работы на дому:

*Во время работы я прошу, чтобы меня не беспокоили, не шумели, не отвлекали, громкую музыку не слушали, потому что мне это неудобно. (Сотрудник СМИ, 22 года)*

Если же доминирует семья, то работник становится ее «заложником»:

*Я, конечно, работаю, после 11 часов, часов до двух ночи, либо, наоборот, с утра. А люди одинокие, либо кому никто не мешает — дети, животные, семья, те отлично работают из дома. (Самозанятый, страхование, 42 года)*

Скорее всего, с накоплением опыта удаленной работы, подобные опасности будут учитываться в планах по покупке жилья или застройщиками.

В целом, быстрый и масштабный перевод на удаленную работу послужил нарастанию потенциально опасной конфликтности в социальных отношениях. Помимо семейных проблем, работники отмечали обязанность работодателей предоставить рабочее место, необходимую технику, соблюдать трудовое законодательство:

*Хотелось бы, чтобы работодатель думал о том, как его работник должен выполнять работу для организации, не находясь в этой организации. Хотелось бы, чтобы работодатель предоставлял технику для выполнения работы дома, потому что если оборудован кабинет техникой, интернетом и так далее, то логично предположить, что такие же условия должны быть дома для выполнения той же работы. (Врач, исследователь, 50 лет)*

Движение в направлении развития независимого труда (в физическом, социальном, организационном и иных отношениях) показывает необходимость создания новых правовых форм и средств социальной защиты трудящихся.

## Цифровые коммуникации

Респонденты описывают цифровые коммуникации как быстрые, удобные и привычные. В то же время в рабочем процессе они подразумевают наличие высокого уровня доверия, поскольку замещают собой функцию контроля:

*Раз в месяц мы можем созвониться или встретиться. Я просто рассказываю все, что происходило за это время. (Администратор магазина, 22 года)*

Такой коммуникативный стиль пока больше подходит высококвалифицированным работникам, привыкшим к автономии, самостоятельности и независимости в своих действиях:

*У меня своя зона ответственности, а у тех, кто руководит мною, у них своя зона ответственности. (Программист, тимлид, 42 года)*

Они также принимают партнерский стиль коммуникации, отвергают давление и чрезмерный контроль:

*У меня нет по жизни потребности слушаться руководство. Мы можем обсуждать наши несогласия и разойтись. (Преподаватель, 69 лет)*

Понятно, что подобная коммуникация осуществляется редко, иногда она в принципе не нужна:

*Когда компания работает в обычном режиме... по факту коммуникации не нужна особо, ты и так знаешь, что делать. (Финансовый менеджер, 25 лет)*

Именно в этом случае работники безболезненно принимают цифровые средства контроля:

*Есть специальная программа... я делаю постановку задачи в ней... Если человек работает, списывает свое время... то этого достаточно, чтобы понимать, чем он занимается. (Программист, тимлид, 42 года)*

Однако если по каким-то причинам правила нарушаются, автоматизированный контроль оказывается бесполезным. В этом случае происходит откат к обычным разговорам, внушениям и уговорам:

*Если он не делает, тогда происходит разговор с напоминанием... обычно после двух разговоров все начинают делать. (Программист, тимлид, 42 года)*

В труде используется еще один способ общения, реализация которого напрямую зависит от цифровых технологий. Это отложенная коммуникация, которая осуществляется в цифровых мессенджерах. Она предполагает, что на сообщение или запрос можно ответить с временным лагом. Фактически, такой «сильный» способ

коммуникации подходит далеко не всем, поскольку сообщения содержательно нагружаются, а ответы глубоко продумываются:

*Я люблю коммуникацию отложенную... если от меня чего-то хотят, то написали сообщение по e-мейлу или в мессенджере, и я, соответственно, увидел... но при этом поставил логическую точку, доделал какой-то кусок и дальше разгреб эти сообщения. (Программист, ИП, 49 лет)*

Если это обстоятельство не принимать во внимание, то большая часть информации теряется. В принципе, любые формы деформации цифровой коммуникации (потеря, искажение, сокращение) в интервью переживались как формы отчуждения от коллектива:

*Я живу не знакома со своими коллегами. Я с ними практически не общаюсь. Я не знаю, как они выглядят. Мы можем обсуждать какие-то рабочие моменты, но, в целом, у нас нет никаких отношений. Ни дружбы, ни вражды, ничего не чувствуется. (Сотрудник СМИ, 22 года)*

Для менее самостоятельных работников коммуникации все еще очень регулярны и включают эмоциональную поддержку. Ввиду распространения дистанционной работы сформировался тип «поддерживающей коммуникации». Во время пандемии в ряде фирм удаленно проводились игры или праздники, беседы с коллективом:

*Собрания проводились, чтобы поддержать свой настрой. Были игры, общение, помощь. Ощущалось, что есть живой человек, которому ты небезразличен. (Администратор магазина, 22 года)*

В некоторых случаях коммуникация с удаленными работниками попросту прерывалась. Это однозначно трактовалось работниками как позиция руководства, а не как проблемы технического характера:

*Те, кто выводился домой, мы с ними не контактировали. (Сотрудник социального центра, 25 лет)*

Исключением во всей этой истории остается деятельность, связанная с длительным и регулярным общением, которое само по себе выступает продуктом труда (как в образовании). Именно в подобных случаях удаленная коммуникация определяется как недостаточная.

### *ИКТ в трудовых отношениях и цифровой капитал*

Цифровые технологии отчасти могут выступать маркером трудовых отношений. Например, если руководитель не в полной мере владеет ИКТ, то для (молодых) работников его авторитет снижается:



*Нашему главному бухгалтеру 56 лет, я должен у нее что-то перенимать, а она стандартную у всех «Альфа шесть» вообще не знала. (Финансовый менеджер, 25 лет)*

*Есть в руководстве те, кому еще тяжело в этом разобраться, это очень тормозит процесс, потому что людям надо приехать и собраться из разных концов города только из-за того, что председатель комиссии не может всех собрать в зуме. (Работника хора, 38 лет, подрабатывает на выборах)*

Наоборот, взрослые и опытные работники, руководители могут унижать эти-ми же средствами молодых или начинающих:

*Не хочу, чтобы она резко реагировала... Чтобы она поняла, что я вообще не понимаю еще ничего. Она работает в этой сфере 18 лет... Поменять взрослого человека невозможно... Вот в понедельник ни здравствуйте, ни до свидания, просто с диким наездом. Я потом ухажу и просто рыдаю. Не знаю, что с этим делать. Молюсь, чтобы никто не увидел. (Оператор в Ресурсном центре, 21 год)*

В условиях нехватки техники и знаний, работники склонны оказывать друг другу помощь. Они, по приказу работодателя или по своему желанию, занимаются наладкой и ремонтом техники, цифровых сервисов, и делают это вне своих должностных обязанностей:

*У нас уволился системный администратор. По факту... просили меня сделать. Ничего мне это не принесло, только я тратил на это время. (Финансовый менеджер, 25 лет)*

За отсутствием лучшего, работники обмениваются техникой, занимаются обучением коллег, исправлением их ошибок и т. д.:

*Было такое пару раз, что у нас проектор просто ломался и мы просили у другого центра. (Работник социального центра, 25 лет)*

*У нас на работе Настя, когда у нее было время, она мне помогала, подсказывала. (Работник центра помощи инвалидам, 59 лет)*

Более знакомое по литературе действие — когда помощь работнику приходит из семьи. Во-первых, на рабочие места приносят технику из дома (ноутбуки и пр.). Во-вторых, родственники могут помогать выполнять трудовые задачи:

*С них требуют, но не посылают на курсы обучения компьютерной грамотности. Дают задания и вот самостоятельно это делайте. Мы ей [матери] помогаем. (Оператор Ресурсного центра, 21 год)*

Примерно так повседневная цифровизация направляется на пользу фирме, ее широкое распространение компенсирует недостаточное техническое обеспечение и отсутствие компетенций у трудящихся.

Тема цифрового капитала и его капитализации очень важна для понимания современной цифровой культуры труда. Поскольку его объем чаще всего зависит от текущей работы, только в очень редких случаях работники стараются овладеть новыми знаниями:

*Сейчас я учусь программированию... я надеюсь, что в будущем это будет моей «козырной картой». (Финансовый менеджер, 25 лет)*

Однако постепенно как у работодателей, так и у самих работников, складывается твердое убеждение, что цифровые знания очень нужны. Лучшее владение ИКТ становится явным конкурентным преимуществом. И, если нет прямой взаимосвязи между владением компетенциями и уровнем зарплаты, то опосредованно цифровой капитал значительно стабилизирует положение работника в организации и может позитивно повлиять на его карьеру и доход:

*С Excel я очень хорошо работаю, мне казалось, что все так работают, а оказывается, что нет, и это очень помогает. (Работник социального центра, 25 лет)*

Впрочем, лиц, действительно владеющих технологиями на самом современном уровне, в организациях не так уж много. В труде в основном используются универсальные цифровые знания и умения. Респонденты называют такие компетенции «обычными», обучение им не является серьезной проблемой и особенно не ценится:

*Основной функционал, который необходим для работы, в равной мере используется всеми, проблем не возникает. (Работник юридической фирмы, 22 года)*

Если речь не идет о высокотехнологических сферах труда, то за незнание ИКТ не увольняют, работников стремятся обучать, либо переводят на другие рабочие места:

*Была аттестация... и выяснилось, что два человека вообще не умеют пользоваться компьютером. Для них хотят сделать курсы. За 60 лет мужчина и женщина. (Работник социального центра, 25 лет)*

Обучение ИКТ может происходить самопроизвольно и постепенно, во время работы, но может требовать серьезных затрат. Очень многие учатся самостоятельно, особенно уже профессиональные и опытные работники, они умеют это делать. Для молодых и начинающих больше подходят всевозможные курсы, их туда часто отправляют работодатели. Если человек работает в частном бизнесе, от него требуется большей сознательности в плане навыков и знаний, в том числе и в области ИКТ.

Неравенство в капитализации цифрового капитала проявляется и в том, что современному работнику в принципе становится сложнее сбалансировать трудовую деятельность и профессиональные знания, включая цифровые. Сложно развивать требуемые знания и навыки без отрыва от трудовой деятельности (еще и потому, что сами знания становятся все более нетривиальными):

*Если было бы время, конечно, хотелось бы во все углубиться. Но я понимаю, что нужно углубляться в определенной степени, в той, в которой мне это будет полезно. А так я не охвачу необъятное. (Автослесарь, самозанятый, 50 лет)*

Единственным выходом из бесконечной гонки за призраком высокого профессионализма («...этот процесс бесконечный, потому что новые продукты выходят регулярно») становится организация групповой, проектной работы. Одновременно она способна разрядить социальную напряженность, сгладить разницу в капиталах и остроту конкуренции за знания.

#### *Отношение к цифровым средствам труда*

Работники часто дифференцируют цифровую технику и ПО, активно обсуждают ее плюсы или минусы, могут выделять какие-то современные, новые средства и указывать на устаревшие, на более или менее удобные для работы. Общим для всех информантов является оценка ИКТ не по техническим характеристикам, а с точки зрения влияния на трудовой процесс. Не любое цифровое средство однозначно воспринимается таковым: в глазах работников «цифровые технологии» — это что-то сверхсовременное, то, что работает помимо человека, тогда как распространенные средства являются чем-то само собой разумеющимся:

*Я вам открою по секрету, что «1С» есть у любой ИП либо ООО... В этой программе нет ничего такого, я бы не относил это к сфере цифровых программ, потому что это, по сути, калькулятор. (Финансовый менеджер, 25 лет)*

Нет единства и в том, насколько они вообще нужны в работе. С одной стороны, утверждается, что цифровизация плотно вошла в жизнь, без нее невозможен прогресс в экономике, в жизни и в работе. С другой стороны, указывается, что без участия человека все это бесполезно:

*Та же судебная деятельность, в которой вопросы решаются в зависимости от мелких нюансов... Возможно, я плохо себе представляю искусственный интеллект, но... мне кажется, что... нельзя вбить аргументацию. (Работник юридической фирмы, 22 года)*

В некоторых случаях работники желают дистанцироваться от избыточного использования ИКТ или прямо связать себя с такой деятельностью, в которой их влияние минимально:

*У меня есть товарищ, он все делает по старинке... Когда я пытаюсь его затянуть в цифровой мир, он ругает его открыто и всячески отнекивается. (Самозанятый, страхование, 42 года)*

#### *Субъекты цифрового труда*

В оценках ИКТ отмечаются существенные межпоколенческие различия. Повсеместно считается, что основным субъектом цифрового труда является молодой

работник. Это так только отчасти. С одной стороны, наиболее «продвинутыми» пользователями ИКТ оказались молодые люди:

*У моего поколения сильная направленность на цифровизацию. Мое поколение более ориентировано на компьютерные программы, и эти навыки формируются в достаточно раннем возрасте. (Финансовый менеджер, 25 лет)*

С другой стороны, у молодых ярко выражены диаметральные переживания цифровизации труда:

*Если я когда-нибудь окажусь в офисе, работая с Excel, то я пойму, что моя жизнь прошла зря. (Работник Ресурсного центра, 22 года)*

Скорее, молодежь указывает на одну, по всей видимости, наиболее важную для них «ценность» современного труда — возможность выполнять осмысленную работу:

*Я могу работать сейчас, если это реально будет что-то для меня новое и крутое, где я смогу чему-то научиться и вырасти. (Финансовый менеджер, 25 лет)*

Отставание возрастных работников в освоении цифровых компетенций неоднократно обсуждалось. Они либо используют уже выходящее из обихода оборудование и ПО, либо они очень далеки от этого:

*Все, что связано с компьютерными технологиями, мы намного отстали. (Работник центра помощи инвалидам, 59 лет)*

Возрастные работники или стесняются об этом говорить, или демонстративно не стремятся что-либо изучать:

*Мне совершенно неинтересно что-то там осваивать и входить в глубины этого. (Преподаватель, 69 лет)*

В любом случае они не остаются в стороне от прогресса цифровизации, скорее, следуют по общему пути, хотя и не всегда охотно и успешно. Интересно, что эта группа была в числе первых переведена на удаленную работу. В итоге многие «подтянулись».

Ситуация у работников средних поколений несколько иная. Если стандартные программы или технику они неплохо освоили, то уже новые, более сложные варианты используются с трудом:

*Если позвонили по скайпу, подключить камеру, предоставить какой-то отчет, они [родители], конечно, это уже освоили, но с какими-то новыми программами немного сложнее, потому что они не всегда понимают алгоритм, и им нужно время. (Администратор магазина, 22 года)*

Рост креативности труда — общая тенденция современности. Наши работники имеют существенный интерес к творческой работе, могут работать практически без остановки, если они ею увлечены:

*Если задача для меня интересная, я полностью в нее погружаюсь, я могу работать сутками и вот это мне интересно. Это драйв, это заводит. То, чем я занимаюсь, мне нравится. Как хобби, наверное... Как часть моей жизни. (Программист, тимлид, 42 года)*

В сфере программирования, где велика доля творчества и существует значительное разнообразие цифровых средств и инструментов, можно выявить охарактеризованные в теоретической части признаки эстетизации труда:

*Программирование — это такая штука... как картину рисовать. (Программист, тимлид, 42 года)*

Однако «новая креативность» в интервью наших работников большая редкость. Чаще работники высказывают более традиционные взгляды на творческий труд:

*Меня, видимо, устраивает мое призвание... В общем, я иду на работу с удовольствием. (Работник центра помощи инвалидам, 59 лет)*

## **Заключение**

Цифровизация труда — дифференцированный процесс. Она охватывает множество сфер и везде имеет свои особенности. Изученные кейсы показали, что работники воспринимают влияние цифровых технологий на труд как внешнее воздействие, тогда как он сильнее проблематизируется через управленческие решения и организационные иерархии.

Если резюмировать особенности цифровой культуры труда (на примере Санкт-Петербурга), то они повторяют конфигурацию бизнеса и трудовые процессы. На крупных предприятиях цифровизация представляет собой значимый фактор повышения производительности труда, и для работников наиболее частыми последствиями являются переработки, повышение объемов и скорости труда. Повсеместно цифровизация связана с капитальными вложениями, и ее эффекты различны в зависимости от размера этих вложений: если последние незначительны, переживаний меньше, а если траты серьезные, цифровизация приносит много изменений и иных переживаний.

В исследовании были выявлены факты принуждения к самостоятельности, обычно в форме выталкивания работников на дистанционный режим или перевод их в статус самозанятых. Респонденты выражали крайнюю озабоченность относительно стабильности своей работы, отмечали ухудшение условий труда, невнимание работодателей к соблюдению норм трудового законодательства. В свою очередь наиболее самостоятельные работники оказались склонны к проявлению негативного индивидуализма, например, в форме полной отстраненности от организационных или коллективных целей деятельности, педалирования исключительно личных целей и интересов.

На пересечении треков индивидуализации и развития инновационной деятельности информантами демонстрировались символы новой креативности и эстетизации труда. В эту группу вошли прежде всего ИТ-специалисты как наиболее передовые кадры, основа будущей цифровой экономики. Их «смыслы» креативности выражались через желание решать сложные задачи и стремление к осмысленному труду. Использование техники несомненно стимулирует таких работников и проявляется в совершенно разных рабочих ситуациях: от организации труда до отношений с коллегами.

Менее ясной оказалась тема отчуждения труда. По итогам интервью можно заключить, что техника и технологии не являются абсолютным триггером этой проблемы. Скорее, сказалось негативное влияние пандемии, во время которой возникали разрывы в рабочей коммуникации, появлялись факты социальной изоляции работников и произошло разбалансирование трудовой и домашней сфер жизни. Только в единичных случаях респонденты критиковали ИКТ, приводящие к снижению темпов труда или угрожающие трудовым отношениям.

Цифровой капитал действительно стремится занять важное место в системе знаний и умений российских работников. Явные преимущества, отмечаемые респондентами, стимулируют его накопление. Однако иногда он выступает средством селекции и подавления, выражения неуважения и потери доверия. ИКТ применяются также в целях разметки социальных границ между сотрудниками, например, когда руководители их используют для демонстрации своей власти и престижа внутри организации. В условиях неравенства возможностей, работники «затыкают дыры», задействуют практики взаимопомощи и семейную поддержку.

## Список литературы (References)

Арендт Х. *Vita activa, или О деятельной жизни* / пер. с нем. и англ. В.В Библихина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.

Arendt H. (2017) *The Human Condition*. Transl. from English and Germ. by V. Bibikhin. Moscow: Ad Marginem Press. (In Russ.)

Болтански Л., Кьяпелло Э. *Новый дух капитализма* / пер. с фр. под общ. ред. С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Boltanski L., Chiapello E. (2011) *Le Nouvel Esprit Du Capitalizm*. Transl. from French by S. Fokin. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)

Бурдые П. *Формы капитала* // *Экономическая социология*. 2002. Т. 3. № 5. С. 60—74. URL: [https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc\\_t3\\_n5.pdf#page=60](https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf#page=60) (дата обращения: 29.10.2022).

Bourdieu P. (2002) *The Forms of Capital*. *Economic Sociology*. Vol. 3. No. 5. P. 60—74. URL: [https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc\\_t3\\_n5.pdf#page=60](https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf#page=60) (accessed: 29.10.2022). (In Russ.)

Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. *Цифровой разрыв в России: особенности и тенденции* // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2019. № 5. С. 100—119. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.06>.

Dobrinskaya D. E., Martynenko T. S. (2019) Defining the Digital Divide in Russia: Key Features and Trends. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 100—119. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.06>. (In Russ.)

Кастель Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда / пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2009.

Castel R. (2009) *Métamorphoses De La Question Sociale: Une Chronique Du Salarariat*. Transl. from French by N. Shmatko. Saint Petersburg: Alethea. (In Russ.)

Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.

Latour B. (2014) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*. Transl. from English by I. Polonskaia. Moscow: HSE University Publishing House. (In Russ.)

Расторгуев С. В., Тян Ю. С. Цифровизация экономики России: тенденции, кадры, платформы, вызовы государству // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 5. С. 136—161. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.08>.

Rastorguev S. V., Tian Y. S. (2019) Digitalization of the Russian Economy: Trends, Personnel, Platforms, and Challenges to the State. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 136—161. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.08>. (In Russ.)

Сизова И. Л., Карапетян Р. В., Титаренко Л. Г. Эффекты цифровизации в период пандемии в России и Беларуси // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2021. Т. 14. № 3. С. 190—207. <https://doi.org/10.21638/spbu12.2021.301>.

Sizova I. L., Karapetyan R. V., Titarenko L. G. (2021) Effects of digitalization during the pandemic in Russia and Belarus. *Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology*. Vol. 14. No. 3. P. 190—207. <https://doi.org/10.21638/spbu12.2021.301>. (In Russ.)

Сизова И. Л., Григорьева И. А. Ломкость труда и занятости в современном мире // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 1. С. 48—71. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.25.1.6279>.

Sizova I. L., Grigoryeva I. A. Fragility of Labor and Employment in the Modern World. *Sociological Journal*. Vol. 25. No. 1. P. 48—71. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.25.1.6279>. (In Russ.)

Смирнов А. В. Цифровое общество: теоретическая модель и российская действительность // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 1. С. 129—153. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.1.1790>.

Smirnov A. V. (2021) Digital Society: Theoretical Model and Russian Reality. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 129—153. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.1.1790>. (In Russ.)

Срничек Н. Капитализм платформ / пер. с англ. и науч. ред. М. Добряковой. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.

Srnicek N. (2019) Platform Capitalism. Transl. from English by M. Dobryakova. Moscow: HSE University Publishing House. (In Russ.)

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с франц. С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996.

Foucault M. (1996) La volonté de savoir. Transl. from French by S. Tabachnikova. Moscow: Kastal. (In Russ.)

Arntz M., Gregory T., Zierahn U. (2020) Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. *Wirtschaftsdienst*. H. 100 (Suppl. 1). P. 41—47. <https://doi.org/10.1007/s1027302026146>.

Badura B., Ducki A., Schröder H., Klose J., Meyer M. (2018) Sinn erleben — Arbeit und Gesundheit. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft Fehlzeiten-Report 2018. Berlin: Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/9783662573884>.

Bailey C., Yeoman R., Madden A., Thompson M., Kerridge G. (2019) A Review of the Empirical Literature on Meaningful Work: Progress and Research Agenda. *Human Resource Development Review*. Vol. 18. No. 1. P. 83—113 <https://doi.org/10.1177/1534484318804653>.

Bauer W., Stowasser S., Mütze-Niewöhner S., Zanker C. (2019) Arbeit in der digitalisierten Welt. Stand der Forschung und Anwendung im BMBF-Förderschwerpunkt. Stuttgart: Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.

Boes A., Kämpf T., Lühr T., Marrs K. (2014) Kopfarbeit in der modernen Arbeitswelt: Auf dem Weg zu einer “Industrialisierung neuen Typs“. In: Sydow J. Sadowski D., Conrad P. (Hg.) *Arbeit eine Neubestimmung. Managementforschung*. Wiesbaden: Springer. S. 33—62.

Böhme G. (2016) Ästhetischer Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp.

Boutang Y. M. (2011) Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Brennen S. J., Kreiss D., (2016) Digitalization. In: Jensen R. K., Craig R. T., Pooley J. D., Rothenbuhler E. W. *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. Chichester: Wiley. P. 556—566.

Briken K., Chillias S. (2017) The New Digital Workplace: How New Technologies Revolutionise Work. (Critical Perspectives on Work and Employment). London: Macmillan International Higher Education.

Brynjolfsson E., McAfee A. (2014) The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York, NY: W. W. Norton & Company. URL: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4312922/mod\\_resource/content/2/Erik%20-%20The%20Second%20Machine%20Age.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4312922/mod_resource/content/2/Erik%20-%20The%20Second%20Machine%20Age.pdf) (accessed: 30.10.2022).

Buss K.-P., Kuhlmann M., Weissmann M., Wolf H., Apitzsch B. (2021) Digitalisierung und Arbeit. Triebkräfte — Arbeitsfolgen — Regulierung. Frankfurt; New York, NY: Campus Verlag.



Eckhardt D., May S., Röthl M., Tischberger R. (2020) Digitale Arbeitskulturen. Transformationen erforschen. *Berliner Blätter*. H. 82. S. 3—15. <https://doi.org/10.18452/22134>.

Groth S., Müske J. (2019) Arbeit 4.0. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Arbeit im Wandel. *Augenblick*. H. 73. S 11—20.

Hardering F. (2021) Von der Arbeit 4.0 zum Sinn 4.0? Über das Sinnerleben in der Arbeit in Zeiten der Digitalisierung. *Österreich Z Soziol.* H. 46. S. 27—44 <https://doi.org/10.1007/s11614020004394>.

Hessler M., Thorade N. (2019) Die Vierteilung der Vergangenheit. Eine Kritik des Begriffs Industrie 4.0. *Technikgeschichte*. Bd. 86. H. 2. S. 153—170. <https://doi.org/10.5771/0040117X-20192153>.

Holler M. (2017) Verbreitung, Folgen und Gestaltungsaspekte der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Berlin: institut DGB-Index Gute Arbeit.

Holtgrewe U., Riesenecker-Caba T., Flecker J. (2015) «Industrie 4.0» — eine arbeitssoziologische Einschätzung. Wien: Endbericht für die AK Wien.

Hoose F. (2018) Digitale Arbeit. Strukturen eines Forschungsfeldes. IAQ-Forschung: Aktuelle Forschungsberichte des Instituts Arbeit und Qualifikation. H. 3. S. 1—44. <https://doi.org/10.17185/dupublico/46733>.

Kirchner S. (2015) Konturen der digitalen Arbeitswelt. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. H. 67. S. 763—791. <https://doi.org/10.1007/s1157701503443>.

Kirchner S., Wolf M. (2015) Digitale Arbeitswelten im europäischen Vergleich. *WSI—Mitteilungen*. Bd. 68. H. 4. S. 253—262. <https://doi.org/10.5771/0342300X-20154253>.

Klammer U., Steffes S., Maier M.F., Arhold D., Stettens O., Bellmann L., Hirsch-Kreisen H. (2017) Arbeiten 4.0 — Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt. *Wirtschaftsdienst*. H. 7. S. 459—463. <https://doi.org/10.1007/s1027301721639>.

Latniak E., Bendel A. (2021) Digitalisierungsprozesse erfolgreich umsetzen: Sozio-technische Gestaltungsansätze. Werkzeuge und Nutzungserfahrungen aus dem APRO-DI-Projekt. Vol. 2021. No. 8. <https://doi.org/10.17185/dupublico/74907>.

Maase K. (2008) Einleitung: Zur ästhetischen Erfahrung der Gegenwart. In: Kaspar Maase (Hg.) *Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der Gegenwart*. Frankfurt; New York, NY: Ästhetische Erfahrung der Gegenwart. S. 9—26.

Menz W., Nies S., Sauer D. (2019). Digitale Kontrolle und Vermarktlichung. *PROKLA*. Bd. 49. S. 181—200. <https://doi.org/10.32387/prokla.v49i195.1808>.

Müske J. (2020) Disziplinierende Zukunftsdiskurse. Gesellschaftliche Verhandlungen über Arbeit «4.0» am Beispiel der Logistik. *Berliner Blätter*. H. 82. S. 29—42. <https://doi.org/10.18452/22131>.

Nachtwey O., Staab P. (2015) Die Avantgarde des digitalen Kapitalismus. *Mittelweg* 36. Jg. 24. H. 6. S. 59—84.

Orlikowski W. J. (2016) “Digital Work: A Research Agenda”. A Research Agenda for Management and Organization Studies. Ed. by Barbara Czarniawska. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. P. 88—96.

Reckwitz A. (2012) Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin: Suhrkamp. H. 3. S. 282—289. <https://doi.org/10.1515/arb-2013-0069>.

Schwemmler M., Wedde P. (2018) Alles unter Kontrolle? Arbeitspolitik und Arbeitsrecht in digitalen Zeiten. *WISO Diskurs*. H. 2. Bonn. <https://doi.org/10.17185/duerpublico/74975>.

Stein M.-K., Wagner E.L., Tierney P., Newell S., Galliers R. D. (2019) Datification and the Pursuit of Meaningfulness in Work. *Journal of Management Studies*. Vol. 56. No. 3. P. 685—717. <https://doi.org/10.1111/joms.12409>.

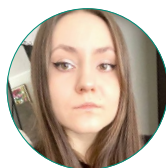
Stettes O. (2016) Arbeitswelt und Arbeitsmarktordnung der Zukunft. Welche Schlüsse können aus der vorliegenden empirischen Evidenz bereits geschlossen werden? Köln: Institut der deutschen Wirtschaft.

Sutter O., Flor V. (2017) Ästhetisierung der Arbeit Empirische Kulturanalysen des kognitiven Kapitalismus. Bonner Beiträge zur Alltagskulturforchung. New York, NY: Waxmann Verlag GmbH. URL: [https://waxmann.ciando.com/img/books/extract/3830986718\\_lp.pdf](https://waxmann.ciando.com/img/books/extract/3830986718_lp.pdf) (accessed: 30.10.2022).

Vašek T. (2017) Im Arbeitskreis der Algorithmen. Hohe Luft Businessclass. URL: <https://www.hoheluft-businessclass.com/im-arbeitskreis-der-algorithmen> (accessed: 30.11.2021).

Wendsche J., Lohmann-Haislah A. (2017) A Meta-Analysis on Antecedents and Outcomes of Detachment from Work. *Frontiers in Psychology*. Vol. 7. P. 2072. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.02072>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2258](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2258)



**Д. Р. Геращенко**

## **ЦЕНА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КАРЬЕРЫ: НАУЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕКТОРОВ ДО И ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ**

**Правильная ссылка на статью:**

Геращенко Д. Р. Цена административной карьеры: научная продуктивность ректоров до и после назначения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 257—277. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2258>.

**For citation:**

Gerashchenko D. R. (2022) The Price of an Administrative Career: Academic Productivity of Rectors before and after Appointment. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 257–277. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2258>. (In Russ.)

Получено: 20.06.2022. Принято к публикации: 15.09.2022.

## ЦЕНА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КАРЬЕРЫ: НАУЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕКТОРОВ ДО И ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ

## THE PRICE OF AN ADMINISTRATIVE CAREER: ACADEMIC PRODUCTIVITY OF RECTORS BEFORE AND AFTER APPOINTMENT

*ГЕРАЩЕНКО Дарья Руслановна — младший научный сотрудник, Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия*  
E-MAIL: [dgeraschenko@eu.spb.ru](mailto:dgeraschenko@eu.spb.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-0990-6648>

*Daria R. GERASHCHENKO<sup>1</sup> — Junior Researcher*  
E-MAIL: [dgeraschenko@eu.spb.ru](mailto:dgeraschenko@eu.spb.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-0990-6648>

<sup>1</sup> European University at Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia

**Аннотация.** Как меняется структура публикаций ректора после назначения? В то время как социально-демографические характеристики университетских лидеров и их влияние на эффективность вуза как организации изучались ранее, исследования влияния «административного бремени» на изменения публикационного профиля ректоров отсутствуют. В представленной работе, опираясь на данные о публикациях российских ректоров, автор анализирует изменения в их публикационной активности. Результаты анализа показывают, что: 1) академическая продуктивность ректора значимо положительно связана с долей статей, написанных им самостоятельно, и статей, написанных в соавторстве с учеными, аффилированными с разными организациями, а также отрицательно связана с долей статей в институциональном соавторстве (все авторы аффилированы с одной организацией); 2) каждый дополнительный год в должности увеличивает долю статей в соавторствах всех типов, а также общее число опубликованных статей в год. Результаты показывают, что нахождение в офисе значительно влияет на изменение публикационного профиля ректоров российских вузов, в частности, административная нагрузка подталкивает ректоров прибегать к написанию статей в соавторстве.

**Abstract.** How does the structure of the rector's publications change after their appointment? While the socio-demographic characteristics of university leaders, as well as their impact on the effectiveness of the university as an organization, have been studied previously, the literature is scarce regarding studies of the “administrative burden's” impact on changes in rectors' publication profile. In this study, based on data on the publications of Russian rectors, the author analyzes changes in rector publication activity. Based on theoretical assumptions about the factors that can influence publication dynamics, the results of the analysis show that: 1) the academic productivity of the rector is significantly positively associated with the share of articles written by the rector himself and articles written in co-authorship with scientists affiliated with different organizations, and is also negatively related to the share of articles in institutional co-authorship (all authors are affiliated with the same organization); 2) each additional year in office increases the share of articles in all types of co-authorships, as well as the total number of articles published per year. The results show that being in the office has a significant impact on the publication profile of the rectors in Russian universities, in particular, there is evidence that the administrative burden pushes the rectors to write articles in co-authorship.

**Ключевые слова:** российские ректоры, публикационная активность, административное бремя, соавторство, высшее образование

**Keywords:** Russian rectors, publication activity, administrative burden, co-authorship, higher education

**Благодарность.** Данные собраны при поддержке Фонда экономической политики (НИР1-170521); обновление данных, их анализ и написание статьи поддержаны грантом Российского научного фонда № 21-78-10102.

**Acknowledgments.** The data was collected with the support of the Economic Policy Fund (Research Project 1-170521); data update, analysis, and preparation of the article were supported by the Russian Science Foundation grant No. 21-78-10102.

## Введение

Модель управления университетом предполагает, что сотрудники совмещают преподавание и исследовательскую работу. Помимо академической карьеры каждый ученый может сделать карьеру административную, вершиной которой является должность ректора. Ученым, ставшим ректорами или деканами, необходимо переоценить приоритеты, в частности время, затрачиваемое на исследования, преподавание и административные обязанности, которые могут оказать общее пагубное влияние на индивидуальную академическую продуктивность<sup>1</sup> во время пребывания в должности. Хотя существует дискуссия, должен ли университетский управленец заниматься наукой, общее ожидание состоит в том, что лидер продолжит публиковаться, несмотря на возросшую административную нагрузку, потому что ректоры — это прежде всего ученые по призванию [Bargh et al., 2000], которые вследствие развития своей карьеры заняли административные должности наивысшего ранга внутри академии. Кроме того, занятие должности ректора не предполагает гарантии будущего переизбрания или переназначения, в связи с чем при желании продолжать трудиться в академии ученый скорее будет поддерживать публикационную активность.

Удается ли ученым сохранять продуктивность после занятия высоких административных позиций? До сих пор лидеров университетов изучали с точки зрения их социально-демографических характеристик, образования, а также того, как эти характеристики влияют на организационную эффективность [Goodall, 2005, 2009; Breakwell, Tytherleigh, 2010; Gerashchenko, 2021]. Однако возможные изменения публикационной активности ректоров в результате назначения не получили должного внимания. В данном исследовании, помимо изменений в количестве и качестве публикаций, ставится задача оценить изменения в выборе типов соавторств. В частности, я изучу изменения доли научных статей в соавторстве и без соавторства для ректоров до и после занятия ими должности. Основная гипотеза состоит в том, что публикации в некоторых типах соавторств, в частности

<sup>1</sup> Под академической продуктивностью в данном исследовании понимается индивидуальный вклад ученого в производство научного знания, проявляющегося в качестве опубликованных научных статей. Я измеряю академическую продуктивность с помощью метрики «p-score», которая равна годовому числу цитирований без учета самоцитирований, деленному на порог (threshold), уникальный для каждой области исследований.

в институциональном соавторстве, характерны для ректоров с более низкими показателями академической продуктивности.

Паттерны публикаций до и после назначения исследуются на выборке ректоров российских университетов. Основным источником данных — Российский индекс научного цитирования (далее РИНЦ), а также официальные сайты вузов. РИНЦ представляет собой национальную базу данных, в которой аккумулируются научные публикации, такие как статьи, монографии и т. д., изданные российскими учеными. Был проведен библиометрический анализ публикаций руководителей университетов. Для выборки из более чем тысячи руководителей российских университетов, работающих в государственных и частных университетах, были выгружены более пятидесяти тысяч статей, опубликованных в период с 1970 по 2020 г. Затем было определено, написаны ли они в соавторстве или нет. Статьи, написанные в соавторстве, разделены на те, авторы которых аффилированы с одной и той же организацией (институциональное соавторство), и на те, где организации разные (межинституциональное соавторство). Для каждого ректора рассчитаны доли статей без соавторства, а также в институциональном и межинституциональном соавторстве, которые служат ключевыми *зависимыми переменными*. Я предлагаю оценивать индивидуальную академическую продуктивность российских ректоров с помощью *независимой* переменной «*p-score*», которая равна цитируемости, деленной на «порог цитируемости» (threshold) области исследований, чтобы можно было сравнивать продуктивность ректоров из разных областей. Была также создана *независимая* переменная «годы в должности», учитывающая каждый дополнительный год, проведенный на посту ректора. Анализ произведен с помощью панельной регрессии со случайными эффектами (RE) и стандартными ошибками Дрисколла и Краая (Driscoll and Kraay standard errors).

Результаты показывают, что более высокая академическая продуктивность положительно связана с долей статей, написанных ректором самостоятельно, а также статей в межинституциональном соавторстве, но отрицательно связана с долей статей в институциональном соавторстве. Кроме того, более продолжительный срок пребывания в должности увеличивает долю статей во всех типах соавторств. В целом исследование приводит к выводу, что «административное бремя», возлагаемое на руководителей университетов, приводит к заметным изменениям в структуре публикаций, в результате чего ректоры публикуют больше статей в соавторстве, чем прежде.

Данная работа вносит вклад в знание о лидерах российских университетов. Во-первых, административные обязанности существенно влияют на то, как выглядит публикационная структура руководителя университета. Во-вторых, исследование учитывает роль индивидуальной продуктивности в изменениях структуры публикаций, которая имеет большое значение для дальнейшего карьерного роста ученых после сложения полномочий ректора.

## Обзор литературы

Далее представлен обзор литературы, которая оценивает влияние «административного бремени» и индивидуальной продуктивности на публикационную активность.

Высшим достижением академической карьерной лестницы можно считать должность руководителя университета [Moore et al., 1983], что влечет за собой не только положительные, но и отрицательные последствия. Повышенная административная нагрузка является следствием занятия любой неакадемической должности в образовательной организации [Landry et al., 2010; Amara, Landry, Halilem, 2015]. Исследования показывают, что руководители университетов, как правило, годами работают в университете в качестве ученых, которые преподают и занимаются научной работой [Singell, Tang, 2013]. Они совмещают исследовательскую и административную работу в качестве деканов, продолжая публикационную деятельность, необходимую для карьерного роста [Amara, Landry, Halilem, 2015; Abramo, D'Angelo, Di Costa, 2011; Maher et al., 2014]. Я исхожу из предпосылки, что для ученого, ставшего университетским лидером, назначение как таковое не становится причиной для остановки исследовательской деятельности, так как занятие наукой можно рассматривать с точки зрения «призвания» [Weber, 1946]. Любое назначение конечно, поэтому я ожидаю, что вступивший в должность ректор продолжит исследовательскую работу из соображений, связанных с желанием продолжить научную карьеру. Важно отметить, что пост лидера университета связан с большей административной нагрузкой, чем другие административные должности. Следовательно, ожидается, что назначенный руководитель пересмотрит свои приоритеты. В частности, для академической работы останется меньше времени и это отрицательно скажется на индивидуальной академической продуктивности [Amara, Landry, Halilem, 2015]. Таким образом, годы на посту ректора будут негативно связаны с количеством публикаций ректора после назначения. Также можно предположить, что изменится качество научных статей, так как более сильные публикации требуют больших усилий и времени для их написания.

**Гипотеза 1а.** Каждый дополнительный год на посту ректора статистически значимо отрицательно связан с количеством статей ректора.

**Гипотеза 1б.** Каждый дополнительный год на посту ректора статистически значимо отрицательно связан с качеством статей ректора.

Лозунг «publish or perish» («публикуйся или проиграешь») предполагает, что исследователи будут искать средства для поддержания публикационной активности и повышения производительности, избегая периодов без публикаций [Henriksen, 2018]. Исходя из этой предпосылки, можно ожидать, что ректоры изменят стратегию публикаций в сторону выбора статей, которые не требуют значительных издержек по подготовке. Исследования показали, что за последние 50 лет увеличилось количество статей, написанных в соавторстве, независимо от научной области [West et al., 2013; Leahey, 2016; Freeman, Ganguli, Murciano-Goroff, 2014]. С одной стороны, причинами возникшего сотрудничества может стать обмен экспертным мнением, объединение профессионального знания для решения сложных исследовательских задач, однако сотрудничество также может служить цели снижения исследовательских издержек, включая сбор данных, выполнение количественных расчетов, редактирование текста [Bikard, Murray, Gans, 2015]. Кроме того, работы в соавторстве в среднем становятся более заметными [Beaver, 2001], повышают производительность [Shi et al., 2009; Leahey, 2016] и обеспечивают карьерный рост ученого [Jeong, Choi, 2015]. Увеличение широты охвата аудитории достигается

за счет включения выдающегося ученого в список соавторов, поскольку впоследствии статья будет ассоциироваться с его именем — независимо от степени его участия в процессе работы [Laband, Tollison, 2000; Leahey, 2016].

Мы также можем предположить, какой вид соавторства будет преобладать, — исходя из представления о том, что соавторства различаются сложностью выстраивания коллабораций между учеными. Важно отметить, что частое личное общение и географическая близость соавторов увеличивают вероятность сотрудничества, особенно когда у соавторов общий работодатель (например, организация), схожая социализация, личные отношения и профессиональное доверие, которые развивались годами [Ponomariov, Boardman, 2016]. Эффективность сотрудничества зависит от географического расстояния между соавторами [Katz, 1994], средств коммуникации и ее интенсивности [Bikard, Murray, Gans, 2015]. Часто это результат взаимного доверия, личного общения и неформальных отношений [Shrum et al., 2007]. Можно эффективно снизить затраты на сотрудничество, если искать соавторов в непосредственной близости, например в пределах одного и того же учреждения. Действительно, некоторые исследования показывают, что межфакультетское сотрудничество внутри одного и того же университета снижает затраты на соавторство, делая его более привлекательным [Bikard, Murray, Gans, 2015: 24]. Следовательно, ожидается, что соавторство на институциональном уровне станет более распространенным за годы пребывания в должности ректора, в то время как соавторство с авторами из других организаций будет более редким. Важным фактором может стать административный ресурс ректора, который может явным и неявным образом способствовать росту количества статей, написанных совместно с сотрудниками университета. В связи с тем, что в некоторых институциональных контекстах, включая российский, лидеры играют особенную роль, можно предположить, что назначение на высокий административный пост приведет к тому, что сотрудники той же самой организации будут стремиться (или будут вынуждены) публиковать совместные научные работы.

**Гипотеза 2а.** Каждый дополнительный год на посту ректора статистически значимо отрицательно связан с долей статей, написанных самостоятельно.

**Гипотеза 2б.** Каждый дополнительный год на посту ректора статистически значимо отрицательно связан с долей статей, написанных в соавторстве с исследователями из других организаций.

**Гипотеза 2с.** Каждый дополнительный год на посту ректора статистически значимо положительно связан с долей статей в институциональном соавторстве.

Помимо последствий административной нагрузки, возлагаемой на лидеров, я предполагаю, что может иметь значение и индивидуальная академическая продуктивность, поскольку она наряду с опытом является составной частью человеческого капитала [Singell, Tang, 2013]. Согласно исследованиям, продуктивные авторы предпочитают публиковать статьи без соавторства в более рейтинговых журналах, чем статьи, которые были написаны в соавторстве [Rutledge, Karim, 2009]. Более академически успешные лидеры после назначения, вероятно, продемонстрируют меньшее снижение количества ежегодно публикуемых статей и доли статей, написанных без соавторства, чем менее успешные. Кроме того, продуктивные ученые имеют хорошо развитые сети, которые формировались



в течение многих лет, например, в результате участия в конференциях и семинарах [Glänzel, Schubert, 2004]. Установленные таким образом связи могут сохраняться в течение длительного времени, поэтому можно ожидать, что ректор продолжит ими пользоваться в период, пока находится на посту, — это возможная стратегия для продуктивных исследователей. Другими словами, лучшим ученым не чуждо соавторство, и они могут иметь хорошо развитую коммуникационную сеть. Кроме того, продуктивным авторам не нужно будет прибегать к институциональным соавторствам, которые могут возникнуть в результате повышенного интереса других ученых, работающих внутри университета.

**Гипотеза 3а.** Академическая продуктивность ректора статистически значимо положительно связана с долей статей, написанных самостоятельно.

**Гипотеза 3б.** Академическая продуктивность ректора статистически значимо положительно связана с долей статей в межинституциональном соавторстве.

**Гипотеза 3с.** Академическая продуктивность ректора статистически значимо отрицательно связана с долей статей в институциональном соавторстве.

### Источники данных и методы анализа

Основным источником данных является РИНЦ — национальная аналитическая система, которая аккумулирует публикации российских авторов, а также информацию о цитируемости публикаций из российских книг и журналов. Изучение качества результатов исследований имеет важное значение, поскольку Россия по сравнению с другими странами постсоветского пространства выпускает довольно много статей низкого качества [Chankseliani, Lovakov, Pisyakov, 2021]. В связи с тем, что значительная доля всех публикаций в России выходит на русском языке и небольшая часть русскоязычных журналов индексируется в Web of Science [ibid.], при изучении российских ректоров следует полагаться на национальные базы данных, такие как РИНЦ.

Выборка состоит из 1029 ректоров и 738 университетов<sup>2</sup>. Во-первых, из РИНЦ были собраны данные о публикациях каждого ректора<sup>3</sup>. Во-вторых, были загружены все статьи и другие публикации, опубликованные ректором за все доступные годы. Для целей исследования было выявлено 55 628 уникальных научных статей и более 50 000 публикаций других типов, опубликованных в период с 1970 по 2020 г.<sup>4</sup>

Скачав данные публикации, я определила, написана ли статья только ректором или в соавторстве. Затем я подсчитала ежегодное количество статей каждого ректора по типам. Типы включают статьи: 1) опубликованные только ректором и 2) опубликованные в соавторстве. Согласно классификации SciVal, соавторство можно разделить на международное, институциональное и национальное [Colledge, Verlinde, 2014: 66]. Для данного исследования я использую аналогичную классификацию — разделяю соавторство на институциональное и межин-

<sup>2</sup> В базу данных были включены ректоры всех российских университетов, о которых удалось найти информацию в интернете на официальных сайтах вузов.

<sup>3</sup> Сначала через модуль «поиск» на сайте РИНЦ были найдены индивидуальные страницы ректоров. Затем с помощью инструментов вебскрейпинга (англ. webscraper) и программы R были скачаны данные с сайта РИНЦ.

<sup>4</sup> Не у каждого ректора опубликованы статьи, начиная с 1970 г., поэтому эти годы варьируются в выборке.

ституциональное. Институциональный тип соавторства подразумевает, что все авторы аффилированы с одним и тем же учреждением; межинституциональное предполагает, что соавторы аффилированы с организацией(ями), отличной(ыми) от ректорской. Международное и национальное сотрудничество здесь не затрагивается, поскольку это отдельная большая интересная тема для исследования, в то время как российская наука довольно изолирована [Chankseliani, Lovakov, Pislyakov, 2021].

Опираясь на эту классификацию, я рассчитала следующие показатели, которые служат зависимыми переменными в регрессионных моделях<sup>5</sup>: (1) доля статей, написанных ректором самостоятельно (равна количеству статей с ректором в качестве единственного автора в году  $X$ , деленная на (/) общее количество статей, опубликованных в год  $X$ ), (2) доля статей в институциональном соавторстве (равно количеству статей, опубликованных в институциональном соавторстве в год  $X$  / общее количество статей, опубликованных в год  $X$ ), (3) доля статей в межинституциональном соавторстве (равна количеству статей, опубликованных в межинституциональном соавторстве в год  $X$  / общее количество статей, опубликованных в год  $X$ ); (4) число статей, опубликованных в год; (5) доля статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Ядре РИНЦ (равна количеству статей, попавших в Ядро РИНЦ в год  $X$  / общее количество статей, опубликованных в год  $X$ )<sup>6</sup>. Формат данных панельный.

Нормализация цитирований различных дисциплин перед проведением анализа — необходимое условие для получения надежных результатов [Leydesdorff, Opthof, 2010]. Я использую метрику « $p$ -score», которая служит ключевой независимой переменной во всех моделях в качестве меры академической продуктивности и, следовательно, качества.  $P$ -score ранее уже использовалась как непрерывная мера академической продуктивности [Goodall, 2005; Gerashchenko, 2021] и равна годовому числу цитирований без учета самоцитирований, деленному на порог (threshold), уникальный для каждой области исследований. Порог рассчитан для каждой дисциплины и года на основании данных РИНЦ<sup>7</sup>. Я использую этот метод, чтобы рассчитать годовой  $p$ -score для каждого ректора. Очевидное преимущество  $p$ -score в том, что он позволяет сравнивать между собой ученых, занимающимся исследованиями в разных областях. Это особенно важно, потому что разные области имеют разные паттерны цитирований. Некоторые дисциплины, такие как искусство и гуманитарные науки, более склонны к публикации монографий, а не статей, наиболее распространенных среди экономистов и ученых-естественников [Hamermesh, 1994; Cronin, Snyder, Atkins, 1997].

Поскольку регрессионные модели пытаются оценить влияние, которое назначение ректора может оказать на индивидуальную академическую продуктивность, непрерывная переменная «годы пребывания в должности» учитывает влияние,

<sup>5</sup> Я использую долю, так как меня интересует структура публикаций, а не количество статей, написанных в том или ином типе соавторства.

<sup>6</sup> Ядро РИНЦ представляет собой базу статей из наиболее качественных научных работ российских ученых, поэтому я использую долю статей в Ядре РИНЦ в качестве меры качественных работ.

<sup>7</sup> Для каждой из дисциплин были созданы списки топ-10 процентов наиболее цитируемых статей по годам и вычислена средняя величина цитирований для каждого из годов.

которое каждый дополнительный год пребывания в должности может оказать на структуру публикаций. Помимо данных об академической продуктивности, я также собрала информацию о ректорах и вузах. Это имя и пол ректора, годы в офисе (если есть) и научная специализация (с какой научной областью связано большинство публикаций). Институциональные данные включают название университета, в котором работает ректор, тип университета (частный или государственный) и является ли университет участником «Проекта 5—100» и/или имеет статус НИУ. Эти данные были собраны из открытых источников, таких как официальные сайты университетов и личные страницы ректоров.

Формат данных требует панельного регрессионного анализа. Спецификация модели представляет собой случайные эффекты (RE), а значит, вариации между единицами наблюдения предполагаются случайными и некоррелированными с предиктором или независимыми переменными. Спецификация фиксированных эффектов (FE) не позволяет включать переменные, не зависящие от времени, такие как пол, потому что они поглощаются интерсептом. Перекрестная зависимость является проблемой в макропанелях с длинными временными рядами. Тест кросс-секционной зависимости Пасарана (*Pasaran cross-sectional dependence test*) используется для проверки корреляции остатков между единицами наблюдения, поскольку кросс-секционная зависимость может привести к систематической ошибке в результатах теста, которая объясняется одновременной корреляцией (*contemporaneous correlation*). Следовательно, я контролирую кросс-секционную зависимость, используя модель панельной регрессии с RE и стандартными ошибками Дрисколла и Краая (*Driscoll and Kraay standard errors*), чтобы сделать результаты более надежными.

В данном исследовании несколько зависимых переменных (в табл. 1 представлены описательные статистики). Для первой модели это годовое число опубликованных статей, доля статей в ядре РИНЦ. Для второй модели зависимые переменные — это доля статей, написанных ректором самостоятельно, доля статей в институциональном соавторстве и доля статей в межинституциональном соавторстве. Основными независимыми переменными являются годы пребывания в должности (по нарастающей) и *p-score* ректора.

Таблица 1. Описательные статистики переменных (метрические и категориальные/бинарные)

Переменные	Описание	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Число наблюдений	Среднее	Станд. откл.	Мин.	Макс.	Медиана
year	Год наблюдения	3,916	2014	3.736	2006	2020	2015
pscore	Мера академической продуктивности	3,916	0,123	0,897	0	23,20	0,0191
share_s	Доля статей без соавторства	3,916	32,94	32,84	0	100	21,74
share_cr	Доля статей в ядре РИНЦ	3,916	28,3	28,6	0	100	19,2

Пере- менные	Описание	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Число наблю- дений	Среднее	Станд- откл.	Мин.	Макс.	Медиана
share_inst	Доля статей в институцио- нальном соавторстве	3,916	31,37	25,36	0	100	30,77
share_ goodc	Доля статей в межинститу- циональном соавторстве	3,916	9,491	13,71	0	100	4,348
artnum	Число опубликованных статей	3,681	32,2	43,7	0	405	19
term	Общее число лет в офисе	3,916	6,501	1,983	4	10	6
yin	Года в офисе (по нарастающей)	3,916	1,640	2,263	0	9	0
gender	Пол ректора (1 — муж.; 0 — жен.)	1029	78,1	21,8	0	1	1
research_ uni	Университет участник «Проекта 5-100» и/или имеет статус НИУ (1 — да; 0 — нет)	738	5,1	94,9	0	1	0
type	Тип вуза (1 — государствен- ный; 0 — частный)	738	68,9	31,1	0	1	1
category	Специализация ректора: — естественные науки — технические — медицинские — сельскохозяйственные — социальные — гуманитарные	1029 102 131 104 80 487 125	 9,9 12,7 10,2 7,7 47,4 12,1		    1	    6	      5

Контрольные переменные необходимы для учета факторов, которые могут повлиять на зависимые переменные<sup>8</sup>. Во-первых, *общий срок полномочий* варьируется среди ректоров и должен контролироваться из-за большего влияния административного опыта на изменение индивидуальной академической продуктивности и публикационных паттернов. В частности, более длительный срок полномочий может означать более низкую долю статей, написанных ректором самостоятельно, и большую долю статей, написанных в соавторстве. Кроме того, исследования показывают, что существует общая тенденция роста доли соавторства по мере продвижения по карьерной лестнице [O'Brien, 2012], а продолжительность срока служит мерой бюрократической вовлеченности ректора. Во-вторых, я включаю

<sup>8</sup> До назначения ректор мог занимать административную должность в университете, что со временем способствовало снижению количества опубликованных статей и их качества. По этой причине необходимо контролировать карьерный путь ректора. Однако при сборе данных оказалось, что более 85% всех российских ректоров ранее занимали такие должности, как декан, проректор и т.д. Иными словами, по этому показателю между ректорами существует маленькая вариативность. В связи с этим я не включаю этот показатель в модели.

контроль на пол ректора (бинарная) и специализацию области исследований (категориальная), потому что каждая область исследований имеет свои публикационные паттерны. Например, статьи служат основным видом публикации для некоторых областей, но в меньшей степени для других<sup>9</sup>. В-третьих, учитываются некоторые институциональные характеристики, например, работает ли ректор в исследовательском университете (бинарная). Исследовательскими в данном исследовании считаются вузы — бывшие участники «Проекта 5-100», а также вузы со статусом НИУ. Ожидается, что ректоры таких университетов могут испытывать большее публикационное давление, в то время как университеты становятся ориентированными на исследования, что провоцирует развитие внутренней дифференциации, которая препятствует общению между подразделениями и способствует соавторству [Brint, 2005; Biancani, McFarland, Dahlander, 2014]. В то время как более крупные исследовательские университеты, богатые ресурсами, также имеют больше возможностей для выполнения проектов, требующих соавторства [Wray, 2002: 163], лучшие учебные заведения также больше ценят единоличное авторство [Siva, Hermanson, Hermanson, 1998]. Наконец, я контролирую тип университета — работает ли ректор университета в государственном или частном вузе (бинарная). В российских условиях государственные университеты находятся под пристальным контролем государства и могут испытывать большее публикационное давление, чем частные, поэтому предполагается, что у ректоров государственных университетов будет более высокая доля публикаций в соавторстве.

На выборку наложено несколько ограничений. Как правило, срок полномочий ректора в России составляет пять лет, поэтому для данного исследования я исключаю ректоров, находящихся в должности менее четырех лет, потому что продолжительности срока должно быть достаточно, чтобы сделать выводы о влиянии срока в должности на академическую продуктивность и публикационную активность. Также я исключаю ректоров, проработавших более трех сроков подряд, так как некоторые такие ректора имеют тесные связи с региональными и федеральными властями [Forrat, 2016]. В этом случае есть ряд ненаблюдаемых факторов, которые могут позволить им оставаться на своем посту дольше. Кроме того, для достоверности динамики я оцениваю публикационную активность ректора минимум за пять лет до назначения. В результате в финальную выборку вошли ректоры, которые вступили в должность во время массового обновления ректоров в 2011—2013 годах, заменив предшественников, долгое время находившихся на этом посту.

## Результаты

*До и после назначения на должность:*

*количество опубликованных статей и их качество*

Собранные данные показывают, что ректоры российских вузов не заканчивают исследовательскую деятельность после вступления в должность: в базе данных нет примеров ректоров, которые опубликовали ноль статей за годы, проведенные в офисе ректора. Публикуют ли ректоры больше работ до или после назначения? 52% ректоров опубликовали больше статей во время пребывания в должности

<sup>9</sup> В этой работе исследовательская специализация разделена на шесть групп: гуманитарные, естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные и социальные науки.

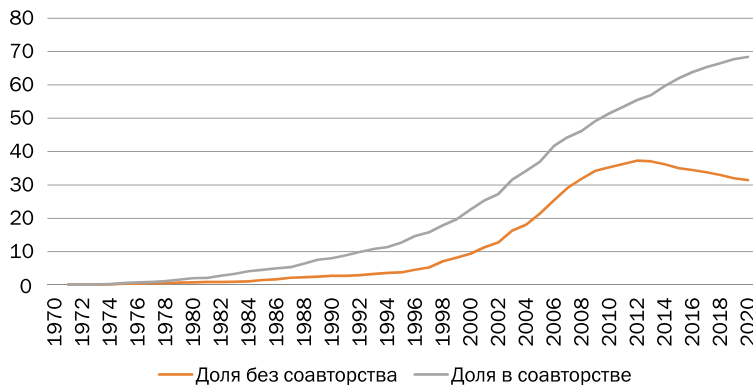
по сравнению с периодом до вступления в должность. Однако следует подчеркнуть, что более длительный срок пребывания в должности может повлиять на эти результаты. Если выборка будет ограничена сроком полномочий более четырех лет, процент ректоров, опубликовавших больше статей за время пребывания в должности, резко возрастет — 73% ректоров с более длительным сроком пребывания в должности опубликуют больше статей за время пребывания в должности еще и потому, что средний срок полномочий в полной выборке российских ректоров составляет 9,6 года (около двух сроков). Таким образом, срок положительно коррелирует с количеством опубликованных статей. Дальнейший анализ показывает, что среднегодовое увеличение количества статей, опубликованных за период до назначения, составляет 6,5%, а за последующие годы — 19%. Вступление в должность ректора будет означать увеличение общего количества опубликованных статей. Однако логично предположить, что качество важнее, чем количество статей.

Собранные данные также содержат информацию о том, опубликована ли статья в журнале, индексируемом в таких базах данных, как РИНЦ. В РИНЦ есть свой список журналов более высокого качества — Ядро РИНЦ. В РИНЦ в целом входят все статьи, соответствующие общим критериям научного исследования. Список Ядра РИНЦ представляет собой базу статей из наиболее качественных российских журналов, а также статьи российских ученых, опубликованные в журналах, индексируемых в WoS и Scopus. Таким образом, считается, что Ядро РИНЦ включает статьи более высокого качества, чем общий список РИНЦ. Данные показывают, что средняя доля статей Ядре РИНЦ снизилась после вступления в должность: до вступления в должность она составляла 23%, а после стала 20,5%.

### Структура научных статей российских ректоров

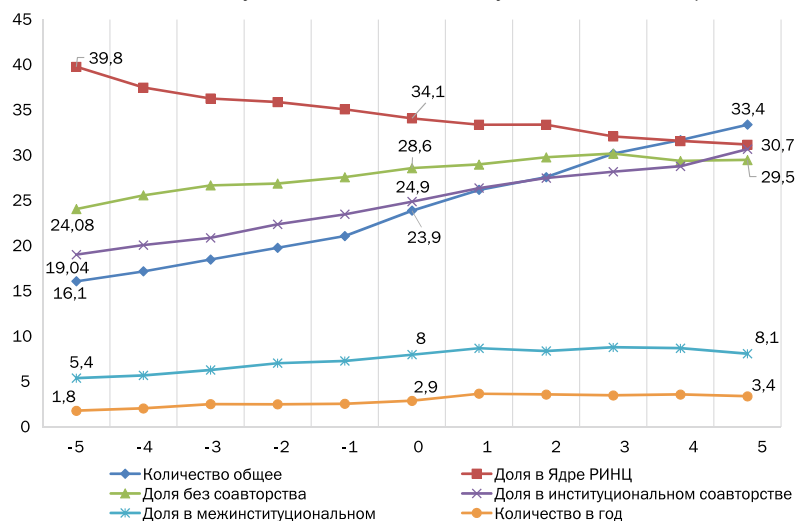
Из 55628 научных статей почти 21%, или 11 233 статьи, написаны только ректором (в среднем российский ректор имеет 31,7% самостоятельно написанных статей от общего числа опубликованных статей), остальные 79%, или 44 395 статей, написаны в соавторстве. При этом доля статей без соавторства на одного ректора медленно увеличивалась до начала 2010-х годов, но с тех пор отчетливо заметно постепенное снижение; параллельно можно наблюдать рост доли статей в соавторстве (см. Рис. 1).

Рис. 1. Выборочное среднее за 1970—2020 гг.:  
доля статей без соавторства и доля статей в соавторстве, в %



Сравнивая основные показатели за пять лет до и после назначения, можно отметить, что, во-первых, среднее число опубликованных статей в целом, а также среднее число статей в год последовательно росли, в том числе после вступления в должность (см. Рис. 2). Во-вторых, доля статей, опубликованных в журналах ядра РИНЦ, демонстрирует снижение: если за пять лет до назначения доля составляла 39,8%, то за пять лет после она равна 31,2%. В-третьих, если до назначения доля статей, написанных самостоятельно, демонстрировала некоторый рост (с 24% до 28,6%), то к пятому году после назначения доля равна в среднем 29,5%. Таким образом, за пять лет после вступления в должность рост доли статей без соавторства в среднем по выборке составил лишь 0,9%. Кроме того, увеличилась доля статей, написанных в институциональном соавторстве, на протяжении всего периода — за пять лет до назначения ректоры имели в среднем 19% статей в институциональном соавторстве, за пять лет после вступления в должность — 30,7%. Данные показывают, что 75% всех ректоров, вступивших в должность до 2016 г., опубликовали больше статей в институциональном соавторстве за время пребывания в должности, чем до назначения. Более того, из всех ректоров, у которых больше статей, опубликованных в институциональном соавторстве, 57% никогда не имели статей в институциональном соавторстве ранее и начали публиковать такие статьи только после назначения. Доля статей в межинституциональном соавторстве, в отличие от других наблюдаемых переменных, демонстрирует лишь небольшие изменения — доля выросла на 2,6% за пять лет до назначения к моменту вступления в должность, в то время как рост за пять лет после назначения составил лишь 0,1%. Таким образом, в то время как ректоры стали публиковаться больше после назначения, статьи в институциональном соавторстве составляют значительную долю всех опубликованных статей, а качество статей (доля в ядре РИНЦ) также демонстрирует некоторый упадок.

Рис. 2. Выборочное среднее, научные статьи: общее количество статей, число опубликованных статей в год, доля статей в ядре РИНЦ, доля статей без соавторства, доля статей в институциональном и межинституциональном соавторствах



Примечание: от -5 (5 лет до назначения), 0 — год назначения, до +5 (5 лет после назначения).

Также интересно, что доли статей всех типов (как написанные ректором, так и в соавторстве) выросли за период в должности ректора (см. табл. 2). Однако доля статей в институциональном соавторстве демонстрирует большее увеличение средних значений, чем другие типы соавторств.

**Таблица 2. Средняя доля статей по типам за периоды до (число ректоров = 1,029) и после назначения (число ректоров = 900) в среднем по выборке, %**

	До вступления в должность	После вступления в должность
Доля статей, написанных ректором самостоятельно	8	31,4
Доля статей в соавторстве	15,7	62,4
Доля статей в межинституциональном соавторстве	1,6	10
Доля статей в институциональном соавторстве	6,2	31,8

### Регрессионный анализ

Оказывает ли нахождение в ректорском офисе негативное влияние на число и качество опубликованных научных статей? Для ответа на вопрос необходимо проинтерпретировать результаты регрессионного анализа в таблице 3.

**Таблица 3. Результаты регрессионного анализа: зависимость числа опубликованных статей (art\_num) и доли статей, опубликованных в журналах Ядра РИНЦ (share\_cr), от лет нахождения в офисе (yin)**

	(1)	(2)
VARIABLES	artnum	share_cr
yin	5,741***	0,0577
	(0,533)	(0,157)
term	-2,962	-1,402
	(5,333)	(0,918)
gender	-1,031	2,645*
	(5,096)	(1,364)
research_uni	23,63	19,42***
	(18,56)	(4,719)
type	13,95	-0,0937
	(18,90)	(7,666)
Constant	45,05	59,12***
	(32,37)	(14,42)
Observations	3,916	3,681
Number of groups	329	329
SPECIALIZATION CONTROL	YES	YES

Стандартные ошибки в скобках: \*\*\*  $p < 0,01$ , \*\*  $p < 0,05$ , \*  $p < 0,1$ .



Анализ показывает, что годы в офисе статистически значимо положительно связаны с числом опубликованных статей (столбец 1), что противоречит выдвинутой гипотезе 1а. В частности, каждый дополнительный год увеличивает число статей, опубликованных в год, на 5,7 пункта (результат значим на 1 % уровне). Данный результат можно объяснить общим трендом увеличения публикационной активности ректоров, который подразумевает рост числа опубликованных работ, а также числа их цитирований. Кроме того, данные не демонстрируют статистически значимой связи между годами в офисе и долей статей в ядре РИНЦ, хотя связь в целом положительная (гипотеза 1b не подтверждается). Иными словами, нельзя сказать, что ректоры публикуют статьи высокого качества, находясь в должности. Стоит, однако, заметить, что доля статей в ядре РИНЦ в целом выше у ректоров-мужчин, а также ректоров, возглавляющих научно-исследовательские вузы, чем вузы иной направленности. Данный результат согласуется с результатами других исследований, свидетельствующих о том, что лучшие вузы возглавляются лучшими учеными [Goodall, 2005].

Каково влияние каждого дополнительного года в должности и индивидуальной продуктивности на изменения в структуре научных статей? Результаты представлены в таблице 4.

**Таблица 6. Результаты регрессионного анализа: зависимость изменений в долях статей без соавторства (share\_s), статей в институциональном соавторстве (share\_inst), статей в соавторстве с учеными, аффилированными с разными организациями (share\_goodc), от лет нахождения в офисе (yin) и индивидуальной продуктивности (p-score)**

VARIABLES	(1)	(2)	(3)
	share_s	share_inst	share_goodc
pscore	1.000*** (0.149)	-1.148* (0.602)	0.249* (0.119)
yin	-0.331 (0.240)	1.799*** (0.282)	0.703*** (0.143)
term	0.352 (1.210)	-0.935 (2.087)	-0.554 (0.835)
gender	-2.224 (5.772)	-1.819 (2.763)	-0.526 (1.640)
research_uni	-1.046 (12.30)	-6.718* (3.640)	2.268 (2.849)
type	1.091 (3.417)	6.198* (3.459)	-2.235 (6.219)
Constant	13.21 (10.64)	36.61** (13.84)	15.20 (8.937)
Observations	3,916	3,916	3,916
Number of groups	329	329	329
SPECIALIZATION CONTROL	YES	YES	YES

Стандартные ошибки в скобках: \*\*\*  $p < 0,01$ , \*\*  $p < 0,05$ , \*  $p < 0,1$ .

Во-первых, индивидуальная продуктивность положительно и статистически значимо связана с долей статей, написанных ректором самостоятельно, а также с долей статей в соавторстве с авторами, аффилированными с разными организациями (гипотезы 3а и 3б подтверждаются). Во-вторых, более низкая продуктивность коррелирует с более высокими долями статей в институциональном соавторстве (гипотеза 3с подтверждается). Кроме этого, в то время как годы в офисе в общем незначимо, но отрицательно связаны с долей статей без соавторства, они также положительно и статистически значимо связаны с долей статей в институциональном соавторстве, а также с долей статей, написанных в соавторстве с авторами из разных организаций (гипотеза 2а подтверждается частично, гипотеза 2б не подтверждается, гипотеза 2с подтверждается). Таким образом, можно сказать, что каждый дополнительный год в офисе ректора в среднем увеличивает долю статей в институциональном соавторстве на 1,7 пункта, а долю статей в соавторстве с учеными их других организаций — на 0,7 пункта. Также стоит отметить, что ректоры государственных университетов в целом имеют более высокую долю статей в институциональном соавторстве, а ректоры научно-исследовательских имеют более низкую долю таких статей.

Несмотря на то, что индивидуальная академическая продуктивность несколько возрастает с каждым дополнительным годом на посту ректора, мы видим, что эта продуктивность достигается, в частности, за счет роста доли статей, которые ректоры пишут в разных типах соавторств. Так, после назначения на должность руководители университетов наращивают долю статей, написанных в соавторстве с учеными из того же университета. Нельзя, конечно, исключать, что другие ученые могут стремиться включить ректора в список своих соавторов, предлагая сотрудничество [Leahey, 2016], а также что ректор может сменить основную тематику исследований, например, начав исследовать сферу образования, он может искать сотрудничества со специалистами в этой научной теме. Тем не менее принятие решения о соавторстве — это самостоятельный выбор каждого ученого, поэтому можно сказать, что увеличение доли соавторства как такового не происходит случайно, а является рациональным выбором ученого. Кроме этого, продуктивность, как и ожидалось, действительно положительно связана с долей статей, написанных самостоятельно, и долей статей в межинституциональном соавторстве, в то время как она отрицательно связана с долей статей в институциональном соавторстве. Из проведенного анализа можно заключить, что после занятия административной должности для поддержания достойного уровня публикационной активности ректор публикует большее количество статей, чем прежде, за счет участия в научных коллаборациях, что необходимо. Однако также важно, что менее продуктивные ученые в большей степени склонны к участию в институциональных соавторствах, чем более успешные.

## **Заключение**

Должность ректора подразумевает пересмотр приоритетов, в частности перераспределение времени между административной и академической деятельностью. Как правило, руководители университетов продолжают работать в академии после окончания срока полномочий, поэтому им необходимо поддерживать

определенный уровень академической продуктивности. Можно предположить, что руководители университетов продолжат публиковаться после назначения, но структура их публикационной активности, вероятно, изменится. В исследовании были проанализированы эти изменения и то, как они связаны с индивидуальной академической продуктивностью на выборке руководителей российских университетов. Изучая такие изменения, можно определить масштаб влияния «административного бремени» на публикационную активность.

Результаты исследования показывают, что, во-первых, назначение на должность не означает уменьшение числа опубликованных ректором статей, а скорее наоборот. Однако увеличение числа опубликованных статей почти не связано с тем, что ректор публикует статьи самостоятельно, — напротив, каждый дополнительный год в офисе ректора увеличивает долю статей в соавторстве, в частности институциональном (в соавторстве с авторами, аффилированными с той же организацией, что и ректор). Таким образом, более высокая административная нагрузка, которая увеличивается с каждым дополнительным годом пребывания в должности, подталкивает университетских лидеров к участию в совместных академических проектах. Во-вторых, более академически продуктивные ректоры имеют более высокие доли статей, написанных самостоятельно, а также доли статей в соавторстве с учеными, аффилированными с разными организациями. В то же самое время доля статей в институциональном соавторстве отрицательно связана с продуктивностью. Иными словами, менее академически успешные российские ректоры имеют более высокие доли статей с учеными из своей же организации, нежели более успешные.

Данное исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, представленный анализ не предполагает причинно-следственной связи. В частности, продуктивность может повлиять на соавторство, поскольку более сильные ученые могут участвовать в написании статьи совместно с менее выдающимися учеными [Cainelli et al., 2012]. Чтобы избежать этой проблемы, дальнейшие исследования должны учитывать прокси академической продуктивности, например, с помощью инструментальных переменных. Во-вторых, в данной работе не изучается изменение международного соавторства по причинам, связанным со спецификой структуры соавторства в России. В частности, большинство исследований, опубликованных российскими учеными, написаны в соавторстве с коллегами из России, поскольку российская академия остается довольно изолированной с точки зрения сотрудничества в некоторых областях исследований [Chankseliani, Lovakov, Pislakov, 2021]. Я полагаю, что дальнейшие исследования должны решить вышеупомянутые проблемы.

Следует ли оценивать ректора по публикационной активности? Следует ли изменить государственную политику в этой сфере? Можно предположить, что формальная оценка на национальном уровне могла бы включать публикационную активность ректоров, поскольку есть свидетельства того, что академическая продуктивность университета коррелирует с продуктивностью лидера [Gerashchenko, 2021]. В то же время существуют свидетельства, что научная продуктивность ректоров не приоритетна при отборе новых ректоров российских университетов [Guba, Gerashchenko, 2022]. Тем не менее при выполнении административных функций

важно поддерживать достойный уровень публикационной активности ректоров, стремящихся к дальнейшему карьерному росту в академии. Кроме того, более академически успешные руководители университетов могут быть воплощением процветающей университетской среды, в которой ценятся исследования. Поэтому общая привлекательность университета для перспективных и способных студентов может потенциально вырасти.

### Список литературы (References)

- Abramo G., D'Angelo C. A., Di Costa F. (2011) Research Productivity: Are Higher Academic Ranks More Productive than Lower Ones? *Scientometrics*. Vol. 88. P. 915—928. <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0426-6>.
- Amara N., Landry R., Halilem N. (2015) What Can University Administrators Do to Increase the Publication and Citation Scores of Their Faculty Members? *Scientometrics*. Vol. 103. P. 489—530. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1537-2>.
- Bargh C., Boccock J., Scott P., Smith D. (eds.) (2000) *University Leadership: The Role of the Chief Executive*. MI: Open University Press.
- Beaver D. (2001) Reflections on Scientific Collaboration (and Its Study): Past, Present, Future. *Scientometrics*. Vol. 52. P. 365—377. <https://doi.org/10.1023/A:1014254214337>.
- Biancani S., McFarland D. A., Dahlander L. (2014) The Semiformal Organization. *Organization Science*. Vol. 25. No. 5. P. 1287—1571. <https://doi.org/10.1287/orsc.2013.0882>.
- Bikard M., Murray F., Gans J.S. (2015) Exploring Trade-Offs in the Organization of Scientific Work: Collaboration and Scientific Reward. *Management Science*. Vol. 61. No. 7. P. 1473—1495. URL: <http://www.jstor.org/stable/24551486> (accessed: 27.09.2022).
- Breakwell G. M., Tytherleigh M. Y. (2010) University Leaders and University Performance in the United Kingdom: Is It Who Leads, or Where They Lead That Matters Most? *Higher Education*. Vol. 60. No. 5. P. 491—506. <https://doi.org/10.1007/s10734-010-9311-0>.
- Brint S. (2005) Creating the Future: “New Directions” in American Research Universities. *Minerva*. Vol. 43. No. 1. P. 23—50. URL: <https://www.jstor.org/stable/41821301> (accessed: 27.09.2022).
- Cainelli G., Maggioni M. A., Uberti T. E., Annunziata De Felice (2012) Co-Authorship and Productivity among Italian Economists. *Applied Economics Letters*. Vol. 19. No. 16. P. 1609—1613.
- Chankseliani M., Lovakov A., Pisyakov V. (2021) A Big Picture: Bibliometric Study of Academic Publications from Post-Soviet Countries. *Scientometrics*. Vol. 126. P. 8701—8730. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04124-5>.

Colledge L., Verlinde R. (2014) *Scival Metrics Guidebook*. Netherlands: Elsevier. URL: <https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/scival-metrics-guidebook> (accessed: 16.09.2022).

Cronin B., Snyder H., Atkins H. (1997) Comparative Citation Rankings of Authors in Monographic and Journal Literature: A Study of Sociology. *Journal of Documentation*. Vol. 53. No. 3. P. 263—273. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007200>.

Ferrat N. (2016) The Political Economy of Russian Higher Education: Why Does Putin Support Research Universities? *Post-Soviet Affairs*. Vol. 32. No. 4. P. 299—337. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1051749>.

Freeman R. B., Ganguli I., Murciano-Goroff R. (2014) Why and Wherefore of Increased Scientific Collaboration. In: Gaffe A., Jones B. *The Changing Frontier: Rethinking Science and Innovation Policy*. IL: University of Chicago Press. P. 17—48.

Gerashchenko D. (2021) Academic Leadership and University Performance: Do Russian Universities Improve When They Are Led by Top Researchers? *Higher Education*. Vol. 83. P. 1103—1123. <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00732-5>.

Glänzel W., Schubert A. (2004) Analysing Scientific Networks through Co-Authorship. In: Moed H. F. (ed.) *Handbook of Quantitative Science and Technology Research*. Berlin: Springer Dordrecht. P. 257—76.

Goodall A. H. (2005) Should Top Universities Be Led by Top Researchers and Are They? A Citations Analysis. *Journal of Documentation*. Vol. 62. No. 3. P. 388—411. <https://doi.org/10.1108/00220410610666529>.

Goodall A. H. (2009) Highly Cited Leaders and the Performance of Research Universities. *Research Policy*. Vol. 38. No. 7. P. 1079—1092. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.04.002>.

Guba K., Gerashchenko D. (2022) Strengthening Academic Leadership from above: The Renewal of Russian University Leaders. *Studies in Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2081677>

Hamermesh D. S. (1994) Facts and Myths about Refereeing. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 8. No. 1. P. 153—163. <https://doi.org/10.1257/jep.8.1.153>.

Henriksen D. (2018) What Factors Are Associated with Increasing Co-Authorship in the Social Sciences? A Case Study of Danish Economics and Political Science. *Scientometrics*. Vol. 114. P. 1395—1421. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2635-0>.

Jeong S., Choi J. Y. (2015) Collaborative Research for Academic Knowledge Creation: How Team Characteristics, Motivation, Processes Influence Research Impact. *Science and Public Policy*. Vol. 42. No. 4. P. 460—473. <https://doi.org/10.1093/scipol/scu067>.

Katz J. (1994) Geographical Proximity and Scientific Collaboration. *Scientometrics*. Vol. 31. P. 31—43. <https://doi.org/10.1007/BF02018100>.

- Laband D. N., Tollison R. D. (2000) Intellectual Collaboration. *Journal of Political Economy*. Vol. 108. No. 3. P. 632—662. <https://doi.org/10.1086/262132>.
- Landry R., Malek S., Amara N., Ouimet M. (2010) Evidence on How Academics Manage Their Portfolio of Knowledge Transfer Activities. *Research Policy*. Vol. 39. No. 10. P. 1387—1403.
- Leahey E. (2016) From Sole Investigator to Team Scientist: Trends in the Practice and Study of Research Collaboration. *Annual Review of Sociology*. Vol. 42. P. 81—100. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081715-074219>.
- Leydesdorff L., Opthof T. (2010) Normalization at the Field Level: Fractional Counting of Citations. ArXiv Preprint ArXiv:1006.2896. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1006.2896>.
- Maher M. A., Feldon D. F., Timmerman B. E., Chao J. (2014) Faculty Perceptions of Common Challenges Encountered by Novice Doctoral Writers. *Higher Education Research & Development*. Vol. 33. No. 4. P. 699—711. <https://doi.org/10.1080/07294360.2013.863850>.
- Moore K. M., Salimbene A. M., Marlier J. D., Bragg S. M. (1983) The Structure of Presidents and Deans Careers. *The Journal of Higher Education*. Vol. 54. No. 5. P. 500—515. <https://doi.org/10.1080/00221546.1983.11780171>.
- O'Brien T. L. (2012) Change in Academic Coauthorship, 1953—2003. *Science, Technology, & Human Values*. Vol. 37. No. 3. P. 210—234. URL: <https://www.jstor.org/stable/41511172> (accessed: 27.09.2022).
- Ponomariov B., Boardman C. (2016) What Is Co-Authorship? *Scientometrics*. Vol. 109. P. 1939—1963. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2127-7>.
- Rutledge R., Karim K. (2009) Determinants of Coauthorship for the Most Productive Authors of Accounting Literature. *Journal of Education for Business*. Vol. 84. No. 3. P. 130—134. <https://doi.org/10.3200/JOEB.84.3.130-134>.
- Shi X., Adamic L. A., Tseng B. L., Clarkson G. S. (2009) The Impact of Boundary Spanning Scholarly Publications and Patents. *PLoS One*. Vol. 4. No. 8. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006547>
- Shrum W., Genuth J., Carlson W. B., Chompalov I. (eds.) (2007) Structures of Scientific Collaboration. MI: MIT Press.
- Singell L. D. Jr., Tang H.-H. (2013) Pomp and Circumstance: University Presidents and the Role of Human Capital in Determining Who Leads US Research Institutions. *Economics of Education Review*. Vol. 32. P. 219—33. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.10.005>.
- Siva N., Hermanson D. R., Hermanson R. H. (1998) Co-Authoring in Refereed Journals: Views of Accounting Faculty and Department Chairs. *Issues in Accounting Education*. Vol. 13. No. 1. P. 79—92.

Weber M. (1946) Science as a Vocation. In: Tauber A. I. (ed.) *Science and the Quest for Reality. Main Trends of the Modern World*. London: Palgrave Macmillan. P. 382—394.

West J. D., Jacquet J., King M. M., Correll S. J., Bergstrom C. T. (2013) The Role of Gender in Scholarly Authorship. *PLoS One*. Vol. 8. No. 7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066212>

Wray K. B. (2002) The Epistemic Significance of Collaborative Research. *Philosophy of Science*. Vol. 69. No. 1. P. 150—168. <https://doi.org/10.1086/338946>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2137](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2137)



**А. В. Быков, А. И. Нарская**

## **ЗАКОН, МОРАЛЬ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЗГЛЯД СУДЕЙ НА СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗАЦИИ ПРАВОСУДИЯ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Быков А. В., Нарская А. И. Закон, мораль и машинное обучение: взгляд судей на сущность и перспективы роботизации правосудия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 278—298. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2137>.

### **For citation:**

Bykov A. V., Narskaya A. I. (2022) Law, Morality, and Machine Learning: Judges' Perspective on the Essence of Justice and the Prospects of Its Robotization. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 278–298. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2137>. (In Russ.)

Получено: 14.12.2021. Принято к публикации: 08.09.2022.



## ЗАКОН, МОРАЛЬ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЗГЛЯД СУДЕЙ НА СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗАЦИИ ПРАВОСУДИЯ

*БЫКОВ Андрей Вячеславович — кандидат социологических наук, доцент кафедры анализа социальных институтов Департамента социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия; научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия*  
E-MAIL: a.bykov@hse.ru  
<https://orcid.org/0000-0001-8391-8674>

*НАРСКАЯ Александра Игоревна — независимый исследователь, Москва, Россия*  
E-MAIL: alexandranar25@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0003-4226-0372>

**Аннотация.** Статья посвящена проблеме проявления моральных и правовых норм в практике осуществления правосудия, а также перспективам роботизации судебной системы в контексте неоднозначности соотношения двух типов нормативных систем. Для пояснения указанных вопросов авторы обращаются к точке зрения профессиональных судей, чьи взгляды относительно данных явлений до настоящего времени не получили в литературе должного внимания. С этой целью анализируются ключевые определения права и морали, а также приводится краткий обзор теоретических взглядов на природу их взаимоотношений, в основном в традиции философии права. С опорой на последние исследования обсуждаются перспективы роботизации производства моральных и правовых

## LAW, MORALITY, AND MACHINE LEARNING: JUDGES' PERSPECTIVE ON THE ESSENCE OF JUSTICE AND THE PROSPECTS OF ITS ROBOTIZATION

*Andrey V. BYKOV<sup>1</sup> — Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Department for Social Institutions Analysis, School of Sociology; Research Fellow*  
E-MAIL: a.bykov@hse.ru  
<https://orcid.org/0000-0001-8391-8674>

*Alexandra I. NARSKAYA<sup>2</sup> — Independent Researcher*  
E-MAIL: alexandranar25@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0003-4226-0372>

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, Russian Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

<sup>2</sup> Moscow, Russia

**Abstract.** The article deals with manifestations of moral and legal norms in the practice of justice, as well as the prospects of robotization of the judicial system through the lens of the relationship between the two types of normative systems. To clarify these issues, the authors address the perspective of professional judges, whose views on these phenomena have not received much attention in the literature so far. First, we analyze the key definitions of law and morality and provide a brief overview of theoretical views on the nature of their relationships, mainly in the tradition of the philosophy of law. Further, based on the latest interdisciplinary research, we discuss the prospects of robotization of making moral and legal evaluations and analyze some of the key problems in this sphere. In the second part of the article,

оценок, а также анализируются некоторые важные проблемы в этой области. Во второй части работы авторы представляют и обсуждают результаты собственного исследования взглядов профессиональных судей на проблему соотношения права и морали, а также перспективы роботизации правосудия, выполненного при помощи полуструктурированных интервью. Полученные данные интерпретируются с точки зрения их вклада в теоретические дискуссии о природе морали и права, а также потенциального практического применения формализованных алгоритмов для вынесения судебных решений.

**Ключевые слова:** алгоритмы, мораль, право, роботизация, судебная система

**Благодарность.** Статья подготовлена при поддержке НИУ ВШЭ, проект «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния».

## Введение

В области философской этики уже многие сотни лет не утихают споры о сущности понятий морали и права, а также о том, в какой степени эти явления можно считать взаимосвязанными [Hart, 2012; Dworkin, 1986]. И если едва ли следует ожидать окончательного решения старой теоретической проблемы соотношении правовых и моральных систем, то можно с некоторой долей уверенности предположить, что практикующие юристы не менее склонны к рефлексии по этому поводу. Вероятнее всего, это связано не столько с участием в отвлеченных философских дискуссиях, сколько с непосредственным столкновением моральных и юридических норм в контексте их профессиональной деятельности [Travers, 1993]. В этом смысле особый интерес представляют судьи. Несмотря на то что их деятельность строго регламентирована законом и предполагает ориентацию исключительно на правовое поле, в ходе разбирательства и вынесения решения так или иначе проявляют себя обе нормативные системы.

Кроме того, дополнительную сложность указанной проблеме придают стремительные технологические изменения, происходящие в последние годы и заключающиеся, в частности, во все возрастающем применении искусственного интеллекта в самых разных сферах социального взаимодействия. Процессы цифровизации и алгоритмизации так или иначе затрагивают как сферу принятия

we present and discuss the results of our study conducted using semi-structured interviews. We analyze professional judges' perceptions of the relationships between law and morality, as well as the prospects for the robotization of justice. Our results contribute to theoretical discussions about the nature of morality and law, as well as the potential practical application of formalized algorithms for making court decisions.

**Keywords:** algorithms, morality, law, robotization, judicial system

**Acknowledgments.** The study was supported by HSE University, the project "Ethics and Law: correlation and mechanisms of mutual influence".

моральных решений, так и сферу правосудия, порождая целую массу вопросов о том, насколько сам характер морали и права как специфических нормативных систем в принципе поддается формализации и как далеко она в итоге может зайти (см, например, [Tsamados et al., 2021; Lo Piano, 2020]). В связи с этим нам представляется необходимым обратиться к точке зрения судей и понять, каким образом их восприятие соотношения правовых и моральных принципов вынесения судебного решения связано с оценкой перспектив роботизации судебной системы. На наш взгляд, существуют, как минимум, две основные причины для такого интереса, и обе они связаны с социологическим пониманием судей как специфической профессиональной группы.

Во-первых, именно судьи как профессионалы являются носителями явного и неявного практического знания [Абрамов, 2015] относительно применения правовых и моральных норм в ходе вынесения решения — в этом смысле обращение к их опыту позволяет уйти от формализма и декларативных утверждений о безусловной ориентации исключительно на тексты соответствующих кодексов в сторону более глубокого понимания принципов работы института правосудия. Судьи, обладая специфическими техническими и этическими компетенциями, способны в качестве экспертов обсудить перспективы автоматизации правосудия через рефлексию соотношения правовых и моральных норм в ходе принятия судебного решения, а также, основываясь на практическом опыте, оценить необходимость участия человеческого субъекта в этом процессе. Обращение к их точке зрения, таким образом, представляется важным в контексте дальнейшей дискуссии относительно перспектив и пределов (в том числе морально-этических) использования формализованных алгоритмов в юридической сфере.

Во-вторых, что не менее важно для социологов, намечающиеся процессы роботизации правосудия отражают более общий кризис современного профессионализма, связанный с утратой профессионалами своей агентности и возможностей самоуправления, ориентацией на навязанные извне показатели эффективности [Абрамов, Быков, 2021]. Одной из сторон этого кризиса выступает возрастающее применение формализованных машинных алгоритмов, которые, вкупе с очевидными преимуществами, подменяют собой процессы принятия решения человеком, что в предельном случае находит свое выражение в понятии «аллократии» [Шевчук, 2020]. Сегодня перспективы исчезновения или, как минимум, серьезной трансформации многих традиционных профессий и занятий (бухгалтеров, переводчиков, водителей и целого ряда других) под влиянием развития цифровых технологий вовсе не кажутся фантастической утопией. Судьи также представляют собой потенциально уязвимую группу, поскольку, несмотря на фундаментальный для общества статус этой профессии, появляется все больше свидетельств, что машинные алгоритмы могут вполне успешно выполнять их функцию [Medvedeva et al., 2020; Sert et al., 2021]. В настоящем исследовании мы стремимся понять, как сами судьи оценивают перспективы роботизации своей профессии и как это связано с их представлениями о роли человеческого субъекта в производстве правовых и моральных оценок.

Статья организована следующим образом. Вначале мы даем общую характеристику морали и права как специфических нормативных систем и кратко анали-

зируем различные взгляды на проблему их соотношения, в том числе в контексте деятельности судей. Затем мы отдельно рассматриваем некоторые исследования, посвященные возможностям и перспективам роботизации вынесения моральных и юридических оценок, для того чтобы описать текущее состояние этого поля и выявить ключевые проблемы его развития. Далее мы представляем результаты эмпирического исследования мнения судей о роли правовых и моральных норм в их профессиональной деятельности в контексте ее возможной роботизации. Исследование выполнено в качественной традиции при помощи метода полуструктурированных интервью. В заключении мы обобщаем полученные результаты и интерпретируем их с точки зрения продолжения дискуссии о содержательных проблемах применения автоматических алгоритмов в правовой системе.

### **Мораль и закон: проблема соотношения**

Дать точное определение морали довольно трудно, однако считается, что это понятие так или иначе соотносится с базовыми оценочными категориями «хорошего» и «плохого», «правильного» и «неправильного» [Hitlin, Vaisey, 2013], выступая, таким образом, в качестве наиболее фундаментальной и вместе с тем наиболее диффузной нормативной системы. В связи с понятием морали в литературе также часто возникают понятия справедливости и универсализма [Rawls, 1971; Kohlberg, 1981], а иногда и понятие прав (например, [Turiel, 1983]) в широком смысле — «естественных», а не юридических. Предельно обобщая разнообразие концептуальных и экспериментальных исследований механизмов производства моральных суждений, можно сказать, что в моральных оценках важную роль играют как рациональные рассуждения, так и интуитивные процессы [Haidt, 2008; Greene, 2013]. Кроме того, существенной составляющей человеческой моральной способности, которая в значительно степени обуславливает моральное поведение, выступают эмоции — такие как гнев, отвращение, сострадание, стыд и вина [Tangney et al., 2007]. Мораль, таким образом, описывает сложный комплекс явлений, включающих когнитивные, нормативные, эмоциональные и поведенческие компоненты, связанные с представлениями людей о должном и недопустимом.

Понятие права, или закона (в юридическом смысле), на первый взгляд, представляет меньшую трудность для определения, поскольку, в отличие от морали, относится к эксплицитно сформулированным и письменно зафиксированным нормам, источниками и гарантами которых выступают государственные институты — по крайней мере, если речь идет о более-менее современных обществах (но ср. [Benson, 1988]). Хотя среди философов и правоведов уже не одну сотню лет ведутся дискуссии об уточнении понятия права и его различных видов (например, [Bigelow, 1905., Мока-Мубело, 2017]), наиболее интересная для нас здесь проблема соотношения закона и морали также выступает одним из ключевых предметов теоретического анализа. Так, один из ведущих теоретиков правового позитивизма Г. Харт [Hart, 2012] утверждал, что, несмотря на очевидную взаимосвязь обеих нормативных систем, право в целом несводимо к морали и должно анализироваться и применяться безотносительно к последней. Другие авторы — например, Р. Дворкин [Dworkin, 1986], напротив, акцентировали внимание на том,

что мораль и закон с необходимостью связаны, и в этом смысле интерпретации правовых норм на предмет соответствия моральным принципам не менее важны, чем само содержание закона. Л. Фуллер [Fuller, 1969] полагал, что право фундаментально отражает заложенные в нем моральные нормы, а в случае, если это не так, право, по сути, просто не может считаться таковым.

Из подобной неопределенности и неоднозначности относительно общего соотношения морали и права вытекают и различные трактовки функции судьи как правоприменителя. Согласно подходу Дж. Уолдрона, судьи в ходе вынесения решения выступают в качестве «моральных рассуждателей» (moral reasoners) — с той важной поправкой, что их рассуждения касаются не собственных поступков, а того «что должно быть сделано во имя всего общества» [Waldron, 2009: 5]. П. Вальд [Wald, 1986] в контексте феминистского подхода (основываясь в том числе на идеях К. Гиллиган [Gilligan, 1982] об отличии женских моральных представлений от мужских) развивает идею о необходимости учета общезначимых моральных принципов в деятельности судей. Если встать на позицию, исходя из которой судьи в процессе правоприменения в значительной степени транслируют обыденные моральные взгляды, то придется согласиться с тем, что это относится и к моральным предубеждениям (например, [De Freitas, Johnson, 2018]). А это, в свою очередь, несет прямую угрозу самой идее беспристрастного правосудия. В то же время есть экспериментальные данные о том, что опыт профессиональной юридической практики, в том числе судейской, позволяет преодолеть по крайней мере некоторые из таких предубеждений [Baez et al., 2020]. Таким образом подчеркивается важность специальных компетенций в принятии правовых решений.

Вместе с тем дополнительную сложность проблеме соотношения моральных и правовых механизмов в осуществлении правосудия придает наметившаяся в последние годы тенденция к автоматизации принятия решений, которая проявляется, в частности, в попытках понять, насколько компьютерные алгоритмы способны справляться с вынесением моральных и юридических оценок без участия человека. Успехи в развитии технологий искусственного интеллекта позволяют вполне обоснованно предположить, что в недалеком будущем компьютерные программы и роботы вполне смогут принимать самостоятельные моральные и правовые решения. Такая ситуация, конечно, порождает целый ряд этических, социальных и юридических сложностей. В следующих разделах мы кратко опишем некоторые из последних исследований автоматизации вынесения нормативных суждений.

## Роботизация морали

Пожалуй, наиболее известная практическая проблема, указывающая на необходимость самого серьезного отношения к роботизации морали, связана с относительно недавним появлением и активным тестированием беспилотных автомобилей, что вкпе с известной печальной статистикой смертности в ДТП позволяет поставить вопрос о моральной системе, которой такой автомобиль должен руководствоваться в (неизбежных) критических ситуациях. Так, в одном из наиболее известных проектов по данной теме в совокупности было опрошено более 3 млн человек [Shariff et al., 2017] и в результате выяснилась неоднознач-

ность мнений. С позиции социетальной морали автомобиль должен принимать решения на основании этического утилитаризма (то есть беспристрастно ориентироваться на общую минимизацию негативных последствий своих действий), но, будучи поставленными в ситуацию пассажира/потенциального покупателя, опрошенные хотели, чтобы автомобиль действовал исходя из приоритета их собственной безопасности [Bonneton et al., 2016; Frank et al., 2019]. Подобные результаты, вместе с известным недоверием людей к решениям даже качественных алгоритмов [Dietvorst et al., 2015], показывают, что практическое внедрение подобных технологий едва ли сможет пройти в условиях сколь-нибудь заметного морального консенсуса.

То же самое можно сказать и по отношению к оценке моральных последствий применения любых автоматических алгоритмов, даже если их потенциальный вред не столь очевиден — например, платформ для заказа такси, работа которых может приводить к несправедливому вознаграждению водителей [Bokányi, Hannák, 2020]. Авторы недавней аналитической работы [Tsamados et al., 2020], обсуждая этические вопросы применения алгоритмов, выделяют два общих класса проблем — эпистемические и, собственно, нормативные. Первые относятся к сомнениям относительно качества данных, которые алгоритмы машинного обучения используют для выработки решений, имеющих потенциальную моральную значимость. Нормативные же проблемы связаны непосредственно с моральными следствиями действий искусственного интеллекта — отсутствием прозрачности, несправедливыми распределениями или ненамеренным причинением вреда. Все это выливается в очень важную проблему «отслеживаемости» цепочки событий, приведших к нежелательному результату, из-за чего становится «затруднительно определить конечную причину действия и приписать за него моральную ответственность» [Tsamados et al., 2020: 2]. По этой фундаментальной причине автоматизация традиционно связанных с человеческой субъектностью процессов рискует столкнуться с довольно серьезным сопротивлением, причем это касается как моральных, так и правовых оценок. Тем не менее появляется все больше свидетельств того, что применение искусственного интеллекта в судебной системе имеет потенциал.

## **Роботизация правосудия**

Помимо широко обсуждаемых моральных последствий внедрения беспилотных автомобилей, С. Ло Пиано [Lo Piano, 2020] среди наиболее актуальных с точки зрения применения технологий машинного обучения областей выделяет правосудие. Он указывает, в частности, что алгоритмы уже довольно продолжительное время используются в американской судебной практике для вспомогательных задач — например, оценки рисков рецидива после определенных преступлений. Кроме того, алгоритмы все шире используются для автоматизации рутинных процессов юридической и судебной практики [Branting et al., 2021]. При этом все больше исследований посвящается оценке если не возможности непосредственного участия искусственного интеллекта в вынесении судебного вердикта, то, как минимум, его способности предугадывать решения профессиональных судей.

Технологии искусственного интеллекта в области судебной системы развиваются стремительно, причем это касается как разработки алгоритмов извлечения

информации из юридических текстов [Thomas, Sangeetha, 2021], так и попыток использовать эти алгоритмы для предсказания решений судьи-человека. Так, группа исследователей использовала базу данных дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека, для обучения алгоритма, который в результате смог предсказывать решение судьи с точностью до 75 % [Medvedeva et al., 2020]. Уровень точности, однако, незначительно падал до 65 % в случаях, когда для предсказания решения алгоритм использовал исключительно фамилию судьи. Это, помимо прочего, может свидетельствовать о заметном влиянии личностных свойств человека на вынесение приговора. И хотя авторы специально оговаривают [Medvedeva et al., 2020: 263], что не пытались создать алгоритм, который смог бы заменить судью-человека, данные о неплохой предсказуемости судебных решений позволяют говорить о принципиальной возможности применения такой технологии. Другие исследования также свидетельствуют, что некоторые алгоритмы машинного обучения способны предсказывать судебные решения с точностью до 90 % [Sert et al., 2021].

Несмотря на подобные результаты, А. Заврзник [Završnik, 2021] обращает внимание на многочисленные проблемы, связанные с практическим применением алгоритмов в вынесении судебного решения — от фундаментальной неполноты доступных для обучения данных до зависимости даже сугубо «технических» вопросов (например, о качестве той или иной математической модели) от человеческих оценок. Отдельную проблему составляет необходимость объяснить принятое решение, которая исключительно важна для судебной системы, но на которую совершенно не нацелены методы машинного обучения [Branting et al., 2021]. Так или иначе, помимо чисто технических затруднений, исследователи склонны увязывать проблему роботизации правосудия с необходимостью придания человеческого смысла принятому по формальным и зачастую неинтеллигентным основаниям решению. Это общий момент для моральных и правовых оценок, причем, на наш взгляд, без более пристального внимания к соотношению обеих нормативных систем в процессе принятия судебного решения его автоматизация рискует столкнуться с еще большими трудностями и вызвать более серьезные последствия. Наше собственное исследование позволяет сделать некоторый вклад в дальнейшее осмысление перспектив роботизации правосудия в контексте соотношения морали и права в реальной судейской практике.

### **Задачи исследования**

В отличие от работ, в фокусе которых находится разработка, тестирование и критика алгоритмов производства нормативных оценок, в данном исследовании мы сосредоточимся на прояснении того, как сами судьи видят перспективы роботизации правосудия и в какой степени это связано с их точкой зрения относительно роли общих моральных норм в вынесении судебного решения. Мы рассматриваем судей как носителей специфических профессиональных компетенций, чей непосредственный опыт принятия судьбоносных решений позволит понять механизмы производства правосудия «изнутри». Последнее поможет прояснить, в какой степени судебные решения основываются не только на юридических нормах, но и на моральных представлениях судей. Мы также полагаем, что исследова-

ние мнений российских судей позволит по-новому взглянуть на «старую» проблему соотношения морали и права, многие ключевые работы по которой выполнены в контексте англо-саксонской правовой традиции. Наконец, в отличие от ученых в области искусственного интеллекта, занимающихся разработкой программных алгоритмов, практикующие судьи могут поделиться важным неявным знанием о реальном процессе вынесения приговора, что будет способствовать лучшему пониманию перспектив роботизации как судебной системы в целом, так и отдельных ее составляющих.

Ключевые исследовательские вопросы, которые нас интересовали, могут быть сформулированы следующим образом:

- На что, помимо буквы закона, ориентируются судьи при рассмотрении дела?
- Как они оценивают влияние моральных норм на вынесение решения?
- Насколько серьезно судьи эмоционально вовлекаются в судебный процесс и как это соотносится с их взглядами на соотношение морали и права?
- Видят ли судьи в этой связи возможности для полной или частичной роботизации судебной системы?

## Метод

Исследование выполнено в качественной традиции при помощи метода полуструктурированных интервью. Выбор методологии обусловлен как спецификой выборки (см. ниже), так и характером интересующих нас данных: помимо некоторых деталей судебного процесса, нам была важна рефлексия судей относительно рассматриваемого круга вопросов, а также то, каким образом они обосновывают свои взгляды, к каким смысловым контекстам отсылают. Мы не применяли формализованных методов анализа полученных нарративов, вместо этого используя открытое и тематическое кодирование.

## Выборка

В данном исследовании использована целевая выборка, для построения которой был применен метод «снежного кома», позволивший обеспечить доступ к закрытой и труднодостижимой группе информантов [Штейнберг, 2014], к которой относятся профессиональные судьи.

В итоговую выборку вошли 12 судей (7 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 30 лет, в настоящем работающие в суде первой инстанции<sup>1</sup> либо не ранее года назад переведенные на работу в суды иной инстанции. Предпочтение в исследовании судей первой инстанции связано с их непосредственным участием в судебном процессе, где впервые выносится судебное решение по делу. Кроме того, в качестве информантов выступили судьи, рассматривающие судебные дела трех категорий: уголовные, гражданские и административные. Подобное разнообразие позволило изучить актуальные практики принятия судебного решения в рамках дел разной специфики.

Помимо заявленных выше критериев отбора информантов, опрошенные судьи имеют различный профессиональный бэкграунд. Большинство информантов начи-

<sup>1</sup> Инстанция — это позиция, которую занимает суд в судебной иерархии. Так, в судах первой инстанции дело рассматривают впервые. В судах второй инстанции рассматривают апелляции, а судах третьей инстанции — кассации.



нали профессиональный путь с занятия нижестоящих позиций в рамках судебной системы (например, с должности секретаря суда), методично продвигаясь вверх по карьерной лестнице, в то время как некоторые изначально были преподавателями юридических факультетов или сотрудниками в следственных органах. При этом все информанты получили высшее юридическое образование.

Кроме того, у опрошенных судей различаются и причины прихода в профессию. Одни называют ее высокий престиж, другие включены в профессиональную династию, третьих с раннего возраста интересовал процесс рассмотрения судебного дела, а четвертые попали в профессию случайно. Подобное многообразие профессионального опыта позволило получить большой разброс мнений информантов относительно изучаемой проблемы.

### *Инструментарий*

Гайд полуструктурированного интервью включал следующие тематические блоки: вводный блок о пути в профессию судьи и текущих профессиональных задачах; блок о соотношении морали и закона при отправлении правосудия; блок о личных переживаниях, которые испытывают (или не испытывают) информанты при рассмотрении судебного дела; наконец, блок о потенциальной роботизации судебной системы и взгляде информанта на такую возможность (см. приложение).

## **Основные результаты исследования**

### *Соотношение закона и морали в принятии судебных решений*

Все судьи единодушны в том, что их деятельность предполагает строгое следование правовым нормам, а квалификация преступления и назначение наказания напрямую зависят от законодательства. Однако практически все информанты в той или иной степени признают, что этим дело не ограничивается и «вопрос морали мы так или иначе затрагиваем, потому что у нас даже есть категория „аморальное поведение“, например — категория чисто юридическая» (судья 4). Вместе с тем судьи определенно склонны видеть в своей деятельности моральное содержание, выходящее за рамки обозначенного в законе. По словам одного из информантов, «безусловно, судья обращается к своему личному моральному компасу. Поэтому к этому компасу и предъявляются такие повышенные требования от государства». Впрочем, он же поясняет: судья «должен все же в первую очередь руководствоваться законом, а потом уже решение принимать, конечно, на основании своего сердца, совести, разума и так далее» (судья 8). В целом для суждений информантов характерна некоторая двойственность, которая заключается во вполне ожидаемом декларировании приоритета закона и одновременном признании наличия личных моральных оценок, с которыми так или иначе соотносится принятое решение.

Это проявляется, в частности, в примерах, демонстрирующих рефлексию судей относительно соответствия права моральным нормам (это касается как самой сущности конкретных законодательных актов, так и суровости предусмотренных санкций). Например, один из информантов высказывает личное, морально-мотивированное несогласие с так называемым «законом Димы Яковлева», запрещающим усыновление российских детей гражданами США: «это аморально —

*лишать возможности детей на светлое будущее в семье. Но это закон, я его уважаю. Если бы необходимо было его исполнять, я бы его исполнил» (судья 4).* Однако чаще судьи указывают на чрезмерную, с их личной точки зрения, суровость минимального предусмотренного наказания за определенные преступления — пожалуй, наиболее показательным и упоминаемым не единожды примером здесь служит статья 228 УК РФ, предусматривающая минимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы за сбыт наркотиков в «значительном размере». По словам информантов, нередко за такими преступлениями «стояли молодые люди, зачастую из благополучных семей. Там бывали даже какие-то определенные статусные родители, где родители в обязательном порядке имели высшее образование, дети обучались в высшей школе, они были победителями различных олимпиад» (судья 9). Эта категория подсудимых («закладчики», желающие быстро заработать на нелегальной деятельности) резко контрастирует в глазах судей с «типичным» уголовным преступником из социально неблагополучной среды (люди из категории «украл — выпил — в тюрьму» (судья 4)), и они выражают сожаление, что закон обязывает их назначать очень суровое наказание оступившимся молодым людям. Еще один пример подобной рефлексии — напротив, слишком мягкое наказание за крупные экономические преступления в сравнении, например, с относительно мелкими бытовыми кражами, о чем некоторые судьи говорят не без иронии. Резюмируя словами одного из информантов, «ты не всегда согласен с тем, что законодатель предлагает сделать с человеком, совершившим преступления. И это вызывает раздумья философские. Правильно ли это, соответствует ли установленная законодателем мера ответственности каким-то видам преступлений? Не всегда внутренне получается с этим согласиться» (судья 7).

На этом фоне возникает транслируемое некоторыми информантами представление о судье как члене социетального сообщества, выражающем через свою деятельность традиционные для этого сообщества нормы и ценности, которые, таким образом, в определенном смысле первичны по отношению к праву.

*Судья — это в первую очередь тоже человек. (Судья 8)*

*Русскому человеку вообще тяжело с этим, потому что у нас как бы понятие справедливости, даже исход из нашего мироощущения, оно с законностью тоже не совпадает. Ну, я имею в виду просто не профессиональный взгляд, а ментальность. И судьи же, они берутся из людей, они с другой планеты не прилетают. (Судья 7)*

*Вот я всегда своим студентам говорю: надо жить по русским пословицам, там ведь мудрость большая наша русская сохранена. (Судья 5)*

В целом для многих информантов характерна убежденность в том, что, хотя право и представляет для судьи безусловный авторитет, оно фундаментально отражает более общие и диффузные моральные нормы, характеризующие данную социальную общность.

Кроме того, судья выступает как интерпретатор подчас противоречивых правовых норм, которые могут неоднозначно регламентировать вопросы квалификации

преступления и назначения наказания. Возможности судьи в плане проявления собственной оценки преступления определяет прежде всего категория «судейского усмотрения», связанная с предусмотренными законодателем «вилками» наказания — от минимального до максимального. Надо сказать, что судьи неоднозначно оценивают эту категорию. «На самом деле придумали вот этот термин „судейское усмотрение“. Что туда входит — никто не объяснил» (судья 7). Интерпретируя понятие судейского усмотрения с точки зрения того, насколько оно позволяет судье ориентироваться на собственные моральные представления при определении размера наказания, информанты разделились на две категории. Одни считают, что усмотрение предполагает оговоренную законом ориентацию на личностные характеристики и обстоятельства подсудимого: «Здесь даже не мораль, наверное, имеет значение, здесь закон нас ориентирует [скорее] на личность лица, совершившего преступление, чем на какие-то моральные установки судьи» (судья 10). Другие же полагают, что категория судейского усмотрения дает судье возможность ориентироваться в том числе и на моральные представления: «Наверное, да, должно учитываться — социальная нравственность, нормы морали. Скорее да, чем нет. Да, должно» (судья 1). Так или иначе, судьи видят определенную сложность в этой категории, и это оставляет место различным интерпретациям относительно того, какими именно принципами следует руководствоваться при определении меры наказания.

### Эмоциональный характер судейской деятельности

Отвечая на вопросы об эмоциональных составляющих своей работы, все информанты признают, что волей-неволей испытывают личные переживания при рассмотрении дел, причем порой достаточно сильные.

*Любое дело, оно тебя, хочешь или не хочешь, затрагивает. Просто нельзя, на мой взгляд, полностью погрузиться в дело, потому что тебе может самому стать нехорошо. (Судья 2)*

Наиболее сильные негативные эмоции судьи испытывают при рассмотрении дел, связанных с сексуальными преступлениями против детей. Один из информантов, имея в виду такие дела, вспоминает:

*Иногда, бывало, когда сложно было слезы сдерживать, приходилось себя как-то внутренне уговаривать, чуть ли не кусать себя за щеку изнутри или, не знаю, за ляжку себя щипать под столом, чтобы просто хоть какие-то другие эмоции проявились, не разреветься, потому что это тяжело. (Судья 4)*

При этом судьи говорят, что испытывают различные эмоции (чаще всего упоминаемая сочувствие) по отношению к разным участникам процесса — потерпевшим, подсудимым и их родственникам.

Вместе с тем для информантов также характерна некоторая амбивалентность относительно оценки факта переживания судьей эмоций и их возможной роли в вынесении решения. С одной стороны, многие склонны признавать необходимость проявления эмпатии к участникам процесса, в том числе подсудимым.

«В любом, даже плохом, человеке нужно видеть человека», — эту формулу транслируют сразу несколько информантов. Некоторые из них также готовы признать возможность влияния испытываемых судьей эмоций на результат рассмотрения дела: «Поэтому да, любое дело эмоции вызывает, и какое-то влияние, конечно, на принятие решения, наверное, может оказывать» (судья 10). Еще один из информантов признается, что в одном из случаев сочувствие к подсудимой («я очень за бабушку переживал, что у нее инфаркт случится...» (судья 3)) — пожилому человеку, совершившему относительно нетяжкое преступление, — сыграло, наряду с совокупностью предусмотренных законом факторов, роль в назначении наказания «ниже низшего предела», обозначенного в соответствующей статье УК.

Другие же судьи, напротив, особенно подчеркивают важность безучастного рассмотрения дела, обращая внимание на негативную роль эмоций с точки зрения вынесения справедливого приговора. Так, один из информантов рассуждает об этом, привлекая контрпримеры:

*Что, собственно, отличать должно судью от обычного человека — нужно абстрагироваться, нужно уметь сохранять холодный рассудок, так скажем, и не вставать кардинально на одну из сторон. То есть из-за сопереживания, допустим, к преступнику иногда судья может допустить роковую ошибку, назначая чрезмерно мягкое наказание, а сочувствуя, порой, жертве преступления, он может тоже, банально растрогавшись этой ситуацией, назначить несправедливо суровое наказание. (Судья 8)*

Другой информант говорит и о личной эмоциональной отстраненности от дела:

*Личных переживаний — их, наверное, и не должно быть. У меня переживаний [нет], на каждую ситуацию я смотрю со стороны... (Судья 6)*

Но, пожалуй, наиболее радикально выражает эту позицию третий:

*Если бабушка стояла, инвалидка... Я без зазрения совести... 16 лет назначил, и даже не вздрогнул. Потому что она убила. (Судья 5)*

### *Рутинность и сложность судейской практики*

Предваряя непосредственное обсуждение перспектив роботизации правосудия, информантам задавался ряд вопросов, касающихся сложности и рутинности судебной практики. Судьи заявили, что рутинной их деятельность назвать нельзя, поскольку каждое рассматриваемое дело по-своему индивидуально и вызывает у них интерес — профессиональный и личный.

*У меня каждое дело вызывает интерес... Ни одно уголовное дело не похоже друг на друга, каждое имеет какие-то особенности личности виновного и особенности совершения преступления. (Судья 6)*

*Мы порой не читаем художественную литературу, потому что практически каждое уголовное дело представляет собой историю жизни... Каждое дело индивидуально,*

*события, истории, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, они очень разнообразные, интересные порой бывают. (Судья 8)*

Один из информантов даже упоминает о страстном увлечении художественной литературой о судебных процессах в качестве причины прихода в профессию судьи.

Такое восприятие обусловлено не в последнюю очередь тем, что информанты в большинстве своем работают с уголовными делами, специфика которых (особенно в рамках первичного рассмотрения — «работы с людьми, а не с текстами судебных решений») вполне способствует подобной оценке. Тем не менее практически все судьи на определенном этапе своей карьеры занимались рассмотрением гражданских и административных дел, которые видятся им гораздо более рутинными, в большой степени связанными с механистической работой.

*Есть, конечно, категория дел, которые практически однотипные, но это, как правило, встречается чаще у мировых судей, когда, допустим, налоговая инспекция... Там невозможно принять другое решение, то есть там безусловное взыскание идет. Соответственно, здесь просто меняют имена, адрес, сумму налога и распечатывают... (Судья 7)*

Признание наличия подобного пространства «рутинного» правосудия вполне логично приводит к обсуждению перспектив его роботизации, которые обсуждались с судьями в последнем блоке интервью.

### *Субъектность судьи и перспективы роботизации правосудия*

Перед тем как рассмотреть мнения судей о возможной роботизации их деятельности, следует сказать, что все они так или иначе выражают высокую степень удовлетворения своей работой, так как считают должность судьи своего рода вершиной юридической профессии. Такая оценка связана с восприятием роли судьи как актора, непосредственно исполняющего фундаментальную функцию обеспечения правосудия и несущего за это особого рода ответственность. «То есть все равно ты вершишь чужие судьбы людей, от твоей подписи, от принятия того или иного решения зависят судьбы людей» (судья 1). Уже в подобном восприятии собственного профессионального статуса проявляется представление о критической важности судейской субъектности, которое должно находиться в противоречии с перспективами замены живых судей на компьютерные алгоритмы.

Действительно — и вполне ожидаемо — судьи критически оценивают перспективы роботизации судебной системы, причем подобные взгляды связаны как с обыденным пониманием работы компьютерных алгоритмов, так и с апеллированием к важности человеческого опыта в принятии судебного решения и противопоставлении его работе машины. Так, один из информантов, еще в начале разговора (и без явной наводки со стороны интервьюера) рассуждая о важности того, чтобы «видеть человека в каждом человеке», добавляет: «А иначе не получится. Иначе мы будем, как тебе сказать... роботами» (судья 5). Он же впоследствии при обсуждении роботизации поясняет, делая отсылку в том числе и к проблематике

морали: «...любое дело проходит через человеческие переживания, и все люди разные... Робот никогда не заменит человека. С нынешним уровнем моего знания, моего существования, морали, социального подхода — на мой взгляд, нет» (судья 5). Другой судья полагает (и это вполне типичное мнение), что машина не в состоянии учесть все детали, обстоятельства и нюансы конкретного дела, которые может прочувствовать только человек:

*Вроде бы все то же, все похоже, но есть какие-то индивидуальные особенности, которые не позволяют квалифицировать единым образом, назначать единое наказание. Тут все-таки нужно... Ну, нельзя так подходить механически — так дела рассматривать нельзя. (Судья 2)*

Информанты скептически относятся к способности машины осуществлять правосудие из-за невозможности проявления человеческой эмпатии, а также отсутствия внутреннего ощущения социетальных моральных норм, которое есть у судьи-человека, члена соответствующего сообщества.

*Судья, как обычный член общества, может пропустить через себя особенности какие-то противоправного, будем говорить, деяния, понятие общественной опасности. То есть робот — это машина, она не может спрогнозировать, что такое общественная опасность. Как бы себя робот повел в этой ситуации? Робот на это ответить не может. Поэтому такие решения должен все же принимать человек, исключительно человек. (Судья 8)*

Согласно этой логике, машина не может быть полноценным судьей из-за невозможности производства универсалистской (моральной) оценки поступка, требующей, с одной стороны, постановки себя на точку зрения (обобщенного) другого, а с другой — оценки степени негативных последствий конкретного деяния в специфической ситуации. Кроме того, один из информантов говорит о сложности потенциального применения роботов по причине того, что они не в состоянии «понять» «плотные», насыщенные в смысловом отношении моральные концепты, лежащие в основе принятия судебного решения:

*Принцип интуитивного чувства справедливости того или иного дела. Для понимания этого аспекта робот должен не только понимать понятие дружбы, любви, верности, привязанности, честности, но и испытывать их. А не испытав этих чувств самому, робот не сможет получить тот опыт, на основании которого судья делает выводы. (Судья 6)*

Еще один интересный аргумент против роботизации, выдвинутый одним из судей, также связан с пониманием правосудия как социального процесса, сопровождающегося соответствующими процедурами и церемониалом:

*Например, сидит робот в процессе. Он же должен на месте судьи сидеть. И начинается: люди приходят, и как он процесс бы вел? Тогда нужно было бы поменять все законодательство? Или как? Просто эти разработчики по внедрению робота, как они это видят? (Судья 1)*

Этот же информант говорит о символической важности состязательного судебного процесса: «Судья идет в мантии, то есть это какой-то ритуал торжественности, какую-то серьезность придает» (судья 1). Непонятно, каким образом адаптировать устоявшиеся практики судебного производства под потенциал применения роботов-судей, а также как именно будет осуществляться надзор за принятым решением: «А кто будет ответственен за ошибку робота? Тоже такой интересный вопрос» (судья 3). Интересно, что в нарративе последнего информанта также возникает опасение за собственный профессиональный статус в случае широкого применения роботов-судей, сопряженный с идеей человеческой субъектности: «Хотелось бы, конечно, поработать свое, не остаться без работы из-за участия роботов, все-таки есть надежда, что в нас человечности больше, чем в роботах» (судья 3).

Тем не менее ряд информантов видят перспективы в частичном использовании компьютерных систем в судебном процессе, которые могли бы выполнять ту или иную вспомогательную роль. Среди подобных задач в первую очередь фигурирует обработка больших массивов информации, в том числе систематизация правовых норм, регламентирующих рассмотрение того или иного случая. Это позволило бы судье сосредоточиться на содержательном рассмотрении дела, избегая при этом ошибок в правоприменении из-за невнимательности к определенным нормам законодательства, с которыми потом приходится работать вышестоящим инстанциям.

*Алгоритм все-таки нам бы был неплохим подспорьем... Дело в том, что есть определенные ограничения, допустим, при назначении наказания при совершении конкретного преступления. Как-то за неоконченное преступление санкция не может превышать половину максимального срока или размера наказания, предусмотренного за такое преступление... Алгоритм смог бы математически просчитать вот тот диапазон наказания, в котором действовал бы судья по своему судейскому усмотрению. (Судья 8)*

Другая область потенциального применения алгоритмов связана с упомянутыми выше рутинными процессами административного и гражданского производства. В них информанты видят больше возможностей для формализованного прохода, поскольку «там судьи тоже считают эти формулы» (судья 3).

*В уголовном процессе таких вопросов мало на самом деле, потому что у нас слишком все вариативно и слишком много переменных, которые должны быть оценены судьей по внутренним убеждениям. А вот в каких-то других делах, в административном, гражданском судопроизводстве, в арбитражном... большинство вопросов спокойно будет разрешать компьютер. (Судья 4)*

Таким образом, судьи, признавая возможность использования роботов в качестве технических помощников (и даже в некоторой степени желая этого), а также позитивно оценивая потенциал их внедрения в производство типовых формализуемых решений наподобие штрафов, оставляют за собой фундаментальное право определения виновности и назначения наказания в более сложных — и в большинстве своем более морально нагруженных — уголовных делах.

## Обсуждение и выводы

На основании анализа собранных интервью можно сделать ряд основных выводов, соотносящихся с обозначенными ранее ключевыми исследовательскими вопросами.

Несмотря на то что судьи едины во мнении относительно главенствующего характера закона и его безусловного приоритета в своей деятельности, все они так или иначе признают, что при определении степени вины и назначении наказания ориентируются и на моральные нормы, которые не всегда прямым и очевидным образом соотносятся с правом. Это напряжение проявляется, с одной стороны, в наличии явной рефлексии судей о соотношении права и «справедливости» и относительно легком указании на проблематичные в этом отношении кейсы. С другой — в неоднозначной трактовке категории судейского усмотрения, которая, с точки зрения ряда информантов, допускает возможность ориентации в том числе на социетальные моральные нормы, выходящие за пределы закона. Тем не менее для информантов в целом характерно убеждение, что в праве так или иначе заложены ключевые моральные нормы данного сообщества, а судья, будучи его членом, обладает возможностью осуществлять правоприменение исходя в том числе из своего понимания категории морального.

Кроме того, судьи также практически единодушно говорят об эмоциональном вовлечении в рассмотрение дел, часто испытывая сочувствие по отношению к участникам процесса. Однако они заметно различаются в оценке того, насколько приемлемо влияние эмоций на принятие решения: если одни подчеркивают необходимость «холодного», безучастного рассмотрения дела и говорят о судье как человеку, которому следует абстрагироваться от собственных эмоций, то другие допускают, что эмоциональная реакция — эмпатия, сострадание и т. п., — так или иначе способна сыграть определенную роль в вынесении решения.

Таким образом, «академические» дебаты относительно соотношения права и морали (в ее когнитивном, нормативном и эмоциональном измерениях) находят свое отражение и в дискурсе практикующих судей, в чьих взглядах можно отыскать определенное соответствие теоретическим позициям — таким как теории справедливости [Rawls, 1971], этический рационализм [Kohlberg, 1981] или эмотивизм [Tangney et al., 2007]. Впрочем, едва ли можно утверждать, что судьи четко склоняются к какой-либо из этих аналитических концепций; скорее, общим в их представлениях является видение правосудия как человеческого и социального процесса, в котором в той или иной степени выражаются категории права, морали и эмпатии.

Из этого вполне логично вытекает критическое отношение судей к идее роботизации правосудия и вынесения решений при помощи формализованных алгоритмов. Судьи полагают, что машина никогда не сможет полностью заменить человека, поскольку ей недоступно осознание всей сложности правовых и моральных понятий, а также обстоятельств совершения конкретного деяния и личностной ситуации подсудимого. С их точки зрения, без некоего целостного, человеческого ощущения ситуации и субъективной интерпретации нормативных принципов правосудие как таковое невозможно. Тем не менее судьи видят перспективы вспомогательного применения формализованных алгоритмов для облегчения своей деятельности (в том числе уменьшения доли ошибок в правоприменении), что оставляло бы судье возможность рассматривать обстоятельства дела по существу и выносить решение,



исходя из своего усмотрения. Наконец, информанты не видят серьезных проблем в полной замене судьи на алгоритм в определенных областях права, связанных с производством большого количества однотипных и безусловно выносимых решений — там, где состязательный судебный процесс, по сути, отсутствует.

## Заключение

В данной работе предпринята попытка изучить точку зрения судей на проблему соотношения права и морали в их профессиональной деятельности, а также, в контексте этой проблемы, проанализировать их взгляды на перспективы роботизации судебной системы. Несмотря на очевидные ограничения относительно небольшого качественного исследования, мы надеемся, что полученные результаты позволят, с одной стороны, углубить научные представления о природе правовых и моральных норм через обращение к их непосредственному проявлению в процессе осуществления правосудия, а с другой — послужат важным дополнением к обсуждению концептуальных проблем и технических вопросов роботизации вынесения нормативных оценок обоих видов.

## Список литературы (References)

Абрамов Р. Н. Обыденное и научное знание в исследованиях профессий и профессионализма: историко-теоретический анализ // Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации / отв. ред.: И. Ф. Девятко, Р. Н. Абрамов, И. В. Катерный. М.: Прогресс-Традиция, 2015. С. 246—309.

Abramov R. N. (2015) Ordinary and Scientific Knowledge in the Studies of Professions and Professionalism: A Historical and Theoretical Analysis. In: *Ordinary and Scientific Knowledge about Society: Mutual Influences and Reconfigurations*. Moscow: Progress-Tradition. P. 246—309. (In Russ.)

Абрамов Р. Н., Быков А. В. Мир профессий в контексте труда и занятости: пандемическое и цифровое вертиго // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 3. С. 4—20. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.3.2001>.

Abramov R. N., Bykov A. V. (2021) The World of Professions in the Context of Work and Employment: Pandemic and Digital Vertigo. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 4—20. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.3.2001>. (In Russ.)

Шевчук А. В. От фабрики к платформе: автономия и контроль в цифровой экономике // Социология власти. 2020 Т. 32. № 1. С. 30—54. <https://www.doi.org/10.22394/2074-0492-2020-1-30-54>.

Shevchuk A. V. (2020) From Factory to Platform: Autonomy and Control in the Digital Economy. *Sociology of Power*. Vol. 32. No. 1. P. 30—54. <https://www.doi.org/10.22394/2074-0492-2020-1-30-54>. (In Russ.)

Штейнберг И. Е. Логические схемы обоснования выборки для качественных интервью: «восьмиокопная» модель // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2014. № 38. С. 38—71.

- Steinberg I. E. (2014) Logical Schemes of Sample Justification for Qualitative Interviews: An “Eight-Window” Model. *Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling*. No. 38. P. 38—71. (In Russ.)
- Baez S., Patiño-Sáenz M., Martínez-Cotrino J., Aponte D. M., Caicedo J. C., Santamaría-García H., Pastor D., González-Gadea M. L., Haissiner M., García A. M., Ibáñez A. (2020) The Impact of Legal Expertise on Moral Decision-Making Biases. *Humanities and Social Sciences Communications*. Vol. 7. 103. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00595-8>.
- Benson B. L. (1988) Legal Evolution in Primitive Societies. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. Vol. 144. No. 5. P. 772—788.
- Bigelow M. M. (1905) Definition of Law. *Columbia Law Review*. Vol. 5. No. 1. P. 1—19.
- Bokányi E., Hannák A. (2020) Understanding Inequalities in Ride-Hailing Services through Simulations. *Scientific Reports*. Vol. 10. 6500. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-63171-9>.
- Branting L. K., Pfeifer C., Brown B., Ferro L., Aberdeen J., Weiss B., Pfaff M., Liao B. (2021) Scalable and Explainable Legal Prediction. *Artificial Intelligence and Law*. Vol. 29. P. 213—238. <https://doi.org/10.1007/s10506-020-09273-1>.
- De Freitas J., Johnson S. (2018) Optimality Bias in Moral Judgment. *Journal of Experimental Social Psychology*. Vol. 7. P. 149—163. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3062209>.
- Dietvorst B. J., Simmons J. P., Massey C. (2015) Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid Algorithms After Seeing Them Err. *Journal of Experimental Psychology: General*. Vol. 144. No. 1. P. 114—126. <http://dx.doi.org/10.1037/xge0000033>.
- Dworkin R. (1986) *Law’s Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, Belknap Press.
- Frank D. A., Chrysochou P., Mitkidis P., Ariely D. (2019) Human Decision-Making Biases in the Moral Dilemmas of Autonomous Vehicles. *Scientific Reports*. Vol. 9. 13080. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49411-7>.
- Fuller L. (1969) *The Morality of Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Gilligan C. (1982) *In a Different Voice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Greene J. D. (2013) *Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap between Us and Them*. New York, NY: The Penguin Press.
- Haidt J. (2008) Morality. *Perspectives on Psychological Science*. Vol. 3. No. 1. P. 65—72. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2008.00063.x>.
- Hart H. L. A. (2012) *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hitlin S., Vaisey S. (2013) The New Sociology of Morality. *Annual Review of Sociology*. Vol. 39. P. 51—62. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071312-145628>.
- Bonnefon J. F., Shariff A., Rahwan I. (2016) The Social Dilemma of Autonomous Vehicles. *Science*. Vol. 352. P. 1573—1576.

Kohlberg L. (1981) *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco, CA: Harper & Row.

Lo Piano S. (2020) Ethical Principles in Machine Learning and Artificial Intelligence: Cases from the Field and Possible Ways Forward. *Humanities and Social Sciences Communications*. Vol. 7. No. 9. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0501-9>.

Medvedeva M., Vols M., Wieling M. (2020) Using Machine Learning to Predict Decisions of the European Court of Human Rights. *Artificial Intelligence and Law*. Vol. 28. P. 237—266. <https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y>.

Moka-Mubelo W. (2017) *Reconciling Law and Morality in Human Rights Discourse Beyond the Habermasian Account of Human Rights*. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-49496-8>.

Rawls J. (1971) *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sert M. F., Yıldırım E., Haşlak İ. (2021) Using Artificial Intelligence to Predict Decisions of the Turkish Constitutional Court. *Social Science Computer Review*. <https://doi.org/10.1177/08944393211010398>.

Shariff A., Bonnefon J. F., Rahwan I. (2017) Psychological Roadblocks to the Adoption of Self-Driving Vehicles. *Nature Human Behaviour*. Vol. 1. P. 694—696. <https://doi.org/10.1038/s41562-017-0202-6>.

Tangney J. P., Stuewig J., Mashek D. J. (2007) Moral Emotions and Moral Behavior. *Annual Review of Psychology*. Vol. 58. P. 345—372. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>.

Thomas A., Sangeetha S. (2021) Semi-supervised, Knowledge-Integrated Pattern Learning Approach for Fact Extraction from Judicial Text. *Expert Systems*. Vol. 38. e12656. <https://doi.org/10.1111/exsy.12656>.

Travers M. (1993) Putting Sociology Back into the Sociology of Law. *Journal of Law and Society*. Vol. 20. No. 4. P. 438—451.

Tsamados A., Aggarwal N., Cows J., Morley J., Roberts H., Taddeo M., Floridi L. (2021) The Ethics of Algorithms: Key Problems and Solutions. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01154-8>.

Turiel E. (1983) *The Development of Social Knowledge: Morality and Convention*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wald P.M. (1986) The Role of Morality in Judging: A Woman Judge's Perspective. *Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice*. Vol. 4. No. 1. P. 3—15.

Waldron J. (2009) Judges as Moral Reasoners. *International Journal of Constitutional Law*. Vol. 7. No. 1. P. 2—24. <https://doi.org/10.1093/icon/mon035>.

Završnik A. (2021) Algorithmic Justice: Algorithms and Big Data in Criminal Justice Settings. *European Journal of Criminology*. Vol. 18. No. 5. P. 623—642. <https://doi.org/10.1177/1477370819876762>.

## Приложение. Гайд полуструктурированного интервью

### Вопросы об информанте:

Расскажите, пожалуйста, о Вашем профессиональном пути. Где Вы работаете сейчас, и как Вы пришли к Вашей текущей должности?

С судебными делами какого рода Вы работаете? (*Уголовные, гражданские и т.д.*) Судебные дела какого характера встречаются в Вашей работе чаще? (*Кражи, мошенничество и т.д.*) Как Вы думаете, почему?

### «Ненормативные» источники принятия решения:

Кого Вы чаще видите на скамье подсудимых? Можете, пожалуйста, описать портрет этого человека? (*При необходимости: уточняющие вопросы: какого он пола, возраста? Есть ли у него дети?*) Можете ли Вы сказать по своему опыту, что сподвигло этого человека на совершение преступления? Какие мотивы Вы встречаете чаще всего? Как Вы думаете, почему именно эти мотивы?

Случалось ли такое, что судебное дело вызывало у Вас личные переживания? Можете вспомнить, пожалуйста, такую ситуацию и описать ее? (*При необходимости: какие чувства Вы испытывали? Сострадание? Злость? Грусть?*) Как Вы считаете, часто ли у Вас случаются подобные ситуации во время работы?

Как Вы думаете, отражаются ли Ваши переживания на Вашей работе? Влияют ли они на то, как Вы смотрите на судебное дело? А на вынесенный приговор?

### Мораль как источник принятия решения:

Как Вы считаете, обращаетесь ли Вы к Вашим личным моральным ценностям в рамках работы? Если нет, то почему? Если да, то для каких целей?

Сталкивались ли Вы лично с ситуациями, когда во время судебного разбирательства то, что было бы верно согласно закону, вступало в противоречие с Вашими личными ценностями и убеждениями? Если да, то как Вы поступали в таких случаях?

### Роботизация судебной системы:

Можете ли Вы назвать свою работу рутинной? Почему? Если да, то что в Вашей работе можно было бы автоматизировать? А что — нельзя?

Слышали ли Вы об инициативе по внедрению роботов-судей? Что Вы слышали? (*Если не слышал или имеющейся информации недостаточно для создания контекста, рассказать информанту об этих исследованиях*). Что Вы по этому поводу думаете?

Как Вы считаете, почему такая идея появилась? Роботы-судьи могут быть полезны? Если да, то в чем? Если нет, то почему? Видите ли Вы какие-то негативные последствия такой инициативы? Если да, то какие? Если нет, то почему?

В Аргентине состоялся эксперимент по внедрению роботов-судей. Приложение сопоставляет обстоятельства дела с наиболее подходящими решениями в своей базе данных — и это позволяет программе примерно за 10 секунд угадать, какое будет решение суда. Далее это решение проверялось действующими судьями — в 100% случаев они были согласны с программой. Что Вы думаете по этому поводу?

Как Вы считаете, в будущем роботы могли бы полностью заменить судей?

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.1823](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.1823)



**А. В. Щекотуров**

## **ПРИВАТНЫЕ АФФОРДАНСЫ И ВООБРАЖАЕМАЯ АУДИТОРИЯ КАК ФАКТОРЫ ВИРТУАЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ**

**Правильная ссылка на статью:**

Щекотуров А. В. Приватные аффордансы и воображаемая аудитория как факторы виртуальной самопрезентации студентов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 299—321. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.1823>.

**For citation:**

Shchekoturov A. V. (2022) Private Affordances and Imagined Audience as Factors of Students' Virtual Self-Presentation. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 299–321. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.1823>. (In Russ.)

Получено: 22.11.2020. Принято к публикации: 12.08.2022.

## ПРИВАТНЫЕ АФФОРДАНСЫ И ВООБРАЖАЕМАЯ АУДИТОРИЯ КАК ФАКТОРЫ ВИРТУАЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ

*ЩЕКОТУРОВ Александр Вячеславович — кандидат социологических наук, заведующий социологической лабораторией Института гуманитарных наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия*  
E-MAIL: [alexsanya@mail.ru](mailto:alexsanya@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-6703-4860>

**Аннотация.** В статье представлены результаты исследования виртуальной самопрезентации российских студентов в трех социальных сетях в 2020—2021 гг. Особое внимание уделено приватным аффордансам и воображаемой аудитории как факторам, определяющим специфику самопрезентации в условиях смешения контекстов, то есть соприсутствия нескольких социальных групп в одной аудитории пользователя. Главная цель исследования — проследить, как происходит управление виртуальной самопрезентацией в ситуации смешения контекстов, и какова роль приватных аффордансов и воображаемой аудитории в этом процессе.

Исследовательский метод — глубинное полуструктурированное интервью с обучающимися Балтийского федерального университета им. И. Канта ( $N=19$ ), дополненное демонстрацией их профиля на каждой из трех виртуальных платформ. Анализ интервью проводился в программе Atlas.ti, что позволило выявить наличие и силу связи между типом аудитории, аффордансом и социальной сетью. Компьютерная обработка текстов способствовала более содержательному анализу данных.

## PRIVATE AFFORDANCES AND IMAGINED AUDIENCE AS FACTORS OF STUDENTS' VIRTUAL SELF-PRESENTATION

*Aleksandr V. SHCHEKOTUROV<sup>1</sup> — Cand. Sci. (Soc.), Head of Sociological Laboratory at Institute for Humanities*  
E-MAIL: [alexsanya@mail.ru](mailto:alexsanya@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-6703-4860>

<sup>1</sup> Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

**Abstract.** The article presents the results of a study of Russian students' virtual self-presentation in three social networks in 2020—2021. It focuses on private affordances and imagined audience as factors determining the specifics of self-presentation in context collapse, i. e. the presence of several social groups in one user audience. The study's primary goal is to trace how virtual self-presentation is managed in context collapse and the role of private affordances and an imagined audience in this process.

The research method is an in-depth semi-formalized interview with students at Immanuel Kant Baltic Federal University ( $N=19$ ), supplemented by a demonstration of their profile in each virtual platform. The analysis of the interview was carried out in the Atlas.ti program. This made it possible to identify the fact and strength of the connection between types of audiences, affordances, and social networks. Computer text processing contributed to a more meaningful data analysis.

The main results of the study are: 1) context collapse takes place in social networks used by Russian students; 2) the

В результате исследования установлено, что 1) смешение контекстов имеет место в социальных сетях, используемых российскими студентами; 2) определяющим фактором виртуальной самопрезентации является воображаемая аудитория — те социальные группы, о которых пользователи думают, когда что-либо публикуют; 3) приватные аффордансы являются инструментом поддержания самопрезентации, но не ее причиной; 4) платформенная специфика виртуальной самопрезентации состоит не только в различной структуре аудитории, но и в мотивах использования социальных сетей; 5) конструирование виртуальной самопрезентации происходит с расчетом как на самую строгую (lowest common denominator effect), так и на самую сильную аудиторию (strongest audience effect).

**Ключевые слова:** виртуальная самопрезентация, воображаемая аудитория, аффорданс, студент, смешение контекстов, социальные сети

**Благодарность.** Работа выполнена в рамках исследования «Приватное в публичном: культурные особенности управления самопрезентацией студенческой молодежи в социальных медиа (на примере России и США)» при поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-1909.2019.6 в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

## **Введение: виртуальная самопрезентация как социологическая проблема**

Исследователи уже накопили внушительный эмпирический материал, свидетельствующий о значимости виртуальной самопрезентации в процессе социализации, социально-психологического развития и карьерного роста пользователей социальных сетей [Солодников, Зайцева, 2021; Argyris, Xu, 2016; Davis et al., 2020; Keutler, McHugh, 2022]. В культуре, становящейся все более визуальной, продол-

determining factor of virtual self-presentation is an imagined audience — those social groups that users think about when they post something; 3) private affordances are a tool for maintaining self-presentation, but not its cause; 4) the platform specifics of virtual self-presentation consists not only in the different structure of the audience but also in the motives for using social networks; 5) the construction of a virtual self-presentation takes place with the expectation of both the strictest (lowest common denominator effect) and the strongest audience (strongest audience effect).

**Keywords:** virtual self-presentation, imagined audience, affordance, student, context collapse, social networks

**Acknowledgments.** The work was carried out as part of the study “Private in Public: Cultural Features of Students’ Self-Presentation Management in Social Media (on the Example of Russia and the USA)” with the support of the grant of the President of Russian Federation No. MK-1909.2019.6 at the Immanuel Kant Baltic Federal University.

жают появляться мощные социальные и технологические импульсы, подталкивающие людей к цифровому самосовершенствованию<sup>1</sup>. В связи с этим вопросы самовыражения в онлайн-пространстве не теряют актуальности и по сей день.

Еще на заре социальных сетей исследователи подчеркивали, что виртуальная самопрезентация отличается социальной уязвимостью, поскольку происходит в условиях смешения контекстов (context collapse) — ситуации, определяемой как присутствие в одной аудитории пользователя нескольких социальных групп, ожидающих от него разных (и порой противоречивых) моделей поведения и демонстрации разных публичных образов [boyd, 2008; Davis, Jurgenson, 2014]. Особую актуальность и сопряженную с ней сложность самопрезентация в условиях смешения контекстов вызывает у социально незрелых пользователей, находящихся на пути взросления [Arnett, Žukauskienė, Sugimura, 2014; Yang, Holden, Carter, 2017]. В этом возрасте происходит интенсивная смена социальных ролей и окружения, меняются референтные группы (семья, близкие друзья, одноклассники, потенциальные работодатели и т. д.). Стирание границ между офлайн- и онлайн-средой подталкивает молодых людей развивать навыки эффективной подачи информации о себе и поиска баланса между социальным надзором (surveillance) со стороны значимых других и собственными мотивами [Duffy, Chan, 2018]. Нередко несоответствие публикуемого контента ожиданиям аудитории вызывает негативные последствия: ссоры, обиды, увольнения или отчисления [Marwick, Boyd, 2011; Duffy, Chan, 2018; Beam et al., 2018].

В то же время существует ряд исследований, показывающих, что смешение контекстов обусловлено социально-культурной средой и свойственно преимущественно англо-американскому обществу [Boczkowski, Matassi, Mitchelstein, 2018; Costa, 2018]. В связи с этим возникают главные вопросы, ответам на которые посвящено данное исследование: существует ли смешение контекстов в российской среде? И как происходит процесс управления виртуальной самопрезентацией современных студентов?

Важным обстоятельством, о котором стоит сказать, предваряя дальнейшее повествование, является то, что эмпирическая часть работы была выполнена в 2020—2021 гг. — до объявления Роскомнадзором о блокировке Facebook\*<sup>2</sup>, Instagram\* и Twitter. Лучше понимая опыт самопрезентации и механизмов контроля приватного в публичном пространстве сетей в ситуации мультиплатформенного присутствия, мы сможем точнее ставить исследовательские вопросы и содержательнее объяснять динамику изменений в отношении проблемы смешения контекстов в современных реалиях.

## **Аудитории, аффордансы и смешение контекстов в структуре виртуальной самопрезентации: концептуальная рамка исследования**

Согласно классическому подходу, самопрезентация — процесс исполнения социальных ролей, который позволяет индивидам использовать знакомые сценарии

<sup>1</sup> Kozłowska H. The Online Dating Beauty Filter Trap // NBC News. 2021. December 5. URL: <https://www.nbcnews.com/think/opinion/online-dating-beauty-filter-trap-ncna1285338> (дата обращения: 28.10.2022).

<sup>2</sup> Здесь и далее \* означает социальные сети, принадлежащие корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.



поведения и тем самым структурировать повседневные коммуникации [Гофман, 2000]. Характер самопрезентации был существенно преобразован технологиями Web 2.0 и социальными сетями. По-прежнему преследуя цель создания желаемого образа [Marder et al., 2016: 56], пользователь сталкивается с одновременным присутствием разнородной аудитории, которая использует различные фреймы восприятия и оценки самопрезентации. Фактически лишаясь возможности сохранить единое и целостное представление о себе, пользователю остается управлять впечатлением с помощью системы аффордансов (от англ. *affordance*) — способов взаимодействия индивида с технологическими возможностями медиасреды [Hayes, Carr, Wohn, 2016; Georgalou, 2016; DeVito, Birnholtz, Hancock, 2017] — например, публикуя свой контент или оценивая чужой, расширяя или сужая доступ к личной информации и проч. Использование тех или иных аффордансов может зависеть от того, какой пользователи представляют себе свою аудиторию [Litt, 2012: 337]. Далее мы рассмотрим эти компоненты виртуальной самопрезентации более подробно для прояснения предмета и гипотез нашего исследования.

Впервые на смешение контекстов в процессе виртуальной самопрезентации обратила внимание дана бойд, отметив сложность соответствия ожиданиям различных групп и установив факты деструктивных последствий размывания границ между приватной и публичной сферами [boyd, 2010]. Более современные исследования переводят эту проблему на новый уровень, перенося фокус с пространственных параметров на временные [Brandtzaeg, Lüders, 2018]. Предлагая новый термин «временной коллапс» (*time collapse*), их авторы демонстрируют, как социальные медиа размывают не только аудиторию самопрезентации, но и смешивают прошлое с настоящим [ibid.: 2].

Эмпирически доказано, что эффективной стратегией самопрезентации в условиях смешения пространственно-временных контекстов является принятие во внимание так называемой «воображаемой аудитории» (*imagined audience*) [Marwick, boyd, 2011]. Публикуя контент или раскрывая информацию о себе, пользователи так или иначе задумываются о том, кто может это прочитать и оценить [Beam et al., 2018: 2299]. Этот предполагаемый адресат и есть «воображаемая аудитория» [Litt, 2012: 331]. Несоответствие ее ожиданиям порождает недопонимание, что способствует большей самоцензуре [Child, 2017] и меньшей публичности [Child, Staracher, 2016], в то время как принятие многообразия аудитории в целом снижает риски онлайн-среды [Davis, Jurgenson, 2014].

Значимые результаты в данном контексте получили Эден Литт и Эстер Харгиттай [Litt, Hargittai, 2016]. Используя комбинированную методологию исследования, авторы изучили 1200 постов, сделанных информантами (N = 119) в Facebook\*, Twitter и/или LinkedIn, а также их ежедневные записи об использовании этих социальных сетей, которые они просили делать информантов в течение двух месяцев. Выяснилось, что у 52% опрошенных преобладает «абстрактная» аудитория, то есть они не задумывались о ком-либо определенном, когда делали публикацию в социальных сетях. Ответы оставшихся 48% информантов авторы распределили на четыре группы в зависимости от характера отношений с «таргетированной» аудиторией. Это личные (родственники и близкие друзья) и общинные связи (члены объединений и общин), профессиональные (коллеги или друзья по колле-

джу) и «призрачные» (phantasmal) отношения, к которым авторы отнесли бренды или известные личности. Исследователи приходят к выводу о том, что индивиды, неориентированные на аудиторию, более сфокусированы на общей самопрезентации, в то время как индивиды, подразумевающие определенный тип читателей, рассчитывали на получение обратной связи от этой категории в процессе публикации информации [ibid.: 7]. Схожие результаты были получены и в другом исследовании: публикуемый контент зависит от того, кто является аудиторией пользователя в различных социальных сетях [Duffy, Chan, 2018: 130].

Отношение к воображаемой аудитории тесно связано с проблемой надзора (surveillance) цифрового следа пользователя [Lyon, 2017] — ситуации, когда другие пользователи следят за онлайн активностью других, выражая им свое мнение или принимая решение, опираясь на репрезентацию их опыта<sup>3</sup>. Исследователи даже предложили новый термин — «воображаемый надзор» (imagined surveillance), чтобы описать, как люди представляют себе мониторинг, который может иметь место в экологии социальных сетей и который может повлечь за собой будущие риски или возможности [Duffy, Chan, 2018].

О важности мнения аудитории говорит и тот факт, что она легла в основу для теории виртуальной самопрезентации [Hogan, 2010; Marder et al., 2016]. В рамках этой теории одни авторы утверждают, что пользователи ограничивают свою самопрезентацию страхом перед самой строгой аудиторией (родители для детей, работодатели для работников и т.п.) [Hogan, 2010; Marwick, boyd, 2011]. Другие авторы находят доказательства так называемому эффекту самой сильной аудитории (the strongest audience effect), когда практики самопрезентации зависят от мнения тех, кто представляет для индивида наибольшую ценность (социальную или экономическую) [Marder et al., 2016]. Так или иначе все соглашаются в том, что виртуальный нарратив обусловлен мнением тех, кому он адресован.

Вторым важным условием самопрезентации в ситуации смешения контекстов является владение навыками использования аффордансов социальных сетей. Исследователи из Корнелльского университета выявили, что технические спецификации платформы влияют на выбор различных целей публичного самораскрытия (public self-disclosure) в социальных медиа, которые в свою очередь определяют характер частного дискурса [Bazarova, Choi, 2015]. Само понятие аффордансов заслуживает отдельного исследования, о чем свидетельствуют результаты мета-анализа применения этого термина в социальных науках [Evans et al., 2017]. В широком смысле аффордансы относятся к области коммуникаций с использованием технологических возможностей платформы [ibid.: 35]. Аффордансы создают условия достижения целей использования социальных медиа, но сами результатом не являются [ibid.: 40]. Например, истории и эфиры в Instagram\* — это спецификации платформы, а аффордансы — возможности социальной сети в создании условий для подключения участников, обратной связи, сохранения и распространение записи. Как правило, выделяют аффордансы, связанные с заметностью контента (visibility), его распространением (spreadability)

<sup>3</sup> Например, в процессе трудоустройства, когда работодатели просматривают личные страницы кандидатов в социальных сетях. См.: [Gandini, Pais, 2018]; Сафиуллина А. Соцсети вместо резюме. Что ищут работодатели в аккаунтах соискателей // ТАСС. 2019. 16 мая. URL: <https://tass.ru/obschestvo/6432097> (дата обращения: 28.10.2022).

и доступностью (searchability) [boyd, 2010; DeVito, Birnholtz, Hancock, 2017]. С точки зрения управления виртуальной самопрезентацией в условиях смешения контекстов, нас интересовали аффордансы, связанные с настройками конфиденциальности контента: возможности ограничивать доступ к личной информации аккаунта или публикуемого контента. Обозначим такой вид аффордансов как приватные.

Однако описанное выше влияние смешения контекстов на практики виртуальной самопрезентации не лишено критики, подкрепленной результатами современных этнографических и региональных исследований [Costa, 2018; Boczkowski, Matassi, Mitchelstein, 2018]. Основная претензия — виртуальная коммуникация и самопрезентация обусловлены не столько аффордансами социальных медиа и смешением контекстов, сколько нормами и правилами, характерными для определенной культуры. Так, в ходе исследования использования Facebook\* жителями г. Мардин на юго-востоке Турции выяснилось, что вместо того, чтобы сегментировать аудиторию и настраивать различные параметры приватности, мардинцы создают отдельные аккаунты для каждого типа собеседников [Costa, 2018: 3642]. В другом исследовании было показано, что аргентинские студенты решают проблему смешения контекстов посредством создания разных самопрезентаций в различных социальных медиа [Boczkowski, Matassi, Mitchelstein, 2018]. Так, Facebook\* — платформа для поддержания социально-одобряемого образа, Instagram\* — пространство для создания стилизованной и изысканной самопрезентации, Snapchat — место, где можно выглядеть спонтанным и забавным [ibid.: 246]. В Румынии студенты, признавая значимость личной информации в профиле Facebook\*, отмечали, что не собираются подстраивать виртуальную самопрезентацию под ожидания какой-либо конкретной аудитории, в том числе потенциального работодателя. Их позиция — социальная сеть должна быть проекцией реальной личности [Vătămănescu, Mănuș, 2013: 254]. В итоге одни авторы приходят к выводу, что феномен смешения контекстов отражает пользовательские паттерны, характерные для англо-американской культуры [Costa, 2018: 3654], другие — что виртуальная самопрезентация больше зависит от адресата, чем от платформенных аффордансов [Boczkowski, Matassi, Mitchelstein, 2018: 256].

Опираясь на результаты предшествующих исследований, мы формулируем следующие гипотезы данной работы: (H1) смешение контекстов ориентирует российских студентов использовать социальные сети («ВКонтакте», Facebook\* и Instagram\*) для разных целей; (H2) воображаемая аудитория и (H3) приватные аффордансы способствуют поддержанию различной самопрезентации.

## Методология исследования

Основной метод исследования — глубинное полуформализованное интервью с обучающимися Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград, Россия), дополненное их рассказами о своем профиле в трех социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook\* и Instagram\*. Характеристика профиля представляла собой интерпретацию самим информантом следующих аспектов: выбор публикуемого контента, категоризация друзей и воображаемых аудиторий, а также используемые настройки конфиденциальности. В исследовании приняли участие 4 юноши и 15 девушек в возрасте от 19 до 26 лет (см. Приложение 1). Критерием

отбора информантов стало регулярное (минимум — раз в неделю) использование каждой социальной сети.

Анализ интервью проводился в программе Atlas.ti. Был использован индуктивный способ кодирования: близкие по смыслу ответы объединялись в одну категорию, которой приписывался соответствующий код. Например, если информанты сообщали, что среди их друзей и подписчиков есть родители, братья или сестры и т. п., то подобным ответам был приписан один код «родственники». Коды и их дескрипция представлена в таблице 1. Благодаря программной обработке глубинных интервью удалось установить силу связи между кодами (с-коэффициент). Значения этого коэффициента варьируются от 0 до 1, где 0 — полное отсутствие пересечения кодов в тексте интервью, а 1 — полное совпадение кодов. Данный коэффициент рассчитывается по формуле  $c = n_{12} / (n_1 + n_2 - n_{12})$ , где  $n_{12}$  — частота встречаемости кода 1 и кода 2 в одном анализируемом фрагменте, а  $n_1$  и  $n_2$  — это частота использования кодов 1 и 2 во всем проекте в целом [Friese, 2020: 181—183]. Согласно формуле, сила связи между кодами определяется не столько частотой встречаемости одного из них, сколько числом их взаимного присутствия в одном фрагменте текста. Например, мы закодировали 100 цитат как «ВКонтакте», еще 10 как «Ученые» и получили 7 пересечений этих кодов. Сила сопряженности в пакете Atlas.ti была определена так:  $c = 7 / (100 + 10 - 7) = 7 / 103 = 0,067$ . Поскольку это значение меньше 0,3, мы отнесли его к группе кодов со слабой связью. Другими словами, чем чаще коды встречались вместе, тем выше была сила их сопряженности. Использование компьютерного анализа позволило получить объективный характер связи ответов информанта с определенной социальной сетью. Однако нельзя говорить о высокой точности полученных значений ввиду малого числа опрошенных, поскольку исследование носило, прежде всего, поисковый характер.

С-коэффициент не является аналогом статистического коэффициента корреляции (r-Пирсона и т. п.), однако позволяет дифференцировать силу связи между кодами. Для получения более наглядных различий между социальными сетями было принято решение распределить все коды по трем группам: от 0,7 до 1,0 (сильная связь), от 0,3 до 0,69 (средняя связь) и до 0,3 (слабая связь).

Таблица 1. *Используемые коды и их дескрипция*

Код	Дескрипция	Код	Дескрипция
Близкие друзья	Особая категория друзей, которых сам информант определял как «близких» или «настоящих» <sup>4</sup>	Незнакомцы	Люди, которых информант лично не встречал, либо общался с ними только онлайн
Знакомые	Люди, которых информант знает лично, но не смог отнести ни к одной другой категории друзей	Коллеги	Друзья по работе в случае, если информант был трудоустроен

<sup>4</sup> При этом само понятие «близкий друг» нуждается в дополнительном исследовании. Для одних информантов близкий друг определяется высоким уровнем доверия, для других — частотой общения, для третьих — опытом прожитых вместе лет.

Код	Дескрипция	Код	Дескрипция
Одногруппники	Друзья по учебной группе в университете	Услуги	Различные магазины или фрилансеры, имеющие аккаунт с целью продвижения своих услуг
Одноклассники	Друзья по классу в школе	Отношения	Человек, с которым информант состоял в романтических отношениях
Родственники	Семья, близкие и дальние родственники	Работодатель	Работодатель информанта, если тот был трудоустроен
Преподаватели	Преподаватели вуза	Иностранцы	Друзья, которые проживают в другой стране мира
Из детства	Давние друзья информанта	Поклонники	Люди, которые хотели бы познакомиться с информантом (называли только девушки)
Общественники	Друзья информанта, работающие в НКО	Блогер	Блогеры, а также различные медийные персоны и селебрити
Бизнес	Бизнесмены	Чиновники	Государственные служащие различного уровня, а также политики
Эксперты	Люди, чье мнение информанты считают авторитетным	Друзья семьи	Друзья семьи информанта
Ученые	Различные деятели науки	Юмор	Аккаунты, основной контент которых посвящен юмору и развлечению
Стиль	Аккаунты, посвященные моде, красоте, дизайну и т. п.	Мотивация	Аккаунты, в широком смысле являющиеся для информанта источником вдохновения
«ВКонтакте»	Социальная сеть «ВКонтакте»	Facebook*	Социальная сеть Facebook*
Instagram*	Социальная сеть Instagram*		

### **Смешение контекстов как фактор, определяющий выбор различных социальных сетей**

В ходе беседы с информантами стало очевидно, что структура друзей в социальных сетях весьма разнообразна (см. табл. 1) и имеет платформенную специфику (см. табл. 2). Для того, чтобы проверить гипотезу о том, что смешение контекстов ориентирует студентов использовать социальные сети («ВКонтакте», Facebook\* и Instagram\*) для разных целей (H1), мы структурировали анализ сопряженности кодов по силе их связи.

Рассматривая группу кодов с сильной связью (см. табл. 2), мы обнаружили, что в социальной сети «ВКонтакте» преобладают родственники, близкие друзья, университетские связи (одногруппники и преподаватели), а также знакомые и друзья из детства. В Facebook\* — только родственники. Основная аудитория в Instagram\* — близкие друзья и аккаунты, связанные с различными услугами:

«шоурумы, магазины одежды, визажисты... бьюти-мастера, фитнес-тренеры...» (И1, социология). Основная причина межплатформенных различий состоит в том, что каждая сеть позволяет поддерживать связи с разными социальными группами. В частности, определяя ценность «ВКонтакте», многие студенты отмечали, что эта платформа помогает организовать образовательный процесс и «потому что там все те, кого я знаю» (И2, социология). Facebook\* — выполнение трудовых функций (например, в случае информантки И3, в сфере SMM), связь с родственниками и иностранцами:

*Facebook\* я, наверное, использую больше для связи с родственниками — смотреть, что у них там происходит. И также мне там удобно просматривать иностранные сообщества и различных людей. (И4, социология)*

В некоторых случаях именно Facebook\* — платформа для поддержания заслуживающего уважения образа в среде коллег и экспертного сообщества:

*Я специально подбирал фотографию для Facebook\*, потому что он более официальный, что ли. Нашел в костюме... Я хочу показать себя smart или, скажем так, интеллигентно... Я здесь читаю аналитику, смотрю, что люди пишут, как мыслят. Это связано с интеллектуальной средой. (И5, политология)*

Наиболее доверительные отношения сложились в Instagram\*. Большинство студентов отзывались о нем, как о «родном доме» (И7, менеджмент) или «порыве души, ведь там... мое какое-то настоящее настроение» (И6, менеджмент). Социальная ценность этой платформы и в «хранилище» (И8, история) памятных фотографий из студенческой жизни, и в возможности управлять собственными интересами максимально самостоятельно, находясь как бы за пределами порядка социальных ожиданий:

*В Instagram\*, в отличие от «ВКонтакте», ты не держишь тех людей, которых тебе жалко удалять или с которыми ты был знаком. В Instagram\* именно те люди, контент которых я бы хотел посмотреть. Типа: «О, а этот парень классно путешествует!» «О, а это официальный аккаунт Леброна Джеймса. Он иногда проводит прикольные эфиры». (И8, история)*

К группе кодов с умеренной силой связи во «ВКонтакте» были отнесены рабочие контакты (коллеги и работодатель), различные услуги, а также незнакомцы и романтические партнеры. В Facebook\* это работа, университет, иностранцы, близкие друзья и незнакомцы, а в Instagram\* — просто знакомые или вовсе незнакомцы, одноклассники и иностранцы.

В группу кодов со слабой силой сопряженности попали общественники, чиновники, эксперты и поклонники. Для «ВКонтакте» реже всего называли экспертов, чиновников и представителей бизнеса, а для Facebook\* — блогеров, ученых и поклонников. Среди подписчиков в Instagram\* меньше всего общественников, друзей семьи, преподавателей и работодателей.

Таблица 2. Структура виртуальной аудитории студентов в различных социальных сетях

Сила с-коэффициента	«ВКонтакте»	Facebook*	Instagram*		
			Подписки	Подписчики	
0,7—1,0	Близкие друзья (1,0)	Родственники (0,79)	Близкие друзья (1,0)	Блогер (1,0)	Близкие друзья (1,0)
	Знакомые (1,0)			Услуги (1,0)	
	Одноклассники (1,0)			Родственники (0,71)	
	Одноклассники (1,0)			Одноклассники (0,71)	
	Родственники (1,0)				
	Преподаватели (0,86)				
	Из детства (0,79)				
0,3—0,69	Незнакомцы (0,64)	Знакомые (0,64)	Услуги (0,64)	Незнакомцы (0,57)	
	Коллеги (0,57)	Иностранцы (0,64)	Одноклассники (0,64)	Одноклассники (0,57)	
	Услуги (0,50)	Одноклассники (0,64)	Юмор (0,64)	Знакомые (0,43)	
	Отношения (0,50)	Преподаватели (0,64)	Родственники (0,57)	Иностранцы (0,36)	
	Работодатель (0,36)	Коллеги (0,57)	Одноклассники (0,50)		
		Одноклассники (0,57)	Знакомые (0,50)		
		Близкие друзья (0,43)	Коллеги (0,43)		
		Незнакомцы (0,43)	Стиль (0,43)		
Бизнес (0,43)		Мотивация (0,36)			
Менее 0,3	Иностранцы (0,21)	Работодатели (0,29)	Бизнес (0,21)	Коллеги (0,21)	
		Чиновники (0,29)	Эксперты (0,21)	Отношения (0,21)	
		Друзья семьи (0,21)	Иностранцы (0,14)	Поклонники (0,21)	
	Поклонники (0,14)	Эксперты (0,21)	Отношения (0,14)	Эксперты (0,14)	
	Общественники (0,14)	Общественники (0,14)	Преподаватели (0,14)	Работодатели (0,14)	
	Блогер (0,14)	Блогер (0,07)	Чиновники (0,14)	Преподаватели (0,14)	
	Бизнес (0,07)	Поклонники (0,07)		Бизнес (0,14)	
	Чиновники (0,07)	Ученые (0,07)		Друзья семьи (0,14)	
	Эксперты (0,07)			Общественники (0,07)	
Чиновники (0,07)					

Таким образом, мы подтверждаем смешение контекстов в основных социальных сетях российских студентов. Информанты различают платформы как по доминирующим аудиториям и целям использования, так и по их социальной ценности, что позволяет принять гипотезу H1.

### **Воображаемая аудитория как условие различной виртуальной самопрезентации**

Рассмотрим, способствует ли воображаемая аудитория поддержанию различной самопрезентации (H2). С этой целью информантам был задан вопрос: «О ком Вы думаете, когда публикуете информацию в социальной сети?». Сила сопряженности кодов представлена в таблице 3.

Чаще всего студенты задумываются о возможной реакции со стороны родственников — это верно для любой социальной сети. Как правило, это связано с получением одобрения:

*Мне нравится, что моя бабушка сидит в Instagram\* и постоянно комментирует мои фотографии. Поэтому, чтобы не было каких-то недоразумений, я не выкладываю что-то такое провокационное. (И1, социология)*

Или с избеганием осуждения:

*Однажды я сделала обзорчик на митинг Навального<sup>5</sup>. Так прибежали мама и сестра со словами: «Не ходи на эти митинги!». С тех пор свои рассуждения о политической ситуации в стране я стараюсь постить в Facebook\*, потому что там поймут. Там люди взрослые. (И9, социология)*

В отношении других типов воображаемой аудитории существует платформенная специфика. В частности, публикуя контент во «ВКонтакте», студенты чаще задумываются о мнении близких друзей и работодателей. Основные мотивы здесь — поддержание доверия или конструирование эффективной самопрезентации:

*У меня очень ревнивая подруга, которая не любит, когда я куда-то хожу со своими однокурсниками. И я знаю, что у нее нет Instagram\*, и туда я могу спокойно выложить пост, что я сегодня вот была с кем-то, или выложить историю, что я сегодня с друзьями гуляла. А во «ВКонтакте» я этого не сделаю, потому что знаю, что она увидит и расстроится. (И10, социология).*

*Свои фотографии я выкладываю везде, но они в некотором роде отличаются. «ВКонтакте» я использую для общения с преподавателями и работодателями, поэтому у меня никакой компрометирующей информации, как, допустим, в Instagram\*, нет. Фотографий или видео с вечеринок не выкладываю, для того чтобы поддерживать более официальный тон страницы. Но при этом я могу запостить некоторые изречения или сделать репост из какого-то сообщества, которое мне понравилось. (И11, социология)*

<sup>5</sup> 25 января 2022 г. внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.



В Facebook\* наиболее значимыми воображаемыми аудиториями стали иностранные друзья, преподаватели и коллеги. Ценность интернациональной аудитории во многом заключается в демонстрации самого факта «дружбы» с иностранцами:

*У меня есть коллеги за рубежом, и я публично поблагодарил профессора на двух языках, чтобы они тоже поняли, о чем идет речь. (И5, политология)*

Здесь и благодарность профессору, и это в то же время публичное высказывание перед моими друзьями, кто говорит по-английски.

Думая о преподавателях, студенты считают важным показать, что они заняты чем-то важным и серьезным:

*В Facebook\* я выкладываю посты об организации мероприятий просто для того, чтобы преподаватели знали, что я не «пинаю балду». (И12, социология)*

*Здесь [в Facebook\*] я выкладываю фотографии для своих учителей, чтобы они видели, что вот я, вот тут-то была, порадовались за меня. (И13, социология)*

Среди уже подрабатывающих студентов в качестве воображаемой аудитории фигурировали и коллеги:

*Так как в Facebook\* я в основном общаюсь со своими коллегами, получается, что я делюсь новостями для них. (И14, политология)*

Воображаемая аудитория Instagram\* — это родственники, близкие друзья и незнакомцы. С близкими друзьями студенты стараются поддержать отношения и не поставить себя и друга в затруднительное положение. Примером этого является отмеченное выше высказывание (И10, социология) или цитата из другого интервью:

*Я стараюсь фильтровать контент. Например, если одна знакомая не общается с другой, я скрываю их друг от друга. (И15, менеджмент)*

Незнакомцы представлены в структуре воображаемой аудитории по большей части в связи с соблюдением мер предосторожности и профилактики кибербуллинга и троллинга:

*Больше думаю о незнакомых. Друзья поймут — они в какой-то степени знают меня и могут адекватно среагировать на неадекватные вещи, а незнакомые люди могут и не понять. (И19, реклама)*

Таким образом, мы констатируем, что воображаемая аудитория, за исключением родственников, разнится от одной социальной сети к другой. Однако содержательно самопрезентация перед преподавателями во «ВКонтакте» и Facebook\*

значительно не различается. Более того, она в целом идентична самопрезентации перед потенциальными работодателями или иностранными друзьями, будь то «ВКонтакте» или Facebook\*. В каждом случае студенты заинтересованы в подкреплении образа профессионала — умного, делового и разностороннего человека. Этот же принцип работает в отношении близких друзей: во всех социальных сетях студенты готовы больше демонстрировать часть жизни, связанную с развлечениями и отдыхом. Это свидетельствует о том, что не платформенная специфика, а воображаемая аудитория является определяющим фактором для конструирования различной самопрезентации. Гипотеза H2 подтверждается.

Таблица 3. **Воображаемая аудитория студентов в различных социальных сетях**

«ВКонтакте»	Facebook*	Instagram*
Родственники (0,29)	Родственники (0,50)	Родственники (0,43)
Работодатель (0,14)	Иностранцы (0,43)	Близкие друзья (0,21)
Близкие друзья (0,14)	Преподаватели (0,29)	Незнакомцы (0,14)
Коллеги (0,07)	Коллеги (0,21)	Коллеги (0,07)
Незнакомцы (0,07)	Близкие друзья (0,07)	
Преподаватели (0,07)	Незнакомцы (0,07)	

### **Приватные аффордансы как условие различной виртуальной самопрезентации**

Задача данного раздела — определить, способствуют ли приватные аффордансы поддержанию различной самопрезентации (H3). Проверка этой гипотезы была выполнена посредством анализа настроек конфиденциальности профиля информанта, который тот демонстрировал и комментировал в ходе интервью.

Использование всех трех социальных сетей различается как регулированием аффордансов, так и вложенными смыслами. Чаще всего во «ВКонтакте» воспроизводились три уровня контроля контента: а) доступно владельцу аккаунта и его близким друзьям, б) доступно всем друзьям или в) друзьям друзей. К первому уровню абсолютное большинство информантов отнесли такие опции, как сохраненные фотографии и альбомы из прошлого, группы и аудиозаписи. Во многом это было связано с высокой ценностью информации или попытками выстроить границы между личным и публичным:

*«Сохраненки» — это не для всех. «Сохраненки» — это святое. Кто видит список моих аудиозаписей — некоторые друзья. Здесь 6 человек. Это только для избранных. Мои аудио — это святое. (И8, история)*

*Ну, наверное, должны быть какие-то границы личной жизни. Вот у меня, допустим, есть фотографии, старые, школьные... Не вижу смысла все это открывать, было и было. (И6, менеджмент)*

Или со страхом разрушить положительное впечатление:

*Сохраненные фотографии могут видеть только близкие друзья, кроме папы... Там фотографии с алкоголем, с каких-то вечеринок. Не хочу, чтобы он это видел. (И3, социология)*

*Список групп... Для меня достаточно личные, я не хотела бы подобное выставлять на обозрение, это может вызвать ко мне негативное отношение. (И17, социология)*

Друзьям информанты, как правило, предоставляли возможность отмечать их на фотографиях, писать и комментировать записи на стене, а также видеть всю основную информацию профиля. Информанты объясняли это более доверительными отношениями:

*«ВКонтакте» я использую именно для личных связей, не для всеобщего обозрения. У меня там нет цели пообщаться с большим числом пользователей или донести информацию до какого-то большого числа пользователей. Мне нужны только друзья, одногруппники и те группы, о которых я уже говорила. (И4, социология)*

Или прагматическим расчетом:

*Только друзья могут отмечать меня на фотографиях. Потому что очень раздражает, когда тебя начинают какие-то фейки отмечать. «О, разыгрываем миллион рублей!» — и начинают всех попало отмечать. (И8, история)*

Друзьям своих друзей информанты разрешают писать сообщения, комментировать публикации. Это позволяет им быть в круге единомышленников, разделять пользователей на «своих» и «чужих»:

*Друзья моих друзей имеют больше шансов иметь схожие ценности, то есть [это способ] просто оградиться от людей, с которыми нет никаких точек соприкосновения. (И18, социология)*

В Instagram\* обнаружены иные стратегии управления самопрезентацией. Главным аффордансом, позволяющим контролировать приватность контента, стала возможность выбора аудитории для своих «историй»:

*«Истории» я полностью закрыла от своих родственников и от учителей школы. <...> Стыдно иногда. Ну, допустим, если мы идем куда-то с друзьями отдыхать, например в кальянную, я знаю, что мои родители это не одобрили бы. (И18, социология)*

*У меня есть близкие друзья, одиннадцать человек... В «истории» выкладываю что-то более интимного характера, наверное, какую-то более личную жизнь. Например, я живу в общежитии, и мы прикалываемся, и что-то я выкладываю туда, чтобы видели только эти одиннадцать человек, а в «сторис» для остальных я выкладываю более... Не знаю, как объяснить... Не что-то такое прям близкое. (И13, социология)*

*У меня «истории» не все друзья могут смотреть. Чтобы молодой человек не видел, постоянно это делаю. (Смеется). Также от одноклассников, может, что-то скрываю... Это люди, которые очень близко и лично со мной общаются... Ну, я могу одним пообещать сходить куда-то, а потом отказаться, сказать, что у меня головная боль, но в «сторис» я выкладываю, что я в парке гуляю с другими. (И12, социология)*

Нередко встречается и другая стратегия, когда вместо «историй» для близких друзей молодые люди отправляют информацию им в личные сообщения:

*Я не скрываю «истории». Если кому-то нужно что-то выложить, я просто кидаю в личные сообщения. (И4, социология)*

*Сейчас я лучше «запощу» то, что для всех одинаково будет нормально, остальное я отправлю в личные сообщения. (И6, менеджмент)*

Еще один способ управления самопрезентацией в Instagram\* — не публиковать то, что может быть использовано против. Мы обнаружили единичные подобные примеры, и все они были связаны с негативным опытом в прошлом:

*...из-за скандала с той фотографией [с вечеринки], когда она дошла до моих родителей... И меня после этого заблокировали те люди, которые считают, что имеют права лезть в мои личные дела. А так в принципе все открыто. (И11, социология)*

Информанты в гораздо меньшей степени рефлексировали над стратегиями самопрезентации в Facebook\*. Практически каждый студент в определенный момент демонстрации своего профиля терялся в собственных настройках конфиденциальности<sup>6</sup>:

*Я не знаю, где тут приватность, я ничего не настраивала. (И12, социология)*

*Слушай, подскажи мне, где эти настройки в Facebook\*? (И8, история)*

Их профили заполнены неполностью, количество друзей кратно меньше, собственный контент публикуется значительно реже. Как следствие, «все открыто для всех» (И17, социолог). В большинстве случаев это объясняется тем, что Facebook\* нужен преимущественно для связи с родственниками, коллегами, иностранцами или просмотра профессионального контента в закрытых экспертных сообществах:

*Страница такая «обобщенная» именно для тех коллег, которые меня знают, им особо не интересно, сколько мне лет, когда у меня день рождения и так далее. С ними сугубо общие разговоры по работе. (И16, реклама)*

Однако был и комментарий о том, что отсутствие выстроенной самопрезентации в Facebook\* — обдуманное решение:

<sup>6</sup> Трудности в использовании Facebook\* не являются чертой российского студента. Неуверенность в правильном использовании настроек приватности свойственна, к примеру, и американским студентам [Duffy, Chan, 2018: 9].

*Это вопрос идентификации. Для Facebook\* не определено четкое позиционирование. Потому, что мне кажется, что Facebook\* — это такая соцсеть, которая заявляет о себе. И хоть в ней и есть иностранные друзья, информацию я буду давать на русском и для калининградского сообщества. Заявить о себе — я сейчас не готова этого делать, не хочу. Пока я еще в другой стадии нахожусь. (И8, менеджмент)*

Самая немногочисленная группа «продвинутых» пользователей Facebook\* все же использует аффордансы для управления приватностью. Как правило это связано с ограничением доступа к основной информации профиля (только для друзей) и ленте новостей для друзей и их друзьям). Два информанта использовали автоматический список «ограниченные» — друзья по социальной сети, которым запрещен доступ к публикуемому контенту:

*Facebook\* для меня отличается тем, что там более взрослая аудитория, как мне кажется. Он, как и Twitter, более интернационален. Собственно, здесь мои публикации рассчитаны на соответствующую аудиторию. Я могу запостить что-то, чего не будет у меня во «ВКонтакте». Иногда я не хочу, чтобы человек видел, что я публикую, но удалять из друзей тоже не планировала. Поэтому лучше «впихнуть» его в список ограниченных и постить все, что тебе заблагорассудится. (И9, социология).*

Другие списки друзей раньше часто использовались информантами, потому что «просто было модно обозначать лучших друзей, родственников, коллег» (И3, социология). Однако сейчас информанты уже несколько лет их не используют, поскольку организовывать связь стало гораздо удобнее через мессенджеры или закрытые чаты.

Чтобы сделать правильный вывод по гипотезе НЗ, нужно признать, что все обозреваемые социальные сети отличаются по своей системе аффордансов. В связи с этим крайне затруднительно давать оценки, не выбрав какой-то один универсальный параметр для сравнения (например, «истории», представленные в Facebook\*, «ВКонтакте» и Instagram\*). Уже post hoc было установлено, что сама постановка гипотезы о влиянии приватных аффордансов на конструирование различной самопрезентации не позволяет установить их специфическую роль. Различия между социальными сетями в управлении конфиденциальностью есть, но они обусловлены дизайном виртуальной платформы. Аффордансы действительно способствуют конструированию разных самопрезентаций, но лишь в расчете на определенную аудиторию. Так, в Instagram\* истории и публикации создают разные образы о пользователе, но лишь потому, что они были предназначены для разных адресатов. А сам выбор историй или, к примеру, эфиров для контроля над приватностью контента обусловлен технологическими возможностями платформы.

## **Выводы**

Проведенное исследование позволило сделать несколько выводов.

1. Смешение контекстов имеет место в социальных сетях, используемых российскими студентами. Это опровергает тезис Элизабетты Коста [Costa, 2018] о том, что данный феномен характерен преимущественно для англо-американской культуры.

Причем то, как российские студенты решают проблему соприсутствия различных аудиторий в одной социальной сети, не похоже ни на турецкий, ни на аргентинский или румынский вариант. Их самопрезентация отличается в зависимости от степени знакомства, доверия или авторитета тех, с кем они общаются онлайн вне зависимости от платформы. Именно поэтому так похожи образы, конструируемые для близких друзей во «ВКонтакте» и Instagram\* или для коллег, работодателей, преподавателей в Facebook\* и «ВКонтакте».

Как следствие, возникает вопрос о глубине смешения контекстов: какие еще социальные группы представлены в аудитории российских студентов во всей генеральной совокупности и с какими типами виртуальной самопрезентации они коррелируют. Эта проблематика может стать предметом следующего исследования.

*2. Определяющим фактором виртуальной самопрезентации является воображаемая аудитория — те социальные группы, о которых пользователи думают, когда что-либо публикуют.*

Информанты старались придерживаться образа более сдержанного, вдумчивого и эрудированного человека, когда речь заходила о преподавателях, работодателях, коллегах или иностранцах. Вне зависимости от социальной сети они стремились казаться более скромными и прилежными для родственников и, наоборот, более раскованными для близких друзей. Именно потому, что близких друзей больше в Instagram\*, студенты склонны доверительно и очень лично относиться к этой сети. Facebook\* воспринимается строгим и официальным ввиду преимущественно взрослой по отношению к информантам аудитории. «ВКонтакте» — более знакомая и комфортная платформа, потому что для многих она стала первой социальной сетью, в которой уже представлены все референтные группы.

*3. Приватные аффордансы являются инструментом поддержания самопрезентации, но не ее фактором.*

Изначально мы исходили из того, что, выбирая тот или иной способ взаимодействия с аудиторией, пользователь будет по-разному управлять самопрезентацией. Однако в ходе исследования подтвердилось обратное: самопрезентация (определяемая аудиторией) обуславливает выбор аффорданса. Особенно часто мы видим это в ответах студентов, когда они говорили, что используют ограничения на просмотр контента для родственников или определенной части близких людей.

*4. Платформенная специфика виртуальной самопрезентации состоит не только в различной структуре воображаемых социальных групп, но и в фактической аудитории социальной сети.*

Исследование показало, что самопрезентация зависит от целевого адресата пользователя, который тесно связан с конкретной платформой. Информанты имели ясное представление, что определенная аудитория характерна для каждой сети. Это сформировало их предпочтения и выбор самопрезентации. Другими словами, студент примеряет разные образы не просто потому, что он сидит в разных социальных сетях, или использует разные аффордансы, а потому, что у него доминируют разные аудитории в разных социальных сетях. Перефразировав известную поговорку, можно сделать вывод: «скажи мне, кто твоя аудитория, и я скажу, какой ты во „ВКонтакте“ (Facebook\* или Instagram\*)».

### 5. Конструирование виртуальной самопрезентации происходит с расчетом как на самую строгую, так и на самую сильную аудиторию.

Ответы информантов демонстрируют высокую значимость как тех, чье мнение ассоциировано с эмоциональной и моральной оценкой их поведения (прежде всего, родственники), так и тех, чья поддержка открывает им перспективы сотрудничества (работодатели, преподаватели и иностранные друзья). Таким образом, результаты исследования не противопоставляют концепции самой строгой и самой сильной аудитории в процессе виртуальной самопрезентации [Hogan, 2010; Marwick, Boyd, 2011; Marder et al., 2016], а находят подтверждения каждой из них.

С точки зрения управления виртуальной самопрезентацией, на наш взгляд, высокую исследовательскую ценность представляет социальная сеть «ВКонтакте». Во-первых, именно здесь наблюдается наибольшее смешение контекстов (исходя из структуры аудитории, с которой существует наибольшая связь — см. табл. 1). И это смешение будет только усиливаться, поскольку сюда уже переходит основная часть аудитории из Instagram\* и Facebook\* ввиду их блокировки на территории России<sup>7</sup>. Во-вторых, здесь представлено наибольшее число частных аффордансов, позволяющих эффективно конструировать образы для разных аудиторий. В-третьих, студенты имеют большой опыт использования «ВКонтакте», хорошо ориентируются в ее настройках. Эта сеть хранит свидетельства основных этапов социализации и тем самым представляет особую ценность для своих пользователей.

Проведенный анализ показывает, что студенты, принявшие участие в исследовании, адаптировали проблему смешения контекстов к использованию нескольких социальных сетей. В связи с этим мы предполагаем, что решение Роскомнадзора о запрете деятельности Instagram\* и Facebook\* в России и последующее за этим «массовое переселение» блогеров, селебрити, а вместе с ними и миллионов подписчиков в другие сети, вновь проблематизирует управление самопрезентацией и структурирование аудитории среди большинства пользователей. Это обстоятельство требует внимательного изучения, в чем и видится дальнейшее развитие предложенного исследования.

### Список литературы (References)

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2000.

Goffman E. (2000) *The Presentation of Self in Everyday Life*. Moscow: Kanon-Press-Ts; Kuchkovo pole. (In Russ.)

Солодников В. В., Зайцева А. С. Использование социальных сетей и социализация российских подростков // Социологическая наука и социальная практика. 2021. Т. 9 № 1. С. 23—42. <https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.1.7870>.

Solodnikov V. V., Zaitseva A. S. (2021) Usage of Social Networks and Socialization of Russian Teenagers. *Sociological Science and Social Practice*. Vol. 9. No. 1. P. 23—42. <https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.1.7870>. (In Russ.)

<sup>7</sup> Российская аудитория социальных сетей и мессенджеров: изменения на фоне спецоперации // ВЦИОМ. 2022. 18 апреля. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmeneniya-na-fone-specoperacii> (дата обращения: 28.10.2022).

Argyris Y.E.(A.), Xu J.(D.) (2016) Enhancing Self-Efficacy for Career Development in Facebook\*. *Computers in Human Behavior*. Vol. 55. Part B. P. 921—931. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.023>.

Arnett J. J., Žukauskienė R., Sugimura K. (2014) The New Life Stage of Emerging Adulthood at Ages 18—29 Years: Implications for Mental Health. *The Lancet Psychiatry*. Vol. 1. No. 7. P. 569—576. [https://doi.org/10.1016/S22150366\(14\)00080-7](https://doi.org/10.1016/S22150366(14)00080-7).

Bazarova N. N., Choi Y.H. (2015) Self-Disclosure Characteristics and Motivations in Social Media: Extending the Functional Model to Multiple Social Network Sites. *Human Communication Research*. Vol. 64. No. 4. P. 635—657. <https://doi.org/10.1111/jcom.12106>.

Boczkowski P.J., Matassi M., Mitchelstein E. (2018) How Young Users Deal with Multiple Platforms: The Role of Meaning-Making in Social Media Repertoires. *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 23. No. 5. P. 245—259. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmy012>.

boyd d. (2008) Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics. PhD Dissertation in Information Management and Systems. Berkeley, CA: University of California, Berkeley.

doyd d. (2010) Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In: Papacharissi Z. (ed.) *A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites*. New York, NY: Routledge. P. 39—58. <https://doi.org/10.4324/9780203876527-8>.

Beam M. A., Child J. T., Hutchens M. J., Hmielowski J. D. (2018) Context Collapse and Privacy Management: Diversity in Facebook\* Friends Increases Online News Reading and Sharing. *New Media & Society*. Vol. 20. No. 7. P. 2296—2314. <https://doi.org/10.1177/1461444817714790>.

Brandtzaeg P.B., Lüders M. (2018) Time Collapse in Social Media: Extending the Context Collapse. *Social Media + Society*. Vol. 4. No. 1. P. 1—10. <https://doi.org/10.1177/2056305118763349>.

Child J. T. (2017) Opening Closed Doors: Managing Identity and Privacy with Social Media. In: Braithwaite D. O., Wood J. T. (eds.) *Casing Interpersonal Communication: Case Studies in Personal and Social Relationships*. Dubuque, IA: Kendall Hunt. P. 75—80.

Child J. T., Staracher Sh.C. (2016) Fuzzy Facebook\* Privacy Boundaries: Exploring Mediated Lurking, Vague-Booking, and Facebook\* Privacy Management. *Computers in Human Behavior*. Vol. 54. P. 483—490. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.035>.

Costa E. (2018) Affordances-In-Practice: An Ethnographic Critique of Social Media Logic and Context Collapse. *New Media & Society*. Vol. 20. No. 10. P. 3641—3656. <https://doi.org/10.1177/1461444818756290>.

Davis J., Jurgenson N. (2014) Context Collapse: Theorizing Context Collusions and Collisions. *Information, Communication & Society*. Vol. 17. No. 4. P. 476—485. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.888458>.



Davis J., Wolff H.-G., Forret M.L., Sullivan Sh.E. (2020) Networking via LinkedIn: An Examination of Usage and Career Benefits. *Journal of Vocational Behavior*. Vol. 118. P. 1—15. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103396>.

DeVito M.A., Birnholtz J., Hancock J.T. (2017) Platforms, People, and Perception: Using Affordances to Understand Self-Presentation on Social Media. In: *CSCW '17: Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*. New York, NY: Association for Computing Machinery. P. 740—754. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998192>.

Duffy B. E., Chan N. K. (2018) “You Never Really Know Who’s Looking”: Imagined Surveillance across Social Media Platforms. *New Media and Society*. Vol. 21. No. 1. P. 119—138. <https://doi.org/10.1177/1461444818791318>.

Evans S. K., Pearce K. E., Vitak L., Treem J. W. (2017) Explicating Affordances: A Conceptual Framework for Understanding Affordances in Communication Research. *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 22. No. 1. P. 35—52. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12180>.

Friese S. (2020) Atlas.ti 8 Windows — User Manual — Updated for Program Version 8.4. Berlin: ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH. URL: [https://downloads.atlasti.com/docs/manual/atlasti\\_v8\\_manual\\_en.pdf](https://downloads.atlasti.com/docs/manual/atlasti_v8_manual_en.pdf) (дата обращения: 28.10.2022).

Gandini A., Pais I. (2018) Social Recruiting: Control and Surveillance in a Digitalized Job Market. In: Moore Ph. V., Upchurch M., Whittaker X. (eds.) *Human and Machines at Work: Monitoring, Surveillance and Automation in Contemporary Capitalism*. Cham: Palgrave Macmillan. P. 125—149. [https://doi.org/10.1007/978331958232-0\\_6](https://doi.org/10.1007/978331958232-0_6).

Georgalou M. (2016) “I Make the Rules on My Wall”: Privacy and Identity Management Practices on Facebook\*. *Discourse & Communication*. Vol. 10. No. 1. P. 40—64. <https://doi.org/10.1177/1750481315600304>.

Hayes R. A., Carr C. T., Wohn D. Y. (2016) It’s the Audience: Differences in Social Support across Social Media. *Social Media + Society*. Vol. 2. No. 4. P. 1—12. <https://doi.org/10.1177/2056305116678894>.

Hogan B. (2010) The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. *Bulletin of Science, Technology & Society*. Vol. 30. No. 6. P. 377—386. <https://doi.org/10.1177/0270467610385893>.

Keutler M., McHugh L. (2022) Self-Compassion Buffers the Effects of Perfectionistic Self-Presentation on Social Media on Wellbeing. *Journal of Contextual Behavioral Science*. Vol. 23. P. 53—58. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.11.006>.

Litt E. (2012) Knock, Knock. Who’s There? The Imagined Audience. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*. Vol. 56. No. 3. P. 330—345. <https://doi.org/10.1080/08838151.2012.705195>.

Litt E., Hargittai E. (2016) The Imagined Audience on Social Network Sites. *Social Media + Society*. Vol. 2. No. 1. P. 1—12. <https://doi.org/10.1177/2056305116633482>.

Lyon D. (2017) Surveillance Culture: Engagement, Exposure, and Ethics in Digital Modernity. *International Journal of Communication*. Vol. 11. P. 824—842.

Marder B., Joinson A., Shankar A., Thirlaway K. (2016) Strength Matters: Self-Presentation to the Strongest Audience rather than Lowest Common Denominator when Faced with Multiple Audiences in Social Network Sites. *Computers in Human Behavior*. Vol. 61. P. 56—62. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.005>.

Marwick A., boyd d. (2011) I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience. *New Media & Society*. Vol. 13. No. 1. P. 114—133. <https://doi.org/10.1177/1461444810365313>.

Vătămănescu E.-M., Mănuc D. (2013) Facebook\* Self-(Re)Presentation and the Employers' Practice of Using It as a Recruitment Tool. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*. Vol. 1. No. 2. P. 241—257.

Yang Ch.-Ch., Holden S. M., Carter M. D.K. (2017) Emerging Adults' Social Media Self-Presentation and Identity Development at College Transition: Mindfulness as a Moderator. *Journal of Applied Developmental Psychology*. Vol. 52. P. 212—221. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2017.08.006>.

## Приложение 1. Характеристики информантов

Обозначение информанта	Социально-демографические параметры информанта, его направление подготовки в университете и стаж использования социальных сетей
И1, социолог	Девушка, 19 лет, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2011 г., Instagram* — с 2014 г., Facebook* — с 2018 г.
И2, социолог	Девушка, 21 год, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2012 г., Instagram* — с 2014 г., Facebook* — с 2012 г.
И3, социолог	Девушка, 21 год, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2015 г., Facebook* — с 2014 г.
И4, социолог	Девушка, 20 лет, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2014 г., Facebook* — с 2012 г.
И5, политолог	Юноша, 26 лет, политология, аспирант. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2011 г., Facebook* — с 2010 г.
И6, менеджмент	Девушка, 23 года, менеджмент, магистратура. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2017 г., Facebook* — с 2014 г.
И7, менеджмент	Девушка, 23 года, менеджмент, магистратура. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2012 г., Facebook* — с 2013 г.
И8, история	Юноша, 19 лет, история, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2012 г., Instagram* — с 2016 г., Facebook* — с 2014 г.
И9, социолог	Девушка, 25 лет, социология, магистратура. «ВКонтакте» использует с 2012 г., Instagram* — с 2015 г., Facebook* — с 2014 г.
И10, социолог	Девушка, 21 год, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2011 г., Instagram* — с 2013 г., Facebook* — с 2013 г.
И11, социолог	Девушка, 21 год, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2016 г., Facebook* — с 2012 г.
И12, социолог	Девушка, 22 года, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2010 г., Instagram* — с 2018 г., Facebook* — с 2018 г.
И13, социолог	Девушка, 21 год, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2011 г., Instagram* — с 2016 г., Facebook* — с 2012 г.
И14, политолог	Девушка, 26 лет, политология, аспирант. «ВКонтакте» использует с 2008 г., Instagram* — с 2015 г., Facebook* — с 2012 г.
И15, менеджмент	Девушка, 23 года, менеджмент, магистратура. «ВКонтакте» использует с 2012 г., Instagram* — с 2016 г., Facebook* — с 2013 г.
И16, реклама	Юноша, 20 лет, реклама, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2008 г., Instagram* — с 2016 г., Facebook* — с 2014 г.
И17, социолог	Девушка, 20 лет, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2008 г., Instagram* — с 2016 г., Facebook* — с 2013 г.
И18, социолог	Девушка, 20 лет, социология, бакалавриат. «ВКонтакте» использует с 2008 г., Instagram* — с 2012 г., Facebook* — с 2011 г.
И19, реклама	Юноша, 22 года, реклама. «ВКонтакте» использует с 2015 г., Instagram* — с 2012 г., Facebook* — с 2010 г.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2225](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2225)



**П. А. Кисляков**

## **СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ**

**Правильная ссылка на статью:**

Кисляков П. А. Социально-психологический анализ образа благотворительности и добровольчества в цифровой среде // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 322—346. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2225>.

**For citation:**

Kislyakov P. A. (2022) Socio-Psychological Analysis of the Image of Charity and Volunteerism in the Digital Environment. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 322–346. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2225>. (In Russ.)

Получено: 14.04.2022. Принято к публикации: 17.09.2022.

## СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

*КИСЛЯКОВ Павел Александрович — доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии, конфликтологии и бихевиористики, Российский государственный социальный университет, Москва, Россия*  
E-MAIL: [pack.81@mail.ru](mailto:pack.81@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-1238-9183>

**Аннотация.** Один из способов изучения распространенности благотворительности и добровольчества — анализ их освещения в социальных медиа и СМИ (сайты, социальные сети). Необходимо качественно рассмотреть образ благотворительности, который формируется у людей, встречающих информацию о ней в новостных лентах социальных сетей и СМИ. Цель исследования состояла в изучении практик благотворительных организаций по освещению своей деятельности в цифровых социальных сетях и выявлению особенностей восприятия целевой аудиторией благотворительности и добровольчества. В качестве методологической основы был использован подход, согласно которому формирование образа благотворительности в цифровых социальных медиа осуществляется посредством воздействия на эмоциональную, ценностно-мотивационную и когнитивную сферы целевой аудитории. Эмпирическую базу исследования составила серия фокус-групп с представителями благотворительных организаций, студенческой молодежью и людьми среднего возраста. Проведенное исследование позволило установить, что благотворительные организации при размещении

## SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE IMAGE OF CHARITY AND VOLUNTEERISM IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

*Pavel A. KISLYAKOV<sup>1</sup> — Dr. Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Department of Psychology, Conflictology and Behavioristics*  
E-MAIL: [pack.81@mail.ru](mailto:pack.81@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-1238-9183>

<sup>1</sup> Russian State Social University, Moscow, Russia

**Abstract.** One of the ways to study the prevalence of charity and volunteerism is to analyze their coverage in social media — mass media, Internet sites, and social networks. Today, most funds have their accounts on the social media, which allows them to attract younger and more active users to the target audience. However, the realities of how messages about charity are perceived in social media should be considered qualitatively to understand what people think when such messages appear in their news feeds and what kind of image of charity as a social phenomenon they are forming. The purpose of the study is to conduct a socio-psychological analysis of charitable organizations' practices in social networks and the perception of the image of charity and volunteerism formed by them in the minds of various categories of the population of Russian society. As a methodological basis, we used the psychosemiotic approach, according to which the perception of the image of charity in digital social media is carried out by influencing the target audience's emotional, value-motivational and cognitive spheres. The study included content analysis and statistical analysis of data from sociological studies devoted to identifying the features of coverage in the media

информации в социальных сетях избегают манипуляций, «токсичного контента» (вызывающего негативные эмоциональные реакции), демонстрируют ценности социальной ответственности и активного образа жизни, размещают просветительский контент и опираются на локальную идентичность. Для пользователей социальных сетей наиболее привлекательным является новостной контент о благотворительности, который ассоциируется с гуманистическими ценностями и социальной активностью, благотворительными организациями и мероприятиями, которые они проводят. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости использования специалистами благотворительных организаций, разрабатывающих и размещающих информацию о благотворительных акциях, волонтерстве и пр., методов «конструктивной журналистики», построенных на основе позитивной психологии, формирующих новые знания, положительные эмоции, гуманистические ценности, мотивы просоциального поведения и, как следствие, позитивный образ благотворительности и добровольчества.

**Ключевые слова:** благотворительность, добровольчество, образ, цифровая среда, социальные сети, психология восприятия

**Благодарность.** Статья подготовлена по результатам участия в мероприятии профессионального развития «Иссле-

and social networks of charitable activities and the consumption of this content by the target audience. First, we analyzed the experience of online communication and the presentation of information by charitable organizations in social media, based on which users form an image of charity. For this purpose, we conducted an online focus group with representatives of five non-profit organizations (NGOs) based in Moscow, St. Petersburg, and Penza. Then we studied the peculiarities of social media users' perception of charity-related content (the image of charity) and related information behavior. For this purpose, we conducted a series of three online focus groups with the students and middle-aged people. We concluded that charitable organizations, when posting information on social networks, avoid manipulation, and "toxic content" (causing adverse emotional reactions), demonstrate the values of social responsibility and an active lifestyle, post educational content and rely on local identity. For users of social networks, the most attractive is news content about charity, which is associated with humanistic values and social activity, charitable organizations and events they hold. The results indicate the need for specialists in charitable foundations that develop and publish information about charity events, volunteering, etc., to use "constructive journalism" methods based on positive psychology that forms humanistic values and social norms.

**Keywords:** charity, volunteerism, image, digital environment, social networks, psychology of perception

**Acknowledgments.** The article was prepared based on the results of participation in the "Research Internships"

довательские стажировки» Центра развития филантропии Благотворительного фонда Владимира Потанина. Автор выражает благодарность директору Центра развития филантропии Благотворительного фонда Владимира Потанина Роману Склоцкому за помощь в организации исследования.

professional development event of the Center for the Development of Philanthropy of the Vladimir Potanin Charitable Foundation. The author expresses his gratitude to Roman Sklotsky, Director of the Center for the Development of Philanthropy of the Vladimir Potanin Charitable Foundation, for his help in organizing the study.

## Введение

Последние несколько лет в России наблюдается активный рост благотворительности и добровольчества (волонтерства). Развиваются такие практики, как корпоративное и событийное волонтерство, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благотворительность и волонтерство стали рассматриваться государством и социальными институтами как технология развития гражданской активности личности [Российское волонтерское движение..., 2019; Тарасенко, 2019]. Вместе с тем стиль жизни современных россиян не сопряжен с благотворительностью. Так, по данным ВЦИОМ только 9% россиян не представляют свою жизнь полноценной без благотворительности или оказания помощи другим<sup>1</sup>, на постоянной основе благотворительностью занимается около 20% россиян. Как отмечается в Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 г., «это связано, в частности, с недостатком информации о деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров)»<sup>2</sup>, а «применение новых цифровых информационно-коммуникационных технологий позволит создать дополнительные каналы и способы привлечения добровольцев (волонтеров)»<sup>3</sup>.

## Обзор литературы

*Практика освещения благотворительности и добровольчества в цифровых социальных медиа*

Действительно, одним из способов изучения распространенности благотворительности и добровольчества в обществе является анализ их освещения в социальных медиа и СМИ — на сайтах, в социальных сетях [Huang et al., 2020; Saura et al., 2020].

В последние пять лет в России растет популярность благотворительности и волонтерской деятельности, что проявляется, в том числе, и в увеличении числа публикаций в средствах массовой информации, посвященных данной тематике.

<sup>1</sup> Жить полной жизнью: как и с кем? // ВЦИОМ. 2022. 22 февраля. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhit-polnoi-zhiznju-kak-i-s-kem> (дата обращения 22.02.2022).

<sup>2</sup> Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.» С. 3. URL: <http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HCiCGR8esYBYgq.pdf> (дата обращения: 29.10.2022).

<sup>3</sup> Там же, С. 11.

На телеканале ОТР выходят еженедельные телепередачи «За дело» и «Активная среда», освещающие просоциальные практики: деятельность активистов, волонтерских отрядов, благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Названные передачи призывают к социальной активности, популяризируют ценности взаимовыручки, добра, милосердия, гражданственности. Крупные катастрофы, стихийные бедствия, пандемия COVID-19 также стали катализатором для действий социально ориентированных массмедиа, побуждающих людей к оказанию благотворительной помощи.

Исследователи социальных медиа отмечают, что необходимо в большей мере использовать цифровые технологии для того, чтобы реализуемые благотворительными и волонтерскими организациями программы достигали большего позитивного социального эффекта [Крайнова, Прусов, 2021].

В социальных сетях функционируют сотни сообществ, освещающих деятельность благотворительных фондов и организаций и призывающих к оказанию различной помощи. Большинство фондов имеют свою страницу в социальной сети, что позволяет привлечь в целевую аудиторию более молодых и активных пользователей [Садыков, Большакова, 2020; Dean, 2020; Tsadiras, Nerantzidou, 2019].

Активность благотворительных организаций в интернет-среде можно условно разделить на два типа: СМИ о благотворительности и медиаактивность самих организаций. Центральные темы публикаций: просьбы о пожертвовании в благотворительный фонд, участие в благотворительном проекте, организация мероприятий, добровольческие проекты<sup>4</sup>. Нередко в социальных медиа публикуются материалы-«мотиваторы», имеющие развлекательный характер (коллажи, комиксы, мемы, цитаты известных людей, рисунки и пр.) с целью представить информацию в позитивном контексте и снизить негативную эмоциональную и когнитивную нагрузку [Ходорова, Боброва, 2018].

М. Б. Щепакин с соавторами выделяют следующие инструменты продвижения добровольчества через социальные сети: контекстная реклама (размещение рекламы в социальных сетях текстовым сообщением); партизанский маркетинг (вовлечение в массовые флешмобы); вирусный маркетинг (люди сами обмениваются рекламными сообщениями, видео, картинками) [Щепакин, 2017].

Несмотря на некоторые масштабные благотворительные кампании, проводимые в социальных сетях, значительная доля пользователей интернета пока не доверяют информации, размещенной там<sup>5</sup>, что отчасти связано с активной деятельностью мошенников в сфере благотворительности и в целом с низким уровнем доверия в российском обществе. Согласно данным социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения, только 10% россиян считает, что благодаря сообщениям, размещенным в интернете, информация о благотворительности и помощи нуждающимся получает широкую огласку и отклик<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Задорин И. В., Сапонова А. В. Освещение в СМИ и социальных сетях деятельности негосударственных некоммерческих организаций в России: вторая волна (2021 год). URL: [https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2021/10/prezentaczia\\_rezultaty\\_asi\\_media\\_2021.pdf](https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2021/10/prezentaczia_rezultaty_asi_media_2021.pdf) (дата обращения 15.02.2022).

<sup>5</sup> Изучение отношения российских интернет-пользователей к благотворительности // ВЦИОМ. 2013. URL: <https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-o-blagotvoritelnosti-2013.pdf> (дата обращения 15.02.2022).

<sup>6</sup> Гражданская активность в интернете. Может ли размещение информации в Сети помочь решить реальные проблемы? // ФОМ. 2012. 12 сентября. URL: <https://fom.ru/SMI-i-internet/10622> (дата обращения 15.02.2022).



Чтобы понять, о чем думают люди, встречая такую информацию в своих новостных лентах, какой образ благотворительности как социального явления у них формируется, восприятие сообщений о благотворительности в СМИ и социальных сетях должно быть рассмотрено качественно. Е. Ю. Звездина отмечает, что образ волонтера в массовом сознании существенно влияет на отношение населения к волонтерской деятельности в целом, во многом определяет социальную привлекательность института волонтерства и доверие к нему как элементу гражданского общества [Звездина, 2017]. Исследование, проведенное А. С. Тупаевой, показало, что существующий в информационном пространстве образ благотворительности, характеризующийся противоречивым смыслом, нуждается в качественном формировании [Тупаева, 2013].

В соответствии с Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 г.<sup>7</sup> средства массовой информации и коммуникации призваны содействовать созданию в обществе позитивного образа участника благотворительности. Вице-президент филантропической организации «Рыбаков-фонд» Елена Ульянова на Форуме добровольцев 2018 г. отметила, что СМИ и волонтеры должны вместе формировать образ нового героя: «Кто сегодня несет человеческие ценности? Пусть этот герой выйдет на повестку, пусть об этом герое говорят!»<sup>8</sup>.

В связи с этим в число задач благотворительных фондов в медиaprостранстве входит формирование позитивного образа и завоевания доверия общества и доноров<sup>9</sup> [Сапонова, Задорин, 2021; Тимохина, 2019].

### **Образ благотворительности и добровольчества в научном дискурсе**

Категория образа является междисциплинарной. И. В. Сидорская, проанализировав определения образа в различных словарях, выделила следующие его характеристики:

- образ рассматриваются как отражение действительности в сознании субъекта;
- образ представляет собой результат функционирования объекта в социуме («сложившиеся», стихийные представления);
- образ — субъективное восприятие, которое сформировалось на основе непосредственного взаимодействия с объектом, конкретных и достоверных сведений о нем [Сидорская, 2021].

Социальные явления преломляются в восприятии людей, нагружаются определенными смыслами и приобретают конкретные значения, важные для индивидуального и коллективного понимания и их оценки не только в настоящем, но и в будущем [Попова, Певная, 2015].

<sup>7</sup> Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2019 № 2705-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 г.» URL: <http://static.government.ru/media/files/Zaxspc8AZmbvF0mrCGuthOzLa4oZ5krx.pdf> (дата обращения: 29.10.2022).

<sup>8</sup> Кончаковская А. На Международном форуме добровольцев представители СМИ и волонтеры обсудили проблемы освещения социальных проектов в средствах массовой информации. РИА Новости. 2018. 3 декабря. URL: <https://sn.ria.ru/20181203/1539641981.html> (дата обращения 15.02.2022).

<sup>9</sup> Мерсиянова И. В. Гражданское общество и НКО в СМИ. М.: Высшая школа экономики, 2017. URL: <https://nko.tmbreg.ru/assets/images/Мериянова.pdf> (дата обращения 15.02.2022).

Все явления социальной жизни отражаются также в медиaprостранстве и цифровой среде, формируя медиаобразы у воспринимающей аудитории, которые становятся общественными нормами или идеалами [Белюсова, 2015]. «Медиаобразом называется совокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из СМИ» [Каримова, 2019: 139].

О. Ф. Русакова, опираясь на психосемантический подход, определяет медиаобраз как структурный визуально-эмоциональный компонент виртуальной реальности, представляющий собой медийную модель объективного бытия, запечатленную в информационных носителях и общественном сознании [Русакова, 2012].

В контексте психологии массовой коммуникации, медиаобразы формируются по средством влияния на эмоциональную, мотивационную и когнитивную сферы психики человека [Виноградова, Мельник, 2021]. Исследователи указывают на четыре психологических механизма, с помощью которых пользователь социальной сети может реагировать на медиаконтент и которые влияют на формирование медиаобразов: во-первых, реагирует эмоционально, разделяя чувства автора/персонажа; во-вторых, разделяет ценности или мотивы автора/персонажа; в-третьих, принимает точку зрения автора/персонажа опираясь на социальные установки; в-четвертых, идентифицируется с автором/персонажем, поглощаясь контентом до такой степени, что перестает осознавать себя в качестве наблюдателя [Lloyd, 2018].

Образ благотворительности и добровольчества как предмет исследования представлен в различных теоретических концепциях и методологических подходах психологии, социологии, культурологии, филологии, журналистики.

Согласно социологическому подходу, образ благотворительности следует рассматривать как социальный конструкт, являющийся результатом коллективного истолкования субъективного отношения к ценности оказания помощи на безвозмездной основе, в котором различаются три составляющие: знания, эмоции, поведение [Тупаева, 2013].

В концепции конструктивной журналистики, построенной на основе теории позитивной психологии [McIntyre, 2015], важную роль в формировании образа благотворительности и добровольчества играет просоциальный контекст, заложенный в сообщении и призванный пропагандировать определенные ценности и образ жизни, побуждать к оказанию помощи нуждающимся и обществу в целом [De Leeuw et al., 2015]. Проведенные в этом направлении исследования показали, что просоциальный контент СМИ может способствовать развитию просоциальной направленности и просоциального поведения, включая благотворительность, оказание помощи и волонтерство [Кисляков, Шмелева, 2020].

Проведенные на основе контент-анализа исследования позволили ряду авторов выявить особенности медиаобраза благотворительности и добровольчества.

В филологическом исследовании Т. И. Фроловой построена эмпирическая модель медиаобраза благотворительности, согласно которой размещенные в СМИ тексты содержат мысль о важности развития благотворительной деятельности как показателя нормальной жизни общества и о необходимости благотворительности для общества. Другими словами, помощь нужна не только благополучателю, но и обществу в целом [Фролова, 2015].

И. Н. Бухтиярова, проанализировав публикации региональных СМИ, связанных с подростково-молодежным волонтерством, пришла к выводу, что в сообщениях делается акцент на его значении для личностного развития волонтера (формирования социальной ответственности, Soft Skills, обретения необходимого социального опыта) [Бухтиярова, 2021].

Е. Ю. Звездиной установлено, что информация о волонтерстве, представленная в специализированных изданиях, в большей степени репрезентирует направленность действий и мотивационные факторы, в новостных же изданиях больший акцент делается на системность добровольчества и ценностный аспект [Звездина, 2017].

На основе анализа предложенных исследований мы можем установить, что образ благотворительности и добровольчества в цифровой среде представляет собой совокупность представлений об оказании безвозмездной помощи, основанных на субъективном (эмоциональном, ценностно-мотивационном, когнитивном) восприятии соответствующей информации, получаемой из цифровых социальных медиа случайно или целенаправленно.

Цифровые социальные медиа как институт социализации формируют образцы социальной практики, в том числе и примеры благотворительности и добровольчества [Тупаева, 2013]. Однако, исследователи отмечают, что представления россиян о благотворительности не укоренены в массовом сознании, следовательно, они могут сравнительно быстро изменяться, в том числе под воздействием негативных информационных кампаний [Skokova et al., 2018].

Цель настоящего исследования состояла в изучении практик благотворительных организаций по освещению своей деятельности в цифровых социальных сетях и выявлении особенностей восприятия целевой аудиторией образа благотворительности и добровольчества с точки зрения воздействия на эмоциональную, ценностно-мотивационную и когнитивную сферы.

## Методы исследования

Для анализа опыта представления благотворительными организациями информации в социальных сетях, на основе которых у пользователей формируется образ благотворительности, мы провели онлайн фокус-группу с участием представителей пяти некоммерческих организаций (НКО), базирующихся в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе. Использовался метод удобной выборки, так как НКО рекрутировались из числа партнеров Благотворительного Фонда Владимира Потанина, одним из направлений деятельности которого является развитие профессионального благотворительного сообщества в России и продвижение лучших практик и современных методик в сфере филантропии. НКО представляли различные направления благотворительности: помощь НКО, сообществам и гражданам в организации благотворительности; реализация благотворительных проектов для различных категорий жителей города; помощь животным; приобщение молодежи к культурным традициям и волонтерству; поддержка материнства. Все НКО имеют сайты в сети Интернет, а также страницы в нескольких социальных сетях. В качестве участников от НКО выступили специалисты, занимающиеся информационным сопровождением (SMM-менеджер, PR-менеджер, директор по комму-

никациям, фандрайзер). Для проведения фокус-группы с представителями НКО был разработан гайд, включающий 11 вопросов, связанных с анализом опыта использования средств и приемов воздействия на ценностно-мотивационную, эмоциональную, когнитивную сферы потенциальных пользователей социальных сетей с целью популяризации благотворительности, формирования социальной ответственности и вовлечения в благотворительность. Фокус-группа проводилась 18 февраля 2022 г. и длилась 80 минут.

Чтобы изучить особенности восприятия пользователями социальных сетей контента, посвященного благотворительности, и формирующегося при этом у них образа благотворительности мы провели серию из трех онлайн фокус-групп с участием студенческой молодежи (20 человек, возраст от 20 до 24 лет, женщины — 70 %) и людей среднего возраста (10 человек, возраст от 27 до 45 лет, женщины — 80 %). Выбор данных возрастных групп обусловлен тем, что по данным социологических опросов, около 80 % граждан от 18 до 44 лет готовы принимать участие в благотворительной деятельности, то есть просоциально направлены<sup>10,11</sup>. Использовался метод удобной выборки — участники рекрутировались из числа студентов очной и заочной форм обучения Российского государственного социального университета и Ивановского государственного университета. Все участники пользуются социальными сетями (в том числе ВКонтакте) ежедневно. Для проведения фокус-группы был разработан гайд, включающий 14 вопросов, связанных с изучением восприятия благотворительности в социальной сети на основе анализа ценностно-мотивационной, эмоциональной, когнитивной сфер пользователей. Фокус-группы проводились с 7 по 15 февраля 2022 г. и длились около 80 минут каждая.

Фокус-группы способствовали выделению преобладающих мнений целевой аудитории о благотворительности в целом и о ее образе в цифровых социальных медиа. Выбор онлайн фокус-групп обусловлен тем, что он позволил респондентам участвовать в исследовании из дома или с рабочего места, с учетом личных возможностей, что было особенно актуально в ситуации эпидемиологической угрозы.

## Результаты исследования

*Фокус-групповое исследование представления благотворительными организациями информации в социальных сетях*

Фокус-группа с представителями НКО началась с общего обсуждения значимости продвижения благотворительных организаций в социальных сетях и задач, решаемых НКО в социальных сетях. Все участники отметили большую значимость данной работы для своих организаций, о чем говорит наличие страниц в социальных сетях и отдельных специалистов, занимающихся продвижением организаций там. В качестве основных задач были названы распространение информации о фонде, привлечение доноров и волонтеров, сбор пожертвований, организация

<sup>10</sup> Gunstone B., Pinkney S. (2016). *Appetite for Donation: Technology and the Next Generation of Givers*, London: CAF and YouGov. URL: [https://www.kindlink.com/news/sites/default/files/resource-files/201702/Appetite\\_for\\_donation%20CAF%20report.pdf](https://www.kindlink.com/news/sites/default/files/resource-files/201702/Appetite_for_donation%20CAF%20report.pdf) (дата обращения: 27.10.2022).

<sup>11</sup> От милостыни — к волонтерству: как меняется благотворительность в России // ВЦИОМ. 2019. 4 сентября. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ot-milostyni-k-volonterstvu-kak-menyaetsya-blagotvoritelnost-v-rossii> (дата обращения 15.02.2022).

мероприятий и проектов, оказание методической и организационной помощи другим НКО и пр.

В качестве используемых приемов представления информации с целью воздействия на пользователей и привлечения их внимания представители НКО назвали следующие: жизненные истории, лайфхаки, цитаты, мемы, комиксы, тематическую литературу. В числе средств коммуникации с пользователями были названы вебинары, подкасты<sup>12</sup>, чаты, флешмобы, челленджи<sup>13</sup>, стримы<sup>14</sup>, рилс/сторис<sup>15</sup>, таргетинг (реклама, нацеленная на конкретную целевую аудиторию).

*Социальные сети — это наш основной канал коммуникации, знакомства людей с благотворительностью и привлечения на благотворительные площадки в офлайн. (Е., фонд Б.)*

*Мы пробуем разные инструменты, выступающие информационными триггерами, поскольку одни люди приходят через прямой призыв оказать помощь нуждающимся, другие — через участие в образовательных проектах, семинарах и пр. (И., фонд Д.)*

*Мы используем мемы как образовательный контент, которые вызывают у пользователей как очевидные, так и неочевидные инсайты. (Я., фонд Г.)*

Отвечая на вопрос «Какие ценности, образ жизни Ваша организация стремиться демонстрировать в социальных сетях?», в качестве демонстрируемых ценностей участники называли социальную ответственность, активный образ жизни, семейные ценности, ценность быть членом команды, профессионализм, креативность.

*Благотворительность прежде всего связана с социальной ответственностью, но мы не говорим об этом напрямую (Е., фонд Б.)*

*Прививаем нашей молодежи одну из главных ценностей — делать добрые дела. (Я., фонд Г.)*

При создании в социальных сетях контента, связанного с призывом к оказанию помощи, НКО преимущественно используют объясняющую, эмоционально-сочувственную, оптимистическую, патриотическую, игровую, шутливую тональность. Практически не используют морально-этическую тональность, которая, по их мнению, воспринимается пользователями как манипулятивная.

*Стараемся не разводить морализаторство, ни в коем случае не давить на какие-то больные точки. (И., фонд Д.)*

<sup>12</sup> Подкаст (англ. podcast) — записи в формате радио- или телепередач.

<sup>13</sup> Челлендж (англ. challenge) — интернет-ролик, в котором неограниченному кругу пользователей предлагается повторить како-либо задание.

<sup>14</sup> Стрим (англ. stream) — прямой эфир на интернет-сервисе.

<sup>15</sup> Рилс/Сторис (англ. reels/stories) — короткие видеоролики, отражающие моменты из жизни.

*Никакого агрессивного маркетинга не устраиваем. (Д., фонд Р)*

*Мы стараемся через социальные сети снабдить людей каким-то полезным контентом, слегка «дотрагиваясь» до аудитории, не вступая в какой-то такой очень плотный контакт. (Я., фонд Г.)*

Отвечая на вопрос о том, какие эмоции или чувства хотят вызвать НКО у пользователей, просматривающих их контент в социальной сети, участники фокус-группы указали, что избегают негативных эмоций, основанных на жалости и страдании, и больше акцентируют внимание на сочувствии, сопереживании, поддержке, единении, сопричастности, самоидентификации.

*Мы хотим дать людям понять и почувствовать, что современная повестка, которая много транслирует о добрых делах, благотворительности, помощи другому, очень согласуется с нашими традициями ... это что-то, что очень про меня, где-то глубоко сидит внутри, очень соприкасается со мной на разных уровнях. (Я., фонд Г.)*

*При размещении информации о прошедшем мероприятии мы используем «пост-эффект», направленный на то, чтобы вызвать у пользователей, не принявших участие, чувство сожаления. (Е., фонд Б.)*

*Рассказывая о необходимости помощи животным, мы рассказываем о своей команде, потому что человек намного лучше воспринимает образ другого человека, проявляя эмпатию. (Д., фонд Р.)*

*В социальных сетях мы пытаемся формировать добрый образ благотворительности, не используя токсичную информацию, основанную на манипуляции и чувстве жалости. (М., фонд М.)*

С целью продвижения контента и привлечения новых участников мероприятий или доноров НКО используют сообщества (группы) социальных сетей: местные сообщества по географическому признаку, профессиональные группы и тематические сообщества в соответствии с мероприятиями.

*Наша задача сделать так, чтобы каждый горожанин нашел такую точку входа для себя в благотворительный сектор. (И., фонд Д.)*

*Используем коллаборацию с другими организациями для создания совместного контента. (Я., фонд Г.)*

*Используем рекламу через другие сообщества, которые схожи с нами по тематике. (М., фонд М.)*

Все участники отметили, что их НКО размещают на страницах социальных сетей просветительский контент с целью профессиональной поддержки других НКО,

формирования у пользователей знаний о современной благотворительности, информационной поддержки благополучателей и пр.

*Стремимся развеивать негативные стереотипы, связанные с благотворительностью. (И., фонд Д.)*

Все НКО анализируют комментарии, которые оставляют пользователи в социальных сетях. В преобладающем большинстве они имеют положительный контекст. Некоторые акции или мероприятия встречают негативный отклик у горожан (например, благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям), что закономерно и связано с наличием фоновой напряженности в обществе.

В заключение фокус-группы участникам было предложено отметить проблемы формирования позитивного образа благотворительности и добровольчества в социальных сетях. В числе данных проблем были названы следующие: наличие мифов и стереотипов о криминализации и политизированности этой сферы; недоверие фондам и волонтерам; преобладание «токсичного» контента с призывом к адресной помощи (качество коммуникации, построенной на манипуляции, вызывающей переживание и поведение, невыгодное для акцептора, вследствие чего люди могут чувствовать себя некомфортно, психологически небезопасно, в т. ч. из-за нарушения личных границ [Иванов и др., 2019]); необходимость разработки этического кодекса благотворительных организаций; отсутствие у населения культуры и привычки благотворительности.

*В большинстве случаев контент социальных сетей, посвященный благотворительности, является токсичным, содержит призыв к адресной помощи больным детям с ужасным качеством фотографий. И если спросить человека, не вовлеченного в индустрию благотворительности, чаще всего он назовет именно этот контент. (Е., фонд Б.)*

*Люди устали от негативного контента и от манипуляции, но при этом они откликаются именно на такие истории. (Д., фонд Р.)*

*Необходимо убрать контент о переводе средств на личные карты и о личных сборах с помощью волонтеров. (М., фонд М.)*

*Людей сначала нужно образовывать в области благотворительности, как ее делать, как правильно выбирать фонды, как выбирать инициативы и как не пожалеть о своем выборе. (И., фонд Д.)*

*Людам нужно рассказывать о том, что такое благотворительность, как может выглядеть твоя помощь, как чувствуют себя люди, на которых она направлена, что происходит с людьми после того, как ты оказал помощь... Это очень сильно помогает людям чувствовать свою значимость. (Я., фонд Г.)*

### *Фокус-групповое исследование восприятия пользователями социальных сетей образа благотворительности*

Фокус-группы с пользователями социальных сетей начались с общего обсуждения благотворительности и опыта оказания благотворительной помощи. Все респонденты положительно относятся к благотворительности, большинство имеют опыт благотворительной деятельности (переводили деньги на счет благотворительных организаций и фондов; передавали вещи, переводили средства на счет людям, нуждающимся в лечении; участвовали в акциях по сбору средств нуждающимся людям или бездомным животным и пр.).

Далее были обсуждены вопросы, связанные с опытом потребления в социальных сетях контента, связанного с благотворительностью. Все респонденты периодически встречают информацию о благотворительности (как правило, просьбу перевести деньги на лечение детей или в приют для животных), некоторые респонденты подписаны на страницы благотворительных фондов (помощи людям или помощи животным). При этом большинство участников отметили, что почти всегда призывы к оказанию материальной помощи в социальных сетях ассоциируются у них с мошенничеством и не вызывают доверия. Каждый второй респондент сообщил о том, что время от времени получал сообщения или «репосты» от друзей или знакомых о благотворительности, но не уделял им внимания, поскольку также не доверял им.

На вопрос, о том, как респонденты реагировали на статьи и заметки с призывами о помощи, если фотографии или видеоролики вызывали негативные эмоции, большинство ответило, что не читали их или ограничивались репостами и лайками. Но были и те, кто читают такие посты и иногда оказывают денежную помощь, переводя деньги, если информация вызывала у них доверие.

*Не то чтобы скептически реагировала или игнорировала призывы о помощи, зачастую меня это раздражало и приводило в негодование, когда на выдуманную проблему пытаются собрать деньги, то есть обмануть сочувствующих людей. (А., 20 лет)*

*Когда демонстрируют фотографии, на которых изображены дети в операционных, я такой пост закрываю сразу же. (Н., 28 лет)*

*Если информация о призыве помочь нуждающимся исходит от достоверных источников, и есть факты, доказывающие это, я читаю эту информацию чаще и активнее, даже если они хотят разжалобить меня. (О., 21 год)*

*Я в принципе не читаю посты с призывами о помощи, мне комфортнее просто общаться с какими-то благотворительными организациями, которые сами распределяют средства среди нуждающихся. Особенно когда думаешь: это ж сколько надо проверить информации о том, правда ли этот ребенок нуждается в помощи. (А., 34 года)*

Далее участникам фокус-групп было дано пять минут для знакомства с актуальными постами (новостными сообщениями) о благотворительности в социальной сети ВКонтакте с помощью личных смартфонов. Для этого в поисковой строке



на персональной странице социальной сети ВКонтакте необходимо было набрать запрос «#благотворительность». Участникам было предложено изучить сформированную по результатам поиска новостную ленту, прочитать посты, посмотреть изображения/видео, прочитать комментарии, как если бы это была страница их друга в социальной сети или страница группы, в которую они входят. Всего было отобрано около 586,5 тысяч постов. В таблице 1 представлен проведенный нами контент-анализ первых 100 постов, которые могли просмотреть участники фокус-группы за пять минут.

**Таблица 1. Контент-анализ содержания постов с хештегом «#благотворительность» в социальной сети ВКонтакте, предложенных для просмотра участникам фокус-групп**

<b>Содержание поста (% от общего количества)</b>	<b>Источник</b>	<b>Тональность</b>	<b>«Токсичность»</b>
Сбор средств на лечение детей (43%)	личные посты — 55% посты НКО — 45%	объясняющая, морально-этическая минорная	высокая: жалость, сочувствие, боль
Сбор средств, продуктов, вещей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (многодетные семьи, дети сироты, пенсионеры и пр.) (16%)	личные посты — 30% посты НКО — 70%	объясняющая, морально-этическая, рекомендательная, нейтральная	низкая: сочувствие, сожаление, понимание
Помощь бездомным животным (27%)	личные посты — 30% посты НКО — 70%	эмоционально- сочувственная, морально-этическая, минорная	высокая: внутренний дискомфорт, раздражение
Информация о проведенном благотворительном мероприятии (концерт, флешмоб, праздник, акция и пр.) (14%)	личные посты — 20% посты НКО — 80%	оптимистическая, патриотическая, мажорная	отсутствует

После просмотра контента была продолжена беседа с участниками с обсуждением того, что из просмотренного запомнилось, что привлекло внимание (фотографии, рисунки или плакатные изображения, видео, мультипликация, текст и пр.), что из увиденного не понравилось.

Внимание респондентов привлекли посты о сборах средств для лечения детей и бездомных животных, поскольку их количество превалировало. Однако данные посты, как правило, не изучались респондентами внимательно. Более подробно участники изучили посты с контентом о проведенных или планирующихся благотворительных акциях, концертах, выставках, то есть событийный контент и контент о благотворительных организациях.

*Больше запомнился позитивный пост, где показано на фотографиях и расписано то, как поздравляли мальчиков с днем рождения в детском доме. (А., 20 лет)*

*Запомнилась информация о выставке бездомных кошек, на которую можно прийти и забрать животных себе домой. (И., 20 лет)*

*Запечатлелся в памяти пост, где призыв к сбору средств для покупки продуктов питания для нуждающихся людей, размещался под рецептом котлет. (А., 21 год)*

*Я запомнила пост, в котором мальчик рассказал, казалось бы, об элементарном событии, когда жители какого-то маленького города собрали книги и отдали их детский дом. (О., 28 лет)*

Отвечая на вопрос, о том, какие ценности, образ жизни стремятся демонстрировать пользователи (благотворительные организации), разместившие информацию о благотворительности, большинство респондентов назвали моральные и гуманистические ценности и нормы (милосердие, сострадание, ценность жизни, доброта, забота, солидарность), а также социальную активность; некоторые участники не считают, что подобные посты имеют какую-либо ценностную нагрузку.

Просмотренный контент вызвал разные эмоции и чувства у участников фокус-групп. Посты, демонстрирующие болеющих детей, как правило, вызвали негативные эмоции; посты о проведенных мероприятиях и оказанной помощи вызвали положительные эмоции. При этом большинство респондентов указали, что в целом их эмоциональный фон никак не изменился.

*Я бы сказала, что мы эмоциональный фон никак не изменился, но видео с девочкой на коне, конечно, вызвало умиление и улыбку. (А., 20 лет)*

*На самом деле смешанные эмоции: с одной стороны, тревожно, что есть очень много людей, нуждающихся в помощи, с другой стороны — радостно, что есть много хороших людей, готовых прийти на помощь. (А, 21 год)*

*Повторяющиеся друг за другом однотипные посты о больных детях у меня вызвали резко негативные эмоции, я даже устала и просто перестала смотреть дальше. (О., 28 лет)*

*Мне больше нравится в постинге использование позитивного примера. Например, кто-то оказал помощь и получил за это одобрение, признание или похвалу. А вот призыв к экстренному переводу денежных средств как-то отталкивает. (К., 37 лет)*

Каждый третий респондент отметил, что после просмотра контента узнал что-то новое о деятельности благотворительных организаций.

*Я был удивлен, когда увидел, какое большое количество благотворительных организаций существует. Ими обсуждаются абсолютно разные темы. (С., 47 лет)*

После просмотра контента у ряда респондентов возникло желание подробнее изучить информацию о мероприятиях благотворительной направленности и посе-

тить их. Желание оказать финансовую помощь людям или фондам не возникло ни у кого. В большинстве случаев это было объяснено тем, что данную информацию нужно проверять на предмет ее достоверности.

*Я считаю, что не стоит в социальных сетях продвигать адресную благотворительность, лучше это делать через официальные фонды. (Р., 35 лет)*

## Обсуждение результатов

Проведенное нами исследование показало, что образ благотворительности как социального явления и просоциальной практики формируется у пользователей социальных сетей в результате информационного поведения на основе эмоциональной (эмоции), ценностно-мотивационной (ценности и мотивы) и когнитивной (знания) оценки контента. Наличие названных компонентов, на основе которых формируется образ благотворительности, подтверждается рядом исследований.

В. Ю. Литвиновым в ходе экспериментального исследования доказано, что элементы благотворительных действий, демонстрируемых в телепередачах, с помощью механизма эмпатии влияют на эмоциональное состояние зрителей и побуждают их участвовать в благотворительности [Литвинов, 2020].

Исследователи отмечают появление у зрителей эмоций и настроений, соответствующих просмотренному медиаконтенту [Rubin, 2009]. Поэтому, как показало наше исследование, закономерно, что благотворительные организации при наполнении контента социальных сетей стремятся избегать негативных эмоций, основанных на жалости и страхе. Респонденты фокус-групп также предпочитают избегать контента, вызывающего негативные эмоции, что подтверждается другими исследованиями в отношении социальных медиа. Так, исследования, проведенные С. Гилденстед и К. Е. Макинтайр, показали, что медиаресурсы, вызывающие положительные эмоции, улучшают эмоциональный отклик на новости и вдохновляют людей вести себя более просоциально (например, предлагая помощь) [Gyldensted, 2011; McIntyre, 2015]. Исследования, проведенные С. Барлетт и С. Андерсон показали, что просоциальные медиа в краткосрочном периоде влияют на поведение человека посредством усиления позитивных эмоций [Barlett, Anderson, 2013]. В основу данных исследований положена теория положительных эмоций (broaden-and-build theory of positive emotions) Б. Фредриксон, согласно которой положительные эмоции способны расширять репертуар мыслительного действия человека, то есть диапазон потенциальных действий [Fredrickson, 2001].

Вместе с тем есть и другой подход, когда с целью побуждения человека к оказанию денежной помощи, благотворительные организации стремятся вызвать у зрителя жалость, демонстрируя людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации<sup>16</sup>. Это вполне оправданно, поскольку среди респондентов — пользователей социальных сетей были и те, кто готов откликаться на такие призывы. Эффективность подобного контента подтверждается в исследовании К. Эйрс и Н. Эллис, в котором изучалось, могут ли благотворительные рекламные кампании успешно стимулировать пожертвования, а также представлять людей с ограниченными

<sup>16</sup> Канаш Ю. Продвижение благотворительного фонда: тонкости стратегии digital-маркетинга // GetResponse. 2021. 31 марта. URL: <https://www.getresponse.ru/blog/prodvizhenie-nko> (дата обращения 30.10.2022).

возможностями. Исследование проводилось с помощью оценки респондентами 10 плакатов MENCAP (благотворительная организация, работающая с людьми с ОВЗ) по 15 биполярным конструкциям, включающим чувства (жалость, вина и сочувствие), конструктивное помогающее поведение (предоставление денег и времени) и восприятие (наличие прав, ценности и возможностей). Результаты показали, что изображения, вызывающие наибольшую готовность дать деньги, наиболее тесно связаны с чувством вины, сочувствия и жалости [Eaurs, Ellis, 1990].

В долгосрочной перспективе просоциальный контент социальных медиа может влиять на готовность к оказанию благотворительной помощи посредством изменения или актуализации ценностей, убеждений, установок, социальных норм [Prot et al., 2014]. Социальные ценности и нормы, транслируемые социальными медиа, могут не только изменять отношение к реальным событиям и фактам, но и влиять на основные представления и знания людей в обществе и формировать их [Литвинов, 2020]. Проведенное нами исследование показало, что респонденты — пользователи социальных сетей соотносят посты, посвященные благотворительности, с моральными нормами и гуманистическими ценностями, а также образом жизни социально активного человека. В то время как благотворительные организации стремятся не использовать прямое воздействие на пользователей через ценности взаимопомощи и заботы, демонстрируя при этом, что благотворительность должна рассматриваться пользователями как атрибут современного активного человека.

По итогам фокус-группы с представителями НКО установлено, что все они используют просветительский контент, то есть формируют у целевой аудитории новые знания. Пользователи социальных сетей также указали, что после изучения контента, посвященного благотворительности, получили новые знания о фондах, что, с нашей точки зрения, может являться когнитивным механизмом формирования позитивного образа благотворительности. Согласно аксиоме восприятия, сформулированной Д. Цаллером, «чем выше уровень когнитивной вовлеченности индивида, тем более вероятно, что он будет воспринимать, то есть обращать внимание и понимать, политические сообщения, связанные с тем или иным вопросом» [Цаллер, 2004: 91]. Как отмечают Е. Г. Попова и М. В. Певная, эти выводы, сделанные Д. Цаллером в процессе изучения реакции людей на политическую информацию, обоснованно могут быть перенесены на рассмотрение добровольчества в русле социальной информации [Попова, Певная, 2015]. С. Барлетт и С. Андерсон показали, что просоциальные медиа в краткосрочном периоде влияют на поведение человека посредством усиления просоциальных когниций [Barlett, Anderson, 2013]. С. Койн с коллегами обнаружили, что просоциальный контент, распространяемый различными инструментами СМИ, существенно влияет на просоциальное мышление [Coyne et al., 2018]. Эти эффекты могут быть объяснены с позиций теории общей модели обучения (general learning model) [Barlett, Anderson, 2013], социальной теории научения и социально-когнитивной теории [Bandura, 1991], теории социальной обработки информации (social information processing theory) [Crick., Dodge, 1994]. Согласно общей модели обучения, в процессе социализации люди получают новые знания на основе взаимодействия с окружающей средой, в том числе из средств массовой информации. Так, например, есть опыт благотворитель-

ных фондов, демонстрирующих повседневную жизнь людей с ОВЗ без прямого и активного давления на жалость, рассказывая, что есть другой мир, где люди живут иначе, воздействуя тем самым на когнитивную сферу психики зрителя<sup>17</sup>.

Освещая в социальных медиа благотворительную деятельность, необходимо учитывать так называемый феномен «усталости сострадать» в условиях информационного шума онлайн-медиа (включается в эмоциональном выгорании аудитории по отношению к жертвам социальных проблем вследствие интенсивного освещения трагических ситуаций средствами массовой коммуникации» [Кинник и др., 2000: 187]). Пользователи стараются максимально быстро пропустить неприятную для них информацию о людях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию (рассказ о больных детях, онкобольных взрослых, родственниках погибших в чрезвычайных ситуациях, раненых животных и пр.), редко полностью читают подобные посты (чтение на уровне заголовков), ограничиваясь репостами или лайками. Подобная стратегия избирательного уклонения пользователей социальной сети строится на основе психологической защиты (копинга) избегания и показывает, что многократное повторение сообщений и иллюстраций о благотворительной деятельности негативно сказывается на эмоциональном состоянии и активности аудитории (скука, отсутствие интереса, потеря чувствительности, раздражение, агрессия и др.) [Лазуткина, 2017]. Проведенные нами фокус-группы также позволили выявить данный эффект.

## Заключение

Итак, цифровые социальные медиа играют определяющую роль в формировании коммуникационной среды современного общества, и благотворительные организации постепенно переходят в интернет-пространство, чтобы не отставать от онлайн-аудитории и потенциальных доноров. Успешность развития благотворительности во многом зависит от ее образа, который формируется на основе представленного контента в массмедиа, как в ходе систематической работы благотворительных организаций, так и стихийно — обычными людьми, размещающими объявления с призывами о помощи. Образ благотворительных организаций в цифровой среде выступает одним из компонентов формирования доверия к ним, а также развития в обществе культуры благотворительности и добровольчества. В массовом сознании российского общества присутствуют различные негативные стереотипы и установки в отношении благотворительности и добровольческой деятельности, что указывает на необходимость формирования их позитивного образа посредством социальных медиа.

Полученные нами результаты позволяют заключить, что благотворительные организации при размещении информации в социальных сетях, на основе которой у пользователей формируется образ благотворительности, избегают манипуляций, «токсичного контента», демонстрируют ценности социальной ответственности и активного образа жизни, размещают просветительский контент и опираются на локальную идентичность. Для пользователей социальных сетей наиболее привлекательным является новостной контент о благотворительности, который

<sup>17</sup> Реклама на миллион: как придумать социальную кампанию и помочь тысяче детей // Сноб. 2019. 27 мая. URL: <https://snob.ru/entry/177362> (дата обращения 15.02.2022).

ассоциируется с гуманистическими ценностями и социальной активностью, благотворительными организациями и мероприятиями, которые они проводят. Вместе с тем были выявлены опасения по поводу доверия и подлинности в отношении благотворительности. Фокус-группы показали, что участники не готовы долго просматривать страницы социальных сетей, посвященные призывам к сбору средств, вызывающие жалость, негативные переживания.

Проведенное исследование указывает на необходимость систематической работы благотворительных организаций по созданию контента, способствующего формированию позитивного образа благотворительности и добровольчества на основе положительных эмоций, гуманистических ценностей и социально-ориентированных знаний. Результаты данного исследования могут быть использованы НКО для улучшения и определения эффективных коммуникационных и маркетинговых стратегий с целью привлечения большего числа доноров и добровольцев в свои проекты.

Ограничения этого исследования связаны с размером выборки и профилем благотворительных организаций, которые можно в перспективе расширить. Также исследование проводилось с потенциальными донорами и волонтерами молодого и среднего возраста. В перспективе выборка может быть расширена с включением респондентов других возрастных групп. Наконец, лонгитюдное исследование позволило бы проверить, как влияет сформированный образ благотворительности на просоциальное поведение — оказание благотворительной помощи или участие в волонтерских проектах и акциях.

## Список литературы (References)

Белюсова Ю. В. Генезис образа и его функционирование в медиапространстве. СПб.: Алетейя, 2015.

Belousova Yu. V. (2015) The Genesis of the Image and Its Functioning in the Media Space. Saint Petersburg: Alethea. (In Russ.)

Бухтиярова И. Н., Филипова А. Г. Подростково-молодежное волонтерство как путь к участию в решении социально значимых вопросов: анализ материалов региональных СМИ // Теория и практика общественного развития. 2021. № 2. С. 13—18. <https://doi.org/10.24158/tipor.2021.2.1>.

Bukhtiyarova I. N., Filipova A. G. (2021) Adolescent and Youth Volunteering as a Way to Participate in Solving Socially Significant Issues: Analysis of Regional Media Materials. *Theory and Practice of Social Development*. No. 2. P. 13—18. <https://doi.org/10.24158/tipor.2021.2.1>. (In Russ.)

Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации. М.: Юрайт, 2021.

Vinogradova S. M., Melnik G. S. (2021) Psychology of Mass Communication. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.)

Звездина Е. Ю. Особенности ментальной репрезентации образа волонтера в представлениях студенческой молодежи: автореф. дисс. ... канд. психол. н. Ростов-на-Дону, 2017.

Zvezdina E. Yu. (2017) Features of the Mental Representation of the Image of a Volunteer in the Representations of Student Youth. Extended Abstract of PhD Dissertation in Psychology Science. Rostov-on-Don. (In Russ.)

Иванов О. С., Рознова И. А., Пилькевич С. В., Лохвицкий В. А., Дудкин А. С. Отбор изображений с различным содержанием для обучения нейросети, идентифицирующей «токсичный» интернет-контент // Интернаука. 2019. № 40. Ч. 2. С. 18—23. URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/122> (дата обращения: 26.10.2022).  
Ivanov O. S., Roznova I. A., Pilkevich S. V., Lokhvitsky V. A., Dudkin A. S. (2019) Selection of Images with Different Content for Training a Neural Network Identifying “Toxic” Internet Content. *Internauka*. No. 40. Vol. 2. P. 18—23. URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/122> (accessed: 26.10.2022). (In Russ.)

Каримова К. Р. Понятия «образ» и «имидж» в практике СМИ и научных исследованиях // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. № 4. С. 138—144. URL: <http://journals.csu.ru/index.php/znak/article/view/166> (дата обращения: 26.10.2022).

Karimova K. R. (2019) The Semantic Features of the Notion of Image in the Media and Research. *Sign: Problematic Field of Media Education*. No. 4. P. 138—144. URL: <http://journals.csu.ru/index.php/znak/article/view/166> (accessed: 26.10.2022). (In Russ.)

Кинник К., Кругман Д., Камерон Г. «Усталость сострадать»: коммуникация и чувство опустошенности в отношении социальных проблем // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. Казань: Издательство Казанского университета, 2000. С. 187—217.

Kinnik K., Krugman D., Kameron G. (2000) “The Fatigue of Compassion”: Communication and a Sense of Emptiness in Relation to Social Problems. In: *Mass Media and Social Problems*. Kazan: Publishing House of Kazan University. P. 187—217. (In Russ.)

Кисляков П. А., Шмелева Е. А. Психологическое восприятие студенческой молодежью просоциальных медиа // Перспективы науки и образования. 2020. № 3. С. 269—284. <https://doi.org/10.32744/pse.2020.3.20>.

Kislyakov P. A., Shmeleva E. A. (2020) Psychological Perception by Students of Prosocial Media. *Perspectives of Science and Education*. No. 3. P. 269—284. <https://doi.org/10.32744/pse.2020.3.20>. (In Russ.)

Кисляков П. А., Шмелева Е. А., Александрович М. О. Моральные основания и социальные нормы безопасного просоциального поведения молодежи // Образование и наука. 2020. Т. 22. № 10. С. 116—138. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-116-138>.

Kislyakov P. A., Shmeleva E. A., Alexandrovich M. O. (2020) Moral Grounds and Social Norms of Safe Prosocial Behavior of Young People. *Education and Science*. Vol. 22. No. 10. P. 116—138. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-116-138>. (In Russ.)

Крайнова Н. В., Прусов Д. А. Социальные сети как способ коммуникации НКО и общества (на примере Ярославской области) // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2021. № 24. С. 142—148.

Krainova N. V., Prusov D. A. (2021) Social Networks as a Way of Communication Between NGOs and Society (On the Example of the Yaroslavl Region). *PR and Advertising in a Changing World: Regional Aspect*. No. 24. P. 142—148. (In Russ.)

Лазуткина Е. В. Специфика освещения темы благотворительности в социальных медиа // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 7. С. 94—98. URL: <http://vestnik43.ru/7-2017-vgu.pdf> (дата обращения: 26.10.2022).

Lazutkina E. V. (2017) Features of the Coverage of the Theme of Charity in Social Media. *Herald of Vyatka State University*. No. 7. P. 94—98. URL: <http://vestnik43.ru/7-2017-vgu.pdf> (accessed: 26.10.2022). (In Russ.)

Мерсиянова И. В., Брюхно А. С. Цифровые волонтерские платформы: готовность россиян и потенциал применения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 357—375. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1732>.

Mersiyanova I. V., Bryukhno A. S. (2020) Digital Volunteer Platforms: Russians' Willingness to Use Them and Application Potential. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 357—375. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1732>. (In Russ.)

Попова Е. Г., Певная М. В. Российские волонтеры в зеркале общественного мнения // Современные проблемы науки и образования. 2015. Т. 1. № 1. <https://doi.org/10.17513/spno.2015.1.121-17685>.

Popova E. G., Pevnaya M. V. (2015) Russian Volunteers in the Public Opinion of Russian. *Modern Problems of Science and Education*. Vol. 1. No. 1. <https://doi.org/10.17513/spno.2015.1.121-17685>. (In Russ.)

Российское волонтерское движение: новый стиль жизни и новый этап развития. Социологические наблюдения развития волонтерского движения в России в 2008—2019 гг. / под ред. Е. С. Петренко. М.: Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», 2019.

Petrenko E. S. (ed.) (2019) The Russian Volunteer Movement: A New Lifestyle and a New Stage of Development. Sociological Observations of the Development of the Volunteer Movement in Russia in 2008—2019. Moscow: All-Russian Public Foundation “Public Opinion”. (In Russ.)

Русакова О. Ф. Современная политическая философия: предмет, концепты, дискурс. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2012.

Rusakova O. F. (2012) Contemporary Political Philosophy: Subject, Concepts, Discourse. Yekaterinburg: Discourse-Pi. (In Russ.)

Садыков Р. М., Большакова Н. Л. Благотворительная деятельность в современной России // Вестник университета. 2020. № 7. С. 188—192. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-188-192>.

Sadykov R. M., Bolshakova N. L. (2020) Charitable Activities in Modern Russia. *Bulletin of the University*. No. 7. P. 188—192. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-188-192>. (In Russ.)



Сапонова А. В., Задорин И. В. «Хорошими делами прославиться нельзя»: проблемы репрезентации в СМИ деятельности некоммерческого сектора во время пандемии COVID-19 в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 2. С. 423—444. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.2.1919>.

Saponova A. V., Zadorin I. V. (2021) “One Cannot be Famous for Good Deeds”: Media Coverage of Non-Profit Sector Activity During the COVID-19 Pandemic in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 423—444. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.2.1919>. (In Russ.)

Сидорская И. В. Об употреблении терминов «образ» и «имидж» в русскоязычных исследованиях проблемы медиарепрезентации территорий // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2021. № 3. С. 173—197. <https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.3.2021.173197>.

Sidorskaya I. V. (2021) On Using the Term “Image” in Russian-Language Studies Into the Problem of Media Representation of Territories. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika*. No. 3. P. 173—197. <https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.3.2021.173197>. (In Russ.)

Тарасенко Е. В. К вопросу о целесообразности популяризации волонтерской и добровольческой деятельности российской молодежи средствами массовой информации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2019. № 1. С. 184—189. URL: <http://vestnik.adygnet.ru/?2019.1> (дата обращения: 26.10.2022)

Tarassenko E. V. (2019) On Expediency of Popularization of Volunteer Activities of Russian Youth by Mass Media. *The Bulletin of the Adygea State University. Series 2: Philology and Art History*. No. 1. P. 184—189. URL: <http://vestnik.adygnet.ru/?2019.1> (accessed: 26.10.2022). (In Russ.)

Тимохина Н. И. Особенности коммуникации благотворительных организаций в социальных сетях // Молодой ученый. 2019. № 12. С. 241—244. URL: <https://moluch.ru/archive/250/57340/> (дата обращения: 27.10.2022).

Timokhina N. I. (2019) Features of Communication of Charitable Organizations in Social Networks. *Young Scientist*. No. 12. P. 241—244. URL: <https://moluch.ru/archive/250/57340/> (accessed: 27.10.2022). (In Russ.)

Тупаева А. С. Образ благотворительности в информационном пространстве российских средств массовой коммуникации: автореф. дисс. ... канд. социол. н. Майкоп, 2013.

Tupaeva A. S. (2013) The Image of Charity in the Information Space of the Russian Mass Media. Extended Abstract of the PhD Dissertation in Sociology. Maykop. (In Russ.)

Фролова Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ: теоретическая модель, журналистские практики, стратегии развития: автореф. дисс. ... докт. филол. н. М., 2015.

Frolova T. I. (2015) The Humanitarian Agenda of the Russian Mass Media: Theoretical Model, Journalistic Practices, Development Strategies. Extended Abstract of the PhD Dissertation in Philology. Moscow. (In Russ.)

Ходорова Ю., Боброва А. Роль социальной сети ВКонтакте в развитии и продвижении некоммерческих организаций. М.: Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», 2018.

Khodorova Yu., Bobrova A. (2018) The Role of the Vkontakte Social Network in the Development and Promotion of Non-profit Organizations. Moscow: Fund for the Support and Development of Philanthropy “KAF”. (In Russ.)

Цаллер Д. Происхождение и природа общественного мнения / пер. с англ. А. А. Петровой. М.: ИФ «Общественное мнение», 2004.

Zaller J. (2004) The Nature and Origins of Mass Opinion. Transl. from English A. A. Petrova. Moscow: IF «Public Opinion». (In Russ.)

Щепакин М. Б., Михайлова В. М., Поветкина А. А. Волонтерство в обеспечении роста социальной ответственности бизнеса // Sciences of Europe. 2017. Т. 4. № 13. С. 82—87. URL: <http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-4-No-13-13-2017.pdf> (дата обращения: 27.10.2022).

Shchepakin M. B., Mikhailova V. M., Povetkina A. A. (2017) Voluntage in the Security of Social Responsibility Growth of Business. *Sciences of Europe*. Vol. 4. No. 13. P. 82—87. URL: <http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-4-No-13-13-2017.pdf> (accessed: 27.10.2022). (In Russ.)

Bandura A. (1991) Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action. In: Kurtines W. M., Gewirtz J. L. (eds.) *Handbook of Moral Behavior and Development*. Vol. 1. New York, NY: Psychology Press. P. 45—103. URL: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315807294-15/social-cognitive-theory-moral-thought-action-albert-bandura> (accessed: 27.10.2022).

Barlett C. P., Anderson C. A. (2013) Examining Media Effects: The General Aggression and General Learning Models. *Media Effects/Media Psychology*. Ed. by E. Scharrer. Boston, MA: Wiley. P. 1—20. URL: <http://public.gettysburg.edu/~cbarlett/index/13BA.pdf> (accessed: 27.10.2022).

Coyne S. M., Padilla-Walker L. M., Holmgren H. G., Davis E. J., Collier K. M., Memmott-Elison M. K., Hawkins A. J. (2018) A Meta-Analysis of Prosocial Media on Prosocial Behavior, Aggression, and Empathic Concern: A Multidimensional Approach. *Developmental Psychology*. Vol. 54. No. 2. P. 331—447. <https://doi.org/10.1037/dev000412>.

Crick N. R., Dodge K. A. (1994) A Review and Reformulation of Social Information Processing Mechanisms in Children’s Adjustment. *Psychological Bulletin*. Vol. 115. No. 1. P. 74—101. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.1.74>.

De Leeuw R. N. H., Kleemans M., Rozendaal E., Anschütz D. J., Buijzen M. (2015) The Impact of Prosocial Television News on Children’s Prosocial Behavior: An Experimental Study in the Netherlands. *Journal of Children and Media*. Vol. 9. No. 4. P. 419—434. <https://doi.org/10.1080/17482798.2015.1089297>.

Dean J. (2020) Student Perceptions and Experiences of Charity on Social Media: The Authenticity of Offline Networks in Online Giving. *Voluntary Sector Review*. Vol. 11. No. 1. P. 41—57. <https://doi.org/10.1332/204080519X15760809008764>.

Eayrs C. B., Ellis N. (1990) Charity Advertising: For or Against People with a Mental Handicap? *British Journal of Social Psychology*. Vol. 29. No. 4. P. 349—366. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1990.tb00915.x>.

Fredrickson B. L. (2001) The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: The Broaden-And-Build Theory of Positive Emotions. *American Psychologist*. Vol. 56. No. 3. P. 218—226. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.56.3.218>.

Gyldensted C. (2011) Innovating News Journalism Through Positive Psychology. *Master of Applied Positive Psychology. Capstone project. 20. Thesis or dissertation*. URL: [http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=mapp\\_capstone](http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=mapp_capstone) (accessed: 28.10. 2022).

Huang Y. C., Lin Y. P., Saxton, G. D. (2016) Give Me a Like: How HIV/Aids Nonprofit Organizations Can Engage Their Audience on Facebook<sup>18</sup>. *AIDS Education and Prevention*. Vol. 28. P. 539—556. <https://doi.org/10.1521/aeap.2016.28.6.539>.

Litvinov V. Y. (2020) The Impact on TV Charity Acts on Mass Audience. *Media Education*. No. 60. Vol. 4. P. 702—712. <https://doi.org/10.13187/me.2020.4.702>.

Lloyd H. R. (2018) The Myth of Giving as Good: Charitable Giving Represented as an End in Itself. *Discourse, Context and Media*. Vol. 25. P. 122—131. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2018.04.005>.

McIntyre K. E. (2015) Constructive Journalism: The Effects of Positive Emotions and Solution Information in News Stories: Doctoral Dissertation. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina at Chapel Hill.

Prot S., Gentile D. A., Anderson C. A., Suzuki K., Swing E., Lim K. M., Horiuchi Y., Jellic M., Krahé B., Liuqing W., Liau A. K., Khoo A., Petrescu P. D., Sakamoto A., Tajima S., Toma R. A., Warburton W., Zhang X., Lam B. C. (2014) Long-Term Relations Among Prosocial-Media Use, Empathy, and Prosocial Behavior. *Psychological Science*. Vol. 25. No. 2. P. 358—368. <https://doi.org/10.1177/0956797613503854>.

Rubin A. (2009) Uses-And-Gratifications Perspective on Media Effects. *Media Effects: Advances in Theory and Research*. Eds. by Bryant J., Oliver M. B. N.Y.: Routledge. P. 165—84.

Saura J. R., Palos-Sanchez P., Velicia-Martin F. (2020) What Drives Volunteers to Accept a Digital Platform That Supports NGO Projects? *Frontiers in Psychology*. Vol. 11: 429. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00429>.

Saxton G., Wang L. (2014) The Social Network Effect: The Determinants of Giving Through Social Media. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. Vol. 43. No. 5. P. 850—868. <https://doi.org/10.1177/0899764013485159>.

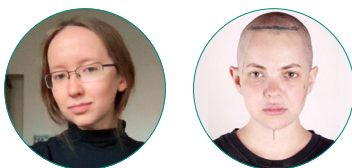
Skokova Y., Pape U., Krasnopolskaya I. (2018) The Non-Profit Sector in Today's Russia: Between Confrontation and Cooptation. *Europe-Asia Studies*. Vol. 70. No. 4. P. 531—563. <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1447089>.

<sup>18</sup> Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.

Tsadiras A., Nerantzidou M. (2019) An Experimental Study on Social Media Advertising for Charity. *International Journal of Economics and Business Administration*. Vol. 7. No. 4. P. 403—416. <https://doi.org/10.35808/ijeba/353>.

Withaneachi C., Nagaraj S. (2020) Social Media Utilisation for Community Development: A Study of Non Profit Organisations in Malaysia. *Knowex Social Sciences Journal*. Vol. 1. No. 2. P. 11—22. <https://doi.org/10.17501/27059901.2020.1202>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2230](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2230)



**С. В. Жучкова, Д. Линделл**

## **ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА САЙТОВ РОССИЙСКИХ НКО НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕРЕАКТИВНЫХ ДАННЫХ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Жучкова С. В., Линделл Д. Оценка коммуникативного потенциала сайтов российских НКО на основе анализа нереактивных данных // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 347—372. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2230>.

### **For citation:**

Zhuchkova S. V., Lyndell D. (2022) Communicative Capacity of Russian NGOs' Websites: Evidence from Non-Reactive Data Analysis. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 347–372. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2230>. (In Russ.)

Получено: 28.04.2022. Принято к публикации: 03.08.2022.

## ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА САЙТОВ РОССИЙСКИХ НКО НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕРЕАКТИВНЫХ ДАННЫХ

*ЖУЧКОВА Светлана Васильевна — младший научный сотрудник, Центр социологии высшего образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия*  
E-MAIL: [szhuchkova@hse.ru](mailto:szhuchkova@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-4425-725X>

*ЛИНДЕЛЛ Дада — специалист в предметной области (гражданское общество); руководитель лаборатории, Лаборатория исследований гражданского общества, Теплица социальных технологий, Москва, Россия;*  
E-MAIL: [lyndell.tst@gmail.com](mailto:lyndell.tst@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0003-1202-1020>

**Аннотация.** В исследовании предлагается и апробируется подход к измерению коммуникативного потенциала сайтов некоммерческих организаций (НКО). Анализ строится на данных о технических характеристиках сайтов почти 10 000 российских НКО, собранных авторами самостоятельно с помощью процедуры веб-скрейпинга. Коммуникативный потенциал оценивается в соответствии с принципами, предложенными М. Кентом и М. Тейлор, согласно которым сайт должен обладать простым интерфейсом, предоставлять полезную информацию, удерживать и «возвращать» пользователей.

Результаты показывают, что сайты российских НКО обладают невысоким коммуникативным потенциалом. Для них в большей мере характерно соблюдение принципа полезности информации

## COMMUNICATIVE CAPACITY OF RUSSIAN NGOS' WEBSITES: EVIDENCE FROM NON-REACTIVE DATA ANALYSIS

*Svetlana V. ZHUCHKOVA<sup>1</sup> — Junior Research Fellow, Centre for Sociology of Higher Education*  
E-MAIL: [szhuchkova@hse.ru](mailto:szhuchkova@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-4425-725X>

*Dada LYNDELL<sup>2</sup> — Subject Matter Expert (Civil Society); Lab Director, Civil Society Research Lab (CSRLab)*  
E-MAIL: [lyndell.tst@gmail.com](mailto:lyndell.tst@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0003-1202-1020>

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, Russia

<sup>2</sup> Teplitsa. Technologies for Social Good, Moscow, Russia

**Abstract.** The paper pilots a new approach to measuring the communicative capacity of non-profit organizations' (NGOs) websites. The analysis relies on technical data of nearly 10,000 Russian NGOs websites collected non-reactively using web scraping. The communicative capacity is measured following Michael L. Kent and Maureen Taylor's model, according to which a site should have a simple interface, provide useful information, retain and return users.

The results show that the websites of Russian NGOs have a low communication capacity. Search engine optimization is the prevalent principle: 82% of websites apply it in practice. Around 50% of NGO organizations adhere to other principles: the simplicity of interface, the utility of information for donors and volunteers, and stimulation of retention. Non-profit

для поисковой оптимизации (до 82 % веб-страниц соответствуют этому принципу). Для половины сайтов соблюдаются остальные принципы: простота интерфейса, генерация повторных посещений и полезность информации для доноров и волонтеров. Наибольшим коммуникативным потенциалом обладают сайты автономных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, а также более молодых организаций. В работе также демонстрируется, что результаты, полученные с использованием нереактивных данных, существенно отличаются от результатов исследований, основанных на опросных данных и отражающих позицию представителей самих НКО.

**Ключевые слова:** веб-скрейпинг, некоммерческие организации, нереактивные данные, коммуникативный потенциал, коммуникация, сайты, НКО

**Благодарность.** Авторы благодарят директора по инновациям Теплицы социальных технологий Дениса Ягодина и руководителя Теплицы социальных технологий Алексея Сидоренко за ценные комментарии и участие в обсуждениях на всех этапах исследования.

organizations, charitable foundations, and younger organizations exhibit the greater communication capacity. The study also detected that the results obtained using non-reactive data differ significantly from the results of previous studies based on survey data and reflecting the position of representatives of the NGOs themselves.

**Keywords:** communication, communicative capacity, non-profit organizations, non-reactive data, web sites, web scraping, non-governmental organizations, NGO

**Acknowledgments.** We would like to thank Denis Yagodin and Alexey Sidorenko (Teplitsa. Technologies for Social Good) for their valuable comments and participation in discussions that helped to make this paper better.

## Введение

В настоящем исследовании предлагается и апробируется подход к измерению коммуникативного потенциала сайтов российских некоммерческих организаций (НКО) на основе анализа нереактивных данных<sup>1</sup>. Онлайн-коммуникация после начала пандемии COVID-19 стала одним из основных способов взаимодействия НКО со своей аудиторией (в том числе фандрайзинга)<sup>2</sup>, однако о ее важности говорили еще с конца 1990-х годов. С момента появления и широкого распространения интернета началась академическая дискуссия о том, что НКО могут извлечь из его использования особую выгоду, так как он позволяет вести коммуникацию с минимальными издержками и с максимально широкой аудиторией [Ferguson, 2018; Coombs, 1998; Ingenhoff, Koelling, 2009]. Интернет для НКО представлялся не только инструментом увеличения гражданского участия, но также способом повышения прозрачности деятельности организации, доверия к ней и, как следствие, получения фандрайзинга, привлечения волонтеров и расширения аудитории [Kenix, 2008; Vaccaro, Madsen, 2009].

Существующие исследования осведомленности и доверия населения по отношению к НКО в России дают основания предполагать, что российские НКО недостаточно используют перечисленные преимущества сетевой коммуникации. Для России характерен высокий уровень проникновения интернета. По оценкам Mediascope<sup>3</sup>, в апреле 2022 г. интернетом пользовались 80% россиян старше 12 лет. Похожую картину рисуют и данные ФОМ<sup>4</sup>: по состоянию на февраль 2022 г. лишь 21% россиян не пользовались интернетом. Однако согласно последнему опросу ВЦИОМ<sup>5</sup>, почти половина россиян вообще ничего не знает о каких-либо общественных организациях в своем регионе и, соответственно, не может оценить пользу от их деятельности или воспользоваться их помощью. Одновременно с этим за период 2019—2021 гг. выросла доля россиян, не принимающих участие в благотворительной и волонтерской деятельности — с 30% до 40%<sup>6</sup>. С одной сто-

<sup>1</sup> Нереактивными называются данные, полученные без участия изучаемых объектов как естественный продукт (след) их деятельности [Salganik, 2018].

<sup>2</sup> К примеру, в Польше до трети НКО перенесли в онлайн работу, связанную с предоставлением сервисов своим благополучателям [Mikołajczak, Schmidt, Skikiewicz, 2022]. В России пандемия COVID-19 стала стимулом цифровизации в особенности тех НКО, чей уровень использования цифровых инструментов ранее был невысок [Скукова и др., 2021]. Значительная часть тех, кто еще не пользовался онлайн-звонками и мессенджерами, в том числе для проведения мероприятий для подопечных, а также до 10% организаций, которые ранее не использовали онлайн-инструменты организации событий, стали ими пользоваться. В 2020—2021 гг. становились все более популярными онлайн-практики участия в благотворительности: перевод денег на счет организаций через сайт или мобильное приложение, перечисление кешбэка / накопленных баллов фондам и т. п. [Ходорова, 2021]. Доля жертвующих наличные деньги значительно снизилась в 2020 г. — до 33%, при этом 44% жертвовали онлайн. См. также: Язневич Е., Проснянюк Д. Как и на что жертвовали россияне ... // Фонд «Нужна помощь». URL: <https://tochno.st/materials/kak-i-na-chto-zhertvovali-rossiyane-itogi-2021-goda-v-blagotvoritelnosti> (дата обращения: 14.04.2022); Обзор тенденций частной благотворительности в России 2021 // Благотворительный фонд развития филантропии (КАФ). URL: <https://www.cafussia.ru/storage/files/file-265.pdf> (дата обращения: 27.07.2022).

<sup>3</sup> Mediascope: интернетом в России пользуются 80% населения старше 12 лет // Mediascope. 2022. 18 мая. URL: <https://mediascope.net/news/1460058> (дата обращения: 27.07.2022).

<sup>4</sup> Источники информации. Интернет // ФОМ. 2022. 17 февраля. URL: <https://fom.ru/SMI-i-internet/14689> (дата обращения: 27.07.2022).

<sup>5</sup> Страна неравнодушных // ВЦИОМ. 2021. 13 мая. URL: <https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10773> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>6</sup> Там же.



роны, это изменение накладывается на период пандемии коронавируса и, вероятно, объясняется введением различных ограничений и ухудшением финансового положения граждан. С другой стороны, оно также может быть связано и с неспособностью отдельных НКО адаптировать свою деятельность под онлайн-среду и сохранить прежний уровень коммуникации со своими волонтерами и донорами. О соответствующих трудностях заявляют и сами представители НКО: организации с низким уровнем внедрения цифровых решений чаще других говорят о существенных негативных последствиях пандемии [Скокова и др., 2021].

В своей работе мы ставим цель определить, каким коммуникативным потенциалом обладают сайты российских НКО и как этот потенциал различается в зависимости от организационно-правовой формы и возраста НКО. На текущий момент было проведено лишь одно похожее исследование, направленное на анализ цифровизации некоммерческого сектора [Скокова и др., 2021]. Поскольку оно было основано на опросе представителей НКО и охватывало всего 412 организаций, мы предполагаем, что его результаты отражают неполную и смещенную картину. В настоящем исследовании мы предпринимаем попытку преодолеть подобные ограничения через использование более объективных материалов.

Эмпирическую базу составляет массив данных, собранный авторами с помощью процедуры веб-скрейпинга из различных открытых источников. Коммуникативный потенциал оценивался через анализ принципов ведения коммуникации на сайте, предложенных М. Кентом и М. Тейлор [Kent, Taylor, 1998].

Работа построена следующим образом: вначале через более общее описание коммуникации НКО очерчивается теоретическая рамка исследования. Затем приводится обзор эмпирических исследований, применяющих подход М. Кента и М. Тейлор к изучению сайтов организаций. После этого подробно описывается процедура сбора данных, а также используемые индикаторы. Наконец, последние разделы статьи посвящены результатам оценки коммуникативного потенциала сайтов НКО, обсуждению ограничений исследования и возможным путям его дальнейшего развития.

## **Коммуникация НКО и место цифровых ресурсов в ней**

В своем исследовании мы рассматриваем НКО в качестве субъектов гражданского общества, то есть как совокупность «зарегистрированных и незарегистрированных добровольных организаций и инициатив, функционирующих ради реализации общественных интересов, но без цели достижения политической или коммерческой выгоды» [Сидоренко, 2020]. При таком подходе под коммуникацией НКО понимается инициированная самими НКО передача информации, которую они используют при реализации или защите общественных интересов. Эта коммуникация может выполнять разные функции и осуществляться с помощью различных способов, форм, каналов и инструментов. Можно выделить нескольких ключевых аспектов такой коммуникации:

— *Границы коммуникации*, в зависимости от которых ее можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя коммуникация предполагает передачу информации внутри организации, взаимодействие между собой сотрудников и руководителей организации на всех уровнях, в то время как под внешней ком-

муникацией подразумевается целенаправленная передача информации организацией за ее пределы [Welch, Jackson, 2007]. Хотя в научной литературе ведутся дискуссии о постепенном стирании границ между этими двумя типами [Cheney, Christensen, 2001], отдельным некоммерческим организациям внешняя коммуникация действительно свойственна в меньшей степени. Так, Л. Саламон вводит разделение некоммерческих организаций на две группы: 1) ориентированные на представление интересов своих же членов (*member-serving*)<sup>7</sup>; 2) ориентированные на оказание услуг вне организации и представление интересов получателей услуг (*public-serving*)<sup>8</sup> [Salamon, 2012; Toepfer, Anheier, 2004]. Внешняя коммуникация гораздо активнее используется именно второй категорией организаций особенно при выполнении ими функций, сопряженных с поставленной миссией: оказание самой услуги (*service function*), адвокация<sup>9</sup> (*advocacy function*), выражение идей (*expression function*), организация сообщества (*community-building function*) и охрана ценностей (*value guardian function*) [Ferguson, 2018; Salamon, 2012]. Фокус нашего исследования направлен именно на *внешнюю коммуникацию НКО*, поскольку через нее в большей мере проявляется участие НКО в гражданском обществе.

— *Среда коммуникации* — онлайн или офлайн [Mato-Santiso, Rey-García, Sanzo-Pérez, 2021], определяющая использование цифровой или нецифровой коммуникации. Как уже было упомянуто, применение в коммуникации цифровых ресурсов связано с меньшими финансовыми и временными издержками организации. Это позволяет ей передать больший объем информации и привлечь более широкую аудиторию без географических ограничений [Корнеева, Брюхно, 2019]. Перечисленные преимущества становятся особенно актуальными именно для НКО, поскольку задача обеспечения постоянной поддержки и привлечения сторонников решается ими в условиях ограниченных ресурсов [Ferguson, 2018]. Учитывая это, а также общую тенденцию на все более активное овладение НКО цифровыми ресурсами для выполнения различных функций<sup>10</sup>, в настоящем исследовании мы фокусируемся именно на *цифровой коммуникации*.

— *Возможность диалога*, благодаря которому коммуникация может быть односторонней или двусторонней [Grunig, Grunig, Dozier, 2002; Pratt и др., 2009]. Односторонняя коммуникация представляет собой передачу информации со стороны НКО, не подразумевающую при этом получение ответа со стороны получателя информации. Примерами проявления такой коммуникации в онлайн-среде может служить публикация финансового отчета на сайте организации или рассылка сообщений по электронной почте о предстоящих мероприятиях НКО. Напротив, двусторонняя коммуникация имеет место в случае возможности получения ответа со стороны получателя информации, например, на официальных страницах НКО в социаль-

<sup>7</sup> В России к таким можно отнести, к примеру, ассоциации малых народов, профсоюзы, товарищества собственников жилья, гаражные и садовые кооперативы, казаческие организации, землячества и т. д.

<sup>8</sup> В российском законодательстве существуют близкие по смыслу второму типу понятия: социально ориентированные НКО и НКО — исполнители общественно полезных услуг.

<sup>9</sup> Под адвокацией понимают регулярную деятельность или кампанию, направленную на представительство и защиту прав и интересов определенной социальной группы или темы, продвижение общественных интересов в органах власти (включая парламент).

<sup>10</sup> О российских НКО см., например, [Корнеева, Брюхно, 2019; Мерсиянова, Брюхно, 2020; Скокова и др., 2021].

ных сетях, где подписчики могут оставлять комментарии к постам. Поскольку мы фокусируемся на деятельности НКО в области реализации и защиты общественных интересов, наличие диалога в коммуникации становится важным критерием, показывающим, в какой мере организация способна смотреть на защищаемые ею интересы глазами своей аудитории, а также подстраиваться под ее меняющиеся запросы [Grunig, 2009]<sup>11</sup>. Хотя диалога в коммуникации гораздо легче добиться при нецифровой коммуникации, при цифровой коммуникации он также возможен за счет использования специальных каналов или инструментов коммуникации.

Наиболее подробную теоретическую модель для изучения возможностей обеспечения диалога в рамках цифровой коммуникации предложили М. Кент и М. Тейлор [Kent, Taylor, 1998]. Согласно их подходу, цифровой ресурс (в оригинале — сайт) организации должен соответствовать пяти принципам:

- 1) обладать простым интерфейсом;
- 2) содержать полезную для разной аудитории информацию;
- 3) удерживать посетителей;
- 4) генерировать повторные посещения;
- 5) обеспечивать диалогический цикл (dialogic loop).

Соблюдение указанных условий создает благоприятную среду для возникновения диалога организации со своей аудиторией.

То, в какой мере сайты НКО соответствуют принципам, выделенным М. Кентом и М. Тейлор, мы называем *коммуникативным потенциалом* сайта, который, в свою очередь, является частью коммуникативного потенциала самой организации. Под коммуникативным потенциалом организации мы понимаем способность организации совершать работу, направленную на передачу благополучателям, донорам и обществу в целом (особенно если организация ведет адвокационную работу) наиболее важной и существенной информации. Коммуникация может происходить как в интернете (через сайт, соцсети организации, материалы в СМИ и публикации блогеров, рекламу), так и офлайн: в офисе организации или по телефону, во время событий, инициированных организацией (к примеру, в процессе сбора и выдачи гуманитарной помощи и т. п.), личных встреч с донорами и т. д. В настоящем исследовании мы фокусируемся лишь на коммуникативном потенциале сайта организации, рассматривая его как первый и наиболее разработанный с теоретической точки зрения этап в изучении коммуникативного потенциала российских НКО.

## **Опыт измерения коммуникативного потенциала цифровых ресурсов НКО**

Теоретическая модель, предложенная М. Кентом и М. Тейлор [Kent, Taylor, 1998], стала одним из наиболее распространенных подходов к изучению коммуникации организаций в интернете. Так, Дж. Виртц и Т. Зимбрес при проведении систематического анализа источников даже после фильтрации работ по отдельным критериям смогли обнаружить почти 80 эмпирических исследований, в которых применялся указанный подход [Wirtz, Zimbres, 2018]. При этом чаще всего — больше, чем в половине случаев, — он использовался именно по отношению к некоммерческим организациям. Обоснование этому приводится в теоретических

<sup>11</sup> См. также: Nordström T. (2012) Two-Way Communication Potential of Social Media in Public Relations: Application by Environmental NGOs.

дискуссиях о роли интернета, где отмечается, что ограниченный бюджет и опора на пожертвования и волонтеров должны мотивировать НКО использовать веб-сайты для построения и поддержания отношений со своей аудиторией [Ferguson, 2018; Coombs, 1998; Ingenhoff, Koelling, 2009; Kent, Taylor, 1998].

Первыми применили модель на практике сами авторы, предложив ее операционализацию через конкретные элементы веб-сайтов и проиллюстрировав этот подход на выборке из 100 случайных организаций по защите окружающей среды по всему миру [Taylor, Kent, White, 2001]. Выделенные ими принципы обеспечения коммуникативного диалога в организации соотносились с предложенными индикаторами следующим образом:

— принцип простоты интерфейса: наличие карты сайта, видимых ссылок на различные разделы сайта, поисковой строки;

— принцип полезности информации: наличие пресс-релизов, выступлений, аудиальных и визуальных материалов с возможностью скачивания, правил использования данных и т. д. (*для медиа*), наличие текстов с описанием миссии организации, инструкций для вступления и пожертвований и т. д. (*для волонтеров*);

— принцип удержания посетителей сайта: высокая скорость загрузки страницы, наличие актуальных на текущую дату материалов и «важной информации» на главной странице;

— принцип генерации повторных посещений: наличие ленты новостей, календаря событий, рубрики с часто задаваемыми вопросами и т. д.;

— принцип диалогического цикла (*dialogic loop*): наличие на сайте опросов, формы обратной связи, рассылки по электронной почте.

Указанные элементы по итогам анализа были объединены авторами в два кластера: кластер технических и дизайн-характеристик (простота интерфейса, полезность информации, удержание посетителей) и кластер диалоговых характеристик (генерация повторных посещений и диалогический цикл).

На основе такого подхода М. Кент и М. Тейлор пришли к выводу, что некоммерческим организациям по защите окружающей среды в большей мере свойственно соблюдение первого кластера принципов, связанных с техническими и дизайн-характеристиками сайта, но не реальное вовлечение посетителей в диалоговую коммуникацию (второй кластер принципов).

Впоследствии предложенная модель в разных модификациях была использована для изучения сайтов НКО, деятельность которых связана с защитой окружающей среды в Америке [Kim и др., 2014; Taylor, Kent, White, 2001], Китае [Yang, Taylor, 2010], Турции [Uzunoglu, Kip, 2014], благотворительных фондов в Италии [Rossi и др., 2018], в Швейцарии и Германии [Ingenhoff, Koelling, 2010], общественных организаций в Польше [Olinski, Szamrowski, 2017] и других странах. Модификации модели включали добавление дополнительных индикаторов и удаление устаревших элементов из списка. Например, Дж. Росси и коллеги существенно расширили принцип полезности информации, добавив к исходным группам волонтеров и медиа еще группу доноров и широкую аудиторию (*general public*), а также расширив список индикаторов инструментами онлайн-фандрайзинга [Rossi и др., 2018]. Необходимость постоянного обновления списка фиксируемых параметров в зависимости от развития технологий и специфики изучаемых организаций обо-

значалась многими авторами [Wirtz, Zimbres, 2018]. Кроме того, вслед за веб-сайтами модель постепенно была адаптирована и под другие инструменты цифровой коммуникации НКО: блоги [Gao, 2016; Seltzer, Mitrook, 2007], Facebook<sup>12</sup> [Bortree, Seltzer, 2009], Twitter [Rybalko, Seltzer, 2010] и YouTube [DiStaso, McCorkindale, 2013].

Отдельные индикаторы, входящие в оригинальную модель М. Кента и М. Тейлор или ее последующие модификации, были изучены и применительно к сайтам российских НКО. Например, в исследовании «Цифровизация НКО» [Скокова и др. 2021] оценивалась распространенность наличия на сайтах НКО подписки на новости, кнопки для пожертвований, чат-ботов и других элементов. В исследовании И. Корнеевой и А. Брюхно описаны практики применения российскими НКО инструментов онлайн-фандрайзинга [Корнеева, Брюхно, 2019]. Тем не менее интерпретация полученных результатов в терминах соблюдения принципов цифровой коммуникации по модели М. Кента и М. Тейлор на российской выборке ранее не производилась.

Сравнительные исследования разных лет показывают, что в целом за последние годы западные НКО продвигаются в сторону большего соблюдения выделенных принципов: увеличивается доля организаций, использующих инструменты онлайн-фандрайзинга, публикующих отчетную информацию в различных формах, использующих защищенные сервера [Shin, Chen, 2016]. Однако распространять подобные выводы на все НКО следует с осторожностью. Как показывает систематический анализ соответствующих эмпирических исследований [Wirtz, Zimbres, 2018], основными методами сбора данных становятся опросы представителей организаций или ручной контент-анализ веб-страниц. Как следствие, в большинстве работ изучаются относительно небольшие выборки — в пределах нескольких десятков или нескольких сотен организаций. Причем зачастую из-за отсутствия официальных полных реестров НКО в отдельных странах (например, в США) список изучаемых НКО формируется на основе рейтингов — таких как Charity Navigator<sup>13</sup>, включающий получающие наибольший доход организации, Philanthropy 400<sup>14</sup>, The NonProfit Times<sup>15</sup> и прочих.

Использование рейтингов ведущих организаций, основанных преимущественно на финансовых показателях, при формировании выборки приводит к тому, что получаемые в подобных исследованиях выводы отражают лучшие практики, а не общую картину. Опросы представителей организаций также подвержены искажениям, так как респонденты по-разному понимают те или иные вопросы, не всегда достаточно квалифицированы или не готовы отвечать правдиво. Последнее ограничение особенно актуально для России, так как упомянутые ранее отечественные исследования НКО опираются именно на опросные данные.

<sup>12</sup> Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.

<sup>13</sup> Организация, собирающая и систематизирующая отчетность НКО в США. См. подробнее: <https://www.charitynavigator.org> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>14</sup> Исследовательский проект, цель которого — выявление организаций в США, собравших больше всего пожертвований в предыдущем финансовом году. См. подробнее: <https://www.philanthropy.com> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>15</sup> Американское издание об управлении некоммерческими организациями. Публикует рейтинги на основе бухгалтерских показателей организаций. См. подробнее: <https://www.thenonprofitimes.com> (дата обращения: 14.04.2022).

В данной работе мы предпринимаем попытку преодолеть ограничения предыдущих эмпирических исследований, связанные с потенциальными искажениями выводов из-за смещенных выборок или использования самоисследований.

Во-первых, вместо опросных данных анализируются нереактивные данные, собранные посредством веб-скрейпинга и позволяющие избежать субъективных оценок представителей самих НКО. Во-вторых, наша выборка сформирована на основе официального реестра российских НКО и не учитывает их финансовое благополучие. Она опирается на представление о том, какие формы НКО в первую очередь предрасположены к внешней коммуникации (подробнее об этом ниже). Наш анализ охватывает почти 10 000 организаций, тем самым снижая вероятность искажения результатов из-за смещенной выборки и отражая более полную картину практик использования сайта для внешней коммуникации.

С точки зрения операционализации предложенных М. Тейлор и М. Кентом принципов мы поддерживаем идеи о необходимости обновления списка изучаемых элементов сайта. В своем исследовании мы фокусируемся на тех признаках, которые в большей мере соответствуют актуальному состоянию работы сайтов в интернете и информация о которых может быть собрана без участия самой организации и автоматизированным способом. Так, простота интерфейса, о которой идет речь в первом принципе, может быть измерена посредством стандартизированных инструментов оценки доступности веб-интерфейса (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), а полезность информации — через используемые на сайте инструменты поисковой оптимизации (search engine optimization, SEO). Все характеристики с обоснованием их включения в исследование подробно представлены в таблице 1.

Таблица 1. **Операционализация принципов, выделенных в работе [Taylor, Kent, White 2001]**

Принцип	Индикаторы в оригинальной работе	Индикаторы в настоящей работе и обоснование их включения
Принцип простоты интерфейса	Наличие карты сайта, видимых ссылок на различные разделы сайта, поисковой строки	<p>Наличие мобильной версии сайта (бинарный показатель — есть/нет). Большинство пользователей ищут и потребляют информацию с помощью мобильного телефона. Отсутствие мобильной адаптации сайта может привести к неудобству использования большим количеством возможных благоприобретателей.</p> <p>Рекомендации WCAG (непрерывный показатель — от 0 до 1):</p> <p>Соблюдение необходимой контрастности цветов дизайна сайта. Для удобства восприятия средним человеком текст на странице или изображении должен иметь коэффициент контраста не менее 4.5: 1. В идеале это значение должно быть не менее 7: 1 для лучшего восприятия в том числе людьми с особенностями цветового восприятия.</p> <p>Уникальные теги &lt;id&gt; и корректные теги &lt;role&gt;, &lt;name&gt;, &lt;form&gt; для активных элементов сайта; наличие имен у кнопок на сайте. Уникальные теги позволяют упростить работу со страницей людям, взаимодействующим с сайтом с помощью клавиатуры.</p> <p>Наличие альтернативного текста для изображений на сайте, возможности значительного увеличения (zoom) элементов сайта. Облегчает взаимодействие с сайтом для слабовидящих.</p> <p>Расчет интегрального показателя WCAG. Для каждого сайта с помощью API Lighthouse получены применимые к нему показатели из определенного выше списка. Интегральный показатель от 0 до 1 определяется как доля соответствующих стандартам WCAG от всех применимых. Технически это означает, что если к какой-то странице невозможно применить какой-то показатель, то отсутствие баллов по этому показателю не влияет на суммарный балл. Показатели нормализованы по важности, определяемой Lighthouse (некоторые показатели оцениваются в 3 балла, некоторые в 10 баллов)<sup>16</sup>.</p>

<sup>16</sup> Lighthouse accessibility scoring // WEB.DEV. URL: <https://web.dev/accessibility-scoring> (дата обращения: 14.04.2022)

Принцип	Индикаторы в оригинальной работе	Индикаторы в настоящей работе и обоснование их включения
Принцип полезности информации (для поисковиков)	В оригинальном исследовании используется принцип полезности информации для медиа (публикация пресс-релизов, выступлений, аудиальных и визуальных материалов с возможностью скачивания)	<p>Полезность становится важна не только для посетителей сайта, но и для поисковых систем. Чтобы быть найденными в интернете, организациям приходится прибегать к оптимизации для поисковых машин (SEO).</p> <p>Наличие файла Robots.txt и карты сайта в корневой директории (бинарный показатель — есть/нет). Попадая на сайт, поисковые машины первым делом читают страницу robots.txt. Этот файл необходим для правильного сканирования и индексирования сайта роботами поисковых систем. Отсутствие файла или ошибки в нем могут негативно повлиять на ранжирование как отдельных веб-страниц, так и всего сайта. Он должен находиться в корневом каталоге. Карта сайта (sitemap) важна, так как показывает поисковику, по каким разделам следует пройти в первую очередь.</p> <p>Наличие корректного и действующего SSL-сертификата (бинарный показатель — есть/нет). Поисковые системы очень серьезно относятся к вопросу безопасности. Если сайт не способен обеспечить безопасность и целостность пользовательских данных, его автоматически признают ненадежным, о чем популярные браузеры извещают пользователя. Сайты с отсутствующим или просроченным SSL-сертификатом теряют позиции в поисковой выдаче, а также не открываются отдельными браузерами. Кроме того, наличие сертификата показывает безопасность сайта пользователю и таким образом служит указанным ниже <i>принципу удержания посетителей</i>. Так, согласно опросу маркетингового агентства John Cabot, около трети посетителей сайта уходят с него, обнаружив, что сайт не защищен (то есть не имеет актуальных сертификатов безопасности), и примерно половина посетителей таких сайтов отмечают, что не будут вводить на подобных сайтах свои персональные данные и данные банковских карт<sup>17</sup>. Такое поведение пользователей стало особенно заметным после того, как с 2017 г. Google стал пометать как в поисковой выдаче, так и в браузере Chrome сайты, у которых есть актуальные SSL-сертификаты, как безопасные, а страницы, у которых сертификат отсутствует или просрочен — как небезопасные, четко давая пользователям понять, что такие сайты не вызывают доверия. В результате уже к началу 2018 г. более 90 % времени онлайн-пользователи браузера Google Chrome проводили на сайтах с актуальными сертификатами безопасности<sup>18</sup>.</p>
Принцип полезности информации (для волонтеров и доноров)	Описание миссии, инструкции для вступления и пожертвований	Наличие страницы с описанием способов помощи организации и/или кнопки для сбора пожертвований (бинарный показатель — есть/нет). Хотя фандрайзинг и привлечение рабочей силы волонтеров не являются сами по себе обязательными видами деятельности для НКО, данная информация полезна для людей, которые настолько заинтересованы в организации, чтобы начать поиск ее сайта в интернете. Даже если сбор средств через сайт приносит только небольшую долю бюджета организации, это может быть важным диалоговым элементом, служащим вовлечению аудитории в ее деятельность.

<sup>17</sup> Stuck with an Unsecure Business Site? Here's What Your Customers Are Thinking // RealBusiness. URL: <https://realbusiness.co.uk/is-your-business-site-unsecure> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>18</sup> Шифрование интернет-соединения по протоколу HTTPS // Google — Отчет о доступности сервисов и данных. URL: <https://transparencyreport.google.com/https/overview> (дата обращения: 14.04.2022).



Принцип	Индикаторы в оригинальной работе	Индикаторы в настоящей работе и обоснование их включения
Принцип удержания посетителей сайта	Высокая скорость загрузки страницы, наличие актуальных на текущую дату материалов и «важной информации» на главной странице	Скорость загрузки страницы (непрерывный показатель — от 0 до 1). Из-за низкой скорости пользователь может не дожидаться открытия страницы и перейти на другой ресурс. Это снижает уровень доверия к сайту, его посещаемость и влияет на другие статистические показатели <sup>19</sup> . В частности, если большое количество пользователей будут уходить с сайта, не дождавшись загрузки, поисковые системы понизят сайт в выдаче. Согласно исследованию Google, при скорости загрузки 1—3 секунды вероятность ухода пользователя со страницы (процент отказов, bounce rate) возрастает на 32 %, до 5 секунд — на 90 %, до 10 секунд — на 123% <sup>20</sup> . В работе измеряется скорость загрузки отдельных элементов домашней страницы, а также балл от 0 до 1, где максимальный балл присваивается сайту с минимальной достаточной скоростью загрузки <sup>21</sup> .
Принцип генерации повторных посещений	Наличие ленты новостей, календаря событий, рубрики с часто задаваемыми вопросами	Наличие ссылок на социальные сети на главной странице (бинарный показатель — есть/нет). Ведение страниц в социальных сетях дает возможность привлечь больше внимания к организации: по оценке агентства We Are Social <sup>22</sup> , в 2020 г. около двух третей россиян использовали социальные сети, в том числе для поиска информации (соцсети фактически заменяют поисковики). Наличие страниц в соцсетях дает организации возможность постоянно оставаться на связи со своими благоприобретателями. В работе проверяется наличие на главной странице ссылок на разные социальные сети: VKontakte, Facebook <sup>23</sup> , Instagram <sup>24</sup> , «Одноклассники», YouTube, TikTok.
Принцип диалогического цикла (dialogic loop)	Наличие на сайте опросов, формы обратной связи, рассылки по электронной почте	Помимо контактов на сайте организации, диалог осуществляется через социальные сети, чат-ботов и чаты с операторами прямо на странице, причем большая часть вовлечения в диалог происходит именно через соцсети. Данная работа фокусируется именно на коммуникации НКО через сайт, из-за чего контент, размер аудитории и вовлеченность пользователей социальных сетей не подвергаются анализу. Коммуникация через социальные сети, чат-боты и другие диалоговые инструменты, уводящие пользователя с сайта, являются важнейшим способом построения диалога, и ее анализ предполагается в дальнейшем.

<sup>19</sup> Как сделать сайт быстрее // Яндекс Справка. URL: <https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/page-speed.html> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>20</sup> Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page speed // Think with Google. URL: <https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>21</sup> Lighthouse Performance Scoring // WEB.DEV. URL: <https://web.dev/i18n/en/performance-scoring> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>22</sup> Digital 2021: The Russian Federation // DATAREPORTAL. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2021-russian-federation> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>23</sup> Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.

<sup>24</sup> Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.

## Данные и методы

В настоящем исследовании мы фокусируемся на некоммерческих организациях, которые, по предложенной Л. Саламоном типологии, относятся к организациям, работающим на благо общества (public-serving) [Salamon, 2012]. Организации этого типа отбирались с помощью фильтрации по их организационно-правовой форме согласно общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ). Для исследования были отобраны 11 форм организаций (см. табл. 2), которые, на наш взгляд, наиболее склонны к активной коммуникации с миром вовне, аудитория которых максимально широка и присутствие которых онлайн может быть более важным, нежели для организаций с другой формой. Сравним для примера с такой формой некоммерческой организации, как адвокатская палата (код ОКОПФ 02 06 09). Такая организация едва ли нацелена на внешнюю коммуникацию, активный поиск новой аудитории, работу с большим количеством стейкхолдеров, а членство в ней ограничено узкой группой людей с определенной специализацией. Потребительские кооперативы (код ОКОПФ 02 01 00) не интересуют нас в контексте данного исследования по той же причине за исключением того, что узкую группу людей, входящую в кооператив, объединяет скорее имущество (например, гаражный кооператив) или общее дело (сельскохозяйственные кооперативы). Теоретически под условия данного исследования попадают также политические партии (код ОКОПФ 02 02 01) и религиозные организации (код ОКОПФ 07 15 00), однако мы исключили их из анализа, так как считаем их деятельность слишком специфической и политически ангажированной.

Указанные в таблице 2 организационно-правовые формы для анализа были объединены в четыре группы: общественные организации (формы № 1—5 в списке), автономные некоммерческие организации (№ 10), благотворительные фонды (№ 6, 9), другие фонды (№ 7—8, 11).

Данные собирались с сентября по декабрь 2021 г. в несколько этапов. Исходный список некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих в России на момент сентября 2021 г., был получен с помощью агрегирования информации из двух источников — портала «Открытые НКО»<sup>25</sup> и сайта Минюста РФ<sup>26</sup>. Из этого общего списка ( $N = 730\,697$ ) были отобраны организации с перечисленными в таблице 2 кодами ОКОПФ ( $N = 142\,545$ ). Поскольку в исходных источниках данная информация о сайтах присутствовала не для всех организаций, для поиска сайтов были привлечены дополнительные источники: справочно-информационная система СПАРК-Интерфакс<sup>27</sup>, собственная база данных «Теплицы социальных технологий», данные проекта «Если быть точным»<sup>28</sup>. На этом этапе сайты были обнаружены для 11,1 % организаций нужных организационно-правовых форм ( $N = 15\,784$ ). Найденные названия доменов сайтов были проверены на действительность (делегированы по состоянию на дату проверки) с помощью

<sup>25</sup> Проект КГИ «Открытые НКО» // АНО Инфокультура. URL: <https://openngo.ru> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>26</sup> Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях // Министерство юстиции Российской Федерации. URL: <http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>27</sup> СПАРК // АО «Информационное агентство Интерфакс». URL: <https://spark-interfax.ru> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>28</sup> Некоммерческие организации в России // Проект Благотворительного фонда «Нужна помощь». URL: <https://techno.st/nko> (дата обращения: 14.04.2022).

пакета python-whois, а хостинг — на активность (сервер успешно обрабатывает входящий запрос), после чего выборка сократилась до 9545 организаций (60 % от найденных сайтов, или 6,7 % от всех организаций с интересующими нас организационно-правовыми формами). Именно на таком количестве наблюдений проводился дальнейший анализ.

Таблица 2. **Виды организаций, включенных в исследование**

№	Код ОКОПФ	Организационно-правовая форма
1	02 02 00	Общественные организации <sup>29</sup>
2	02 02 02	Профсоюзные организации
3	02 02 10	Общественные движения
4	02 06 06	Союзы (ассоциации) общественных объединений
5	02 02 11	Органы общественной самодеятельности
6	07 04 01	Благотворительные фонды
7	07 04 03	Общественные фонды
8	07 04 04	Экологические фонды
9	07 55 02	Благотворительные учреждения
10	07 14 00	Автономные некоммерческие организации (АНО)
11	07 04 00	Фонды <sup>30</sup>

Кроме организационно-правовой формы, в собранных данных также содержалась информация о дате регистрации организации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), регионе регистрации, типе деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), дате регистрации сайта. Дополнительно к этим данным были собраны показатели из адаптированной нами модели М. Кента и М. Тейлор (см. табл. 1). Для сбора этих показателей использовались как самостоятельно написанные скрейперы для сайтов, так и готовые пакеты на языке Python: reppy, ssl, socket, whois, а также API Google для разработчиков: Lighthouse<sup>31</sup>, Mobile-Friendly Test<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> В группу форм «Общественные организации» входят политические партии, профсоюзы, общественные движения, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления. Однако в ряде случаев при регистрации у организации указан именно этот зонтичный термин. Мы включили организации с такой формой регистрации в ЕГРЮЛ, а затем, используя ключевые слова в названии, убрали из выборки те, что не подходили для целей данного исследования — партии и органы самоуправления.

<sup>30</sup> За исключением тех, из названия которых прямо следовало, что они являются негосударственными пенсионными фондами.

<sup>31</sup> Lighthouse // Google Developers. URL: <https://developers.google.com/web/tools/lighthouse> (дата обращения: 14.04.2022).

<sup>32</sup> Google Search Console API // Google Developers. URL: <https://developers.google.com/webmaster-tools/search-console-api> (дата обращения: 14.04.2022).

Среди анализируемых организаций большая часть приходится на автономные некоммерческие организации (39%) и общественные организации (37%). Благотворительные фонды составляют 10% от выборки, оставшиеся 13% приходятся на иные фонды. Больше трети всех организаций зарегистрированы в Москве (31%) и Санкт-Петербурге (7%). Из нестоличных регионов наибольший процент организаций приходится на Московскую (4%) и Свердловскую (3%) области, организации из других регионов составляют не больше 3% от общего числа наблюдений. Важно отметить, что регион регистрации согласно ЕГРЮЛ не равен региону работы организации. Многие организации, зарегистрированные в Москве, ведут деятельность на всей территории России. Точно так же организации, зарегистрированные в одном из сибирских регионов, могут работать в нескольких регионах Сибирского федерального округа или соседних федеральных округов. Выборка охватывает организации, зарегистрированные в 1991—2021 гг.,<sup>33</sup> причем не меньше половины организаций на момент сбора данных существовали уже десять и более лет.

Для ответа на поставленные вопросы собранные данные анализировались с помощью методов описательной статистики, а также методов поиска парных связей и различий в средних: дисперсионного анализа в случае количественных зависимых переменных и критерия хи-квадрат в случае бинарных зависимых переменных.

## Результаты

В таблице 3 представлены результаты анализа выраженности исследуемых характеристик сайтов в имеющейся выборке организаций. Для показателей WCAG и скорости загрузки сайта представлены средние значения (могут изменяться в диапазоне от 0 до 1), для всех остальных показателей — доля сайтов, у которых присутствует тот или иной элемент (в процентах). Результаты показывают, что разные элементы и разные принципы выражены на сайтах российских НКО неравномерно. Так, наиболее распространен принцип полезности информации для поисковиков: файлы robots.txt и карты сайта, которые мы отнесли к данному принципу, были обнаружены у большей части изучаемых сайтов — 82% и 61% соответственно. Реже соблюдаются принципы простоты интерфейса и удержания пользователей. Мобильная адаптация сайта, ссылки на страницы в соцсетях и SSL-сертификат, относящийся сразу к двум принципам, обнаружили примерно у половины исследуемых сайтов. Показатели WCAG и скорости загрузки находятся на уровне немного выше среднего, и их распределение в целом смещено в сторону больших значений (см. рис. 1 и 2). То есть по показателям дизайна и скорости загрузки страниц сайты хорошо адаптированы к потребностям пользователей. Наконец, реже всего из исследуемых элементов сайта встречается раздел о помощи, в том числе о пожертвованиях: он был найден примерно у четверти

<sup>33</sup> Впрочем, данные до 2002 г. не всегда корректны. Это связано с тем, что 1 июля 2002 г. вступил в силу федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», и у каждого ранее существовавшего общества возникла необходимость пройти процедуру регистрации в ЕГРЮЛ. По результатам регистрации общества, существовавшие до 1 июля 2002 г., получали свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, в которых указывался их ОГРН. Поэтому многие организации, дата регистрации в ЕГРЮЛ у которых приходится на вторую половину 2002 г., на самом деле появились раньше.

(24%) сайтов. Однако, как упоминалось в таблице 1, разделы для привлечения волонтеров и фандрайзинга не являются безусловно обязательными для тех форм организаций, которые участвовали в анализе.

Таблица 3. **Выраженность исследуемых характеристик сайтов\***

Показатель	Доля / среднее
<i>Принцип простоты интерфейса</i>	
Мобильная адаптация	48,7
Показатель WCAG	0,793
<i>Принцип полезности информации для поисковиков</i>	
Robots.txt	82,2
Карта сайта	61,1
SSL-сертификат	54,6
<i>Принцип полезности информации для доноров и волонтеров</i>	
Раздел «Как помочь»	23,7
<i>Принцип удержания пользователей</i>	
Показатель скорости загрузки	0,774
Ссылки на страницы в соцсетях	48,6

\* для показателей WCAG и скорости загрузки указаны средние значения (от 0 до 1), для остальных показателей — доля организаций, у которых имеется данный признак (в процентах, от 0 до 100).

Рис. 1. Распределение числа сайтов по набранным баллам показателя WCAG

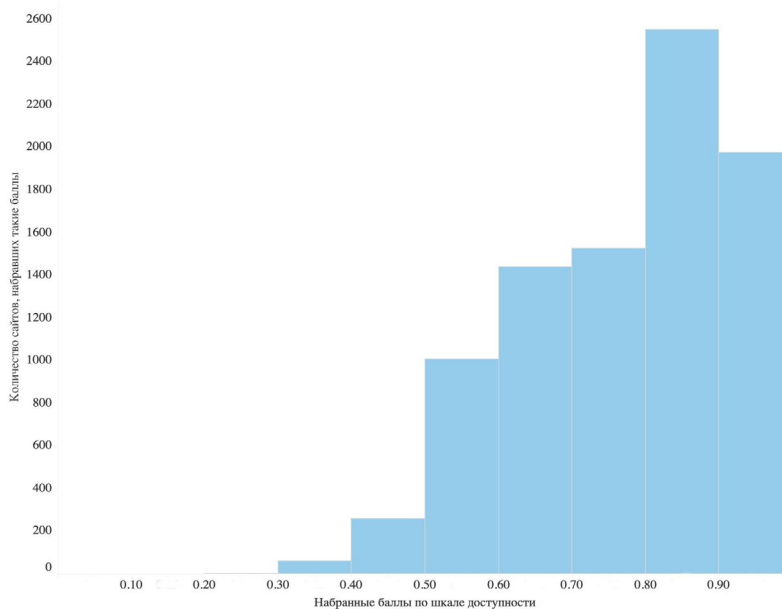
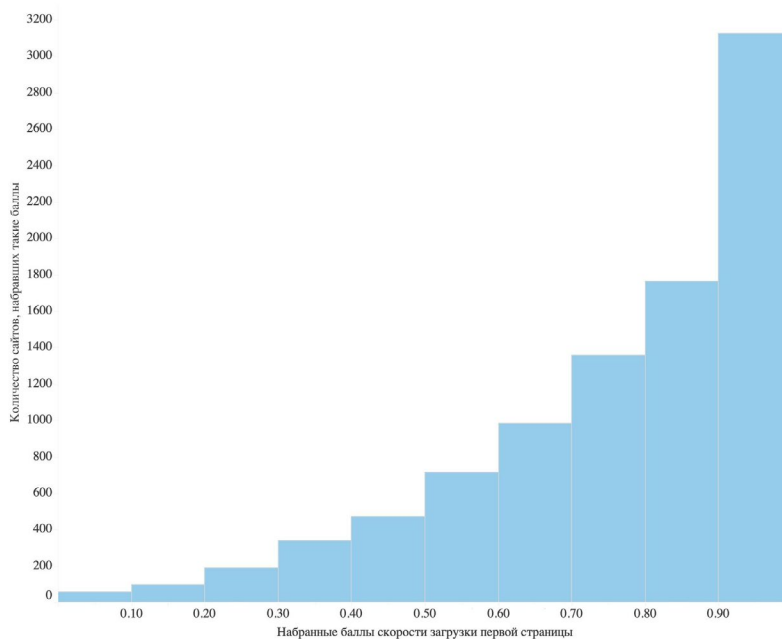


Рис. 2. Распределение числа сайтов по набранным баллам скорости загрузки домашней страницы



В таблицах 4—5 показано распределение тех же показателей в разрезе двух характеристик: их организационно-правовой формы и возраста организации. Так же, как и в предыдущем случае, для показателей WCAG и скорости загрузки сайта представлены средние значения (могут изменяться в диапазоне от 0 до 1), для всех остальных показателей — доля сайтов, у которых присутствует тот или иной элемент (в процентах). Все различия проверены на значимость с помощью двух статистических тестов: однофакторного дисперсионного анализа для показателей WCAG и скорости загрузки и критерия хи-квадрат для остальных — бинарных — характеристик. Различия между конкретными категориями организаций оценивались с помощью пост-хок тестов Геймса-Хоуэлла и стандартизированных остатков хи-квадрата соответственно.

Значимые отличия между НКО разных организационно-правовых форм обнаружилось по всем показателям, кроме мобильной адаптации и средней скорости загрузки страницы. Среди рассматриваемых организационных форм в лучшую сторону выделяются автономные некоммерческие организации, у которых чуть чаще, чем в среднем, встречается карта сайта и действующий SSL-сертификат (то есть соблюдается принцип полезности информации для поисковиков), а также выше показатели доступности WCAG. Сходная ситуация характерна и для благотворительных фондов. У них тоже чаще имеется действующий SSL-сертификат, чаще представлены ссылки на страницы в соцсетях и раздел с помощью. Именно последние три показателя в наибольшей степени дифференцируют изучаемые формы НКО: разница по каждому из них в пользу благотворительных фондов составляет от 10 до 40 процентных пунктов. Так, раздел «Как помочь» присутствует у 65 % благотворительных фондов, в то время как у организаций других форм он встречается не больше чем в четверти случаев. Аналогично ссылки на страницы в соцсетях были обнаружены у 60 % благотворительных фондов, а у организаций других форм — чуть меньше, чем в половине случаев. При этом следует заметить, что даже внутри группы благотворительных фондов раздел с помощью — максимально важный для этой группы НКО — встречается далеко не всегда (у 65 % сайтов таких фондов).

**Таблица 4. Распределение исследуемых характеристик сайтов в разрезе организационно-правовой формы НКО\***

Показатель	АНО	Благотворительные фонды	Другие фонды	Общественные организации	Статистический критерий**	Значимость (p-value)
<i>Принцип простоты интерфейса</i>						
Мобильная адаптация	48,5	50,3	51,3	47,4	7,0	0,073
Показатель WCAG***	0,804	0,800	0,788	0,780	15,9	0,000
<i>Принцип полезности информации для поисковиков</i>						
Robots.txt	83,5	84,3	78,7	81,6	18,9	0,000
Карта сайта	64,1	63,3	58,6	58,4	30,0	0,000
SSL-сертификат	58,1	60,6	51,7	50,2	63,1	0,000

Показатель	АНО	Благотворительные фонды	Другие фонды	Общественные организации	Статистический критерий**	Значимость (p-value)
<i>Принцип полезности информации для доноров и волонтеров</i>						
Раздел «Как помочь»	18,2	64,7	24,4	17,8	1039,5	0,000
<i>Принцип удержания пользователей</i>						
Показатель скорости загрузки***	0,768	0,772	0,784	0,778	2,2	0,080
Ссылки на страницы в соцсетях	48,9	60	44,4	46,6	66,0	0,000

\* курсивом выделены ячейки, значения в которых статистически значимо отличаются от среднего по выборке (в большую или меньшую сторону).

\*\* для показателей WCAG и скорости загрузки указано значение F-статистики, для остальных показателей — значение критерия хи-квадрат.

\*\*\* для показателей WCAG и скорости загрузки указаны средние значения (от 0 до 1), для остальных показателей — доля организаций, у которых имеется данный признак (от 0 до 100).

**Таблица 5. Распределение исследуемых характеристик сайтов в разрезе возраста НКО\***

Показатель	5 и менее лет	6—10 лет	11—15 лет	16—20 лет	более 20 лет	Статистический критерий**	Значимость (p-value)
<i>Принцип простоты интерфейса</i>							
Мобильная адаптация	56,5	48,1	54	42,9	42,6	122,7	0,000
Показатель WCAG***	0,847	0,814	0,78	0,766	0,757	124,9	0,000
<i>Принцип полезности информации для поисковиков</i>							
Robots.txt	85,5	83,4	81,2	80,6	80,4	25,0	0,000
Карта сайта	67,3	61,6	59,7	59,1	58,1	44,2	0,000
SSL-сертификат	66,8	57,8	50,6	49,8	47,9	191,1	0,000
<i>Принцип полезности информации для доноров и волонтеров</i>							
Раздел «Как помочь»	29,8	29,3	23,7	20,2	16,6	150,6	0,000
<i>Принцип удержания пользователей</i>							
Показатель скорости загрузки***	0,775	0,768	0,777	0,773	0,778	0,6	0,653
Ссылки на страницы в соцсетях	52,4	54,4	47,5	45,6	43,5	67,5	0,000

\* курсивом выделены ячейки, значения в которых статистически значимо отличаются от среднего по выборке (в большую или меньшую сторону).

\*\* для показателей WCAG и скорости загрузки указано значение F-статистики, для остальных показателей — значение критерия хи-квадрат.

\*\*\* для показателей WCAG и скорости загрузки указаны средние значения (от 0 до 1), для остальных показателей — доля организаций, у которых имеется данный признак (от 0 до 100).



От АНО и благотворительных фондов общественные организации отличаются в худшую сторону: значения почти всех рассматриваемых показателей для таких организаций ниже среднего. Мы предполагаем, что это следует из самого определения общественной организации как организационной формы в России. «Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей»<sup>34</sup>. Так как эта форма организации подразумевает отсутствие членства (за исключением профсоюзов), а цели их могут быть практически любыми, она хотя и способна привлекать новых членов, но может не воспринимать такую деятельность как обязательную. Интересны примеры общественных организаций, попавших в выборку: среди них представлено большое количество объединений ветеранов, пенсионеров, инвалидов, спортсменов, деятелей искусств и т. п. То есть в теории они заинтересованы в привлечении новых членов, пусть даже никак материально или волонтерски не участвующих в деятельности организации (они скорее будут являться благополучателями). Однако на практике мы видим, что у сайтов именно таких организаций самый низкий коммуникативный потенциал.

Возраст организации также значимо связан с присутствием тех или иных элементов на сайте и соблюдением соответствующих им принципов организации сайта. Единственный показатель, по которому не наблюдается значимых отличий, — это скорость загрузки страницы. В остальном закономерность везде выглядит похожим образом: чем моложе организация, тем более вероятно обнаружить на ее сайте рассматриваемые элементы. Причем это касается не только более современных характеристик, таких как мобильная версия или ссылки на страницы в соцсетях, но и более «традиционных», критически важных элементов сайта — таких как действующий SSL-сертификат. Сайты менее чем половины организаций старше 15 лет обладают перечисленными характеристиками, в том числе актуальными сертификатами безопасности.

Полученные результаты свидетельствуют, что коммуникативный потенциал сайтов российских НКО невысок. Элементы, полезные для индексации сайта в поисковых системах, встречаются чаще других выделенных характеристик, однако все еще недостаточно часто, а элементы, удерживающие пользователей, генерирующие возвращения или предоставляющие информацию о возможностях помочь, — в среднем лишь в половине случаев. Кроме этого, наблюдается дифференциация между НКО разных форм и возрастов: сайты молодых организаций, а также организаций, относящихся к формам АНО и благотворительным фондам, демонстрируют более высокий коммуникативный потенциал.

## Заключение

В исследовании предложен и апробирован подход к измерению коммуникативного потенциала сайтов НКО на основе анализа нереактивных данных. Полученные

<sup>34</sup> ОК 028—2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст) (ред. от 10.09.2021) (вместе с «Пояснениями к позициям ОКОПФ») // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_139192](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192) (дата обращения: 14.04.2022).

результаты позволяют сделать выводы о том, в какой мере сайты российских НКО соответствуют принципам коммуникации, предложенным М. Кентом и М. Тейлор [Kent, Taylor, 1998], то есть обладают простым интерфейсом, предоставляют полезную информацию и способны удерживать и «возвращать» пользователей.

Анализ данных, собранных посредством веб-скрейпинга, был осуществлен в два этапа: вначале с помощью методов описательной статистики оценивалась распространенность использования тех или иных элементов и характеристик сайтов в целом, затем с помощью методов поиска связей были проанализированы различия в исследуемых показателях между организациями разных форм и возрастов. По результатам первого этапа обнаружено, что сайты российских НКО обладают невысоким коммуникативным потенциалом. Для них в большей мере характерно соблюдение принципа полезности информации для целей поисковой оптимизации: доля сайтов, на которых присутствуют соответствующие элементы, доходит до 82%. При этом лишь для половины сайтов соблюдаются остальные принципы: простоты интерфейса, генерации повторных посещений и полезности информации для доноров и волонтеров. Второй этап анализа позволяет заключить, что наибольшим коммуникативным потенциалом обладают сайты АНО и благотворительных фондов, а также более молодых организаций.

Важные содержательные выводы были получены в процессе формирования выборки. Так, после дополнительной проверки доменов и хостингов работающие сайты обнаружились лишь у 7% организаций. Такой результат существенно противоречит выводам предыдущего исследования цифровизации российского некоммерческого сектора, основанного на опросных данных и показывающего, что сайты использует более чем 80% НКО [Скокова и др., 2021: 31]. То же касается и наличия ссылок на соцсети на сайте НКО: если в цитируемой работе о таком элементе заявили представители 72% организаций [там же: 35], то, согласно нашим результатам, доля таких организаций не достигает и половины (49%). Менее значимые отличия наблюдаются и относительно других характеристик: кнопки для пожертвований (33% в прошлом исследовании и 23% — в нашем), SSL-сертификата (18% в прошлом исследовании и 55% — в нашем) [там же]. Отличий не выявлено лишь по параметру мобильной версии сайта: в обоих исследованиях доля организаций, сайты которых адаптированы под мобильное устройство, составляет 48%. Обнаруженное различие в оценке распространенности SSL-сертификатов, вероятно, говорит о низком уровне цифровой грамотности представителей НКО, участвовавших в опросе, и незнании факта его использования на сайте. Действительно, мы обнаружили, что многие организации используют сертификаты безопасности, но среди них часто присутствуют либо самоподписанные сертификаты (то есть сертификаты, выданные другим сайтам), либо устаревшие. Иными словами, даже если бы в таких случаях в ходе опроса представители организации сказали бы, что сертификат есть, это не было бы засчитано за его наличие при использовании нереактивных данных.

Мы попытались обойти ограничения существующих российских исследований за счет использования более объективной информации. Тем не менее и у нашего подхода есть ряд ограничений. Из-за отсутствия официальных источников информации о представленности НКО в интернете мы не можем оценить реальную полноту собранных данных. Иными словами, часть сайтов, не попавших в анализ,

на самом деле могут существовать, но не были обнаружены нашими алгоритмами. Кроме того, мы не ставили цели оценить, насколько эффективно НКО распоряжаются имеющимися на сайте ресурсами. Тот факт, что, например, у сайтов более молодых организаций обнаружился более высокий коммуникативный потенциал, не означает, что эти организации действительно эффективнее используют коммуникацию в своей деятельности на благо гражданского общества. Однако обратная ситуация — когда сайты с низким коммуникативным потенциалом обеспечивают высокую эффективность коммуникации, — маловероятна.

Наше исследование позволило выявить «группы риска» среди российских НКО — это общественные организации и фонды, не связанные с благотворительностью, а также НКО с большим сроком существования. Получить оценку эффекта от коммуникации можно было бы через размер и динамику аудитории организации в интернете, через вовлеченность аудитории, через оценку понятности и доступности контента и т. д. В текущем исследовании нас интересовал именно потенциал сайта, который можно оценить через элементы его дизайна и оптимизации его производительности (performance) для пользователя и поисковых систем. Мы также ограничили свое исследование теми показателями, которые можно описать, не прибегая к анализу контента сайта, хотя он тоже — и даже в большей мере — может охарактеризовать специфику и эффективность коммуникации НКО. Наконец, мы не рассматривали характеристики иных цифровых ресурсов НКО, например, социальных сетей, которые могут быть более востребованным и развитым каналом коммуникации, чем сайт. Учитывая многообразие цифровых форм коммуникации, мы считаем, что перечисленные вопросы могут стать предметом отдельных дальнейших исследований, а представленная в данной статье работа — отправной точкой для них.

## Список литературы (References)

Корнеева И. Е., Брюхно А. С. Онлайн-фандрайзинг в российских НКО: масштабы и влияющие факторы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 5. С. 58—81. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.04>.

Korneeva I. E., Briukhno A. S. (2019) Online Fundraising in Russian NGOs: Level of Development and Factors of Influence. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 58—81. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.04>.

Мерсиянова И. В., Брюхно А. С. Цифровые волонтерские платформы: готовность россиян и потенциал применения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 357—375. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1732>.

Mersianova I. V., Briukhno A. S. (2020) Digital Volunteer Platforms: Russians' Willingness to Use Them and Application Potential. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 357—375. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1732>. (In Russ.)

Сидоренко А. Результаты опроса экспертов и активистов о возможностях и рисках технологий // Сканирование горизонтов: роль информационных технологий в будущем гражданского общества. М.: Когито-Центр, 2020. С. 26—49.

Sidorenko A. (2020) Civil Society Looks into the Future of Technology: A Survey of Civil Society Experts' and Activists' Opinions on Technological Opportunities and Risks. In: Asmolov G. (ed.) *Horizon Scanner: The Role of Informational Technologies in The Future Of Civil Society*. Moscow: Cogito-Center. P. 26—49. (In Russ.)

Скокова Ю. А., Корнеева И. Е., Краснопольская И. И., Гусева П. Д., Рыбникова М. А., Фадеев С. О., Зелинская А. И. Цифровизация некоммерческого сектора: готовность, барьеры и эффекты. М., 2021.

Skokova J., Korneeva I., Krasnopolskaya I., Guseva P., Rybnikova M., Fadeev S., Zelin-skaya A. (2021) Digitalization of the Non-profit Sector: Readiness, Barriers and Effects. Moscow. (In Russ.)

Ходорова Ю. Отчет о пожертвованиях через онлайн-платформы в 2020 г. М.: Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», 2021.

Khodorova J. (2021) Report on Donations via Online Platforms in 2020. Moscow: Charitable Foundation for the Development of Philanthropy «KAF». (In Russ.)

Bortree D. S., Seltzer, T. (2009) Dialogic Strategies and Outcomes: An Analysis of Environmental Advocacy Groups' Facebook Profiles. *Public Relations Review*. Vol. 35. No. 3. P. 317—319. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.05.002>.

Cheney G., Christensen L. T. (2001) Organizational Identity: Linkages Between Internal and External Communication. In: Jablin F. M., Putnam L. L. *The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods*. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications. P. 231—269.

Coombs W. T. (1998) The Internet as Potential Equalizer: New Leverage for Confronting Social Irresponsibility. *Public Relations Review*. Vol. 24. No. 3. P. 289—303. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(99\)80141-6](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)80141-6).

DiStaso M. W., McCorkindale T. A (2013) Benchmark Analysis of the Strategic Use of Social Media for Fortune's Most Admired U.S. Companies on Facebook, Twitter and YouTube. *Public Relations Journal*. Vol. 7. No. 1. P. 1—33.

Ferguson D. P. (2018) Nongovernmental Organization (NGO) Communication. In: Heath R. L., Johansen W. (eds.) *The International Encyclopedia of Strategic Communication*. Malden, MA: Wiley-Blackwell. P. 1—13. <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0120>.

Gao F. (2016) Social Media as a Communication Strategy: Content Analysis of Top Nonprofit Foundations' Microblogs in China. *International Journal of Communication*. Vol. 10. No. 4. P. 255—271. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2016.1196693>.

Grunig J. E. (2009) Paradigms of Global Public Relations in an Age of Digitalization. *Prism*. Vol. 6. No. 2. P. 1—19.

Grunig L. A., Grunig J. E., Dozier D. M. (2002) Excellent Public Relations and Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Ingenhoff D., Koelling A. M. (2009) The Potential of Web Sites as a Relationship Building Tool for Charitable Fundraising NPOs. *Public Relations Review*. Vol. 35. No. 1. P. 66—73. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2008.09.023>.

Ingenhoff D., Koelling A. M. (2010) Web Sites as a Dialogic Tool for Charitable Fundraising NPOs: A Comparative Study. *International Journal of Strategic Communication*. Vol. 4. No. 3. P. 171—188. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2010.489499>.

Kenix L. J. (2008) Nonprofit Organizations' Perceptions and Uses of the Internet. *Television & New Media*. Vol. 9. No. 5. P. 407—428. <https://doi.org/10.1177/1527476408315501>.

Kent M. L., Taylor M. (1998) Building Dialogic Relationships through the World Wide Web. *Public Relations Review*. Vol. 24. No. 3. P. 321—334. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(99\)80143-X](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)80143-X).

Kim D., Chun H., Kwak Y., Nam Y. (2014) The Employment of Dialogic Principles in Website, Facebook, and Twitter Platforms of Environmental Nonprofit Organizations. *Social Science Computer Review*. Vol. 32. No. 5. P. 590—605. <https://doi.org/10.1177/0894439314525752>.

Mato-Santiso V., Rey-García M., Sanzo-Pérez M. J. (2021) Managing Multi-Stakeholder Relationships in Nonprofit Organizations through Multiple Channels: A Systematic Review and Research Agenda for Enhancing Stakeholder Relationship Marketing. *Public Relations Review*. Vol. 47. No. 4. 102074. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2021.102074>.

Mikołajczak P., Schmidt J., Skikiewicz R. (2022) The COVID-19 Pandemic Consequences to the Activity of NGOs. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. Vol. 9. No. 3. P. 330—349. [https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.3\(20\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.3(20)).

Olinski M., Szamrowski P. (2017) Using Dialogic Principles on Websites: How Public Benefit Organizations Are Building Relationships with Their Public. *Nonprofit Management and Leadership*. Vol. 28. No. 2. P. 271—280. <https://doi.org/10.1002/nml.21278>.

Pratt J. A., Yakabov R., Glinski R., Hauser K. (2009) Non-Profit Organisation Websites and Fundraising. *International Journal of Management and Enterprise Development*. Vol. 6. No. 1. P. 55. <https://doi.org/10.1504/IJMED.2009.021736>.

Rossi G., Moggi S., Pierce P., Leardini C. (2018) Stakeholder Accountability Through the World Wide Web: Insights from Nonprofits. In: Lamboglia, R., Cardoni, A., Dameri, R. P., Mancini, D. (eds.) *Network, Smart and Open*. Cham: Springer. P. 85—96. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-62636-9\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-62636-9_6).

Rybalko S., Seltzer T. (2010) Dialogic Communication in 140 Characters or Less: How Fortune 500 Companies Engage Stakeholders Using Twitter. *Public Relations Review*. Vol. 36. No. 4. P. 336—341. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.08.004>.

Salamon L. M. (2012). *The State of Nonprofit America*. 2nd ed. Washington, DC: Brookings Institution Press.

- Salganik M. J. (2018) *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Seltzer T., Mitrook M. A. (2007) The Dialogic Potential of Weblogs in Relationship Building. *Public Relations Review*. Vol. 33. No. 2. P. 227—229. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2007.02.011>.
- Shin N., Chen Q. (2016) An Exploratory Study of Nonprofit Organisations' Use of the Internet for Communications and Fundraising. *International Journal of Technology, Policy and Management*. Vol. 16. No. 1. P. 32—44. <https://doi.org/10.1504/IJT-PM.2016.075937>.
- Taylor M., Kent M. L., White W. J. (2001) How Activist Organizations Are Using the Internet to Build Relationships. *Public Relations Review*. Vol. 27. No. 3. P. 263—284. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(01\)00086-8](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(01)00086-8).
- Toepler S., Anheier H. K. (2004) Organizational Theory and Nonprofit Management: An Overview. In: Zimmer A., Priller E. (eds.) *Future of Civil Society*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. P. 253—270. [https://doi.org/10.1007/978-3-322-80980-3\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-322-80980-3_15).
- Uzunoğlu E., Kip S. M. (2014) Building Relationships through Websites: A Content Analysis of Turkish Environmental Non-profit Organizations' (NPO) Websites. *Public Relations Review*. Vol. 40. No. 1. P. 113—115. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.06.001>.
- Vaccaro A., Madsen P. (2009) ICT and an NGO: Difficulties in Attempting to Be Extremely Transparent. *Ethics and Information Technology*. Vol. 11. No. 3. P. 221—231. <https://doi.org/10.1007/s10676-009-9180-3>.
- Welch M., Jackson P. R. (2007) Rethinking Internal Communication: A Stakeholder Approach. *Corporate Communications: An International Journal*. Vol. 12. No. 2. P. 177—198. <https://doi.org/10.1108/13563280710744847>.
- Wirtz J. G., Zimbres T. M. (2018) A Systematic Analysis of Research Applying 'Principles of Dialogic Communication' to Organizational Websites, Blogs, and Social Media: Implications for Theory and Practice. *Journal of Public Relations Research*. Vol. 30. No. 1—2. P. 5—34. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2018.1455146>.
- Yang A., Taylor M. (2010) Relationship-building by Chinese ENGOs' Websites: Education, not Activation. *Public Relations Review*. Vol. 36. No. 4. P. 342—351. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.07.001>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2200](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2200)



**Н. Г. Багдасарьян, Т. В. Балужева**

## **АСПИРАНТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Багдасарьян Н. Г., Балужева Т. В. Аспирантура регионального вуза: проблемы и пути решения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 373—393. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2200>.

### **For citation:**

Bagdasaryan N. G., Balueva T. V. (2022) Regional University's Postgraduate: Problems and Ways of Solution. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 373—393. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2200>. (In Russ.)

Получено: 17.02.2022. Принято к публикации: 30.07.2022.

## АСПИРАНТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

*БАГДАСАРЬЯН Надежда Гегамовна — профессор кафедры социологии и культурологии, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия*

*E-MAIL: [ngbagda@mail.ru](mailto:ngbagda@mail.ru)*

*<https://orcid.org/0000-0003-0639-3987>*

*БАЛУЕВА Татьяна Витальевна — старший преподаватель, Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия*

*E-MAIL: [igel22@mail.ru](mailto:igel22@mail.ru)*

*<https://orcid.org/0000-0003-4345-8460>*

**Аннотация.** Дискуссии о функционировании и эффективности системы подготовки научно-педагогических кадров не сходят с повестки дня академического сообщества. После внесения в 2012—2013 гг. изменений в систему аспирантской подготовки фиксируется значительное снижение числа защитившихся аспирантов. В 2020 г. доля аспирантов с диссертацией составила рекордно низкие 9%. С 1 марта 2022 г. вводятся в действие нормативные правовые акты, устанавливающие итоговую аттестацию, которая оценивает степень готовности диссертации к защите. Время покажет, даст ли результат возвращение к защите диссертации как главному итогу обучения в аспирантуре. В данной работе анализируется картина сегодняшнего дня.

Кризисное состояние аспирантуры особенно остро проявляется в региональных вузах. Так, ежегодно в аспирантуру

## REGIONAL UNIVERSITY'S POSTGRADUATE: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

*Nadezhda G. BAGDASARYAN<sup>1,2,3</sup> — Professor, Department of Sociology and Cultural Studies; Dr. Sci. (Philos.), Professor, Head of the Department of Sociology and Humanities; Professor, Faculty of World Politics*

*E-MAIL: [ngbagda@mail.ru](mailto:ngbagda@mail.ru)*

*<https://orcid.org/0000-0003-0639-3987>*

*Tatyana V. BALUEVA<sup>2</sup> — Senior Lecturer*

*E-MAIL: [igel22@mail.ru](mailto:igel22@mail.ru)*

*<https://orcid.org/0000-0003-4345-8460>*

<sup>1</sup> Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

<sup>2</sup> Dubna State University, Dubna, Russia

<sup>3</sup> Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

**Abstract.** Discussions on the functioning and effectiveness of the system of training scientific and pedagogical personnel do not leave the agenda of the academic community.

After changes to the system of postgraduate training in 2012–2013, a significant decrease in the number of postgraduate students who defended their dissertations is recorded. In 2020, the proportion of graduate students with a thesis was a record low 9%. From March 1, 2022, regulatory legal acts will come into force that establish the final certification, which assesses the degree of readiness of the dissertation for defense. Time will tell whether returning to defending a dissertation as the main outcome of postgraduate studies will yield results. This paper analyzes the picture of today.

The crisis state of postgraduate studies is especially acute in regional universi-



государственного университета «Дубна» поступают около 50 человек, но лишь единицы доходят до защиты. В рамках статьи предпринята попытка сравнить ситуацию в аспирантуре этого университета с другими вузами. Проведенные нами в 2019 и 2021 гг. исследования показали, что по большинству ключевых проблем аспирантуры, обсуждаемых в научном сообществе, ситуация в Дубне схожа с общероссийской. Низкий уровень подготовки аспирантов к научной деятельности, высокая значимость неакадемических мотивов поступления в аспирантуру, недостаточная финансовая поддержка аспирантов, вынуждающая подавляющее большинство из них совмещать учебу с полной занятостью, — все эти проблемы актуальны как для ведущих российских вузов, так и для государственного университета «Дубна». Есть и особенности, обусловленные локальной — географической и академической — спецификой. В заключении представлены возможные меры, направленные на повышение качества и результативности подготовки научно-педагогических кадров в российских университетах.

Предложенные в статье выводы и рекомендации могут быть полезны аспирантам региональных вузов и их научным руководителям, руководству региональных вузов и аспирантур, министерствам образования регионального уровня и Министерству науки и высшего образования РФ.

**Ключевые слова:** аспирантура, реформирование аспирантуры, высшее образование, проблемы аспирантуры, защита диссертации

ties. Thus, about 50 people enter the postgraduate course of Dubna State University, but only a few reaches the defense. Within the framework of the article, an attempt is made to compare the situation in the postgraduate study of Dubna State University with other universities. Studies conducted by the authors in 2019 and 2021 have shown that the situation in Dubna is similar to the all-Russian one in terms of most of the key problems of postgraduate studies discussed in the scientific community. The low level of preparation of graduate students for scientific work, the high importance of non-academic motives for entering graduate school, insufficient financial support for graduate students, forcing the vast majority of them to combine their studies with full-time employment — all these problems are true both for graduate students of leading Russian universities and for graduate students of Dubna State University. At the same time, there are some peculiarities due to local — geographical and academic — specifics. In conclusion, possible measures are presented aimed at improving the quality and effectiveness of the training of scientific and pedagogical personnel in Russian universities.

**Keywords:** postgraduate study, reforming of graduate school, higher education, problems of graduate school, defending a dissertation

## Введение

Обсуждение проблем современной аспирантуры не сходит с повестки дня научного сообщества. После того, как в 2012—2013 гг. в систему подготовки кадров высшей квалификации были внесены существенные изменения, связанные с присвоением аспирантуре образовательного статуса и повышением требований к соискателям ученых степеней, фиксируется значительное падение числа защитившихся аспирантов (начиная с 2014 г.). Отметим, что интегральным показателем, характеризующим результативность системы подготовки научно-педагогических кадров в целом, выступает удельный вес лиц защитивших диссертации в общей численности выпускников [Миронос, Бедный, 2017]. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 г. только 11 % выпускников аспирантуры защитили диссертацию, что на 15 пунктов ниже показателя «дореформенного» 2013 г. (см. Рис. 1). В 2020 г. доля аспирантов с диссертацией составила рекордно низкие 9%<sup>1</sup>. Это, пожалуй, самый яркий негативный результат реформирования аспирантуры. С 1 марта 2022 г. вводятся в действие нормативные правовые акты, устанавливающие итоговую аттестацию, которая оценивает степень готовности диссертации к защите<sup>2</sup>. Время покажет, будет ли эффект от возвращения к защите диссертации как главному итогу обучения в аспирантуре. А пока проанализируем картину сегодняшнего дня, понимая, что, несмотря на стремительный бег современности, система образования сохраняет определенную степень инертности.

## Обзор исследований

Аспирантура остается одним из основных институциональных ресурсов для подготовки преподавателей высшей школы и профессиональных исследователей. Согласно статистическим данным, в 2017 г. в России 76,6 % кандидатских диссертаций защищено лицами, прошедшими обучение в аспирантуре [Статистика науки..., 2018].

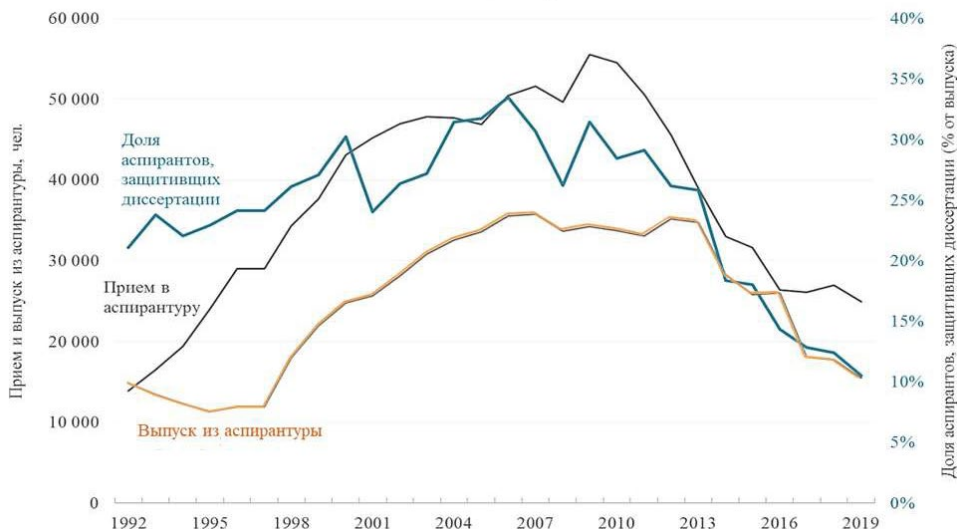
Анализ основных показателей деятельности аспирантуры показывает, что вплоть до 2009 г. набор в аспирантуру и численность выпускников каждый год характеризовались положительным сальдо прироста (см. рис. 1). Во многом это объясняется тем, что в аспирантуру массово пошли люди, которые рассматривали ее как шаг к престижному социальному статусу и преимуществам в неакадемической карьере, как инструмент получения отсрочки от армии и других социальных льгот [Балабанов и др., 2003; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018]. Исследователи отмечают изменение функций аспирантуры в постсоветский период, которая вместо подготовки научно-педагогических кадров в большей степени стала

<sup>1</sup> Основные показатели деятельности аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки и докторантуры // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/education> (дата обращения: 02.12.2021).

<sup>2</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300127> (дата обращения: 18.01.2022); Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037> (дата обращения: 18.01.2022).

работать на удовлетворение спроса населения на высокий уровень образования и интеллектуального развития [Балабанов и др., 2003]. Следствием стало массовое снижение качества диссертаций, активное распространение плагиата и других практик академического мошенничества, снижение престижности научной и педагогической деятельности и социального статуса ученых [см., например, Багдасарьян, Сони́на, 2020].

Рис. 1. Основные показатели деятельности аспирантуры в 1992—2019 гг.



Источник: Федеральная служба государственной статистики, URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/education> (дата обращения: 02.12.2021).

Снижение показателей результативности аспирантуры — глобальная проблема. Доля аспирантов, завершающих обучение защитой диссертации с присуждением ученой степени, в разных странах варьируется от 10 % до 70 % со средним значением около 50 % [Ali, Kohun, 2006; Wollast et al., 2018]. Россия входит в группу стран с низкими показателями результативности аспирантских программ, причем выраженный тренд на их дальнейшее снижение свидетельствует о наличии системных проблем в российской аспирантуре [Бедный, Чупрунов, 2019].

Проведенная реформа вызвала в профессиональной среде многочисленные дискуссии о функционировании института аспирантуры в новых условиях (см., например, [Райчук, Минина, 2016; Сенашенко, 2016; Бедный, Рыбаков, Сапунов, 2017; Бережная, Гуртов, 2017; Караваева и др., 2018; Резник, Чемезов, 2018; Тезйел, 2018; Нефедова, Дьяченко, 2019]). В 2017—2018 гг. состоялись первые выпуски аспирантов, прошедших обучение в рамках новой модели аспирантуры.

Параллельно происходит накопление статистических и эмпирических данных по опросам выпускников аспирантуры и их научных руководителей [Бекова и др., 2017; Михалкина, Скачкова, 2018; Рыбаков, 2018; Maloshonok, Terentev, 2019].

Обширный материал представлен в статьях [Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Терентьев, Рыбаков, Бедный, 2020]. Первая базируется на данных исследования, проведенного в 2016 г. в 11 ведущих российских университетах, участвующих в программе «5—100»<sup>3</sup> (11 экспертных полуструктурированных интервью с сотрудниками, 20 полуструктурированных интервью с аспирантами, онлайн-опрос 1866 аспирантов). Во второй отражены результаты исследования со смешанным дизайном (полуструктурированные интервью с аспирантами (N = 18) и научными руководителями (N = 24), онлайн-опрос 347 аспирантов первого года обучения), которое было проведено в шести российских университетах в 2018—2019 гг. Полученные данные свидетельствуют, что существовавшая с советских времен система подготовки научно-педагогических кадров не справилась с новыми вызовами — снижением качества подготовки диссертаций, перепроизводством научных кадров, повышением уровня отсева аспирантов.

Важным результатом исследования 2018—2019 гг. [Терентьев, Рыбаков, Бедный, 2020] нам видится предложенная авторами типология мотивов поступления в аспирантуру. Опираясь на теорию самодетерминации в мотивации Э. Деси и Р. Райана, авторы выделяют три основных типа мотивации (внутреннюю, внешнюю и амотивацию) и описывают их применительно к обучению в аспирантуре, соотнося с группами «академических» и «неакадемических» мотивов, полученных в исследовании 2016 г. [Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018].

Согласно разработанной типологии, академические мотивы относятся к внутренней мотивации, для которой «характерен наивысший уровень автономности индивида, когда локус контроля является внутренним и связан с интересом и/или удовольствием от обучения и сопутствующей деятельности» [Терентьев, Рыбаков, Бедный, 2020]. Неакадемические группы мотивов: профессиональные и карьерные, статусные (например, престижность обучения в аспирантуре), прагматические (не связанные с профессиональными планами) типологизируются авторами как внешняя по отношению к содержанию аспирантского образования мотивация. Для аспирантов, руководствующихся такими мотивами, обучение становится инструментом для достижения целей, выходящих за рамки образовательной программы, а вовлечение в учебный процесс определяется внешними регуляторами.

В структуре внешней мотивации выделяются дополнительные категории:

- идентифицированная мотивация — аспирантура как важный шаг в построении карьеры и развитии профессиональных навыков;
- интроецированная мотивация — регулятором выступают определенные социальные нормы и правила, ценности и установки;
- экстернальная мотивация, при которой вовлечение в учебную деятельность определяется получаемым в результате завершения обучения вознаграждением.

Отдельно авторами выделяется амотивация, фактически представляющая собой отсутствие или недостаток мотивации. По мнению авторов, об амотивации можно говорить, когда поступлению в аспирантуру не предшествуют серьезные

<sup>3</sup> Проект «5-100» — российская государственная программа по адаптации ведущих российских университетов к мировым стандартам и повышению их конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. Сроки реализации проекта: 2012—2020 гг.

размышления, у индивида отсутствуют значимые внутренние и внешние регуляторы. Для подобного типа поведения аспирантов характерен наименьший уровень интенциональности и автономии; в приложении к обучению в аспирантуре ему сопутствует высокий риск неудачи.

Выделенные в описываемых исследованиях проблемы подводят к выводу о кризисном состоянии системы аспирантуры, характерной для большей части вузов России. Однако особенно остро оно проявляется в регионах. Получившая в 2001 г. статус наукограда Дубна по праву считается «кузницей» научных кадров. Ежегодно в аспирантуру государственного университета «Дубна» поступают около 50 человек, но лишь единицы доходят до защиты, при этом ситуация, как и в целом по стране, значительно ухудшилась с 2014 г.<sup>4</sup> В рамках статьи предпринимается попытка сравнить ситуацию в аспирантуре университета «Дубна» с ситуацией в других вузах. Мы понимаем, что существуют вполне объективные отличия «больших» университетов и региональных вузов — не столько формальные, сколько обусловленные территориальными факторами, расположением «в провинции». Предлагая к обсуждению результаты исследования, мы не претендуем на генерализацию для всех российских вузов, но стремимся выделить специфику аспирантур региональных университетов.

### **Эмпирическая база исследования**

Эмпирической базой исследования выступают результаты опросов аспирантов государственного университета «Дубна», проведенных в феврале — марте 2019 г. и марте — апреле 2021 г. Объем выборочной совокупности в 2019 г. составил 116 человек (68 % от общего числа аспирантов), в 2021 г. — 103 человека (72 % от общего числа аспирантов).

Две трети респондентов специализируются в области точных, естественных и технических наук, остальные — в сфере гуманитарных и общественных наук. Примерно треть обучающихся в аспирантуре университета «Дубна» — женского пола (их доля составляет 38 % от общего числа опрошенных в 2019 г. и 31 % в 2021 г.). По выделенным показателям выборка адекватно репрезентирует генеральную совокупность.

Распределение принявших участие в опросе аспирантов по годам обучения несколько отличалось от такового в действительности, поэтому по данному показателю проводилась дополнительная корректировка: пропорции выборочных совокупностей были приведены в соответствие с пропорциями в генеральной совокупности при помощи взвешивания.

Волны опросов частично пересекаются: аспиранты, обучающиеся в 2019 г. на первом и втором курсах, в опросе 2021 г. вошли в категорию «аспирантов 2 и 3 года обучения». В исследовании 2019 г. вопросы о мотивах поступления в аспирантуру задавались всем респондентам, в 2021 г. — только аспирантам, обучающимся на первом курсе. Блоки вопросов о факторах, препятствующих

<sup>4</sup> В период подготовки статьи к публикации начался прием заявлений в аспирантуру 2022/2023 учебного года, показавший значительный рост конкурса. Понятно, что это обстоятельство вызвано изменившимся геополитическим положением России, провоцирующим внешнюю мотивацию выпускников вузов, в особенности мужского пола. Мониторинг новой ситуации в совокупности с первыми пореформенными итогами покажет динамику перемен в институте подготовки научных кадров. Тем ценнее данные, полученные в ходе исследований последних лет.

и способствующих успешному обучению в аспирантуре, о взаимодействии с научным руководителем предлагались к заполнению всем респондентам в обе волны исследования. В отличие от мотивов поступления, данные параметры вполне способны претерпеть значительные изменения непосредственно в процессе обучения.

## Результаты исследования

Анализ исследований Е. А. Терентьева и соавторов, Н. В. Рыбакова [Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Рыбаков, 2018] позволил выявить три ключевые проблемы аспирантуры, решение которых может способствовать повышению качества и результативности подготовки научно-педагогических кадров в российских университетах:

- низкое качество набора в аспирантуру;
- неэффективность научного руководства;
- недостаточная финансовая поддержка аспирантов.

Проанализируем названные проблемы применительно к ситуации в государственном университете «Дубна».

### 1. Низкое качество набора в аспирантуру

В силу комплекса причин, о которых пойдет речь далее, в аспирантуру зачастую идут не самые мотивированные и подготовленные к научно-исследовательской и преподавательской деятельности выпускники второй ступени высшего образования. Как следствие, обучающиеся зачастую демонстрируют невысокие академические достижения, что проявляется в слабых научных работах, низкой публикационной активности, высоком уровне отсева из аспирантуры. Ряд экспертов считают низкий уровень мотивации аспирантов одной из важнейших проблем российской аспирантуры [Шафранов-Куцев, Ефимова, Булашева, 2017; Резник, Чемезов, 2018].

#### 1.1. Мотивы поступления в аспирантуру

В этом ключе важным становится понимание мотивов поступления в аспирантуру. Для их выявления был предложен вопрос: «Почему вы решили продолжить образование и поступить в аспирантуру?». Схожие вопросы задавались участникам опроса 2016 г. [Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018], а также исследования 2018—2019 гг. [Терентьев, Рыбаков, Бедный, 2020], что позволяет нам провести некоторые параллели.

Мы можем выделить следующие группы мотивационных факторов аспирантов университета «Дубна»<sup>5</sup> (см. рис. 2).

Академические мотивы — желание заниматься научными исследованиями и преподавать в вузе — важные (расположены на 1 и 3 местах «рейтинга мотивов» соответственно), но далеко не единственные. Заметим, что доля аспирантов, поступивших в аспирантуру ради возможности в дальнейшем заниматься научно-исследовательской деятельностью, с 2019 г. выросла на 11 пунктов (с 57 % до 68 %). При этом доля аспирантов, планирующих в будущем заниматься преподавательской деятельностью (37 % в 2019 г.), значительно ниже того же показателя,

<sup>5</sup> В исследовании 2021 г. вопрос о мотивах поступления в аспирантуру задавался только аспирантам первого и второго годов обучения.

полученного в результате опроса аспирантов 11 российских университетов (46 %), и продолжает снижаться, составляя лишь треть опрошенных в 2021 г. Согласно вышеописанной типологии, предложенной в статье [Терентьев, Рыбаков, Бедный, 2020], академические мотивы относятся к категории *внутренней* мотивации — именно они становятся двигателем активного вовлечения в образовательный процесс и в реализацию собственного научного исследования. В общей структуре мотивов поступления в аспирантуру университета «Дубна» доля *внутренней* мотивации составляет чуть более 30 %.

Все остальные мотивационные факторы могут быть объединены в большую группу *неакадемических*, однако целесообразным представляется провести их более тщательный анализ. *Неакадемическая* мотивация связана с престижностью ученой степени, стремлением получить от нее некую финансовую выгоду, а также возможностью получения различных социальных благ и льгот.

На втором месте в структуре мотивов аспирантов университета «Дубна» расположились *общепрофессиональные* мотивы — варианты «обучение в аспирантуре поможет развивать карьеру вне академической сферы» и «хочу продолжить обучение по профессии» занимают вторую и четвертую позиции в рейтинге в 2019 г. и меняются местами в 2021 г. Аспирантура все еще воспринимается как способ повышения конкурентоспособности на рынке труда, как программа третьего — «элитарного» — уровня образования. Этот феномен хорошо объясняет концепция культурного капитала П. Бурдьё, согласно которой в условиях массовости высшего образования обучающимся приходится искать новые формы инвестиций в свой образовательный и социальный капитал [Рыбаков, 2018]. Однако мы видим, что с точки зрения аспирантов значение аспирантского образования как фактора успешной карьеры стремительно снижается (практически на треть в 2021 г. по сравнению с результатами исследования 2019 г.).

*Престижность научного звания* как мотив поступления в аспирантуру находится в середине списка, что обнажает важный аспект проблемы — невысокую престижность научной карьеры в целом. Низкий уровень оплаты труда научных сотрудников и преподавателей, высокая загруженность и отсутствие внятных перспектив приводят к тому, что наиболее талантливая российская молодежь выбирает неакадемический вектор развития карьеры [Балабанов и др., 2003].

*Прагматические* мотивы, не связанные с профессиональными планами: получение места в общежитии, отсрочка от армии. Можем предположить, что эти неакадемические мотивы не способствуют работе над диссертацией и, в конечном счете, приводят к увеличению отсева аспирантов и снижению числа защит. Особенно остро выглядит проблема «в аспирантуру вместо армии» в сравнении с результатами опроса аспирантов 11 российских университетов и с учетом высокой доли аспирантов-мужчин в университете «Дубна». Кроме того, именно высокая распространенность прагматических мотивов выступает важным аргументом в дискуссиях о модернизации системы отбора в аспирантуру, которой ставят в вину низкое качество приема.

Три названные группы мотивов типологизируются авторами исследования 2018—2019 гг. как *внешняя* по отношению к содержанию аспирантского образования мотивация. Анализируя дополнительные категории внешней мотивации, отметим:

- к подтипу *идентифицированной* мотивации в нашем исследовании относится группа общепрофессиональных мотивов (28 % в общей структуре мотивов);
- категория *интроецированной* мотивации выражена показателем «престижность ученой степени» (12 % в общей структуре мотивов);
- *экстернальная* мотивация в нашем исследовании — это группа прагматических мотивов аспирантов университета «Дубна» (11 % в общей структуре мотивов).

В самом конце списка расположилась группа суждений, описывающих случаи недостатка или полного отсутствия мотивации (амотивация в упоминаемой типологии): требование родителей (3,5 % в исследовании 2019 г.), отсутствие перспектив работы по полученной специальности (6 % в исследовании 2019 г.). Значительная доля аспирантов (21 % в 2019 г. и 19 % в 2021 г.) остается в университете из-за нежелания покидать университет, выбирая стратегию «накатанных рельсов». По всей видимости, этот мотив сохраняется на протяжении всего обучения в вузе — 23 % бакалавров университета «Дубна» планируют поступать в магистратуру, поскольку «не хотят покидать университетскую среду»<sup>6</sup>.

Рис. 2. Мотивы поступления в аспирантуру:  
сравнение государственного университета «Дубна» (2019, 2021) и 11 российских вузов



### 1.2. Территориальное замыкание: специфика регионального вуза

В большинстве вузов, в том числе и в университете «Дубна», ситуация усугубляется тем, что в аспирантуру идут свои же выпускники. Этот феномен получил название «территориального замыкания» [Балабанов и др., 2003]. Частично это

<sup>6</sup> По результатам социологического исследования особенностей образовательных стратегий студентов бакалавриата 4 курса государственного университета «Дубна», апрель 2021 г.



объясняется тем, что за годы учебы в вузе студенты имеют возможность проявить свои способности, и научно-педагогический состав кафедры рекомендует продолжить обучение в аспирантуре наиболее способным из них. Однако такое объяснение справедливо лишь для небольшой части аспирантов: по совету научного руководителя в аспирантуру поступили 17 % респондентов (12% в 2021 г.), тогда как основные признаки территориального замыкания отмечены у подавляющего большинства опрошенных (86% и 92% обучались в университете «Дубна» до поступления в аспирантуру, для 65% и 72% это выступило решающим фактором при выборе аспирантуры). Таким образом, в университете «Дубна», как и во многих других вузах России, распространена практика приема в аспирантуру своих выпускников, или академический инбридинг, — свидетельство закрытости университетской среды, низкой академической мобильности и иерархичности академического пространства [Бекова, Джафарова, 2019].

## 2. Низкое качество научного руководства

Помимо очевидного влияния на качество диссертационных работ, значимость научного руководства проявляется в том, что, по мнению самих аспирантов, регулярное взаимодействие с научным руководителем — один из основных мотивирующих факторов, способствующих успешному обучению в аспирантуре.

Результаты нашего исследования показывают: трудности во взаимодействии с научным руководителем и недоброжелательное отношение окружающих на кафедре находятся на последнем месте среди всех проблем, с которыми сталкиваются аспиранты университета «Дубна» (см. рис. 3).

Рис. 3. Факторы, препятствующие успешному обучению в аспирантуре: государственный университет «Дубна»<sup>7</sup>

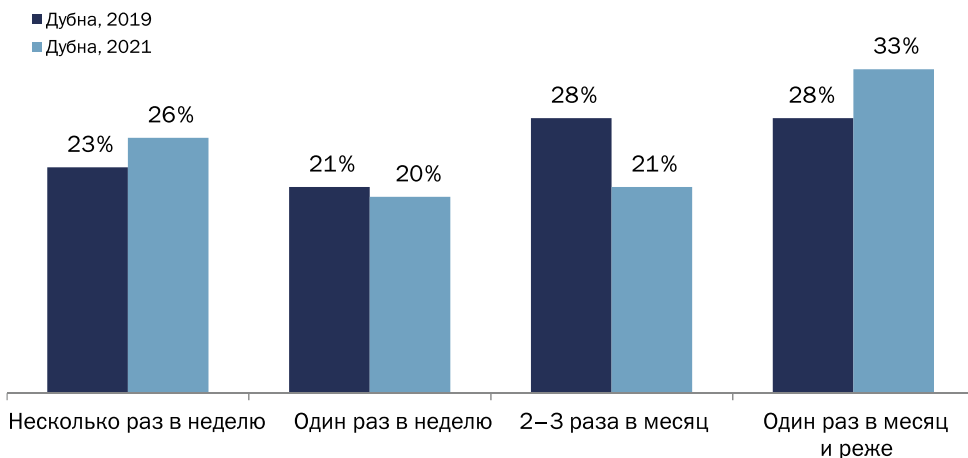


<sup>7</sup> На рисунке представлена доля респондентов, оценивших тот или иной фактор на 4 и 5 баллов при ответе на вопрос «Укажите, пожалуйста, в какой степени следующие факторы препятствуют вашему обучению в аспирантуре. Оцените предложенные ниже факторы по шкале от 1 до 5, где 1 — „совершенно не препятствует“, 5 — „очень препятствует“».

Ситуация кардинально отличается от многих других вузов — согласно данным опроса в 11 российских вузах, пятая часть российских аспирантов (22 %) испытывает трудности во взаимодействии с научным руководителем.

Вместе с тем результаты опроса аспирантов университета «Дубна» показывают, что научные руководители часто не уделяют своим подопечным достаточно времени: в 2019 г. порядка 28 % научных руководителей встречались с аспирантами только раз в месяц и реже (для сравнения, этот же показатель по данным исследования в ведущих вузах составляет 23%). Пандемия COVID-19, обусловившая изменения в организации образовательного процесса в аспирантуре (для большинства аспирантов обучение весной 2020 и в течение большей части 2021 г. осуществлялось в гибридной — целиком или частично дистанционной — форме), повлияла и на частоту взаимодействия аспирантов и научных руководителей. Так, по сравнению с результатами исследования 2019 г., мы наблюдаем снижение доли аспирантов, регулярно взаимодействующих со своим научным руководителем (см. рис. 4).

Рис. 4. Частота взаимодействия аспирантов государственного университета «Дубна» с научным руководителем



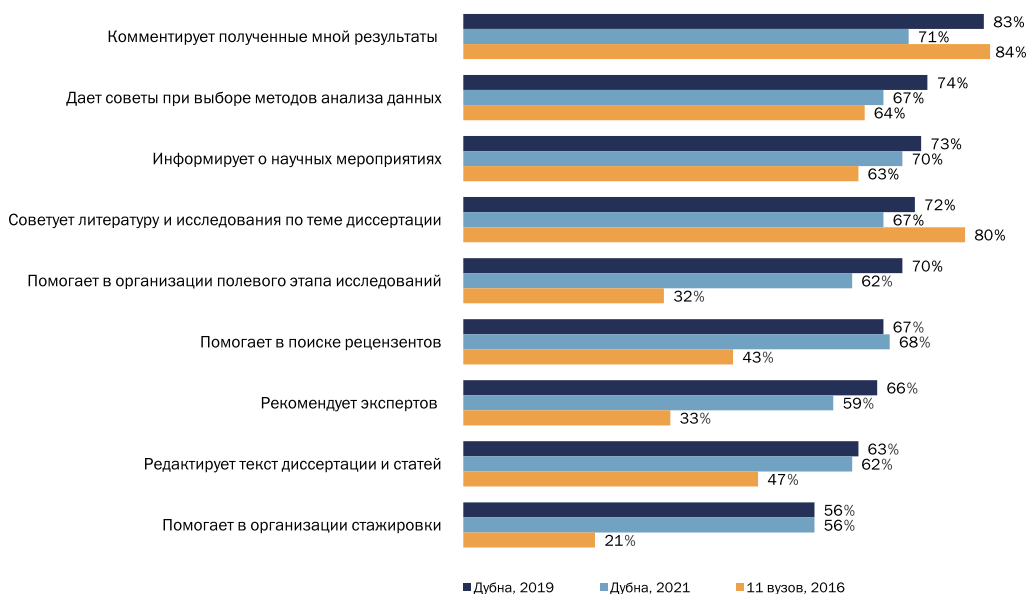
В группе риска находятся около 30 % аспирантов университета — по совокупности ответов на ряд вопросов мы констатируем у них отсутствие взаимодействия с научным руководителем. В среднем 70 % аспирантов постоянно взаимодействуют со своим научным руководителем в процессе работы над диссертацией и общаются с научным руководителем по вопросам, не связанным с работой над диссертацией: участвуют в совместных исследовательских проектах, работают в одном подразделении и пр.<sup>8</sup>

В ряде аналогичных исследований зафиксировано, что существенная доля научных руководителей не выполняют некоторые организационные функции, кри-

<sup>8</sup> Из ответов на вопросы «Как организована ваша работа над диссертацией?», «Оцените в среднем, как часто вы общаетесь со своим научным руководителем по вопросам, связанным с работой над диссертацией?», «Взаимодействуете ли вы со своим научным руководителем по вопросам, не связанным с работой над диссертацией?»

тически важные для итогового результата: например, не помогают аспирантам в организации диссертационного исследования, в обсуждении диссертации с экспертами, поиске рецензентов и т. п. [Шафранов-Куцев, Ефимова, 2013; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018]. В университете «Дубна» по большинству направлений оценки аспирантов выше<sup>9</sup> (см. рис. 5). Заметим, что показатели в верхних пунктах очень схожи, однако по мере продвижения к концу списка разница становится ощутимой. Вероятно, научные руководители аспирантов университета «Дубна» лучше выполняют свою работу, чем их коллеги в других вузах. Это предположение подтверждает следующая цифра: в 2019 г. лишь 8% аспирантов ответили, что при наличии возможности они сменили бы своего научного руководителя. Тем не менее мы фиксируем общее ухудшение ситуации: практически по всем показателям оценки аспирантов в 2021 г. снизились; доля аспирантов, готовых сменить научного руководителя, выросла до 12%.

Рис. 5. Функции, выполняемые научным руководителем (в оценках аспирантов): сравнение государственного университета «Дубна» (2019, 2021) и 11 российских вузов



Несмотря на то, что в большинстве случаев научный руководитель играет ключевую роль в процессе становления молодого ученого, ориентация аспиранта исключительно на общение с научным руководителем негативно отражается на качестве его обучения, ведет к его профессиональной замкнутости [Шафранов-Куцев, Ефимова, 2013]. В современном научном сообществе функции научного

<sup>9</sup> В общероссийском опросе респонденты отмечали виды работ, выполняемых научным руководителем, из предложенного списка. В опросе аспирантов университета «Дубна» показатели оценивались по пятибалльной шкале. В целях обеспечения сравнимости результатов при анализе ответов аспирантов университета «Дубна» учитывались лишь оценки 4 и 5, соответствующие высокой степени выполнения научным руководителем конкретного направления работы.

руководителя не могут ограничиваться только помощью в написании диссертации: научный руководитель должен стать основным проводником в научное сообщество [Бекова, Джафарова, 2019].

В большинстве вузов существует проблема низкого уровня включенности аспирантов в научное взаимодействие с коллективом кафедры: в ведущих университетах 42 % аспирантов не заняты в финансируемых научных проектах учебного заведения. Часто научно-исследовательская работа аспиранта больше похожа на НИР в магистратуре: аспиранты практически не принимают участия в грантовых программах и научно-исследовательских конкурсах, ограничиваясь участием в конференциях; не участвуют в деятельности внутривузовских научных организаций; готовят научные публикации исключительно в соответствии с программой «минимум», предусмотренной индивидуальным планом [Зерчанинова, Тарбеева, 2020]. В университете «Дубна» ситуация схожая. В среднем около 45 % аспирантов не принимали участия в научных исследованиях и разработках; только каждый четвертый аспирант (24 %) имел опыт совместной работы с коллективом кафедры над научными проектами, лишь 7 % опрошенных указали, что они являются получателями грантов. При этом, как показывает практика, возможность включения в исследовательское пространство университета способствует профессиональной социализации аспирантов и успешному завершению их обучения в аспирантуре. Критически важен не объем работы, а место трудоустройства: аспиранты, работающие полный день в вузе, испытывают меньше проблем, чем те, кто трудоустроен вне вуза даже на неполный рабочий день [Терентьев, Рыбаков, Бедный, 2020].

### *3. Недостаточная финансовая поддержка аспирантов*

Необходимость совмещать обучение в аспирантуре с работой, не имеющей отношения к научной деятельности, является серьезной социальной проблемой современной российской аспирантуры [Шестак, Шестак, 2015]. Отсутствие связи — тематической и функциональной — между диссертацией и трудовой занятостью аспиранта выступает одним из основных барьеров на пути к ученой степени кандидата наук [Сенашенко, 2016]. По нашим данным, около половины аспирантов университета «Дубна» работают в области, никак не связанной с темой диссертационной работы или связанной лишь частично. Научно-исследовательские проекты (как финансируемые, так и инициативные), в которых заняты аспиранты, примерно в трети случаев также не связаны полностью с темой диссертации.

Схожие результаты получены и в других исследованиях: по данным опроса в ведущих вузах, тема диссертации не связана со сферой трудовой деятельности у 50 % аспирантов, по данным исследования в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского — у 40 % [Рыбаков, 2016].

Трудовая занятость не позволяет уделять достаточное количество времени научной работе — для диссертации остаются вечерние и ночные часы, что негативно отражается на качестве. В 2019 г. каждый второй опрошенный нами аспирант был согласен с тем, что работа препятствует обучению в аспирантуре (см. Рис. 3), два года спустя их доля увеличилась до 62 %. И эта причина, по мнению аспирантов, находится на первом месте среди всех демотивирующих факторов. При этом

большинство респондентов признают, что именно работа, а вовсе не обучение в аспирантуре, имеет приоритетную важность.

Очная аспирантура становится профанацией: около 75 % аспирантов университета «Дубна» работают с целью заработка полный рабочий день, еще 19 % работают неполный рабочий день. Лишь 14 % аспирантов трудоустроены в университете. По данным опроса в 11 ведущих российских вузах, 90 % аспирантов совмещают учебу в аспирантуре с работой, и именно заработная плата является для них основным источником дохода.

Многие исследователи констатируют, что материальные трудности являются для аспирантов одной из основных проблем в период обучения [Рыбаков, 2016; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018]. По данным нашего исследования, о недостаточной финансовой поддержке в 2019 г. заявили 30 % аспирантов, в 2021 — уже 43 % (см. рис. 3). При ответе на вопрос о финансовом положении к наименее обеспеченным группам по доходу отнесли себя более половины аспирантов. Стандартный размер государственной стипендии в 2—3 раза ниже величины прожиточного минимума, и всего несколько человек в нашем опросе указали в качестве основного источника дохода стипендию. Для подавляющего большинства аспирантов (92 %) основным источником дохода является заработная плата; научные гранты в качестве дохода указали лишь 4 % опрошенных аспирантов.

Неудивительно, что самый объемный пул ответов респондентов на вопросы о мерах, способных повысить результативность их обучения в аспирантуре, посвящен вопросам финансовой поддержки аспирантов: так или иначе данная проблема упоминается 78 раз<sup>10</sup>. В качестве конкретных мер предлагаются повышение аспирантских стипендий (36 упоминаний, «минимум в 3 раза», «на уровне среднего заработка специалиста»<sup>11</sup>); вознаграждение активных в научном плане аспирантов («за успехи в науке», «за активное участие в конференциях», «финансирование НИР», «стимулирующие выплаты за публикацию статей»); поддержка в сфере получения грантов (10 упоминаний) и финансирование стажировок. Несколько раз указывается на различие в размере стипендиальной поддержки различных направлений обучения. С финансовой стороны тесно связаны предложения о поддержке в вопросах трудоустройства (11 упоминаний) и привлечение аспирантов к участию в оплачиваемой научно-исследовательской деятельности (12 упоминаний), в том числе в стенах университета («создание в Университете должности научный сотрудник», «развивать научные лаборатории»).

## Заключение

Обобщая итоги социологического исследования, высказанные самими аспирантами предложения по повышению результативности обучения в аспирантуре, а также обсуждаемые в научном сообществе возможные меры, направленные на повышение качества и результативности подготовки научно-педагогических

<sup>10</sup> Открытые вопросы «Что еще, по вашему мнению, может способствовать повышению эффективности процесса обучения в аспирантуре?» и «Какие шаги, с вашей точки зрения, нужно предпринять университету „Дубна“, чтобы сделать работу аспирантов над диссертацией интересной и продуктивной?». Представлены обобщенные результаты по итогам исследований, проведенных в 2019 и 2021 гг.

<sup>11</sup> Здесь и далее курсивом выделены ответы респондентов. Орфография и пунктуация максимально сохранены.

кадров в российских университетах [Осипов, Савинков, 2014; Груздев, Терентьев, 2017; Рыбаков, 2018; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Зерчанинова, Тарбеева, 2019; Терентьев, Бедный, 2020], можно предложить некоторые рекомендации по изменению сложившейся ситуации и модернизации отдельных элементов обучения в аспирантуре.

Прежде всего, необходимо учитывать в работе с аспирантами мотивационный аспект: производить отсев «неправильно» мотивированных аспирантов на этапе отбора в аспирантуру; проводить комплексную работу, направленную на корректировку «неправильных» мотивов в процессе обучения в аспирантуре.

Для повышения эффективности существующей системы научного руководства необходимо наряду с традиционным форматом руководства — в рамках научных школ или индивидуального наставничества — перейти к распределенной модели научного руководства аспирантами, когда оно осуществляется совместно группой специалистов.

Стоит обращать более пристальное внимание на финансовый аспект: своевременно информировать аспирантов о стипендиях, предусмотренных за активное участие в научно-образовательных мероприятиях/конкурсах; информировать о грантах и премиях, помогать аспирантам в оформлении документов для их получения; изучать и внедрять успешный опыт применения различных механизмов финансовой поддержки обучающихся в аспирантуре.

Важно включать во взаимодействие с аспирантами вопросы трудоустройства и погружения аспирантов в академическую среду: обеспечить аспирантам более широкую включенность в исследовательское пространство университета, содействовать в организации стажировок и обучения в зарубежных вузах с целью вхождения молодых исследователей в международное академическое сообщество).

Несомненно, результаты исследования и предложенные рекомендации могут быть полезны самим аспирантам и их научным руководителям как некая основа для самооценки и выстраивания индивидуальной жизненной траектории. Однако проблемы аспирантуры в региональных университетах, обладая определенной спецификой, во многом сопоставимы с проблемами аспирантуры ведущих вузов страны. Системный кризис российской аспирантуры усугубляется в регионах недостаточным бюджетным финансированием, ограниченными возможностями трудоустройства выпускников аспирантуры, проблемой «удержания» успешных аспирантов после завершения образовательной программы, отсутствием диссертационных советов по соответствующим научным специальностям. Только учитывая весь комплекс особенностей, присущих региональным аспирантурам, можно принимать эффективные решения по их развитию.

## Список литературы (References)

Багдасарьян Н. Г., Сонина Л. А. Мнимые единицы публикационной активности в обществе потребления // Высшее образование в России. 2020. № 12. С. 86—94. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-12-86-94>.

Bagdasaryan N. G., Sonina L. A. (2020) Imaginary Units of Publication Activities in Consumer Society. *Higher Education in Russia*. Vol. 29. No. 12. P. 86—94. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-12-86-94>. (In Russ.)

Балабанов С. С., Бедный Б. И., Козлов Е. В., Максимов Г. А. Многомерная типология аспирантов // Социологический журнал. 2003. № 3. С. 71—85. URL: [https://www.isras.ru/index.php?page\\_id=2384&id=803&l=&j=1&base=ojs3](https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=803&l=&j=1&base=ojs3) (дата обращения: 20.10.2022).

Balabanov S. S., Bednyj B. I., Kozlov E. V., Maksimov G. A. (2003) Multidimensional Typology of Graduate Students. *Sociological Journal*. No. 3. P. 71—85. URL: [https://www.isras.ru/index.php?page\\_id=2384&id=803&l=&j=1&base=ojs3](https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=803&l=&j=1&base=ojs3) (accessed: 20.10.2022). (In Russ.)

Бедный Б. И., Рыбаков Н. В., Сапунов М. Б. Российская аспирантура в образовательном поле: междисциплинарный дискурс // Социологические исследования. 2017. № 9. С. 125—134. <https://doi.org/10.7868/S0132162517090148>.

Bednyj B. I., Rybakov N. V., Sapunov M. B. (2017) Doctoral Education in Russia in the Educational Field: An Interdisciplinary Discourse. *Sociological Studies*. No. 9. P. 125—134. <https://doi.org/10.7868/S0132162517090148>. (In Russ.)

Бедный Б. И., Чупрунов Е. В. Современная российская аспирантура: актуальные направления развития // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 3. С. 9—20. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-3-9-20>.

Bednyj B. I., Chuprunov E. V. (2019) Modern Doctoral Education in Russia: Current Directions of Development. *Higher Education in Russia*. Vol. 28. No. 3. P. 9—20. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-3-9-20>. (In Russ.)

Бекова С. К., Джафарова З. И. Кому в аспирантуре жить хорошо: связь трудовой занятости аспирантов с процессом и результатами обучения // Вопросы образования. 2019. № 1. С. 87—108. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-1-87-108>.

Bekova S. K., Dzhaifarova Z. I. (2019) Who is Happy at Doctoral Programs: The Connection Between Employment and Learning Outcomes of PhD Students. *Educational Studies Moscow*. No. 1. P. 87—108. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-1-87-108>. (In Russ.)

Бекова С. К., Груздев И. А., Джафарова З. И., Малошонок Н. Г., Терентьев Е. А. Портрет современного российского аспиранта. НИУ «Высшая школа экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2017. URL: [https://ioe.hse.ru/data/2017/12/06/1161555067/%D0%A1%D0%90%D0%9E\\_7\(15\)\\_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf](https://ioe.hse.ru/data/2017/12/06/1161555067/%D0%A1%D0%90%D0%9E_7(15)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf) (дата обращения: 20.10.2022).

Bekova S. K., Gruzdev I. A., Dzhaifarova Z. I., Maloshonok N. G., Terentev E. A. (2017) Portrait of a Modern Russian Graduate Student. National Research University Higher School of Economics, Institute of Education Publ. Moscow: NRU HSE. URL: [https://ioe.hse.ru/data/2017/12/06/1161555067/%D0%A1%D0%90%D0%9E\\_7\(15\)\\_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf](https://ioe.hse.ru/data/2017/12/06/1161555067/%D0%A1%D0%90%D0%9E_7(15)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf) (accessed: 20.10.2022). (In Russ.)

Бережная Ю. Н., Гуртов В. А. Аспирантура в новых реалиях // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 3. С. 57—65. <https://doi.org/10.15826/umpa.2017.03.037>.

Berezhnaya Yu.N, Gurtov V.A. (2017) Postgraduate Studies in a New Reality. *University Management: Practice and Analysis*. Vol. 21. No. 3. P. 57—65. <https://doi.org/10.15826/umpa.2017.03.037>. (In Russ.)

Груздев И. А., Терентьев Е. А. Данные против мифов: результаты социологического исследования // Высшее образование в России. 2017. № 7. С. 89—97. URL: <https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/1121> (дата обращения: 20.10.2022).

Gruzdev I.A., Terent'ev E.A. (2017) Data Against Myths: Evidence From The Survey of PhD Students in Leading Russian Universities. *Higher Education in Russia*. No. 7. P. 89—97. URL: <https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/1121> (accessed: 20.10.2022). (In Russ.)

Зерчанинова Т. Е., Тарбеева И. С. К вопросу о финансовом обеспечении аспирантов // Социально-экономическое управление: теория и практика. 2019. № 3. С. 11—13. URL: <https://istu.ru/material/socialno-ekonomicheskoe-upravlenie-teoriya-i-praktika-2019-g-3> (дата обращения: 20.10.2022).

Zerchaninova T. E., Tarbeeva I. S. (2019) To the Question of Financial Support of Postgraduate Students. *Socio-Economic Management: Theory and Practice*. No. 3. P. 11—13. URL: <https://istu.ru/material/socialno-ekonomicheskoe-upravlenie-teoriya-i-praktika-2019-g-3>. (accessed: 20.10.2022). (In Russ.)

Зерчанинова Т. Е., Тарбеева И. С. Роль научного руководителя в научно-образовательной деятельности аспиранта // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6. № 2. С. 145—158. <https://doi.org/10.18413/2408-9338-2020-6-2-0-10>.

Zerchaninova T. E., Tarbeeva I. S. (2020) The Role of an Academic Advisor in the Scientific and Educational Activities of a Postgraduate Student. *Research Result. Sociology and Management*. Vol. 6. No. 2. P. 145—158. <https://doi.org/10.18413/24089338-2020-6-2-0-10>. (In Russ.)

Караваяева Е. В., Маландин В. В., Мосичева И. А., Телешова И. Г. Аспирантура как уровень высшего образования: состояние, проблемы, возможные решения // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 11. С. 22—34. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-11-22-34>.

Karavaeva E. V., Malandin V. V., Mosicheva I. A., Teleshova I. G. (2018) Postgraduate Course as a Level of Higher Education: Status, Problems, Possible Solutions. *Higher Education in Russia*. Vol. 27. No. 11. P. 22—34. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-11-22-34>. (In Russ.)

Михалкина Е. В., Скачкова Л. С. Почему выпускники аспирантуры не выбирают работу в университетах? // Terra Economicus. 2018. Т. 16. № 4. С. 116—129. <https://doi.org/10.23683/2073-6606-2018-16-4-116-129>.

Mikhalkina E. V., Skachkova L. S. (2018) Why Do Not PhD Students Choose Job in Universities? *Terra Economicus*. Vol. 16. No. 4. P. 116—129. <https://doi.org/10.23683/2073-6606-2018-16-4-116-129>. (In Russ.)

Миронос А. А., Бедный Б. И. Новая модель российской аспирантуры в контексте европейских принципов организации программ третьего уровня высшего образования // Инновационная экономика: регулирование и конкуренция. Материалы



Десятой Международной научно-практической конференции. Нижний Новгород, 23—24 июня 2016 г. Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2017. С. 243—248.

Mironos A. A., Bednyj B. I. (2017) A New Model of Russian Postgraduate Studies in the Context of European Principles for Organizing Third-Level Programs of Higher Education. In: *Innovative Economy: Regulation and Competition. Materials of the Tenth International Scientific and Practical Conference. Nizhny Novgorod, June 23—24 2016*. Nizhny Novgorod: Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. P. 243—248. (In Russ.)

Нефедова А. И., Дьяченко Е. А. Реформа аспирантуры в России в зеркале глобальных трендов // Мир России: Социология, этнология. 2019. Т. 28. № 4. С. 92—111. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-92-111>.

Nefedova A. I., Dyachenko E. A. (2019) The Reform of Postgraduate Education in Russia in the Context of Global Trends. *Universe of Russia: Sociology, Ethnology*. Vol. 28. No. 4. P. 92—111. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-92-111>. (In Russ.)

Осипов Г. В., Савинков В. И. Динамика аспирантуры и перспективы до 2030 года: Статистический и социологический анализ. М.: ЦСП и М, 2014.

Osipov G. V., Savinkov V. I. (2014) Dynamics of a Postgraduate Education and Perspective Till 2030: Statistical and Sociological Analysis. Moscow: Center for Social Forecast and Marketing. (In Russ.)

Райчук Д. Ю., Минина Н. В. О позиционировании аспирантуры в структуре высшего образования // Высшее образование в России. 2016. № 4. С. 33—41.

Raychuk D. Yu., Minina N. V. (2016) About Positioning Postgraduate School in a Three-Tier Structure of Higher Education. *Higher Education in Russia*. No. 4. P. 33—41. (In Russ.)

Резник С. Д., Чemezov И. С. Институт аспирантуры российского вуза: состояние, проблемы и перспективы развития // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430. С. 159—168. <https://doi.org/10.17223/15617793/430/22>.

Reznik S. D., Chemezov I. S. (2018) Postgraduate Education in Russian Universities: State, Problems and Prospects of Development. *Tomsk State University Journal*. No. 430. P. 59—168. <https://doi.org/10.17223/15617793/430/22>. (In Russ.)

Рыбаков Н. В. Современная модель российской аспирантуры: пилотное исследование первого выпуска // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 7. С. 86—95. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-7-86-95>.

Rybakov N. V. (2018) A New Model of Russian Postgraduate Education: Pilot Study of the First Graduation of PhD Students. *Higher Education in Russia*. Vol. 27. No. 7. P. 86—95. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-7-86-95>. (In Russ.)

Терентьев Е. А., Бедный Б. И. Проблемы и перспективы развития российской аспирантуры: взгляд региональных университетов // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 10. С. 9—28. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-10-9-28>.

Terentev E. A., Bednyj B. I. (2020) Problems and Prospects for the Development of Doctoral Educational of Russia: The View of Regional Universities. *Higher Education in Russia*. Vol. 29. No. 10. P. 9—28. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-10-9-28>. (In Russ.)

Терентьев Е. А., Бекова С. К., Малошонок Н. Г. Кризис российской аспирантуры: источники проблем и возможности их преодоления // Университетское управление: практика и анализ. 2018. Т. 22. № 5. С. 54—66. <https://doi.org/10.15826/umpa.2018.05.049>.

Terentiev E. A., Bekova S. K., Maloshonok N. G. (2018) The Crisis of Postgraduate Studies in Russia: What Bears Problems and How to Overcome Them. *University Management: Practice and Analysis*. Vol. 22. No. 5. P. 54—66. <https://doi.org/10.15826/umpa.2018.05.049>. (In Russ.)

Терентьев Е. А., Рыбаков Н. В., Бедный Б. И. Зачем сегодня идут в аспирантуру: типологизация мотивов российских аспирантов // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 40—69. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-1-40-69>.

Terentev E. A., Rybakov N. V., Bednyj B. I. (2020) Why Embark on a PhD Today? A Typology of Motives for Doctoral Study in Russia. *Educational Studies Moscow*. No. 1. P. 40—69. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-1-40-69>. (In Russ.)

Статистика науки и образования. Вып. 3. Подготовка научных кадров высшей квалификации в России. Инф.-стат. мат. М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018.

Science and education statistics. Vol. 3. Training of Highly Qualified Scientific Personnel in Russia. (2018) Moscow: Federal State Budgetary Scientific Institution Research Institute — Republican Research Scientific Consulting Center of Expertise. (In Russ.)

Сенашенко В. С. Проблемы организации аспирантуры на основе ФГОС третьего уровня высшего образования // Высшее образование в России. 2016. № 3. С. 33—43. URL: <http://vovr.ru/upload/3-16.pdf> (дата обращения: 20.10.2022).

Senashenko V. S. (2016) Problems of Postgraduate Training Organization on the Basis of the Federal State Educational Standards of the Third Level of Higher Education. *Higher Education in Russia*. No. 3. P. 33—43. URL: <http://vovr.ru/upload/3-16.pdf> (accessed: 20.10.2022). (In Russ.)

Тезйел А. Х. Российская аспирантура после ее реформирования: сравнительный анализ и оценка результатов // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 68. С. 493—512. URL: [http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68\\_2018tezyel.htm](http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018tezyel.htm) (дата обращения: 20.10.2022).

Tezyel A. H. (2018) Russian Post-graduate Study After Its Reform: The Comparative Analysis and the Evaluation of Results. *Public Administration: E-journal*. No. 68. P. 493—512. URL: [http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68\\_2018tezyel.htm](http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018tezyel.htm) (accessed: 20.10.2022). (In Russ.)

Шафранов-Куцев Г. Ф., Ефимова Г. З. Исследовательский потенциал и социальное самочувствие аспирантов в условиях кризиса российской аспирантуры // Социологические исследования. 2013. № 12. С. 100—108.

Shafranov-Kucev G. F., Efimova G. Z. (2013) Research Potential and Social Well-Being of Graduate Students in the Context of the Crisis of Russian Graduate School. *Sociological Studies*. No. 12. P. 100—108. (In Russ.)

Шафранов-Куцев Г. Ф., Ефимова Г. З., Булашева А. А. Тенденции и факторы эффективности подготовки аспирантов российских вузов в условиях реформирования высшего образования // Социологические исследования. 2017. № 9. С. 135—144. <https://doi.org/10.7868/S013216251709015X>.

Shafranov-Kucev G. F., Efimova G. Z., Bulasheva A. A. (2107) Tendencies and Factors of Efficiency of the Training of Graduate Students of the Russian Higher Education Institutions in the Conditions of Reforming of the Higher Education. *Sociological Studies*. No. 9. P. 135—144. <https://doi.org/10.7868/S013216251709015X>. (In Russ.)

Шестак В. П., Шестак Н. В. Аспирантура как третий уровень высшего образования: дискурсивное поле // Высшее образование в России. 2015. № 12. С. 22—33.

Shestak V. P., Shestak N. V. (2015) Postgraduate Studies at the Third Level of Higher Education: Discursive Field. *Higher Education in Russia*. No. 12. P. 22—33. (In Russ.)

Ali A., Kohun F. (2006) Dealing with Isolation Feelings in IS Doctoral Programs. *International Journal of Doctoral Studies*. Vol. 1. P. 021—033. <https://doi.org/10.28945/58>.

Maloshonok N., Terentev E. (2019) National Barriers to the Completion of Doctoral Programs at Russian Universities. *Higher Education*. Vol. 77. No. 2. P. 195—211. <https://doi.org/10.1007/s10734-018-0267-9>.

Wollast R., Boudrenghien G., Van der Linden N., Galand B., Roland N., Devos Ch., De Clercq M., Klein O., Azzi A., Frenay M. (2018) Who Are the Doctoral Students Who Drop Out? Factors Associated with the Rate of Doctoral Degree Completion in Universities. *International Journal of Higher Education*. Vol. 7. No. 4. P. 143—156. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n4p143>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2145](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2145)



**М. Е. Гошин, П. С. Сорокин, С. Г. Косарецкий**

## **АГЕНТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: ИСТОЧНИКИ, ПРОЯВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТЫ**

### **Правильная ссылка на статью:**

Гошин М. Е., Сорокин П. С., Косарецкий С. Г. Агентность школьников в условиях изменений образовательного контекста в период пандемии COVID-19: источники, проявления и эффекты // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 394—417. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2145>.

### **For citation:**

Goshin M. E., Sorokin P. S., Kosaretsky S. G. (2022) Agency of Schoolchildren in the Changing Educational Context during COVID-19 Pandemic: Sources, Manifestations, and Effects. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 394–417. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2145>. (In Russ.)

Получено: 29.12.2021. Принято к публикации: 15.09.2022.

## АГЕНТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: ИСТОЧНИКИ, ПРОЯВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТЫ

## AGENCY OF SCHOOLCHILDREN IN THE CHANGING EDUCATIONAL CONTEXT DURING COVID-19 PANDEMIC: SOURCES, MANIFESTATIONS, AND EFFECTS

*ГОШИН Михаил Евгеньевич* — кандидат химических наук, научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: [m.goshin@mail.ru](mailto:m.goshin@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-7251-3938>

*Mikhail E. GOSHIN*<sup>1</sup> — *Cand. Sci. (Chem.)*, research Fellow at the Pinsky Centre of General and Extracurricular Education  
E-MAIL: [m.goshin@mail.ru](mailto:m.goshin@mail.ru)  
<https://orcid.org/0000-0001-7251-3938>

*СОРОКИН Павел Сергеевич* — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития навыков и профессионального образования, заведующий Лабораторией исследований человеческого потенциала и образования Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: [psorokin@hse.ru](mailto:psorokin@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-3910-2090>

*Pavel S. SOROKIN*<sup>1</sup> — *Cand. Sci. (Soc.)*, Leading Research Fellow at the Centre for Vocational Education and Skills Development, Head of the Laboratory for Human Capital and Education Research  
E-MAIL: [psorokin@hse.ru](mailto:psorokin@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0003-3910-2090>

*КОСАРЕЦКИЙ Сергей Геннадьевич* — кандидат психологических наук, директор Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия  
E-MAIL: [skosaretski@hse.ru](mailto:skosaretski@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-8905-8983>

*Sergei G. KOSARETSKY*<sup>1</sup> — *Cand. Sci. (Psychol.)*, Director of the Pinsky Centre of General and Extracurricular Education  
E-MAIL: [skosaretski@hse.ru](mailto:skosaretski@hse.ru)  
<https://orcid.org/0000-0002-8905-8983>

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, Russia

**Аннотация.** В фокусе исследования находятся вопросы агентности (проактивного поведения), включая ее источники, проявления и эффекты, среди школьников, занимающихся дополнительным образованием в условиях

**Abstract.** The study focuses on the issues of agency (proactive behavior) among schoolchildren engaged in extracurricular activities in the context of COVID-19 pandemic, including the sources of agency, its manifestations,

пандемии COVID-19. Теоретическими основаниями работы служат современные социологические разработки в области проблемы «структуры/действия», в которых роль образования остается недостаточно изученной. Эмпирической базой стали результаты опроса школьников и их родителей о переходе на дистанционную форму обучения во время режима самоизоляции. Авторы показывают, что в большинстве семей не были выработаны новые правила, касающиеся, например, структурирования времени и помогающие адаптироваться к изменившимся условиям. Наличие таких правил и характер их источников связаны с социально-экономическим статусом и образовательным уровнем семьи. Анализируются взаимосвязи наличия в семье правил и характеристик «агентной» деятельности ребенка с успешностью образовательного и иного опыта в период пандемии, а также с удовлетворенностью занятиями по дополнительному образованию. Показано, что проявления так называемой «автономной» (то есть связанной с самостоятельным, а не совместным с родителями индивидуальным проактивным действием) агентности ребенка имеют наибольшую значимость для его адаптации к меняющимся условиям и успешности в образовательной траектории.

**Ключевые слова:** дополнительное образование, пандемия COVID-19, человеческий капитал, агентность, трансформирующая агентность, школьники

**Благодарность.** В данной научной работе использованы результаты проекта, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

and possible effects. Theoretically, the authors base on the sociological structure/agency debates, in which the role of education remains understudied. The empirical basis for the analysis are the results of a survey of students and their parents about the transition to a remote form of education during the self-isolation regime. The authors show that in most families, new rules have not been developed to support adaptation to novel conditions. Moreover, the existence of such rules and their sources are inter-related with the socio-economic status and educational background of the family. The authors analyze the relationship between the presence of the rules in the family and characteristics of the child's «agentic» activity with the success of the experience during pandemic and satisfaction with related extracurricular activities. Manifestations of the so-called «autonomous» agency of a child, associated with independent and not joint with parents individual proactive action, are of the greatest importance for his/her adaptation to the changing conditions and success in the educational trajectory.

**Keywords:** extracurricular activities, COVID-19 pandemic, human capital, agency, transformative agency, pupils

**Acknowledgments.** The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the HSE University.

## Введение

В последнее время в науке и практике все чаще обсуждается вопрос системного реформирования образовательного процесса, направленного на развитие инициативы, самостоятельности и креативности обучающихся. В дополнение к дискуссиям о развитии формального школьного сектора все большее внимание на уровне государственной политики уделяется дополнительному образованию, а также молодежной политике, общественным движениям и др. В данном контексте одно из ключевых понятий — агентность, рассматриваемая как способность к созданию новых структур и институтов и проактивному воздействию на существующие [Udehn, 2002]. В литературе прослеживается тенденция к рассмотрению агентности в качестве зонтичного понятия, объединяющего различные конструкты, описывающие проактивное действие с разных дисциплинарных позиций [Сорокин, Зыкова, 2021, Cavazzoni, 2021]. Мы также рассматриваем проблему агентности как междисциплинарную, предполагающую анализ непосредственного контакта между человеком (с его субъективным внутренним миром) и окружающим миром, выраженным в «объективных» социальных структурах и институтах.

Как показывают существующие обзоры [Cavazzoni, 2021, Сорокин, Зыкова, 2021], именно вторая, объективно-деятельностная часть проблемы агентности, остается наименее проработанной теоретически и изученной эмпирически. Причина в том, что в современной литературе вопросы внутреннего восприятия человеком себя и своего места в мире (связанные с психологическими понятиями самооффективности, самодетерминации, личностного потенциала и др.) до сегодняшнего дня изучались в отрыве от вопросов непосредственного вклада индивидуального действия в поддержание и, в особенности, изменение объективных социальных структур или создание новых. В частности, в российской исследовательской традиции наиболее распространенными понятиями, отражающими проблематику агентности являются разрабатываемые преимущественно психологами конструкты «субъектности», «автономии», «личностного потенциала» [Леонтьев, 2016], с характерным для них акцентом скорее на внутреннем мире человека, чем на деятельностных проявлениях (при рассмотрении которых вопрос о непосредственном вкладе индивида в совершенствование, изменение и развитие окружающих структур является для психологов вторичным в силу особенностей дисциплинарного взгляда).

За редким исключением, в социальных науках, включая экономику [Acs et al., 2016] и социологию [Сорокин 2021а; 2021б], доминирует структурный детерминизм, то есть представление о том, что развитие социального мира (в том числе сферы экономики, политики, образования и др.) движется исключительно закономерностями изменения социальных структур или институтов, в которых человеку с его условно «свободным» действием остается второстепенная роль. Сфера образования особенно важна в рамках данной проблемы. В современных исследованиях (несмотря на ряд исключений — см. [Сорокин Фрумин, 2022]) образование, включая школу и неформальное дополнительное обучение подростков, преимущественно рассматривается как сфера интеграции человека в общественные структуры (то есть уже существующие сообщества с заданными в них правилами), но не как область поддержки действия, трансформирующего указанные структуры,

например — меняющие правила и нормы поведения в уже существующих группах или создающие новые сообщества. Указанный подход соответствует и доминирующему взгляду в социально-гуманитарных науках на прочие институты и общество в целом, который условно можно назвать «структурно-детерминистским» [Сорокин, 2021б]. Но насколько такой взгляд на проблему соотношения индивидуального действия и социальной структуры, в том числе для сферы образования, адекватен современным реалиям?

### **Пандемия COVID-19 как основание для перехода от структурного детерминизма к признанию роли агентности**

Сомнения в структурно-детерминистском подходе стали нарастать в международной научной литературе в XXI веке, однако, вероятно, наиболее сильным стимулом к его пересмотру стала пандемия COVID-19. Эмпирические исследования, проведенные российскими и зарубежными авторами в период пандемии<sup>1</sup> [Dwivedi et al., 2020], показывают решающее значение способности к самостоятельному индивидуальному инициативному действию (а не только к исполнению существующих регламентов) для эффективного функционирования системообразующих общественных институтов в период кризиса. Опыт пандемии показал важную роль способности действовать самостоятельно, востребованной оказалась не просто способность делать самому то, что ранее обеспечивалось дополнительными инструментами контроля, но и способность делать это по-другому — например, умение самостоятельно освоить и практически применить новый учебный контент, не потеряв при этом мотивацию к учебе [Сорокин, 2021а]. Сформировался уникальный контекст, когда привычные, казавшиеся прежде незыблемыми условия образовательной деятельности детей, радикально изменились. Резкий переход образования в новые форматы с приходом пандемии сформировал уникальный прецедент радикального изменения «структуры» при соответствующем расширении возможности проактивного действия, трансформирующей агентности [Сорокин, 2021а].

При этом новые возможности не были ожидаемыми для большинства учащихся и их семей. Возможность и одновременно необходимость самостоятельно выстраивать режим учебной деятельности, включая занятия дополнительным и самообразованием, находить новые (прежде всего, онлайн) форматы досуга, коммуникации, решения бытовых задач в ситуации ограничений физического перемещения и появления новых онлайн-сервисов стала существенным вызовом для многих. В контексте пандемии семьи оказались в условиях повышенного стресса, обусловленного такими факторами, как беспокойство о здоровье, риск потери работы и соответственно, снижения дохода [Kalil, Mayer, Shah, 2020; Weaver, Swank, 2021]. При этом проявились и усугубились традиционные факторы различий в вовлеченности семей в образование, обусловленные их дифференциацией по социальному и культурному капиталу [Kalil, Mayer, Shah, 2020]. Вместе с тем новые условия стали специфическим вызовом к привычным родительским

<sup>1</sup> Абрамова М.О., Аюев М.А., Анисимов Н.Ю., Баранников К.А., Васильев В.Н. и др. Аналитический доклад «Высшее образование: уроки пандемии. Оперативные и стратегические меры по развитию системы». 2020. URL: [http://www.tsu.ru/upload/iblock/аналитический\\_доклад\\_для\\_МОН\\_итор2020.pdf](http://www.tsu.ru/upload/iblock/аналитический_доклад_для_МОН_итор2020.pdf) (дата обращения: 28.10.2022).



стратегиям вовлеченности в образование детей, затронувшим семьи независимо от указанных характеристик.

Особенность ситуации, сложившейся в период пандемии, состоит в том, что подавляющее большинство семей оказались в формате домашнего обучения не по своей воле, но столкнулись с необходимостью перестраивать привычные практики взаимодействия вынужденно. Насколько способны оказались российские семьи к проактивному поведению в данном положении, к выработке новых правил, позволяющих ребенку адаптироваться к новым условиям и успешно продолжить обучение? Какова была собственная роль детей в решении этих задач? В настоящей статье мы ищем ответ на эти вопросы, которые имеют особое значение с точки зрения определения родительских стратегий вовлеченности в образование, поддерживающих агентность ребенка или содействующих ее формированию.

### **Дополнительное образование как особый контекст для понимания вопросов агентности школьников в ситуации пандемии**

В нашем исследовании мы уделяем специальное внимание проявлениям агентного поведения в новой ситуации и изучению адаптации детей к занятиям дополнительным образованием в условиях карантинных ограничений. Это обусловлено принципиальными характеристиками дополнительного образования. В первую очередь оно является необязательным, инициативным, выбираемым ребенком в соответствии со своими интересами. Однако интересы школьника в этом возрасте изменчивы, что отражается в смене кружков и секций [Иванюшина, Александров, 2014; Косарецкий и др., 2019]. Дополнительное образование, в отличие от основного, предоставляет особые возможности для проявления агентности, условно «свободного» действия с точки зрения построения своей образовательной траектории, определения направления, масштаба и продолжительности собственной вовлеченности в различные образовательные практики [Буйлова, 2011]. Кроме того, дополнительное образование является менее структурированным (отсутствие стандартов, меньшая жесткость пространственно-временной локализации и др.), и соответственно менее «структурно-детерминистским» по отношению к ребенку.

В условиях пандемии и карантинных ограничений система дополнительного образования оказалась особенно уязвимой в силу того, что она в большей степени ориентирована на «живое» общение ребенка с педагогом и единомышленниками, практическую деятельность, событийность, что подтверждают существующие публикации, посвященные периоду пандемии и ее влиянию на образование [Zaccoletti et al., 2020; Иванов, Косарецкий, 2021; Ettekal, Adams, 2020; Павлов и др., 2021]. Исследования, проведенные за рубежом, также показывают снижение участия детей в дополнительных занятиях [Koç, Koç, 2021; Ilari et al., 2022; Zaccoletti et al., 2020].

Ситуация пандемии дает нам уникальную возможность для изучения вопросов агентности, как в части поведения самих детей, так и в аспекте родительских стратегий. Соответственно, цель настоящей работы — попытаться на основе эмпирических данных приоткрыть завесу над проблемой агентности российских школьников в образовательных и семейных контекстах в условиях пандемии.

## Методология исследования

*Ключевые индикаторы агентности: выработка новых правил поведения и создание новых сообществ*

В соответствии с существующими эмпирическими наработками и теоретическими подходами в отечественной и зарубежной социальной науке, мы трактуем (трансформирующую) агентность учащихся через два основных индикатора — создание новых сообществ и участие в выработке новых правил поведения в семье.

Адаптация к новым условиям всегда требует в той или иной степени выработки специальных правил — в том числе в кругу семьи. В данном случае указанные правила могли касаться задач структурирования времени, а также широкого круга стратегий и тактик в отношении как основного (школьного), так и дополнительного образования в дистанционном формате, различающихся, например, в подходах к распределению разного рода ресурсов между членами семьи, а также распорядка дня, взаимных обязанностей в отношении бытовых вопросов и многого другого.

Подчеркнем, в условиях «деструктуризации» и резко обострившейся проблемы распада привычных для XX века систем солидарности и сплоченности [Сорокин, Попова, 2021; 2022], в качестве особенно важного индикатора агентности может рассматриваться способность к проактивному созданию новых сообществ и групп — в том числе, что стало особенно актуальным в условиях пандемии, в онлайн-пространстве.

*Исследовательские вопросы:*

— Включала ли реакция семей на перевод образования в дистанционный формат разработку новых правил (и связанных с ними моделей поведения), помогающих адаптироваться к новым условиям? Насколько массовой была эта практика? Есть ли различия между семьями в зависимости от социально-экономического положения?

— Кто выступил источником новых правил и моделей поведения на уровне семей?

— Вовлекались ли дети, занятые в дополнительном образовании, в создание новых сообществ и групп в онлайн-пространстве? По каким тематикам создавались новые сообщества и группы? Есть ли различия в зависимости от социально-экономического положения семей?

— В чем состояли последствия (понимаемые как возможные эффекты, однако без попытки доказательства жесткой каузальной связи) реализации агентности обучающимися? Помогла ли реализация агентности адаптироваться к участию в дополнительном образовании в новом формате?

### *Участники и процедура исследования*

Источником информации для данного исследования стали результаты интернет-опроса, проведенного в мае 2020 г. Центром общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ совместно с федеральным оператором навигаторов дополнительного образования «Inlearn» о переходе на дистанционную форму работы с обучающимися во время пандемии и режима самоизоляции. Всего было опрошено 19 431 родителей, 16 666 детей. В выборке представлены все федеральные округа. Поскольку уровень распространения

интернета в РФ высокий и относительно гомогенный (интернетом охвачены более 80 % населения<sup>2</sup>), и принимая во внимание большой объем выборки, результаты опроса можно считать репрезентативными для большинства территорий, признавая при этом, что наиболее депривированные (в том числе лишённые доступа к глобальной сети) слои могут быть недостаточно представлены в данной выборке, что не снижает ценности полученных результатов с точки зрения понимания роли агентности в адаптации к условиям пандемии.

Анкета для родителей включала вопросы про выработку в семье правил, помогающих адаптироваться к условиям карантина, про источники указанных правил, про непосредственную агентную деятельность ребенка, вопрос, предполагающий оценку степени согласия респондентов с основными утверждениями, позволяющими оценить успешность адаптации к условиям пандемии, а также косвенно описать характер эффектов реализации дополнительных занятий в условиях карантина, вопрос про изменение заинтересованности и желания детей заниматься дополнительным образованием в новых условиях. Также анкета содержала стандартный блок вопросов, помогающих установить социально-экономический статус семьи.

Анкета для обучающихся включала аналогичные родительской анкете вопросы про выработку в семье правил, про источники этих правил и про агентную деятельность. Также в анкету был включен вопрос, направленный на оценку респондентами эффектов дополнительных занятий в новых условиях, включая возможные изменения в заинтересованности и желании заниматься дополнительным образованием.

### **Правила, помогающие адаптироваться к новым условиям**

Результаты проведенных опросов показали, что в большинстве семей не были выработаны четкие правила, помогающие адаптироваться к новым условиям. Лишь около четверти респондентов (23,4 % родителей и 22,9 % детей) сообщают о правилах своей жизни, появившихся в условиях перехода образования в удаленный формат. При этом определенная часть родителей (14,6 %) и детей (18,5 %) отмечает, что они не желают ничего менять, в их семье все остается по-прежнему, то есть, по сути, игнорируют объективные изменения социальной обстановки. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев адаптация, изменение привычек и моделей поведения на уровне семей происходили, но стихийно и в отсутствие четкой системы.

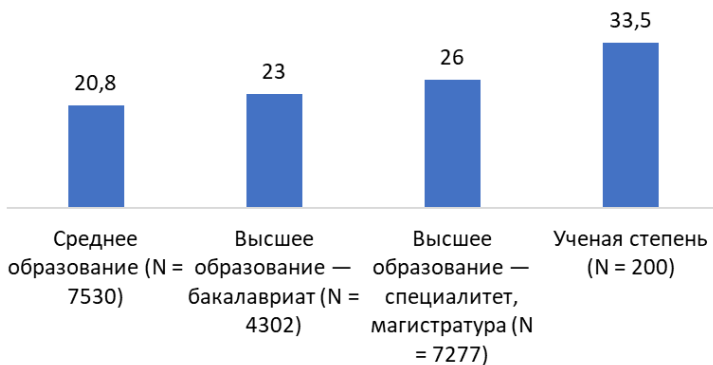
Важно заметить, что семьи, в которых новые правила имеют место, отличаются от других по социально-экономическим показателям. Распределение ответов родителей по уровню образования и дохода семьи демонстрирует связь доли семей, где новые правила присутствуют, с уровнем образования и благосостояния (см. рис. 1 и рис. 2). Чем выше уровень образования и материального благополучия семей, тем в большей степени для них характерна выработка новых правил. При этом наиболее выражена связь доли семей, где были разработаны новые правила, с уровнем доходов: процент родителей, отметивших, что в их семье присутствуют правила, позволяющие адаптироваться и продолжать образование в условиях карантина, между наиболее и наименее обеспеченными семьями отличается почти в три раза.

<sup>2</sup> По данным международного исследования «Global Digital Overview — 2020» URL: <https://wearesocial-net.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/common/reports/digital-2020/digital-2020-global.pdf> (дата обращения: 31.10.2022).

Рис. 1. Доля семей, где выработаны правила, в зависимости от уровня благосостояния, %, по результатам опроса родителей ( $\chi^2(df) = 702,084 (10); p < 0,001$ )



Рис. 2. Доля семей, где выработаны правила, в зависимости от уровня образования родителей, %, по результатам опроса родителей ( $\chi^2(df) = 237,670 (10); p < 0,001$ )



Напротив, доля респондентов, отметивших, что они не желают ничего менять, и в их семье все остается по-прежнему, максимальна в наименее обеспеченных семьях (29,5%), в то время как в наиболее состоятельных таких всего 12,4%.

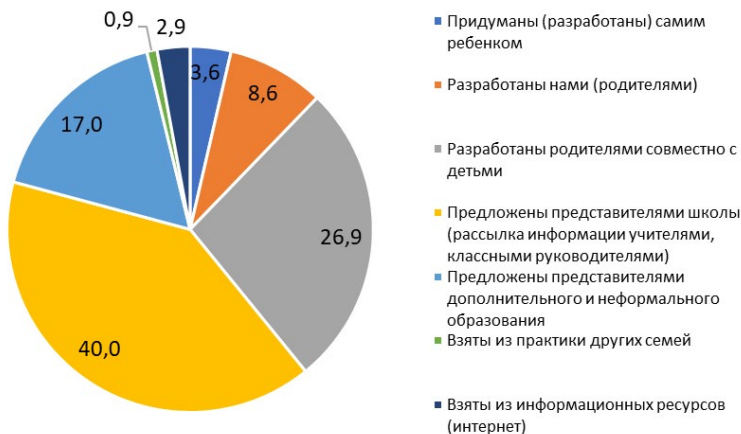
В семьях, где родители имеют только среднее общее образование, не желают ничего менять 25,4%, тогда как в семьях, где у родителей высшее образование (магистратура) данную позицию отмечает лишь 11,7% респондентов. Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями П. Бурдьё и Э. Гидденса о том, что «верхние», элитарные социальные страты способны лучше адаптироваться в условиях структурных изменений [Бурдьё, 2005; Гидденс, 2005].

Различия между семьями по уровню благосостояния сильнее, чем по уровню образования. Данное обстоятельство соотносится с выводами зарубежных исследователей [Kalil, Mayer, Shah, 2020], показавших, что учащиеся из семей с низким доходом и их семьи несут на себе основное бремя трудностей нарушения привычного уклада образовательного процесса.

Приведенные данные показывают тревожную тенденцию: ситуация социальных изменений, как правило, повышает шансы как на восходящую, так и на нисходящую мобильность. Тот факт, что более обеспеченные и более образованные семьи оказались лучше готовы к перестройке своих практик говорит об их более высоких шансах на успешную адаптацию, что может привести к увеличению и без того высокого разрыва между стратами российского общества с точки зрения стратегий образования и воспитания в результате пандемии.

Однако для более детального рассмотрения семей, где были выработаны новые правила, необходимо ответить на вопрос, откуда эти правила происходят, кто является инициатором их разработки. Как показывают результаты исследования, более чем в половине случаев источниками новых правил продолжения образования ребенка и организации его жизни в условиях карантина выступают школы: 40% родителей отметили, что правила предложены представителями общеобразовательных организаций (школ) и 17% — представителями организаций дополнительного образования (см. рис. 3). Немногим более четверти родителей разрабатывали новые правила вместе с детьми (26,9%), и лишь в 3,6% случаев дети смогли разработать правила самостоятельно. Соответственно, учитывая, что о наличии правил сообщили менее 25% семей, можно заключить, что разработкой правил (с участием детей и родителей) занималась лишь одна семья из десяти, а самостоятельно разработали правила не более одного процента детей, занимающихся дополнительным образованием. Иными словами, успешная (с точки зрения результата в виде сформировавшихся новых правил) самостоятельная агентная деятельность на уровне семьи характерна для малой части российских учащихся.

Рис. 3. Источники правил, помогающих адаптироваться к новым условиям, %, по результатам опроса родителей, N = 19 309

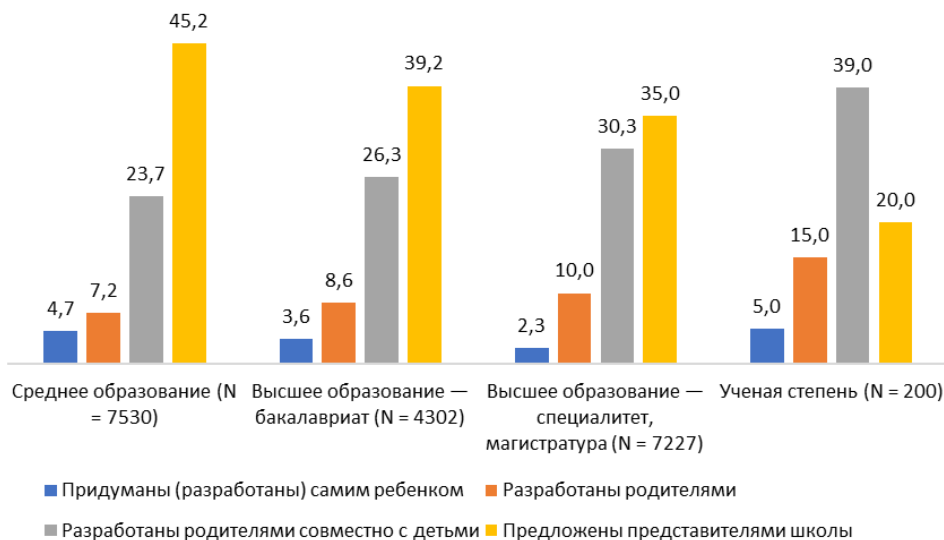


Интересно, что образование родителей оказывается взаимосвязанным с проявлением детьми самостоятельности (агентности) при разработке правил. С одной стороны, чем выше уровень образования у родителей, тем чаще они принимают участие в разработке правил вместе с детьми, либо самостоятельно (см. рис. 4). С другой стороны, дети чаще самостоятельно разрабатывают новые правила у родителей со средним образованием. В среднем вырисовывается следующая тенденция: чем выше уровень образования родителей, тем реже их дети разрабатывали правила самостоятельно (за исключением узкой подвыборки наиболее образованных семей). Эта закономерность хорошо согласуется с изученным ранее процессом выбора организации и объединения дополнительного образования: чаще всего ребенок самостоятельно выбирает кружок для дополнительных занятий в тех семьях, где мать имеет среднее образование; совместный выбор вместе с детьми наиболее распространен в тех семьях, где у родителей высшее или два высших образования [Косарецкий и др., 2019].

В данном случае, по-видимому, мы можем говорить о разных стратегиях агентности: «автономной» и «кооперативной». *Автономная* агентность имеет место, когда субъект непосредственно по своей воли становится инициатором проактивного действия, направленного на выработку нового или изменение существующего порядка, в то время как *кооперативная* представляет собой активную позицию в существующей социальной группе, она реализуется при поддержке со стороны непосредственного окружения. Подчеркнем, что использование категорий «автономная» и «кооперативная» носит условный характер в отношении агентности. В силу своей социальной природы (непосредственно связанной с созданием/совершенствованием институтов и структур), индивидуальная агентность не может быть полностью автономной, но всегда так или иначе выражается во взаимодействии с окружающими. Вместе с тем роль индивидуального актора в продвижении той или иной новой социальной практики, способа действия или в создании сообщества может быть различной: непосредственный стимул изменений может происходить от конкретного индивида или носить кооперативный характер, когда инициатива и проактивность распределены (например, в случае совместной с родителями выработки новых правил поведения в семье).

Самостоятельная разработка ребенком правил является примером проявления «автономной» агентности, в то время как вместе с родителями — «кооперативной». Можно предположить, что с повышением уровня образования родителей возрастает степень ответственности за организацию обучения ребенка, и они чаще оказываются включенными в разработку правил, то есть возрастает «кооперативная» агентность. С повышением уровня родительской ответственности и включенности в образование детей, вероятно, возрастает степень контроля и снижается уровень свободы, которую они предоставляют своим детям. С теоретической точки зрения указанное наблюдение имеет важное значение, показывая особую роль для сферы образования и воспитания вопроса о степени «автономности» агентности, который в современной литературе пока не подвергался детальному рассмотрению ни теоретически, ни эмпирически (см. подробнее обзор исследований в [Сорокин, Зыкова, 2021]).

Рис. 4. Источники правил, в зависимости от уровня образования родителей, %, по результатам опроса родителей ( $\chi^2(df) = 435,516 (30); p < 0,001$ )

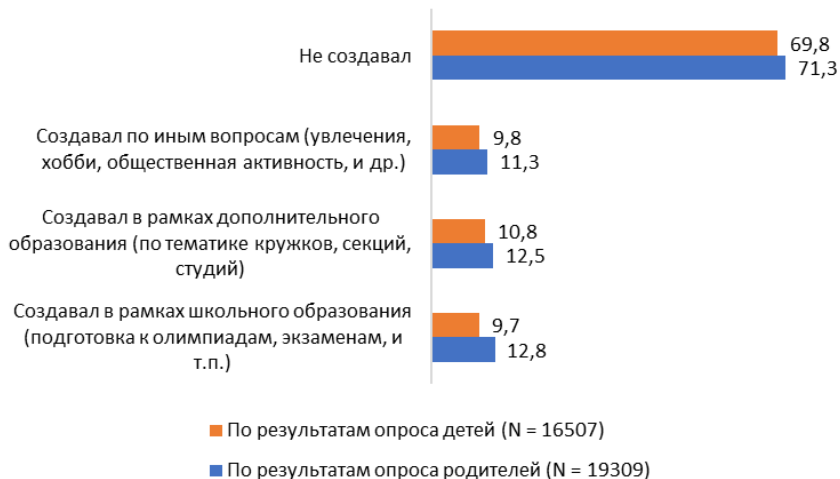


### Агентная деятельность ребенка

Одно из безусловно значимых проявлений агентности ребенка в условиях пандемии, — (трансформирующая) агентная деятельность, которая концептуально выражается, прежде всего, в создании новых коллективов и сообществ. В условиях карантина возможности для очной коммуникации были ограничены, а онлайн-коммуникация, наоборот, стала обязательной (в том числе с точки зрения соответствия формальным требованиям к обучающимся). Поэтому создание ребенком сообществ, основанное в первую очередь на имеющихся возможностях онлайн-взаимодействия, становится оптимальным индикатором агентного поведения учащегося — но уже не в домашней, семейной среде (сильно дифференцированной в зависимости от региона, социального происхождения и др.), а во «внешнем» цифровом мире (гораздо более гомогенном для всех его участников вне зависимости от места, откуда физически осуществлен вход в сеть).

В большинстве случаев (около 70 %) дети не создавали и не являлись со-инициаторами создания новых сообществ в интернете (см. рис. 5). При этом порядка 30 % детей занимались «социально-агентной» деятельностью: около трети из них создавали коллективы в рамках школьного образования, например, в рамках подготовки к экзаменам, олимпиадам и т. п., около трети — в рамках дополнительного образования, по тематике кружков, секций, студий, и оставшаяся треть создавали коллективы по иным вопросам, касающимся увлечений, хобби, различных видов общественной активности и т. п. Выраженное сходство ответов детей и родителей (как следует из данных рис. 5) свидетельствует в пользу высокой достоверности выявленных результатов.

**Рис. 5. Доля обучающихся, создававших в условиях карантина (или выступавших со-инициаторами создания) коллективов, групп в сети интернет по вопросам, связанным с образованием, или по иным тематикам, %**



Агентная деятельность детей показала взаимосвязь с социально-экономическими характеристиками семьи. Так, чаще всего создавали коллективы дети из наиболее обеспеченных семей (см. табл. 1). Данное обстоятельство может быть обусловлено наличием в таких семьях лучших технических возможностей для выхода в интернет и работы в нем, а также подтверждает классические теории о более высоком уровне проявления агентности у представителей верхних, элитарных социальных страт [Genieys, 2010].

**Таблица 1. Участие детей в создании коллективов и сообществ в сети Интернет, в зависимости от уровня благосостояния семьи, %, по результатам опроса родителей (возможны несколько вариантов ответа)**

	Создавал в рамках школьного образования (подготовка к олимпиадам, экзаменам, и т. п.)	Создавал в рамках дополнительного образования (по тематике кружков, секций, студий)	Создавал по иным вопросам (увлечения, хобби, общественная активность, и др.)	Не создавал
Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания (N = 776)	13,5	13,0	9,4	70,9
На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать (N = 3087)	13,1	12,5	9,8	72,6
На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности (N = 2824)	11,2	12,1	10,7	73,4



	Создавал в рамках школьного образования (подготовка к олимпиадам, экзаменам, и т. п.)	Создавал в рамках дополнительного образования (по тематике кружков, секций, студий)	Создавал по иным вопросам (увлечения, хобби, общественная активность, и др.)	Не создавал
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п. представляет трудности (N=6832)	11,5	11,9	11,3	72,7
Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и дорогостоящего отпуска пришлось бы залезть в долги (N=5147)	14,3	13,0	11,9	69,1
Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и покупку автомобиля (N=643)	19,1	17,0	17,4	59,1
$\chi^2(df)$	50,467 (5)***	15,894 (5)**	36,807 (5)***	73,789 (5)***

\*\*  $p < 0,01$ ; \*\*\*  $p < 0,001$ .

В то же время уровень образования родителей демонстрирует более сложную, скорее, отрицательную связь с агентной деятельностью детей: чаще создавали коллективы и сообщества в сети Интернет дети, родители которых имеют среднее образование (см. табл. 2). Данный факт согласуется с аналогичными результатами, полученными для проявления агентности детьми в части разработки правил, помогающих адаптироваться к новым условиям, высвечивая отчасти неожиданную и значимую находку, которая требует проведения отдельных, более детальных исследований.

**Таблица 2. Участие детей в создании коллективов и сообществ в интернете в зависимости от уровня образования родителей, %, по результатам опроса родителей (возможны несколько вариантов ответа)**

	Создавал в рамках школьного образования (подготовка к олимпиадам, экзаменам, и т. п.)	Создавал в рамках дополнительного образования (по тематике кружков, секций, студий)	Создавал по иным вопросам (увлечения, хобби, общественная активность, и др.)	Не создавал, N=13 761
Основное общее образование (N=674)	16,6	18,1	11,0	64,2
Среднее общее образование (N=1476)	17,1	14,7	10,2	65,7
Среднее профессиональное образование (N=5380)	12,8	13,1	11,0	70,8
Высшее образование — бакалавриат (N=4302)	13,2	13,5	12,4	69,3

	Создавал в рамках школьного образования (подготовка к олимпиадам, экзаменам, и т. п.)	Создавал в рамках дополнительного образования (по тематике кружков, секций, студий)	Создавал по иным вопросам (увлечения, хобби, общественная активность, и др.)	Не создавал, N = 13 761
Высшее образование — специалитет, магистратура (N = 7277)	11,3	10,6	10,8	74,6
$\chi^2$ (df)	49,074 (5)***	57,083 (5)***	16,928 (5)**	87,319 (5)***

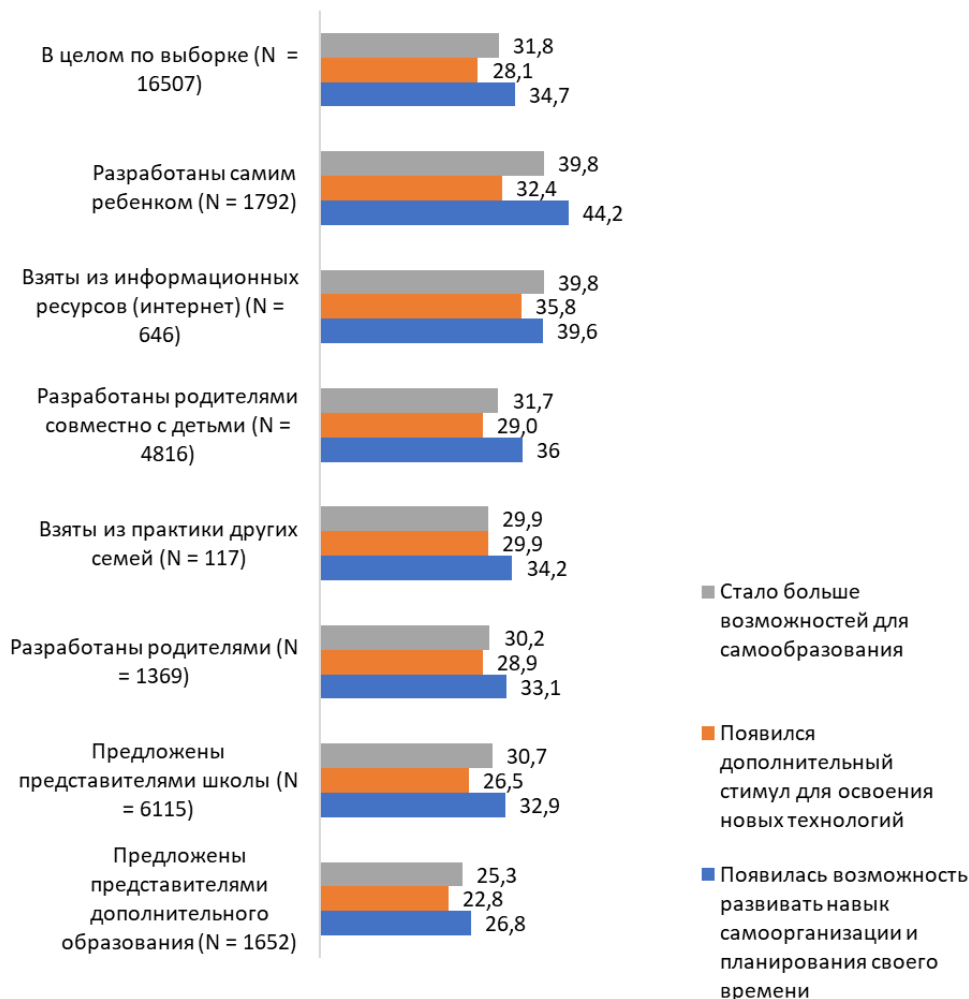
\*\*  $p < 0,01$ ; \*\*\*  $p < 0,001$ .

**Последствия (эффекты) проявления агентности у детей.** Особый теоретический и практический интерес представляет ракурс рассмотрения последствий (или, употребляя данное понятие с неким допущением, «эффектов») проявления детьми агентности в том, что касается успешности адаптации к новым условиям. Разработка правил поведения в семье с участием детей (в т. ч. если они это делают самостоятельно) положительно связана с успешностью проживания периода пандемии. В том случае, когда правила разработаны самим ребенком, такие дети чаще всего выражают совершенное согласие с утверждениями относительно новых возможностей дополнительного образования на карантине: (см. рис. 6), их заинтересованность и желание заниматься дополнительным образованием в этом случае значительно выше (см. табл. 3). При всей ограниченности самооценок как показателей «эффектов», приведенные данные показывают потенциально важную положительную роль, которую играют практики агентности для успеха с точки зрения восприятия образовательных возможностей и качества адаптации учащихся и их семей к условиям пандемии.

В то же время разработка правил родителями без участия детей отрицательно связана с успехом адаптации к сложившимся условиям. По-видимому, попытка дополнительного авторитарного дисциплинирования на уровне семьи как ответ на кризис пандемии не приводит к успеху, не способна «зажечь» ребенка и пробудить в нем желание развиваться и действовать вопреки внешним обстоятельствам. Однако, именно такая стратегия — одна из самых массовых в российских семьях, причем она нередко поддерживается на идеологическом уровне. С точки зрения различных источников новых правил наименьшую эффективность показало использование готовых правил, предложенных представителями системы образования (школой, или организациями дополнительного образования). В этом случае респонденты реже всего отмечают расширение возможностей для самообразования, развития навыка самоорганизации, появление стимула для освоения новых технологий, реже отмечают повышение заинтересованности и желания заниматься дополнительным образованием.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ответ на существенно и быстро меняющиеся условия (ярким примером чего послужила ситуация с пандемией), в большинстве случаев целесообразно выработать и внедрять новые правила, им отвечающие, однако эффективнее делать это с вовлечением самих детей в процесс их создания.

Рис. 6. Доля детей, выразивших совершенное согласие с утверждениями относительно новых возможностей дополнительного образования на карантине, в зависимости от источников правил, %, по результатам опроса детей ( $\chi^2(df) = 161,422(18); p < 0,001$ )

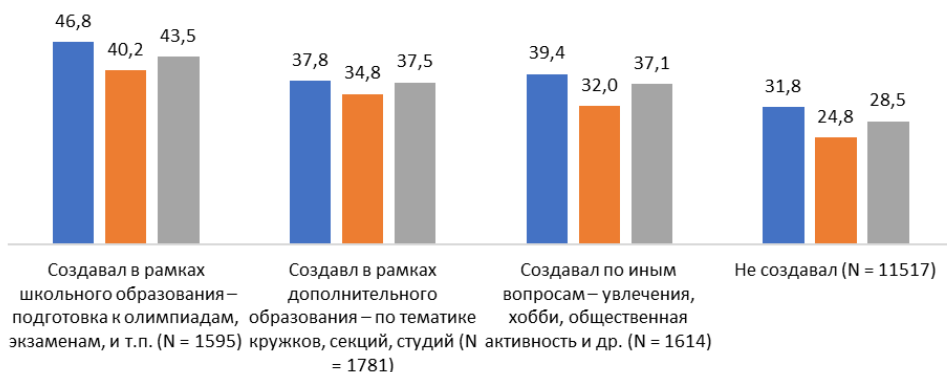


Другим важным результатом стало то, что агентная деятельность ребенка (то есть создание коллективов) имеет ряд выраженных положительных последствий (возможных «эффектов»), проявляющихся в повышении желания учиться самоорганизации и планированию своего времени, осваивать новые технологии, заниматься самообразованием (см. рис. 7). Дети, участвующие в создании коллективов, почти в два раза чаще считают крайне важным продолжение занятий в дистанционном формате, и отмечают существенное увеличение заинтересованности, желания заниматься дополнительным образованием в связи с переходом на «удаленку» (см. табл. 4).

**Таблица 3. Изменения заинтересованности, желания заниматься дополнительным образованием в связи с переходом на «удаленку», в зависимости от источников правил, %, по результатам опроса детей ( $\chi^2(df) = 241,583 (24); p < 0,001$ )**

	Стала намного выше	Незначи- тельно повысилась	Осталась без изменений	Немного понижи- лась	Значи- тельно снизилась
Разработаны самим ребенком (N=1792)	20,2	18,6	33,6	12,4	15,2
Разработаны родителями (N=1369)	14,2	14,5	29,4	17,3	24,6
Разработаны родителями совместно с детьми (N=4816)	15,5	18,4	33,7	18,0	14,4
Предложены представителями школы (N=6115)	13,4	18,3	34,0	17,8	16,5
Предложены представителями дополнительного образования (N=1652)	10,6	13,8	34,3	22,5	18,8
Взяты из практики других семей (N=117)	10,3	16,2	33,3	15,4	24,8
Взяты из информационных ресурсов (Интернет) (N=646)	17,8	18,6	35,0	13,9	14,7
В целом по выборке (N=16507)	14,7	17,6	33,6	17,5	16,6

**Рис. 7. Доля детей, выразивших совершенное согласие с утверждениями относительно новых возможностей дополнительного образования на карантине, в зависимости участия в создании сообществ в сети Интернет, %, по результатам опроса детей (\*\*\*)  $p < 0,001$**



- Появилась возможность развивать навык самоорганизации и планирования своего времени ( $\chi^2(df) = 233,843 (9)$ \*\*\*)
- Появился дополнительный стимул для освоения новых технологий ( $\chi^2(df) = 360,344 (9)$ \*\*\*)
- Стало больше возможностей для самообразования ( $\chi^2(df) = 289,671 (9)$ \*\*\*)

**Таблица 4. Изменения заинтересованности, желания заниматься дополнительным образованием в связи с переходом на «удаленку», в зависимости от участия в создании сообществ в сети Интернет, %, по результатам опроса детей ( $\chi^2(df) = 506,235 (12); p < 0,001$ )**

	Стала намного выше	Незначи- тельно повысилась	Осталась без изменений	Немного понижи- лась	Значи- тельно снизилась
Создавал в рамках школьного образования (подготовка к олимпиадам, экзаменам, и т. п.) ( $N = 1595$ )	25,4	22,0	29,3	13,7	9,6
Создавал в рамках дополнительного образования (по тематике кружков, секций, студий) ( $N = 1781$ )	20,2	20,8	34,6	15,5	8,9
Создавал по иным вопросам (увлечения, хобби, общественная активность, и др.) ( $N = 1614$ )	18,3	19,7	33,4	16,6	12,0
Не создавал ( $N = 11 517$ )	11,9	16,1	34,1	18,5	19,4

Наиболее выражена позитивная связь между агентной деятельностью ребенка (создание онлайн-сообществ/групп) и мотивацией к дополнительным занятиям в условиях карантина — прежде всего, для случаев создания коллективов в рамках основного, то есть школьного образования. Когда ребенок создает коллективы в рамках дополнительного образования или по иным вопросам, наблюдается более слабая связь (см. рис. 7, табл. 4). Одним из возможных объяснений данного обстоятельства может быть то, что достаточно жесткая и регламентированная система школьного образования изначально не ориентирована на агентную деятельность ребенка. Проявлять самостоятельность в этих условиях намного труднее, нежели в более творческой и свободной атмосфере дополнительного образования, или же вообще независимо от рамок образовательной системы. Поэтому те дети, которые смогли реализовать свой потенциал, проявили агентность (инициировав создание новых сообществ) именно по вопросам школьного образования, демонстрируют более высокую способность адаптации к изменившимся условиям.

## Заключение

Проведенное исследование — первая попытка эмпирического изучения агентного (то есть проактивного, меняющего социальную среду) поведения учащихся в условиях пандемии, с фокусом на практики участия в дополнительном образовании. Оно показало, что в большинстве российских семей адаптация к занятиям дополнительным образованием на карантине происходила стихийно. Четкие новые правила, позволяющие адаптироваться к новым условиям и продолжить обучение, были выработаны менее чем в четверти семей. Даже в тех случаях, когда правила имели место, они чаще всего появились извне, то есть были

предложены представителями системы образования. Именно те дети, которые проявляли наибольшую агентность как в части разработки правил в семьях, так и на уровне создания новых онлайн-сообществ, демонстрируют наиболее высокую заинтересованность в получении дополнительного образования в дистанционном формате и видят в нем расширение своих возможностей.

Данное исследование позволило рельефно выделить автономную (индивидуальную) агентную деятельность ребенка, показать ее значимость для успешности адаптации к меняющимся условиям и реализации образовательной траектории в целом. В рассмотренной специфике проявления агентности и характере ее зафиксированных последствий проявляется особенность дополнительного образования как добровольного (инициативного). Более глубоко связь характера дополнительного образования и агентности планируется раскрыть в последующих исследованиях, в том числе направленных на понимание особенностей формирования и проявления агентности в различных областях и практиках дополнительного образования. Перспективным является также исследование особенностей проявления агентного поведения в активностях ребенка, являющихся уже в большей степени необразовательными (социальная, предпринимательская, хобби). Наконец, отдельной важной линией исследований может стать изучение собственно роли дополнительного образования в формировании агентности как способности, связанной с конструированием будущей профессиональной траектории, усиливающей конкурентоспособность индивида на рынке труда.

Представленное исследование раскрывает влияние семьи на проявление агентности ребенка. Дети с наиболее высоким уровнем агентности чаще всего происходят из наиболее обеспеченных в материальном плане семей. В то же время родительский контроль, навязывающий те или иные новые нормы без вовлечения детей в их выработку, может быть негативно связан с успехом адаптации к новым условиям, что соотносится с результатами ранее проведенных исследований [Anderson et al., 2003; Ashbourne, Andres, 2015; Goshin et al., 2021]. С повышением уровня образования родителей увеличивается степень их вовлеченности в образование детей, что, безусловно, имеет ряд позитивных эффектов, широко описанных в литературе [Epstein, 2007; Flecha, Soler, 2013; Linse, 2011], и способствует проявлению «кооперативной агентности». Данная тенденция близка к концепции «concerted cultivation» (совместного развития), согласно представлениям А. Ларо [Lareau, 2002]. Напротив, для родителей с низким уровнем образования характерна меньшая вовлеченность в дополнительное образование детей, что характерно для стратегии «natural growth» (естественного развития), связанной с формированием автономной (индивидуальной) агентности. Данное обстоятельство подтверждает результаты предыдущих исследований [Гошин, Мерцалова, Груздев, 2019; Goshin et al., 2021], согласно которым родители, наименее вовлеченные в образование, представляют собой неоднородную социальную группу; порой у таких родителей наблюдается ситуация, когда дети демонстрируют наиболее высокие академические достижения и способность самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию. Однако влияние конкретных родительских стратегий и практик в их взаимосвязи с проявлением агентности, в том числе автономной, нуждается в проведении дополнительных исследований, в которых

будет затронут вопрос о проявлении агентности в ситуации перегрузки ребенка дополнительным образованием (феномен, ярко описанный А. Барто в «Болтунье»).

Изучение вопросов агентности школьников в условиях пандемии имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Еще до начала пандемии в литературе обсуждались вызовы, стоящие перед системами образования во всем мире, в том числе в России, связанные с ускорением структурной динамики в различных сферах общественной жизни, ростом неустойчивости, «деструктуризацией» [Сорокин, 2021а, 2021б; Сорокин, Фрумин, 2020]. Реакцией на этот вызов со стороны систем образования может стать, прежде всего, пересмотр требований к результатам обучения, с большим акцентом на формировании способностей к проактивному действию, «трансформирующей агентности», причем направленной не на деструктивное поведение и разрушение существующих структур и сообществ, например, государство или рынки (что характерно для основной части критической дискуссии об образовательной политике в зарубежной литературе [Sorokin, Froumin, 2022]), но на их позитивную адаптацию к меняющимся условиям, с сохранением базовой социальной сплоченности [Сорокин, Попова, 2022]. Представленные в настоящей работе результаты помогают увидеть конкретные позитивные проявления «трансформирующей агентности» в ситуации, когда их востребованность объективно выросла, то есть в период резкого перехода школьного образования на дистанционный формат. Мы также анализируем характерные черты тех учащихся, которые оказались носителями соответствующих поведенческих характеристик, демонстрируя как возможные «эффекты» трансформирующей агентности, так и вероятные факторы ее формирования, не претендуя при этом на обязательную прямую каузальную связь между рассматриваемыми параметрами.

Не менее важным для адекватного ответа образования на вызов деструктуризации является и пересмотр его форматов, а также содержания. Еще до пандемии эксперты ОЭСР (Организация Экономического Развития и Сотрудничества) прямо заявляли о важности «агентности» учащихся с точки зрения выстраивания самостоятельной образовательной и карьерной траектории [OECD, 2018]. С указанной точки зрения приведенные результаты могут быть полезны тем, что показывают конкретные поведенческие практики, реализация которых положительно коррелирует с оптимистичным восприятием учащимся своей текущей образовательной деятельности и перспектив развития (например, создание онлайн-сообществ или участие в выработке новых правил поведения в существующем сообществе, прежде всего в семье, в ситуации изменившихся внешних условий). Кроме того, результаты исследования показали целесообразность организации просветительской работы с семьями, направленной на развитие у родителей навыков и связанных с ними практик, позволяющих более гибко адаптироваться к меняющимся социальным условиям, минимизировать возникающие риски и максимально использовать новые возможности.

Что касается уроков периода пандемии для организации программ дополнительного образования, то здесь можно рекомендовать усиливать акцент на практики, которые мотивируют и поддерживают инициативность и самостоятельность учащихся в цифровой среде, в том числе создание цифрового контента, его взаимооценивание, проактивное включение в существующие и создание новых сообществ в онлайн-среде.

## Список литературы (References)

Буйлова Л. Н. Сущность и специфика дополнительного образования детей в современной системе образования Российской Федерации // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6. Ч. 2. С. 130—134.

Builova L. N. (2011) Essence and Specificity of Additional Education of Children in a Modern Education System of the Russian Federation. *The World of Science, Culture and Education*. No. 6. P. 2. P. 130—134. (In Russ.)

Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2005.

Bourdieu P. (2005) Social Space: Fields and Practices. Transl. from French N. A. Shmatko. Saint Petersburg: Alethea. (In Russ.)

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. М.: Академический Проект, 2005.

Giddens A. (2005) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Moscow: Academic Project. (In Russ.)

Гошин М. Е., Мерцалова Т. А., Груздев И. А. Типы родительского участия в учебном процессе детей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 2. С. 282—303. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.2.13>.

Goshin M. E., Mertsalova T. A., Gruzdev I. A. (2019) Types of Parental Involvement in Children's Schooling. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 282—303. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.2.13>. (In Russ.)

Иванов И. Ю., Косарецкий С. Г. Внешкольное образование в условиях пандемии COVID-19 в странах бывшего Советского Союза: лучшие практики и ключевые уроки. М.: ДёЛибри, 2021.

Ivanov I. Yu., Kosaretsky S. G. (2021) Extracurricular Education in the Context of the COVID-19 Pandemic in the Countries of the Former Soviet Union: Best Practices and Key Lessons. M.: De'libri. (In Russ.)

Иванюшина В. А., Александров Д. А. Социализация через неформальное образование: внеклассная деятельность российских школьников. // Вопросы образования. 2014. № 3. С. 174—197. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-3-174-196>.

Ivaniushina V., Alexandrov D. (2014) Socialization Through Informal Education: Extracurricular Activities of Russian School Students. *Educational Studies*. No 3. P. 174—197. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-3-174-196>. (In Russ.)

Косарецкий С. Г., Гошин М. Е., Беликов А. А., Кудрявцева М. А., Максимова А. С., Поплавская А. А., Янкевич С. В., Петлин А. В., Жулябина Н. М. Дополнительное образование детей: Единое многообразие. М.: НИУ ВШЭ, 2019.

Kosaretsky S. G., Goshin M. Ye., Belikov A. A., Kudryavtseva M. A., Maksimova A. S., Poplavskaya A. A., Yankevich S. V., Petlin A. V., Zhulyabina N. M. (2019). Extracurricular Education of Children: Unified Diversity. Moscow: NRU HSE. (In Russ.)



Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18—37. <https://doi.org/10.17223/17267080/62/3>.

Leontiev D. A. (2016). Autoregulation, Resources, and Personality Potential. *Siberian Journal of Psychology*. No. 62. P. 18—37. <https://doi.org/10.17223/17267080/62/3>. (In Russ.)

Павлов А. В., Гошин М. Е., Косарецкий С. Г., Иванов И. Ю., Ершова В. С. Современная аналитика образования. Вып. 50: Дополнительное и неформальное образование школьников в условиях пандемии COVID-19. М.: НИУ ВШЭ, 2021.

Pavlov A. V., Goshin M. Ye., Kosaretsky S. G., Ivanov I. Yu., Ershova V. S. (2021) Modern Analytics of Education. Vol. 50: Extracurricular and Informal Education of Schoolchildren in Conditions of the COVID-19 Pandemic. Moscow: NRU HSE. (In Russ.)

Сорокин П. С. «Трансформирующая агентность» как предмет социологического анализа: современные дискуссии и роль образования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021а. Т. 21. № 1. С. 124—138. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-1-124-138>.

Sorokin P. S. (2021) “Transformative Agency” as an Object of Sociological Analysis: Contemporary Discussions and the Role of Education. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 21. No.1. P. 124—138. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-1-124-138>. (In Russ.)

Сорокин П. С. Социологическая теория: вызовы и возможности российской социологии // Социологические исследования. 2021б. № 11. С. 12—23. <https://doi.org/10.31857/S013216250017006-9>.

Sorokin P. S. (2021) Sociological Theory: Challenges and Opportunities for Russian Sociology. *Sociological Studies*. No. 11. P. 12—23. <https://doi.org/10.31857/S013216250017006-9>. (In Russ.)

Сорокин П. С., Зыкова А. В. «Трансформирующая агентность» как предмет исследований и разработок в XXI веке: обзор и интерпретация международного опыта // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 5. С. 216—241. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1858>.

Sorokin P. S., Zyкова A. V. (2021) “Transformative Agency” as a Subject of Research and Development in the 21st Century: A Review and Interpretation of International Experience. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 216—241. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1858>. (In Russ.)

Сорокин П. С., Попова Т. А. Классические и современные подходы к исследованию солидарности: проблемы и перспективы в условиях деструктуризации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 3. С. 457—468. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-3-457-468>.

Sorokin P. S., Popova T. A. (2021) Classical and Contemporary Approaches to the Study of Solidarity: Challenges and Perspectives Under Destructuration. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 21. No. 3. P. 457—468. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-3-457-468>. (In Russ.)

Сорокин П. С., Попова Т. А. Качество человеческого капитала — ответ на вызовы социальной политики в условиях деструктуризации // Журнал исследований соци-

альной политики. 2022. Т. 20. № 1. С. 157—168. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2022-20-1-157-168>.

Sorokin P. S., Popova T. A. (2022) Human Capital Qualities in Responding to Challenges for Social Policy in the Context of De-Structuration. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 20. No. 1. P. 157—168. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2022-20-1-157-168>. (In Russ.)

Сорокин П. С., Фрумин И. Д. Проблема «структура/действие» в XXI в.: изменения в социальной реальности и выводы для исследовательской повестки // Социологические исследования. 2020. № 7. С. 27—36. URL: <https://www.socis.isras.ru/en/article/8217> (дата обращения: 30.10.2022).

Sorokin P. S., Froumin I. D. (2020) “Structure-Agency” Problem in the XXI Century: Changing Social Reality and Research Implications. *Sociological Studies*. No. 7. P. 27—36. URL: <https://www.socis.isras.ru/en/article/8217> (accessed: 30.10.2022). (In Russ.)

Сорокин П. С., Фрумин И. Д. Образование как источник действия, совершенствующего структуры: теоретические подходы и практические задачи // Вопросы образования. 2022. № 1. С. 116—137. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-116-137>.

Sorokin P. S., Froumin I. D. (2022) Education as a Source for Transformative Agency: Theoretical and Practical Issues. *Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow*. No. 1. P. 116—137. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-116-137>. (In Russ.)

Acs Z. J., Audretsch, D. B., Lehmann E. E. Licht G. (2016) National Systems of Entrepreneurship. *Small Business Economics*. Vol. 46. No. 4. P. 527—535. URL: <https://www.jstor.org/stable/43895711> (accessed: 30.10.2022).

Anderson J. C., Funk J. B., Elliott R., Smith P. H. (2003) Parental Support and Pressure and Children’s Extracurricular Activities: Relationships With Amount of Involvement and Affective Experience of Participation. *Journal of Applied Developmental Psychology*. Vol. 24. No. 2. P. 241—257. [https://doi.org/10.1016/s01933973\(03\)00046-7](https://doi.org/10.1016/s01933973(03)00046-7).

Ashbourne D., Andres L. (2015) Athletics, Music, Languages, and Leadership: How Parents Influence the Extracurricular Activities of Their Children. *Canadian Journal of Education*. Vol. 38. No. 2. P. 1—34. <https://doi.org/10.2307/canajeducrevucan.38.2.09>.

Cavazzoni F., Fiorini A., Veronese G. (2021) When Agency Turns Into a Risk Factor: A Literature Review of the Negative Consequences of Children’s Agentic Behaviors on Their Physical and Psychological Well-Being. *Trauma, Violence, and Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380211048450>.

Dwivedi Y., Hughes L., Coombs C., Constantiou I., Duan Y., Edwards J. S., Gupta B., Lal B., Misra S., Prashant P., Raman R., Rana N. P., Sharma S. K., Upadhyay N. (2020) Impact of COVID-19 Pandemic on Information Management Research and Practice: Transforming Education, Work and Life. *International Journal of Information Management*. Vol. 55. P. 102211. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211>.

Epstein J. (2007) Connections Count: Improving Family and Community Involvement in Secondary Schools. *Principal Leadership*. Vol. 8. No. 2. P. 16—22.

Ettekal A. V., Adams J. P. (2020). Positive Youth Development Through Leisure: Confronting the COVID-19 Pandemic. *Journal of Youth Development*. Vol. 15. No. 2. P. 1—20. <https://doi.org/10.5195/jyd.2020.962>.

Flecha R., Soler M. (2013) Turning Difficulties Into Possibilities: Engaging 10 Roma Families and Students in School Through Dialogic Learning. *Cambridge Journal of Education*. Vol. 43. No. 4. P. 451—465. <https://doi.org/10.1080/0305764x.2013.819068>.

Genieys W. (2010) *The New Custodians of the State. The Programmatic Elites in French Society*, New Brunswick NJ, Transactions Books.

Goshin M., Dubrov D., Kosaretsky S., Grigoryev D. (2021) The Strategies of Parental Involvement in Adolescents' Education and Extracurricular Activities. *Journal of Youth and Adolescence*. Vol. 50. No. 5. P. 906—920. <https://doi.org/10.1007/s10964-021-01399-y>.

Ilari B., Cho E., Li J., Bautista A. (2022) Perceptions of Parenting, Parent-Child Activities and Children's Extracurricular Activities in Times of COVID-19. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 31. P. 409—420. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-02171-3>.

Koç S., Koç A. (2021) The Effect Failing to Perform Extracurricular Activities Has Had on School Culture and Values Education During the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Psychology*. Vol. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.778678>.

Lareau A. (2002) Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families. *American Sociological Review*. Vol. 67. No 5. P. 747—776. <https://doi.org/10.2307/3088916>.

Linse C. T. (2011) Creating Taxonomies to Improve School-Home Connections with Families of Culturally and Linguistically Diverse Learners. *Education and Urban Society*. Vol. 43. P. 651—670. <https://doi.org/10.1177/0013124510380908>.

OECD (2018) *Education 2030: The Future of Education and Skills*. Paris: OECD.

Sorokin P. S., Froumin I. D. (2022) “Utility” of Education and the Role of Transformative Agency: Policy Challenges and Agendas. *Policy Futures in Education*. Vol. 20. No. 2. P. 201—214. <https://doi.org/10.1177/14782103211032080>.

Udehn L. (2002) The Changing Face of Methodological Individualism. *Annual Review of Sociology*. Vol. 28. No. 1. P. 479—507. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.140938>.

Weaver J. L., Swank J. M. (2021) Parents' Lived Experiences With the COVID-19 Pandemic. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. Vol. 29. No. 2. P. 136—142. <https://doi.org/10.1177/1066480720969194>.

Zaccoletti S., Camacho A., Correia N., Aguiar C., Mason L., Alves R. A., Daniel J. R. (2020) Parents' Perceptions of Student Academic Motivation During the COVID-19 Lockdown: A Cross-Country Comparison. *Frontiers in Psychology*. Vol. 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.592670>.

DOI: [10.14515/monitoring.2022.5.2100](https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2100)



**О. Р. Михайлова**

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ЖИВОТНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**Правильная ссылка на статью:**

Михайлова О. Р. Взаимодействие молодых людей с животными и образовательные результаты // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 418—440. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2100>.

**For citation:**

Mikhaylova O. R. (2022) Human-Animal Interactions among Young People: Effects, Determinants, and Methods Of Research. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 418–440. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2100>. (In Russ.)

Получено: 30.10.2021. Принято к публикации: 21.08.2022.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ЖИВОТНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

*МИХАЙЛОВА Оксана Рудольфовна — младший научный сотрудник Центра исследований современного детства, старший преподаватель кафедры анализа социальных институтов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия*

*E-MAIL: [oxanamikhailova@gmail.com](mailto:oxanamikhailova@gmail.com)*

*<https://orcid.org/0000-0002-0236-6992>*

**Аннотация.** В статье предлагается обзор эффектов, детерминант и методов изучения взаимодействия животных и молодых людей. Хотя в литературе подробно рассмотрены различные типы воздействия социального окружения на жизненные траектории молодежи разных возрастов (детей, подростков и молодых взрослых), роль взаимоотношений с животными описана скупо. Данная работа касается двух контекстов, в которых обычно сталкиваются юный человек и животные: домашнего и контекста образовательных учреждений. На основе анализа результатов исследований, изложенных в научной литературе, делается вывод, что отношения с животными способны улучшить навыки эмоциональной регуляции, могут влиять на формирование чувства ответственности за благополучие других живых существ, усиливать социальную интегрированность молодого человека и вместе с тем закреплять модели жестокого и агрессивного поведения. В заключении работы описываются потенциальные направления дальнейших эмпирических исследований. Статья может оказаться полезной для исследователей детей, подростков,

## HUMAN-ANIMAL INTERACTIONS AMONG YOUNG PEOPLE: EFFECTS, DETERMINANTS, AND METHODS OF RESEARCH

*Oxana R. MIKHAYLOVA<sup>1</sup> — Junior Research Fellow at the Centre for Modern Childhood Research, Institute of Education, Senior Lecturer at the Department of the Social Institutions Analysis*

*E-MAIL: [oxanamikhailova@gmail.com](mailto:oxanamikhailova@gmail.com)*

*<https://orcid.org/0000-0002-0236-6992>*

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, Russia

**Abstract.** In this paper, I overview the studies of human-animal interactions' influence on young peoples' lives. There is plenty of research that addresses the impact of personal networks on individual life trajectories. However, the influence of animals, who also sometimes belong to the young peoples' personal networks, remains underexplored. This paper fills this gap and touches upon two contexts in which young learners most frequently face animals: 1) home and 2) educational facilities. I conclude that relations with animals in both contexts could enrich young peoples' skills of emotional regulation and may influence the formation of responsibility for the wellbeing of the other living subjects, increase the social integration of the young person and consolidate the models of aggressive or in other words cruel behavior. In addition to this, I formulate the potential research directions. The article could be of interest to the social researchers of children, adolescents, youth, and human-animal interactions.

молодежи и взаимодействий между людьми и животными.

**Ключевые слова:** животные, социальное окружение, образовательные результаты, взаимодействие людей и животных, образование, академическая успешность, молодежь

**Keywords:** animals, social networks, educational outcomes, human-animal interaction, education, academic achievement, the youth

**Благодарность.** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-78-00069).

**Acknowledgments.** The paper was supported by the Russian Science Foundation (project number № 21-78-00069).

В социальных науках, включая социологию, отношения людей и животных не были в центре внимания на протяжении значительного времени [Никитина, 2019; Kruse, 2002; Peggs, 2013]. Несмотря на то что причин для подобного антропоцентризма в литературе приводится достаточно много, наиболее частым объяснением сложившегося порядка вещей считается представление о том, что животные не способны на участие в символической коммуникации, которую могут вести люди, и потому взаимодействие людей и животных не может выступать в качестве предмета социологии [Кожевникова, 2021; Peggs, 2013; Wilkie, Mckinnon, 2013].

Однако в последние десятилетия социологи, как и другие представители социальных и гуманитарных наук [Arluke, 2002; Bryant, 1979; Franklin, 1999; Irvine, 2007; Wilkie, 2010], подвергли критике упомянутую позицию касательно коммуникативных компетенций животных и стали уделять все больше внимания роли нечеловеческих живых существ в производстве и поддержании социального порядка [Twine, 2010; Никитина, 2019]. Об этом свидетельствует появление междисциплинарного направления *Animal Studies*, секций в международных социологических организациях, посвященных исследованиям животных, а также публикаций в ведущих международных научных журналах, посвященных этой проблематике [Twine, 2010; Никитина, 2019; Kruse, 2002]. В данной статье животные также рассматриваются как полноправные участники социальных отношений наравне с людьми.

Социальное окружение имеет важное значение для человека на всем протяжении его жизни, особенно в ее начале — детстве, отрочестве и юности [Bidart, Lavenu, 2005; Cotterell, 2013; Wrzus et al., 2013]. Те, кто присутствует в жизни человека в этот момент, способны внести вклад в его дальнейшую образовательную, а значит, и профессиональную траекторию, например, повлиять на выбор учебного заведения и успеваемость [Грановеттер, 2009; Dokuka, Valeeva, Yudkevich, 2020; Ivaniushina, Alexandrov, 2018; Wentzel, 1998]. Хотя благодаря отечественным и зарубежным исследованиям достаточно хорошо известны эффекты, оказываемые близким и дальним социальным кругом людей на жизненную траекторию молодого человека [Dokuka et al., 2020; Ivaniushina, Alexandrov, 2018; Wentzel, 1998], другие

типы акторов, в частности животные, в связи с жизненными событиями молодых людей<sup>1</sup> рассматриваются гораздо реже, а потому их воздействие на эту возрастную группу (0—25 лет) не до конца прояснено [Bone, 2013].

Цель данной статьи состоит в том, чтобы интегрировать основные аргументы и источники, которые в дальнейшем могут быть использованы в эмпирических исследованиях для изучения взаимодействия молодых людей и животных. Наш обзор не касается отношений животных и людей среднего и пожилого возраста, поскольку для этих возрастных групп существует широкий спектр функций, в связи с которыми данные отношения важны [Virués-Ortega et al., 2012]<sup>2</sup>. Систематизация литературы, касающейся исследований взаимодействий молодых людей и животных, имеет особую значимость в связи с ориентацией современного мирового и российского социально-научного дискурса на поддержку благополучия и улучшение качества жизни молодежи [Поливанова, 2020]. Синтез научных публикаций такого рода может послужить источником идей для агентов социальной политики, образовательной среды, родителей и других лиц, заинтересованных в поддержке и развитии человеческого потенциала молодых людей.

Статья организована следующим образом. Сначала описывается контекст наиболее плотного взаимодействия с животными (домашний): конкретизируются позитивные и негативные эффекты таких взаимодействий, детерминанты, методы измерения. Затем рассматривается контекст образовательных учреждений (опыты с животными, наблюдение, выращивание, экскурсии в зоопарки, питомники и иные места, где их содержат, элементы зооуголка, терапевтические программы, реализуемые в учебных заведениях), где контакты между животными и молодым человеком тоже присутствуют, однако они более слабые, хоть и могут оказывать определенное влияние. Связи между молодыми людьми и животными в образовательных организациях имеют, как правило, более слабый характер в силу периодичности взаимодействий, их сфокусированности на задачах образовательной деятельности и разреженности внимания и животного, и ребенка на нескольких людях или животных. В заключении формулируются и обсуждаются потенциальные направления эмпирических исследований.

## **Взаимодействие молодых людей и животных в домашних условиях**

Домашние животные нередко воспринимаются молодыми людьми как важные члены социального окружения наряду с родственниками и друзьями. Так, дети семи-восьми лет, описывая значение домашних животных в повседневной жизни, рассказывают, что питомцы поддерживают своих хозяев, когда те болеют или напуганы, повышают уверенность в себе в неловких ситуациях и выступают хранителями разнообразных секретов и тайн [McNicholas, Collis, 2001].

Применительно к познавательному процессу и профессиональной самореализации отношения с домашними животными способны позитивно воздействовать

<sup>1</sup> Под молодыми людьми в этой статье подразумеваются люди до 25 лет (дети, подростки и молодые взрослые) [Lindsay, Thiyagarajah, 2020].

<sup>2</sup> Например, для пожилых людей, которые имеют симптомы старческого слабоумия, деменции, проблемы со зрением и передвижением, животные-компаньоны способны служить источником напоминаний о приеме лекарств, помогать в передвижении и поддержании ежедневной рутины [Virués-Ortega et al., 2012].

на навыки эмоциональной регуляции<sup>3</sup>, готовность брать на себя ответственность за благополучие других и социальную интегрированность<sup>4</sup>. Помимо этого, важно подчеркнуть, что взаимодействие молодежи с домашним животным способно нести не только позитивный и конструктивный характер. Животные могут становиться объектами проявления насилия [Randour et al., 2021]. Более того, жестокое обращение с домашними животными в молодом возрасте выступает важным индикатором психологического неблагополучия человека и может быть связано с его дальнейшими неудачами в построении образовательной и профессиональной траекторий [Longobardi, Badenes-Ribera, 2019; Randour et al., 2021; Wauthier, Williams, 2021].

## **Позитивные эффекты взаимодействия с домашними животными**

### *Развитие навыков эмоциональной регуляции*

Во-первых, взаимодействие с домашним животным юного человека может способствовать формированию навыков эмоционального самовыражения и распознавания эмоций других людей [Sato et al., 2019; Scandurra et al., 2021]. Некоторые исследования показывают, что молодые люди в возрасте от восьми до пятнадцати лет, у которых есть домашние животные и которые сильно привязаны<sup>5</sup> к ним, обладают более высоким уровнем эмпатии, чем дети сходного возраста, не имеющие таковых [Daly, Morton, 2006; Vidović, Štetić, Bratko, 1999]. Развитые эмоциональная регуляция и эмпатия по отношению к другим часто рассматриваются как часть «мягких» навыков [Heckman, Kautz, 2012], связываемых с более высоким уровнем академической успешности [Garg, Levin, Tremblay, 2016; Howse et al., 2003; von Suchodoletz et al., 2009] и востребованных во множестве профессий, в особенности помогающих, таких как врач, учитель, психолог [Jackson-Koku, Grime, 2019], и в сфере услуг [Bahadur, Aziz, Zulfiqar, 2018].

Во-вторых, взаимоотношения между юным человеком и его питомцем помогают при переживании краткосрочных и долгосрочных стрессов, утрат, а также сопровождении лечения психологических и физиологических проблем. Молодые люди разных возрастов используют домашних животных для уменьшения повседневного стресса и чувства тревоги [Covert et al., 1985; Crossman et al., 2020; Kertes et al., 2017]. В случае возникновения физических и ментальных недомоганий домашние животные способны оказать эмоциональную поддержку, например, снижая степень выраженности симптомов депрессии у молодых людей в возрасте от девяти до пятнадцати лет [Jacobson, Chang, 2018]. Также они помогают легче проходить через физические недомогания, поскольку позволяют следить

<sup>3</sup> Под навыками эмоциональной регуляции мы понимаем способность личности управлять своими уровнями переживаемых позитивных и негативных эмоций [Капитоненко, 2007: 269].

<sup>4</sup> Социальная интегрированность — это степень включенности в социальные отношения с другими людьми [Brissette, Cohen, Seeman, 2000].

<sup>5</sup> Привязанность к животному — это отношения между животным и человеком, отвечающие следующим четырем критериям: 1) человек стремится быть на близком физическом расстоянии к животному, особенно в ситуациях сильного стресса или нужды в поддержке; 2) взаимодействие с животным используется как способ дистресса и приносит чувство комфорта, воодушевляет, поддерживает; 3) отношения с животным приносят человеку чувство безопасности, которое позволяет спокойно изучать этот мир, рисковать, развиваться; 4) человек сильно переживает, когда по каким-то причинам не может временно или навсегда поддерживать взаимодействие с животным [Zilcha-Mano, Mikulincer, Shaver, 2011: 345].



за регулярностью приема лекарств, выполнения упражнений и др. [Gupta et al., 2018; McDonald et al., 2021b]. Кроме того, животных нередко используют для привлечения и удержания юных людей двенадцати-семнадцати лет в терапии [Jones, Rice, Cotton, 2019; Trujillo et al., 2020], их даже интегрируют в процесс лечения. Однако полезность подобной практики в сравнении с другими конвенциональными методами терапевтического воздействия пока под вопросом [Chur-Hansen et al., 2014]. Еще один важный аспект взаимоотношений с домашним животным — смерть питомца. Несмотря на то что такое событие становится тяжелым опытом в жизни молодого человека, оно способно дать один из первых опытов столкновения со смертью близкого существа и, как следствие, заложить стратегии переживания утраты [Bowman, 2018; Crawford et al., 2021].

### *Формирование навыков заботы о ближнем и готовности брать ответственность за других*

Важным эффектом взаимодействия молодого человека и домашнего животного является формирование способности нести ответственность за жизнь другого живого существа [Graham et al., 2019; McDonald et al., 2021b; Paul, Serpell, 1996]. Развитие этого качества в юном человеке как результат отношений с животным возможно только если этот человек включен в широкий круг обязанностей по уходу за питомцем — не только в кормление, но еще и в уборку продуктов жизнедеятельности, мониторинг здоровья и др. [Muldoon, Williams, Lawrence, 2015]. Способность ухаживать за кем-то может быть полезной не только в уже упомянутых профессиях помогающего типа и сфере услуг, но и нужна для коммуникации при командной работе, особенно на лидирующих позициях [Miao, Humphrey, Qian, 2016].

### *Усиление социальной интегрированности*

Заведение домашнего животного молодым человеком может расширить его круг контактов со сверстниками и укрепить взаимоотношения с родственниками [Christian et al., 2020; Marsa-Sambola et al., 2017; Paul, Serpell, 1996], таким образом, животные способствуют увеличению социальной интегрированности [Dieñas et al., 2021]. Социальные связи, имеющие позитивный характер, помогают проходить через трудные жизненные ситуации и, как следствие, формировать социальный капитал [Elias, Haynes, 2008; Li et al., 2018; Ng et al., 2005].

Во-первых, исследования показывают, что у юных людей в возрасте от 11 до 19 лет, которые имеют домашних животных, более низкий уровень субъективного чувства одиночества [Black, 2012; Charmaraman, Mueller, Richer, 2020; Marsa-Sambola et al., 2017]. Также у этих людей размер персональной сети поддержки положительно скоррелирован со степенью привязанности к питомцу [Black, 2012]. Более того, исследование Л. Чармараман и коллег показало, что подростки одиннадцати-шестнадцати лет, у которых есть собака, чаще оказывают и получают социальную поддержку онлайн, чем те, кто не имеет собаки, и они чаще пользуются социальными сетями, чем их сверстники без собак [Charmaraman, Mueller, Richer, 2020]. Получается, что наличие домашнего животного дает дополнительные возможности для общения между юными людьми, потому что появляются новые темы для разговоров, обмена впечатлениями и проведения совместного досуга

с животным. Вместе с тем связь наличия домашнего животного и уровня социальной интегрированности не всегда однозначна и устойчива для сложных популяций молодых взрослых, детей и подростков, например бездомных или представителей различного рода меньшинств [Lem et al., 2016; McDonald et al., 2021a; Rhoades, Winetrobe, Rice, 2015]. Как правило, это объясняется тем, что содержание питомцев сопряжено с материальными и нематериальными расходами и другими сложностями [McDonald et al., 2021b]. Так, с питомцем сложнее найти жилье [ibidem], возможности содержания домашних животных сильно различаются в городской и сельской средах [Hawes et al., 2021].

Во-вторых, наличие домашнего животного в семье подразумевает необходимость взаимодействия между родственниками относительно питомца. Часто это не ограничивается распределением обязанностей по уходу и может предполагать общесемейный досуг и совместное времяпрепровождение в заботе о животном (поездки к ветеринару, покупка кормов, игрушек, участие в выставках, соревнованиях, выступлениях). Отмечается, что в семьях, где есть домашние животные, отношения родителей и ребенка воспринимаются последним как более теплые и благополучные [Kerns et al., 2017; Marsa-Sambola et al., 2017; Vidović, Štetić, Bratko, 1999].

## **Негативные эффекты взаимодействия с домашними животными**

### *Закрепление агрессивных и жестоких моделей поведения*

Как уже отмечалось, взаимодействие с домашними животными может иметь не только позитивный характер и, соответственно, не только благостно сказываться на образовательной и профессиональной траекториях юного человека. В психологической и медицинской литературе ситуации насилия и жестокого обращения с животными в молодом возрасте рассматриваются как индикатор пережитого или продолжающегося семейного насилия, в котором ребенок был жертвой либо свидетелем [Randour et al., 2021]. Поскольку темы семейного насилия и детской жестокости сенситивные и сложные для изучения на объемных выборках, в литературе не так много достоверных свидетельств эффектов семейного насилия на вовлеченность ребенка в насилие над животными и описаний последующих образовательных и профессиональных траекторий таких молодых людей [Randour et al., 2021; Wauthier, Williams, 2021]. Большинство имеющихся публикаций основаны на ретроспективных самоотчетах, а также на выборках заключенных или людей, продемонстрировавших другие типы отклоняющегося поведения [ibidem].

Из проведенных исследований известно, что детское насилие над животными обычно проявляется в возрасте шести-семи лет, и дети, совершающие его, во взрослом возрасте более предрасположены к развитию поведенческих проблем и вовлечению в девиантные и делинквентные практики по сравнению с детьми, не применяющими насилие над животными [Randour et al., 2021]. Важно отметить, что делинквентные практики, риск вовлечения в которые выше у людей, осуществивших насилие над животными в детстве, не ограничиваются уголовными преступлениями, но включают и административные правонарушения, например, вождение в нетрезвом виде, нарушение общественного порядка, разведение костра

в неполюженном месте [Longobardi, Badenes-Ribera, 2019; Randour et al., 2021; Wauthier, Williams, 2021]. Более прямых свидетельств, убедительно демонстрирующих различия либо сходства в образовательных результатах, профессиональной деятельности, заработке людей, жестоко обращавшихся с домашними животными в молодом возрасте, в литературе пока не предложено.

### **Детерминанты взаимоотношений домашних животных и молодых людей**

В целом взаимодействие с домашним животным в большей мере имеет сходное влияние на жизнь ребенка вне зависимости от индивидуальной жизненной ситуации, в которой он/она находится, но имеются некоторые факторы, которые опосредуют воздействие домашнего питомца на жизнь ребенка и его/ее образовательные и профессиональные успехи. К этим факторам относятся пол, возраст, структура семьи, социально-экономический статус и этническая принадлежность, тип домашнего животного, количество питомцев и история отношений ближайших родственников с домашними животными.

Во-первых, известно, что девочки развивают более высокий уровень эмпатии во взаимоотношениях с домашними животными, чем мальчики [Barker et al., 2020; Daly, Morton, 2006]. Кроме того, они формируют более глубокую привязанность к своим питомцам [Muldoon, Williams, Currie, 2019; Vidović, Štetić, Bratko, 1999]. Также исследования фиксируют, что распространенность случаев жестокого обращения с животными в детском возрасте выше среди молодых людей мужского пола, нежели женского [Chan, Wong, 2019].

Во-вторых, считается, что со временем привязанность к домашнему животному может снижаться в силу продолжительности пребывания питомца с ребенком (привыкания) [Bodsworth, Coleman, 2001]. В свою очередь, эффект возраста владельца пока остается невыясненным. В частности, ведутся дискуссии относительно линейности и направления связи между данными переменными [Bodsworth, Coleman, 2001; Covert et al., 1985; Muldoon, Williams, Currie, 2019; Vidović, Štetić, Bratko, 1999]. Что касается возраста совершения насильственных действий над животным, то исследователи единодушны в том, что чем раньше ребенок начинает жестоко обращаться со своим питомцем, тем более вероятно его вовлечение в девиантные практики во взрослой жизни [Chan, Wong, 2019].

В-третьих, влияние животных на здоровье человека опосредовано размером и структурой семьи. Дети из семей с одним родителем чувствуют более сильную связь с домашним животным [Bodsworth, Coleman, 2001]. Также и дети, растущие без братьев и сестер, больше привязаны к своим питомцам [Hirschenhauser et al., 2017; Westgarth et al., 2013]. Относительно размера семьи исследования показывают противоречивые результаты: иногда оказывается, что вероятность заведения питомца тем выше, чем семья меньше [Melson, 1988; Rost, Hartmann, 1994], другие же работы демонстрируют обратное [Paul, Serpell, 1992; Westgarth et al., 2010], третьи не обнаруживают связи между данными показателями [Siegel, 1995; Westgarth et al., 2013] или фиксируют ее наличие только для определенных типов питомцев [Purewal et al., 2019]. Кроме того, известно, что вероятность заведения домашнего животного зависит от детского опыта общения с питомцем у взрослых [Kidd, Kidd, 1989; Poresky et al., 1988b]. Например, матери, которые

в детстве имели домашних животных, в большей мере склонны позволять заводить их своим детям [Westgarth et al., 2010].

В-четвертых, сам по себе экономический статус семьи и доход в некоторых исследованиях не связан с заведением домашнего животного и отношениями ребенка с ним [Applebaum, Zsembik, 2020; Paul, Serpell, 1993; Siegel, 1995], в других же демонстрируется, что дети из семей с низким доходом чувствуют более сильную привязанность к домашним животным [Bodsworth, Coleman, 2001]. В то же время социально-экономический статус и доход семей, в которых нет домашних животных, ниже, чем в тех, где они есть [Fifield, Forsyth, 1999; Jacobson, Chang, 2018]. Также нужно повториться, что жилищные условия семьи, такие как размер квартиры/дома, проживание в городской или сельской среде и разрешение на содержание питомцев домовладельцами, могут определять вероятность появления домашнего животного в семье и типы питомцев, которых заводят [Westgarth et al., 2010].

В-пятых, имеются свидетельства, что обращение с животным и привязанность к нему варьируются в зависимости от этнической принадлежности хозяина питомца [Brown, 2002; Siegel, 1995; Westgarth et al., 2010]. Представители европеоидной расы, как правило, более склонны заводить домашних животных вне зависимости от социально-экономического статуса [Mueller et al., 2021]. Обычно склонность к приобретению питомца, привязанность к нему, а также типы заводимых домашних животных связываются с культурными аспектами отношения к ним и практиками взаимодействия с ними, которые характерны для семей с различным расовым и этническим бэкграундом [Brown, 2002; Westgarth et al., 2013].

В-шестых, имеет значение количество питомцев и их тип. Степень эмпатии владельца домашнего животного статистически положительно связана с числом питомцев, которым он/она обладает [Daly, Morton, 2006; Paul, Serpell, 1993]. Пока остается неясным, отличается ли степень привязанности в зависимости от типа домашнего животного (кот, собака, пр.). В некоторых исследованиях такой связи не прослеживается [Melson, Peet, Sparks, 1991], другие же показывают, что обладатели кошек или собак больше привязаны к своим питомцам [Daly, Morton, 2006; Hawkins, Williams, 2017; Hirschenhauser et al., 2017; Rost, Hartmann, 1994]. Это может объясняться более высокой степенью антропоморфности<sup>6</sup> данных существ в сравнении с другими типами домашних животных, такими как земноводные, крысы, насекомые [Hawkins, Williams, 2017; Hirschenhauser et al., 2017; Muldoon et al., 2019].

## **Методы измерения взаимоотношений между животными и людьми**

Для изучения социальных связей домашних животных и человека используется обширный спектр опросных и неопросных методик [Hosey, Melfi, 2014]. Наиболее распространенные можно найти в компендиуме Д. Андерсона [Anderson, 2007], где автор, наряду с готовыми формами анкет, разместил ссылки на примеры других публикаций, в которых эти опросники были апробированы и валидизированы.

Представленные в компендиуме опросники носят как компактный (восемь утверждений) [Poresky et al., 1987], так и расширенный характер (112 вопросов) [Adams, Bonnett, Meek, 1999]. Они направлены на измерение:

<sup>6</sup> Антропоморфность — схожесть внешнего вида животного с человеком по внешним характеристикам.

- 1) восприятия домашнего животного [Poresky et al., 1988a];
- 2) различных аспектов привязанности к домашнему животному [Davis, Juhasz, 1995];
- 3) степени ответственности владельца за благополучие домашнего животного и распределения обязанностей по уходу за ним в семье [Melson, 1988];
- 4) прошлого и текущего опыта обладания домашним животным [Paul, Serpell, 1993];
- 5) ожиданий от взаимодействия с домашним животным [Kidd, Kidd, George, 1992];
- 6) степени тяжести состояния утраты после смерти домашнего животного [Adams et al., 1999];
- 7) отношения родителя(–ей) к общению своего ребенка с животными; других членов семьи и домашнего животного, а также оценки установок перечисленных персон к животным в целом [Guymier et al., 2001; Paul, Serpell, 1993].

Не все из этих опросников подходят для детей и подростков в силу своей длины и сложности. В случае, если опросник приемлем для детей и подростков, анкету заполняет либо родитель за ребенка [Guymier et al., 2001], либо сам ребенок без помощи родителей [Poresky et al., 1987].

Обсудив эффекты взаимоотношений между животными и молодыми людьми в домашнем контексте на жизнь последних, вкратце остановимся на исследованиях их взаимодействия в рамках образовательных организаций. В этой статье взаимоотношениям с животными в ходе учебного процесса уделяется меньше внимания, поскольку в нем социальные связи юных людей и животных менее тесные в силу более редкой периодичности контактов, их сфокусированности на образовательных целях и разреженности внимания и животного, и ребенка на большем количестве людей или животных.

### **Взаимодействие молодых людей и животных в рамках образовательных учреждений**

В образовательном пространстве животные фигурируют как часть учебного процесса (опыты с животными, наблюдение, выращивание); экскурсий в зоопарки, питомники и иные места, где их содержат; элементы зооуголка; терапевтических программ, реализуемых в учебных заведениях [Gee, Fine, McCardle, 2017; Kimble, 2014].

Животных вовлекают в образовательный процесс, потому что они повышают эмпатию учеников, интерес к познавательной деятельности и увеличивают концентрацию на изучаемом материале [Gee, Griffin, McCardle, 2017; Ngai et al., 2021; Reilly, Adesope, Erdman, 2020]. Кроме того, они снижают тревожность, что особенно значимо для младших школьников, которые только входят в незнакомую для них образовательную среду [Dicé et al., 2017; Molnar et al., 2020], и детей с особенностями развития [Anderson, Olson, 2006; Juríčková et al., 2020; Kirnan, Siminerio, Wong, 2016]. Помимо этого, участие животных в образовательных процессах имеет сходство с реальной научной деятельностью и потому способно вовлечь учащихся в нее [Schuttler et al., 2019; Wilson et al., 2011]. Ребенок, подобно игре в куклы, где имитируется структура семьи и взрослой жизни, пробует себя в качестве ученого и проигрывает сценарии научной работы.

Посещение курсов и клубов, предусматривающих заботу о животных со стороны учащихся, воздействует на проэкологическое поведение, повышая позитивные установки по отношению к животным [Barthel et al., 2018; Nicoll, Samuels, Trifone, 2008; Zhang, Zhao, Chen, 2019], в том числе не к самым «популярным», таким как змеи [Ballouard et al., 2012].

Зооуголки, несмотря на то что их содержание в школе или ином учебном заведении сопряжено с некоторыми издержками [Herbert, Lynch, 2017], улучшают климат в классе [Hergovich et al., 2002; Kotrschal, Ortbauer, 2003], поскольку способствуют коммуникации между учащимися: дети вынуждены больше разговаривать друг с другом, так как необходимо распределять обязанности по заботе о животных.

Терапевтические интервенции, реализуемые в школе и направленные на улучшение психологического благополучия учеников, в частности различные виды терапий по развитию социальных навыков, все чаще включают животных [Herbert, Lynch, 2017; O’Haire et al., 2013; Tissen, Hergovich, Spiel, 2007], потому что их присутствие в ходе данных психологических интервенций создает дополнительный повод для взаимодействия молодых людей между собой, а также оказывает успокаивающее влияние на участников процедуры.

На взаимоотношения животных и молодых людей в образовательном контексте также воздействуют разного рода факторы, рассмотренные применительно к домашним животным [Gee, Fine, McCardle, 2017; Kimble, 2014]. Кроме того, взаимодействие с животными в разных контекстах — домашнем и образовательном — может оказывать перекрестное влияние [ibidem]. Однако эти эффекты гораздо менее подробно описаны в литературе, а потому мы не останавливаемся на них в этом обзоре. Относительно методологии нужно отметить, что универсальных стратегий измерения взаимоотношений между животными и людьми в образовательном контексте практически не представлено [Bone, 2013]. В основном инструменты либо заимствуются из шкал для измерения социальных связей между животными и людьми, либо создаются под конкретный исследовательский дизайн [Patel, Whitehouse-Tedd, Ward, 2019].

## Заключение

В статье систематизирована литература, посвященная взаимоотношениям животных и молодых людей. Поскольку на данный момент эти члены социального окружения детей и подростков рассматриваются применительно к их жизненным траекториям гораздо реже, чем люди, наш обзор был направлен на демонстрацию возможных эффектов, которые оказывает такое взаимодействие на жизнь молодого человека. Описаны два типа контекстов, в которых молодые люди обычно сталкиваются с животными: домашний и контекст образовательных учреждений. Эти контексты рассмотрены обособленно, так как взаимодействие людей и животных в них имеет разную частоту, плотность и специфичность.

Контакты между людьми и животными дома, как правило, более плотные, частые и широкие, то есть предусматривают разнообразную палитру совместных активностей, например, совместный сон, игру, уборку. Эти взаимодействия способны, с одной стороны, сказываться на навыках эмоциональной регуляции,

ответственности за других, социальной интегрированности, а с другой — закреплять модели агрессивного и жестокого обращения с окружающим миром. Вместе с тем развитие перечисленных качеств в молодом человеке вследствие отношений с животными опосредуется социально-демографическими характеристиками семьи, юного человека и питомца.

В случае образовательной среды взаимодействие молодых людей и животных может быть менее плотным, чем дома, более редким и суженным — включать ограниченный круг совместных занятий, имеющих отношение к учебной деятельности. В то же время взаимоотношения с животным в образовательном контексте тоже способны снижать тревожность обучающихся, улучшать социальные навыки, развивать проэкологические установки, вовлекать в реальную научную деятельность и развивать навыки заботы. Здесь так же, как и при взаимодействии молодых людей с животными дома, имеют значение различные социально-демографические факторы. К тому же в обоих случаях содержание животных не только предполагает возможности, но и способно нести с собой дополнительные трудности. В первую очередь это, конечно, расходы на содержание животных и уход за ними.

Пока остается неясным, как влияют на академические результаты молодых людей ультракраткосрочные столкновения с животными, такие как членство в клубах (экологических и др.), просмотр шоу / социальных сетей, потребление массовой культуры, где фигурируют животные, участие в благотворительности, а также посещение парков и другие подобные активности. Стоит ли в целом рассматривать эти взаимодействия или случайные столкновения в метро, на улице, в дикой природе как те, что могут оказать влияние на академическую успешность? С одной стороны, учет влияния встреч с дикими насекомыми, тараканами, крысами, голубями и другими представителями городской или сельской фауны не имеет смысла в силу своей ультракраткосрочности и поверхностности. С другой стороны, даже обыденное, казалось бы, столкновение, может стимулировать познавательную деятельность. Например, встретившись с насекомыми (клопами, комарами, мухами, пчелами, осами) в квартире, юный человек может начать искать дополнительную информацию об их жизнедеятельности. Однако ограничится ли данный интерес конкретным столкновением или поспособствует дальнейшему развитию специалиста в области инсектологии, вопрос скорее из области психологии профессиональной деятельности, нежели потенциальный предмет изучения для социолога.

Исследований отечественных ученых, демонстрирующих эффекты взаимодействия с животными на жизненные траектории молодых людей, пока не так много, и они не представляют собой отдельного научного направления [Грабовенко, 2020; Завгороднева, 2016; Теремов, Пятунина, 2015]. Однако рассмотренные в этом обзоре результаты, изложенные в работах зарубежных исследователей, показывают, что это потенциально перспективный научный фокус для эмпирических исследований в русскоязычном академическом пространстве. Во-первых, исследования могут быть направлены на прояснение характера связи между взаимоотношениями молодых россиян и их питомцев и адаптированности первых к социальной жизни, например способности устанавливать и поддерживать социальные связи, выходить из трудных ситуаций, принимать самостоятельные

решения. В случае обнаружения устойчивых статистически значимых причинно-следственных связей между этими переменными могут быть разработаны социальные программы, дающие возможность тем молодым людям, которые еще не имеют домашних животных, приобрести такой опыт. Во-вторых, может быть проанализировано воздействие отношений с животными на образовательные и профессиональные результаты молодых людей, проходящих обучение в российских образовательных организациях. Если будет установлено, что присутствие животных в образовательных пространствах способно повышать академическую и профессиональную успешность учащихся, то образовательным организациям может быть рекомендовано усилить вовлеченность животных в учебный процесс. В-третьих, может быть проведено исследование синергетических эффектов взаимодействия юных людей и животных в домашнем контексте и контексте образовательных учреждений, поскольку есть вероятность, что возникновение и последующее развитие взаимоотношений между молодыми людьми и животными в нескольких средах одновременно достаточно для существенного улучшения качества жизни молодого человека.

### Список литературы (References)

- Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. С. 31—50. URL: [https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204981/ecsoc\\_t10\\_n4.pdf](https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204981/ecsoc_t10_n4.pdf) (дата обращения: 19.08.2022).
- Granovetter M. (2009) The Strength of Weak Ties (trans. by Zoya Kotelnikova). *Economic Sociology*. Vol. 10. No. 4. P. 31—50. URL: [https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204981/ecsoc\\_t10\\_n4.pdf](https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204981/ecsoc_t10_n4.pdf) (accessed: 19.08.2022). (In Russ.)
- Грабовенко М. В. Практика воспитания и личностного развития детей и подростков в процессе общения с животными // Поволжский педагогический вестник. 2020. Т. 8. № 3 (28). С. 77—81.
- Grabovenko M.V (2020) Education and Personal Development of Children and Adolescents through Dealing with Animals. *Volga Region Pedagogical Bulletin*. Vol. 8. No. 3 (28). P. 77—81.
- Завгороднева Н. С. Развитие инклюзивного экологического образования детей с ограниченными возможностями здоровья средствами зоопарка на примере виртуальной экскурсии // Экологический мониторинг и биоразнообразии. 2016. Т. 12. № 2. С. 124—128.
- Zavgorodneva N. S. (2016) The Development of Inclusive Ecological Education of Handicapped Children by Means of a Zoo Park on the Example of a Virtual Excursion. *Environmental Monitoring and Biodiversity*. Vol. 12. No. 2. P. 124—128.
- Капитоненко Н. В. Эмоциональная регуляция поведения: области изучения, компоненты и функции // Психологическая наука и образование. 2007. № 5. С. 267—274.
- Kapitonenko N. V. (2007) Emotional Regulation of Behavior: Sphere of Investigation, Components and Functions. *Psychological Science and Education*. No. 5. P. 267—274.



Кожевникова М. Проблема антропоморфизации в исследовании нечеловеческих животных // Этнографическое обозрение. 2021. № 1. С. 30—40. <https://doi.org/10.31857/S086954150013592-1>.

Kozhevnikova M. (2021) The Problem of Anthropomorphization in the Study of Non-Human Animals. *Etnograficheskoe Obozrenie*. No. 1. P. 30—40. <https://doi.org/10.31857/S086954150013592-1>. (In Russ.)

Никитина Е. Б. Исследования животных: непослушные заметки по краям // Социология власти. 2019. Т. 31. № 3. С. 1—30. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-3-8-30>.

Nikitina E. B. (2019) Animal Studies: Disobedient Notes Around the Edges. *Sociology of Power*. Vol. 31. No. 3. P. 1—30. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-3-8-30>. (In Russ.)

Поливанова К. Н. Новый образовательный дискурс: благополучие школьников // Культурно-историческая психология. 2020. Т. 16. № 4. С. 26—34. <https://doi.org/10.17759/chp.2020160403>.

Polivanova K. N. (2020) New Educational Discourse: The Well-Being of Schoolchildren. *Cultural-Historical Psychology*. Vol. 16. No. 4. P. 26—34. <https://doi.org/10.17759/chp.2020160403>. (In Russ.)

Теремов А. В., Пятунина С. К. Изучение природы с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования // Педагогическое образование и наука. 2015. № 3. С. 34—38.

Teremov A. V., Pyatunina S. K. (2015) Study of the Nature with Preschool Children under the Conditions of Implementation of the Federal State Educational Standard (FSES) of Preschool Education. *Pedagogical Education and Science*. No. 3. P. 34—38.

Adams C. L., Bonnett B. N., Meek A. H. (1999) Owner Response to Companion Animal Death: Development of a Theory and Practical Implications. *The Canadian Veterinary Journal*. Vol. 40. No. 1. P. 33—39.

Anderson D. C. (2007) *Assessing the Human-Animal Bond: A Compendium of Actual Measures*. West Lafayette, IN: Purdue University Press.

Anderson K., Olson M. (2006) The Value of a Dog in a Classroom of Children with Severe Emotional Disorders. *Anthrozoös*. Vol. 19. No. 1. P. 35—49. <https://doi.org/10.2752/089279306785593919>.

Applebaum J. W., Zsembik B. A. (2020) Pet Attachment in the Context of Family Conflict. *Anthrozoös*. Vol. 33. No. 3. P. 361—370. <https://doi.org/10.1080/08927936.2020.1746524>.

Arluke A. (2002) A Sociology of Sociological Animal Studies. *Society and Animals*. Vol. 10. No. 4. P. 369—374. <https://doi.org/10.1163/156853002320936827>.

Bahadur W., Aziz S., Zulfiqar, S. (2018) Effect of Employee Empathy on Customer Satisfaction and Loyalty during Employee-Customer Interactions: The Mediating Role of Customer Affective Commitment and Perceived Service Quality. *Cogent Business Management*. Vol. 5. No. 1. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1491780>.

Ballouard J.M., Provost G., Barre D., Bonnet X. (2012) Influence of a Field Trip on the Attitude of Schoolchildren toward Unpopular Organisms: An Experience with Snakes. *Journal of Herpetology*. Vol. 46. No. 3. P. 423—428. <https://doi.org/10.1670/11-118>.

Barker S. B., Schubert C. M., Barker R. T., Kuo S. IC., Kendle, K. S., Dick D. M. (2020) The Relationship Between Pet Ownership, Social Support, and Internalizing Symptoms in Students from the First to Fourth Year of College. *Applied Developmental Science*. Vol. 24. No. 3. P. 279—293. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1476148>.

Barthel S., Belton S., Raymond C. M., Giusti M. (2018) Fostering Children's Connection to Nature Through Authentic Situations: The Case of Saving Salamanders at School. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00928>.

Bidart C., Lavenu D. (2005) Evolutions of Personal Networks and Life Events. *Social Networks*. Vol. 27. No. 4. P. 359—376. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.11.003>.

Black K. (2012) The Relationship Between Companion Animals and Loneliness Among Rural Adolescents. *Journal of Pediatric Nursing*. Vol. 27. No. 2. P. 103—112. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2010.11.009>.

Bodsworth W., Coleman G. (2001) Child — Companion Animal Attachment Bonds in Single and Two-Parent Families. *Anthrozoös*. Vol. 14. No. 4. P. 216—223. <https://doi.org/10.2752/089279301786999391>.

Bone J. (2013) The Animal as Fourth Educator: A Literature Review of Animals and Young Children in Pedagogical Relationships. *Australasian Journal of Early Childhood*. Vol. 38. No. 2. P. 57—64. <https://doi.org/10.1177/183693911303800208>.

Bowman MA. S. (2018) Final Gifts: Lessons Children Can Learn from Dogs About End-of-Life, Loss, and Grief. In: Jalongo M. R. (ed.) *Children, Dogs and Education: Caring For, Learning Alongside, and Gaining Support from Canine Companions*. P. 131—149. Cham: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-77845-7\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-77845-7_7).

Brissette I., Cohen S., Seeman T. E. (2000) Measuring Social Integration and Social Networks. In: Cohen S., Underwood L. G., Gottlieb B. H. *Social Support Measurement and Intervention: A Guide for Health and Social Scientists*. P. 53—85. New York, NY: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195126709.003.0003>.

Brown S. (2002) Ethnic Variations in Pet Attachment among Students at an American School of Veterinary Medicine. *Society & Animals*. Vol. 10. No. 3. P. 249—266. <https://doi.org/10.1163/156853002320770065>.

Bryant C. D. (1979) The Zoological Connection: Animal-Related Human Behavior. *Social Forces*. Vol. 58. No. 2. P. 399—421. <https://doi.org/10.2307/2577598>.

Chan H. C. (O.), Wong R. W. Y. (2019) Childhood and Adolescent Animal Cruelty and Subsequent Interpersonal Violence in Adulthood: A Review of the Literature. *Aggression and Violent Behavior*. Vol. 48. P. 83—93. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.08.007>.

Charmaraman L., Mueller M. K., Richer A. M. (2020) The Role of Pet Companionship in Online and Offline Social Interactions in Adolescence. *Child and Adolescent Social Work Journal*. Vol. 37. P. 589—599. <https://doi.org/10.1007/s10560-020-00707-y>.

Christian H., Mitrou F., Cunneen R., Zubrick S. R. (2020) Pets Are Associated with Fewer Peer Problems and Emotional Symptoms, and Better Prosocial Behavior: Findings from the Longitudinal Study of Australian Children. *The Journal of Pediatrics*. Vol. 220. P. 200—206. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.01.012>.

Chur-Hansen A., McArthur M., Winefield H., Hanieh E., Hazel S. (2014) Animal-Assisted Interventions in Children's Hospitals: A Critical Review of the Literature. *Anthrozoös*. Vol. 27. No. 1. P. 5—18. <https://doi.org/10.2752/175303714X13837396326251>.

Cotterell J. (2013) *Social Networks in Youth and Adolescence* (2nd ed.). London: Routledge.

Covert A. M., Whiren A. P., Keith J., Nelson C. (1985) Pets, Early Adolescents, and Families. *Marriage & Family Review*. Vol. 8. No. 3—4. P. 95—108. [https://doi.org/10.1300/J002v08n03\\_08](https://doi.org/10.1300/J002v08n03_08).

Crawford K. M., Zhu Y., Davis K. A., Ernst S., Jacobsson K., Nishimi K., Smith A., Dunn E. C. (2021) The Mental Health Effects of Pet Death during Childhood: Is It Better to Have Loved and Lost Than Never to Have Loved at All? *European Child & Adolescent Psychiatry*. Vol. 30. No. 10. P. 1547—1558. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01594-5>.

Crossman M. K., Kazdin A. E., Matijczak A., Kitt E. R., Santos L. R. (2020) The Influence of Interactions with Dogs on Affect, Anxiety, and Arousal in Children. *Journal of Clinical Child Adolescent Psychology*. Vol. 49. No. 4. P. 535—548. <https://doi.org/10.1080/15374416.2018.1520119>.

Daly B., Morton L. L. (2006) An Investigation of Human-Animal Interactions and Empathy as Related to Pet Preference, Ownership, Attachment, and Attitudes in Children. *Anthrozoös*. Vol. 19. No. 2. P. 113—127. <https://doi.org/10.2752/089279306785593801>.

Davis J. H., Juhasz A. M. (1995) The Preadolescent/Pet Friendship Bond. *Anthrozoös*. Vol. 8. No. 2. P. 78—82. <https://doi.org/10.2752/089279395787156437>.

Dicé F., Santaniello A., Gerardi F., Menna L. F., Freda M. F. (2017) Meeting the Emotion! Application of the Federico II Model for Pet Therapy to an Experience of Animal Assisted Education (AAE) in a Primary School. *Pratiques Psychologiques*. Vol. 23. No. 4. P. 455—463. <https://doi.org/10.1016/j.prps.2017.03.001>.

Dokuka S., Valeeva D., Yudkevich M. (2020) How Academic Achievement Spreads: The Role of Distinct Social Networks in Academic Performance Diffusion. *PLOS ONE*. Vol. 15. No. 7. P. e0236737. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236737>.

Dueñas J.-M., González L., Forcada R., Duran-Bonavila S., Ferre-Rey G. (2021) The Relationship Between Living with Dogs and Social and Emotional Development in Childhood. *Anthrozoös*. Vol. 34. No. 1. P. 33—46. <https://doi.org/10.1080/08927936.2021.1878680>.

Elias M. J., Haynes N. M. (2008) Social Competence, Social Support, and Academic Achievement in Minority, Low-Income, Urban Elementary School Children. *School Psychology Quarterly*. Vol. 23. No. 4. P. 474—495. <https://doi.org/10.1037/1045-3830.23.4.474>.

Fifield S. J., Forsyth D. K. (1999) A Pet for the Children: Factors Related to Family Pet Ownership. *Anthrozoös*. Vol. 12. No. 1. P. 24—32. <https://doi.org/10.2752/089279399787000426>.

Franklin A. (1999) *Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity*. Los Angeles, CA: SAGE.

Garg R., Levin E., Tremblay L. (2016) Emotional Intelligence: Impact on Post-Secondary Academic Achievement. *Social Psychology of Education*. Vol. 19. No. 3. P. 627—642. <https://doi.org/10.1007/s11218-016-9338-x>.

Gee N. R., Fine A. H., McCardle P. (2017) *How Animals Help Students Learn: Research and Practice for Educators and Mental-Health Professionals*. New York, NY: Routledge.

Gee N. R., Griffin J. A., McCardle P. (2017) Human-Animal Interaction Research in School Settings: Current Knowledge and Future Directions. *AERA Open*. Vol. 3. No. 3. P. 1—9. <https://doi.org/10.1177/2332858417724346>.

Graham T. M., Milaney K. J., Adams C. L., Rock M. J. (2019) Are Millennials Really Picking Pets Over People? Taking a Closer Look at Dog Ownership in Emerging Adulthood. *Canadian Journal of Family and Youth/Le Journal Canadien de Famille et de La Jeunesse*. Vol. 11. No. 1. P. 202—227. <https://doi.org/10.29173/cjfy29454>.

Gupta O. T., Wiebe D. J., Pyatak E. A., Beck A. M. (2018) Improving Medication Adherence in the Pediatric Population Using Integrated Care of Companion Animals. *Patient Education and Counseling*. Vol. 101. No. 10. P. 1876—1878. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.05.015>.

Guymier E. C., Mellor D., Luk E. S. L., Pearse V. (2001) The Development of a Screening Questionnaire for Childhood Cruelty to Animals. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. Vol. 42. No. 8. P. 1057—1063. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00805>.

Hawes S. M., Hupe T. M., Gandenberger J., Saucedo M., Arrington A., Morris K. N. (2021) Detailed Assessment of Pet Ownership Rates in Four Underserved Urban and Rural Communities in the United States. *Journal of Applied Animal Welfare Science*. Vol. 25. No. 4. P. 326—337. <https://doi.org/10.1080/10888705.2021.1871736>.

Hawkins R. D., Williams J. M. (2017) Childhood Attachment to Pets: Associations Between Pet Attachment, Attitudes to Animals, Compassion, and Humane Behaviour. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 14. No. 5. P. 490—505. <https://doi.org/10.3390/ijerph14050490>.

Heckman J. J., Kautz T. (2012) Hard Evidence on Soft Skills. *Labour Economics*. Vol. 19. No. 4. P. 451—464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>.

Herbert S., Lynch J. (2017) Classroom Animals Provide More Than Just Science Education. *Science & Education*. Vol. 26. No. 1—2. P. 107—123. <https://doi.org/10.1007/s11191-017-9874-6>.

Hergovich A., Monshi B., Semmler G., Zieglmayer V. (2002) The Effects of the Presence of a Dog in the Classroom. *Anthrozoös*. Vol. 15. No. 1. P. 37—50. <https://doi.org/10.2752/089279302786992775>.

Hirschenhauser K., Meichel Y., Schmalzer S., Beetz A. M. (2017) Children Love Their Pets: Do Relationships between Children and Pets Co-Vary with Taxonomic Order, Gender, and Age? *Anthrozoös*. Vol. 30. No. 3. P. 441—456. <https://doi.org/10.1080/08927936.2017.1357882>.

Hosey G., Melfi V. (2014) Human-Animal Interactions, Relationships and Bonds: A Review and Analysis of the Literature. *International Journal of Comparative Psychology*. Vol. 27. No. 1. P. 117—142. <https://doi.org/10/gmfxfdf>.

Howse R. B., Calkins S. D., Anastopoulos A. D., Keane S. P., Shelton T. L. (2003) Regulatory Contributors to Children's Kindergarten Achievement. *Early Education and Development*. Vol. 14. No. 1. P. 101—120. [https://doi.org/10.1207/s15566935eed1401\\_7](https://doi.org/10.1207/s15566935eed1401_7).

Irvine L. (2007) The Question of Animal Selves: Implications for Sociological Knowledge and Practice. *Qualitative Sociology Review*. Vol. 3. No. 1. P. 5—22. <https://doi.org/10.18778/1733-8077.3.1.02>.

Ivaniushina, V., Alexandrov, D. (2018) Anti-School Attitudes, School Culture and Friendship Networks. *British Journal of Sociology of Education*. Vol. 39. No. 5. P. 698—716. <https://doi.org/10.1080/01425692.2017.1402674>.

Jackson-Koku G., Grime P. (2019) Emotion Regulation and Burnout in Doctors: A Systematic Review. *Occupational Medicine*. Vol. 69. No. 1. P. 9—21. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqz004>.

Jacobson K. C., Chang L. (2018) Associations Between Pet Ownership and Attitudes Toward Pets with Youth Socioemotional Outcomes. *Frontiers in Psychology*. Vol. 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02304>.

Jones M. G., Rice S. M., Cotton S. M. (2019) Incorporating Animal-Assisted Therapy in Mental Health Treatments for Adolescents: A Systematic Review of Canine Assisted Psychotherapy. *PLOS ONE*. Vol. 14. No. 1. P. e0210761. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210761>.

Juríčková V., Bozděchová A., Machová K., Vadroňová M. (2020) Effect of Animal Assisted Education with a Dog Within Children with ADHD in the Classroom: A Case Study. *Child and Adolescent Social Work Journal*. Vol. 37. No. 6. P. 677—684. <https://doi.org/10.1007/s10560-020-00716-x>.

Kerns K. A., Koehn A. J., van Dulmen M. H. M., Stuart-Parrigon K. L., Coifman K. G. (2017) Preadolescents' Relationships with Pet Dogs: Relationship Continuity and Associations with Adjustment. *Applied Developmental Science*. Vol. 21. No. 1. P. 67—80. <https://doi.org/10.1080/10888691.2016.1160781>.

Kertes D. A., Liu J., Hall N. J., Hadad N. A., Wynne C. D. L., Bhatt S. S. (2017) Effect of Pet Dogs on Children's Perceived Stress and Cortisol Stress Response. *Social Development*. Vol. 26. No. 2. P. 382—401. <https://doi.org/10.1111/sode.12203>.

Kidd A. H., Kidd R. M. (1989) Factors in Adults' Attitudes toward Pets. *Psychological Reports*. Vol. 65. No. 3. P. 903—910. <https://doi.org/10.2466/pr0.1989.65.3.903>.

Kidd A. H., Kidd R. M., George C. C. (1992) Veterinarians and Successful Pet Adoptions. *Psychological Reports*. Vol. 71. No. 2. P. 551—557. <https://doi.org/10.2466/pr0.1992.71.2.551>.

Kimble G. (2014) Children Learning about Biodiversity at an Environment Centre, a Museum and at Live Animal Shows. *Studies in Educational Evaluation*. Vol. 41. P. 48—57. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.09.005>.

Kirnan J., Siminerio S., Wong Z. (2016) The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading Skills and Attitudes toward Reading. *Early Childhood Education Journal*. Vol. 44. No. 6. P. 637—651. <https://doi.org/10.1007/s10643-015-0747-9>.

Kotrschal K., Ortbauer B. (2003) Behavioral Effects of the Presence of a Dog in a Classroom. *Anthrozoös*. Vol. 16. No. 2. P. 147—159. <https://doi.org/10.2752/089279303786992170>.

Kruse C. (2002) Social Animals: Animal Studies and Sociology. *Society & Animals*. Vol. 10. No. 4. P. 375—379. <https://doi.org/10.1163/156853002320936836>.

Lem M., Coe J. B., Haley D. B., Stone E., O'Grady W. (2016) The Protective Association between Pet Ownership and Depression among Street-Involved Youth: A Cross-sectional Study. *Anthrozoös*. Vol. 29. No. 1. P. 123—136. <https://doi.org/10.1080/08927936.2015.1082772>.

Longobardi, C., Badenes-Ribera, L. (2019) The Relationship between Animal Cruelty in Children and Adolescent and Interpersonal Violence: A Systematic Review. *Aggression and Violent Behavior*. Vol. 46. P. 201—211. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.09.001>.

Li J., Han X., Wang W., Sun G., Cheng Z. (2018) How Social Support Influences University Students' Academic Achievement and Emotional Exhaustion: The Mediating Role of Self-Esteem. *Learning and Individual Differences*. Vol. 61. P. 120—126. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.11.016>.

Lindsay S., Thiyagarajah K. (2020) The Impact of Service Dogs on Children, Youth and Their Families: A Systematic Review. *Disability and Health Journal*. Vol. 14. No. 3. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.101012>.

Marsa-Sambola F., Williams J., Muldoon J., Lawrence A., Connor M., Currie C. (2017) Quality of Life and Adolescents' Communication with Their Significant Others (Mother, Father, and Best Friend): The Mediating Effect of Attachment to Pets. *Attachment & Human Development*. Vol. 19. No. 3. P. 278—297. <https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1293702>.

McDonald S. E., Matijczak A., Nicotera N., Applebaum J. W., Kremer L., Natoli G., O'Ryan R., Booth L. J., Murphy J. L., Tomlinson C. A., Kattari S. K. (2021a) "He Was Like, My Ride or Die": Sexual and Gender Minority Emerging Adults' Perspectives on Living With Pets During the Transition to Adulthood. *Emerging Adulthood*. Vol. 10. No. 4. P. 1008—1025. <https://doi.org/10.1177/21676968211025340>.

McDonald S. E., Murphy J. L., Tomlinson C. A., Matijczak A., Applebaum J. W., Wike T. L., Kattari S. K. (2021b) Relations Between Sexual and Gender Minority Stress, Personal Hardiness, and Psychological Stress in Emerging Adulthood: Examining Indirect Effects via Human-Animal Interaction. *Youth Society*. Vol. 54. No. 2. P. 240—261. <https://doi.org/10.1177/0044118X21990044>.

McNicholas J., Collis G. M. (2001) Children's Representations of Pets in Their Social Networks. *Child: Care, Health and Development*. Vol. 27. No. 3. P. 279—294. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2214.2001.00202.x>.

Melson G. F. (1988) Availability of and Involvement with Pets by Children: Determinants and Correlates. *Anthrozoös*. Vol. 2. No. 1. P. 45—52. <https://doi.org/10.2752/089279389787058181>.

Melson G. F., Peet S., Sparks C. (1991) Children's Attachment to Their Pets: Links to Socio-Emotional Development. *Children's Environments Quarterly*. Vol. 8. No. 2. P. 55—65.

Miao C., Humphrey R. H., Qian S. (2016) Leader Emotional Intelligence and Subordinate Job Satisfaction: A Meta-Analysis of Main, Mediator, and Moderator Effects. *Personality and Individual Differences*. Vol. 102. P. 13—24. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.056>.

Molnar M., Ivancsik R., DiBlasio B., Nagy I. (2020) Examining the Effects of Rabbit-Assisted Interventions in the Classroom Environment. *Animals*. Vol. 10. No. 1. <https://doi.org/10.3390/ani10010026>.

Mueller M. K., King E. K., Callina K., Dowling-Guyer S., McCobb E. (2021) Demographic and Contextual Factors as Moderators of the Relationship between Pet Ownership and Health. *Health Psychology and Behavioral Medicine*. Vol. 9. No. 1. P. 701—723. <https://doi.org/10.1080/21642850.2021.1963254>.

Muldoon J. C., Williams J. M., Currie C. (2019) Differences in Boys' and Girls' Attachment to Pets in Early-Mid Adolescence. *Journal of Applied Developmental Psychology*. Vol. 62. P. 50—58. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2018.12.002>.

Muldoon J. C., Williams J. M., Lawrence A. (2015) 'Mum Cleaned It and I Just Played with It': Children's Perceptions of Their Roles and Responsibilities in the Care of Family Pets. *Childhood*. Vol. 22. No. 2. P. 201—216. <https://doi.org/10.1177/0907568214524457>.

Muldoon J. C., Williams J. M., Lawrence A., Currie C. (2019) The Nature and Psychological Impact of Child/Adolescent Attachment to Dogs Compared with Other Companion Animals. *Society & Animals*. Vol. 27. No. 1. P. 55—74. <https://doi.org/10.1163/15685306-12341579>.

Ng T. W. H., Eby L. T., Sorensen K. L., Feldman D. C. (2005) Predictors of Objective and Subjective Career Success: A Meta-Analysis. *Personnel Psychology*. Vol. 58. No. 2. P. 367—408. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00515.x>.

Ngai J., Yu R., Chau K., Wong P. (2021) Effectiveness of a School-Based Programme of Animal-Assisted Humane Education in Hong Kong for the Promotion of Social and

Emotional Learning: A Quasi-Experimental Pilot Study. *PLOS ONE*. Vol. 16. No. 3. P. e0249033. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249033>.

Nicoll K., Samuels W., Trifone C. (2008) An In-Class, Humane Education Program Can Improve Young Students' Attitudes toward Animals. *Society & Animals*. Vol. 16. No. 1. P. 45—60. <https://doi.org/10.1163/156853008X269881>.

O'Haire M. E., McKenzie S. J., McCune S., Slaughter V. (2013) Effects of Animal-Assisted Activities with Guinea Pigs in the Primary School Classroom. *Anthrozoös*. Vol. 26. No. 3. P. 445—458. <https://doi.org/10.2752/175303713X13697429463835>.

Patel F., Whitehouse-Tedd K., Ward S. (2019) Redefining human-animal relationships: An evaluation of methods to allow their empirical measurement in zoos. *Animal Welfare*. Vol. 28. No. 3. P. 247—259. <https://doi.org/10/gg6qvd>.

Paul E. S., Serpell J. (1992) Why Children Keep Pets: The Influence of Child and Family Characteristics. *Anthrozoös*. Vol. 5. No. 4. P. 231—244. <https://doi.org/10.2752/089279392787011340>.

Paul E. S., Serpell J. A. (1993) Childhood Pet Keeping and Humane Attitudes in Young Adulthood. *Animal Welfare*. Vol. 2. No. 4. P. 321—337.

Paul E., Serpell J. (1996) Obtaining a New Pet Dog: Effects on Middle Childhood Children and Their Families. *Applied Animal Behaviour Science*. Vol. 47. No. 1—2. P. 17—29. [https://doi.org/10.1016/0168-1591\(95\)01007-6](https://doi.org/10.1016/0168-1591(95)01007-6).

Peggs K. (2013) The 'Animal-Advocacy Agenda': Exploring Sociology for Non-Human Animals. *The Sociological Review*. Vol. 61. No. 3. P. 591—606. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12065>.

Poresky R. H., Hendrix C., Mosier J. E., Samuelson M. L. (1987) The Companion Animal Bonding Scale: Internal Reliability and Construct Validity. *Psychological Reports*. Vol. 60. No. 3. P. 743—746. <https://doi.org/10.2466/pr0.1987.60.3.743>.

Poresky R. H., Hendrix C., Mosier J. E., Samuelson M. L. (1988a) The Companion Animal Semantic Differential: Long and Short Form Reliability and Validity. *Educational and Psychological Measurement*. Vol. 48. No. 1. P. 255—260. <https://doi.org/10.1177/001316448804800131>.

Poresky R. H., Hendrix C., Mosier J. E., Samuelson M. L. (1988b) Young Children's Companion Animal Bonding and Adults' Pet Attitudes: A Retrospective Study. *Psychological Reports*. Vol. 62. No. 2. P. 419—425. <https://doi.org/10.2466/pr0.1988.62.2.419>.

Purewal R., Christley R., Kordas K., Joinson C., Meints K., Gee N., Westgarth, C. (2019) Socio-Demographic Factors Associated with Pet Ownership amongst Adolescents from a UK Birth Cohort. *BMC Veterinary Research*. Vol. 15. <https://doi.org/10.1186/s12917-019-2063-x>.

Randour M. L., Smith-Blackmore M., Blaney N., DeSousa D., Guyony A.-A. (2021) Animal Abuse as a Type of Trauma: Lessons for Human and Animal Service Professionals. *Trauma, Violence, & Abuse*. Vol. 22. No. 2. P. 277—288. <https://doi.org/10.1177/1524838019843197>.



Reilly K. M., Adesope O. O., Erdman P. (2020) The Effects of Dogs on Learning: A Meta-Analysis. *Anthrozoös*. Vol. 33. No. 3. P. 339—360. <https://doi.org/10.1080/08927936.2020.1746523>.

Rhoades H., Winetrobe H., Rice E. (2015) Pet Ownership Among Homeless Youth: Associations with Mental Health, Service Utilization and Housing Status. *Child Psychiatry & Human Development*. Vol. 46. P. 237—244. <https://doi.org/10.1007/s10578-014-0463-5>.

Rost D. H., Hartmann A. H. (1994) Children and Their Pets. *Anthrozoös*. Vol. 7. No. 4. P. 242—254. <https://doi.org/10.2752/089279394787001709>.

Sato R., Fujiwara T., Kino S., Nawa N., Kawachi I. (2019) Pet Ownership and Children's Emotional Expression: Propensity Score-Matched Analysis of Longitudinal Data from Japan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 16. No. 5. P. <https://doi.org/10.3390/ijerph16050758>.

Scandurra C., Santaniello A., Cristiano S., Mezza F., Garzillo S., Pizzo R., Bochicchio V. (2021) An Animal-Assisted Education Intervention with Dogs to Promote Emotion Comprehension in Primary School Children — The Federico II Model of Healthcare Zooanthropology. *Animals*. Vol. 11. No. 6. P. 1504—1516. <https://doi.org/10.3390/ani11061504>.

Schuttler S., Sears R., Orendain I., Khot R., Rubenstein D., Rubenstein N., Dunn R., Baird E., Kandors K., O'Brien T., Kays R. (2019) Citizen Science in Schools: Students Collect Valuable Mammal Data for Science, Conservation, and Community Engagement. *BioScience*. Vol. 69. No. 1. P. 69—79. <https://doi.org/10.1093/biosci/biy141>.

Siegel J. M. (1995) Pet Ownership and the Importance of Pets Among Adolescents. *Anthrozoös*. Vol. 8. No. 4. P. 217—223. <https://doi.org/10.2752/089279395787156572>.

Tissen I., Hergovich A., Spiel C. (2007) School-Based Social Training with and without Dogs: Evaluation of Their Effectiveness. *Anthrozoös*. Vol. 20. No. 4. P. 365—373. <https://doi.org/10.2752/089279307X245491>.

Trujillo K. C., Kuo G. T., Hull M. L., Ingram A. E., Thurstone C. C. (2020) Engaging Adolescents: Animal Assisted Therapy for Adolescents with Psychiatric and Substance Use Disorders. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 29. P. 307—314. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01590-7>.

Twine R. (2010) *Animals as Biotechnology: Ethics, Sustainability and Critical Animal Studies*. Abingdon, Oxfordshire: Routledge.

Vidović V. V., Štetić V. V., Bratko D. (1999) Pet Ownership, Type of Pet and Socio-Emotional Development of School Children. *Anthrozoös*. Vol. 12. No. 4. P. 211—217. <https://doi.org/10.2752/089279399787000129>.

Virúés-Ortega J., Pastor-Barriuso R., Castellote J. M., Población A., de Pedro-Cuesta J. (2012) Effect of Animal-Assisted Therapy on the Psychological and Functional Status of Elderly Populations and Patients with Psychiatric Disorders: A Meta-Analysis. *Health Psychology Review*. Vol. 6. No. 2. P. 197—221. <https://doi.org/10.1080/17437199.2010.534965>.

von Suchodoletz A., Trommsdorff G., Heikamp T., Wieber F., Gollwitzer P.M. (2009) Transition to School: The Role of Kindergarten Children's Behavior Regulation. *Learning and Individual Differences*. Vol. 19. No. 4. P. 561—566. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.07.006>.

Wauthier, L. M., Williams, J. M. (2021) Understanding and Conceptualizing Childhood Animal Harm: A Meta-Narrative Systematic Review. *Anthrozoös*. Vol. 35. No. 2. P. 165—202. <https://doi.org/10.1080/08927936.2021.1986262>.

Wentzel K. R. (1998) Social Relationships and Motivation in Middle School: The Role of Parents, Teachers, and Peers. *Journal of Educational Psychology*. Vol. 90. No. 2. P. 202—209. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.90.2.202>.

Westgarth C., Boddy L. M., Stratton G., German A. J., Gaskell R. M., Coyne K. P., Bundred P., McCune S., Dawson S. (2013) Pet Ownership, Dog Types and Attachment to Pets in 9—10 Year Old Children in Liverpool, UK. *BMC Veterinary Research*. Vol. 9. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-9-102>.

Westgarth C., Heron J., Ness A. R., Bundred P., Gaskell R. M., Coyne K. P., German A. J., McCune S., Dawson S. (2010) Family Pet Ownership during Childhood: Findings from a UK Birth Cohort and Implications for Public Health Research. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 7. No. 10. P. 3704—3729. <https://doi.org/10.3390/ijerph7103704>.

Wilkie R. (2010) *Livestock/Deadstock: Working with Farm Animals from Birth to Slaughter*. Philadelphia, PA: Temple University Press.

Wilkie R., Mckinnon A. (2013) George Herbert Mead on Humans and Other Animals: Social Relations after Human-Animal Studies. *Sociological Research Online*. Vol. 18. No. 4. P. 182—194. <https://doi.org/10.5153/sro.3191>.

Wilson K., Trainin G., Laughridge V., Brooks D., Wickless M. (2011) Our Zoo To You: The Link Between Zoo Animals in the Classroom and Science and Literacy Concepts in First-Grade Journal Writing. *Journal of Early Childhood Literacy*. Vol. 11. No. 3. P. 275—306. <https://doi.org/10.1177/1468798410390898>.

Wrzus C., Hänel M., Wagner J., Neyer F. J. (2013) Social Network Changes and Life Events Across the Life Span: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*. Vol. 139. No. 1. P. 53—80. <https://doi.org/10.1037/a0028601>.

Zhang W., Zhao J., Chen J. (2019) Nature Club Programs Promote Adolescents' Conservation Behavior: A Case Study in China's Biodiversity Hotspot. *The Journal of Environmental Education*. Vol. 50. No. 3. P. 192—207. <https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1604480>.

Zilcha-Mano S., Mikulincer M., Shaver P. R. (2011) An Attachment Perspective on Human — Pet Relationships: Conceptualization and Assessment of Pet Attachment Orientations. *Journal of Research in Personality*. Vol. 45. No. 4. P. 345—357. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2011.04.001>.



